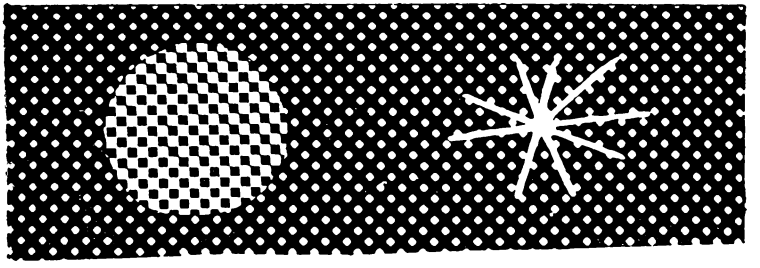
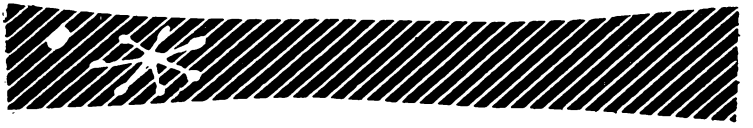
АЛЬМАНАХ
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ



МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ



МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ



АЛЬМАНАХ

N 12



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» МОСКВА 1966

С61
М63

РЕДКОЛЛЕГИЯ

К. К. Андреев, Н. М. Беркова,
И. А. Ефремов, А. П. Казанцев,
М. М. Калакуцкая, Л. Д. Платов,
А. Н. Стругацкий, Н. В. Томан.

ОФОРМЛЕНИЕ
Б. Шейнеса



Александр Абрамов, Сергей Абрамов

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МИРА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛЯ И МИСТЕРА ГАЙДА, РАССКАЗАННАЯ ПО-НОВОМУ

...нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого...

Ф. М. Достоевский. «Двойник»

Перед нами безумная теория. Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной!

Нильс Бор

КТО Я!

Я возвращался домой от Никитских ворот по Тверскому бульвару. Было что-то около пяти часов вечера, но обычная в это время уличная субботняя сутолока обходила бульвар, и на его боковых аллеях, как и утром, было пустынно и тихо. Сентябрьское, вдруг совсем безоблачное небо не предвещало близкой осени, ни один желтый лист не зашуршал под ногами, и даже поблекшая к концу лета трава меж деревьями

после вчерашнего ночного дождя казалась по-майскому похорошевшей.

Я не спеша шагал по боковой дорожке, лениво прицеливаясь к каждой скамейке: не присесть ли? Наконец присел, вытянув ноги, и в ту же секунду почувствовал, как все окружающее уплывает куда-то, тускнея и завихряясь. Обычно я не страдаю головокружениями, но тут даже вцепился в спинку скамейки, чтобы не упасть: вся противоположная сторона бульвара — деревья и прохожие — вдруг растаяла в лиловатой дымке, точь-в-точь как в горах, когда облака подползают к ногам и все вдруг дробится и тает в густых мокрых хлопьях. Но дождя не было, туман налетел сухой и чистый, слизнул всю зелень бульвара и исчез.

Именно исчез.

В одно мгновение деревья и кусты неожиданно вновь возникли, как повторный кадр в цветном кинофильме, широкая скамейка напротив вернулась на свое прежнее место, и пропавшая было девушка в голубом пыльнике опять сидела на ней с книжкой в руках. Все выглядело как будто по-прежнему, но только как будто: кто-то во мне тотчас же усомнился в этом. Я даже оглянулся, пытаясь проверить впечатление, и удовлетворенно подумал: «Чепуха, все так и было. Именно так».— «Нет, не так»,— подумал кто-то другой.

Другой ли? Я спорил с самим собой, но сознание как бы раздваивалось, и спор походил на диалог двух совсем не идентичных и даже не похожих «я». Возникавшая мысль тотчас же опровергалась другой, откуда-то вторгшейся или кем-то внушенной, но агрессивной и подавляющей:

«И скамейка та же».

«Не та. На Пушкинском зеленые, а не желтые, да и формы совсем другой».

«И дорожки те».

«Эти уже. И где гранитный бордюр?»

«Какой бордюр?»

«А лужайки нет».

«Какой лужайки?»

«У корта. Здесь был теннисный корт».

«Где?»

«Вот на этом месте».

Но я уже оглядывался с чувством нарастающей тревоги. Раздвоение исчезло. Я вдруг осознал себя в новом, странно изменившемся мире. Когда вы идете по улице, где на каждом шагу вам все привычно и все примелькалось глазу, вы не обращаете внимания на мелочи, на детали. Но стоит им внезапно исчезнуть, и вы остановитесь, охваченный чувством возмущения и тревоги. Пейзаж был только похожим, но совсем не

тем, какой я знал, проходя по этим тысячи раз исхоженным бульварным дорожкам. И деревья, казалось, росли по-другому, и кусты были не те, и самый бульвар я почему-то называл не Тверским, а Пушкинским.

По привычке я взглянул на часы, а рука так и повисла в воздухе. И пиджак был совсем другой, не тот, какой я надел с утра, и вообще не мой пиджак, и часы были не мои, а под ремешком от часов кривился шрам, которого, может быть, только минуту назад не было вовсе. А сейчас это был застарелый, давно заживший шрам, след пули или осколка. Я посмотрел на ноги — и туфли были не мои, чужие, с нелепой пряжкой на боку.

«А вдруг и внешность у меня не та, и возраст не тот, и вообще я это не я?» — обожгла мысль. Я вскочил и не пошел, а побежал по дорожке к театру.

Театр стоял на том же месте, но это был другой театр, с другим входом и другими афишами. На его репертуарном табло я не нашел ни одного знакомого названия. Только в темных, не освещенных изнутри дверных стеклах отразилось знакомое лицо. Это было мое лицо. Пока оно было единственным, что было моим в этом мире.

Только теперь я почувствовал, как у меня болит голова. Помассировал виски — боль не проходила. Вспомнилось, что где-то поблизости, кажется на площади, была аптека. Может быть, она уцелела, на мое счастье? Площадь уже виднелась в мелькании пересекающих проезд автомашин, и я поспешил вперед, продолжая недоуменно и тревожно оглядываться. Домов по проезду Пушкинского бульвара я точно не помнил, но эти как будто не отличались от них, только не было привычных, бросающихся в глаза фонарей над подъездами да и номерные знаки были другими.

У выхода на площадь, куда вливалась зеленая река бульвара, я буквально остолбенел: устье ее было пусто. Пушкина не было. На мгновение мне показалось, что у меня остановилось сердце. Голая каменная плешь на месте памятника уже не тревожила, а пугала. Я закрыл глаза в надежде, что наваждение исчезнет. В этот момент кто-то проходивший мимо толкнул меня, может быть и нечаянно, но так сильно, что я невольно повернулся на каблуках. Наваждение действительно исчезло: я увидал памятник.

Он стоял в глубине площади, все такой же задумчивый и строгий, в небрежно накинутой на плечи крылатке,— дорогой с детства образ. Пусть на другом месте, но он! Даже дышать стало легче, хотя позади памятника виднелось совсем незнакомое здание современной конструкции с огромными буквами по фасаду: «Россия». Гостиница или кино? Вчера еще на его

месте стоял шестнадцатиэтажный жилой дом, в первом этаже которого помещался ресторан «Космос». Все было похоже и не похоже, знакомо до мелочей, но именно мелочи больше всего и видоизменяли знакомый облик. Аптеку, например, я нашел на том же месте, и продавщицы стояли за прилавками в таких же белых халатах, и такая же очередь толпилась у кассы, а в оптическом отделении продавались очки в такой же безвкусной и неудобной оправе. Но когда я спросил у продавщицы пирабутан от головной боли, она недоуменно скривилась:

— Что?

— Пирабутан.

— Не знаю такого.

— Ну, от головной боли.

— Пирамидон?

— Нет,— растерянно пробормотал я,— пирабутан.

— Нет такого лекарства.

Мой глупо-удрученный вид вызвал у нее улыбку сочувствия.

— Возьмите тройчатку.— И она бросила на прилавок пакетик в невиданной мной упаковке.— Двадцать четыре копейки.

В брючном кармане я обнаружил горсть серебряной мелочи — монетки почти не отличались от наших. Потом, уже сидя на скамейке у памятника Пушкину, я тщательно обследовал все карманы доставшегося мне по прихоти судьбы чужого костюма. Содержимое их поставило бы в тупик любого следователя. Помимо мелочи, я нашел несколько рублевых и трехрублевых бумажек, совсем не похожих на наши, скомканный трамвайный билет, хорошую авторучку и почти целый блокнот с отрывными листами. Никаких документов, удостоверявших личность моего двойника, не было.

Страха я уже не чувствовал, оставалось лишь острое, беспокойное любопытство. Как долго продлится мое вторжение в этот мир и чем оно окончится, об этом я старался не думать: здесь можно было предположить все, даже самое страшное. Но что делать в пределах выданной мне путевки в неведомое? В гостиницу меня, конечно, не пустят. Где я буду ночевать, если путевка надолго? Может быть, дома или у друзей: ведь где-то живет же обладатель этого пиджака и друзья, наверное, у него имеются, и самое смешное будет, если это и мои друзья. А вдруг все это сон? С размаху я хлопнул рукой по скамейке: больно! Значит, не сон.

На какой-то миг мне показалось, что я увидел знакомое лицо. Мимо неторопливо прошествовал широкоплечий крепыш с кинокамерой. Я узнал и хохолок на лбу, и массив плеч, и

чугунный затылок. Неужели Евстафьев из пятой квартиры? Но почему он с кинокамерой? Ведь он и фотоаппарата в руках не держал.

Я вскочил и побежал за ним.

— Простите...— остановил я его, вглядываясь в знакомые черты.— Женька? Евгений Григорьевич?

— Вы ошиблись.

Я растерянно моргал глазами: сходство было удивительное. Даже тембр голоса был похож.

— Напоминаю кого-то? — усмехнулся он.

— Поразительное сходство!

— Бывает,— пожал он плечами и прошествовал дальше, оставив меня в состоянии полного душевного смятения.

Мне все еще казалось, что это розыгрыш, мистификация. Сейчас Женька вернется, и мы будем хохотать вместе. Но он не вернулся.

Все многообразие ощущений и переживаний, которым мог бы похвастаться человек в моем положении, буквально потонуло в одном чувстве растерянности и смятения, и, пожалуй, еще — невыносимого одиночества в городе, в котором каждый камень был знаком с детства и который изменился всего за несколько секунд дурноты. Я мучительно вглядывался в лица прохожих с тщетной надеждой встретить близкого человека. Зачем? Вероятно, он не узнал бы меня, как близнец Евстафьева, а тому, кто узнал бы, что мог я ответить? Но именно это и случилось.

— Сережка! Сергей Николаевич! — окликнул меня невысокий седой человек в замшевой курточке на «молниях». (Этого человека я никогда раньше не видел.) — Поди-ка сюда.

Я поднялся: меня действительно звали и Сережкой, и Сергеем Николаевичем.

— Есть новость...— Он доверительно взял меня под руку и тихо сказал: — Обалдеешь. Сычук остался.

— Какой Сычук? — удивился я.— Мишка?

— Какой же еще? Один у нас Сычук. Увы!

Мишку Сычука я знал с фронта. Сейчас он работал где-то фотографом, не то фотокорреспондентом. Мы не дружили и не встречались.

— Что значит «остался»?

— Как остаются? Он же на «Украине» поехал вокруг Европы. Знаешь ведь.

Я ничего не знал. Но, учитывая ситуацию, изобразил удивление.

— В последнем заграничном порту, подонок, остался. Не то в Турции, не то в Германии: не знаю, как они ехали — в Одессу или из Одессы.

— Подлец! — сказал я.

— Будут неприятности.

— Кому?

— Ну тем, кто ручался, и так далее,— усмехнулся человек в замше.— Фомич землю роет, к начальству помчался. Ты-то ни при чем, конечно.

— Еще бы,— сказал я.

Незнакомец освободил мою руку и дружелюбно стукнул по спине.

— Ты что-то прокис, Сережка. Или, может, я помешал?

— Чему?

— Творишь... или ждешь кого? А почему ты не в редакции?

Ни к одной редакции я не имел отношения. Разговор надо было заканчивать: в нем накопилось слишком много горючего.

— Дела,— сказал я неопределенно.

— Хитришь, старик,— подмигнул он.— Ну пока.

И так же исчез из моей жизни, как и появился. Как человек, впервые брошенный в воду, постепенно приобретает навыки пловца, так и я уже начинал ориентироваться в незнаемом. Любопытство подавляло страх и тревогу. Что я уже знал? Что и здесь у меня та же внешность и то же имя. Что Москва есть Москва, только чуть-чуть другая в деталях. Что есть Одесса, Турция и Германия. Что пароход «Украина», как и у нас, совершает рейсы вокруг Европы. Что я связан с какой-то редакцией и что в этом мире Мишка Сычук тоже оказался сволочью.

Поэтому я ничуть не удивился, когда, спустившись к кинотеатру «Россия» — здание это, как я и предполагал, оказалось кинотеатром,— я встретил Лену. Я должен был кого-нибудь встретить, кто знал меня и там, и здесь.

Лена шла, как всегда, элегантная и, как обычно, рассеянная, но узнала меня сразу и даже, как мне показалось, смутилась:

— Ты? Откуда?

— От верблюда. Ну, что там?

— Где? — удивилась она.

— В больнице, конечно. Ты давно ушла?

Она удивилась еще больше.

— Я не понимаю тебя, Сережа. Ты о чем? Я только три дня в Москве.

Я видел ее сегодня утром у главврача, когда звонил в институт мозга. До этого мы виделись каждый день или почти каждый день, когда я бывал в терапевтическом. Поэтому я замолчал, мучительно подыскивая выход из явно критической ситуации. Дорога в незнаемое изобиловала ухабами.

— Извини, Леночка, я стал ужасно рассеянным. И потом... такая неожиданная встреча...

— Как живешь? — спросила она, как мне показалось, с какой-то металлической ноткой.

— Да так,— ответил я бодренько,— живем, хлеб жуем.

Она долго молчала, пристально рассматривая меня.

Наконец произнесла совсем сухо:

— Странный у нас разговор с тобой. Очень странный.

Я понимал, что она сейчас уйдет, и исчезнет единственный шанс закрепиться здесь хотя бы на сутки: едва ли мое вторжение продлится дольше. Надо было на что-то решаться. И я решился.

— Мне надо поговорить с тобой, Леночка. Просто необходимо. Произошло одно событие...

— Какое? — Ее глаза подозрительно сузились.

— Не могу же я говорить на улице...— Я торопливо подыскивал слова.— Ты где... живешь?

Она помедлила с ответом, видимо что-то взвешивая.

— Пока у Галки.

— Это где?

— Ты же знаешь.

Я ничего не знал. Я даже не спросил, у какой Галки. Но мне нужно было, чтобы она согласилась. Мой последний шанс!

— Прошу тебя, Леночка...

— Неудобно, Сережа.

— Боже мой, какой вздор! — сказал я, думая о Лене, которую я знал.

Но это была совсем другая Лена, глядевшая на меня настороженно, совсем не дружески.

— Ну что ж, пойдем,— наконец сказала она.

ВТОРОЙ ШАГ В НЕЗНАЕМОЕ

Мы шли молча, почти не разговаривая. Она, видимо, волновалась, но старалась не показать этого, сдерживалась, может быть даже сожалея о своем согласии. Время от времени я ловил ее обращенный на меня испытующий, подозрительный взгляд. Что она подозревала и чего боялась?

Дом в Старо-Пименовском переулке я узнал сразу. Здесь когда-то жила моя жена, еще до того, как мы познакомились. Кстати, ее тоже звали Галкой.

У меня противно задрожали колени.

— Ты что так смотришь? — спросила она.

Я продолжал молча оглядывать комнату. Как и все здесь,

она была та и не та. Похожа и не похожа. Или, может быть, я просто забыл?

— Чья это комната, Лена?

— Галкина, конечно. Странные вопросы ты задаешь, Сережка. Разве ты здесь не был?

Я с трудом проглотил слюну. Сейчас я ей задам еще один странный вопрос:

— Разве она... не переехала?

Лена взглянула на меня как-то испуганно, даже отстранилась немножко, словно я сказал нечто совершенно нелепое.

— Вы разве не встречаетесь?

— Почему? — неопределенно ответил я.— Встречаемся.

— Когда ты ее видел в последний раз?

Я засмеялся и брякнул:

— Сегодня утром. За завтраком.

И тут же пожалел о сказанном.

— Не лги. Зачем ты лжешь? Она со вчерашнего дня в институте. И ночью работала. Еще не возвращалась.

— Уж и пошутить нельзя,— глупо сказал я, понимая, что все больше и больше запутываюсь.

— Странные шутки.

— Может быть, мы о разных людях говорим? — попробовал я исправить положение.

Она даже не рассердилась, только нахмурилась, как врач, который видит, но еще не понимает симптомы наблюдаемой им болезни.

— Я говорю о Гале Новосельцевой.

— Почему Новосельцевой? — удивился я.

На меня смотрели холодные, профессионально заинтересованные глаза врача.

— Ты потерял память, Сережа. Они расписались еще в начале войны. Что с тобой?

— Ничего,— пробормотал я, вытирая вспотевший лоб.— Я только думал...

— Почему я здесь, у разлучницы, да? — засмеялась она, на какое-то мгновение утратив выражение профессионально врачебного любопытства.— Я и тогда не обижалась, Сережа. Подумаешь, беда — парня увели! А теперь... смешно даже. Так давно это было. И другое после этого было — сам знаешь.— Она вздохнула.— Не везет мне в любви, Сережа.

Трудно рассчитывать каждый шаг в незнаемом. И я опять не рассчитал, забыв о том, где я и кто я:

— А кто тебе сейчас мешает с Олегом?

— Сережа!

И столько ужаса было в этом вскрике, что я невольно закрыл глаза.

— У тебя что-то с памятью, Сережа. Такие вещи не забывают. Галка получила похоронную еще в сорок четвертом году. Ты не мог не знать.

Что я знал и чего не знал? Разве я мог сказать ей об этом?

— Ты или притворяешься, или болен. По-моему, болен.

— А ты спроси меня: какое сегодня число, какой год и так далее.

— Я еще не знаю, что надо спросить.

— Так ставь диагноз,— озлился я.— С ума сошел, и все!

— Это не медицинский термин. Есть разные виды психических расстройств... Ты о чем хотел говорить со мной?

Теперь уже я не хотел. Если бы я сказал ей правду, она меня тут же отправила бы в психиатрическую больницу. Надо было выкручиваться.

— Понимаешь, какое дело...— начал я свою поспешную импровизацию,— произошло одно прискорбное событие... Весьма прискорбное...

— Ты уже говорил. Какое?

— В общем, я ушел из дому. От жены. О причинах говорить не буду. Но мне необходимо убежище. Хотя бы на сутки. Ночлегус вульгарис...

Я замолчал. Она тоже молчала, разглядывая кончики пальцев.

— Разве у тебя нет друзей?

— К одним нельзя, к другим неудобно. Знаешь, как иногда бывает...— Я старался не смотреть ей в лицо.

— А если бы ты меня не встретил?

— Но я тебя встретил.

Она все еще колебалась:

— Это неудобно, Сережа.

— Почему?

— Неужели ты сам не понимаешь?

— Знаешь что?..— опять озлился я.— Вызывай психиатра. Ночлег мне, во всяком случае, будет обеспечен.

Я посмотрел ей в глаза: врач-профессионал исчез, осталась просто испуганная женщина. Непонятное всегда страшно.

— Комната не моя,— проговорила она тихо.— Подождем Галку.

— А если она опять заночует в институте?

— Я позвоню ей. Телефон в передней. Посиди пока.

Она вышла, оставив меня одного в комнате, в которой мне было все знакомо почти до мелочей. Из этой комнаты я пошел в загс. Из этой ли? Нет, не из этой. Как в подобии треугольников что-то совпадало, что-то нет.

Я взял со стола карандаш и записал в блокноте:

«Если со мной что случится, дайте знать жене Галине Громовой. Грибоедова, 43. Сообщите также в Институт мозга профессорам Заргарьяну и Никодимову. Очень важно».

Слова «очень важно» я подчеркнул три раза так, что карандаш сломался. То, что хотелось приписать дальше, так и осталось неприписанным.

А положив блокнот в карман, я понял, что опять сделал глупость. Мои Заргарьян и Никодимов этого письма не получат. А Галя Громова носит здесь другую фамилию.

В передней раздался звонок, и сквозь полуоткрытую дверь я услышал, как щелкнул замок и Лена сказала:

— Наконец-то! Я тебе только что звонила.

— А что случилось? — спросил до жути знакомый голос.

— У нас Громов Сережка.

— Ну и хорошо! Будем чай пить.

— Понимаешь, Галина... странный он какой-то...— Лена понизила голос до неслышного шепота.

— Что он, с ума сошел? — донеслось до меня.

— Не знаю. Говорит, что ушел от жены.

— Господи, какой вздор! Он тебя разыгрывает, Ленка, а ты уши развесила. Я полчаса назад ее видела.

Дверь распахнулась. Я вскочил и замер. У двери стояла моя жена.

То же лицо, тот же возраст, даже прическа та же самая. Только серьги незнакомые и костюм, какого я у нее еще не видел. Я молча стоял, силясь сдержать волнение.

— Ты что это придумал? — спросила Галя.

Я молчал.

— Только что я видела Ольгу. Ехала домой и ждет тебя к ужину. Кажется, вы собираетесь на ленинградский балет?

Я молчал.

— Что это за штучки? Ленку разыгрываешь. Зачем?

Я не мог найти слов для ответа. Все рухнуло. Какие объяснения могли бы удовлетворить их? Правда? Но кто в моем положении отважился бы на это?

— Лена говорит, что ты болен,— продолжала она, пытливо меня разглядывая.— Может быть, правда болен?

— Может быть, правда болен,— повторил я.

Я не узнал своего голоса — таким чужим и далеким он мне показался.

— Ну что ж,— прибавил я,— извините. Я, пожалуй, пошел.

— Куда? — встрепенулась Галя.— Одного не пустим. Я отвезу тебя домой.— Она выглянула в окно.— Вон и такси мое стоит. Ленка, добеги: может, успеешь задержать.

Мы остались одни.

— Что все это значит, Сергей? Я ничего не понимаю.

— Я тоже,— сказал я.

— А все-таки?

— Ты, кажется, физик, Галя? — бросил я наудачу.

Она насторожилась:

— А что?

— Ты имеешь представление о множественности миров? Сосуществующих рядом миров? Одновременно загадочно далеких и удивительно близких?

— Допустим. Есть такие гипотезы.

— Тогда допусти, что один из смежных с нами миров подобен нашему. Что в нем тоже есть Москва, только чуть-чуть другая, может быть, те же улицы, только иначе орнаментированные. Иногда те же дома, только с другим номерным знаком. Что там есть и ты, и я, и Лена, только в других отношениях...

Она все еще не понимала. Но мне уже давно надоел мой предшествовавший душевный маскарад. Я отважился:

— Допусти, что в той, другой жизни тебя зовут не Галя Новосельцева, а Галя Громова. Что вот из этой комнаты шесть лет назад мы с тобой пошли в загс. А сейчас произошло чудо: я переменил оболочку... заглянул в ваш мир. Вот тебе и дьявольщина для наших ограниченных умишек.

Она глядела на меня уже с испугом. Вероятно, думала, как и Ленка: внезапное помешательство, бред.

— Ладно, покончим с этим,— скривился я.— Вези куда хочешь, мне все равно. И не пугайся: ни душить, ни целовать тебя я не буду. Вон уже Ленка рукой машет. Пошли.

КТО ДЖЕКИЛЬ И КТО ГАЙД!

Галя, должно быть, и в этом мире обладала той же выдержкой. Минуту спустя она уже успокоилась.

— Надеюсь, мы не будем при шофере заниматься научной фантастикой? — спросила она, подходя к машине.

— А ты считаешь, что научной? — не утерпел я.

— Кто знает?

На лице ее я не читал ничего особенного. Обычное поведение умной женщины. Галино поведение с чужими, но не безынтересными ей людьми. Внимательные глаза, уважительный интерес к собеседнику, бессознательное кокетство, насмешливость.

— Почему у вас памятник Пушкину посреди площади? — спросил я, когда мы проезжали мимо.

— А у вас где?

— На бульваре.

— Врешь ты все. И о загсе соврал. И почему шесть лет назад?

— Судьба,— засмеялся я.

— Где я была шесть лет назад? — задумчиво проговорила Галя.— Весной в Одессе.

— И я.

— Что ты врешь? Ты же не поехал с нами.

— Это я у вас не поехал, а у нас — наоборот.

— Стран-но,— по слогам сказала она и прибавила, критически посмотрев на меня: — А ты не производишь впечатление больного.

«Приятно слышать»,— хотел сказать я, но не сказал. Черный шквал ударил мне прямо в лицо. Все потемнело.

— Что с тобой? — услышал я испуганный крик Гали и ее же торопливые, взволнованные слова: — Голубчик, остановите где-нибудь у тротуара. Ему плохо...

...Я открыл глаза. Лиловый туман все еще клубился в машине. Из тумана глядело на меня лицо женщины.

— Кто это? — хрипло спросил я.

— Тебе плохо, Сережа?

— Галя? — удивился я.— Как ты здесь очутилась?

Она не ответила.

— Что-нибудь со мной случилось там... на бульваре? — спросил я и оглянулся.

— Случилось,— сказала Галя.— Поговорим потом. Можешь ехать домой или нужен врач?

Я потянулся, тряхнул головой, выпрямился. Можно было явно обойтись без врача. Пока мы ехали, я рассказал Гале, как шел по Тверскому бульвару, как закружилась у меня голова и как я в лиловом тумане пытался разговаривать сам с собой.

— А потом? — неожиданно заинтересовалась Галя: до этого она слушала меня не то недоверчиво, не то равнодушно.— Что было потом?

Я недоуменно пожал плечами.

— Не помнишь?

— Не помню.

Я действительно ничего не помнил и только по возвращении узнал от Гали о том, что произошло у нее дома.

— Бред,— сказал я.

Галя, с ее любовью к точным формулировкам, поправила:

— Если бред, то очень последовательный. Как хорошо отрепетированная роль. Так не бредят. И потом, бред — это симптом болезни, а ты не производил впечатления больного.

— А обморок на бульваре,— вмешалась Ольга.— И в такси.

Она, как врач, искала медицинских объяснений. Но Галя по-прежнему сомневалась:

— А между обмороками что?

— Какое-то сомнамбулическое состояние.

— Что я, лунатик? — обиделся я.

— Если это сон, то наяву,— насмешливо уточнила Галя.— И потом, мы видели этот сон, а не он. Кстати, о снах: ты все еще видишь их?

— При чем здесь сны? — буркнул я.— Я был в обмороке и никаких снов не видел.

Я хорошо понимал, что Галя никого не мистифицирует. Поэтому ее рассказ о моих похождениях в сомнамбулическом состоянии — пришлось все-таки прибегнуть к такой оценке моего поведения — меня сильно встревожил. Я никогда не падал в обморок, не гулял по карнизам в лунные ночи и не терял памяти. Но разумных объяснений случившегося найти не мог.

— Может быть, гипноз? — предположил я.

— А кто это тебя загипнотизировал? — поморщилась Ольга.— И где? В редакции? На бульваре? Чушь!

— Чушь,— согласился я.

— А ты, случайно, не пишешь фантастической повести или романа? — вдруг спросила Галина.— Твое довольно толковое сообщение о множественности миров меня даже заинтересовало. Понимаешь, Ольга,— засмеялась она,— два смежных мира в пространстве, как подобные треугольники. И там и здесь — Москва, и там и здесь — Сергей Громов. Только тебя нет. Там он на мне женат.

— Так тайное становится явным,— пошутила Ольга.— И сомнамбула, конечно,— это гость из другого мира в Сережкином обличье?

— Он мне так и объяснил. Москва, говорит, такая же, только немножко другая. Памятник Пушкину у нас на площади, а у них на бульваре. Я чуть не расхохоталась.

Ольга почему-то задумалась.

— А знаешь что можно предположить? — оживилась она: ей все-таки очень хотелось найти разумное объяснение, как и мне.— Сережка ведь знал, что памятник когда-то перенесли? Знал. Так, может быть, такая записанная в мозгу информация и определила этот бред? Возбуждение, сигнал — и пожалуйте: миф о смежном и подобном мире.

У меня эти рассуждения вызвали только досаду:

— Слушаю вас, и уши вянут. Какой-то новый вариант стивенсоновской сказки. Прямо доктор Джекиль и мистер Гайд. Только кто Джекиль и кто Гайд?

— Ясно кто,— отпарировала Галя,— себя-то ты не обидишь.

Ольга не поняла:

— Вы о ком?

— Оленька,— сказал я,— это агенты международного империализма, переброшенные к нам на самолете без опознавательных знаков.

— Я серьезно.

— И я серьезно. Есть такой английский писатель, по фамилии Стивенсон. Читают его обычно в юности. Даже медики. Для них, кстати, этот рассказ почти пособие по курсу психиатрии, ибо Джекиль и Гайд — это, по сути дела, один человек, вернее, квинтэссенция добра и зла в одном человеке. С помощью открытого им эликсира, или, на языке медиков, некоей смеси сульфаниламидных препаратов и антибиотиков, благородный Джекиль превращается по ходу действия в подлеца Гайда. Изложил точно? — спросил я Галю.

— Вполне. Поищи в карманах, может быть, Гайд оставил какие-нибудь следы своего превращения?

Я порылся в карманах и выбросил на стол пакетик с таблетками от головной боли.

— Должно быть, вот это. Я тройчатки не покупал.

— Может быть, это ты ему положила? — Галя спросила Ольгу.

— Нет. Наверно, это купил он по дороге домой.

— Ничего я не покупал,— рассердился я,— и вообще я не был в аптеке.

— Значит, это был Гайд. А других следов он не оставил?

Я машинально провел рукой по нагрудному карману.

— Погоди. Блокнот не на месте.— Я вынул блокнот и раскрыл его.— Тут что-то написано. Где мои очки?

— Дай сюда.— Галя вырвала блокнот и прочла вслух: — «Если со мной что случится, дайте знать жене, Галине Громовой. Грибоедова, 43. Сообщите также в Институт мозга профессором Заргарьяну и Никодимову. Очень важно». Даже подчеркнул, что очень важно,— засмеялась она.— А Галя, конечно, Громова. Я же говорю, что бред последовательный. Только почему Грибоедова? Старо-Пименовский — это улица Медведева.

— А есть ли у нас улица Грибоедова? — спросила Ольга.— Я что-то не слышала.

— Есть,— вмешался я.— Это бывший Харитоньевский. Только дома сорок три там нет. Видимо, Гайд имел в виду какой-то проспект, а не улицу.

— А кто это Заргарьян? — заинтересовалась Галя.— Никодимова я знаю. Это физик, и, между прочим, довольно круп-

ный. Только он не в Институте мозга, а в Институте новых физических проблем. А кто такой Заргарьян, не знаю.

— А ведь это не Сережка писал! — вдруг воскликнула Ольга.— Не его почерк... хотя у «р» такая же закорючка и палочка у «т» такая же. Посмотри.

Я нашел очки и прочел запись.

— Почерк-то похож. Я студентом так писал. А газетная писанина почерк испортила. Сейчас я так не напишу.

Я повторил в блокноте запись. Она сильно отличалась от первой.

— Да-а,— протянула Галя,— графологической экспертизы не потребуется. А может быть, почерк меняется в сомнамбулическом состоянии?

— Не знаю. Это область психиатрии. Какое-то молниеносное психическое расстройство. Иначе я объяснить не могу. И мне все это очень не нравится,— сказала Ольга.

— Мне тоже,— подтвердила Галя.

Она читала и перечитывала обе записи в моем блокноте. На лице ее отражалась не только сосредоточенная работа мысли, но и сдержанная тревога: ясный, логический ум Гали не хотел отступать перед необъяснимым.

— Ну просто объяснить не могу. Хотя бы не научно, а только логически, житейски, так сказать. Совершенно здоровый психически человек — и вдруг какая-то сомнамбула! Ну, обмороки — это понятно, врач найдет объяснение. А бред о множественности миров — это какая-то цитата из фантастического романа. И эти просьбы о ночлеге, о крыше над головой, когда у человека собственная отдельная квартира.

— Очевидно, мой Гайд искал убежища,— засмеялся я.— Не мог же он пойти в гостиницу.

— Вот это мне и не нравится. Гипотеза о Гайде объясняет все. Но я предпочитаю иметь дело с наукой, а не с фантастикой. Хотя... здесь все фантастично. Ну почему ты напросился к Лене? Ты же не знал, что она живет у меня.

— Я и сейчас этого не знаю. Я Ленку десять лет не видал. Даже не представляю себе, как она выглядит.

Моя авантюра с Леной в Галином рассказе удивляла меня больше всего. Мы с Леной не встречались, не переписывались, вероятно, даже забыли о существовании друг друга.

— Это его пассия? — спросила Ольга.

— Мы все вместе учились, еще в школе, до войны. Вместе собирались на медфак. Да не вышло. Сережка с Олегом ушли на фронт. А я физику предпочла. Только Ленка пошла на медицинский. Кажется, она действительно была в тебя влюблена.

— В Олега,— сказал я.

— Все девчонки за ним бегали,— вздохнула Галя,— а я самая несчастная. Выиграла и потеряла.— Она поднялась.— Мир дому сему, а мне пора. Совет детективов окончен. Шерлок Холмс предлагает экскурсию в область физики.

— Психики, ты хочешь сказать.

— Нет, именно физики. Я бы поинтересовалась тем, что делают в Институте новых физических проблем Никодимов и Заргарьян.

— Зачем? — удивилась Ольга.— Я бы обратилась к психиатру.

— А я бы к Заргарьяну. Кто такой Заргарьян? Чем он занимается? Связан ли с Никодимовым? Ты когда-нибудь слыхал эти фамилии? — спросила она меня.

— Никогда.

— Может быть, читал где-нибудь и забыл потом?

— И не читал, и не забывал. Просто не знаю.

— Вот это и есть самое интересное в твоей сомнамбулической истории. Физика, милый, физика. Институт новых физических проблем! Новых, учти. И знаешь что? — обратилась она к Ольге.— Спроси Зойку о Заргарьяне и Никодимове. Она всех знает.

Зойке мы решили позвонить утром.

ЛИСТОК ИЗ БЛОКНОТА

Я мгновенно заснул и без снов проспал всю ночь до утра. А сны, можно сказать,— моя особенность, отличающая меня от прочих смертных. Галя не случайно спросила, вижу ли я сны по-прежнему? Вижу. Навязчиво повторяющиеся, почти неизменные по содержанию, странно похожие на куски видовой кинохроники.

Конечно, мне снятся и обыкновенные сны, в которых все сумбурно и смутно, а пропорции и отношения искажены, как в кривом зеркале. Воспоминание о них зыбко и недолговечно, потому их всегда трудно запомнить и записать. Но сны, о которых я говорю, помнятся всю жизнь, и я могу их описать с такой же точностью, как обстановку своей квартиры.

Они всегда цветные, и краски в них естественны и гармоничны, как в природе. Весенний луг, возникающий из ночной тьмы, цветет с такой же силой, как в жизни, а на ситцевом платье девушки, мелькнувшей в солнечном сне, запоминается даже рисунок. Ничего особенного не происходит в этих снах, они не пугают и не тревожат, но таят в себе что-то недосказанное, как частицы чужой, нечаянно подсмотренной жизни.

Чаще всего это уголок незнакомого города, перспектива

улицы, которую никогда не видел в действительности, но в которой все запомнилось до мелочей: балконы, витрины, липы на тротуарах и чугунные решетки я могу представить себе так же ясно, как будто видел их только вчера. Я вспоминал и прохожих, всегда одних и тех же, даже кошку черную с белыми пятнами, перебегавшую дорогу. Она всегда перебегала ее на одном и том же углу, у одного и того же дома.

Иногда я вижу себя в пассаже, крытой торговой галерее, похожей на ГУМ. Но это не ГУМ. Пассаж одноэтажен и разветвляется на множество боковых продольных и поперечных магистралей. Я всегда кого-то жду у писчебумажного магазина или медленно прохаживаюсь мимо выставки тканей, причудливо подсвеченных каким-то странным переливчатым светом. Я никогда не видел этого пассажа в действительности, но помню не только его витрины, но даже образцы товаров, высокие стеклянные своды и пеструю мозаику на полу.

Бывает, что сон преподносит мне интерьер городской квартиры, в которой я никогда не бывал, или идиллический сельский пейзаж. Чаще всего это дорога меж голых земляных откосов, скупо поросших кое-где кустиками пыльной травы. Дорога сбегает вниз к сизой полоске воды, пестреющей золотыми кувшинками. Иногда впереди идет женщина в белом, иногда старик с удочками, но оба они никогда не оборачиваются, и я никогда не обгоняю их. Я вижу только полоску воды, прошитую ряской и кувшинками, но почему-то знаю, что это пруд, и дорога сейчас свернет направо по берегу, и что именно здесь я бегал еще мальчишкой, хотя в реальном детстве моем не было ни этого пруда, ни этой дороги.

Именно эти сны и побуждали Ольгу усомниться в моем психическом равновесии и так решительно настаивать на консультации с психиатром. Но я все же склонялся последовать совету Галины. Злополучный листок из блокнота с фамилиями Заргарьяна и Никодимова не давал мне покоя, потому что я твердо знал, что никогда, ни при каких обстоятельствах я не слыхал о них. В подсознательное же восприятие услышанного где-нибудь в метро или на улице я, понятно, не верил. Нормальная память хранит услышанное в сознании, а не в подсознании.

— Хорошо, я позвоню Зойке,— согласилась Ольга.

Зойка работала в Институте научной информации и, по ее словам, знала всех «крупначей». Если Никодимов и Заргарьян принадлежали к этой высоко аттестуемой категории, я в одну минуту мог получить добрый десяток анекдотов об их образе жизни. Но мне были нужны не анекдоты, а точная информация о специальности и работах ученых. Мне нужно было убедиться, что это мои Никодимов и Заргарьян.

Я позвонил сначала Кленову, заведующему отделом науки у нас в редакции. Кленова я знал еще с фронта.

— Нужна справка, старик. Точные координаты двух мамонтов. Никодимов и Заргарьян.

В трубке захохотали:

— Я еще вчера подумал, что ты малость спятил.

— Когда вчера?

— Когда я тебя у Пушкина встретил. Часов в шесть. Когда о Мишке рассказал.

Я облизал пересохшие губы. Значит, Кленов видел Гайда и с ним разговаривал. И ничего не заметил. Очень интересно.

— Не помню,— сказал я.

— Не разыгрывай. И о том, что Мишка остался, не помнишь?

— Где остался?

— В Стамбуле. Я же тебе рассказывал. Попросил политического убежища в американском посольстве.

— С ума сошел!

— Он в полном рассудке, гад. Проморгали. Говорят, чужая душа — потемки. А надо было просветить вовремя. Теперь коллективное письмо писать будем, чтобы назад не пускали, когда он на брюхе к нам поползет. Да ты что, серьезно не помнишь?

— Серьезно. Вчера примерно с пяти часов вечера полный вакуум в голове. Сначала обморок, потом, что говорил, что делал, ничего не помню. Должно быть, памятка все той же контузии. Под Дунафельдваром, помнишь?

Еще бы Кленову не помнить, когда мы вместе форсировали Дунай! С ним и с Олегом. А Мишка Сычук, между прочим, тоже там был, только заранее смылся в тыл: откомандировался в редакцию фронтовой газеты.

Минуту, должно быть, мы оба молчали. Пережитое на Дунае не забывается. Потом Кленов сказал:

— А ты бы с профессором посоветовался. Могу устроить консультацию. Кой-кого знаю.

— Не надо,— вздохнул я.— Ты лучше скажи, что делают в науке Никодимов и Заргарьян?

— На очерк надеешься? Не выйдет. Никодимов отвечает на эти попытки по методу конандойлевского профессора Челленджера. Репортера «Науки и жизни» он в мусоропровод спустил.

— Пусть тебя не тревожит мое ближайшее будущее. Поделись всеведением. Кто такой Никодимов? И без шуток: мне это действительно очень нужно.

— Видишь ли, это физик с большим диапазоном интересов. Есть работы по физике поля. Интересовался электромаг-

нитными процессами в сложных средах. Одно время с Жемличкой выдвинул идею нейтринного генератора.

— С кем?

— С Жемличкой. Чешский биофизик.

— А идея?

— Я профан, конечно. И слышал от профанов. Но, в общем, что-то вроде нейтринного лазера, пробивающего окно в антимир.

— Ты серьезно?

— А что? Авантюркой попахивает? Так к этому и отнеслись, между прочим.

— А Заргарьян?

— Что — Заргарьян?

— Идет в пристяжке с Никодимовым?

— Тебе и это известно? Поздравляю.

— Он тоже физик?

— Нейрофизиолог или что-то в этом роде. В общем, телепат.

— Что, что? — закричал я.

— Те-ле-пат,— назидательно повторил Кленов.— Есть такая наука — телепатия.

— Сомневаюсь. Средневековьем отдает. Нет такой науки.

— Ты отстал. Это уже наука. Конденсаторы биотоков и все такое прочее. Удовлетворен?

— Почти,— вздохнул я.

— Если пойдешь в атаку, поддерживаю духом и телом. Все, что выудишь, печатаем. А начинать советую с Заргарьяна. Он и попроще и доступнее. И парень что надо!

Я поблагодарил и повесил трубку. Информация не выше уровня Зойки. Антимир, телепатия... Надо было звонить Гале для уточнения.

— Это я, сомнамбула. Уже встала?

— Я встаю в шесть утра,— отрезала Галя.— Меня интересует одна деталь твоей одиссеи. Почему ты сказал Ленке, что ушел от жены?

— Я не отвечаю за поступки Гайда. Я хочу их объяснить,— сказал я.— Слушай внимательно, Галина. В чем сущность идеи нейтринного генератора и как связать ее с конденсацией биотоков?

— Никодимов и Заргарьян? — засмеялась Галя.

— Как видишь, я кое-что узнал.

— Чепуху ты узнал и чепуху мелешь. От идеи нейтринного генератора в том виде, как ее сформулировал Жемличка, Никодимов давно отказался. Сейчас он работает над фиксацией энергетического поля, создаваемого деятельностью мозга... Что-то вроде единого комплекса электромагнитных полей,

возникающих в клетках мозга. Как видишь, я тоже кое-что узнала.

— Заргарьян — физиолог. Что его связывает с Никодимовым?

— Работа их засекречена. Мне не известны ни ее сущность, ни перспективы,— призналась Галя.— Но так или иначе она связана с кодированием физиологических нейронных состояний.

— Что? — не понял я.

— Мозг,— подчеркнула Галя,—мозг, дорогой, мозг. Твой Гайд не случайно связал эти имена с Институтом мозга. Хотя... в каком аспекте все это рассматривать... Может быть, это и чисто физическая проблема.

Она задумалась. Мембрана трубки доносила ее дыхание.

— Ключ здесь, Сережа,— заключила она.— Чем больше я над этим думаю, тем больше убеждаюсь в этом. Найди их— и ты найдешь объяснение.

Научный поиск кончился, предстоял поиск житейский. Мы начали его с Зойки.

Она тотчас же откликнулась на звонок. Да, она знает и Заргарьяна и Никодимова. Последнего только в лицо; он похож на сыча и не бывает на приемах. А с Заргарьяном знакома лично. Даже как-то танцевала на вечере. Он очень интересуется снами.

— Снами интересуется,— повторила Ольга, прикрыв трубку рукой.

— Что?! — закричал я и вырвал трубку.— Зоенька! Это я. Да, да, он самый. Ваш тайный вздыхатель. Что вы сейчас говорили о снах? Кто интересуется? Это очень важно.

— Я рассказала ему один страшный сон,— с готовностью откликнулась Зойка,— а он ужасно заинтересовался, все расспрашивал о подробностях. А какие подробности — один страх, и только. Он выслушал и сказал, чтобы я приходила к нему каждую неделю и обязательно рассказывала все сны. Ему это нужно для работы. Ну, я, сами понимаете, не дурочка. Знаю, какая это работа.

— Зоенька,— простонал я,— попросите его меня принять.

— Что вы, что вы! — ужаснулась Зойка.— Он терпеть не может газетчиков.

— А вы не говорите ему, что я из газеты. Скажите просто, что с ним хочет увидеться человек, который видит странные сны. И самое странное, что они повторяются, как записанные на пленку. Годами повторяются. Попробуйте, Зоенька, все это ему объяснить. Не выйдет — буду пытаться сам.

Она позвонила через десять минут:

— Представьте, вышло. Он примет вас сегодня после де-

вяти. Не опаздывайте, он этого не любит,— заговорила она деловой скороговоркой, как у себя в институте.— Он сразу заинтересовался и сейчас же спросил, какая четкость сновидений, степень запоминаемости и так далее. Я ответила, что вы сами расскажете, какая четкость и степень. Я сказала, что вы у нас работаете. Не подведите.

КЛЮЧ

Заргарьян жил на Юго-Западе в новом доме. Он сам открыл дверь, молча выслушал мои объяснения и так же молча проводил в кабинет. Высокий и гибкий, черноволосый, стриженный ежиком, он чем-то напоминал героев итальянского кинематографического неореализма. На вид ему было не больше тридцати лет.

— Разрешите спросить,— его строгие глаза пронзили меня насквозь,— что привело вас ко мне? Да, да... я знаю: странные сны и так далее... Но почему именно потребовалась моя консультация?

— Когда я все расскажу, ответ на этот вопрос не понадобится,— сказал я.

— Вы что-нибудь знаете обо мне?

— До вчерашнего вечера я понятия не имел о вашем существовании.

Он подумал немного и спросил:

— А что именно произошло вчера вечером?

— Я искренне рад, что мы начинаем разговор именно с этого,— сказал я решительно.— Я пришел к вам не потому, что меня беспокоят сны, не потому, что вы некий Мартын Задека, как, например, считает Зоя из Института информации. Кстати, я не работаю в этом институте, я журналист (я тут же подметил гримасу недовольства на лице Заргарьяна), но я пришел к вам не за интервью. Меня не интересует ваша работа, точнее, не интересовала, ибо до вчерашнего дня я даже не слыхал вашего имени... И тем не менее я записал его в бессознательном состоянии в своем блокноте...

— Что значит «в бессознательном состоянии»? — перебил Заргарьян.

— Это не совсем точно. Я был в полном сознании, но я ничего не помню об этом: что делал, что говорил. Меня попросту не было, вместо меня действовал кто-то другой. Вот он и записал это в моем блокноте.

Я раскрыл блокнот и передал его Заргарьяну. Он прочитал и как-то странно, исподлобья посмотрел на меня.

— Почему это записано два раза?

— Второй раз это записал я, чтобы сравнить почерк. Как видите, первая запись сделана не мной, то есть не моим почерком. И это почерк не сомнамбулы, не лунатика и не потерявшего память.

— Ваша жена живет на улице Грибоедова?

— Моя жена живет вместе со мной на Кутузовском проспекте. А на улице Грибоедова дома под этим номером нет. И женщина, упомянутая в записке, не жена мне, а просто знакомая, школьный товарищ. Кстати, она не живет на улице Грибоедова.

Он еще раз прочел записку и задумался:

— И о Никодимове вы тоже ничего не слыхали?

— Так же, как и о вас. Я и сейчас знаю о нем только то, что он физик, похож на сыча и не бывает на приемах. Сведения, учтите, из Института информации.

Заргарьян улыбнулся, и тут я заметил, что он совсем не строгий, а добродушный и, вероятно, даже веселый парень.

— Портрет в общих чертах похожий,— сказал он.— Валяйте дальше.

И я рассказал. Рассказывать я умею картинно и даже с юмором, но он слушал, внешне ничем не выдавая своего интереса. Только когда я дошел до упоминания о множественности миров, он поднял брови и тут же спросил:

— Вы об этом читали?

— Не помню. Мельком где-нибудь.

— Продолжайте, пожалуйста.

Я заключил рассказ реминисценцией из Стивенсона о Джекиле и Гайде.

— Самое странное, что это фантомистика объясняет все, а другого разумного объяснения у меня нет.

— Вы думаете, это самое странное? — рассеянно спросил он, все еще перечитывая записку в блокноте.— У нас отказались ставить эту проблему в Институте мозга, а там они все-таки ее поставили,— прибавил он уже совсем непонятное.

Я смотрел на него, не зная, что и подумать.

— Вы точно рассказываете? — вдруг спросил он, снова пронзая меня глазами.— Два мира, как подобные треугольники, так? И там и здесь Москва, только иначе орнаментированная. И там и здесь вы и ваши знакомые, только... скажем, в других сочетаниях, так?

— Именно.

— Там вы женаты на другой женщине, живете на другой улице и как-то связаны с Заргарьяном и Никодимовым, о которых здесь ничего не знаете, так?

Я кивнул.

Он встал и прошелся по комнате, словно сдерживая волнение. Но я видел, что он взволнован.

— А теперь расскажите о снах. Я думаю, что все это связано.

Я рассказал и о снах. Теперь он смотрел уже с нескрываемым интересом.

— Значит, чужая жизнь? Какая-то улица, дорога к реке, торговый пассаж. И все очень отчетливо, как на фотографии? — Он говорил медленно, взвешивая каждое слово, словно размышляя вслух.— И все запомнилось?

— Я даже мозаику на полу помню.

— И все знакомо до жути, до мелочей? Кажется, бывали тут сотни раз, а в действительности так и не видели?

— А в действительности так и не видел,— повторил я.

— Что же врачи говорят? Небось советовались.

Мне показалось, что он сказал это с какой-то лукавинкой.

— А что врачи говорят,— отмахнулся я.— Возбуждение... торможение. Это всякий дурак знает. Днем кора головного мозга находится в состоянии возбуждения, ночью наступает торможение. Неравномерное. С островочками. Эти островочки и работают, клеят из дневных впечатлений сны, монтируют...

Заргарьян засмеялся:

— Монтаж аттракционов. Как в цирке.

— А я не верю! — рассердился я.— Какой это, к черту, монтаж, когда все смонтировано до мелочей, до листка какого-нибудь на дереве, до винтика в раме. И повторяется, как сеанс в кинотеатре. Раз в неделю обязательно посмотришь, что уже снилось десятки раз. А ведь уверяют, что во сне увидишь только то, что наяву видел и пережил. Ничего, мол, другого.

— Об этом еще Сеченов писал. Он даже слепых опрашивал, и оказалось, что они видят во сне только то, что уже видели в зрячем состоянии.

— А я не видел,— упрямо повторил я,— ни в жизни, ни в кино, ни на картинках. Нигде! Ясно? Не ви-дел!

— А вдруг видели? — усмехнулся Заргарьян.

— Где? — закричал я.

Он не ответил. Молча взял сигарету, закурил и вдруг спохватился:

— Простите. Я вам не предложил. Вы курите?

— Вы мне не ответили,— сказал я.

— Я отвечу. У нас впереди еще большой, интересный разговор. Вы даже не представляете себе, каким открытием для нас будет эта встреча. Ученые ждут такой минуты годами. Я же счастливчик: всего четыре года ждал. Вы свободны? — вдруг спросил он.— Можете подарить мне еще несколько часов?

— Конечно,— растерянно согласился я, все еще ничего не понимая.

Внезапная перемена в Заргарьяне, его возбужденный, нескрываемый интерес даже чуть-чуть смутили меня. Что особенного я рассказал ему? А может быть, Галя была права: именно здесь и был ключ к разгадке всего случившегося?

А Заргарьян уже звонил кому-то по телефону:

— Павел Никитич? Это я. Ты еще долго намерен пробыть в институте? Прелестно. Я привезу к тебе сейчас одного товарища. Он у меня. Кто? Ты даже не представляешь кто. Тот, о котором мы с тобой мечтали все эти годы. То, что он рассказал мне, подтверждает все наши домыслы. Я подчеркиваю: все! И даже больше. Трудно вообразить: голова кружится. Нет, не пьян, но напьюсь обязательно. Только потом. А сейчас едем к тебе. Жди.

Он положил трубку и обернулся ко мне:

— Вы понимаете, что такое рефрактор для астронома? Или электронный микроскоп для вирусолога? Таким драгоценным инструментом являетесь для меня вы. Для нас с Никодимовым. Я сделаю Зоеньке царский подарок — ведь она подарила мне вас. Едем!

Я по-прежнему ничего не понимал.

— Надеюсь, вы не будете меня ни колоть, ни резать? Больно не будет? — спросил я голосом пациента, пришедшего на прием к хирургу.

Заргарьян захохотал, очень довольный.

— Зачем больно, дорогой? — заговорил он вдруг с акцентом восточного торговца.— Сядешь в кресло, заснешь на полчасика, сны посмотришь. Как в кино.— И прибавил уже без акцента: — Пошли, Сергей Николаевич. Я вас отвезу в институт.

ЛАБОРАТОРИЯ ФАУСТА

Институт находился в стороне от шоссе, в дубовой роще, показавшейся мне в темноте беззвездного вечера лесом из детской сказки. Кусты, похожие на гномов, разлапистые деревья, черные пни за кюветом, выглядывающие из травы, как диковинные зверюшки,— все это уводило в романтическую и жутковатую темь. Но вместо избушки на курьих ножках в конце асфальтовой аллейки подымалась круглая десятиэтажная башня с кое-где освещенными окнами. Какие-то из них мигали, вспыхивая и потухая, словно включались и выключались за ними гигантские «юпитеры» в съемочном павильоне.

— Валерка Млечин над беспроволочным светом колдует,— сказал Заргарьян, перехватив мой взгляд.— Думаете,

у нас? Нет, не у нас. Мы под самой крышей с другой стороны.

Скоростной лифт поднял нас на десятый этаж; мы вошли в кольцевой коридор, дорожка которого тотчас же устремилась вперед. Она двигалась мягко, беззвучно, с привычной скоростью эскалатора.

— Включается автоматически, как только вы входите в коридор,— пояснил Заргарьян,— а выключается нажимом ноги на эти регуляторы.

Слегка выпуклые, освещенные изнутри молочно-белые плитки были вкраплены одна за другой через каждые два метра в пластмассовую ленту коридора. Мы плыли мимо двухстворчатых белых дверей с крупными номерами. Против двести двадцатого Заргарьян нажал регулятор.

Мы остановились. Тотчас же раздвинулись двери, открывая вход в большую, ярко освещенную комнату. Заргарьян подтолкнул меня к креслу и сказал:

— Поскучайте минут десять, пока я поговорю с Никодимовым. Во-первых, это избавит вас от необходимости повторяться, во-вторых, я сделаю это более профессионально.

Он подошел к противоположной стене; она раскололась, раздвинулась и сейчас же закрылась за ним. «Фотоэлемент»,— подумал я. Оборудование института, кажется, вполне соответствовало современным требованиям научно продуманного делового комфорта. От описания одного лишь коридора Кленов пришел бы в восторг; не зря же он обещал мне всяческую поддержку «душой и телом».

Но в комнате, где я ожидал Заргарьяна, кроме расколовшейся стены, не было ничего особенно примечательного. Письменный стол-модерн с прозрачной доской из плексигласа на никелированных ножках, открытый сейф в стене, похожий на духовку электроплиты, невидимый источник света и губчатый диван с большой подушкой: тут ночевали, когда задерживались. Возле стола возвышалась кипа желтой полупрозрачной пленки. По ней, как в кардиограммах, бежали жирные зубчатые линии. Пол из цветного пластика придавал комнате, пожалуй, излишне элегантный вид, но аскетические стенды с книгами и диаграммы на стенах, выполненные из того же пластика, возвращали ей серьезность и строгость. На одной диаграмме разноцветная кора обоих полушарий головного мозга выпускала металлические стрелы, которые увенчивались зашифрованными надписями из букв латинского и греческого алфавита. Другая предъявляла глазу просто пучок непонятных металлических линий с приклеенной сбоку надписью от руки: «Биотоки спящего мозга». Тут же был приколот лист бумаги с машинописным текстом: «Длительность и

глубина снов. Наблюдения лаборатории Чикагского университета».

Книги на стендах стояли в полном беспорядке, громоздились друг на друге, лежали открытыми на выдвижных полочках. Видимо, ими часто и охотно пользовались. Я взял одну: это была работа Сорохтина об атонии нервного центра. Тут же лежала стопочка книг и брошюр на разных языках. Все они, как я понял, говорили о какой-то иррадиации возбуждения и торможения. На другой полке я нашел книгу самого Никодимова. То было английское издание, название которого я перевел, как «Принципы кодирования импульсов, размещенных в коре и подкорковой области головного мозга». Правильно ли я перевел, не знаю, но тут же пожалел, что наши журналисты не получают достаточной подготовки, чтобы хоть приблизительно понимать процессы, происходящие на вершинах современной науки.

В этот момент стена раскололась, и голос Заргарьяна сказал:

— Прошу.

Комната, в которой я очутился, была действительно лабораторией, сверкавшей нержавеющей сталью и никелем. Но осмотреться я не успел: Заргарьян уже представлял меня немолодому человеку с каштановой, чуть посеребренной мушкетерской бородкой. Того же цвета волосы несколько превышали длину, принятую в нашей научной среде, и больше подходили к преподавателю консерватории, скажем, по классу скрипки или рояля. С сычом его роднил, пожалуй, лишь нос с горбинкой, а мне он напомнил Фауста, каким я его видел еще в юношеские дни в какой-то периферийной опере.

— Никодимов,— сказал он и улыбнулся, перехватив мой мечущийся по сторонам взгляд.— Не смотрите, все равно ничего не поймете, а в двух словах не объяснишь. Да и ничего интересного: все внизу, под нами,— и конденсатор, и переключатели. А это экраны для фиксации поля, в разных фазах, конечно. Как видите, элементарная путаница штепселей, рычагов и ручек.

Я искоса взглянул на стоявшее за кранами кресло, над которым было подвешено нечто напоминавшее шлем космонавта. К нему тянулись цветные провода.

— Испугался,— сказал Никодимов, подмигнув Заргарьяну.— А что страшного? Кресло как кресло...

— Постой,— остановил его Заргарьян.— Пусть сам сообразит. Погляди, дорогой: похоже на парикмахерское, а зеркала нет. Может, зубоврачебное? Так бормашинки нет. Где такое кресло найдешь? В театре нет. В кино тоже нет. Может, в самолете, в пилотской кабине? А где штурвал?

— Похоже на электрический стул,— сказал я.

— Еще бы. Точная копия.

— А шлем вы мне тоже наденете?

— А как же? Смерть наступит через две минуты...— Глаза его лукаво блеснули.— Клиническая смерть. Потом воскрешаем.

— Не пугай,— засмеялся Никодимов и повернулся ко мне.— Вы журналист?

Я кивнул.

— Тогда прошу: никаких корреспонденций. Все, что вы здесь узнаете, еще не созрело для печати. Кроме того, опыт может быть и неудачным. Вы ничего не увидите, и мы ничего не заприходуем. Ну, а когда созреет, обязательно привлечем вас. Обещаю.

Бедный Кленов! Его мечта об очерке уплывала, как сон.

— Ваш опыт имеет прямое отношение к моему рассказу? — осмелился спросить я.

— Геометрически прямое,— отрубил Заргарьян.— Это Павел Никитич осторожничает, а я прямо говорю: неудачи быть не может. Слишком очевидны показатели.

— Да-а...— задумчиво протянул Никодимов.— Хорошие показатели. Так это с вами приключилась стивенсоновская история? — спросил он меня.— Вы ее так и объясняете: Джекиль и Гайд, да?

— Конечно, нет. Я не верю в перевоплощения.

— А все-таки?

— Не знаю. Ищу объяснения. Ищу его у вас.

— Разумно.

— Значит, есть объяснение?

— Да.

Я вскочил.

— Сядьте,— сказал Заргарьян,— или, вернее, пересядьте в это пугающее вас кресло. Уверяю вас, оно гораздо удобнее вольтеровского.

Мягко говоря, я поднялся не очень решительно. Это чертово кресло меня определенно пугало.

— Все объяснения после опыта,— продолжал Заргарьян.— Пересаживайтесь. Да смелее, смелее! Зуб рвать не будем.

Я сразу же утонул в кресле, как в пуховой перине. Возникло ощущение какой-то особенной легкости, почти невесомости.

— Протяните ноги,— сказал Заргарьян. Видимо, он и руководил опытом.

Мои подошвы уперлись в резиновые зажимы. Головы коснулся бесшумно опустившийся шлем. Он обхватил лоб неожиданно легко и удобно, как мягкая шляпа.

— Немножко свободно?
— Пожалуй.
— Сядьте спокойнее. Сейчас урегулируем.

Шлем стал туже. Но я не ощущал никакого давления, гибкая пленка шлема, казалось, вросла в кожу. И словно ворвавшийся в открытое окно вечерний ветер приятно холодил лоб и шевелил волосы. Но я знал, что окно было закрыто, а голову мою облегал шлем.

Внезапно погас свет. Меня окружала теплая непроницаемая темь.

— В чем дело? — спросил я.

— Все в порядке. Мы изолировали вас от света.

Чем они меня изолировали? Стеной, колпаком, капюшоном? Я тронул веки: шлем не закрывал глаз. Протянутая вперед рука ничего не встретила.

— Опустите руку. Не волнуйтесь. Сейчас заснете.

Я сел поудобней и расслабил мышцы. И действительно, почувствовал приближение сна, надвигающейся нирваны, гасившей все мысли, воспоминания и назойливо выплывающие слова или строчки. Почему-то вспомнилось четверостишие: «Но сон — это только туманность, несобранность и непостоянность, намек на одушевленность, а в общем, не злая ложь». «О чем солжет наступающий сон, зло или не зло? — мелькнула мысль и погасла. Чуть гудело в ушах, словно где-то близко-близко на очень высокой ноте звенел комар.

И тут до меня откуда-то донеслись голоса:

— Как наводка?
— Что-то экранирует.
— А так?
— Тоже.
— Попробуй вторую шкалу.
— Есть.
— Светимость?
— Удовлетворительная.
— Включаю на полный.

Голоса исчезли. Я погружался в беззвучное, бестревожное небытие, наполненное ожиданием необычайного.

СОН С ИЗУМЛЕНИЕМ

Я приоткрыл глаза и зажмурился. Все кружилось в розовом тумане. Огни люстры под потолком вытягивались в сияющую параболу. Меня окружал хоровод женщин в одинаково черных платьях с одинаково расплывчатыми лицами. Они кричали мне голосом Ольги:

— Что с тобой? Тебе плохо?

Я как можно шире раздвинул веки. Туман рассеялся. Люстра сначала троилась, потом двоилась, потом стала на место. Хоровод женщин сплюснулся в одну-единственную, с лицом и прической Ольги.

— Где мы? — спросил я.

— На приеме.

— Каком?

— Неужто забыл? На приеме венгерского посольства в «Метрополе».

— Почему?

— Господи, да нам еще с утра билеты прислали! Я к портнихе успела съездить. Все забыл.

Я точно знал, что никаких билетов нам с утра не присылали. Может быть, вечером, когда я вернулся от Никодимова? Значит, опять провал в памяти?

— А что случилось?

— В зале душно. Ты предложил выйти на свежий воздух. Мы прошли в холл, и здесь тебе стало плохо.

— Странно.

— Ничего странного. В зале дышать нечем, а сердце у тебя неважное. Хочешь пить?

— Не знаю.

Ольга казалась мне странно чужой в этом новом платье, о котором я услыхал впервые. Когда же она ездила к портнихе, если я весь день был дома?

— Подожди минутку, я сейчас принесу нарзан.

Она скрылась в зале, а я продолжал растерянно оглядывать знакомый ресторанный холл. Я узнал его, но это не облегчило положения. Я так и не мог понять, когда венгры прислали билеты и зачем они их прислали. Я не был ни народным, ни заслуженным, ни академиком, ни мастером спорта. А Ольга воспринимала все это как нечто обычное, само собою разумеющееся.

Я все еще стоял, когда Ольга появилась с нарзаном. У меня создалось впечатление, что ей хочется поскорее вернуться в зал.

— Знакомых встретила?

— Там все начальство,—оживилась Ольга,—и Федор Иванович, и Раиса, даже замминистра.

— А почему замминистра?

— Так он их и устроил. Поликлиника-то министерская. Он — Федору, тот — Раисе. Наверно, было несколько лишних билетов.

Я не знал ни Федора, ни Раисы и тем более замминистра. Но признаться в этом не рискнул. Одно я знал точно: Ольга

работала не в министерской, а в самой обыкновенной районной поликлинике. Когда-то давно ее действительно приглашали педиатром в поликлинику Министерства путей сообщения, но она отказалась. Уточнять все это сейчас не хотелось, поэтому я сказал:

— Ты иди в зал, а я погуляю немного. Подышу.

Я вышел на тротуар у подъезда и закурил. В мокром асфальте купались желтые огни фар. Мимо проплыл двухэтажный троллейбус, красный, как в Лондоне. Такого я еще не видел. Между верхним и нижним рядами окон тянулась рекламная полоска шрифтового плаката: «Смотрите на экранах! Новый французский фильм «Дитя Монпарнаса». И об этом фильме я ничего не слыхал. Что у меня с памятью? Провал за провалом.

Вдали, слева от Большого театра, горел в небе гигантский неоновый квадрат. В квадрате по воздуху бежали световые буквы: «...землетрясение в Дели. Группа советских врачей вылетела в Индию». Световая газета. И опять я не помнил, когда же ее здесь оборудовали.

— Освежаешься? — услышал я знакомый голос.

Я обернулся и увидел Кленова. Он выходил из ресторана.

— Ухожу, старик. Пить не пью: язва открылась. А так чего же больше? Отдал честь — и домой.

— А собственно, какую честь?

— Так нас же Кеменеш пригласил. Он сейчас пресс-атташе.

Тибор Кеменеш, венгерский студент, говоривший по-русски, был нашим проводником в Будапеште. Я тогда только что выписался из госпиталя, и мы часами бродили по незнакомому городу. Но когда Кеменеш стал пресс-атташе в Москве? И почему я только сейчас узнал об этом?

— Растут люди. А мы с тобой застряли,— вздохнул Кленов.— Крутим колесико.

— Кстати, о колесике. Очерка не будет,— сказал я.

— Какого? — удивился Кленов.

— О Заргарьяне и Никодимове.

Он захохотал так, что прохожие начали оглядываться.

— Чудак человек, нашел, о ком писать! У Никодимова на даче пантера на цепи вместо собаки, а в Москве он газетчиков в мусоропровод спускает.

— Ты мне об этом уже говорил.

— Когда?

— Сегодня утром. Забыл уже?

Кленов взял меня за плечи и заглянул в глаза:

— Ты что пил, токай или палинку?

— Ничего не пил.

— Оно и видно. Я еще в субботу вечером на дачу в Жаворонки уехал, а вернулся только сегодня к пяти. Ты, должно быть, во сне со мной разговаривал.

Кленов помахал мне рукой и удалился, а я стоял, глубоко потрясенный последними его словами. «Это ты во сне со мной разговаривал». Нет, это я сейчас с ним во сне разговаривал. В неестественной реальности сна.

Сразу вспомнился разговор в лаборатории Фауста, кресло с проводами и предупреждение Заргарьяна из темноты: «Сидите спокойнее, сейчас заснете». Какой-нибудь электросон с искусственно вызванными сновидениями. Все, как наяву, только жизнь вывернута шиворот-навыворот. Тогда чему же я удивляюсь: все проще простого.

Я вернулся в ресторан. Над столиками висел сигаретный дымок, как пар, смешанный с электрическим светом. Вокруг фонтана танцевали. Я поискал глазами Ольгу, но не нашел и свернул в боковой зал. Длинные столы, уставленные наполовину опустошенными закусками и напитками, свидетельствовали о том, что здесь совсем недавно угощались гости. Угощались по-европейски, стоя с тарелочками у столов или пристраиваясь на закрытых портьерами подоконниках. Сейчас здесь насыщались опоздавшие, разыскивая на столах еще не тронутые закуски и бутылки. Один из них, хозяйничавший в одиночку на краю большого стола, обернулся ко мне и закричал:

— Давай сюда, Сергей! Заворачивай. Палинка, как в Будапеште.

Это был Мишка Сычук, по известной мне версии уже успевший сбежать за границу. Может быть, во сне он уже успел и вернуться. Сквозь нуль-пространство или на ковре-самолете— над этим я не задумывался и на чудеса не реагировал. Я просто налил себе из Мишкиной бутылки абрикосовой палинки и выпил. Горло приятно обожгло. Сон, сохранивший даже вкусовые ощущения яви, начинал мне нравиться.

— За друзей-товарищей,— сказал Мишка и тоже выпил.

— А ты как здесь? — спросил я дипломатично.

— Как и ты. Герои освобождения Венгрии.

— Это ты-то герой?

— Все мы герои.— Мишка допил остаток в бокале и крякнул.— В такой войне выжить!..

Я озлился:

— А потом предать?!

Мишка поставил бокал и насторожился:

— Ты о чем?

Я сознавал, конечно, что я не логичен, что в настоящей ситуации обвинения мои бессмысленны, но меня уже понесло:

— На «Украине» поехал... честь честью. По советской путевке, гад!

— Откуда ты знаешь?

— Что ты остался?

— Не мели вздор! Я спрашиваю, откуда тебе известно, что я хотел ехать, что о путевке хлопотал?

— Знать бы — не дали.

— Да мне и не дали.

Как председатель месткома я сам устраивал Мишке путевку. Но в этом сне все навыворот. Может быть, это я ездил вместо Мишки? Я тоже хотел, только путевки лишней не было. А вдруг была? Сон бросал меня как щепку.

— Садись, Сережка. Не увиливай,— кто-то схватил меня за руку, когда я пробирался между столиками в большом зале.

Я взглянул в лицо спрашивавшего и обмер. Пожалуй, я испугался.

— Садись, садись. Выпьем токайского. Как-никак лучшее в Европе.

Ноги у меня подкосились, и я скорее упал, чем присел к столу. На меня смотрели знакомые печальные глаза. В последний раз я видел их — не оба, только один,— в сорок четвертом, на придунайском шоссе. Олег лежал навзничь, лицо его было залито кровью, вытекавшей оттуда, где только что был правый глаз. В другом застыли испуг и печаль.

Сейчас на меня глядели оба. От правого тянулся по виску кривой розовый шрам.

— Что смотришь, старина? Постарел?

— Я сорок четвертый вспомнил. Когда тебя... тебя...

— Что?

— Когда тебя убили, Олег.

Он улыбнулся.

— Малость ошиблась пулька. Шрам только остался. Если бы правее чуть — конец. Ни глаза бы, ни меня...— Он вздохнул.— Смешно. Тогда не боялся, теперь боюсь.

— Чего?

— Операции. Осколок где-то в груди остался: памятка еще одного ранения. До сих пор с осколком жил, а сейчас говорят: нельзя. На операцию надо.

Знакомые глаза с длинными, почти женскими ресницами улыбались. Лоб оголился у висков и словно стал выше. К углам губ проникли глубокие морщинки. В этом бесконечно дорогом для меня лице все-таки было что-то чужое. Печать времени. Так выглядел бы Олег, если бы остался жив. Но ведь он жив в этом искусственном мире сна. Я уже начал сомневаться, какой же из двух миров настоящий? Мелькнула коварная мысль: вдруг что-то сломалось в лаборатории Фауста и я

останусь здесь навсегда. Буду ли я сожалеть об этом? Не знаю.

Я больно-больно ущипнул себя за руку.

— Зачем? — удивился Олег.

— Мне показалось, что все это сон.

Олег засмеялся и вдруг растаял в розоватом тумане. Знакомый туман. Он слизнул все и почернел. Голос Заргарьяна из темноты спросил меня:

— Вы живы?

— Жив.

— Подымите руку. Движения свободны?

Я помахал рукой в темноте.

— Засучите рукав и расстегните ворот.

Он приложил что-то холодное к моей груди и запястью.

— Не пугайтесь. Обыкновенные датчики. Проверим ваше сердце. Не разговаривайте.

Как он мог видеть в темноте, сквозь которую не проникала ни одна искорка света? Но он видел.

— Порядок,— произнес он довольным голосом,— только пульс малость участился.

— Может быть, прекратим? — спросил откуда-то голос невидимого мне Никодимова.

— Зачем? У Сергея Николаевича нервы спортсмена. Сейчас мы ему еще сон покажем.

— Так это был сон? — спросил я с облегчением.

— Кто знает? — лукаво отозвался Заргарьян.— А вдруг и не сон?

Я не успел ответить. Темнота поглотила меня, как море. Сознание погасло.

СОН С ИСТЕРИКОЙ

Из темноты сверху вырвался поток света, заливая белый операционный стол. Белая простыня закрывала до пояса распростертое на столе тело. Вскрытая грудная клетка обнажала алость кровоточащих внутренних тканей и жемчужную белизну ребер. Глаза оперируемого были закрыты, лицо бескровно и неподвижно. Что-то знакомое было в этом лице: как будто я его видел совсем недавно, эти глубокие морщинки у губ и кривой розовый шрам на правом виске.

У меня в руках зонд, погруженный в рану. Я в белом халате, на голове у меня белая полотняная шапочка, нос и рот в марлевой маске. Так же выглядят люди напротив и рядом со мной. Я никого из них не знаю, узнаю только глаза женщины, стоящей у изголовья. Они прикованы к моим рукам, и такая

тревожная напряженность в них, что кажется, между нами протянута невидимая, тугая-претугая струна. Она тоненько звенит по мере того, как зонд погружается в рану.

Я вспомнил вдруг все, что произошло до этой минуты. Скрип тормозов машины, остановившейся у подъезда, гранитные его ступени, еще мокрые от дождя, перспективу знакомой, часто снившейся мне улицы, а затем почтительную улыбку гардеробщика, поймавшего на лету брошенное ему пальто, неспешный взлет лифта и ослепительную белизну операционной, где я облачался в белый халат и противно долго мыл руки. Я точно вспомнил, что я, именно я, начал операцию, вскрыл скальпелем прочерченную шрамами грудь и мои руки с профессиональной, привычной умелостью резали, кололи, зондировали. Все это промелькнуло в сознании со скоростью звука и исчезло. Я все забыл. Привычная умелость в руках обернулась испуганной дрожью, и с внезапным ужасом я осознал, что не знаю, как и что делать дальше, не умею этого делать и любое дальнейшее промедление будет убийством.

Не понимая, что и зачем я делаю, я вынул зонд из раны и уронил его. Он глухо звякнул. В устремленных на меня глазах над марлевыми масками читался один и тот же вопрос:

— Что случилось?

— Не могу,— почти простонал я.— Мне плохо, товарищи.

Чужими, ватными ногами пошел к двери и, полуобернувшись, увидел, как чья-то спина подвинулась на мое место и негромкий спокойный басок скомандовал старшей сестре:

— Зонд!

«Бежать!» — подсказала мысль. Чтобы никто не видел, чтоб никого не видеть, не читать дальше того, что я уже успел прочесть в этих широко открытых, изумленных, обвиняющих глазах. Ног я не чувствовал. Меня бросило, как шквалом, сквозь хирургическую на площадку между двумя расходившимися под прямым углом коридорами и швырнуло на белый, сияющий эмалевым блеском диван.

«Сейчас я этими руками зарезал Олега»,— сказал я себе и, сжав виски ледяными ладонями, застонал, может быть, даже завыл.

— Что с вами... Сергей Николаевич, голубчик? — услышал я чей-то перепуганный голос.

Человек в таком же халате, как и я, только без шапочки, с лысым, голым черепом встревоженно спрашивал:

— Что случилось? Как операция?

— Не знаю,— сказал я.

— Как же так?

— Я бросил... я ушел...— еле вымолвил я.— Мне стало плохо.

— Кто же оперирует? Асафьев?

— Не знаю.

— Как же вы не знаете?

— Ничего я не знаю! Я даже вас не знаю! Кто вы такой, как вас зовут, где я, черт побери?! — закричал я.

Он потоптался на месте, глядя на меня изумленными, ничего не понимающими глазами, и побежал в ту же дверь, из которой я только что вырвался.

Я посмотрел ему вслед и встал. Рванул за спиной полы завязанного сзади халата — завязки лопнули. Я вытер им руки и бросил на пол. Туда же швырнул и шапочку. В глубине протянувшегося передо мной коридора мелькнула девушка в белом — врач или сестра,— простучала каблучками-шпильками по паркету и скрылась в одной из комнат. Я слепо пошел в ее сторону мимо одинаково белых дверей. Они вели в кабинеты врачей, чьи имена были отпечатаны на карточках в рамках из белой пластмассы. «Д-р Громов С. Н.»,— прочел я на одной из карточек. «Мой» кабинет. Что ж, войдем.

У широкого итальянского окна за «моим» письменным столом сидел Кленов и читал газету.

— Уже? — спросил он сдержанно, но в сдержанности этой прозвучали тревога и страх.

Я молчал.

— Жив!

— А ты почему здесь? — спросил я вместо ответа.

— Ты же сам сказал, чтобы я здесь дожидался,— вспылил Кленов.— Что с ним?

— Не знаю.

Он вскочил:

— Почему?

— Мне стало дурно... Я почти потерял сознание.

— Во время операции?

— Да.

— Кто же оперирует?

— Не знаю.— Я старался не глядеть на него.

— А сейчас почему ты здесь?! Почему не в операционной? — закричал Кленов.

— Потому что я не хирург, Кленов.

— Ты с ума сошел.

Он не оттолкнул, отшвырнул меня плечом, как в хоккейной баталии, и выбежал в коридор. А я бессмысленно сел на стул посреди комнаты, не мог дотащиться даже до письменного стола. «Я не хирург»,— сказал я Кленову. Но как же тогда я мог начать операцию и благополучно довести ее до критической минуты, не вызывая ни в ком сомнений? Значит, во сне так можно? Тогда откуда же этот страх, почти ужас перед слу-

чившимся? Ведь и Олег, и операция, и Кленов, и я сам — все это только призрачный мир сна, и я это знаю. «А вдруг нет?»— сказал Заргарьян. Вдруг нет?

Зазвонил телефон на столе — я отвернулся. Телефон продолжал звонить. Наконец мне это надоело.

— Сережка, это ты? — спросили в трубке.— Ну как?

— Кто говорит? — рявкнул я.

— Не кричи. Уже меня не узнаешь.

— Не узнаю. Кто это?

— Ну, я, я! Галя. Кто же еще?

Галя волнуется — это вполне естественно. Но почему по телефону? Уж кому-кому, а ей следовало бы дожидаться в приемной. Приехал же Кленов.

— Ты что молчишь? — удивилась она.— Неужели неудача?

— Видишь ли...— замялся я.— Не могу сказать тебе ничего определенного. Мне стало плохо во время операции. Продолжает ее ассистент.

— Асафьев?

Опять этот Асафьев! А я знаю, он или не он? И не все ли равно кто, если это только сон?

— Наверное,— сказал я.— Честно говоря, не разглядел. Они все в марлевых масках.

— Ты же не доверяешь Асафьеву. Еще утром сказал, что он хирург только для амбулатории.

— Когда сказал?

— Когда завтракали. Еще за тобой машина не пришла.

Я знал точно, что утром мы с Галей не виделись. Я был дома. И никакой машины у меня вообще нет. Но зачем спорить, если все это сон.

— А с тобой что? Что значит плохо?

— Слабость. Головокружение. Утрата памяти.

— А сейчас?

— Что — сейчас? Ты об Олеге?

— Да не об Олеге — о тебе.

Я даже удивился: откуда у Галки такая черствость? Олег— на операционном столе, а она спрашивает, что со мной?

— Полная атрофия памяти,— сказал я сердито.— Все забыл. Где был утром и где я сейчас, кто ты и кто я и почему я хирург, если один вид скальпеля приводит меня в содрогание.

В трубке молчали.

— Ты слушаешь? — спросил я.

— Я сейчас еду в больницу,— сказала Галя и положила трубку.

Пусть едет. Не все ли равно, когда, куда и зачем? Сны всегда алогичны, только я почему-то наделен способностью рассуждать логически даже во сне. Решимость бежать, созревав-

шая еще с той минуты, когда я покинул операционную, окончательно во мне укрепилась. «Оставлю какую-нибудь записку для приличия и уйду»,— подумал я.

На верхнем листке из блокнота, лежавшего на столе поверх каких-то бумаг, я прочел типографский текст:

«Доктор медицинских наук, профессор Громов Сергей Николаевич».

И тут я вспомнил свой листок из блокнота, на котором мой предполагаемый Гайд начертал таинственную, но указующую надпись. Она оказалась ключом к разгадке. Правда, до самой разгадки я еще не добрался, но ключ уже был в замке. «А вдруг нет?» — ответил мне Заргарьян на мой вопрос, сон ли это. А вдруг я по отношению к доктору медицинских наук, профессору Громову Сергею Николаевичу точно такой же невидимый агрессор, как и мой вчерашний Гайд по отношению ко мне? И не следует ли мне по его примеру оставить такую же указующую запись?

И я тут же записал в блокноте профессора:

«Мы с вами двойники, хотя и живем в разных мирах, а может быть, и в разном времени. К несчастью, наша «встреча» произошла во время операции. Я не смог ее закончить: в моем мире у меня другая профессия. Найдите в Москве двух ученых — Никодимова и Заргарьяна. Они, вероятно, смогут разъяснить вам, что произошло с вами в больнице».

Не перечитывая написанного, я пошел к двери, охваченный одним чувством: куда угодно, только подальше от этой чертовщины. Напрасно: она поджидала меня у порога.

Не успел я открыть дверь, как вошла Лена. Она была в том же халате и шапочке, как в операционной, только без марлевой маски.

Я отступил на шаг и спросил с той же дрожью в голосе, как спрашивали меня:

— Ну как?

Она почти не постарела с тех пор, как я видел ее в последний раз после войны, а прошло, должно быть, лет десять. Но с этой Леной из моего сна я был связан прочнее: нас объединяла общность профессии.

— Осколок вынули,— сказала она, почти не разжимая губ.

— А он?

— Будет жить.— И, помолчав, прибавила: — А ты на другое рассчитывал?

— Лена!

— Почему ты это сделал?

— Потому что случилось несчастье. Потеря памяти. Я вдруг забыл все, что знал, чему учился. Забыл даже профес-

сиональный навык. Я не мог, не имел права продолжать операцию.

— Ты лжешь! — Она с такой злобой прикусила губы, что они побелели.

— Нет.

— Лжешь. Импровизация или раньше сочинил. Думаешь, кто-нибудь поверит этим сказкам? Я потребую специальной экспертизы.

— Требуй,— вздохнул я.

— Я уже говорила с Кленовым. Мы напишем письмо в газету.

— Не напишете. Я никого не обманываю.

— Никого? Я ведь знаю, почему ты это сделал. Из ревности.

Я даже засмеялся:

— К кому?

— Он еще смеется, подлец!

Я не успел схватить ее за руки, как она ударила меня по лицу с такой силой, что я с трудом удержался на ногах.

— Подлец! — повторила она сквозь душившие ее слезы: у нее начиналась истерика.— Убийца... если бы не Володька Асафьев, Олег бы умер на операционном столе... умер, умер!

Внезапная темнота оборвала ее крик.

СОН С ЯРОСТЬЮ

Я словно ослеп и оглох, а тело в параличе прижало к паркету. Я не мог даже пошевелиться, ничего не чувствуя, только холодок навощенного дерева у виска. Сколько часов или минут, а быть может, секунд продолжалось это ощущение, не знаю. Я потерял чувство времени.

Вдруг черноту перед глазами размыло, как тушь на ватмане, когда закрашивают тускло-серым очерченное пространство. Здесь оно обрисовывалось стенами неширокого коридора, освещенного несильной электролампочкой. Коридор впереди упирался в крутую лесенку, уводившую в квадрат дневного света. Я стоял, прижавшись виском к навощенной панели, и держался за поручень, протянутый по стене вдоль коридора.

Лена по-прежнему смотрела на меня, но смотрела совсем по-другому — с непонятным сочувствием и симпатией.

— Укачало? — спросила она.— Тошнит?

Меня действительно чуточку подташнивало, особенно когда взлетевший, подобно качелям, пол вдруг уходил из-под ног и что-то спазматически скручивало желудок.

— Килевая качка,— пояснила она.— Входим в порт.

— Куда? — не понял я.

— Мы уже в Стамбуле, профессор. Очнитесь.

— Где?

Она засмеялась. Я по-прежнему не мог уловить смысл происшедшего. Новая дьявольская метаморфоза. Из одного сна в другой! Феерия в красках.

— Выйдем на палубу. На ветру станет легче.— Она потащила меня за собой.— Кстати, посмотрим, что это такое. Хотя едва ли разглядим. Дождь идет.

Дождь не шел, а висел кругом тусклым сетчатым маревом. Панорама берега сквозь эту сетку казалась бесформенным абстрактным пятном, кое-где прочерченным мутными бликами минаретов и куполов, отсвечивавших то синью, то зеленью. А над ними, топя и обгоняя друг друга, кишели тучи.

— Придется плащ надевать,—поморщилась Лена, прикрывая глаза рукой от мелких водяных брызг.— В таком виде на берег не пойдешь. Ты в какой каюте, в седьмой? Подожди меня у трапа или на берегу. Ладно?

Теперь я знал номер «своей» каюты. Что ж, пойдем за плащом. Рейд по чужим морям и странам всегда любопытен. Даже в дождь и даже во сне.

В каюте я застал Мишку Сычука, суетившегося у своей койки. Он рассовывал по карманам какие-то бумажки и свертки и, казалось, был совсем не обрадован моим появлением.

— Идет дождь? — спросил он.

— Идет,— ответил я машинально, недоумевая, почему сны упорно сталкивают меня с одними и теми же персонажами.— Ты чем это карманы набиваешь?

Мишка почему-то смутился.

— Так... сувенирчики для обмена. Значит, дождь идет...— повторил он, пряча глаза.— Плохо. Собьемся в кучу... друг за дружку держаться будем. А то еще потеряешься...

И тут я вспомнил, что сотворил Мишка в действительности. В том же Стамбуле. Наяву, не во сне.

— Как наш теплоход называется? — спросил я.

— А ты забыл? — ухмыльнулся Мишка.

— Склероз. Почему-то не могу вспомнить.

— «Украина». А что?

Он почему-то подозрительно посмотрел на меня.

Все совпадало. Время во сне отставало почти на месяц. Тем лучше: я могу изменить ход событий.

— Да так...— Для убедительности я даже зевнул.— Дождь идет... Давай не пойдем.

— Куда не пойдем?

— На берег. Будут гонять полдня по дождю: мечеть, музей... Тоска. Давай у нас в баре посидим, пивка выпьем.

— Сказал! — усмехнулся Мишка.— Последний иностранный порт, а мы в баре.

— Почему последний? Будут еще и Варна, и Констанца. Очень красивые города, между прочим. И дождь к тому времени перестанет.

— Демократические,—пренебрежительно протянул Мишка.

— А тебе обязательно нужны капиталистические?

— За путевку деньги плачены. Что положено, получаем.

— Тридцать сребреников,— сказал я.— Иудины денежки.

В «Метрополе», кстати говоря, тоже во сне я уже выложил это Мишке. И зря. Выстрелил вхолостую. Мишка путевку не достал и в рейс не поехал. А сейчас я его накрыл вовремя.

— Я ведь знаю, что ты задумал,— продолжал я.— На первой же остановке автобуса два слова полицейскому — и на такси в американское посольство. Да не мельтешись, спокойней! Ну, а в посольстве холуйски попросишь политического убежища.

На мгновение Мишка превратился в соляной столб, в библейский соляной столб, увековеченный женой Лота. Но только на мгновение. Тихий ужас от сознания того, что кто-то заглянул тебе в душу, в самую потаенную ее муть, мелькнул в глазах его и тут же исчез. Актер он был превосходный.

— Трепло,— проговорил он с показным добродушием и потянулся к вешалке за плащом.

— Я не шучу, Сычук,— сказал я.

— Что это значит?

— Что я знаю о предполагаемой подлости и намерен ей помешать.

— Интересно, как? — вырвалось у Мишки.

— Очень просто. Ты до отплытия не выйдешь из каюты.

— Я, между прочим, не поддаюсь гипнозу. Так что отваливай,— нахально объявил он и начал одеваться.

Я пересел на край койки к самой двери. Потом обернул носовым платком левую руку. Я левша и бью левой. Бью без размаха, с напряжением всех мускулов руки и плеча. Удар приобретает дополнительную тяжесть корпуса. Этому меня научил Сажин, чемпион Союза по боксу в полутяжелом весе в конце сороковых годов. Я был тогда помоложе и с удовольствием выслушивал его советы, когда после звонка из редакции забегáл к нему в тренировочный зал. Там где-нибудь в уголке я правил его заметки— он собирался стать журналистом,— а потом просил его «показать кое-что». Он показывал. «Боксером ты, конечно, не будешь,— говорил он,— староват, да и данных нет. Но ежели что, в драчке какой-нибудь за себя постоишь. Только руки береги».

Мишка тотчас же заметил мои манипуляции и заинтересовался:

— А платок зачем?

— Чтобы кожу на костяшках не сбить.

— Ты что... серьезно?

— Я же сказал тебе: не шучу.

— Так стоит мне крикнуть...

— Не крикнешь. Тебе же хуже. Я расскажу всем, что ты задумал,— и привет, как говорится.

— А кто поверит?

— Поверят. Раз сигнал поступил, будут думать, как и что... А на берег не пустят.

— Так я про тебя то же самое могу сказать.

— Так обоих не пустят. А дома разберемся.

Мишка, как был, одетый, в плаще и кепке, присел против меня на своей койке.

— Ты сумасшедший. Ну откуда тебе взбрело в голову, что я останусь?

— Во сне видел.

— Я серьезно спрашиваю.

— Какая разница? Важно, что я не ошибся. По глазам твоим вижу, что не ошибся.

— Я же советский человек, Сережка.

— Ты не советский человек. Ты подлец. Я и на фронте знал, что ты трус и дрянь, только разоблачить вовремя не сумел.

На щеках Мишки выступили красные пятна. Пальцы нервно перебирали пуговицы на плаще, то застегивая их, то расстегивая. Должно быть, он понял наконец, что хорошо рассчитанный план его может сорваться.

— Я не закричу, конечно. На скандал не пойду.— В голосе у него появились слезливые нотки.— Но даю тебе слово, что все это вздор. Чистый вздор.

— Что у тебя в карманах?

— Я уже сказал тебе: ерунда всякая. Значки, карточки.

— Покажи.

— А почему я должен тебе показывать?

— Не показывай. Ложись на койку и лежи.

Он встал и шагнул к двери. Я прислонился к ней спиной.

— Пусти,— сказал он сквозь зубы и схватил меня за плечи.

Он был сильнее меня и только по трусости не рассчитывал на это. Но сейчас он явно шел напролом.

— Пусти! — повторил он и рванул меня на себя.

Я толкнул его коленом, он отлетел и, согнувшись, кинулся на меня, намереваясь ударить головой. Но не успел. Я ударил левой в лицо, в верхнюю челюсть. Он пошатнулся и грохнулся

на пол между койкой и умывальником. Из рассеченной губы побежала алая струйка. Он тронул ее пальцем, увидал кровь и взвизгнул:

— Помогит...

И тут же осекся.

— Кричи,— сказал я,— кричи громче. Не страшно.

Глаза его сузились, источая одну только злобу.

— Все одно сбегу,— прошипел он,— в другой раз сбегу.

— А ты имей мужество объявить об этом дома. Официально, во всеуслышание. Скажи откровенно, что тебе не нравится наш строй, наше общество. Выклянчи визу в каком-нибудь посольстве. Думаешь, будем задерживать? Не будем. С удовольствием вышвырнем. Нам людская дрянь не нужна.

— Так отчего же сейчас не пускаешь?

— Потому что втихую ползешь. Обманом. Потому что людей подводишь, которые тебе доверяли.

Мишка вскочил и, оскалившись, снова бросился на меня. Он уже не стремился во что бы то ни стало выйти из каюты, им просто владела слепая ярость, лишавшая человека разума.

Я снова сбил его с ног. Пригодились все-таки уроки Сажина. На этот раз он упал на койку, только сильно ударился головой о стенку каюты. Мне даже показалось, что он потерял сознание. Но он пошевелился и застонал. Я сложил полотенце, намочил его в умывальнике и положил ему на лицо.

В дверь постучали. Я искоса взглянул на Мишку. Он даже не повернулся. Я нажал ручку дверного замка. Незнакомый мне человек в совсем мокром плаще — дождь, очевидно, еще усилился — спросил:

— Вы идете, Сергей Николаевич?

— Нет,— ответил я,— не пойду. Моему соседу плохо: укачало, должно быть. Я с ним побуду.

Мишка по-прежнему не двигался, даже головы не поднял. Я выждал, пока не смолкли шаги в коридоре, и предупредил его:

— Я в бар пошел, а дверь, уж извини, запру.

Дверь я запер, но до бара не дошел. Опять внезапная и ставшая уже привычной темнота вернула меня в знакомое кресло со шлемом и датчиками.

Первое, что я услышал,— был конец разговора, явно не рассчитанного на мое пробуждение.

— Путешественник во времени — это старо. Я бы сказал: прогулка в пятом измерении.

— А может, в седьмом?

— Сформулируем. Что с ним?

— Пока без сознания.

— Сознание уже вернулось. Лягушка-путешественница.

— А энцефалограмма?

— Записана полностью.

— Я же говорил: форменный самородок.

— Включать изолятор?

— Хочешь сказать: выключать? Давай ноль три, потом ноль девять. Пусть глаза привыкают.

Темноту чуть-чуть размыло. Как будто где-то открыли щелку и впустили крохотный лучик света. Еще невидимый, он уже сделал видимыми окружавшие меня предметы. С каждой секундой они становились все отчетливее, и вскоре передо мной возник кинематографический лик Заргарьяна.

— Аве гомо амици те салютант[1]. Переводить надо?

— Не надо,— сказал я.

Стало совсем светло. Шлем космонавта легко соскочил с головы и взлетел вверх. Спинка кресла сама подтолкнула меня, как бы приглашая встать. Я встал. Никодимов уже сидел на своем прежнем месте, ожидая меня.

— Ну как, переживаний много? — спросил он.

— Много. Рассказывать?

— Ни в коем случае. Вы устали. Расскажете завтра. Все, что вам нужно сейчас,— это отдохнуть и как следует выспаться. Без сновидений.

— Значит, это были сновидения? — В моем вопросе прозвучало невольное разочарование.

Никодимов встал.

— Обмен информацией отложим до завтра,— улыбнулся он.— А сегодня ничего не рассказывайте, даже дома. Главное — спать, спать, спать!

— А я засну?

— Еще как! После ужина проглотите эту таблетку. А завтра опять встретимся. Скажем, днем, когда вам удобнее. Рубен Захарович за вами заедет.

— Я его и сейчас домчу. С ветерком,— сказал Заргарьян.

— И ни о чем не думать. Не вспоминать. Не переживать,— прибавил Никодимов.— А урби эт орби[2] ни слова. Переводить надо?

— Не надо,— сказал я.

ПРОДВИЖЕНИЕ К РАЗГАДКЕ

Я сдержал слово и только в общих чертах рассказал Ольге о происшедшем. Мне и самому не хотелось даже отраженно вновь переживать все увиденное в искусственных снах. Я и

[1] Здравствуй, человек! Друзья приветствуют тебя *(лат.)*.

[2] Городу и миру... *(лат.)*

Ольгу не спрашивал ни о чем, что имело бы к ним хоть какое-нибудь отношение. Только поздно ночью, уже в постели, я не выдержал и спросил:

— Мы получали когда-нибудь приглашения от венгерского посольства?

— Нет,— удивилась Ольга.— А что?

Я подумал и спросил опять:

— А кого из твоих знакомых зовут Федор Иванович и кто такая Раиса?

— Не знаю,— еще более удивилась она,— нет у меня таких знакомых. Хотя погоди... Вспомнила. Ты знаешь, кто это Федор Иванович? Директор поликлиники. Не нашей, а той, министерской, куда меня на работу приглашали. А Раиса — это его жена. Она меня и сватала. Ты где-нибудь познакомился с ними?

— Завтра расскажу, а сейчас у меня мозги набекрень. Извини,— пробормотал я, уже засыпая.

Проснулся я поздно, когда Ольга уже ушла, оставив мне завтрак на столе и кофе в термосе. Вставать не хотелось. Я лежал и не спеша перебирал в памяти события вчерашнего дня. Сны, показанные мне в лаборатории Фауста, вспоминались особенно отчетливо — не сны, а живая, конкретная явь, памятная до мелочей, до пустяков, какие и в жизни-то обычно не запоминаешь. А тут вдруг запомнились даже бумага на блокноте в больничном кабинете, цвет пуговиц на Мишкином плаще, стук упавшего на пол зонда или вкус абрикосовой палинки. Я вспомнил всю эту пеструю путаницу, сопоставил разговоры, поступки и взаимоотношения и пришел к странным выводам. Очень странным, хотя странность их отнюдь не умаляла убедительности.

Меня поднял с постели телефонный звонок. Звонил Кленов, уже узнавший от Зойки о моей встрече с Заргарьяном. Пришлось применить болевой прием.

— Тебе знакомо понятие «табу»?

— Предположим.

— Так вот: Заргарьян — это табу, Никодимов тоже табу, и телепатия табу. Все.

— Рву одежды свои.

— Рви. Кстати, у тебя дача в Жаворонках?

— Садовый участок, ты хочешь сказать. Только не в Жаворонках. Нам предлагали два варианта: Жаворонки и Купавну. Я выбрал Купавну.

— А мог выбрать Жаворонки?

— Мог, конечно. А почему тебя это интересует?

— Меня многое интересует. Например, кто сейчас пресс-атташе в венгерском посольстве? Кеменеш?

— У тебя не энцефалит, случайно?

— Я серьезно спрашиваю.

— Кеменеш — пресс-атташе в Белграде. В Москву его не послали.

— А могли послать?

— Понимаю, ты пишешь диссертацию о сослагательном наклонении.

В общем-то, Кленов почти угадал. В своих попытках раскрыть бродившую вокруг меня тайну я уже много раз в это утро спотыкался на сослагательном наклонении. Что было бы, если бы... Если бы Олег не был убит под Дунафельдваром? Если бы не он, а я женился на Гале? Если бы после войны я пошел на медицинский, а не на факультет журналистики? Если бы Ольга согласилась на предложение министерской поликлиники? Если бы Тибор Кеменеш поехал работать не в Белград, а в Москву? Если, если, если... Сослагательное наклонение расточало всю гофманскую чертовщину. Я мог быть на приеме в венгерском посольстве. Я мог поехать на «Украине» вокруг Европы. Я мог быть доктором медицинских наук и оперировать живого Олега. Все это могло быть в действительности, если...

И еще одно «если». Если у Заргарьяна я видел не сны, а гипотетическое течение жизни, в чем-то измененной в зависимости от тех или иных обстоятельств? Тогда законное право голоса получала фантастическая история Джекиля и Гайда. Если журналист Громов мог на какое-то время сделаться доктором медицины, то разве не мог доктор Громов тоже на какое-то время стать куда менее значительным Громовым-журналистом. Он и стал им тогда на Тверском бульваре. В одно мгновение, налитое тушью и розовым туманом, как Гайд, впрыгнувший в тело Джекиля из губчатого кресла в лаборатории Фауста. Ведь у доктора Громова были свои Никодимов и Заргарьян, управлявшие теми же таинственными силами.

Значит, и Заргарьян с Никодимовым и я одинаково участвовали в одновременном течении каких-то параллельных, нигде не пересекавшихся жизней. Сколько их — две, пять, шесть, сто, тысяча? И где протекают они, в каком пространстве и времени? Вспомнилась Галина беседа с моим двойником о множественности миров. А если это уже не фантастическая гипотеза, а научное открытие, еще одна разгаданная тайна материи?

Но разум отказывался принять это объяснение, тем более мой разум, не тренированный в точных науках. Я мог только посетовать на ограниченность нашего гуманитарного образования: что даже просто поразмышлять, подумать об открывшейся мне проблеме у меня, как говорится, не хватило ума.

В таком состоянии меня и застала Галя, забежавшая к нам по дороге на работу. Еще вчера вечером она узнала от Ольги, что я отправился с визитом к Заргарьяну, и ее буквально распирало желание узнать, нашел ли я ключ к разгадке.

— Нашел,— сказал я,— только повернуть его в замке не могу: силенок не хватает.

Я рассказал ей о кресле в лаборатории Фауста и о трех увиденных «снах». Она долго молчала, прежде чем спросить:

— Он постарел?

— Кто?

— Олег.

— А что ты хочешь? Двадцать лет прошло.

Она опять задумалась. Я боялся, что личное заслонит в ней любопытство ученого. Но я ошибся.

— Интересно другое,— сказала она, помолчав.— То, что ты увидал его постаревшим. С морщинами. Со шрамом, которого не было. Невозможно!

— Почему?

— Потому, что ты не читал Павлова. Ты не мог видеть во сне того, чего не видел в действительности. Слепые от рождения не видят снов. А каким ты знаешь Олега? Мальчишкой, юнцом. Откуда же морщины сорокалетнего человека, откуда шрам на виске?

— А если это не сон?

— У тебя уже есть объяснение? — быстро спросила Галя.

Мне даже показалось, что она догадывается, какое именно объяснение кажется мне самым вероятным и самым пугающим.

— Пока еще только попытка,— нерешительно отозвался я.— Все пытаюсь сопоставить мою историю и эти «сны»... Если Гайд мог сыграть такую штуку с Джекилем, то почему бы им не поменяться ролями?

— Мистика.

— А ты помнишь свой разговор с Гайдом о множественности миров? Параллельных миров, параллельных жизней?

— Чушь,— отмахнулась Галя.

— Ты просто не хочешь серьезно подумать,— упрекнул я ее.— Проще всего сказать «чушь». О гипотезе Коперника тоже так говорили.

Гипотезой Коперника я ее не сразил, но над моей гипотезой заставил задуматься.

— Параллельные миры? Почему параллельные?

— Потому что нигде не пересекаются.

Галя откровенно и пренебрежительно рассмеялась.

— Не сочиняй научной фантастики, не получится. Непере-

секающиеся миры? — Она фыркнула.— А Никодимов и Заргарьян нашли пересечение? Окно в антимир?

— Кто знает? — сказал я.

А узнал я об этом через два часа в лаборатории Фауста.

СЕЗАМ, ОТВОРИСЬ!

Честно говоря, я шел сюда, как на экзамен, с той же внутренней дрожью и страхом перед неведомым. Еще и еще раз я перебрал в памяти сны, виденные во время опыта,— по привычке я их так и называл, хотя уже окончательно пришел к мысли, что сны эти были совсем не снами: сопоставил все напрашивавшиеся на такое сопоставление детали, систематизировал выводы.

— Отрепетировали? — весело спросил встретивший меня Заргарьян.

— Что отрепетировал? — смутился я.

— Рассказ, конечно.

Он видел меня насквозь. Но злость во мне тут же подавила смущение.

— Мне тон ваш не нравится.

Он только засмеялся в ответ.

— Выкладывайте все, что вам не нравится. Магнитофон еще не включен.

— Какой магнитофон?

— «Яуза-десять». Великолепная чистота звука.

К вмешательству магнитофона я подготовлен не был. Одно дело — просто рассказывать, другое — перед магнитофоном. Я замялся.

— Садитесь и начинайте,— подбодрил меня Никодимов.— Вы же оставляете след в науке. Вообразите, что перед вами хорошенькая стенографистка.

— Только без охотничьих рассказов,— ехидно прибавил Заргарьян.— Пленка сверхчувствительная с настройкой на Мюнхгаузена: тотчас же выключается.

Я по-мальчишески показал ему язык, и моя скованность сразу пропала. Рассказ я начал без предисловий, в свободной манере, и чем дальше, тем он становился картиннее. Я не просто рассказывал, я пояснял и сравнивал, заглядывал в прошлое, сопоставлял увиденное с действительностью и свои переживания с последующими соображениями. Вся напускная ироничность Заргарьяна тотчас же испарилась: он слушал с жадностью, останавливая меня только для того, чтобы переменить катушку. Я воскрешал перед ними все запечатлевшееся в лабораторном кресле: и ярость Елены в больнице, и переко-

шенное злобой лицо Сычука, и неживую улыбку Олега на операционном столе — все, что запомнилось и поразило и поражало даже сейчас, когда я передавал магнитофонной пленке еще живое воспоминание.

Катушка еще крутилась, когда я закончил: Заргарьян не сразу выключил запись, зафиксировавшую, должно быть, еще целую минуту молчания.

— Значит, пассажа не видели,— огорченно заметил он.— И дороги к озеру не было. Жаль.

— Погоди, Рубен,— остановил его Никодимов,— не об этом же речь. Ведь почти идентичные фазы. То же время, те же люди.

— Не совсем.

— Ничтожные ведь отклонения.

— Но они есть.

— Математически их нет.

— А разница в знаках?

— Разве она меняет человека? Время, может быть. Если минус-фаза, возможно встречное время.

— Не убежден. Может быть, только иная система отсчета.

— Все равно скажут: фантастика! А разум?

— Если вовсе не грешить против разума, то вообще ни к чему не придешь. Кто это сказал? Эйнштейн это сказал!

Разговор не становился понятнее. Я кашлянул.

— Извините,— смутился Никодимов.— Увлеклись. Покоя не дают ваши сны.

— Сны ли? — усомнился я.

— Сомневаетесь? Значит, думали. А может, начнем объяснение с вашего объяснения?

Я вспомнил все насмешки Гали и, не боясь снова услышать их, упрямо повторил миф о Джекиле и Гайде, встречающихся на перекрестках пространства и времени. Пусть антимир, пусть множественность, пусть мистика, собачий бред, но другого объяснения у меня не было.

А Никодимов даже не улыбнулся.

— Физику изучали? — вдруг спросил он.

— По Перышкину,— признался я и подумал: «Началось!»

Но Никодимов только погладил бородку и сказал:

— Богатая подготовка. Ну и как же с его помощью вы представляете себе эту множественность? Скажем, в декартовых координатах?

Поискав в памяти, я нашел уэллсовскую «Утопию», куда въезжает мистер Барнстепл, не сворачивая с обычной шоссейки.

— Отлично,— согласился Никодимов,— будем танцевать от этой печки. С чем сравнивает наше трехмерное пространство

Уэллс? С книгой, в которой каждая страница — двухмерный мир. Значит, можно предположить, что в многомерном пространстве могут так же соседствовать трехмерные миры, движущиеся во времени приблизительно параллельно. Это по Уэллсу. Когда он писал свой роман, гениальный Дирак был еще юношей, а его теория получила известность только в тридцатых годах. Вы, конечно, достаточно ясно представляете себе, что такое «вакуум Дирака»?

— Приблизительно,— сказал я осторожно.— В общем, это не пустота, а что-то вроде нейтринно-антинейтринной кашицы. Как планктон в океане.

— Курьезно, пожалуй, но смысл есть,— опять согласился Никодимов.— Этот, как вы говорите, планктон, этот нейтринно-антинейтринный газ и образует как бы границу между миром со знаком плюс и миром со знаком минус. Есть ученые, которые ищут антимиры в чужих галактиках, я же предпочитаю искать их рядом. И не только симметрию мир-антимир, а безграничность этой симметрии. Как в шахматах мы имеем бесконечное разнообразие комбинаций, так и здесь бесконечное сочетание миров-антимиров, соседствующих друг с другом. Вы спросите, как я представляю себе это соседство? Как стабильное, геометрически изолированное существование? Нет, совсем иначе. Упрощенно — это мысль о неисчерпаемости материи, о бесконечном движении ее, образующем эти миры, по какой-то новой, еще не познанной координате, а точнее, по некоей фазовой траектории...

— Ну, а как же обыкновенное движение? — перебил я недоуменно.— Я тоже частица материи, а передвигаюсь в пространстве независимо от вашего квазидвижения.

— Почему «квази»? Просто одно независимо от другого. Вы передвигаетесь в пространстве независимо и от вашего движения во времени. Сидите ли вы дома или куда-нибудь едете — все равно стареете одинаково. Так и здесь: в одном мире вы можете путешествовать по морю, а в другом — в то же время играть в шахматы или обедать у себя дома. Более того, в бесконечном повторении миров вы можете ездить, болеть, работать, а в другом бесконечном множестве подобных миров вас вообще нет: несчастный случай, самоубийство или попросту не родились — родители не встретились. Надеюсь, вам понятно?

— Вполне.

— Притворяется,— сказал Заргарьян.— Ему сейчас живой пример нужен — сразу поймет. Представьте себе обыкновенную киноленту. В одном кадре вы летите на самолете, в другом — стреляете, в третьем — убиты. В одном — дерево растет, в другом — его срубили. В одном — памятник Пушкину стоит

на Тверском бульваре, в другом — в центре площади. Словом, раскадрованная жизнь, движущаяся, скажем, вертикально, сверху вниз или снизу вверх. А теперь представьте себе уже раскадрованную жизнь, но еще движущуюся от каждого кадра горизонтально, слева направо или справа налево. Вот вам и приблизительная модель материи в многомерном пространстве. А в чем, по-вашему, самая существенная разница между этой моделью и моделируемым объектом?

Я не ответил: какой смысл гадать?

— Идентичных кадров нет, а идентичные миры существуют.

— Похожие? — переспросил я.

— Не только,— вмешался Никодимов.— Мы еще не знаем закона, по которому движется материя в этом измерении. Возьмем простейший — синусоидальный. Обычную синусоиду: малейшее изменение аргумента дает соответствующее изменение функции, а значит, и другой мир. Но ровно через период мы получим то же значение синуса и, следовательно, тот же мир. И так далее до бесконечности...

— Значит, я мог попасть в такой же мир, как и наш? Точь-в-точь такой же?

— Даже разницы бы не заметили,— сказал Заргарьян.

— А как вы объясняете мой случай на бульваре?

— Так же, как и вы. Джекиль и Гайд.

— Громов из другого мира в моем обличье?

— Вот именно. Какие-то Заргарьян и Никодимов переместили сознание вашего двойника. Это произошло не мгновенно, не сразу. Ваше сознание сопротивлялось, спорило — отсюда этот дуализм в первые минуты,— потом подчинилось агрессору.

Я высказал предположение, что мой злополучный эпизод в больнице был обменным визитом, но Никодимов усомнился:

— Возможно, но маловероятно. С большей вероятностью можно предположить, что это был Громов, в чем-то подобный вашему агрессору. Та же профессия, тот же круг знакомств, та же семейная ситуация. Но я уже говорил вам о возможности почти полной или даже совсем полной идентичности.

— Образно говоря,— перебил Заргарьян,— вы побывали в мирах, границы которых подогнаны к границам нашего мира, внутренне касаются. Назовем их ближайшими, условно конечно. А еще более интересны миры, пересекающие наш или, скажем, вообще не имеющие с нами точки касания. Там время или обогнало наше или отстало. И кто знает, на сколько? — Он помолчал и прибавил почти мечтательно: — «За какой-то березкой, давно знакомою в тишине, открывается вдруг н е з н а е м о е — неизвестное, странное, незнакомое...»

— Вы не договариваете,— усмехнулся я, вспомнив те же стихи.— Там дальше иначе: «...грустное дело езда в незнаемое. Ведь не каждый приедет туда, в незнаемое...»

На столе зазвонил телефон.

— Не каждый,— задумчиво повторил Никодимов,— наш шеф не приедет.

Телефон продолжал звонить.

— Легок на помине,— сказал Заргарьян.— Не подходи.

— Все равно найдет.

Езда в незнаемое была отложена до вечерней встречи в ресторане «София», где свобода от начальственного вмешательства была полностью обеспечена.

NOSCE TE IPSUM[1]

Ольгу я не видел до ужина — она задерживалась в поликлинике. Поговорить о случившемся было не с кем: Галя не звонила, а Кленова я тщательно избегал из-за порой нестерпимой его дидактичности и даже сбежал из-за этого с редакционной летучки.

Почти час я бродил по улицам, дабы не прийти слишком рано и не торчать с глупым видом у ресторанного входа. Пытаясь собраться с мыслями, посидел у памятника Пушкину, но все услышанное утром было так ново и так удивительно, что даже обдумать это я так и не мог. В конце концов весь ход мыслей свелся к тому, как оценить мою встречу с учеными. Как небывалую удачу, счастье газетчика или как угрозу, которую всегда таит в себе непознаваемое? Я больше склонялся к «счастью газетчика». Если бы лабораторный кролик мог рассуждать, он, вероятно бы, гордился своим общением с учеными. Гордился и я. Вторичным признаком счастья газетчика был тип ученого, к какому принадлежали мои друзья. Я где-то читал, что ученые делятся на классиков и романтиков. Классики — это те, кто развивает новое на основе старого, прочно утвердившегося в науке. А романтики — это мечтатели. Они интересуются смежными, даже весьма отдаленными областями знаний. Они выдвигают новое не только на основе старого, но чаще всего с помощью совершенно неожиданных ассоциаций. Свое восхищение этим типом ученого я и выразил как-то в одном журнальном очерке. Теперь меня столкнуло с ним счастье газетчика. Только романтики могли так смело и безрассудно грешить против разума, и, каюсь, мне очень хотелось продолжить свое участие в этом грехе.

---

[1] Познай самого себя *(лат.)*.

С такими мыслями я и пришел на свидание не раньше, а даже позже моих новых друзей. Они уже дожидались меня у входа — улыбающийся Заргарьян и скромно тушующийся за ним Никодимов в старомодном чопорном пиджаке. Ему очень подошел бы стоячий крахмальный воротничок, какие носили в начале века: таким ветхозаветно строгим выглядел сейчас старый ученый. Зато Заргарьян был поистине неотразим: в темном дакроновом костюме с галстуком, спущенном ровно настолько, чтобы видеть позолоченную булавку, скреплявшую воротничок рубашки, закругленный на уголках,— он настолько пленил воображение тучного, лысоватого мэтра, что тот даже не заметил нас с Никодимовым. Мы шли сзади, с улыбкой наблюдая, как суетился он перед долговязым Рубеном, придирчиво оглядывая заказанный нами укромный столик в углу.

Когда все было подано, Заргарьян сказал, разливая коньяк:

— Первый тост мой — за случайные встречи.

— Почему за случайные?

— Вы даже вообразить не можете, как велика роль случая в моей жизни. Случайно познакомился с Зоей, случайно через нее с вами. И даже с Павлом Никитичем тоже случайно. Прочел лет пять назад в «Вестнике Академии наук» его статью о концентрации субквантового биополя — и сразу к нему. Тут и оказалось, что разными путями мы подошли к одной и той же проблеме.

Он замолчал. Я вспомнил слова Кленова о том, что они оба работали в совершенно различных областях науки, но спросить не успел. Заргарьян тотчас же поймал мою мысль.

— Странный союз физика и нейрофизиолога,— засмеялся он.

— Вы чужие мысли читаете?

— А то нет? Я ведь телепат, мне это по штату положено. Я многим занимался в своей области, но больше всего, пожалуй, меня интересовали сны. Почему мы часто видим во сне то, чего никогда в жизни не видели? Как это связать с павловским учением о том, что сны суть отражение действительности? Какие раздражения воздействуют в этих случаях на клетки головного мозга? Может быть, привычные — свет, звуки, прикосновения, запахи? А если нет? Тогда должен быть какой-то новый, неизвестный нам вид раздражения...

Я вспомнил, почему мои сны привлекли его внимание: они не были отражением действительности. Но, оказывается, такие сны видели многие. Только сны эти не были стойкими, как пояснил Заргарьян, они забывались, туманились в сознании, а главное — не повторялись.

— Я рассуждал так,— продолжал он,— если, по Павлову, сны отражают виденное наяву, но испытуемый этого не видел, значит, это видел кто-то другой, но кто? И каким образом виденное им запечатлелось в сознании другого?..

Я перебил его:

— Тогда мой пассаж, и улица, и дорога к озеру — это чьи-то чужие сны?

— Безусловно.

— Чьи?

— Тогда я еще не знал. Возникало предположение о гипнопередаче. Но внушение не бывает случайным, внушением ниоткуда. Оно всегда направлено от гипнотизера к гипнотизируемому. Ни в одном из рассмотренных мною случаев такого внушения не было. Я предположил телепатическую передачу. В парапсихологии мы называем мозг, передающий сигнал, индуктором, а мозг принимающий — перципиентом. И опять ни в одном исследованном случае не удалось обнаружить индуктор. Характерный пример — ваши наиболее стойкие сновидения. Кто вам их передал? Откуда? Вы терялись в догадках. Терялся и я, склоняясь к предположению о каких-то иных существованиях человека в ином образе, может быть, в ином мире. Но это уже было мистикой, я стоял у закрытой двери. Открыл мне ее Павел Никитич, вернее, его статья. Тогда я сказал «Сезам, отворись!» Так было, Павел Никитич?

— Почти так,— добродушно подтвердил Никодимов,— только зря колоритные детали опустил. Сезам не так уж легко открылся: я бирюк, с людьми уживаюсь плохо. Ассистент мой — он сбежал потом, когда нас прижимать начали,— принимал тебя за сумасшедшего, помню, даже районному психиатру звонил. Но тебя и это не остановило. Вот так и началось наше содружество — со случайной встречи. Поэтому тост поддерживаю. Я тоже «за».

— А потом? — спросил я.— От идеи до ее экспериментальной проверки не так уж близко.

— Мы и ползли. Идея математическая привела к физике поля. Мы начали с биотоков. Ведь биотоки мозга — это электромагнитные поля, возникающие в его нервных клетках. В своем излучении они образуют как бы единое энергополе — так называемое сознание и подсознание человека. Возьмем вашу аналогию. Поля Джекиля и Гайда только подобны, они несовместимы, или, как мы говорим, антипатичны. Пока вы бодрствуете, когда ваш мозг занят, антипатия полей постоянна и неизменна. Но вот вы заснули. И картина меняется: антипатия уже ослаблена, поля «двойников» как бы находят друг друга, и ваши сны невольно повторяют виденное другим. А для того чтобы Джекиль стал Гайдом, необходимо полное совме-

щение полей, возможное лишь при исключительной активности поля индуктора. Вот эту исключительность мы у вас и обнаружили.

Я с увлечением слушал Никодимова, не все доходило до сознания, кое-что ускользало; я словно глохнул, теряя путеводную нить в этом лабиринте полей, двойников, частот и ритмов, но усилием воли снова ловил ее, как прерванную многоточием речь.

— ...опытным путем мы пришли к выводу, что при взаимопередаче полей активируются волны с частотой, значительно большей частоты обычного альфа-ритма. Этот вид частотности мы назвали каппа-ритмом. И чем выше частота каппа-волн, тем ярче сновидения, принятые спящим рецептором. А далее уже нетрудно было вывести и закономерность. Полное совмещение полей связано с резким возрастанием частотности. Так возникла идея концентратора, или преобразователя биотоков. Создавая направленный поток излучения, мы как бы перемещаем ваше сознание, находя ему идентичное за пределами нашего трехмерного мира. Конечно, мы еще в самом начале пути. Движение поля по фазовой траектории пока хаотично. Мы еще не можем управлять им, не можем сказать точно, где именно вы очнетесь — в настоящем ли, в прошлом или будущем относительно к нашему времени. Нужны еще десятки опытов...

— Я готов,— перебил я.

Никодимов не ответил.

Из магнитофона, включенного на эстраде каким-то юным любителем танцев, доносился к нам хрипловатый мальчишеский голос. Он плыл над гудевшим залом, над стрижеными и лысыми головами, над потемневшим от вина хрусталем, плыл, поражая силой и чистотой чувства, неожиданного в этом тесном, прокуренном зале.

— С подтекстом песенка,— сказал Заргарьян.

Я прислушался.

«Ты — моя судьба,— пел по-английски мальчишка,— ты — мое счастье...»

— Вы — наша судьба,— серьезно, даже торжественно повторил Заргарьян,— и, может быть, счастье. Вы.

Я смущенно отвел глаза. Что ни говори, а приятно быть чьим-то счастьем и чьей-то судьбой. Никодимов тотчас же уловил мое движение и укрывшуюся за ним тщеславную мысль.

— А может быть, и мы — ваша судьба,— сказал он.— Вы еще многое узнаете, и прежде всего о себе. Ведь вы только частица той живой материи, которая и есть «вы» в бесконечно сложном пространстве-времени. Словом, как говорили древние римляне, nosce te ipsum — познай самого себя.

Я готов был познать себя во всей совокупности измерений, фаз и координат, но Ольге не сказал об этом, сообщив лишь в кратких чертах о своей беседе с учеными и обещав подробнее рассказать все на следующий день. То был день ее рождения, который мы обычно проводили вдвоем, но на этот раз я пригласил гостей — Галю и Кленова. Очень хотелось позвать и Заргарьяна с Никодимовым, как виновников неожиданного, если не сказать — чудесного, в моей жизни, и я даже намекнул им об этом по выходе из ресторана, но Павел Никитич или не выслушал меня внимательно, или не понял по рассеянности, а Заргарьян шепнул конфиденциально:

— Оставьте. Все равно не придет: бирюк, сам признается. А я подойду, когда вырвусь, может, попозже.

Он действительно приехал позже всех, когда разговор за столом уже превратился в спор, яростный до хрипоты и упрямый до невежливости, когда забываешь буквально обо всем, кроме своих собственных выкриков.

Мой рассказ о пережитом во время опыта и о последующей беседе с учеными произвел впечатление маниакального бреда. Кленов промычал неопределенно:

— Н-да...

И замолчал. А Галя, покрасневшая, с сердитыми искорками в глазах, возбужденно воскликнула:

— Не верю!

— Чему?

— Ничему! Муть какая-то, как говорят ребята у меня в лаборатории. Авантюра. Тебя просто мистифицируют.

— А зачем его мистифицировать? — отозвался Кленов.— С какой целью? И потом, Никодимов и Заргарьян не рвачи и не прожектеры. Добро бы рекламы хотели, а то ведь молчать требуют. Не те это имена, чтобы допустить даже тень мысли о квазинаучной авантюре.

— Все новое в науке, все открытия подготовлены опытом прошлого,— горячилась Галя.—А в чем ты видишь здесь этот опыт?

— Часто новое опровергает прошлое.

— Разные бывают опровержения.

— Точно. Эйнштейну тоже вначале не верили: еще бы, Ньютона опроверг!

Ольга упорно молчала, не вмешиваясь в спор, пока на это не обратила внимание Галя:

— А ты почему молчишь?

— Боюсь.

— Кого?

— Вы спорите о каких-то абстрактных понятиях, а Сергей непосредственно участвовал в опыте. И, как я понимаю, на этом не остановится. А если правда все, что он рассказывает, то едва ли это выдержит мозг обыкновенного человека.

— А ты уверена, что я обыкновенный? — пошутил я.

Но она шутки не приняла, даже не ответила. Разговором опять завладели Кленов и Галя. Я должен был ответить на добрый десяток вопросов, снова повторяя рассказ о виденном и пережитом в лаборатории Фауста.

— Если Никодимов докажет свою гипотезу,— сдалась наконец Галя,— то это будет переворотом в физике. Величайшим переворотом в нашем познании мира. Если докажет, конечно,— прибавила она упрямо.— Опыт Сергея еще не доказательство.

— А меня другое интересует,— задумчиво сказал Кленов.— Если принять априори верность гипотезы, то сейчас же возникает другой, не менее важный вопрос: как развивалась жизнь каждой пространственной фазы? Почему они подобны? Я говорю не о физическом, а о социальном их облике. Почему в каждом перевоплощении Сергея Москва — это Москва нынешняя, послевоенная, столица СССР, а не царской России? Ведь если гипотеза Никодимова будет доказана, вы понимаете, о чем прежде всего спросят на Западе? Спросят политики, историки, попы, журналисты. Обязательно ли подобно во всех мирах их общественное лицо? Обязательно ли одинаково их историческое развитие?

— Никодимов говорил и о мирах с другим течением времени, может быть, даже со встречным временем. Теоретически можно попасть и к неандертальцам, и на земной звездолет.

— Я не об этом,— отмахнулся нетерпеливо Кленов.— Как ни гениально было бы открытие Заргарьяна и Никодимова, оно не снимает всей важности вопроса о социальном облике каждого мира. Для марксистской науки все ясно: физическое подобие предполагает и социальное подобие. Везде развитие производительных сил определяет и характер производственных отношений. Но ты представляешь себе, что запоют певцы личностей и случайностей? Варвары могли не дойти до Рима, а татары — до Калки. Вашингтон мог проиграть войну за независимость США, а Наполеон выиграть битву при Ватерлоо. Лютер мог не стать главой реформации, а Эйнштейн не открыть теории относительности. У Брэдбери эта зависимость исторического развития от нелепой случайности доведена до абсурда. Путешественник во времени случайно давит какую-то бабочку в юрском периоде, и вот уже меняется картина президентских выборов в США: вместо прогрессиста и радикала выбирают президентом фашиста и мракобеса. Мы-то знаем,

что Голдуотера все равно не избрали бы, даже если в юрском периоде передавили бы сразу всех динозавров. А победи Наполеон при Ватерлоо, его разгромили бы где-нибудь под Льежем. И вместо Лютера кто-нибудь возглавил бы Реформацию, и не будь Эйнштейна, кто-то все равно открыл бы теорию относительности. Даже не поднявшийся до высот исторического материализма Белинский более ста лет назад писал, что и в природе и в истории владычествует не слепой случай, а строгая непреложная внутренняя необходимость.

Кленов говорил с той же профессиональной назидательностью лектора, которая меня так раздражала на редакционных летучках, и чисто из духа противоречия я возразил:

— Ну, а представь себе, что в каком-то соседнем мире не было Гитлера? Не родился. Была бы тогда война или нет?

— Сам не можешь ответить? А Геринг, Гесс, Геббельс, Рем, Штрассер, наконец? Уж кому-нибудь Круппы бы передали дирижерскую палочку. И я вижу твою великую миссию, Сережка,— ты не смейся, именно великую,— не только в том, чтобы доказать гипотезу Никодимова, но и в том, чтобы закрепить позиции марксистского понимания истории. Что везде и всегда при одинаковых условиях жизни на нашей планете, во всех ее изменениях, фазах или как вы там их называете, классовая борьба всегда определяла и будет определять развитие общества, пока оно не стало бесклассовым.

В этот момент и появился Заргарьян с хризантемами в целлофане. И десяти минут не прошло, как он покорил и Ольгу и Галю, а профессоральная назидательность Кленова сменилась почтительным вниманием первокурсника.

Он сразу перехватил нить разговора, рассказал о предполагаемых Нобелевских лауреатах, о своей недавней поездке в Лондон, перебросился с Галей замечаниями о будущем лазерной техники, а с Ольгой — о роли гипноза в педиатрии и похвалил статью Кленова в журнале «Наука и жизнь». Но он определенно и, как показалось мне, умышленно отводил разговор от моего участия в их научном эксперименте. А когда часы пробили одиннадцать, он поймал мой недоумевающий взгляд и сказал с присущей ему усмешечкой:

— Я ведь знаю, о чем вы думаете. Почему Заргарьян молчит об эксперименте? Угадал? Да просто потому, милый, что не хотелось сразу уходить. После того, что я сейчас вам скажу, уже никакой разговор невозможен. Заинтриговал? — засмеялся он.— А ведь все очень просто: завтра мы собираемся поставить новый опыт и просим вас об участии.

— Я готов,— твердо сказал я.

— Не торопитесь,— остановил меня Заргарьян, и в голосе его появилась уже знакомая мне серьезность, даже взволно-

ванность.— Новый опыт более длителен, чем предыдущий. Может быть, это несколько часов, может быть, сутки. Кроме того, опыт рассчитан на более удаленные фазы. Я говорю «удаленные» только для того, чтобы остаться в границах понятного. Речь едва ли идет о расстояниях, тем более что определить их мы не можем, да и то, что под этим подразумевается, для активности биотоков не имеет значения. Распространение излучения практически мгновенно и не зависит ни от пространственного расположения фаз, ни от знака поля. И я должен предупредить вас, что мы не знаем степени риска.

— Значит, это опасно? — спросила Галя.

Ольга ни о чем не спросила, только зрачки ее словно стали чуточку больше.

— Я не могу определенно ответить на это.— Заргарьян, казалось, ничего не хотел утаивать от меня.— При неточной наводке наш преобразователь может потерять контроль над совмещенным биополем. Каковы будут последствия для испытуемого, мы не знаем. Теперь представьте себе другое: в этом мире он без сознания, в другом оно придано человеку, допустим, летящему в это время на самолете. Что будет с сознанием в случае авиакатастрофы, мы тоже не знаем, успеет ли преобразователь переключить биополе, переключится ли оно само, или просто погибнут два человека и в том мире, и в этом?

Ответом Заргарьяну было молчание. Он поднялся и резюмировал:

— Я уже говорил вам, что после моего заявления светский разговор исключается. Вы свободны, Сергей Николаевич, в своем решении. Я заеду за вами утром и с уважением выслушаю его, даже если это будет отказ.

Мы проводили его в молчании, в молчании вернулись и долго не начинали разговора, пока наконец Галя не спросила меня в упор:

— Ты, вероятно, ждешь от меня совета?

Я молча пожал плечами: какое значение могли иметь сейчас ее «да» или «нет»?

— Я уже поверила в этот бред. Представь себе, поверила. И если б я годилась на это, если бы мне предложили, как тебе... я бы не задумывалась над ответом. А советовать? Что ж, пусть Ольга советует.

— Я не буду отговаривать тебя, Сергей,—сказала Ольга.— Сам решай.

Я все еще молчал, не отводя глаз от пустого бокала. Ждал, что скажет Кленов.

— Интересно,— вдруг проговорил он, ни к кому не обращаясь,— раздумывал ли Гагарин, когда ему предложили первым вылететь в космос?



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МИРА

Нам мало всего шара земного,
нам мало определенного времени.
У меня будут тысячи шаров земных
и всё время!

Уолт Уитмен. «Песня радостей»

Но, глядя вдаль с ее миражем сизым,
Как высшую хочу я благодать
Одним глазком взглянуть на коммунизм!

Илья Сельвинский. «Сонет»

ЭКСПЕРИМЕНТ

Заргарьян заехал за мной утром, когда Ольга еще не ушла на работу. Мы оба встали раньше, как всегда бывало, когда кто-то из нас уезжал в отпуск или в командировку. Но ощущение необычности, непохожести этого утра на все предыдущие туманило и окна, и небо, и душу. Мы умышленно не говорили о предстоящем, привычно перебрасываясь стертыми пятачками междометий и восклицаний. Я все искал пропав-

шую куда-то зубную щетку, а Ольга никак не могла добиться надлежащей температуры воды от душевого смесителя. Наверно, волновалась.

— То горячо, то холодно. Подкрути.

Я подкручивал, но у меня тоже не получалось.

— Волнуешься?

— Ни капельки.

— А я боюсь.

— Ну и зря. Ничего же не случилось тогда. Просидел два часа в кресле, и все. Даже голова потом совершенно не болела. Я даже удивился.

— Ты же знаешь, что сейчас — это не два часа. Может быть, десять, может быть, сутки. Опыт длительный. Даже не понимаю, как его разрешили.

— Если разрешили, значит, все в порядке. Можешь не сомневаться.

— А я сомневаюсь.— Голос ее зазвенел на высокой ноте.— Прежде всего как врач сомневаюсь. Сутки без сознания, без врача...

— Почему — без врача? — перебил я ее.— У Заргарьяна, помимо его специального, и медицинское образование. И датчиков до черта. Все под контролем: и давление, и сердце, и дыхание. Чего же еще?

У нее подозрительно заблестели глаза.

— Вдруг не вернешься...

— Откуда?

— А ты знаешь откуда? Сам ничего не знаешь. Какое-то перемещающееся биополе. Миры. Блуждающее сознание. Даже подумать страшно.

— А ты не думай. Летают же люди на самолетах. Тоже страшно, а летают. И никто не волнуется.

У нее задрожали губы. Полотенце выскользнуло из рук и упало на пол. Я даже обрадовался, что зазвонил телефон и я мог избежать развития опасной темы.

Звонила Галя. Она хотела заехать к нам, но боялась, что не успеет.

— Заргарьяна еще нет?

— Пока нет. Ждем.

— Как настроение?

— Не бардзо. Ольга плачет.

— Ну и глупо. Я бы радовалась на ее месте: человек на подвиг идет!

— Давай без пафоса, Галка.

— А что? Так и оценят, когда можно будет. Не иначе! Прыжок в будущее! Даже голова кружится при мысли о такой возможности.

— Почему — в будущее? — засмеялся я. Мне захотелось ее поддразнить.— А вдруг в какой-нибудь юрский период? К птеродактилям.

— Не говори глупостей,— отрезала Галя: Фома неверующий уже превратился в фанатика.— Это не предполагается.

— Человек предполагает, бог располагает. Ну, скажем, не бог, а случай.

— А ты чему учился на факультете журналистики? Тоже мне марксист!

— Деточка,— взмолился я,— не принуждай меня каяться сейчас в философских ошибках. Покаюсь по возвращении.

Она рассмеялась, словно речь шла о поездке на дачу.

— Ни пуха ни пера. Привези сувенир.

— Интересно, какой я ей привезу сувенир — коготь птеродактиля или зуб динозавра? — сказал я Кленову, который уже сидел за утренним кофе.

Я был тронут. Он не поленился прийти проводить меня в мое не совсем обычное путешествие и даже успел успокоить Ольгу. Слезинки в глазах ее испарились.

— На динозавров поглазеть тоже невредно,— философически заметил Кленов.— Организуешь этакое сафари во времени. Большой шум будет.

Я вздохнул.

— Не будет шума, Кленыч. И сафари не будет. Встретимся с тобой где-нибудь в смежной жизнишке. В кино сходим на «Дитя Монпарнаса». Палинки опять выпьем. Или цуйки.

— Воображения у тебя нет,— рассердился Кленов.— Не в смежную жизнишку тебя посылают. Помнишь, что сказал Заргарьян? Вполне возможны миры с каким-то другим течением времени. Допустим, оно отстало от нашего. Но не на миллион же лет! А вдруг всего на полстолетия? Очнешься, а на улице — Октябрь семнадцатого!

— А если на столетие?

— Тоже неплохо! В «Современник» пойдешь работать. Выходит же у них какой-нибудь «Современник» с таким направлением. И Чернышевский за столом сидит. Скажешь, не интересно? И слюнки не текут?

— Текут.

Мы оба захохотали, да так громко, что Ольга воскликнула:

— Мне плакать хочется, а они смеются!

— У нас недостаток хлористого натрия в организме,— сказал Кленов.— Потому и слезные железы пересохли. А женам героев слезы вообще противопоказаны. Давайте лучше

коньячку выпьем. А то очутишься в будущем, а там «сухой закон».

От коньячка пришлось отказаться, потому что Заргарьян уже звонил у входной двери. Он выглядел строгим и официальным и за всю дорогу до института не обронил ни слова. Молчал и я. Только тогда, когда он поставил свою «Волгу» в шеренгу ее институтских подруг и мы поднялись по широким ступеням к двери, Заргарьян сказал мне, впервые назвав меня по имени, сказал без улыбки и без акцента, каким он всегда кокетничал, когда язвил или посмеивался:

— Не думай, что я боюсь или встревожен. Это Никодимов считает возможным какой-то процент риска: проблема, мол, еще не изучена, опыта маловато. А я считаю, что все сто процентов наши! Уверен в успехе, у-ве-рен! —закричал он на всю окрестную рощицу.— А молчу потому, что перед боем лишнего не говорят. Тебе все ясно, Сережа?

— Все ясно, Рубен.

Мы пожали друг другу руки и опять замолчали до нашего появления в лаборатории. Ничто не изменилось здесь со времени моего первого посещения. Те же мягкие тона пластмасс, золотое поблескивание меди, зеркальность никеля, дымчатая непрозрачность стекловидных экранов, чем-то напоминающих телевизорные, только увеличенные в несколько раз. Мое кресло стояло на обычном месте в паутине цветных проводов, толстых, тонких и совсем истонченных, как серебристые паутинки. Западня паука, поджидающего свою жертву. Но кресло, мягкое и уютное, к тому же ласково освещенное из окна вдруг подкравшимся солнцем, не настраивало на тревогу и настороженность. Скорее всего оно напоминало сердце в путанице кровеносных сосудов. Сердце пока не билось: я еще не сел в кресло.

Никодимов встретил меня в своем накрахмаленном до окаменелости белом халате, все с той же накрахмаленной жестковатой улыбкой.

— Я должен был бы только радоваться тому, что вы согласились на этот рискованный опыт,— сказал он мне после обмена дежурными любезностями,— для меня как для ученого это может быть последний, решающий шаг к цели. Но я должен просить вас еще раз продумать свое решение, взвесить все «за» и «против», прежде чем начнется самый эксперимент.

— Все уже взвешено,— сказал я.

— Погодите. Взвесим еще раз. Что стимулирует ваше согласие на опыт? Любопытство? Стимул, по правде говоря, не очень-то уважительный.

— А научный интерес?

— У вас его нет.

— Что же влечет журналистов, скажем, в Антарктику или в джунгли? — отпарировал я.— Научного интереса у них тоже нет.

— Значит, любознательность. Согласен. И душок сенсации, в какой-то мере общий для всех газетчиков, пусть даже в лучшем смысле этого слова. Что ж, газетчик Стэнли, ради сенсации поехавший на поиски ученого Ливингстона, в итоге стяжал равноценную славу. Может быть, она и вам кружит голову, не знаю. Представляю, как с вами говорил Рубен,— усмехнулся Никодимов и вдруг продолжил голосом Заргарьяна.— Да ведь это подвиг, еще невиданный в истории науки! Слава миропроходца, равноценная славе первых завоевателей космоса! Он, наверное, так и сказал: миропроходца?

Я искоса взглянул на Заргарьяна. Тот слушал, ничуть не обиженный, даже улыбался. Никодимов перехватил мой взгляд.

— Сказал, конечно. Я так и думал. Бочка меду! А я сейчас добавлю в эту бочку свою ложку дегтя. Я не обещаю вам, милый друг, ни славы миропроходца, ни аплодисментов, ни встречи на Красной площади. Даже подвала в газете не обещаю. В лучшем случае вы вернетесь домой с запасом острых ощущений и с сознанием, что ваше участие в опыте оказалось небесполезным для науки.

— А разве этого мало? — спросил я.

— Смотря для кого. О неоценимости вашего вклада знаем только мы трое. Ваше устное свидетельство о виденном, вернее, только одно это устное свидетельство — еще не доказательство для науки. Всегда найдутся скептики, которые могут объявить и наверняка объявят его выдумкой, а приборов, какие могли бы записать и воспроизвести зрительные образы, возникшие в вашем сознании,— таких приборов, к сожалению, у нас еще нет.

— Возможно и другое доказательство,— сказал Заргарьян.

Никодимов задумался. Я с нетерпением ждал ответа. О каком доказательстве говорил Заргарьян? Все материальные свидетельства моего пребывания в смежных мирах там и остались: и оброненный во время операции зонд, и моя записка в больничном блокноте, и разбитая Мишкина губа. Я не унес ничего, кроме воспоминаний.

— Я сейчас вам объясню, что подразумевает Рубен,— начал медленно, словно раздумывая, Никодимов.— Он имеет в виду возможность вашего проникновения в мир, обогнавший нас во времени и в развитии. Если допустить такую возможность и, конечно, если вы сумеете ее использовать, то

ваше сознание сможет запечатлеть не только зрительные образы, но и образы абстрактные, скажем, математические. Например, формулу какого-нибудь неизвестного нам физического закона или уравнение, выражающее в общепринятых математических символах нечто новое для нас в познании окружающего мира. Но все это только гипотеза. Ничем не лучше гадания на кофейной гуще. Мы попробуем переместить ваше сознание куда-то дальше непосредственно граничащих с нашим трехмерным пространством миров, но даже не можем объяснить вам, что значит «дальше». Расстояния в этом измерении отсчитываются не в микронах, не в километрах и не в парсеках. Здесь действует какая-то другая система отсчета, нам пока не известная. И, самое главное, мы не знаем, чем вы рискуете в этом эксперименте. В первом мы не теряли из виду ваше энергетическое поле, но можно ли поручиться, что мы не потеряем его сейчас? Словом, я не обижусь, если вы скажете: «Давайте отложим опыт».

Я улыбнулся. Теперь уже Никодимов ждал ответа. Ни одна морщинка его не дрогнула, ни один волосок его длинной поэтической шевелюры не растрепался, ни одна складочка на халате не сморщилась. Как не похожи они с Заргарьяном! Вот уж поистине «стихи и проза, лед и пламень». А пламень за мной уже рвался наружу: громыхнув стулом, Заргарьян встал.

— Ну что ж, давайте отложим,— намеренно помедлил я, лукаво поглядывая на Никодимова,— отложим... все разговоры о риске до конца опыта.

Все, что произошло дальше, уложилось в несколько минут, может быть, даже секунд, не помню. Кресло, шлем, датчики, затемнение, обрывки затухающего разговора о шкалах, видимости, о каких-то цифрах в сопровождении знакомых греческих букв — не то пи, не то пси — и, наконец, беззвучность, тьма и розовый туман, крутящийся вихрем.

ДЕНЬ В ПРОШЛОМ

Вихрь остановился, туман приобрел прозрачность и тускло-серый оттенок скорее весеннего, чем зимнего утра. Я увидел захламленный двор в лужах, затянутых синеватым ледком, грязно-рыжую корочку уже подтаявшего снега у забора и совсем близко от меня темно-зеленый автофургон. Задние двери его были открыты настежь.

Сильный удар в спину бросил меня на землю. Я упал в лужу, ледок хрустнул, и левый рукав ватника сразу намок.

— Ауфштеен! — крикнули сзади.

Я с трудом поднялся, еле держась на ногах, и не успел даже оглянуться, как новый удар в спину швырнул меня к фургону. Из темной его пасти протянулись чьи-то руки и, подхватив меня, втянули в кузов. Дверь позади тотчас же захлопнулась, громыхнув тяжелой щеколдой.

Потом я услышал урчание мотора, металлический скрип кузова, хруст льда под колесами автофургона. На повороте меня тряхнуло, ударив головой о скамейку. Я застонал.

И опять знакомые руки протянулись ко мне, подняли и посадили на скамейку. В окружавшей нас полутьме я не мог разглядеть лица человека, сидевшего напротив.

— Держись за доску,— предупредил он.— Дороги у нас дай бог.

— Где мы? — спросил я, как мне показалось, каким-то чужим голосом, глухим и хриплым.

— Известно где, в душегубке.— Сосед потянул носом воздух.— Да нет... Кажись, не пахнет. Значит, на исповедь везут.

— Где мы? — снова спросил я.— Город какой?

— Колпинск город. Райцентр бывший. Глянь в окошко — увидишь.

Я подтянулся к маленькому квадратному оконцу без стекол, затянутому тремя железными прутьями. В крохотном проеме мелькнули водокачка, подъездные пути в проломе забора, одноэтажные приземистые домишки, вывеска комиссионного магазина, написанная черной краской по желтой рогожке, голые тополя у обочины замызганного тротуара. Пустынная уличка тянулась долго и неприглядно. Редкие прохожие, казалось, никуда не спешили.

— Вы меня извините,— сказал я своему спутнику,— у меня что-то с памятью.

— Тут не только память — душу выбьют,— живо откликнулся он.

— Ничего не помню. Какой сейчас год, месяц, день... Вы не бойтесь, я не сумасшедший.

— Я уж теперь ничего не боюсь. Да и с психом иметь дело сподручней, чем с иудой. А год сейчас трудный — сорок третий год. Либо январь в самом конце, либо февраль в самом начале. Ну, а день помнить незачем: все одно до утра не доживем. Вы в какой камере?

— Не знаю,— сказал я.

— В шестой, должно быть. Туда вчера сбитого летчика привезли. Прямо из городской больницы. Подлечили и привезли. Не вас, случайно?

Я промолчал. Теперь вспомнилось, как это было, вернее, как могло быть. В январе сорок третьего я летел на Боль-

шую землю из урочища Скрипкин бор в партизанском краю Приднепровья. Близ Колпинска нас накрыли немецкие зенитные батареи. Самолет тогда чудом прорвался, но в этой фазе пространства-времени мы, должно быть, не прорвались. А в больницу, вероятно, привезли не сбитого летчика, а раненого пассажира. А из больницы — в шестую камеру и оттуда на «исповедь», как сказал мой спутник. Что он подразумевал под этим, было ясно без уточнения.

Больше мы не разговаривали, и, только когда машина остановилась и грохнула щеколда на двери, он что-то шепнул мне на ухо, но что, я так и не расслышал, а переспросить не успел: он уже спрыгнул на мостовую и, отстранив конвоира, помог мне спуститься. Удар приклада в спину тотчас же отшвырнул его к подъезду. За ним последовал и я. Немецкие солдаты спешили по бокам, визгливо покрикивая:

— Шнелль! Шнелль!

Нас разделили уже на первом этаже, где моего спутника — лица его я так и не рассмотрел — увели куда-то по коридору, а меня поволокли по лестнице в бельэтаж, именно поволокли, потому что каждый пинок посылал меня в нокдаун. Так продолжалось до комнаты с голубыми обоями, где под стать им восседал за письменным столом тучный блондин с такими же голубыми глазами. Его черный эсэсовский мундир сидел на нем, как школьная курточка, да и сам он походил на растолстевшего школьника с рекламы немецких кондитерских изделий.

— Ви имеет право сесть. Вот здесь. Хир.— И он указал на плюшевое кресло у стола, должно быть заимствованное из реквизита местного городского театра.

Ноги у меня подкашивались, голова кружилась, и я сел, не скрывая удовольствия, что и было тут же замечено:

— Ви совсем выздоравливайт. Очень хорошо. А теперь говорить правду. Вархейт! — сказал мальчикоподобный эсэсовец и выжидательно замолчал.

Молчал и я. Страха не было. От страха спасало ощущение иллюзорности, отстраненности всего происходящего. Ведь это случилось не в моей жизни и не со мной, и это хилое, измученное тело в грязном ватнике и разбитых солдатских ботинках принадлежало не мне, а другому Сергею Громову, живущему в другом времени и пространстве. Так утешали меня физика и логика, а физиология болезненно опровергала их при каждом вздохе, при каждом движении. Сейчас это тело было моим и должно было получить все то, что ему предназначалось. Я тревожно спрашивал себя, хватит ли у меня сил, хватит ли воли, выдержки, мужества, внутреннего достоинства, наконец?

В дни войны было легче. Мы все были подготовлены к таким случайностям всей обстановкой военных лет, всем строем тогдашней жизни и быта, всем духом суровой и очень строгой к человеку эпохи. Был готов, вероятно, и Сергей Громов, которого я сменил сейчас в этой комнате. Но готов ли я? На какое-то мгновение мне стало холодно и — боюсь признаться — страшно.

— Ви меня понимать? — спросил эсэсовец.

Я кивнул:

— Вполне.

— Тогда говорить. Вифиль зольдатен Столбиков хат? Иметь в отряде? Зольдатен, партизанен. Сколько?

— Не знаю,— сказал я.

Я не солгал. Я действительно не знал численности всех партизанских соединений, находившихся под командованием Столбикова. Она все время менялась. То какие-то группы уходили в глубокую разведку и по неделям не возвращались, то отряд пополнялся за счет соединений, оперировавших на соседних участках. Кроме того, у моего Столбикова был один состав, а у Столбикова, живущего в этом пространстве-времени, мог быть другой — больше или меньше. Любопытно, если бы я рассказал обо всем, что знал, совпало ли бы это с действительностью, интересовавшей эсэсовца? Судя по знакам отличия, это был оберштурмфюрер.

— Говорить правду,— повторил он строже.— Так есть лучше. Вархейт ист бессер.

— А я и вправду не знаю.

Голубые его глаза заметно побагровели.

— Где ваш документен? Хир! — закричал он и швырнул на стол мой бумажник (я не был убежден, что это мой, но догадывался).— Мы все знать. Аллес!

— Если знаете, зачем спрашиваете! — сказал я совершенно спокойно.

Он не успел ответить: зажужжал зуммер полевого телефона у него на столе. С неожиданным для него проворством толстяк схватил трубку и вытянулся. Лицо его преобразилось, запечатлев послушание и восторг. Он только поддакивал по-немецки и щелкал каблуками. Потом убрал «мой» бумажник в стол и позвонил.

— Вас уводить сейчас,— сказал он мне.— Кейне цейт. Три часа в камере.— Он ткнул большим пальцем вниз.— Подумать, вспомнить и опять говорить! Иначе плохо. Зер шлехт.

Меня отвели в подвал и втолкнули в сарай без окон. Я потрогал стены и пол. Сырой, липкий от плесени камень, на земляном полу — жидкая грязь. Ноги меня не держали, но

лечь я не рискнул, а сел к стенке на растопыренные пальцы — все-таки суше.

Предоставленная мне отсрочка позволяла надеяться на благополучный исход. Опыт может закончиться, и удачливый Гайд покинет поверженного в грязь Джекиля. Но я тут же устыдился этой мыслишки. И Галя, и Кленов, не моргнув, назвали бы меня трусом. Никодимов и Заргарьян не назвали бы, но подумали. Может быть, где-то в глубине души подумала бы об этом и Ольга. Но я, к счастью, подумал раньше. О многом подумал. О том, что я отвечаю за двоих — за него и за себя. Как бы он поступил, я догадывался, могу даже сказать — знал. Ведь он — это я, та же частица материи в одной из форм своего существования за гранью наших трех измерений. Случай мог изменить его судьбу, но не характер, не линию поведения. Значит, все ясно. У меня не было выбора, даже права на дезертирство с помощью никодимовского волшебства. Если бы это случилось сейчас, я попросил бы Никодимова вернуть меня обратно в этот сарай.

Должно быть, я заснул здесь, несмотря на сырость и холод, потому что мной овладели сны. Его сны. Усатый Столбиков в папахе, немолодая женщина в ватнике с автоматом через плечо, кромсающая ножом рыжий каравай хлеба, голые ребятишки на берегу пруда в зеленой ряске. Я сразу узнал этот пруд и кривые сосны на берегу и тут же увидел ведущую к этому пруду дорогу меж высоких глинистых откосов. То был уже мой сон, издавна запомнившийся и всегда непонятный. Теперь я точно знал его происхождение.

Сны сократили мою отсрочку. Мальчишкообразный, щекастый эсэсовец вновь затребовал меня к себе. На сей раз он не улыбался.

— Ну? — спросил он, как выстрелил.— Будем говорить?

— Нет,— сказал я.

— Шаде,— протянул он.— Жаль. Положить руку на стол. Пальцы так.— Он показал мне пухлую свою ладонь с растопыренными сардельками-пальцами.

Я повиновался. Не сразу и не скажу, что без страха, но ведь и к зубному врачу войти порой страшно.

Толстяк вынул из-под стола деревяшку с ручкой, похожую на обыкновенную столярную киянку, и крикнул:

— Руиг!

Деревянный молоток рассчитанно саданул меня по мизинцу. Хрустнула кость, зверская боль пронизала руку до плеча. Я еле удержался, чтобы не вскрикнуть.

— Хо-ро-шо? — спросил он, с удовольствием отчеканивая слоги.— Ви говорить или нет?

— Нет,— повторил я.

Киянка опять взвилась, но я невольно отдернул руку.

Толстяк засмеялся.

— Рука беречь, лицо не беречь,— сказал он и тем же молотком ударил меня по лицу.

Я потерял сознание от боли и тут же очнулся. Где-то совсем близко разговаривали Никодимов и Заргарьян:

— Нет поля.

— Совсем?

— Да.

— Попробуй другой экран.

— Пробовал. То же.

— А если усилить?

Молчание, потом ответ Никодимова:

— Есть. Но очень слабая видимость.

— Может, он спит?

— Нет. Активизацию гипногенных систем мы зарегистрировали полчаса назад. Потом он проснулся.

— А сейчас?

— Не вижу.

— Усиливаю.

Я не мог вмешаться. Я не чувствовал своего тела. Где оно было? В лаборатории или в камере пыток?

— Есть поле,— сказал Никодимов.

Я открыл глаза, вернее, приоткрыл их — даже слабое движение век вызывало острую, пронизывающую боль. Что-то теплое и соленое текло по губам. Руку как будто жгли на костре.

Вся комната от пола до потолка, казалось, была наполнена мутно дрожащей водой, сквозь которую тускло просматривались две фигуры в черных мундирах. Один был мой толстяк, другой выглядел складнее и тоньше.

Они разговаривали по-немецки отрывисто и быстро. Немецкий я знаю плохо и потому не вслушивался. Но, как мне показалось, разговор шел обо мне. Сначала я услышал фамилию Столбикова, потом свою.

— Сергей Громов? — удивленно переспросил тонкий и что-то сказал толстяку.

Тот забежал ко мне сзади и протер мне лицо носовым платком, пахнувшим духами и пóтом. Я даже не двинулся.

— Громов... Сережка,— повторил по-русски и совсем без акцента второй эсэсовец и нагнулся ко мне.— Не узнаешь?

Я всмотрелся и узнал постаревшее, но все еще сохранившее давно памятные черты лицо моего одноклассника Генки Мюллера.

— Мюллер,— прошептал я и опять потерял сознание.

Очнулся я уже в другой комнате, жилой, но неуютной, меблированной с претензией на мещанский шик. Пузатая горка с хрусталем, буфет красного дерева, плюшевый диван с круглыми валиками, ветвистые оленьи рога над дверью и копия с «Мадонны Мурильо» в широкой позолоченной раме — все это либо накапливалось здесь каким-то деятелем районного масштаба, либо свезено было сюда из разных квартир порученцами гауптштурмфюрера, оформлявшими гнездышко для начальственного отдохновения.

Сам гауптштурмфюрер, расстегнув мундир, лениво потягивался на диване с иллюстрированным журналом в руках, а я украдкой наблюдал за ним из сафьянового кресла у стола, накрытого к ужину. Забинтованная моя рука уже почти не болела, и есть хотелось адски, но я молчал и не двигался, ничем не выдавая себя в присутствии своего бывшего однокашника.

Я знал Генку Мюллера с семи лет. Мы вместе пришли в первый класс школы в тихом арбатском переулке и до девятого класса делили все школьные невзгоды и радости. Старший Мюллер, специалист по трикотажным машинам, приехал в Москву из Германии вскоре после рапалльского договора, работал сначала в альтмановской концессии, а потом где-то в «Мострикотаже». Генка родился уже в Москве и в школе никем не почитался за иностранца. Он говорил так же, как и мы все, тому же учился, читал те же книги и пел те же песни. В классе его не любили, да и мне не нравились его заносчивость и бахвальство, но жили мы в одном доме, сидели на одной парте и считались приятелями. С годами же это приятельство увядало: сказывалась возраставшая разница во взглядах и интересах. А когда после гитлеровской оккупации Польши Мюллеры всей семьей переселились в Германию, Генка, уезжая, позабыл со мной даже проститься.

Правда, мой Генка Мюллер был совсем не тот Мюллер, который лежал сейчас на диване в носках без сапог, да и я сам был совсем не тот Громов, который, весь забинтованный, сидел напротив в красном сафьяновом кресле. Но, как показал опыт, фазы смежных существований не меняли в человеке ни темперамента, ни характера. Значит, и мой Генка Мюллер имел все основания вырасти в Гейнца Мюллера, гауптштурмфюрера войск СС и начальника колпинского гестапо. А следовательно, и я мог вести себя с ним соответственно.

Он опустил журнал, и взгляды наши встретились.

— Проснулся наконец,— сказал он.

— Скорее, очнулся.

— Не симулируй. После того как наш маг и волшебник доктор Гетцке ампутировал тебе палец и сделал кое-какие косметические штрихи, ты спишь уже второй час. Как сурок.

— А зачем? — спросил я.

— Что — зачем?

— Косметические штрихи зачем?

— Личико поправили. Крейман с молотком перестарался. Ну, а теперь опять красавчиком станешь.

— Наверно, у господина Мюллера есть невеста на выданье,— засмеялся я.— Так он опоздал.

— Господина Мюллера ты брось! Есть Генка Мюллер и Сережка Громов. Уж как-нибудь они сговорятся.

— Интересно, о чем? — спросил я.

Мюллер встал, потянулся и сказал, зевая:

— Что ты все «о чем» да «зачем»? Я тебя из могилы вытащил. Тоже спросишь — зачем?

— Не спрошу. Осведомителя из меня хочешь сделать или еще какую-нибудь сволочь. Не гожусь.

— Для могилы годишься.

— Ты тоже,— отпарировал я.— В могилу еще успеется, а сейчас жрать охота.

Он захохотал.

— Это ты верно сказал, что в могилу еще успеется.— Он подсел к столу и налил коньяку себе и мне.— Водка у нас дрянная, а коньяк отличный. Привозят из Парижа. Мартель. За что пьем?

— За победу,— сказал я.

Он захохотал еще громче.

— Смешишь ты меня, Сережка. Мудрый тост. Пью.

Он выпил и прибавил с кривой усмешкой:

— А второй выпью за то, чтобы из этой дыры скорее выбраться. У меня в Берлине дядька со связями. Обещает перевод этим летом. В Париж или в Афины. Подальше от выстрелов.

— А что, досаждают? — усмехнулся я.

— А то нет? Так и ждешь, что какой-нибудь гад шарахнет из-за угла гранатой. Моего предшественника уже кокнули. А теперь меня приговорили. Я и приговор получил.

— Значит, не заживешься,— равнодушно заметил я.

Не закусывая, он снова наполнил бокал. Руки его дрожали.

— Я и так уж тороплю с переводом. Только бы не тянули. А там отсижусь в Париже, и война, гляди, кончится.

— Еще повоюем,— сказал я.— Два с половиной года ждать.

Рука его с полным бокалом замерла над столом.

— Ровно через два с половиной года,— пояснил я,— а именно восьмого мая сорок пятого года, будет подписано соглашение о безоговорочной капитуляции. Интересуешься, кем? Немцами, дружок, немцами. И где, ты думаешь? В Берлине. Почти на развалинах вашей имперской канцелярии.

Он так и не выпил свой коньяк, медленно опустив бокал на стол. Сначала он удивился, потом испугался. Я перехватил его взгляд, брошенный на тумбочку у дивана, где лежал его «вальтер». Наверно, подумал, что я сошел с ума, и тут же вспомнил об оружии.

Но ответить он не успел. Зажужжал зуммер его внутреннего телефона. Он схватил трубку, назвал себя, послушал и о чем-то быстро заговорил по-немецки. Я уловил только одно слово — Сталинград. Вспомнились слова моего спутника по темно-зеленому гестаповскому «ворону»: «...сейчас либо январь в самом конце, либо февраль в самом начале». Так и есть: он вернулся к столу с внезапно помрачневшим лицом.

— Сталинград? — спросил я.

— Ты понимаешь по-немецки?

— Нет, просто догадался. Скис ваш Паулюс. Капут.

Он предостерегающе постучал ножом о тарелку.

— Не говори глупостей. Паулюс только что получил генерал-фельдмаршала. А Манштейн уже подходит к Котельникову.

— Разбит давно ваш Манштейн. Разбит и отброшен. И Паулюсу конец. Какое сегодня число?

— Второе февраля.

Я засмеялся: как приятно знать будущее!

— Так вот именно сегодня капитулировал в Сталинграде Паулюс. А ваша Шестая армия или, вернее, то, что от нее осталось, воздавая хвалу фюреру, шагает в плен. Одним словом, отвоевалась!

— Замолчи! — крикнул он и взял свой пистолет с тумбочки.— Я таких шуток никому не прощаю.

— А я и не шучу,— сказал я, отправляя в рот ломоть консервированной ветчины.— У тебя есть, где проверить? Позвони.

Мюллер задумчиво поиграл своим «вальтером».

— Хорошо. Я проверю. Позвоню фон Геннерту, он должен знать. Только учти: если это розыгрыш, я расстреляю тебя самолично. И сейчас.

Он подошел к телефону, долго с кем-то соединялся, что-то спрашивал, слушая и вытягиваясь, как на смотре, потом

положил трубку и, не глядя на меня, швырнул пистолет на диван.

— Ну как, точно? — усмехнулся я.

— Откуда ты знаешь? — спросил он, подходя.

Лицо его выражало безграничное удивление и растерянность. Он смотрел на меня, словно спрашивал: я ли это или представитель верховного командования в моем обличье.

— Фон Геннерт даже удивился, что я знаю. Пришлось выкручиваться. Официально об этом еще не объявлено.

— А он тебе сказал, что Гитлер уже объявил траур по Шестой армии?

— Ты и это знаешь?

Он продолжал стоять, не сводя с меня глаз, растерянный и непонимающий.

— И все-таки откуда? Ты не мог знать об этом вчера — это понятно. А сегодня... Кто мог сказать тебе? Кажется, тебя с кем-то привезли сюда?

— Утром,— сказал я.— Утром ваш Паулюс еще кряхтел.

Он поморгал глазами.

— Кто-то мог поймать московскую передачу?

— Где? — засмеялся я.— В гестапо?

— Не понимаю... — Он развел руками.— В городе об этом еще никто не знает. Убежден.

У меня вдруг мелькнула мысль, что еще можно спасти моего незадачливого Джекиля. До утра ему, видимо, ничто не грозит, но утро он встретит в полном сознании, избавленный от моей агрессии. Тогда за его жизнь я не дам ни копейки. Мюллер церемониться с ним не станет, тем более когда он объявит, что не помнит ничего происшедшего накануне. Значит, надо думать. Игра будет трудная, и кто знает, чем она может окончиться.

— Не гадай, Генка,— сказал я,— не угадаешь. Просто я не совсем обычный человек.

— Что значит — не совсем обычный?

— А ты слыхал о том, как у нас в одном научно-исследовательском институте,— начал я, вдохновенно импровизируя,— была ликвидирована в сороковом году некая исследовательская группа. За границей много шумели об этом. В общем, группа телепатов.

— Нет,— растерялся он,— не слыхал.

— А ты знаешь, что такое телепатия?

— Что-то вроде передачи мыслей?

— Примерно, да. Проблема не новая, о ней еще Синклер писал. Только идеалистически, со всякой потусторонней чепухой. А у нас ставились опыты на серьезной научной основе. Понимаешь, мозг рассматривается как микроволновый

приемник, воспринимающий на любом расстоянии чужие мысли, как волны непостижимой длины. Что-то меньше микрона. Способность эта есть у каждого, но в зачаточном состоянии. Однако ее можно развить, если найти мозг-перципиент, так сказать, особо восприимчивый к внешней индукции. Многих пробовали, в том числе и меня. Я подошел.

Мюллер сел и протер глаза.

— Сплю я, что ли? Ничего не понимаю.

Я уже по его лицу понял, что игра удалась: он почти поверил. Теперь надо было стереть это «почти».

— Ты когда-нибудь читал о Калиостро или о Сен-Жермене? — спросил я и по девственно пустым глазам его понял: не читал.— История никак не может объяснить их, особенно Сен-Жермена. Этот граф жил в восемнадцатом веке, а рассказывал о событиях двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого веков, словно при том присутствовал. Его считали колдуном, астрологом, Агасфером и наперебой приглашали ко двору европейских монархов. Он, между прочим, и будущее предсказывал, и довольно удачно. Но объяснить, что это за человек, никто так и не мог. Историки отмахивались: шарлатан, мол, а надо было сказать: телепат. Вот и все. Он принимал мысли из прошлого и будущего. Как и я.

Мюллер молчал. Я уже не догадывался, о чем он думал. Может быть, он раскусил мое шарлатанство? Но у меня был все-таки один неопровержимый и непобитый козырь — Сталинград.

— Будущее? — задумчиво повторил он.— Значит, ты можешь предсказывать будущее?

«Не надо уводить далеко,— подумал я.— Мюллер не глуп и привык мыслить реалистически». На этом я и сыграл.

— Твое предсказать не трудно,— ответил я не менее коварно на его коварный вопрос.— Сам понимаешь: после Сталинграда подпольщики и партизаны повсюду активизируются. Не дожить тебе до лета, Мюллер. Никак не дожить.

Он так и скривился в усмешечке: «Хозяин-то положения все-таки я». А вслух кольнул:

— Я тоже могу предсказать твое будущее, без телепатии. Услуга за услугу.

— Мужской разговор,— засмеялся я.— Мы же можем изменить будущее. Ты — мое, я — твое.

Он вскинул брови, опять не поняв. Ну что ж, раскроем карты:

— Ты переправишь меня к партизанам. Притом сегодня же. А я гарантирую тебе бессмертие до конца месяца. Ни пуля, ни граната тебя не тронут.

Он молчал.

— Теряешь ты немного — мою жизнь, а выигрываешь куш — свою.

— До конца месяца,— усмехнулся он.

— Я не всесилен.

— А гарантии?

— Мое слово и мои документы. Ты ведь их видел. И догадался, должно быть, что и я кое-что могу.

Он долго раздумывал, молча и рассеянно блуждая взором по комнате. Потом разлил остатки коньяка по бокалам. Он ничего не ел, и хмель уже сказывался: руки дрожали еще больше.

— Ну что ж,— процедил он,— посошок на дорогу?

— Не пью,— сказал я.— Мне нужна ясная голова и рука твердая. Ты мне дашь оружие, хотя бы твой «вальтер», и руки свяжешь легонько, чтоб сразу освободиться.

— А под каким соусом я тебя отправлю? У меня тоже начальство есть.

— Вот ты и отправишь меня к начальству повыше. Какой-нибудь лесной дорогой.

— Придется ехать с шофером и конвоиром. Справишься?

— Надеюсь, конвоира тебе не жалко?

— Мне машину жалко,— поморщился он.

— Машину я тебе верну вместе с водителем. Идет?

Он подошел к телефону и начал вызванивать. Я даже подивился той быстроте, с какой он все это проделал. Через какие-нибудь полчаса гестаповский «оппель-капитан» уже бороздил запорошенный снегом проселок. Рядом со мной, положив автомат на колени, сидел тощий фриц со злым лицом. Пусть злится. Это меня не тревожило, равно как и мое обещание Мюллеру. Ведь обещал я, а не Громов, который в конце концов окажется на моем месте. Только когда это произойдет и где? Если в машине, то я должен сделать все, чтобы мой злополучный Джекиль быстро сориентировался. Я потянул не туго связанные на спине руки. Ремешок сразу ослаб. Еще рывок — и я уже мог положить освободившуюся правую руку в карман ватника, прихватив ею ледяную сталь пистолета. Теперь надо было только ждать: каким-то шестым, а может быть, шестнадцатым чувством я уже предугадывал странную легкость в теле, головокружение и тьму, гасившую все — свет, звуки, мысли.

Так и произошло. Я очнулся под рукой Заргарьяна, снимавшего датчики.

— Где был? — спросил он, все еще невидимый.

— В прошлом, Рубен. Увы...

Он горестно вздохнул. Никодимов уже на свету просматривал пленку, извлеченную из контейнера.

— Вы следили за временем, Сергей Николаевич? — спросил он.— Когда вошли и когда вышли из фазы?

— Утром и вечером. День.

— Сейчас двадцать три сорок. Совпадает?

— Примерно.

— Пустяковое отставание во времени.

— Пустяковое? — усмехнулся я.— Двадцать лет с гаком.

— В масштабе тысячелетий ничтожное.

Но меня волновали не масштабы тысячелетий. Меня волновала судьба Сережки Громова, оставленного мной почти четверть века назад на колпинском пригородном проселке. Думаю, впрочем, он не потерял времени даром.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Новый эксперимент начался буднично, как визит в поликлинику. Накануне я не собирал друзей, Заргарьян не приезжал, и поутру меня никто не напутствовал. В институт я добрался на автобусе, и Никодимов тут же усадил меня в кресло, не уточняя градуса моей доброй воли и готовности к опыту.

Он только спросил:

— Когда у вас в прошлый раз начались неприятности? К вечеру, во второй половине дня?

— Примерно. На улице уже темнело.

— Приборы зафиксировали сон, потом нервное напряжение повысилось — и, наконец, шок...

— Точно.

— Я думаю, мы теперь сумеем предупредить это осложнение, если оно возникнет,— сказал он.— Вернем ваш психический мир обратно.

— Я именно этого и не хотел. Вы же знаете,— возразил я.

— Нет, сейчас мы рисковать не будем.

— Какой риск? Кто говорит о риске? — загремел Заргарьян, появляясь как призрак — весь в белом на фоне белых дверей.

Он был в соседней камере — проверял усилители.

— За одну минуту твоего путешествия отдаю год жизни. Это уже не наука, как думает Никодимов,— это поэзия. Ты любишь Вознесенского?

— Относительно,— сказал я.

Он продекламировал:

— «В час осенний... сквозь лес опавший... осеняюще и опасно... в нас влетают, как семена... чьи-то судьбы и имена...» — Он оборвал цитату и спросил: — Что запомнил?

— «Осеняюще и опасно»,— сказал я.

Я уже его не видел: он говорил из темноты.

— Главное — осеняюще! Поэтому будем торжественны. Учти, ты у врат будущего.

— Ты в этом уверен? — донесся голос Никодимова.

— Бесповоротно.

Больше я ничего не слыхал. Звуки погасли до тех пор, пока в мертвую тишину эту не ворвался какой-то монотонный, громыхающий гул.

Тишины уже не было, и даже тумана не было. Я покачивался в мягком кресле у широкого, чуть вогнутого наружу окна. Рядом со мной и напротив сидели в таких же креслах незнакомые мне люди. Обстановка напоминала огромную кабину воздушного лайнера или вагон пригородного дачного поезда, где сидят по трое друг против друга по бокам прохода от двери к двери. Этот проход тянулся, должно быть, метров на пятьдесят. Я старался осмотреться, не разглядывая соседей, искоса, не подымая глаз. Первое, что привлекло внимание,— были мои руки, большие, странно белые, с сухой и чистой кожей, какая бывает после частого и придирчивого мытья. И, самое главное, это были руки старого человека. Сколько же мне лет и кто я по профессии? — подумал я.— Лаборант, врач, ученый? Руки и костюм — не новый, но и не очень заношенный, из странно выглядевшего материала с непривычным рисунком,— не давали прямого ответа, а гадать было бессмысленно.

Я посмотрел в окно. Нет, это был не воздушный лайнер, потому что летели мы слишком низко для такого крупного самолета, ниже, что называется, бреющего полета. Но это был и не поезд, потому что летели мы над землей, над домами и перелесками, едва не срезая верхушек сосен и елей, причем именно летели так, что пейзаж за окном сливался и мутнел.

Я достал платок из кармана и протер глаза.

— Болят? — сочувственно заметил пассажир, сидевший против меня, седой, морщинистый человек в золотых очках без дужек, непонятно как висевших над переносицей.— Забываем на склоне лет, что в окошечко уже не посмотришь. Это вам не пятидесятые годы. Обсервейшн-кар! В таком каре только пушкинских «Бесов» читать: «Мутно небо, ночь мутна...»

— А что, не нравится? — спросил не без вызова молодой человек, сидевший с краю.

— Нет, почему? Кому ж это не понравится? Из Ленинграда в Москву за полтора часа. Новинка.

— Почему новинка? — пожал плечами молодой человек.— О монорельсовых дорогах говорили еще лет двадцать назад. Это только модернизация. А вы, чем в окно смотреть, телевизор включите,— сказал он мне.

Я замешкался, не совсем понимая, где этот телевизор и как его включать. Меня предупредил мой седой визави: нажал какой-то рычажок сбоку, и окно закрыл знакомый голубой экран. Изображение возникло в нем как-то в глубине, позволяя видеть его даже сидящим сбоку, как и я.

Оно было цветным и стереоскопическим и представляло огромный многоэтажный дом, красиво отделанный серыми и красными плитками. На его плоскую крышу в беспримесной лазури неба опускался вертолет. «Передаем новости дня,— сказал невидимый диктор.— Посещение руководителями партии и правительства трехсотого дома-коммуны в Киевском районе столицы». Группа хорошо одетых немолодых людей вышла из кабины вертолета и скрылась под куполом из органического стекла. Замелькали лифты-скоростники и лифты-эскалаторы. Объектив аппарата устремился вниз, к зеркальным витринам первого этажа. «Весь этаж занимают магазины, мастерские и столовые, обслуживающие население дома». Гости неторопливо прохаживались по этажам и комнатам, обставленным с необычным для меня выбором красок и форм. «Один поворот пластмассового рычага — и постель уходит в стенку, выдвигая спрятанный книжный шкаф. А эту кушетку вы можете расширить и удлинить: ее металлические крепления и губчатая поверхность растягиваются вдвое». А следом уже открывалась перспектива этажных холлов с большими телевизионными и киноэкранами. «Этот этаж целиком предоставлен молодежи, предпочитающей жить отдельно»,— комментировал диктор, раздвигая для нас стены непривычно меблированных комнат.

— Не понимаю. Зачем все это делается?—пренебрежительно фыркнула дама с вязаньем, наискосок от меня.

Я взглянул на юношу, сидевшего с краю, ожидая его реплики, и не ошибся. Как он был похож на юношей, которых я знал! Он принял от них эстафету горячности, почти мальчишеской запальчивости, непримиримости ко всему, что не идет в ногу с веком.

— Дома-коммуны не сегодня начали строить, а вам все еще непонятно зачем,— сказал он.

— Непонятно,— упорствовала дама.— Слава богу, от коммунальных квартир избавились, а тут опять!

— Что — опять?

— Ваши дома-коммуны. Жилищные склоки воскрешаем.

— Не говорите глупостей! Люди уходят от изолированных отдельных квартир не к прошлому, а к будущему. Не к коммунальным квартирам, а к домам-коммунам. А это новое качество быта!

Дама с вязаньем умолкла. Никто ее не поддержал. А на

экране уже подымались нефтяные вышки, отвоевывая свинцово-багровое небо у елей и лиственниц. «Мы с вами в Третьем Баку,— продолжал диктор,— на только что освоенном новом участке Якутского нефтеносного района Сибири». Третье Баку! На моем веку их было только два. Сколько же лет прошло? Я обращал этот же молчаливый вопрос и к хирургам в белых халатах, демонстрировавшим на экране бескровную операцию пучком нейтронных лучей, и к изобретателям состава для склеивания ран, и к самому диктору, появившемуся, наконец, перед зрителями. «В заключение я хочу напомнить нашим зрителям о дефицитных профессиях, в которых остро нуждается наше хозяйство. По-прежнему требуются наладчики автоматических цехов, диспетчеры телеуправляемых шахт, операторы атомных электростанций, сборщики универсальных электронно-счетных машин».

Голубой экран погас. Уже другой голос откуда-то сверху подчеркнуто произнес:

«Подъезжаем к Москве. Включаем предупредительные огни. Одновременно с зеленым светом будет включен эскалатор».

Над дверью впереди запрыгали красные огоньки. Потом они потемнели и стали синими. Затем их размыл и унес ярко-зеленый свет. Вышедшие в проход пассажиры поплыли вперед вместе с полом. Поплыл и я, так и не заметив остановки вагона. Я и не увидел его снаружи. Эскалаторная дорожка, ускоряя движение, привела нас в вестибюль метро. Я не узнал его, да, честно говоря, и не успел рассмотреть: мы понеслись с быстротой ракеты, замедлив движение только у эскалаторных лестниц, которые и вынесли нас на перрон. «Где же кассы? — подумал я.— Неужели метро бесплатно?» Утвердительным ответом был поток пассажиров, хлынувший к открытым дверям подошедшего поезда.

Я вышел на площади Революции, которую узнал сразу: и под землей, где меня встретили знакомые бронзовые скульптуры в аркаде, и на земле, где уже издали сквозь зеленую сетку сквера глядели на меня желтые колонны Большого театра. И памятник Марксу стоял на том же месте, только вместо невзрачного «Гранд-отеля» высилось гигантское белое здание, сверкавшее ребрами из нержавеющей стали, а вместо бокового крыла «Метрополя» уходила вправо перспектива шумной многоэтажной улицы. И пейзаж в движении показался мне давно знакомым, почти не изменившимся. По-прежнему по широким тротуарам так же неторопливо и часто струились многоцветные капельки человеческого потока, еще более расцвеченные высоким по-летнему солнцем. А по асфальтовым каналам площади, огибая тротуары, завихрялся другой, столь же пестрый

автобусно-автомобильный поток. Но присмотревшись внимательнее, я легко обнаружил различие. Другой покрой и другая расцветка одежды, другие линии и формы машин. Большинство их шло без колес, на воздушной подушке, напоминая лобастых китов или дельфинов, беззвучно плывущих в воздухе, «Сколько же лет прошло?» — снова спросил я себя и снова не мог ответить.

Перейти площадь было нельзя: чугунное кружево решетки вилось вдоль тротуара и только на остановках золотых сигарообразных автобусов открывало проходы на мостовую. Я пошел вниз, к Александровскому саду, миновав Исторический музей, заглянул в пролет Красной площади. Там все было привычно — и зубчатка древней стены, и часы на Спасской башне, строгий массив Мавзолея и архитектурное чудо Василия Блаженного. Но огромного здания гостиницы, которую у нас уже начали строить в Зарядье, не было видно вовсе. Только еще дальше, может быть на противоположном берегу Москвы-реки, поднимались за храмом незнакомые высотные здания.

Я прошел в сад и присел на скамейку. И хотя город уже кипел своей полнокровной, стремительной жизнью, здесь в эти утренние часы, как и у нас, было почти безлюдно. По правде сказать, я растерялся. Куда и зачем идти? Где мой дом? Кто я? И что предстоит мне пережить сегодня? Я нащупал в кармане бумажник, очень пухлый и плотный, из мягкого, прозрачного пластика. Уже сквозь него, не вынимая карточки, я прочел на ней мое имя, профессию и адрес. Я опять был служителем Гиппократа, чем-то руководившим в университетской хирургической клинике, и, должно быть, знаменитостью, потому что нашел в бумажнике поздравления от трех заграничных ученых обществ, присланные профессору Громову ко дню его шестидесятилетия.

Итак, двадцать лет спустя! Для меня — уже старость, для науки — «шаги саженьи». Д'Артаньяна, ехавшего на встречу с Арамисом и Атосом, терзали сомнения: не горько ли будет увидеть состарившихся друзей? Сомнения его рассеялись, но рассеются ли мои? Я мысленно представил себе визит по адресу, обозначенному на карточке. Дверь, наверное, откроет Ольга, постаревшая на двадцать лет. А вдруг не Ольга? Усложнять ситуацию явно не хотелось. Я машинально перебрал пачку денежных купюр, лежавших в бумажнике. На один день в будущем наверняка хватит. Так что же делать? Может быть, просто пройтись по улицам, объехать город, увидеть побольше, подышать в буквальном смысле воздухом будущего? Разве этого мало? Для Заргарьяна и Никодимова — увы! — мало! Какое материальное подтверждение я мог принести им

из будущего? Пойти в Ленинскую библиотеку — она, конечно, существует и здесь,— порыться в каталогах, поинтересоваться тематикой научных журналов? Допустим, мне даже удастся найти что-нибудь близкое работам моих ученых друзей. Допустим. Но пойму ли я что-нибудь в статьях ученых восьмидесятых годов, если порой даже элементарные популяризаторские попытки Заргарьяна бессильны преодолеть мое математическое невежество? Выучить наизусть запись какой-нибудь формулы? Да я забуду ее тотчас же! А если их серия? Если мне встретятся совсем уже незнакомые математические символы? Нет, чушь зеленая — ничего не выйдет!

С такими мыслями я побрел на остановку такси. Впереди меня была только одна женщина; она, видимо, торопилась, то и дело поглядывая на ручные часы.

— Уже десять минут жду — и ни одной машины,— сказала она.— Конечно, на автобусе проще и бесплатно к тому же, но на автупре занятнее.

— На автупре? — переспросил я.

— Вы, наверно, приезжий,— улыбнулась она.— Так мы называем такси без водителя, с автоматическим управлением. Прелесть!

Но первый же автупр привел меня в содрогание. Что-то противоестественное было в этой лобастой машине без колес и шофера, бесшумно подплывавшей к нам и выбросившей на остановке четыре паучьи ножки. Невидимка за рулем открыл дверь, пассажирка села и что-то сказала в микрофон. Так же бесшумно исчезли ножки, закрылась дверь, и машина пропала за поворотом. Я долго и, должно быть, с глупым видом смотрел ей вслед, растерянно спрашивая себя: «А что ты скажешь в микрофон и как будешь рассчитываться, если не хватит мелочи?» Я уже подумывал о бегстве, как на остановке появился еще пассажир. В его подчеркнутой худобе и седине с прочернью была какая-то своеобразная элегантность, а курчатовская подстриженная борода лопаткой придавала ему чуть вызывающий вид.

— Спешу,— признался он, нетерпеливо оглядывая площадь.— Вон идет, кажется.

Лобастый автупр уже подплывал, подруливая к остановке.

— Охотно уступлю вам очередь,— сказал я.— Я не спешу.

— Зачем? Вместе поедем, если не возражаете. Сначала отвезем вас, потом меня.

В темных его глазах мелькнуло что-то до жути знакомое. Тот же высокий, покатый, с зализами лоб, тот же взгляд, пронзительный и насмешливый. Только борода была лишней. Неужели он?

Я еще раз придирчиво заглянул ему в глаза. Он. Мой Заргарьян, только постаревший на двадцать лет.

Но я и виду не подал, что узнал его.

— Куда вам? — спросил он.

Я только плечами пожал: не все ли равно куда ехать человеку, двадцать лет не видевшему Москвы?

— Тогда поехали. Чур, не возражать — я гид. Кстати, где вы обедаете? Хотите в «Софии»? Вместе? Честно говоря, не люблю обедать один.

Он и к пятидесяти годам не утратил мальчишеской пылкости. И в роль гида вошел сразу и горячо.

— По улице Горького не поедем. Ее почти не перестраивали. Лучше по Пушкинской. Совсем новая улица — не узнáете. Запрограммировано?

Он продиктовал маршрут в микрофон. Такси, беззвучно захлопнув дверь, поплыло, огибая сквер.

— А как рассчитываетесь? — спросил я.

— Вот в эту копилочку.— Он показал на щель в панели под ветровым стеклом.

— А если мелочи нет?

— Побеспокоим разменное устройство.

Такси уже свернуло на Пушкинскую, похожую на Пушкинскую моих дней, как Дворец съездов на заводской клуб. Может быть, она была внешне иной и в шестидесятые годы: ведь подобие миров не предполагает их идентичности, но сейчас и здесь она была иной и масштабно, и качественно. Двадцатиэтажные взлеты стекла и пластика, не повторяя друг друга, вписывались в скалистый орнамент каньона, на дне которого кипел многоцветный автомобильный поток. Тротуары, как в торговом пассаже, тянулись в два этажа, соединяясь над улицей кружевными параболами мостов. Такие же мосты связывали и дома, образуя дополнительные аллеи над улицей.

— Для велосипедистов,— пояснил Заргарьян, перехватив мой взгляд.— Там же бассейны и площадки для вертолетов.

Он добросовестно играл роль гида, с удовольствием смакуя мое удивление. А лобастый наш «дельфин» тем временем пересек бульвар, пролетел столь же неузнаваемую улицу Чехова и подрулил по Садовой к небоскребу «Софии». Ни площади, ни ресторана я не узнал. Маяковский, будто изваянный из бронзового стекла, так и блистал на солнце, вздымаясь над площадью выше колонны Нельсона в Лондоне. Сверкал и параллелепипед ресторана «София», играя отраженным солнечным светом, как сплав хрусталя с золотом. Ресторанный зал поражал и внутри. Привычно белые столики под старо-

модно крахмальными скатертями соседствовали со странными геометрическими фигурами, похожими на шатры из дождя и аргоновых нитей.

— Что это? — оторопел я.

Заргарьян улыбнулся, как фокусник, предвкушая еще больший эффект.

— Сейчас увидите. Сядем.

Мы сели за один из привычно крахмальных столиков.

— Хотите стать невидимым и неслышным для окружающих?

Он что-то тронул, подняв уголок скатерти, и зал исчез. Нас отделял от него шатер из дождя без влаги и сырости. В дождь вплетались светящиеся нити без стекла и проводки. Нас окружала благоговейная тишина пустого собора.

— А выйти можно?

— Так это же воздух, только непрозрачный. Светозвукопротектор. У нас в лаборатории мы применяем черный. Абсолютная темнота.

— Я знаю,— сказал я.

Теперь удивился он, подслушав в моем ответе что-то для себя новое.

Мне надоело играть в загадки.

— Вы Заргарьян? Рубен Захарович? — спросил я, уже совершенно уверенный, что не ошибаюсь.

— Узнали,— усмехнулся он.— Значит, и борода не помогла.

— Я по глазам вас узнал.

— По глазам? — опять удивился он.— На газетных и журнальных портретах глаза хорошо не выходят. А где же вы меня еще видели? В кино?

— Вы по-прежнему занимаетесь физикой биополя? — начал я осторожно.— Тогда не удивляйтесь тому, что сейчас услышите. Я вам сказал неправду о том, что двадцать лет не был в Москве. Я вообще не был в этой Москве. Никогда.— Я помедлил немного, ожидая его реакции, но он молчал, продолжая рассматривать меня с возрастающим интересом.— Мало того, я не то лицо, которое вы сейчас видите. Я фантом в его оболочке, гость из другого мира. Явление, вам, вероятно, хорошо знакомое.

— Вы читали мои работы? — спросил он недоверчиво.

— Нет, конечно. У нас вы их еще не опубликовали. Ведь наше время отстает от вашего лет на двадцать.

Заргарьян вскочил:

— Позвольте, только теперь я вас понял. Значит, вы из другой фазы. Вы это хотите сказать?

— Именно.

Он помолчал, поморгал глазами, отступил на шаг. Светящаяся пелена дождя наполовину скрыла его, комически срезав часть затылка, спины и ног. Потом он снова вынырнул и сел против меня, с трудом сдерживая волнение. Лицо его словно засветилось изнутри, и в этом свечении были и сокрушающее удивление человека, впервые увидевшего чудо, и радость ученого, что это чудо совершается в его присутствии, и счастье ученого, могущего управлять такими чудесами.

— Кто вы? — наконец спросил он.— Имя, специальность?

Я засмеялся.

— Чудно как-то говорить от имени двух человек, но приходится. Имя одно и здесь, и там. Звание — профессор. Это здесь. А там — без званий, можно сказать, рядовая личность. И специальности разные: здесь — медик, хирург видимо, а там — журналист, газетчик. Да еще там я моложе на двадцать лет. Как и вы.

— Любопытно,— сказал Заргарьян, все еще оглядывая меня с интересом.— Все мог ожидать, только не это. Сам отправлял людей за пределы нашего мира, но чтобы здесь такого гостя встретить — об этом и не мечтал. И дурак, конечно. Ведь материя едина по всей фазовой траектории. Я здесь, и я там — вот и засылаем друг к другу гостей.— Он засмеялся и вдруг спросил совсем в другой интонации: — А кто ставил опыт?

— Никодимов и Заргарьян,— лукаво ответил я, готовый к новому взрыву удивления.

Но он только спросил:

— Какой Никодимов?

Теперь удивился я.

— Павел Никитич. Разве это не его открытие? Разве вы не с ним работаете?

— Павел умер одиннадцать лет назад, так и не добившись признания при жизни. Фактически это его открытие. Я пришел к нему другими путями, как психофизиолог. (Мне послышалась затаенная горечь в его словах.) К сожалению, первые удачи с наложением биополя пришли уже позже. Мы ставили опыты с его сыном.

Я даже не знал, что у Никодимова был сын. Впрочем, возможно, он был только здесь.

— А вы счастливее нас,— задумчиво произнес Заргарьян,— начали-то раньше. Через двадцать лет вы добьетесь гораздо большего. Это ваш первый опыт?

— Третий. Сперва я побывал рядом, совсем в подобных мирах. Потом подальше — в прошлом. А сейчас еще дальше — у вас.

— Что значит «ближе» или «дальше»? «Рядом»,— саркастически повторил он.— Какая-то наивная терминология!

— Я полагаю....— замялся я,— что миры... или, как вы говорите, фазы с иным течением времени находятся дальше от нас, чем совпадающие...

Он откровенно рассмеялся.

— «Ближе, дальше»!.. Это они вам так объясняют? Дети.

Я обиделся за моих друзей. И вообще мой Заргарьян мне нравился больше.

— А разве четвертое измерение не имеет своей протяженности? — спросил я.— Разве теория бесконечной множественности его фаз ошибочна?

— Почему четвертое? — знакомо закипел Заргарьян.— А вдруг пятое? Или шестое? Наша теория не определяет его очередности или направления в пространстве. И кто вам сказал, что она ошибочна? Она ограничена, и только. Слова «бесконечная множественность» просто нельзя понимать буквально. Так же как и бесконечность пространства. Уже вашим современникам это было известно. Уже тогда релятивистская космология исключала абсолютное противопоставление конечности и бесконечности пространства. Поймите простую вещь: конечное и бесконечное не исключают друг друга, а внутренне связаны. Свя-за-ны! — скандируя, повторил он и усмехнулся, заглянув в мои пустые глаза.— Что, сложно? Вот так же сложно объяснить вам, что здесь «ближе» и что «дальше». Я могу переместить ваше биополе в смежный мир, опередивший нас на столетие, но где он находится, близко или далеко, геометрически определить не смогу.— Он вдруг дернулся и замер, словно его веселый бег мысли что-то оборвало или остановило.

Секунду-другую мы оба молчали.

— А ведь это идея! — воскликнул он.

— Вы о чем?

— О вас. Хотите прыгнуть в будущее еще дальше?

— Не понимаю.

— Сейчас поймете. Я усложняю ваш опыт. Вы едете со мной в лабораторию, я отключаю ваше биополе и перевожу его в другую фазу. Что скажете?

— Пока ничего. Обдумываю.

— Боитесь? А риск все тот же. И там вам сорок, а не шестьдесят — сердце в порядке, иначе бы не рисковали. Я бы с наслаждением поменялся с вами, да не гожусь. Знаете, как трудно найти мозг-индуктор с таким напряжением поля?

— Вы же нашли.

— Троих за десять лет. Вы четвертый. И считайте, что вам повезло. Обещаю экскурсию поинтереснее полета на Марс. Подыщу вам потомка в пятом колене с таким же полем. Скачок лет на сто, а? Ну что... что вас смущает?

— Мое биополе. Вдруг они его потеряют?

— Не потеряют. Я сначала верну вас обратно. Минуточку даже поприсутствуете в своем пространстве, а потом очнетесь в другом. Не бойтесь, взрыва не будет, ни извержения, ни излучения. А ваша аппаратура зафиксирует все, что надо. Ну как, летим?

Он поднялся.

— А обед? — спросил я.

— Потом пообедаем. Мы — здесь, вы — в будущем.

— Летим,— сказал я и тоже встал.

ЦЕЙТНОТ

Я, повторив слова Заргарьяна, даже не подозревал, что мы именно полетим. Сначала мы поднялись на скоростном лифте на крышу, где приземлялись маршрутные такси-вертолеты, а через две-три минуты уже парили над Москвой, направляясь на Юго-Запад.

Панораму Москвы конца века я не забуду до самой смерти. Я все время твердил себе, что это не моя Москва, не та, в которой я родился и вырос и которую отделяют от этой незримые границы пространства-времени и двадцать лет великой преобразующей стройки. Я упрямо внушал себе это, а глаза убеждали в другом. Ведь и у нас в моем мире шла та же стройка в том же темпе и направлении, те же силы ее вдохновляли, ту же цель преследовали. Так, значит, и у нас к концу третьей пятилетки подымется такой же красавец город, может быть даже еще красивее. Я как бы видел картину будущего, жадно всматривался, ища памятные детали, и радовался, как мальчишка, узнавая старое в новом, знакомое, но изменившееся, как изменяется юноша, достигший расцвета лет.

Все знакомое сразу бросалось в глаза — Дворец съездов, золотые луковицы кремлевских соборов, мосты через Москву-реку, Большой театр — такой игрушечный сверху, Лужники, университет. Другие высотные здания моих дней терялись в многоэтажном каменном лесу, а может быть, их и не было. Город выплеснулся далеко за линию кольцевой автомобильной дороги — она пролегала на месте нашей, во всяком случае, едва ли с бóльшими отклонениями, но она была шире или казалась шире, и машины, как муравьи, ползли по ней такой же широкой, редко утончавшейся ленточкой.

Больше всего поражали эти масштабы и краски городского уличного движения. Радужные автомобильные реки-улицы и ручьи-переулки. Велосипеды и мотоциклы на асфальтовых аллеях, пересекавших город по крышам домов. Вагоны-сороконожки, скользившие по ниточкам монорельсовых эстакад-

ных дорог. А над ними порхавшие от площадки к площадке черно-желтые и сине-белые стрекозы-вертолеты.

На одной из таких площадок на крыше огромного, высоченного дома мы и сошли. Самый дом я не успел рассмотреть на подлете, а первое, что бросилось мне в глаза на плоской его крыше, окаймленной высокой металлической сеткой, был широкий бассейн с прозрачной, подсвеченной со дна зеленоватым мерцанием, очень чистой водой. Вокруг теснились шезлонги, резиновые маты, палатки, буфет под туго натянутым парусиновым тентом.

— Обеденный перерыв,— сказал Заргарьян, поискав глазами среди купальщиков и сидевших в буфете полуголых людей в плавках и купальниках.— Сейчас мы его найдем. Игорь! — вдруг закричал он радостно.

Загорелый атлет в темных, защитных очках, игравший поодаль на теннисном корте, подошел к нам с ракеткой.

— Кто-нибудь есть в лаборатории? — спросил Заргарьян.

— А зачем? — лениво отозвался атлет.— Они все в шестом секторе.

— Установка не обесточена?

— Нет, а что?

— Познакомься с профессором для начала.

— Никодимов,— сказал атлет и снял очки.

Он совсем не походил на длинноволосого Фауста.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Нечто непредвиденное и любопытное. Сейчас узнаешь,— не без торжественности произнес Заргарьян.

Человек с юмором несомненно нашел бы что-то общее в этой ситуации с моим первым визитом в лабораторию Фауста. Даже кнопку нажал Заргарьян с той же лукавой многозначительностью, и так же включился эскалатор — тогда коридор у входа в лабораторные помещения, сейчас лестница, ведущая с крыши в те же лаборатории. Она плавно поползла вниз, пощелкивая на поворотах.

— Вы разрешите,— сказал Заргарьян,— я объясню все этому ребенку на арго биофизиков. Это будет и точнее, и короче.

Я тщательно пытался понять что-либо в нагромождении незнакомых мне терминов, цифр и греческих букв. Лексика моего Заргарьяна, даже когда он увлекался и забывал о моем невежестве, так не подавляла меня: я что-то в ней все-таки уяснял. Но молодой Никодимов схватил все на лету и глядел на меня с нескрываемым любопытством. Он уже не казался мне тяжеловесом и тяжелодумом, я даже подивился легкости, с какой он ринулся в уже знакомую мне путаницу штепселей, рычагов и ручек.

Впрочем, честно говоря, не так уж знакомую. Все в этом двухсветном зале было крупнее, масштабнее, сложнее, чем в оставшейся где-то в другом пространстве-времени чистенькой лаборатории Фауста. Если ту хотя бы приблизительно можно было сравнить с кабинетом врача, то эта напоминала зал управления большого автоматического завода. Только мигающие контрольные лампочки, телевизорные экраны, бессистемно висящие провода да кресло в центре зала в чем-то повторяли друг друга. Впрочем, не больше, пожалуй, чем новый «Москвич» старую «эмку». Я обратил внимание на расположение стекловидных экранов: они выстроились параболой вдоль загибающейся по залу панели, похожей на контрольную панель электронно-счетной машины. Подвижной пульт управления мог, по-видимому, скользить вдоль линии экранов в зависимости от намерений наблюдателя. А наблюдать их можно было с интересом: даже в их теперешнем нерабочем состоянии экраны то поблескивали, то гасли, то мерцали, отражая какое-то внутреннее свечение, то слепо стыли в холодной, свинцовой матовости.

— Что, не похоже? — засмеялся Заргарьян.

— Экраны,— сказал я.— У нас они иначе расположены. И шлема нет.— Я указал на кресло.

Шлема действительно не было. И датчиков не было. Я сидел в кресле, как в гостиной, пока Заргарьян не сказал:

— Если сравнить вашу эпопею с шахматной партией, вы в цейтноте. Дебют вы разыграли у себя в пространстве. В нашем мире у вас начался миттельшпиль. Причем без всякой надежды на выигрыш. Вы сразу поняли, что никаких сувениров, кроме беспорядочных впечатлений, с собой не привезете. Иначе говоря, еще одна неудача. Сколько раз мы с Игорем были в таком положении! Сколько бессонных ночей, ошибочных расчетов, неоправданных надежд, пока не нашелся наконец мозг-индуктор с математическим развитием. Привез в памяти формулу — так даже академики ахнули! Теперь она известна как уравнение Яновского и применяется при расчетах сложнейших космических трасс. К великому сожалению, ваша память тут вам не поможет. И вот появляется спасительный вариантик: вы встречаете меня. Загорается свечечка надежды, тоненькая свечечка, но загорается. Тут торопиться надо, еще эндшпиль предстоит, а вы в цейтноте, дружище. Все мы в цейтноте. Напряжение поля на пределе, вот-вот начнет падать — и бенц! Одиссей возвращается на Итаку. Игорь! — крикнул он.— Скорее закругляйтесь, пора! — Тут он вздохнул и добавил каким-то погасшим голосом: — Пора прощаться, Сергей Николаевич. Доброго пути! На другую встречу, пожалуй, нам уж рассчитывать нечего.

Только теперь дошел до меня жуткий смысл происходившего. Прыжок через столетие! Не просто в смежный мир, а в мир совсем иных вещей, иных машин, иных привычек и отношений. На несколько часов, может быть на сутки, Гайд завладеет душой Джекиля, но обманет ли он окружающих, если захочет остаться инкогнито? Его скроет лицо Джекиля, костюм Джекиля, но выдаст язык, строй мыслей и чувств, условные рефлексы, незнакомые тому миру.

Не слишком ли велик риск прыжка, закруживший мне голову?

Но я ничего не сказал Заргарьяну, не выдал внезапных своих опасений, даже не вздрогнул, когда он дал команду включить протектор. Темнота, как и раньше, окружила меня. Темнота и тишина, сквозь которую, будто издалека, точно в густом и сыром тумане, пробивались едва слышные голоса, тоже знакомые, но почти забытые, словно их отделяла от меня уже преодоленная в прыжке сотня лет.

— Ничего не понимаю. Как у тебя?

— Исчезло.

— А на шестом есть. Только светимость ослаблена. Ты понимаешь что-нибудь?

— Есть соображения. Опять вне фазы. Как и тогда.

— Но мы же не зарегистрировали шока.

— Мы и тогда не зарегистрировали.

— Тогда энцефалографы записали сон. Фаза парадоксального сна. Помнишь?

— По-моему, сейчас другое. Обрати внимание на четвертый. Кривые пульсируют.

— Может, усилить?

— Подождем.

— Боишься?

— Пока нет оснований. Проверь дыхание.

— Прежнее.

— Пульс?

— Тот же. И давление не повышено. Может быть, изменение биохимических процессов?

— Так нет же показаний. У меня впечатление вмешательства извне. Или сопротивление рецептора, или искусственное торможение.

— Фантастика.

— Не знаю. Подождем.

— Я и так жду. Хотя...

— Смотри, смотри!

— Не понимаю. Откуда это?

— А ты не гадай. Как отражение?

— В той же фазе.

— В той ли?

И вновь тишина, как тина, поглотила все звуки. Я уже ничего не слышал, не видел и не чувствовал.

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ

Переход от тьмы к свету сопровождался странным состоянием покоя. Как будто я плавал в прозрачном холодноватом масле или пребывал в состоянии невесомости в молочно-белом пространстве. Тишина сурдокамеры окружала меня. Ни дверей, ни окон не было — свет исходил ниоткуда, неяркий, теплый, будто солнечный свет в облаках. Снежное облако потолка незримо переходило в облачную кипень стен. Белизна постели растворялась в белизне комнаты. Я не чувствовал прикосновения ни одеяла, ни простыни, словно они были сотканы из воздуха, как платье андерсеновского голого короля.

Постепенно я начал различать окружавшие меня вещи. Вдруг вырисовывался экран с белым кожухом позади, сначала совсем не видный, а если присмотреться, принимавший вид металлического листа, зеркально отражавшего белую стену, постель и меня. Он был обращен ко мне, как чей-то глаз или ухо, и, казалось, подслушивал и подглядывал каждое движение мое или намерение. Как подтвердилось позже, я не ошибся.

Возле постели плавала плоская белая подушка с мелкой зернистой поверхностью. Когда я дотронулся до нее, она оказалась сидением стула на трех ножках из незнакомого мне плотного прозрачного пластика. Еще я заметил такой же стол и что-то вроде термометра или барометра под стекловидным колпаком — видимо, прибор, регистрирующий какие-то изменения в атмосфере комнаты.

Снежная белизна кругом рождала ощущение покоя, но во мне уже нарастали тревога и любопытство. Отбросив невесомое одеяло, я сел. Белье на мне напоминало егерское, оно так же обтягивало тело, но кожа не ощущала его прикосновения. Я взглянул на экран и вздрогнул: в тусклой зеркальности его возник смутный облик человека, сидевшего на постели. Он совсем не походил на меня, казался гораздо выше, моложе и атлетичнее.

— Можете встать и пройтись вперед и назад,— сказал женский голос.

Я невольно оглянулся, хотя и понимал, что в комнате никого не увижу. «Ничему не удивляйся, ничему!» Так приказал я себе и послушно прошел до стены и обратно. У стола остановился.

— Еще раз,— сказал голос.

Я повторил упражнение, догадываясь, что кто-то и как-то за мной наблюдает.

— Поднимите руки.

Я повиновался.

— Опустите. Еще раз. Теперь присядьте. Встаньте.

Я честно проделал все, что от меня требовали, не задавая никаких вопросов.

— Ну, а теперь ложитесь.

— Я не хочу. Зачем? — сказал я.

— Еще одна проверка в состоянии покоя.

Непонятная мне сила легко опрокинула меня на подушку, и руки сами натянули одеяло. Интересно, как добился этого мой невидимый наблюдатель? Механически или внушением? Бесенок протеста во мне бурно рвался наружу.

— Где я?

— У себя дома.

— Но это какая-то больничная палата.

— Как вы смешно сказали: па-ла-та,— повторил голос.— Обыкновенная витализационная камера. Мы ее оборудовали у вас дома.

— Кто это «мы»?

— Цемс. Тридцать второй район.

— Цемс? — не понял я.

— Центральная медицинская служба. Вы и это забыли?

Я промолчал. Что можно было на это ответить?

— Частичная послешоковая потеря памяти,— пояснил голос.— Вы не старайтесь обязательно вспомнить. Не напрягайтесь. Вы спрашивайте.

— Я и спрашиваю,— подтвердил я.— Кто вы, например?

— Дежурный куратор. Вера седьмая.

— Что? — удивился я.— Почему седьмая?

— Опять смешно спрашиваете: почему седьмая? Потому что, кроме меня, в секторе есть Вера первая, вторая и так далее.

— А фамилия?

— Я еще не сделала ничего выдающегося.

Спрашивать дальше было опасно. Начинался явно рискованный поворот.

— А вы можете показаться? — спросил я.

— Это необязательно.

Наверное, противная, злая старуха. Педантичная и придирчивая.

Послышался смех. И голос сказал:

— Придирчивая — это верно. Педантичная? Пожалуй.

— Вы и мысли читаете? — растерялся я.

— Не я, а когитатор. Специальная установка.

Я не ответил, мысленно прикидывая, как обмануть эту чёртову установку.

— Не обманете,— сказал голос.

— Это непорядочно.

— Что?

— Не-по-ря-до-чно! — рассердился я.— Некрасиво! Нечестно! Подглядывать и подслушивать нечестно, а в черепную коробку к человеку лезть и совсем подло.

Голос помолчал, потом произнес строго и укоризненно:

— Первый больной в моей практике, возражающий против когитатора. Мы же не подключаем его к здоровому человеку. А у больного просматриваем все: нейросистему, сердечно-сосудистую, дыхательный аппарат, все функции организма.

— Зачем? Я здоров как бык.

— Обычно наблюдатели не встречаются с больными, но мне разрешили.

Теперь я уже видел, кому принадлежал голос. Отражающая поверхность экрана потемнела, как вода в омуте, и растаяла. На меня смотрело лицо молодой женщины в белом, с короткой волнистой стрижкой.

— Можете спрашивать — память вернется,— сказала она.

— А что со мной?

— Вам сделали операцию. Пересадка сердца. После катастрофы. Вспоминаете?

— Вспоминаю,— сказал я.— Из пластмассы?

— Что?

— Сердце, конечно. Или металлическое?

Она засмеялась с чувством превосходства учительницы, внимающей глупому ответу ученика.

— Не зря говорят, что вы живете в двадцатом веке.

Я испугался. Неужели им уже все известно? А может быть, так и лучше: ничего не надо объяснять, незачем притворяться. Но я на всякий случай спросил:

— Почему?

— А разве не так? Искусственное сердце применялось давным-давно. Мы заменили его органическим, выращенным в специальных средах. А вы мыслите категориями двадцатого века, как и полагается специалисту-историку. Говорят, вы знаете все о двадцатом веке. Даже какие туфли носили.

— На гвоздиках,— засмеялся я.

— Что, что?

— На гвоздиках.

— Не понимаю.

Я вздохнул. Распространеннейшее, столетия бытовавшее слово, дожившее до ядерной физики, уже исчезло из словаря

двадцать первого века. Интересно, чем они заменили гвозди? Клеем?

— Вот что, милая девушка... — начал я.

Но она со смехом меня перебила:

— Это так в том веке говорили — милая девушка?

— Вот именно,— сурово подтвердил я.— Мне надоело лежать, я хочу одеться и выйти.

Она нахмурилась.

— Одеться вы можете, платье вам будет доставлено. Но выйти пока нельзя. Процесс обсервитации еще не закончен. Тем более после шока с потерей памяти. Мы еще проверим ваш организм в привычных для вас нейрофункциях.

— Здесь?

— Конечно. Вы получите вашего «механического историка». Причем лучшую, последнюю его модель. Без кнопочного управления. Настройка автоматическая, на ваш голос.

— А вы будете подглядывать и подслушивать?

— Обязательно.

— Не пойдет,— сказал я.— Не буду же я при вас одеваться и работать.

Веселое удивление отразилось в ее глазах. Она с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Спросила, прикрыв рот:

— Это почему же?

— Потому что я живу в двадцатом веке,— отрезал я.

— Хорошо,—согласилась она.—Я выключу видеограф. Но внутриорганические процессы останутся под наблюдением.

— Ладно,— сказал я.— Хоть вы и седьмая, но все-таки умненькая.

Она опять не поняла, но я только рукой махнул. Чехова она явно не читала или не помнила. А миленькая рожица ее на экране уже исчезла. Исчезла вдруг и часть стены, пропустив в комнату что-то похожее на радиатор из переплетенных прямоугольных трубок. «Что-то» оказалось обыкновенной вешалкой, на которой с удобством разместилась моя предполагаемая одежда.

Я выбрал узкие светлые брюки, закрепленные внизу, как у наших гимнастов, и такой же свитер, напомнивший мне знакомую вестсайдку. В зеркальном пространстве экрана отразилось нечто, малопохожее на меня, но вполне респектабельное и не оскорбляющее глаз. Не в белье же встречать людей нового века! Я обернулся на шум позади меня, словно кто-то вошел на цыпочках. Но это был не человек, а нечто, отдаленно напоминавшее плоский холодильник или несгораемый шкаф. И вошло оно непонятно как, будто возникнув из воздуха вместо исчезнувшей вешалки. Вошло и замерло, мигнув зеленым глазком индикатора.

— Интересно,— сказал я вслух,— должно быть, это и есть мой «механический историк».

Зеленый глазок побагровел.

— Сокращенно: Мист-двенадцать,— сказал шкаф ровным, глухим, лишенным интонационного богатства голосом.— Я вас слушаю.

ГЛОССАРИЙ МИСТА

Я долго молчал, прежде чем начать разговор. Девушке я поверил: ни подсматривать, ни подслушивать она не будет. Но о чем говорить с этим механическим циклопом? Не светский же разговор вести.

— Каков объем твоей информации? — спросил я осторожно.

— Энциклопедический,— ответил он немедленно.— Более миллиона справок. Могу назвать точную цифру.

— Не надо. Предмет справок?

— Предел глоссария — двадцатый век. Характер справок неограничен.

Мне захотелось его проверить:

— Назови мне имя и фамилию третьего космонавта.

— Андриан Николаев.

И то и другое совпадало. Я подумал и спросил опять:

— Кто получил Нобелевскую премию по литературе в шестьдесят четвертом году?

— Сартр. Но он отказался от премии.

— А кто это Сартр?

— Французский писатель и философ-экзистенциалист. Могу сформулировать сущность экзистенциализма.

— Не надо. Когда была построена Асуанская плотина?

— Первая очередь закончена в шестьдесят девятом году. Вторая...

— Хватит,— перебил я, с удовлетворением подумав, что у нас она была построена на пять лет раньше. Не все, очевидно, до буквочки совпадало у нас с этим миром.

Мист молчал. Он знал многое. Я мог начать разговор на самую для меня важную тему нашего опыта. Но подойти прямо к ней я все-таки не решился.

— Назови крупнейшее из научных открытий в начале века,— начал я осторожно.

Он отвечал без запинки:

— Теория относительности.

— А в конце века?

— Учение Никодимова—Яновского о фазовой траектории пространства.

Я чуть не подскочил на месте, готовый расцеловать этот многоуважаемый шкаф с мигающим глазом — он подмигивал мне всякий раз, когда отчеканивал свой ответ. Но я только спросил:

— Почему Яновского, а не Заргарьяна?

— В конце восьмидесятых годов польский математик Яновский внес дополнительные коррективы к теории. Заргарьян же принимал участие только в начальных опытах. Он погиб в автомобильной катастрофе задолго до того, как удача первого миропроходца позволила Никодимову обнародовать это открытие.

Я понимал, конечно, что это был не мой Заргарьян, а сердце все-таки защемило. Но кто же был этот первый миропроходец?

— Сергей Громов, ваш прадед,— отчеканил Мист своим глуховатым металлическим голосом. Он не удивился нелепости моего вопроса: кто-кто, а уж потомок должен был знать все о делах своего предка. Но в кристаллах кибернетического мозга Миста удивление не было запрограммировано.— Нужна справочная библиография? — спросил он.

— Нет,— сказал я и присел на постель, сжимая виски руками.

Невидимая мне Вера седьмая меня, однако, не забывала.

— У вас участился пульс,— сказала она.

— Возможно.

— Включаю видеограф.

— Погодите,— остановил я ее.— Я очень заинтересован работой с Мистом. Это удивительная машина. Спасибо вам за нее.

Мист ждал. Багровый глаз его снова позеленел.

— Были научные противники у Никодимова? — спросил я.

— Были они и у Эйнштейна,— сказал Мист.— Кто же их принимает в расчет?

— А к чему сводились их возражения?

— Теорию полностью отвергли церковники. Всемирный съезд церковных организаций в восьмидесятом году в Брюсселе рассматривал ее как самую вредную ересь за последние две тысячи лет. Тремя годами раньше особая папская энциклика объявила ее кощунственным извращением учения о Христе, сыне божием, возвратом к доктрине языческого многобожия. Столько Христов, сколько миров. Этого не могли стерпеть ни епископы, ни патриархи. А видный католический ученый, итальянский физиолог Пирелли назвал теорию фаз самым действенным по своей антирелигиозной направленности научным открытием века, абсолютно несовместимым с идеей единобожия. Совместить здесь кое-что, правда, все же пытались.

Американский философ Хеллман, например, объяснял берклианскую «вещь в себе» как фазовое движение материи.

— Бред сивой кобылы,— сказал я.

— Не понимаю,— отозвался Мист.— Кобыла — это половая характеристика лошади. Сивый — серый. Бред — бессвязная речь. Сумасшествие лошади? Нет, не понимаю.

— Просто языковый идиом. Приблизительный смысл: нелепица, чушь.

— Программирую,— сказал Мист.— Поправка Громова к русской идиоматике.

— Ладно,— остановил я его,— расскажи лучше о фазах. Все ли они подобны?

— Марксистская наука утверждает, что все. Опытным путем удалось доказать подобие многих. Теоретически это относится ко всем.

— А были возражения?

— Конечно. Противники материалистического понимания истории настаивали на необязательности такого подобия. Они исходили из случайностей в жизни человека и общества. Не будь крестовых походов, говорили они, история Средневековья сложилась бы по-другому. Без Наполеона иной была бы карта новейшей Европы. А отсутствие Гитлера в политической жизни Германии не привело бы мир ко второй мировой войне. Все это давно уже опровергнуто. Исторические и социальные процессы не зависят от случайностей, изменяющих те или иные индивидуальные судьбы. Такие процессы подчинены общим для всех законам исторического развития.

Я вспомнил свой спор с Кленовым и свой же вопрос.

— Но ведь возможна такая случайность: Гитлера нет, не родился. Что тогда?

И Мист почти дословно повторил Кленова:

— Появился бы другой фюрер. Чуть раньше, чуть позже, но появился. Ведь решающим фактором была не личность, а экономическая конъюнктура тридцатых годов. Объективная случайность появления такой личности подчинена законам исторической необходимости.

— Значит, везде одно и то же? Во всех фазах, во всех мирах? Одни и те же исторические фигуры? Одни и те же походы, войны, революции? Одна и та же смена общественных формаций?

— Везде. Разница только во времени, а не в развитии. Смены общественно-экономических формаций в любой фазе однородны. Они диктуются развитием производительных сил.

— Так думали в прошлом веке, а сейчас?

— Не знаю. Это не запрограммировано. Но я вероятностная машина и могу делать выводы независимо от программы.

Законы диалектического материализма остаются верными не только для прошлого.

— Еще вопрос, Мист. Велико ли по объему математическое выражение теории фаз?

— Оно включает общие формулы, расчеты Яновского и систему уравнений Шуаля. Три страницы учебника. Я могу воспроизвести их.

— Только устно?

— И графически.

— Долго?

— В пределах минуты.

Послышался легкий шум, похожий на жужжание электрической бритвы, и передняя панель машины откинулась наподобие полочки с металлическими держателями. На полочке белели два аккуратных картонных прямоугольника, мелко испещренные какими-то значками и цифрами. Когда я взял их, панель захлопнулась, и так плотно, что даже линия соединения исчезла.

Позади меня раздался тоненький детский голос:

— Я здесь, пап. Ты не сердишься?

Я обернулся. Мальчик лет шести-семи в голубом, как небо, обтягивающем тело костюмчике стоял у глухой белой стены. Он был похож на картинки из детских модных журналов, где всегда рисуют таких красивых спортивных мальчиков.

ПРАВО ОТЦА

— Как ты вошел? — спросил я.

Он шагнул назад и исчез. Стена, по-прежнему ровная и белая, падала вниз. Потом из нее высунулась лукавая мордочка, и мальчишка, как «человек, проходящий сквозь стены», вновь возник в комнате.

«Светозвукопротектор!» — вспомнил я. Здесь применяли белый, создающий полную иллюзию стен.

— Я тайком,— признался мальчишка,— мама не видела, а Вера глаз выключила.

— Откуда ты знаешь?

— А глаз сюда через гимнастический зал смотрит. Как побегаешь там, она кричит: «Уйди, Рэм! Ты опять в поле зрения».

— Где кричит?

— Далеко. В больнице.— Он махнул куда-то рукой.

Я не сказал «понятно», потому что понятно не было.

— А Юля плакала,— сообщил Рэм.

— Почему же она плакала?

— Из-за тебя. Ты опыт не разрешаешь. Ты злой, папка. Так нельзя.

— Какой же это опыт? — полюбопытствовал я.

— Ее в облачко-невидимку превратят. Как в сказке. Облачко полетит-полетит и вернется. И опять станет Юлькой.

— А я не позволяю?

— Не позволяешь. Боишься, что облачко не вернется.

Теперь я уже совсем заблудился. Как в лесу. Выручила Вера, снова напомнив мне о пульсе.

— Верочка,— взмолился я,— объясните, почему я не разрешаю Юльке стать невидимкой? Все память проклятая!

Я услышал знакомый смех.

— Как вы непонятно говорите: про-кля-тая... Смешно. А с Юлей вы сами должны решить — ваше семейное дело. Именно поэтому к вам рвется Аглая. Боюсь, это вас взволнует.

— Давайте,— сказал я храбро.— Не взволнует.

Кто такая Аглая, я спросить не рискнул. Как-нибудь выкручусь. Посмотрел на место исчезнувшего Рэма, но Аглая появилась с другой стороны. Вошла она, как хозяйка, и села против меня — рослая, едва ли сорокалетняя женщина в платье загадочного покроя и цвета. Она была бы вполне уместна у нас в президиуме какого-нибудь международного фестиваля.

— Ты хорошо выглядишь,— проговорила она, внимательно меня оглядывая.— Даже лучше, чем до операции. А с новым сердцем еще сто лет проживешь.

— А вдруг не приживется? — сказал я.

— Почему? Биологическая несовместимость пугала только в твоем любимом веке.

Я неопределенно пожал плечами, предоставляя ей слово. Начиналась игра в сюрпризы. Кто она вообще? Кто она мне? Кто я ей? Что от меня требовалось? Почва становилась зыбкой, каждый шаг взывал к находчивости и сообразительности.

Разговор начался сразу и с неожиданного:

— Значит, ты согласился?

— На что?

— Как будто не знаешь. Я говорила с Анной.

— О чем?

— Не притворяйся. Все о том же. Ты согласился на эксперимент.

Какой эксперимент? Кто это Анна? И почему я должен был соглашаться или не соглашаться?

— Тебя заставили?

— Кто?

— Не говори. Ребенок поймет. Человек после такой операции! Еле пришел в себя. Новое сердце. Склеенные сосуды. А к нему с ультиматумом: соглашайся, и все!

— Не надо преувеличивать,— сказал я осторожно.

— Я не преувеличиваю. Я точно знаю. Анна поддерживает эту затею не из высоких соображений. Просто у нее нет биологических стимулов: Юлия не ее дочь. Но она твоя дочь! И моя внучка!

Я подумал о том, что отец и бабушка, пожалуй, слишком молоды для взрослой дочери, затеявшей какой-то сложный научный эксперимент. Я вспомнил сказку Рэма и улыбнулся.

— И он еще улыбается! — воскликнула моя собеседница.

Пришлось пересказать ей сказку о невидимке-облачке в интерпретации Рэма.

— Значит, Анна не сказала ей о твоем согласии. Умно. Теперь ты можешь взять его назад.

— Зачем?

— И ты допустишь, чтобы твою дочь превратили в какое-то облако? А если оно растает? Если атомная структура не восстановится? Пусть Богомолов сам экспериментирует! Его открытие — на себе и применяй! Ему, видите ли, не разрешают: стар, мол, и немощен. А нам с тобой легче, оттого что она молода и здорова? — Аглая прошлась по комнате, как Брунгильда в гневе.— Я тебя не узнаю, Сергей. Так яростно был против...

— Но ведь согласился,— возразил я.

— Не верю я в это согласие! — закричала она.— И Юлия об этом не знает. Скажи ей — она сейчас придет сюда,— пусть отменяют опыт. Человек не единственный хозяин своей жизни, пока у него есть отец и мать.

У меня мелькнула надежда: может быть, опыт еще не скоро?

— Сегодня.

Я задумался. Юльке, очевидно, около двадцати, может, чуть меньше, может быть, больше. Она ассистент профессора или что-то в этом роде. Они идут на эксперимент, который у нас показался бы чистейшей фантастикой и, видимо, даже здесь был связан со смертельным риском для жизни. У отца было право вмешаться и не допустить этого риска. Сейчас это право получил я. И даже отказаться от него не мог, не создав тем самым еще более критической ситуации. Глаза Аглаи смотрели на меня с нескрываемым гневом, но ответить ей сразу я не мог. Сказать «нет» и устранить тревогу у людей, кому дорога судьба этой девушки? Но ее место тут же займет другой, я был уверен в этом, и займет с такой же готовностью к риску. Так можно ли было отнять у нее это право на подвиг? А сказать «да» и, может быть, нанести этим смертельный удар человеку, который сейчас не может вмешаться и поправить меня?

— Значит, человек не единственный хозяин своей жизни, пока у него есть отец и мать,— задумчиво повторил я слова Аглаи.

Она тотчас же откликнулась:

— Такова традиция века.

— Хорошая традиция, когда риск безрассуден. А если нет? Если человек рискует во имя более высоких интересов, чем счастье или горе близких?

— Чьи же интересы выше?

— Родины, например.

— Ей не грозит опасность.

— Науки.

— Она не нуждается в человеческих жизнях. Если кто-то гибнет, виноваты ученые, допустившие гибель.

— А если нет вины, если риск — это подвиг?

«Брунгильда» снова поднялась, величественная, как памятник.

— Тебе сменили не только сердце.

Даже не взглянув на меня, она прошла сквозь стену, расступившуюся перед ней, как покорное библейское море.

— Вы правильно поступили,— сказала Вера.

Я вздохнул: а вдруг нет?

— Еще один разговор, и мы снимем наблюдение.

Та, с кем я должен был разговаривать, уже находилась в комнате. Описать ее внешность трудно: мужчины обычно не запоминают причесок и костюмов. Что-то строгое, светлое и не так уж далеко ушедшее от наших мод. И что-то общее в лице с какими-то портретами из нашей семейной хроники. Что-то «громовское».

Я невольно залюбовался и строгостью ее черт, и сдержанностью оформляющих ее красок.

— Я жду, папа,— сухо сказала она.— И в институте ждут.

— Разве тебе не сказали?

— Что?

— Что я уже не возражаю.

Она села и опять встала. Губы ее дрожали.

— Папка, золотко,— всхлипнула она и уткнулась носом в мою вестсайдку.

Я почувствовал нежный запах незнакомых духов. Так пахнут цветы на лугу после дождя, смывшего пыль.

— У тебя есть время?—спросил я.—Расскажи мне об этом опыте. После шока я забыл кое-что.

— Я знаю. Но ведь это проходит.

— Конечно. Потому я и спрашиваю. Это твое открытие?

— Ну что ты...— засмеялась она.— И не мое, и не Богомолова. Это открытие из будущего, из какой-то соседней фазы.

Представь себе любой предмет в виде разреженного электронного облака. Скорость перемещения его огромна. Никакие препятствия ему не страшны, он пройдет сквозь любое. Как показали опыты, можно мгновенно перебросить на неограниченное расстояние все, что угодно,— картину, статую, дерево, дом. На днях из-под Москвы перебросили таким способом однопролетный мост через Каспийское море и уже на месте уложили его между Баку и Красноводском. А сейчас опыт с человеком. Пока только в пределах города.

— Я все-таки не понимаю как...

— Да ты и не поймешь, папка, крот ты мой исторический. Но, в общем, грубо схематически это так: в любом твердом теле атомы плотно прилегают друг к другу своими электронными оболочками. Они не распыляются в пространстве и не проникают взаимно один в другой из-за наличия электростатических сил притяжения и отталкивания. Теперь представь себе, что найдена возможность перестроить эти внутренние межатомные связи и, не изменяя атомной структуры тела, привести ее в разреженное состояние, в каком, скажем, находятся атомы газов. Что получится? Атомно-электронное облако, которое можно опять сгустить до молекулярно-кристаллической структуры твердого тела.

— А если...

— Какие же «если»? Технология процесса давно освоена.— Она поднялась.— Пожелай мне удачи, пап.

— Один вопрос, девочка...— Я задержал ее, взяв за руку.— Ты знаешь формулы теории фаз?

— Конечно, их еще в школе проходят.

— Ну, а я не проходил. И мне нужно запомнить их хотя бы механически.

— Ничего нет проще. Скажи Эрику, он главный у мамы гипнопед. Ты все забыл, пап. У нас и концентратор внушения есть, и рассеиватель.— Она подняла руку к лицу и сказала в крохотный микрофон на браслете: — Сейчас, сейчас, уже готова. Все в порядке. Нет, не надо, не присылайте — доберусь по движенке. Конечно, проще. И удобнее. Ни подниматься, ни опускаться, ни шума, ни ветра. Стал на тротуар — и через две минуты у вас.— Она обняла меня и, прощаясь, прибавила: — Только никаких наблюдений. Я супер выключила. Вас будут информировать регулярно и своевременно. И скажи Эрику и Диру, чтоб не фокусничали, к сети не подключались.

И, вся уже в полете, напряженная и нездешняя, как «Бегущая по волнам» у Грина, она скрылась в белой кипени сомкнувшихся за ней стен. Я подошел к тому, что мне казалось стеной. Вера не подавала голоса. Оглянувшись, как вор, я шагнул сквозь стену.

Передо мной простирался широкий коридор, ведущий, должно быть, на веранду. Сквозь стекло, а может быть и не стекло, двери я видел потемневшее к вечеру небо и довольно далекий абрис многоэтажного дома. Когда я подошел ближе, ни двери, ни стекла уже не было. Двое мужчин и женщина сидели за низеньким столиком. Рэм скакал на одной ножке вдоль веранды, огороженной вместо барьера низкими, подстриженными кустами. Их крупные кремовые цветы, блестевшие от вечерней росы, показались мне знакомыми, как елочные игрушки.

— Папка пришел! — закричал Рэм, повиснув у меня на шее.

— Оставь папу, Рэм,— строго сказала женщина.

Мягкий свет, падавший откуда-то сверху, скользил мимо, оставляя ее в тени. Наверное, Анна!

— Наблюдение уже снято, Сережа,— продолжала она.

— Полная свобода передвижения,— засмеялся мужчина постарше, должно быть Эрик.

— Неполная,— поправила женщина.— Дальше веранды никуда.

Мужчина помоложе, видимо Дир, вскочил и, не глядя на меня, зашагал вдоль кустов. Длинноногий, полуобнаженный, в обтягивающих бедра шортах, он походил на легкоатлета на тренировке.

— Только что ушла Юля,— сказал я.

— Незачем было разрешать,— буркнул Дир, не оборачиваясь.

— Мы все слышали,— пояснила Анна.

Все в этом доме все слышат и видят. Попробуй-ка уединись! «Как на сцене живешь»,— с досадой подумал я.

— А ведь ты и вправду изменился,— улыбнулась Анна.— Только не могу понять, в чем. Может быть, к лучшему?

Я промолчал, встретив внимательный, изучающий взгляд Эрика.

— Громова прошла в эйнокамеру,— сказал неизвестно откуда идущий голос.

— Слышите? — обернулся Дир.— Все! Была Юля вторая, а теперь уже Громова.

— Слава начинается с фамилии,— засмеялся Эрик.

Я напомнил им, что супер выключен, прибавив, что Юля просила гостей не подключаться к сети.

— Как ты сказал: гостей? — удивилась Анна.

— Ну и что? — насторожился я.

— У тебя действительно какие-то провалы в памяти. Мы уже полвека не употребляем слово «гость» в его прежнем значении. Ты так зарылся в историю, что об этом забыл.

— Гостем мы называем теперь только пришельцев из других фаз пространства и времени,— как-то странно пояснил Эрик.

Ответить я не успел: помешал опять голос.

— Подготовка к опыту,— отчеканил он,— проходит по циклам. Никаких отклонений не наблюдается.

— Минут через двадцать, раньше не начнут,— сказал Дир.

Все промолчали. Эрик не сводил с меня внимательного, пронизывающего взгляда. В нем не было неприязни, но он подымал во мне бессознательную тревогу.

— Я слышал вашу просьбу о формулах, когда вы говорили с Юлей,— вдруг произнес он с явно доброжелательной интонацией,— и я с удовольствием помогу вам. У нас есть время, пойдемте.

Я встал, искоса поглядев вниз за кусты ограды. Веранда висела на высоте небоскреба. Внизу темнели кроны деревьев— вероятно, уголок городского парка.

— Свет! — сказал Эрик, входя в комнату и ни к кому не обращаясь.— Только на лица и на столик.

Свет в комнате словно сжался, сгустился до невидимого прожектора, выхватившего из темноты наши лица и маленький столик, оказавшийся возле меня.

— Формулы с вами? — спросил Эрик.

Я протянул ему карточки Миста.

— Мне они не нужны,— засмеялся он,— это ваш урок. Положите на стол и смотрите внимательно. Только верхние ряды, нижние не надо. Это расчеты, которые выполнит элементарная вычислительная машина. А верхние читайте ряд за рядом.

— Я их не понимаю,— сказал я.

— Этого и не требуется. Смотрите, и только.

— Долго?

— Пока не скажу.

— Где-то у вас есть концентратор внушения,— вспомнил я слова Юльки.

— Зачем? — усмехнулся Эрик.— Я по старинке работаю. Теперь взгляните мне в лицо.

Я увидел только зрачки его, огромные, как лампадки.

— Спите! — крикнул он.

Что произошло дальше, я не помню. Кажется, я открыл глаза и увидел пустой столик:

— Где же формулы?

— Я их выбросил.

— Но ведь я ничего не запомнил.

— Это вам кажется. Вспомните потом, когда вернетесь домой. Вы же «гость». Правда?

— Правда,— сказал я решительно.

— Из какого времени?

— Прошлый век. Шестидесятые годы.

Он засмеялся тихо и удовлетворенно:

— Я понял это еще по данным медицинской обсервитации. Очень уж подозрительно выглядели и шок и потеря памяти. Я следил за вами по видеографу, когда Юля говорила с Богомоловым. У вас было такое лицо, словно вы увидели чудо. Когда она сказала, что поедет по движенке, я понял, что вы ни разу не ступали на движущуюся панель. А мы ездим на ней полвека. Вы забыли все, что рождено современностью, вплоть до семантики слова «гость». Так можно обмануть хирургов, но не парапсихолога.

— Тем лучше,— сказал я,— мне даже повезло, что я вас встретил. Жаль только, что я ухожу, ничего не увидев. Ни домов, ни улиц, ни движенки, ни вашей техники, ни вашего строя. Побывать на вершинах коммунистического общества — и ничего не увидеть, кроме больничной палаты!

— Почему на вершинах? Коммунизм не стабильная, а развивающаяся формация. До вершин нам еще далеко. Мы делаем сейчас гигантский скачок в будущее, когда завершится мечта Юлии. Ваш мир тоже его сделает, когда вы сумеете воспроизвести запечатленные в памяти формулы нашего века. Пусть пока еще встречаются только мысли, а не люди, но эти встречи миров обогащают, движут вперед мечту человечества.

Мне захотелось оставить памятку этому миру, памятку человеку, мозг которого я узурпировал.

— Можно, я напишу ему? — предложил я Эрику.

— Зачем? Просто скажите. Его голос, но ваши слова.

Я оглянулся растерянно и недоуменно.

— Магнитофон ищете? У нас другие, более совершенные способы воспроизведения речи. Объяснять долго — просто говорите!

— Я прошу простить меня, Громов, за узурпацию вашего места в жизни на эти девять-десять часов,— начал я неуверенно, но сочувственный кивок Эрика как бы подтолкнул меня.— Я только «гость», Громов, и уйду так же внезапно, как и пришел. Но я хочу сказать вам, что я счастлив, пережив эти часы вашей жизни. Я вмешался в нее, благословив Юлию на подвиг, потому что не мог поступить иначе. Отказаться от решения было бы трусостью, а помешать — обскурантизмом[1]. Я жалею только об одном: я не дождусь победы вашей дочери, а вместе с ней — и вашей науки, и вашего строя. Это великое счастье остается вам.

---

[1] Обскурантизм — враждебное отношение к просвещению и прогрессу.

— Сергей, Эрик! — закричал Дир, вбегая.— Началось!

— Поздно,— сказал я, чувствуя знакомое приближение черной, беззвучной бездны.— Я ухожу. Прощайте.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

За окном — улица, ветер, дождь. Электрический фонарь в мутном дождевом мареве похож на паука, запутавшегося в собственной паутине. Проехал автобус, прорвав выхваченный из темноты косой водяной заслон. Обыкновенная московская осенняя ночь.

Я дописываю последние строки уж не знаю чего — очерка, или воспоминаний, или, может быть, интимного дневника, который не рискну напечатать. Но дописать надо. Кленов звонил уже с утра, точно сформулировав число строк для полосы. Впрочем, он тут же оговорился: все зависит от того, как будет реагировать на это мировая научная общественность. Может быть, мне отдадут всю полосу.

Заседание Академии наук начнется завтра в десять утра, и когда окончится — неизвестно. Доклад Никодимова, содоклад Заргарьяна, мое слово и выступления наших и зарубежных ученых. По словам Кленова, их съехалось сюда более двухсот человек. Все звезды нашей земной физико-математической галактики, не считая гостей и корреспондентов. Правительственное сообщение я не цитирую — оно всем известно. После него не только мои ученые друзья, но и журналист Сергей Громов проснулся знаменитостью.

Более двух месяцев прошло со дня моего возвращения, но мне все еще кажется, что это было только вчера. Я очнулся в лаборатории Фауста, в привычном уже кресле с электродами и датчиками. Очнулся усталый, с чувством горькой, почти непереносимой утраты. Заргарьян о чем-то спрашивал, я отвечал нехотя и неопределенно. Никодимов молча поглядывал на меня, просматривая записи осциллографов.

— Мы начали в десять пятнадцать,— вдруг сказал он,— а в час вас потеряли...

— Не совсем,— поправил Заргарьян.

— Верно. Видимость упала сперва до нуля, потом слабо возобновилась, а затем снова поднялась до критической цифры. Даже с более точной наводкой. Честно говоря, я так ничего и не понял.

— В час,— задумчиво повторил я, глядя на Заргарьяна,— в начале первого мы с тобой были в «Софии»...

— Бредишь?

— С тобой, постаревшим на двадцать лет и с этакой кур-

чатовской бородкой. Словом, в Москве конца века. В той «Софии». Кстати, она совсем не похожа на нашу. И Маяковский не похож. Выше колонны Нельсона.— Я набрал полные легкие воздуха и выпалил: — А ты взял да и перебросил меня еще вперед лет на сто. Тогда вы меня и потеряли... при второй наводке.

Теперь они оба смотрели на меня не то чтобы недоверчиво, а как-то подозрительно строго. А я продолжал, так и не подымаясь с кресла — не было сил встать:

— Не верите? Трудно, конечно, поверить. Фантастика. Между прочим, экраны у них в лаборатории в одну линию, параболическую и с передвижным пультом. А на крыше — бассейн...— Я глотнул слюну и замолчал.

— Тебе сейчас доппинг нужен,— сказал Заргарьян.

Он разболтал в полстакане коньяка два желтка и подал мне, чуть не пролив — так у него дрожали руки. Питье меня взбодрило, я уже мог рассказывать. И я рассказывал и рассказывал взахлеб, а они слушали как завороженные, с благоговением завсегдатаев консерваторских концертных премьер. Потом их прорвало, вопросы застрочили, как пулеметная очередь. Они спрашивали и переспрашивали, и Заргарьян что-то кричал по-армянски, а я снова и снова должен был вспоминать то монорельсовую дорогу, то золотой хрусталь «Софии», то кресло без шлема и датчиков, то белую витализационную камеру и невидимую Веру седьмую, то Миста с его глоссарием, то рассказ Юльки, в котором, как в матовом стекле, отражался загадочный облик века. Я все никак не мог подойти к главному — к моей встрече с Эриком, а когда подошел, что-то вдруг сверкнуло у меня в памяти ослепительной вспышкой магния.

— Бумагу,— сказал я хрипло,— скорее! И карандаш.

Заргарьян подал мне блокнот и авторучку. Я закрыл глаза. Теперь я видел их совершенно отчетливо, как будто держал перед собой,— все ряды цифр и букв, образующих формулы на карточках Миста. Я мог вписывать их одну за другой, ничего не пропуская и не путая, воспроизводя в точности все, запечатленное в другом мире и с непостижимой яркостью вновь возникшее в этом. Я писал вслепую, слыша подавленный шёпот Заргарьяна: «Смотри, смотри... Он пишет автоматически, с закрытыми глазами». Так я и писал, не открывая глаз, не останавливаясь, с лихорадочной быстротой и четкостью, пока не воспроизвел на бумаге последнего, завершающего уравнения математического символа.

Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, было склонившееся надо мной лицо Никодимова, белее исписанного мною листа.

— Все,— сказал я и бросил авторучку.

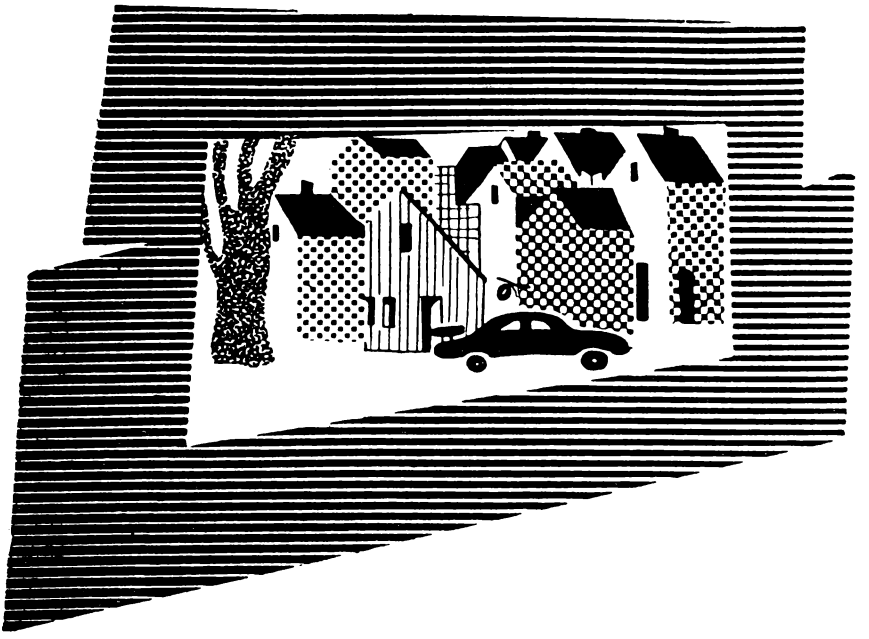
Никодимов схватил блокнот и поднес по близорукости к самым глазам, да так и застыл, как остановившийся кинокадр в оборванной на сеансе ленте.

— Тут треба математики поумнее,— сказал он наконец, передавая блокнот Заргарьяну.— И без электронной машинки не обойтись. Считать придется.

Считали они с Заргарьяном полтора или два месяца. И в Москве и в Новосибирске. Считали вместе с ними и академики, и аспиранты. Неподдающиеся расчетам секреты математики будущего раскрыл наконец Юра Привалов, самый молодой в мире доктор математических наук. Фазовая теория Никодимова—Заргарьяна получила теперь прочный, проверенный опытом будущего математический базис. Уравнения, переведенные на язык математики нашего века, стали уравнениями Шауля—Привалова. А завтра они станут достоянием всего человечества.

Ольга спит, слабо освещенная косым отблеском моей лампы. У нее не очень довольное, пожалуй, чуточку даже испуганное выражение лица. Она уже высказала нам с Галей свои опасения, что известность, реклама — весь этот сенсационный бум, который обрушится на меня завтра, станет между нами осложняющей жизнь преградой. Конечно, разговор о преграде — вздор, но жизнь моя уже сейчас приобретает идиотское голливудское оперение. Иностранные корреспонденты, уже давно что-то пронюхавшие, преследуют меня по пятам даже на улице, телефон звонит целый день, а ночью его приходится укутывать, чтобы не будили звонки. Даже сейчас кое-какие американские редакции предлагают мне дикие гонорары за мои впечатления, и я как попугай вынужден повторять, что впечатлений еще нет, а когда они появятся, то прочесть их можно будет на страницах советских изданий. И Кленов дружески подшучивает, что мне все-таки придется дописать свои «Хождения за три мира».

Я не согласен — не за три! Больше! И среди них обязательно будет тот, который я так и не увидел,— прекрасный, как сказка, мир Юльки и Эрика.



Я. Наумов, А. Яковлев

КОНЕЦ ПОЛКОВНИКА ТУЛБИСА

Было далеко за полночь, когда в кабинете подполковника Скворецкого внезапно зазвонил телефон.

«Кому еще я мог в такое время понадобиться?» — подумал Скворецкий, снимая трубку.

— Кирилл Петрович? — послышался голос начальника Управления.— Прошу зайти.

«Что могло случиться? Как будто ничего срочного не должно быть»,— размышлял Скворецкий по дороге к начальнику Управления.

Недоумение его рассеялось, едва он переступил порог кабинета.

— Вот что,— отрывисто бросил полковник, оторвавшись от лежавших перед ним дел,— придется тебе немедленно выехать в Москву. Вызывают. Сам знаешь, ты сейчас здесь вот так нужен, но... с начальством не спорят...

— Когда выезжать? — спросил Скворецкий.

— «Когда, когда»,— проворчал полковник.— Чем скорее, тем лучше. Сдавай дела и прямо утром отправляйся.

Через два дня Скворецкий был в Москве в Наркомате государственной безопасности.

— Садитесь,— пригласил Кирилла Петровича генерал и указал ему на кресло, стоявшее вплотную к столу, заваленному папками и бумагами.— Вы, кажется, партизанили на Смоленщине в первые годы войны?

— Было такое дело, партизанил. До сорок третьего,— улыбнулся подполковник.

— Вот и отлично,— подхватил генерал.— Значит, тактику партизанской войны, действия небольших подразделений в лесных условиях, диверсионную работу знаете. Ну, а чекистского опыта вам не занимать стать. Не так ли?

Скворецкий сдержанно молчал, пока еще не совсем понимая, к чему ведет этот разговор. Генерал тоже помолчал, пристально вглядываясь в выражение лица подполковника, и, выждав какое-то время, наконец сказал:

— Завтра выедете в Вильнюс. Там находится заместитель наркома. Войдете в состав возглавляемой им оперативной группы. Указания получите от него на месте. Вопросы есть?

Скворецкий поднялся. Какие могли быть вопросы?

В тот же день он выехал в Вильнюс. Сидя в переполненном, душном вагоне, Кирилл Петрович размышлял о предстоящем деле.

Еще раньше, до своего выезда из Смоленска, Скворецкий знал, что, хотя большая часть Советской Прибалтики уже освобождена от фашистских оккупантов (шел конец февраля 1945 года), хотя война перешла на территорию Германии и наши войска добивают гитлеровцев, в Прибалтике, и особенно в Литве, далеко не спокойно. Там до сих пор работает фашистская агентура вместе с националистами. Но характер этой деятельности и ее масштабы Кириллу Петровичу не были известны, поэтому многое из того, что он выяснил на месте, было для него неожиданностью.

Заместитель наркома принял подполковника сразу же после его приезда. Он рассказал о том, что почти ежедневно в Вильнюсе, Каунасе, в других городах и селах Литвы совершаются вооруженные нападения на советских и партийных работников. Стреляют в окна домов, из-за угла, устраивают засады, похищают коммунистов и комсомольцев. На стенах

улиц в городах и даже в столице республики то и дело появляются листовки на литовском языке, отпечатанные типографским способом, с призывом к свержению Советской власти.

Конечно, подполье не так уж многочисленно, но, сознавая свою близкую гибель, идет на все, на самые отчаянные преступления.

— Да,— сказал заместитель наркома, заканчивая разговор,— есть и еще кое-что заслуживающее серьезного внимания. Нами перехвачена радиограмма, адресованная, судя по всему, Абвером[1] какому-то из своих корреспондентов, действующих в районе Вильнюса. Текст радиограммы удалось расшифровать. Из него ясно, что германская разведка проявляет повышенный интерес к одному ничем не примечательному поселку невдалеке от Вильнюса. Это весьма тревожно.

— Почему? — спросил Скворецкий.— Если поселок никакого значения не имеет...

— В том-то и дело, что имеет,— перебил его замнаркома.— И немалое. Неделю назад возле этого поселка разместилась особо засекреченная войсковая часть. Из радиограммы ясно, что немцы об этом знают. Как? Откуда? Очевидно, в районе поселка имеется их агентура, что-то узнавшая. Эту агентуру необходимо выявить и обезвредить. Вот эту задачу в первую очередь я и намерен возложить на вас и приданную группу работников. Конечно, совместно с литовскими товарищами. Так что не будем терять времени: беритесь за дело, свяжитесь с местным активом.

В тот же день Скворецкий познакомился со своими ближайшими помощниками. Их было несколько, но подполковник обратил внимание на двоих: майора Маженаса и капитана Аликаса.

Капитан Аликас был умен, превосходно владел собой, отлично разбирался в обстановке. Майор Маженас, как вскоре убедился Скворецкий, был несдержан и, кроме того, недостаточно глубоко понимал происходившие в Прибалтике события. Как показалось Скворецкому, Маженас и Аликас друг друга недолюбливали. Вскоре он убедился, что не ошибся. В основе их взаимоотношений лежала не только личная неприязнь, но и коренные расхождения в оценке оперативной обстановки и методов работы. Маженас никогда прямо не показывал свое отрицательное отношение к Аликасу, но старался скомпрометировать каждое его предложение, а Аликас большей частью молчал, зато если возражал, то высказывал все самому Маженасу.

Эти разногласия стали ясны уже на первом оперативном

---

[1] Абвер — наименование германской военной разведки.

совещании у заместителя наркома. Майор горячо доказывал, что основными должны быть массовые операции: «прочесывание» войсками лесов, обыски в местечках и поселках, где произошли диверсионные и террористические акты, массовые аресты всех хоть сколько-нибудь внушающих подозрение. Только самыми активными следственными мероприятиями можно уничтожить подполье, утверждал Маженас. Предварительное расследование, до ареста подозреваемых, он отрицал начисто.

Совсем иное предлагал Аликас.

— Главная задача,— говорил он,— проникнуть в националистическое подполье, перекрыть каналы его связей и, ликвидировав головку, обезглавить подполье, а затем добить его по частям. Этим мы одновременно нанесем удар гитлеровской агентуре и лишим ее базы на литовской земле. А для этого надо как можно тщательней проводить предварительное расследование, а не аресты и допросы.

— Ваше мнение? — обратился заместитель наркома к Скворецкому.

— Я согласен с точкой зрения капитана Аликаса,— сказал Кирилл Петрович.— То, что он говорит, ясно любому маломальски толковому чекисту,— Скворецкий бросил сердитый взгляд в сторону Маженаса,— но беда в том, что предложение капитана еще как следует не продумано. «Проникнуть в центр националистического подполья»! Отлично! А как это сделать, каким образом? Я пока не вижу никаких конкретных путей решения этой задачи...

— Согласен,— кивнул головой заместитель наркома.— Поручим подполковнику Скворецкому и капитану Аликасу разработать план необходимых мероприятий.

Совещание закончилось. Скворецкого и Аликаса заместитель наркома попросил задержаться и подробно доложить, как обстоят дела.

Ничего утешительного подполковник рассказать не мог. За прошедшие дни в районе расположения части и в самом поселке случился ряд происшествий, подтверждавших предположение, что там орудует вражеская агентура. Так, однажды невдалеке от контрольно-пропускного пункта при входе в охраняемую зону был обнаружен подозрительный человек. Когда его пытались задержать, он стал отстреливаться, а увидев, что положение его безнадежно, застрелился. Документов при нем никаких не оказалось, и труп остался неопознанным.

День спустя при выезде из расположения части взорвалась автоцистерна. Затем загорелись провода, ведущие к складу артиллерийских снарядов. Потом одновременно заболело несколько бойцов и офицеров части,— подозревали эпидемию.

Причем заболевали те офицеры и вольнонаемные, кто обедал в офицерской столовой, расположенной в поселке. Только после третьего или четвертого смертельного случая вскрытие обнаружило признаки отравления малыми дозами какого-то неизвестного нашим специалистам яда.

Но как, каким путем попадал яд в пищу? Кто это делал? Ответ на эти и многие другие вопросы должна была дать группа Скворецкого, но ответа пока не было, даже не было ничего, что помогло бы в розыске преступников.

— Скверно,— подвел итоги заместитель наркома, внимательно выслушав подполковника.—Совсем скверно. Что же вы предприняли, что намереваетесь делать дальше?

Скворецкий доложил, что ведется выборочная проверка населения поселка, особенно тех, кто работает в столовой и иных организациях, связанных с обслуживанием личного состава и техники воинской части. Пока, правда, ничего конкретного нет, но кое-что обнаружилось.

— А именно?— поинтересовался заместитель наркома.

— Выяснилась одна любопытная деталь. Оказывается, санитарным врачом в столовой офицерского состава работает местная уроженка Альдона Маренайте. Эта Маренайте до войны была активной комсомолкой, вступила в комсомол еще в годы подполья, до свержения сметоновского режима и провозглашения Советской власти. С вторжением гитлеровцев на территорию Прибалтики Маренайте эвакуировалась, затем вступила добровольцем в ряды Красной Армии, а некоторое время спустя в составе разведывательной группы была заброшена в тыл к немцам, в район Каунаса.

— Так, так. Что же дальше?

— А вот дальше и начинается самое интересное. Неизвестно, как и почему, но группа вскоре была обнаружена и все ее участники схвачены. Одних гестаповцы расстреляли, других бросили в лагеря и, по имеющимся сведениям, они там погибли, а Маренайте... Альдону Маренайте гестапо отпустило, и никто ее вплоть до прихода наших войск не трогал. Когда пришли наши, ее вызывали в органы военной контрразведки, но она там заявила, что ни о причинах провала группы, ни о судьбе ее участников, равно и о том, почему ее освободили из заключения, ничего не знает.

Поскольку допрашивали Маренайте в первые дни после освобождения Вильнюса и данных о провале всей группы тогда не было, ее отпустили. На том все в то время и кончилось. Теперь мы решили присмотреться к ней попристальнее.

— Это единодушное решение всей вашей группы? — спросил заместитель наркома.

— Нет,— твердо сказал Скворецкий.— Не единодушное. Майор Маженас настаивал на немедленном аресте Маренайте. Мы с капитаном Аликасом отвергли это предложение.

— Что же, будь по-вашему. Но в случае чего... Головой ответите. Ваша нерасторопность может привести к новым жертвам. Так что делайте возможное и невозможное, но гитлеровская агентура в поселке должна быть выявлена и обезврежена. Теперь о вашем предложении, капитан Аликас. У вас есть какие-нибудь конкретные соображения? Как вы намереваетесь проникнуть в националистическое подполье, каким путем?

— Конкретных планов у меня пока еще нет,— смутился Аликас,— но таково, по-моему, должно быть главное направление нашей работы...

— Главное направление! — нахмурился заместитель наркома.— Это вы уже говорили. Но мало поставить задачу, надо найти пути ее решения. Вот этого я от вас и жду. Какой вам нужен срок, чтобы подготовить предложения?

— Я думаю... я полагаю,— замялся Аликас.— Месяц-полтора, раньше вряд ли успеем.

— Да,— поддержал его Скворецкий.— Тут есть над чем поломать голову. Раньше чем за месяц не успеем.

— Две недели,— решил заместитель наркома.— Две недели, вот вам мой срок. Больше дать не могу — время не терпит. Подумайте-ка над тем, не найдется ли связи между решением этих двух задач: ликвидацией вражеской агентуры в районе поселка и проникновением в антисоветское подполье. Мне кажется, что эти задачи следует решать как единую. Так что думайте, думайте...

* * *

Следующие дни ничего нового не принесли, а спустя несколько суток, около трех часов пополуночи, подполковник получил сообщение, что в 0 часов 45 минут юго-западнее Вильнюса обнаружен вражеский самолет, прошедший на высоте 400—500 метров в направлении поселка, где расположена секретная войсковая часть. Через несколько минут самолет повернул и ушел в сторону моря. Сбить его не удалось.

Было ясно, что самолет сбросил в районе поселка парашютистов, и Скворецкий тут же дал указание тщательно «прочесать» всю местность. Но это ничего не дало: в лесу задержали несколько человек, но все они оказались жителями близлежащих поселков и подозрения не вызывали.

Скворецкий поручил Аликасу съездить в поселок и привезти Маренайте, чтобы побеседовать с ней.

...В тот самый день, когда капитану было дано это поручение, Маренайте шла в соседний поселок, к своей родственнице. Настроение у девушки было мрачное. Да, сейчас война ушла далеко на запад и близка к полному окончанию. Советская Армия побеждает. Все это, конечно, так, а покоя, умиротворения на ее, Маренайте, родной земле все нет и нет. Вот и у них в поселке то появляется фашистская свастика на здании почты, то какие-то неизвестные открыли стрельбу по милиционеру, а теперь эти происшествия в воинской части. Уж не из-за них ли вчера до темноты местный актив кого-то или что-то искал в лесу? А может, это связано со слухами, что ползли последние дни по поселку? Рассказывали, будто несколько дней назад на деревню Цитаголяй нагрянула вооруженная банда и убила председателя земельного комитета. Называли даже (шепотом, конечно) имя главаря бандитов. Вернее, не имя, а кличку: «Черный барин». Уж не этого ли «Черного барина» ищут? Все могло быть.

Нет, что ни говори — страшно! Страшно так жить, хотя войне вот-вот и конец.

Маренайте так задумалась, что не заметила, как тропинка привела ее к опушке леса. Вдоль опушки мирно паслись коровы, а пастушонок Ионас, парнишка лет пятнадцати, пристроился на пригорке и старательно строгал ножом какую-то палку.

Маренайте приветливо помахала рукой и направилась к нему. В этот момент среди деревьев мелькнула какая-то неясная тень. Мелькнула и пропала. Маренайте так и замерла на месте, с испугом вглядываясь в лесную чащу. Ионас перестал улыбаться и повернулся в сторону леса. А там, на опушке, появилась другая, до ужаса знакомая Маренайте фигура, также мгновенно пропавшая из виду. Маренайте с минуту постояла, осматривая опушку, но все было тихо. Девушка пристально посмотрела на Ионаса — заметил ли? — и нерешительно подошла к нему. Ионас с невозмутимым видом вновь принялся за свою палку.

— Здравствуй, Ионас, как дела?

— Все хорошо. А ты куда это собралась?

— Да вот думала тетку проведать, только теперь, пожалуй, не пойду. Как-нибудь в другой раз.

Нет, мальчик ничего не видел. Почему-то Маренайте стало спокойнее от этой мысли. Она простилась с пастушонком и повернула назад, к поселку. «Как быть, что делать? — лихорадочно думала она.— Заявить? Ведь странное поведение тех двоих на опушке — высунулись и пропали — явно неспроста. Кто они? Что им здесь надо? Почему прячутся? Уж... уж не из банды ли они этого самого «Черного барина»? И почему,

почему такой знакомой показалась фигура этого, второго? «Он»?.. Но «его» же давно здесь, в Литве, нет. «Он» там, на Западе... Боже, что делать, что делать?..»

Маренайте спешила домой, ничего не замечая. Между тем, едва она скрылась из виду, Ионас поспешно вскочил, бросил недоструганную палку, сунул нож в карман, схватил длинный бич и оглушительно щелкнул, сбивая в стадо разбредшихся туда и сюда коров. Прошло несколько минут, и он уже гнал стадо к поселку.

Не отвечая на брань хозяек, раздраженных преждевременным возвращением скотины с пастбища, Ионас забежал домой, швырнул бич под крыльцо и, не говоря никому ни слова, припустился из поселка в уезд.

Ходьбы до уездного городишка было часа полтора, но Ионас почти всю дорогу бежал, и не прошло и часа, как он был в уездном отделе НКГБ.

Внимательно выслушав мальчика, дежурный по отделу тут же соединился с Вильнюсом, с подполковником Скворецким. Закончив разговор, он положил трубку и попросил Ионаса задержаться.

Скоро возле здания уездного отдела НКГБ остановилась машина, из которой вылезли Скворецкий, Аликас и трое автоматчиков (иначе в ту пору ездить вечером и ночью по дорогам Литвы было рискованно). Ионас дословно повторил Скворецкому все, что сообщил дежурному о двух неизвестных, замеченных им на опушке, а также о странном поведении жительницы поселка Маренайте, явно видевшей неизвестных и старательно пытавшейся это скрыть. Он рассказал, что неизвестные выглянули из леса одновременно с тем, как появилась Маренайте, а та шла в сторону леса (говорит — к тетке!), потом она вдруг повернула и чуть не бегом кинулась обратно, в поселок.

— Молодец, Ионас,— похвалил его подполковник.— Ты — настоящий патриот! И глаз у тебя зоркий, и наблюдательность есть. Молодец! Значит, ты уверен, что тех двоих никогда ранее не видал, что они не из ваших мест?

— Уверен,— ответил Ионас.— Наших я всех знаю, да и чего бы им в лесу прятаться? Зачем?

Еще раз похвалив мальчика, подполковник строго-настрого наказал ему молчать обо всем происшедшем и продолжать свои наблюдения.

— Как же ты домой доберешься? Ведь совсем темно?— спросил Скворецкий.

Ионас пожал плечами:

— А что такого? Мне не впервой...

— Верю,— согласился Скворецкий,— но сегодня, после

всего, что произошло, я тебя одного отпустить не могу. Забирайся в нашу машину, мы тебя мигом доставим на место.

Видно было, что это предложение пришлось Ионасу как раз по душе, еще бы — прокатиться на машине с военными! И все же он рассудительно возразил:

— Нельзя! Как в поселок въедем, все сразу заметят. У нас машины — редкость.

— Уж так и редкость?— усмехнулся Скворецкий.— А в воинскую часть, что невдалеке от поселка, машины совсем не ходят?

— Туда-то ходят...

— Ну вот мы и поедем вроде бы в воинскую часть, а тебя по пути незаметно высадим. Подойдет?

* * *

В то время, когда Ионас добирался до уездного НКГБ, беседовал с дежурным, ждал Скворецкого, Маренайте в полной растерянности сидела в своей комнате. Прошел час, другой, а она никак не могла ни на что решиться, наконец вскочила и начала быстро переодеваться. Решение было принято: пойти в уезд и все рассказать.

Маренайте спешила: ведь на улицу уже опустились сумерки, наступил вечер, а до города конец не малый.

Маренайте как раз заканчивала сборы, когда в дверь ее комнаты кто-то осторожно постучал.

— Кто там? — испуганно спросила Маренайте.— Кто?

— Это я,— послышался приглушенный голос.— Узнаешь? Открой же...

— Ты...— задохнулась Маренайте.— Ты?

Она так и замерла на месте, не в силах сделать хотя бы шаг, а стук в дверь повторился — настойчивее, чуть громче. Маренайте вздрогнула. Ей показалось, что стук гремит пулеметной очередью, что его слышит весь дом, весь поселок. Она метнулась к двери и, все еще не веря себе, распахнула ее — ошибки не было ни теперь, ни тогда, на опушке. Перед ней стоял Эйдукас — Валентинас Эйдукас. Живой и невредимый. Маренайте быстро втащила его за рукав в комнату, захлопнула дверь, повернула ключ на два оборота и сразу же погасила свет.

...Судьба впервые свела Маренайте с Эйдукасом при странных и трагических для нее обстоятельствах. Случилось это около трех лет назад, летом 1942 года, после того как Маренайте была заброшена в составе разведгруппы в Литву. Приземлились все участники разведгруппы удачно, быстро нашли друг друга и, не теряя времени, порознь направились в Кау-

нас по имевшимся у каждого явкам. Последующая связь между ними, места встреч, явки, задачи каждого — все было продумано и обусловлено заранее. Однако все оказалось напрасно — несколько дней спустя после прибытия в Каунас Маренайте арестовали. То ли кто-то ее выдал, то ли выследили, она не знала: ее схватили прямо на улице и приволокли в гестапо. Как вскоре ей стало ясно, такая же судьба постигла и ее товарищей по разведгруппе. Скорее всего, кто-то из них попался первым, может, и случайно, не выдержал пыток и выдал остальных. На первых допросах Маренайте тоже били, били жестоко, но она молчала, категорически отрицая свою принадлежность к разведгруппе. Затем на какое-то время ее оставили в покое: держали в камере, не вызывая на допрос. Потом снова вызвали. Следователь был новый, и переводчик новый. Переводчиком был Эйдукас.

Эти ее не били: они вели себя корректно, даже ласково, уговаривая Маренайте добром во всем признаться, выдать «партизан», которых она знала.

Допросы шли день за днем, но Маренайте по-прежнему все отрицала: нет и нет, никого, никаких партизан она не знает и сама к этому нисколько не причастна.

Эйдукаса Маренайте поначалу возненавидела. Он ей был более ненавистен, чем даже следователь. Еще бы: тот — немец, враг, его еще можно понять, а этот — литовец, свой, и продался врагам собственного народа!

Однако, чем дальше тянулись допросы, чем внимательнее присматривалась Маренайте к следователю и переводчику, тем больше ее тревожила мысль, что с Эйдукасом все не так-то просто. Нет, он ей не дал никакого определенного повода что-либо заметить, но нет-нет, а она ловила на себе какой-то тревожный, изучающий — с каждым новым допросом ее уверенность в этом росла,— сочувственный и доброжелательный взгляд.

А его перевод вопросов, которые ставил следователь? Не раз он переводил их так ловко, что вроде бы текстуально передавались слова следователя, а на деле в самом вопросе содержался намек, тонкий и умный, на то, как и что следует отвечать. Маренайте поняла это, так как владела немецким языком, что тщательно скрывала. С каждым новым допросом у Маренайте крепла уверенность, что Эйдукас ведет какую-то игру — игру тонкую, опасную, рискованную. Но зачем? С какой целью? В чьих интересах?

Все разъяснилось, когда весной 1943 года Маренайте внезапно выпустили из тюрьмы. Взяли и выпустили, не потребовав взамен никаких услуг. Единственно, что ей сказали, это чтобы она вернулась в поселок, лежавший на полпути между

Каунасом и Вильнюсом, где жила ее мать и никуда оттуда не выезжала.

Недели две спустя в поселке внезапно появился Эйдукас и пригласил Маренайте прогуляться. Она не посмела ему отказать. Когда они углубились в лес, Эйдукас взял ее под руку и внезапно сказал:

— Вы должны мне помочь. Помочь... связаться с партизанами. Только на вас моя надежда...

Маренайте отшатнулась. «Подлец,— мелькнула мысль.— Какой подлец! Так вот зачем они меня выпустили. Как приманку...»

Очевидно, Эйдукас по выражению ее лица понял ее мысли и горестно усмехнулся.

— Нет,— сказал он,— вы неправильно меня поняли. Я говорю с вами не по поручению гестапо. Если они узнают об этом разговоре, мне конец. Я рискую головой, но иного выхода у меня нет. Ну как, как заставить вас мне поверить? — с мукой в голосе воскликнул Эйдукас.— Я расскажу вам, как стал переводчиком гестапо, может, тогда вы меня поймете.

— Нет, зачем же? — упрямо стояла на своем Маренайте.— Все равно я никого и ничего не знаю.

И все же Эйдукас заставил себя выслушать. По его словам, было ему двадцать девять лет, на пять больше, чем Маренайте. Родился и вырос он в Каунасе, в семье рабочего. Сам по профессии радиотехник. Однако с середины тридцатых годов, задолго до того, как народ сверг Сметона, потерял работу. Потянулись месяцы безработицы. А тут еще умер отец. У Эйдукаса на руках остались мать и маленькая сестренка.

Помучившись около года, он в поисках работы решил эмигрировать в Германию. Фашистская Германия нуждалась в рабочих руках, и Эйдукасу удалось устроиться в Гамбурге. Правда, не по специальности. Портовым рабочим. Но на жизнь он зарабатывал, и матери мог кое-что посылать. Только было уже поздно: мать вскоре умерла, а за ней и сестренка.

В Гамбурге Эйдукас многое понял. Он сблизился с коммунистами, начал выполнять отдельные поручения партийного подполья. Трудно сказать, как сложилась бы его жизнь дальше, если бы в 1940 году по договору между СССР и Германией не началась взаимная репатриация немцев из Прибалтики и литовцев, латышей, эстонцев из Германии на родину. С какой радостью возвращался Эйдукас в родной Каунас, ставший теперь советским!

Вскоре ему удалось разыскать кое-кого из старых друзей, устроиться на работу. Все было бы хорошо, только не было ни матери, ни сестры... Но рано или поздно жизнь бы устроилась, если бы весной 1941 года Эйдукаса внезапно не аресто-

вали, предъявив ему обвинение в шпионаже в пользу фашистской Германии и домогаясь признания в таких делах, о которых Эйдукас и понятия не имел.

И надо же так случиться, что соседом Эйдукаса по камере оказался полковник Тулбис, крупный националист в буржуазной Литве. Человек он был культурный, образованный, держался с Валентинасом просто, по-своему, в определенном свете разъясняя и растолковывая все происходящее. Он говорил, что сейчас идет «русификация Литвы», что «русские истребят всех литовцев и заселят литовские земли русскими мужиками», которые затопчут и уничтожат вековую литовскую культуру, уничтожат все, чем жил и гордился литовский народ, литовский язык будет запрещен.

Эйдукас пытался возражать, спорить: около года он прожил в Советской Литве и видел, что хозяин в ней — народ, литовский народ. Но полковник иронически усмехался: хозяин— народ? А ваш арест? Мой арест? А сколько литовцев еще арестовано, будет арестовано? Тысячи? Десятки, сотни тысяч? Вы это знаете? У вас следователь кто? Литовец? Ах, русский?.. Так, так. У меня — тоже. Русский. (Между прочим, дело Тулбиса вел литовец, но полковник об этом умолчал.)

Война застала Эйдукаса и Тулбиса в тюремной камере. В первые же дни их поместили в эшелон, чтобы эвакуировать на Восток, но невдалеке от Каунаса эшелон разбомбили. Тулбис, Эйдукас и еще несколько заключенных, бежавших из эшелона, очутились в глухом лесу, где день спустя натолкнулись на группу вооруженных людей. Это оказались литовские фашисты, националисты, с нетерпением поджидавшие гитлеровцев. Их главарь узнал Тулбиса.

— Господин полковник! — вскричал он.— Какое счастье! Откуда вы, какими судьбами?

Тулбис приосанился, распушил усы, подбоченился. Сейчас он мало напоминал того скромного, приветливого человека, к которому привык Эйдукас в тюремной камере. Впрочем, к нему, Эйдукасу, полковник продолжал относиться неплохо, правда, в тоне и манере разговора появились снисходительные, покровительственные нотки.

Прошло несколько дней, и фашисты, переименовавшие себя в «отряд Тулбиса», вышли из леса и вернулись в оккупированный Каунас.

При прощании Тулбис сказал Эйдукасу, что не забудет своего молодого коллегу по несчастью...

А Эйдукас? Он ничего не понимал, голова его шла кру́гом. Что делать? С кем идти? С Тулбисом и его шайкой, с немецкими захватчиками? Но они же враги родины, враги литовского народа. Это очевидно! Достаточно Эйдукас наслушался

за последние дни, да и раньше, насмотрелся на дела немцев и их пособников.

С литовским народом, который плечом к плечу с русскими сражается против немецких захватчиков? А арест? Да и где они, советские литовцы, где русские?

Эйдукас пытался работать — жить-то надо! — но ничего не получилось. А несколько дней спустя к нему явился офицер-литовец и доставил его к Тулбису.

Полковник встретил своего бывшего соседа по камере с распростертыми объятиями и, не дав ему сказать двух слов, заявил, что устроил все его дела.

— Вас берут на работу, и не куда-нибудь, а в гестапо,— торжественно заявил полковник.—Переводчиком. По моей, конечно, рекомендации. Шеф каунасского гестапо — мой друг, так что все в порядке. Нет, нет! — Он сделал протестующий жест.— Не благодарите. Можете быть уверены, что я и дальше вас не обойду своим вниманием.

Эйдукас и не собирался благодарить: сначала он хотел отказаться, но, охваченный каким-то тупым равнодушием, махнул рукой: гестапо так гестапо, переводчиком так переводчиком. Ему все было безразлично.

Так началась работа Эйдукаса в гестапо.

Прошло несколько дней, и словно пелена спала с глаз Валентинаса. Он содрогнулся от ужаса и отвращения: куда он попал? Нет, бежать, немедленно бежать. Бежать от этой банды садистов и палачей. Но потом он одумался: бежать, конечно, можно, однако самое ли это правильное? Уж если удалось очутиться в гестапо, работать здесь, надо попытаться использовать свое положение в интересах Родины. На этом Эйдукас и порешил, а решив, начал действовать. Он запоминал все становившиеся ему известными факты, старался чем мог облегчить участь тех, кто попадал в лапы гестаповцев, и искал, все время искал связей с советским подпольем — а что такое подполье существует, Эйдукас ни минуты не сомневался. Да и фактов тому в подтверждение было предостаточно. Особенно если работаешь в гестапо...

Задача, взятая на себя Эйдукасом, оказалась нечеловечески тяжкой: каждый день присутствовать при пытках и истязаниях людей, чья жизнь была ему теперь в тысячу крат дороже собственной, все это требовало адского напряжения сил, воли, разума, и сердце Эйдукаса исходило кровью. При этом нужно было беспрерывно маневрировать, так вести перевод, чтобы хоть чем-то облегчить участь очередной жертвы, ничем не выдав себя. Правда, отсидка в тюрьме «при большевиках» служила Эйдукасу неплохой визитной карточкой, а тут еще покровительство полковника Тулбиса, ставшего при нацистах

вновь крупной фигурой. Одним словом, Эйдукасу пока удавалось благополучно выходить из всех переделок, в которых он оказывался, но вот связь с подпольем... Тут у него ничего не получалось. Да и как, с кем он мог связаться? Если Эйдукас и узнавал кого-либо из участников подполья, так только тогда, когда они оказывались на допросе. Арест Валентинаса советскими властями перед войной и работа в гестапо служили ему плохую службу при попытках завязать связи с теми, кто был на воле и мог, по его предположению, участвовать в подпольной работе.

Таково было положение Эйдукаса, когда он впервые увидел на допросе Маренайте. Она попала в руки опытного гестаповца, славившегося особым искусством добиваться признания от арестованных, причем действовал он особо тонкими, изощренными методами, редко прибегая к пыткам. Он «психологически» обрабатывал свои жертвы и никогда не без успеха.

Едва увидев Маренайте, в самых беглых чертах ознакомившись с ее делом, Эйдукас понял: вот она! Вот человек, который поможет ему связаться с подпольем. Только как добиться ее освобождения, как вызволить из застенков гестапо?

Эйдукас проявил чудеса ловкости и изобретательности. Зная намерения и планы следователя, он постепенно убедил того, что Маренайте может стать отличным «маяком», на который выйдут партизаны, стоит только ее освободить и поселить на постоянное местожительство.

Такова была история освобождения Маренайте из гестаповских застенков. И вот теперь, посетив Маренайте в поселке, Эйдукас рассказал ей всю эту историю и рассказал о себе, о своих планах, намерениях. Он умолчал лишь об одном: с первых допросов гордая девушка, так смело, так бесстрашно державшаяся, произвела на Эйдукаса неизгладимое впечатление. Чем ближе он к ней приглядывался, тем очевиднее ему становилось, что он любит ее, что Маренайте ему дороже всего на свете. Вот об этом-то и умолчал Валентинас при первом, после освобождения Маренайте из гестапо, разговоре. Но как раз об этом Маренайте давно догадалась сама и, что самое страшное, Валентинас не был ей противен. Это было ужасно, отвратительно, она сама казнила себя, но... ничего не могла с собой поделать. Вот и тогда, в тот памятный весенний вечер 1943 года, слушая взволнованный, страстный рассказ Эйдукаса, она и верила ему, всем сердцем хотела верить, и не верила, не позволяла себе верить...

Так этот разговор и закончился ничем: Маренайте не дала Эйдукасу никакого ответа, категорически отрицала свою связь с разведывательной группой в прошлом, связь с партизанами.

Впрочем, сейчас у нее никаких связей с подпольем действительно не было. Но если раньше, сразу по выходе из тюрьмы, Маренайте искала такие связи, то теперь, после этого разговора, она твердо решила: нельзя. Никаких связей. Никакого подполья. Это — страшно, невыносимо, вот просто так жить, ни на что не надеясь, ничего не предпринимая, но иного выхода у нее нет. Как бы ни хотелось ей верить Эйдукасу, она не имеет права рисковать чужой жизнью, рисковать судьбой тех, кто ведет тайную борьбу против фашистов.

Решение было принято. Маренайте не только не предпринимала никаких попыток возобновить связи с подпольем, но всячески сторонилась тех, кто, по ее предположению, мог иметь такие связи.

С Валентинасом у них установились странные отношения: он часто приезжал к ней, они вместе гуляли, много разговаривали. Их дружба и взаимная приязнь росли. Они уже не могли скрывать друг от друга своих чувств, но как только он заговаривал о партизанах, девушка замолкала и сторонилась Валентинаса.

Тогда, воспользовавшись помощью полковника Тулбиса, не оставлявшего его вниманием, Эйдукас ушел из гестапо.

А время шло... Советская Армия перешла в решительное наступление на всех фронтах, гнала фашистов за пределы Родины.

Близился час освобождения Прибалтики.

Что было делать Эйдукасу? Как он посмотрит в глаза настоящим патриотам? Одно дело быть партизаном, и совсем другое — предстать перед честными людьми в облике фашистского прихвостня, бывшего переводчика гестапо... Кто ему поверит, если не верит до конца даже Маренайте, единственный близкий ему на земле человек!

А тут Тулбис... Полковник снова вспомнил о своем бывшем соседе по камере, и Эйдукас, едва успев проститься с Маренайте, очутился на западе Германии, в окружении полковника.

Маренайте тоже было нелегко. Гитлеровцы были изгнаны из Литвы, вернулась Советская власть. Радость Маренайте была безгранична. Но ей, ей, Маренайте, что было ей делать? Кому рассказать всю историю с Эйдукасом, и кто этой истории поверит, особенно когда он бежал с немцами. А как иначе объяснить свое освобождение из гестапо, свое бездействие на протяжении без малого двух лет? Нет, выхода она не видела, продолжала жить замкнуто, правда, устроилась работать в офицерскую столовую, организованную в поселке. Но что из того?.. И вот теперь, несколько месяцев спустя после освобождения Литвы, Эйдукас опять здесь, у нее в комнате. Не с хорошими, видно, намерениями он вернулся, иначе зачем

бы ему прятаться в лесу, сторониться людей? Где правда? Где ложь? Как во всем этом разобраться?

Эйдукас торопился поведать Маренайте свою историю. Да, как она знает, перед приходом советских войск в Литву он бежал с полковником Тулбисом на Запад. Там они устроились в Любеке, на северо-западе Германии. Что хочет Тулбис, на что он надеется, Эйдукас не знает и не желает знать. Несколько дней назад полковник предложил Эйдукасу побывать в Литве, выполнить кое-какие его поручения. Эйдукас согласился. Почему? С единственной целью — повидать Маренайте и увезти ее с собой. За эти месяцы он понял, что жить без нее не может, что надо им вместе перебраться на Запад, а там все как-нибудь устроится. Как-нибудь...

Что? Остаться без родины? А разве у него есть родина, разве он не потерял право считать себя литовцем? И ей, Маренайте, вряд ли намного лучше. Что ждет ее здесь, что принесет ей завтра? Ничего хорошего. Там же они, по крайней мере, будут вместе.

Как он попал сюда? Как перешел фронт? Какое задание получил от Тулбиса? Стоит ли об этом говорить?! Все равно он выполнять это задание не собирается. Впрочем, от Маренайте секретов у него нет. Его, Эйдукаса, и еще одного человека перебросили на самолете, потом — парашют. Ему поручено передать небольшой чемоданчик, содержимого которого он не знает, человеку по кличке «Черный барин». Дана явка, пароль.

«Черный барин»! Услышав эту кличку, Маренайте вздрогнула.

— Что с тобой? — спросил Эйдукас.— Тебе известно это имя?

— Известно,— тихо проговорила Маренайте.— Это... это бандит, изувер, убийца. И с этим негодяем ты намерен встретиться?

— Родная моя, да ты ровно ничего не поняла. Я же тебе говорю, что не намерен выполнять заданий полковника Тулбиса, пропади он пропадом со своими подлыми делами. Я пробрался сюда за тобой, только за тобой, и ничего больше мне не нужно. Но Тулбис помог мне добраться сюда и указал путь обратно, чем я и намерен воспользоваться, вот и все. Чемодан же я бросил в лесу, закопал, и никому его передавать не собираюсь, что бы там ни было.

— Так,— сказала Маренайте, и Эйдукас в темноте не заметил, какая глубокая складка легла у нее между бровей.— Значит, так... Ты можешь дать мне сутки на размышление, на сборы, если я решу отправиться с тобой? У тебя есть где укрыться?

— Найду,— обрадованно сказал Эйдукас.— Решила? Маренайте, милая...

— Пожалуй, решила,— задумчиво проговорила Маренайте.— А теперь иди, не то скоро мать вернется. Она не должна тебя здесь видеть. И возвращайся завтра. Попозже вечером. Буду ждать. Обязательно возвращайся...

Как только дверь за Эйдукасом закрылась, Маренайте сжала ладонями виски и уперлась лбом в стену. До чего же болит голова, просто разламывается! Да, она решила, решила все, не колеблясь, как бы ни было мучительно это решение, чем бы оно ни грозило. Но как ей быть? Как поступить? Выйти на улицу нельзя, это ясно. Быть может, где-нибудь вблизи притаился Эйдукас или этот второй, с самолета (кто он, кстати, зачем пробрался в Литву, Эйдукас так и не сказал), и следят за каждым ее шагом. Скорее, ох, скорее бы пришла мать!..

* * *

Скворецкий и Аликас ссадили Ионаса невдалеке от поселка, как и обещали. В воинскую часть они ехали неспроста. Еще во время беседы с пастушонком Кирилл Петрович подумал: откладывать далее беседу с Маренайте нельзя. Он решил провести беседу этим вечером, в расположении воинской части. А там видно будет...

Договорившись с командиром части, Кирилл Петрович отправил Аликаса за Маринайте в поселок.

Без труда найдя дом, в котором жила девушка, Аликас постучал. Дверь тут же распахнулась, словно этого стука ждали. На пороге стояла Маренайте.

— Простите,— сказал капитан,— мне нужно видеть Альдону Маренайте.

— Это я,—ответила девушка, пропуская Аликаса в комнату. Было заметно, что она чем-то взволнована. Голос ее дрожал.

— Моя фамилия Аликас, капитан Аликас. Из НКГБ. Вот мое удостоверение. (Капитан был в штатском.)

— Вы из НКГБ? Так быстро? Как вы успели?

— Почему успел? Разве вы меня ждали? — удивился Аликас.

— Ну конечно же, ждала!

Чего-чего, а этого Аликас никак не ожидал. Почему она ждала его? Надо это выяснить, не подавая вида, что он ничего не понимает. Но выяснять ничего не пришлось: не ожидая расспросов, Маренайте тут же рассказала, что около часа назад она отправила свою мать в уезд, в НКГБ, с просьбой поскорее прислать к ней кого-либо из сотрудников. Она должна

сделать важное заявление, но сама выходить из дома не решается. Естественно поэтому, что она ждала кого-нибудь из НКГБ, но не так скоро. Как могла ее мать так быстро дойти до уезда? Где, наконец, она сама? Почему не вернулась с товарищем, за которым ходила?

Аликас не счел нужным все объяснять девушке.

— Ну, о матери вы не беспокойтесь, она с минуты на минуту вернется,— сказал он,— а вот как быть с вашим заявлением, которое вы считаете нужным сделать? Не лучше ли нам побеседовать не здесь, а по соседству, в воинской части, тем более что там ждет один ответственный работник НКГБ, который также хотел бы принять участие в нашей беседе?

— Честно сказать,— вымученно улыбнулась Маренайте.— Я боюсь выходить на улицу. Поэтому и не пошла сама в уезд, а попросила маму... Меня могут заметить, и тогда... Тогда всякое может случиться.

— Заметить? Кто может вас заметить? — искренне удивился Аликас.— Что может случиться?

— Вот об этом-то я и собираюсь рассказать...

— Знаете, — решил Аликас,— сейчас на улице такая темь, что если мы будем действовать осторожно, никто, кто бы вас ни караулил, ничего не заметит. Рискнем?

После непродолжительного колебания Маренайте согласилась, и через двадцать минут она уже сидела перед подполковником Скворецким и Аликасом. Чуть подавшись вперед, тесно переплетя пальцы, чтобы унять дрожь в руках, Маренайте рассказывала.

Она говорила спокойно, и только побледневшие губы, морщины, бороздившие ее лоб, да частое, затрудненное дыхание выдавали ее волнение.

Маренайте рассказывала обо всем: о том, как была заброшена в тыл к немцам, как оказалась в гестапо, как встретила там Эйдукаса и что произошло дальше. Она объяснила, почему после освобождения из тюрьмы отказалась от попыток установить связь с подпольем, говорила о своем двойственном отношении к Эйдукасу: можно было ему верить или нет? И вот теперь он снова здесь. Он был у нее. Сегодня...

— Скажите,— спросил в упор Скворецкий,— вы любите Эйдукаса.

— Да,— твердо ответила девушка.— Люблю.

— И все же?..

— И все же я пришла к вам. Иначе я поступить не могла.

— Спасибо.— Скворецкий встал из-за стола и пожал руку Маренайте.— Спасибо за откровенность, за доверие. Так когда будет у вас Эйдукас? Завтра? Как же нам с ним следует поступить?

— Я думаю, что его надо арестовать. За этим я и пришла к вам. Нельзя оставлять его на свободе, позволить ему выполнять задания фашистов, врагов...

— Ну, насчет ареста мы подумаем, а что касается заданий — вы правы. Он не должен их выполнить, да, судя по вашим словам, он и сам не собирается этого делать. Одним словом, вы ведите себя таким образом, будто ничего не произошло. Если Эйдукас завтра у вас появится, постарайтесь еще оттянуть время отъезда. Хотя бы на день, на два. Сможете? Ну, если сможете, вот и отлично. Остальное — наша забота. Условились?

Проводив Маренайте до дома, Аликас и Скворецкий выехали обратно в Вильнюс.

* * *

«Тулбис, Тулбис,— думал Аликас, устроившись на заднем сиденье вездехода, спешившего с полуприкрытыми фарами в Вильнюс.— Вполне возможно. Что полковник Тулбис играл видную роль при фашистах, нам известно. Вот он куда попал после изгнания немецких оккупантов, в Любек! И, конечно, не сидит сложа руки. Весьма вероятно, что он тоже в числе руководителей националистов занимает видное положение.

Едва они очутились в кабинете Скворецкого, Аликас поспешил поделиться с Кириллом Петровичем своими размышлениями. Имя полковника Тулбиса было известно и подполковнику, но он, конечно, не располагал и десятой долей тех сведений, какими сейчас поделился с ним Аликас. Судя по всему, предположения капитана о причастности Тулбиса к деятельности антисоветского националистического подполья не лишены основания, и Скворецкий все с большим интересом думал об Эйдукасе и о рассказе Маренайте. Сейчас план дальнейших действий становился более очевидным.

Выслушав доклад подполковника, заместитель наркома одобрил намеченный Скворецким план.

Следующим вечером, едва начало темнеть, Скворецкий и Аликас, оба в штатском, пришли к Маренайте. Самый дом, все подходы к нему тщательно охранялись.

Девушка встретила нежданных гостей с недоумением, но когда Кирилл Петрович рассказал ей о своих намерениях, лицо Маренайте озарила радостная улыбка, и она заверила подполковника, что сделает все возможное.

Маренайте, Аликас, Скворецкий уселись за стол, и Кирилл Петрович, за чашкой кофе, принялся расспрашивать девушку о пережитых ею годах оккупации, о том, как Эйдукас вел себя во время работы в гестапо, о его взаимоотношениях

с полковником Тулбисом. Беседа шла так непринужденно, так деликатно, что терявшаяся и смущавшаяся вначале Маренайте быстро освоилась и отвечала легко, даже порой весело, хотя разговор шел о далеко не веселых вещах. Но постепенно, когда темнота за окнами начала сгущаться, Маренайте стала отвечать невпопад. Она вздрагивала при каждом шуме, доносившемся с улицы, бросала испуганные взгляды на дверь.

Часов около десяти раздался тихий стук. Маренайте поспешно выскочила из-за стола и распахнула дверь. Аликас встал чуть сбоку, возле притолоки, чтобы оказаться за спиной вошедшего. Эйдукас (это был он) отпрянул, увидев в комнате посторонних, но Маренайте крепко взяла его за руку:

— Входи, Валентинас, входи, тут чужих нет. Это—друзья.

Растерянно оглядываясь по сторонам, Эйдукас вошел в комнату и направился к столу. Аликас — за ним. Маренайте села рядом с Эйдукасом и, пристально глядя ему в глаза, повторила:

— Это — друзья. Товарищи из Наркомата государственной безопасности...

— Друзья! — попытался вскочить Эйдукас.— «Товарищи» из НКГБ!.. Ты... ты...

— Успокойся,— мягко удержала его Маренайте.

— Успокойтесь,— повторил Аликас.— Нам просто захотелось побеседовать с вами. По душам. Разве вы не считаете, что это давно пора сделать?

Трудно сказать, что произвело на Эйдукаса большее впечатление: дружелюбный ли тон Аликаса, или то, что говорил он на родном Эйдукасу литовском языке, или ласковый жест Маренайте, но он не пытался больше подняться, медленно придвинулся к столу и глухо сказал:

— Ну что же, спрашивайте...

— Зачем же так,— с укоризной сказал Скворецкий,— вот как раз спрашивать, или, если хотите, допрашивать, мы и не хотели бы. Мы ждем от вас, от вас самого — поймите, это очень важно,— самого подробного рассказа обо всем, о чем вы считаете нужным сообщить. И, если не возражаете, будем говорить по-русски, ибо, честно признаюсь, в отличие от вас троих литовским я не владею.

— Хорошо,— сказал Валентинас,— я расскажу. Может, вы и правы.— Он повернулся к Аликасу: — Может, это давно надо было сделать...

С минуту Эйдукас помедлил и начал свой рассказ с того, как и с каким заданием направил его в Литву полковник Тулбис.

— Простите,— перебил его Скворецкий,— начинать лучше не с этого. Это — следствие, результат происшедшего ранее.

Расскажите лучше, как вам жилось в буржуазной Литве, до 1940 года...

— Хорошо,— согласился Эйдукас.— Начну с этого.

...Было уже за полночь, когда Эйдукас кончил свой рассказ. Он не утаил ничего: ни своего ареста в 1941 году, ни мыслей и настроений, порожденных этим арестом, ни взаимоотношений с полковником Тулбисом (об этом Скворецкий расспрашивал особенно подробно), ни службы в гестапо, ни явок и паролей, которыми снабдил его Тулбис перед выездом в Литву.

— Скажите,— спросил Скворецкий,— вы могли бы найти место, где зарыли чемодан? Кстати, он предназначался только «Черному барину» или был и запасный вариант?

— Был и, как вы говорите, запасный вариант,— сказал Эйдукас.— Если мне почему-либо не удалось бы вручить чемодан «Черному барину», я должен был передать его своему спутнику по полету. А найти чемодан я найду. Только днем. Ночью — вряд ли.

— Хорошо. Еще вопрос: кто был тот, второй, ваш спутник?

— Я его не знаю, знаю только кличку — «Джокер». И заданий, с которыми он прибыл, тоже не знаю. Мы должны были с ним встретиться в следующий понедельник в Вильнюсе.— Эйдукас назвал место и время встречи.

— А для чего встретиться? — быстро спросил Аликас.

— Он должен был что-то передать мне для Тулбиса. Ведь предполагалось, что он останется здесь, в Литве, а я вернусь в Любек. Так мне, во всяком случае, говорили. А кроме того— чемодан. Если не встречу «Черного барина»...

— Тут вы и должны были вручить ему чемодан? — уточнил Скворецкий.

— Вручить или указать место, где он припрятан. Это уж как сложились бы обстоятельства.

— Скажите,— задал новый вопрос Скворецкий,— полковник Тулбис имеет связи здесь, в Литве? Часто посылает сюда своих людей? Встречает людей отсюда?

— Часто ли посылает своих людей, не знаю. И никогда не хотел знать. Все это мне было противно. Я ведь вам говорил, с какой целью взялся за выполнение задания полковника. А насчет связей... Их у Тулбиса хватает. Все они там, в Любеке,— я имею в виду полковника и его окружение — только и заняты организацией подрывной работы в Литве.

— Но на кого, на кого же там, за границей, они надеются, кто дает им средства, кто предоставляет возможности организовывать в нашем тылу подрывную работу? Ведь фашистская Германия разбита, войне со дня на день конец? Или... есть другие?

Впервые за этот вечер Эйдукас улыбнулся:

— Да, вы, как видно, неплохо знаете полковника Тулбиса. С давних времен он связан с англичанами и с американцами. С теми, кого не упрекнешь в симпатии к Советскому Союзу. Тулбис мне сам об этом не раз говорил. Правда, конкретных имен он не называл, но, думаю, не хвастался. По-моему, он уже и сейчас, хотя война еще не кончилась, восстанавливает свои старые связи.

— Так,— задумался Скворецкий,— значит, вы говорите, что должны были вернуться?

Эйдукас молча кивнул в ответ.

— А что, если вам взять да и действительно вернуться в Любек?

— Вы шутите! — вскочил Эйдукас.— Мне сейчас не до шуток.

— Почему шучу? — спокойно возразил Кирилл Петрович.— И не думаю шутить. Впрочем, об этом мы еще поговорим. Так через денек или два... Что вы скажете, если мы пока поместим вас на надежной квартире, не здесь, конечно, а в Вильнюсе, завтра съездим в лес за чемоданом, а там решим, что делать? Согласны?

— Позвольте, а разве вы меня не... не арестуете? — В голосе Эйдукаса послышалась дрожь.— Не отправите в тюрьму?

— Нет, в тюрьму мы вас отправлять не собираемся,— рассмеялся Скворецкий.— Скажите, кстати, за вами из здешних друзей Тулбиса никто не следит? Вы ничего такого не замечали?

— Нет, кто же может следить? Ведь до настоящего времени никто, кроме Джокера и вот ее,— Эйдукас кивнул в сторону Маренайте,— о моем прибытии в Литву не знал. Теперь еще и вы знаете. Вот и все. Хотя... хотя все может быть. Но замечать я ничего такого не замечал.

— Хорошо, если так,— задумчиво произнес подполковник,— а все-таки надо вам поберечься, да и все мы должны вести себя поосторожнее.

Распростившись с Маренайте, сначала Аликас с Эйдукасом, затем Скворецкий, соблюдая всяческие предосторожности, пробрались к ожидавшей их невдалеке от воинской части машине и поспешили в Вильнюс. Поместив Эйдукаса в специально подготовленной квартире, несмотря на то что было уже далеко за полночь, Скворецкий и Аликас отправились к заместителю наркома и все рассказали ему.

— Ну, так что же, предлагаете поверить Эйдукасу? — подвел итоги заместитель наркома.

— Почему «поверить»? — возразил Скворецкий.— Будем и дальше его проверять. А рискнуть стоит...

— Да,— согласился заместитель наркома,— без риска в нашем деле нельзя. Только риск должен быть разумным, оправданным. Тут игра, кажется, стоит свеч. Однако, не повидав Эйдукаса, я не хотел бы ничего решать. Завтра с ним побеседуем. Все вместе.

* * *

На следующее утро капитан Аликас с Эйдукасом в сопровождении надежно вооруженных оперативных работников отправились в лес, туда, где был спрятан чемодан. Чемодан был найден без труда и доставлен в Вильнюс. В нем оказался набор взрывателей, несколько бесшумных пистолетов с запасом патронов, изрядная сумма денег, таблицы шифров, коды, тщательно упакованные пакетики с беловатым кристаллическим порошком. Химический анализ показал, что это сильнодействующий яд, по всем признакам сходный с тем, что был обнаружен в поселке.

В тот же вечер заместитель наркома встретился с Эйдукасом. Судя по всему, Эйдукас произвел на него самое благоприятное впечатление. Во всяком случае, заместитель наркома сказал Скворецкому:

— Ну, будь по-вашему. Рискнем.

* * *

Побеседовав с Эйдукасом еще с полчаса, Аликас поспешил к Скворецкому. Судя по выражению его лица, Аликас был чем-то обрадован.

— Знаете, Кирилл Петрович,— сразу начал капитан,— Эйдукас сообщил мне нечто любопытное.

— Например?

— Он рассказал, что одним из самых доверенных лиц полковника Тулбиса является майор Рамулис.

— Рамулис? Ну и что из этого? Признаться, это имя мне ровно ничего не говорит.

— Я так и думал. Но зато мне это говорит, и очень, очень многое.

— А именно?

— Я знаю Рамулиса. Знаю лично. Вернее, знал в прошлом. Этот человек вполне заслуживает самого серьезного внимания. И то, что мы лично знакомы, может сыграть немалую роль...

Аликас рассказал, что впервые услышал про Рамулиса при следующих обстоятельствах: в середине тридцатых годов, в буржуазной Литве, отец Аликаса участвовал в «деле» какого-

то своего дальнего родственника, крупного литовского предпринимателя. Одновременно, с ведома этого родственника, он выполнял обязанности представителя советской фирмы «Автоэкспорт» и постоянно встречался с сотрудниками советских торговых организаций.

У отца Аликаса была собственная автомашина, а вместо шофера был его сын, но зато Аликас имел право пользоваться этой машиной. Аликасу это было очень удобно: он являлся активным участником подполья, и машина была необходима.

Однажды Аликас вез отца и сотрудника советской торговой организации. Разговор шел деловой, и Аликас запомнил его от слова до слова. Речь шла о поставке автоцистерн для литовской армии. Главным конкурентом советских торговых организаций в Литве являлись германские фирмы, пытавшиеся сбыть свои автоцистерны. Представителем одной из немецких фирм был майор литовской армии Рамулис. Так Аликас впервые услышал это имя.

Работник торгпредства убеждал старого Аликаса снизить цены до возможного предела, дабы заказ не уплыл к немецким фирмам, а также предлагал использовать Рамулиса, человека очень близкого Тулбису, и попытаться внести разлад между Рамулисом и Тулбисом.

Следуя этим советам, отец Аликаса познакомился с майором Рамулисом и начал с ним встречаться. Как там у них шли торговые дела, Аликас не знал и не знает, но и ему довелось познакомиться с Рамулисом. Майору он известен как сын коммерсанта средней руки и дальний родственник крупного литовского промышленника и дельца. Ничего иного он о нем не знает. Да, еще он знает, что Аликас в середине тридцатых годов намеревался перебраться в США. Вот, пожалуй, и все.

— Вы полагаете, что Рамулис вас узнал бы, если бы вам довелось встретиться? — поинтересовался Скворецкий.

— Я в этом убежден. Ведь с тех пор, как мы виделись, не прошло и десятка лет.

— Что ж, об этом стоит подумать,— согласился подполковник.

* * *

В очередной понедельник, около трех часов пополудни, Эйдукас направился к костелу Остра Брама, что расположен в центре города, недалеко от улицы Гедемина.

Костел этот и примыкающая к нему улица представляли собою весьма любопытный архитектурный ансамбль. Узкая улица ныряла под своды костела, замыкавшего ее. И днем и

по вечерам на подступах к костелу толпились верующие. Всякий, кто даже невзначай попадал сюда, должен был снять головной убор и присоединиться к молящимся — иначе ему тут делать было нечего. Вот сюда-то и лежал путь Эйдукаса.

Минут за пятнадцать до него пришел Аликас. Он, как и все молящиеся, преклонил колена, но устроился так, что ему был виден весь путь к костелу. Были здесь, затерявшись в толпе, и другие оперативные работники.

Появился Эйдукас. В левой руке он держал свернутую трубкой газету и трость, правой рукой крестился. Это был знак «Джокеру»: все благополучно, можно подходить.

«Джокер» не заставил себя ждать — несколько минут спустя он опустился на колени рядом с Эйдукасом, также держа в левой руке газету, но без трости. Этот сигнал был уже для Эйдукаса. Отсюда они вышли вместе.

— Как дела? — тихо спросил «Джокер», едва они оказались на улице.— Ничего подозрительного? Что успел сделать?

— Вроде бы все гладко,— ответил Валентинас.— Держусь. Но в лес лучше не ходить. Пробовал — не вышло. Везде войска. (Это было правдой — по полученным от Эйдукаса явкам местопребывание «Черного барина» было уточнено и банда окружена войсками. Со дня на день должна была состояться операция по полной ее ликвидации.)

— А как с грузом?

— Груз я спрятал.

— Где?

— В лесу. Укрыто надежно. Вот план местности, где зарыт чемодан.— Эйдукас протянул «Джокеру» клочок бумаги.— А как у тебя? Для полковника все готово?

— Спрашиваешь! — самодовольно ухмыльнулся «Джокер».— Держи.

Он протянул Эйдукасу катушку фотопленки, аккуратно обернутую в черную светонепроницаемую бумагу.

— Еще увидимся? — спросил Эйдукас.— Я лично задерживаться тут не собираюсь.

— Ну и двигай,— согласился «Джокер».— Нашим передай, что я осел крепко, хорошо. Груз возьму. Связь — как условлено. Желаю успеха!..

Они расстались, и с этой минуты «Джокер» ни на мгновение не оставался вне поля зрения чекистов.

Эйдукас вышел на улицу Гедемина и прошел несколько кварталов, затем круто повернул и пошел обратно. Шел он не спеша, иногда останавливаясь, бросая как бы невзначай взгляды по сторонам. Ему показалось, что, когда он повернул, в толпе мелькнули какие-то лица, замеченные им и ранее.

«Неужели следят? — подумал Валентинас.— Но кто? Чеки-

сты? А может, люди «Джокера»? Может, просто померещилось?»

И все же он не мог не думать, что за ним кто-то неотступно следует по пятам. «Что ж,—думал Эйдукас,—если это чекисты, это понятно. Не могут они так сразу мне доверять. И все же обидно. Ведь я рассказал им всё, всё. Неужели не верят? А вдруг люди «Джокера»? Тогда — хуже».

Эйдукас нырнул в проходной двор, в другой и, убедившись, что ушел от преследователей, поспешил на свою квартиру. Встретившись день спустя с подполковником Скворецким, он сухо сообщил ему, что когда шел со встречи с «Джокером», то заметил, что за ним кто-то следил. Кирилл Петрович нахмурился.

— Вы заметили внешний облик этих людей? Их приметы?— спросил он.— Опишите поподробнее. Это дело серьезное.

Из вопросов подполковника, из самого тона, которым они были заданы, Эйдукас понял, что за ним следили не чекисты, и почувствовал огромное облегчение. Он не знал и не мог знать, что и чекисты не спускали с него глаз, охраняли, что они тоже заметили преследовавших его людей. Скворецкий ничего об этом ему не сказал, но запретил покидать квартиру. Не так прост был «Джокер» и его подручные — всякое могло случиться. Да и зачем было зря появляться на улице, когда здесь, в Вильнюсе, все было сделано и до отъезда остались считанные дни...

* * *

Прошло несколько суток, и Аликас доставил Эйдукаса на территорию Германии, в тылы наступающих на Берлин советских войск, а дальше Валентинас пошел самостоятельно, тем маршрутом, что дал ему полковник Тулбис.

Через некоторое время было получено условное письмо, из которого явствовало, что Эйдукас благополучно добрался до Любека и встретил самый радушный прием у полковника Тулбиса.

Между тем чекисты не спускали глаз с «Джокера». Все его действия тщательно проверялись, скрупулезно исследовались, и не напрасно! Люди «Джокера», особенно те, что следили за Эйдукасом, представляли большой интерес. Это были махровые националисты. Заинтересовала чекистов и записка, которую «Джокер» отправил оказией некоему Марцинкявичусу. На первый взгляд записка выглядела абсолютно невинно: «Люблю, грущу, соскучился, надеюсь повидаться», но важно было то, что жил Марцинкявичус в том самом поселке, что и Маренайте, там, где случались таинственные происшествия.

Марцинкявичус — человек с безупречной биографией, инвалид войны, пенсионер. Однако при тщательной проверке выяснилось, что Марцинкявичус далеко не столь прост, как кажется. Оказалось, что все его документы фальшивые, а биография — вымышленная. Так называемый Марцинкявичус никогда не жил в тех местах, которые были указаны в паспорте и биографии. Поддельным был не только паспорт, но и остальные документы, хотя, надо признать, сделано было все очень ловко.

Теперь и Марцинкявичус был под наблюдением чекистов. Вел он себя, однако, все так же тихо и неприметно, как и раньше.

Прошло еще несколько дней, и «Джокер», как того и ожидали, явился в лес за чемоданом, спрятанным Эйдукасом.

Весело насвистывая, он выкопал чемодан, заблаговременно возвращенный на место, отряхнул его от земли и принялся отпирать.

— Руки вверх! — внезапно прозвучал суровый окрик.— Ни с места!..

«Джокер» так и застыл, испуганно вскинув руки над головой и дико озираясь по сторонам. Сопротивляться было бессмысленно, да «Джокер» и не пытался. Его игра была безнадежно проиграна, и он принял единственно правильное решение: попытаться облегчить собственную участь полнотой признания. Он сразу же назвал полковника Тулбиса, все явки, полученные от шефа, перечислил задания, назвал Эйдукаса, а также людей, которым поручил проверять его. Не забыл он и Марцинкявичуса. Этому последнему «Джокер», как он заявил, должен был передать яд, все же остальное он намеревался переправить «Черному барину», коль скоро Эйдукас не успел этого сделать. («Джокеру» было невдомек, что к этому времени ни «Черного барина», ни его банды уже не было и в помине: банда была уничтожена, а сам «Черный барин» убит в завязавшейся перестрелке.)

Рассказывая о Марцинкявичусе, «Джокер» назвал имевшуюся к нему явку и сообщил пароль. По его клятвенному заверению, ни в какой личный контакт с Марцинкявичусом он вступить не успел, если не считать коротенькой записки обусловливающей встречу. Следовательно, тот никак не мог знать его в лицо.

На другой день в поселке появился молодой человек, одетый в поношенный спортивный костюм. Уверенно, словно дорога была ему превосходно известна, он направился к пивному залу, где работал Марцинкявичус. В этот полуденный час на улицах поселка было пустынно и приезжий почти никого не встретил. Когда он вошел в зал, там не было ни души, только

за стойкой лениво двигался человек в белом фартуке. Это был Марцинкявичус.

— Пиво свежее? — бросил сквозь зубы незнакомец, небрежно облокачиваясь о стойку и обшаривая цепким взглядом пустой зал.— А выдержанное, прошлогоднее не водится? (Это был пароль.)

— Есть для хороших людей и прошлогоднее,— сдавленным голосом прошептал Марцинкявичус. Краска сбежала с его лица.— Вы... вы «Джокер»? Пойдемте...

Марцинкявичус юркнул в низкую дверцу за стойкой, приглашая незнакомца следовать за собой. Они очутились в маленькой комнатушке с единственным оконцем, завешенным плотной занавеской, и второй дверью, которая вела в крохотную прихожую и на улицу. Все убранство комнаты состояло из кровати, шаткого колченогого стола да двух стульев. На один из них Марцинкявичус указал своему посетителю, другой придвинул себе.

— Как,— спросил Марцинкявичус, нервно поеживаясь и потирая руки,— добрались благополучно? «Хвост» не притащили?

— Ого,— присвистнул «Джокер»,— да ты, я вижу, пуганый!

— Будешь пуганый, коли насидишься в моей шкуре! — огрызнулся Марцинкявичус.— Тут что ни день, так красные шныряют. Место-то знаешь какое? Горячее!..

— А у тебя как, гладко? — встревожился приезжий.— Ничего такого?..

— Да нет. Пока ничего. Сижу крепко, хорошо. Но ухо надо держать востро. Давай, однако, к делу: деньги, товар с тобой?

— Ишь ты какой быстрый! — усмехнулся гость.— «Деньги»! «Товар»! Ты прежде отчитайся в своих делах, а там и об остальном потолкуем.

Марцинкявичусу такое требование было явно не по душе, но возражать он не стал. Из его слов явствовало, что времени он даром не терял: при помощи предыдущей партии «товара» сумел отправить на тот свет немало людей.

— Так,— сказал приезжий, выслушав Марцинкявичуса.— Все усвоил... А насчет товара, так придется пойти со мной. Не буду же я деньги и товар тащить среди бела дня через весь поселок. А вдруг что случится?

— Это правильно,— поспешно согласился Марцинкявичус.— Что правильно, то правильно. Только куда идти, далеко ли? Надолго-то мне уйти просто так, никого не предупредив, не с руки. Я же на работе.

— Какое там далеко. Здесь, в лесу. Минут пять ходу...

Пивной зал был расположен на окраине поселка, и густой лес вплотную подходил к разбросанным там и тут строениям.

«Джокер» и Марцинкявичус быстро нырнули в лес и углубились в чащу. Приезжий шел вторым.

Не прошли они и нескольких сотен шагов, как Марцинкявичус почувствовал, что ему в спину внезапно уперлось что-то твердое.

— Руки! — послышался властный голос.— Руки на голову! В случае чего стрелять буду без предупреждения...

«Стрелять? — обмер Марцинкявичус.— В меня стрелять? Но почему, что все это значит? Потерял доверие? Сделал что-нибудь не так?» Он хорошо знал повадки националистов. Но тут же понял, как он ошибся: кусты расступились и из них вышло несколько человек в чекистской форме, а бывший «Джокер», усмехаясь, представился:

— Капитан Аликас. Прошу любить и жаловать...

— Значит,— беспомощно пролепетал Марцинкявичус,— вы не «Джокер»? А я-то... вы-то...

— Вот какой стал робкий,— резко сказал Аликас,— даже язык стал заплетаться. Небось, когда наших товарищей на тот свет отправлял, не заикался?

Марцинкявичус замолчал.

Вскоре он сидел перед подполковником Скворецким и давал исчерпывающие показания о своих злодейских делах. Ему, как и «Джокеру», деваться было некуда...

Но хотя с бандой «Черного барина» было покончено и «Джокера» поймали, чекисты знали, что вражеское подполье еще осталось и пытается наносить удары из-за угла. Надо было действовать, и, наконец, план был готов, рассмотрен и утвержден...

* * *

...Кончилась война. Фашистская Германия подписала безоговорочную капитуляцию и была разделена на зоны оккупации: советскую, американскую, английскую, французскую. Правда, между французской, английской и американской зонами оккупации почти никакой разницы не было, но тем разительнее было отличие этих зон от советской, где впервые в истории немецкого народа начали закладываться основы новой, социалистической Германии.

Конец войны и приход английских оккупационных войск в Любек ничего не изменили ни в образе жизни полковника Тулбиса, ни в его деятельности. Все осталось по-прежнему, только хозяева да источники снабжения стали другими.

* * *

Эйдукас вернулся в Любек в самые последние дни войны, когда здесь уже хозяйничали союзники. Любек — крупный портовый город на севере Германии, один из центров германской судостроительной, авиастроительной и автомобильной промышленности, в это время являл собою жалкое зрелище. Город был основательно разрушен: там и тут высились остовы разбитых домов, улицы были загромождены грудами битого кирпича, щебня. Таковы были последствия бомбардировки Любека английской и американской авиацией. Правда, пострадали только центральные районы города, его жилые кварталы. Окраины, где были расположены промышленные предприятия, остались почти целыми. Авиация союзников бомбила по выбору, расчетливо, точно, оставляя в сохранности промышленные объекты.

Полковник Тулбис встретил Эйдукаса с распростертыми объятиями: еще бы, герой — побывал у большевиков, в красной Литве, и вернулся цел и невредим! Он помог Валентинасу снять хорошую комнату, где тот удобно устроился. Эйдукас «отдыхал» и с нетерпением ждал вызова.

Несколько дней спустя после возвращения Эйдукас был приглашен к Тулбису.

Полковник занимал двухэтажный особняк, расположенный в глубине небольшого сада за каменной оградой. У дверей Эйдукаса встретил майор Рамулис. Это было далеко не лишним: полковника Тулбиса надежно охраняли вооруженные с ног до головы головорезы из литовских националистов, которые ни одного постороннего ни на шаг не подпускали к особняку. Охрана разместилась у калитки, у расположенных вблизи нее широких ворот, открывавшихся изнутри, патрулировала вдоль ограды с ее внутренней стороны, находилась у входа в самый дом. Одним словом, мирный и безобидный извне особняк напоминал штаб воинской части или, еще точнее, осажденную крепость.

Майор Рамулис повел Эйдукаса через двойное кольцо охраны — у калитки и возле дома — и широко распахнул перед ним входную дверь.

В просторной комнате первого этажа, служившей, судя по всему, гостиной, в креслах и на стульях расположилось человек пятнадцать литовцев. Большинство из них были солидные, пожилые люди, некоторых из них Эйдукас встречал у полковника и раньше, некоторых он видел впервые.

Вскоре Эйдукас понял, что перед ним находятся лица, направляющие деятельность антисоветских политических групп на территории Литвы.

Теперь Эйдукас внимательно присматривался к присутствующим, стараясь понять, какую роль каждый из них играет, выяснить и запомнить их имена и занимаемое положение.

Навстречу Эйдукасу, когда он вошел, из-за курительного столика поднялся полковник Тулбис. Взяв Валентинаса под руку, он повел его по комнате, представляя собравшимся. Каждый чуть приподнимался навстречу, пожимая Эйдукасу руку и называя свое имя: кто отчетливо — Шкирпа, Валюкюнос, Кубенис, кто невнятно, сквозь зубы.

Когда церемония представления была окончена и все расселись по своим местам, Тулбис предоставил слово Эйдукасу. Он попросил подробно рассказать о том, как обстоят дела в Литве и доложить, как он справился с возложенными на него поручениями. Валентинас был готов к этим вопросам. Подполковник Скворецкий предполагал, что, помимо отчета «о проделанной работе», от Эйдукаса потребуют по возвращении в Любек подробного доклада о положении дел в Литве, и дал Эйдукасу перед его отъездом целый ряд советов. Этими советами Эйдукас сейчас и воспользовался. Из его слов вытекало, что положение Советов в Литве прочное, хотя некоторые литовцы иногда вспоминают о временах «национального правительства». То там, то здесь «литовские патриоты» убивают коммунистов, стреляют по советским учреждениям, распространяют «патриотические» листовки. Но среди литовцев много таких, которые решительно пресекают все эти враждебные новому режиму действия.

— Позвольте, э... э... позвольте! — раздался хрипловатый, рокочущий бас.— А крестьянство? Зажиточное крестьянство— наша опора? Почему вы ничего не говорите о крестьянстве, его настроениях? Имеет ли литовский крестьянин оружие, готов ли подняться по нашему призыву на всеобщую борьбу против большевиков? Вот что мы хотим от вас слышать, вот что мы хотим знать...

Вопрос задал пожилой полный человек с одутловатым лицом, изборожденным склеротическими прожилками. Его седые усы воинственно топорщились.

— Но, господа,— развел руками Эйдукас,— я не имел ни времени, ни возможностей изучить положение дел во всех слоях литовского народа. Поверьте, условия моего пребывания там, у красных, не очень способствовали такому изучению...— Эйдукас снова развел руками и улыбнулся. Многие заулыбались ему в ответ, понимающе закивали головами, задвигались на стульях.— Мне даже с «Черным барином» не удалось встретиться, получить от него информацию. Могу сказать одно: немцам литовский народ не очень симпатизирует...

— Что немцы? — с раздражением махнул рукой полковник

Тулбис.— Немцы — уже пройденный этап. Они попирали национальное достоинство литовского народа и — туда им и дорога. В деле освобождения литовцев от ига большевиков наши надежные союзники — англичане и американцы, я всегда так и считал!..

— Так уж и всегда?! — ехидно сказал худощавый подвижный человек, с черными, тронутыми проседью волосами, разделенными четким пробором. Его тонкие губы кривились в желчной усмешке.

— Да, всегда! — с пафосом воскликнул Тулбис.— Но обстоятельства...

— Хватит ссылаться на объективные обстоятельства! — рявкнул кто-то.

Кто — Эйдукас не увидел.

Поднялся шум, в котором тонули отдельные выкрики. Некоторые вскочили со своих мест, размахивали руками, угрожающе надвигались друг на друга. Было очевидно, что господа националисты далеко не так единодушны, как могло показаться вначале.

— Господа! — взывал полковник Тулбис, стуча кулаком по столу.— Господа! Прошу прекратить шум. Мы собрались для того, чтобы выслушать господина Эйдукаса, а не для дискуссии. Призываю вас к порядку...

И все же прошло не менее пятнадцати минут, пока собравшиеся наконец угомонились и с ворчанием расселись по своим местам. Наступила тишина.

Потом Эйдукаса попросили объяснить, почему не состоялась встреча с «Черным барином». Тут споров не возникло: все сошлись на том, что при сложившихся обстоятельствах, когда в местах явок «кишмя кишели коммунисты», Эйдукас поступил правильно, не пытаясь прорваться к «Черному барину». Из обмена репликами между участниками совещания Эйдукас лишний раз убедился, что хотя «Черный барин» и представлялся значительной фигурой собравшимся, он был не единственным из подобных «деятелей», подвизавшихся на территории Литвы, и банда «Черного барина» была всего лишь одной из банд.

Всеобщее одобрение вызвало сообщение полковника Тулбиса об успешной встрече Эйдукаса с «Джокером» и доставленной фотопленке. Причем, как обратил внимание Эйдукас, подлинное имя «Джокера», как и «Черного барина», ни разу не было названо.

— Материалы фотопленки обрабатываются,— сказал Тулбис,— но уже и сейчас очевидно, что господин Эйдукас доставил весьма ценные сведения. Со временем мы вас с ними ознакомим. (Полковник, конечно, и понятия не имел, что фотоплен-

ка побывала в руках чекистов и была надлежащим образом «отредактирована» и «доработана».)

От лица «литовского народа» полковник Тулбис выразил Эйдукасу благодарность за успешное выполнение задания и торжественно заявил, что все рассчитывают и впредь видеть в лице Эйдукаса «достойного патриота», надежного «борца за освобождение Литвы от большевистского ига».

— Скажите,— робко спросил Эйдукас майора Рамулиса, провожавшего его до калитки,— и часто у них такое бывает?

— Что вы имеете в виду?

— Ну, вот такие, что ли, стычки?

Рамулис усмехнулся:

— Стычка? Разве это была стычка? Случается, и за горло друг друга хватают, и по скуле один другому норовят заехать, а ты говоришь «стычка»! В чем беда,— наставительно сказал Рамулис,— есть еще среди нас такие, что до сих пор на Гитлера молятся и никак не хотят понять, что немцам капут. Нет, брат, теперь вся наша надежда на англичан, на американцев, на Черчилля. Вот когда они передерутся с русскими, тогда настанет наше время. И полковник Тулбис давно это понял. Светлая голова! На нем все и держится...

* * *

Потекли дни, недели. Тулбис и его помощники ни на минуту не прекращали лихорадочной деятельности, направленной на подрыв социалистического строя в Советской Литве. И, судя по всему, они имели могущественных покровителей и надежные источники для продолжения шпионской и диверсионной работы.

Теперь в отличие от прежнего Эйдукас старательно присматривался и наблюдал за всеми кто его окружал в Любеке. Он пользовался каждой возможностью попасться на глаза Тулбису, неизменно подчеркивал свою приверженность делу «освобождения литовского народа», преданность делу, а с Рамулисом они стали просто неразлучны. Вначале майор присматривался к Валентинасу, не раз расспрашивал его о подробностях поездки, о встрече с «Джокером», причинах неудачи с «Черным барином». Вопросы часто повторялись, и Эйдукас понимал, что его проверяют, ловят на слове. Но он был начеку и с честью выходил из всех испытаний.

Постепенно подозрительность Рамулиса уступила место полному доверию, и он окончательно сблизился с Эйдукасом.

— Слушай, Валентинас,— сказал однажды Рамулис,— у тебя оружие есть?

— Оружие? — удивился Эйдукас.— Здесь, в Любеке? Но с какой стати может мне здесь понадобиться оружие? Красные-то пока далеко!..

— Красные? — усмехнулся Рамулис.— Разве я говорю о красных? Нет, тебе не меньше надо бояться кое-кого из наших...

Валентинас ничего не понимал, тогда Рамулис пояснил, что среди собравшихся у полковника многие Эйдукаса раньше не знали, а малознакомым людям они не доверяют. Одно неправильно истолкованное слово, вызывающий подозрение шаг, и всё. Конец. Сами, конечно, они рук пачкать не будут, этого господа не любят, но в наемных убийцах, в том числе и из литовских националистов, в Любеке недостатка нет. Вот на этот случай и надо всегда иметь при себе оружие, да и вообще остерегаться.

— Я не думал, что могу у кого-либо вызвать подозрение или неприязнь,— с заметной растерянностью сказал Эйдукас.— После всего, что я сделал... Да и полковник... Полковник-то Тулбис не первый день меня знает.

— «Полковник»! — парировал Рамулис.— Я не полковника имею в виду. Полковник, да и я, мы в тебе не сомневаемся. Но есть и другие... Одним словом, мое дело тебя предупредить, а там как знаешь.

Полковник Тулбис действительно относился к Эйдукасу с большим доверием, что нельзя было сказать о других руководителях националистов. Чем больше узнавал Валентинас, чем ближе он узнавал этих «деятелей», их вероломство, страсть к интригам, корыстолюбие, мелочность, жгучую ненависть к трудовому народу Литвы, тем отвратительнее они ему становились. Тем более крепла в Эйдукасе уверенность в правильности избранного им в Вильнюсе, при помощи Скворецкого, Аликаса и, в первую очередь, Маренайте, пути.

Маренайте! Вот кого ему особенно недоставало, вот кто ему был особенно нужен. Но теперь он мог мечтать о будущем, и это будущее — вместе с Маренайте — было светлым, лучезарным.

Трудно было Валентинасу. Тяжко прикидываться врагом Советской власти, своего народа, своей Родины. Но ему было приказано ждать, и он ждал, собирая сведения о намерениях националистов, об их связях и делах с иностранными разведками.

Плохо было и то, что Эйдукас не имел регулярной связи с теми, кто стал его подлинными друзьями, со Скворецким и Аликасом. Ведь он мог уже сообщить им много важного. Но и это до поры до времени было ему запрещено. Только дважды он переслал информацию: сообщил о своем благопо-

лучном прибытии в Любек и об образе жизни полковника Тулбиса. Эйдукас сообщил, что полковник живет в особняке, который тщательно охраняется и проникнуть туда постороннему чрезвычайно трудно. Полковник покидает особняк редко и всегда под надежной охраной, состоящей из пяти-шести особо преданных ему бандитов. В одиночку он из особняка не выходит.

Вот и вся информация, которую передал Эйдукас подполковнику Скворецкому...

В конце мая 1945 года в одном из лагерей для перемещенных лиц, километрах в ста на юго-восток от Любека, находившемся в ведении английского командования, появился представитель советской военной администрации майор Дроздов. Майору было за тридцать лет, роста он был среднего, широк в плечах, подтянут. По делам службы он много ездил: бывал в Ганновере, Бремене, Люнебурге, Гамбурге, заворачивал и в Любек. В распоряжении майора находился черный вместительный «хорьх», мощная, быстроходная машина, на которой он совершал свои поездки. Ездил майор, как правило, днем, но случалось, в пути его заставала и ночь. Водителем у него был молодой мрачноватый сержант, с которым майор редко расставался.

Хотя и с трудом, но майор изъяснялся по-английски, и его общительность, неизменная жизнерадостность, веселый нрав привели к тому, что скоро у него завязались дружеские отношения со многими из офицеров английских оккупационных войск, расположенных в этой зоне Германии, особенно среди тех, кто причастен к деятельности лагерей перемещенных лиц. Этому в какой-то мере способствовало и то, что у майора всегда имелся запас русской водки, а многие из английских офицеров были не прочь выпить.

Майор частенько бывал в советской зоне и вскоре стал своим человеком на английском контрольном пункте. Его «хорьх» знал чуть не каждый солдат на КП, а про офицеров и говорить нечего.

Естественно, что английские офицеры, вообще не придерживавшиеся, как и все остальные, особой строгости в первые месяцы после окончания войны, смотрели сквозь пальцы на некоторые слабости русского майора, а слабости у него имелись. Так, майор Дроздов любил всячески украшать свой «хорьх». В кабине его машины перед ветровым стеклом всегда можно было увидеть очередную безделушку—«счастливый амулет», как говорил майор,— висящую на тонком шнурке. Сиденье «хорьха» покрывал ковер. Иногда этот ковер, скатанный в тугой рулон, лежал на полу машины, тогда сиденье было закрыто красивой пестрой тканью. Англичане никогда не прове-

ряли машину майора Дроздова. Не портить же в самом деле из-за таких мелочей отношения с хорошим человеком. Тем более, что в машине майора иногда оказывался ящик, а то и два с аккуратно уставленными в гнездах бутылками водки. Вот этим грузом офицеры английского КП интересовались, но интересовались чисто потребительски. Известная часть этого груза оседала на КП, причем англичане всякий раз удивлялись, зачем русскому майору водка, если он сам почти не пьет.

Служебные обязанности майора Дроздова в самом лагере для перемещенных лиц были хлопотливыми, хотя и не отнимали много времени. Здесь, в лагере, в первые недели после окончания войны содержалась разная публика. Были здесь русские, украинцы, литовцы, эстонцы, латыши, грузины. Основную массу обитателей лагеря составляли бывшие военнопленные, прошедшие через все ужасы фашистских концлагерей, рвавшиеся на родину. Были и те, кого гитлеровцы насильственно вывезли в Германию и использовали в качестве рабочей силы на самых тяжких работах. Были и такие, кто в свое время сотрудничал с немцами, бежал в Германию при наступлении советских войск, а теперь, не видя иного выхода, оказался в лагерях для перемещенных лиц, где тщательно скрывал свое прошлое, свои преступления перед Родиной.

Среди них попадались люди, завербованные разведкой союзников с целью использовать их в качестве своей агентуры на территории Советского Союза.

Во всем этом и приходилось разбираться майору Дроздову и его товарищам, другим советским офицерам, определявшим совместно с представителями союзного командования порядок репатриации на родину так называемых перемещенных лиц. А разбираться было нелегко, ибо особого порядка поначалу в этих лагерях не было.

Частые поездки майора Дроздова по территории английской зоны оккупации объяснялись его служебными обязанностями: майор был связан с несколькими лагерями, вынужден был встречаться с представителями английского командования, избравшими местом своего постоянного нахождения крупные города, а также выполнять и кое-какие функции, связанные с проверкой его «подопечных».

Далеко не все поездки майора Дроздова проходили благополучно. Был однажды случай, когда поздней ночью борт его машины внезапно прошила автоматная очередь. Счастье, что ни майора, ни его шофера не ранило. С обеих сторон к дороге подступал густой лес, стояла непроглядная тьма. Шофер мгновенно выключил фары, дал полный газ, и Дроздова спасла только скорость его машины да самообладание водителя. Майор не распространялся об этой истории, но в лагере, сослу-

живцам, стало известно о происшествии, и майору строго-настрого порекомендовали прекратить ночные поездки: всякое может случиться...

Майор Дроздов и сам, когда поднялись разговоры, объяснял случившееся так: гитлеровцы. Ночью он теперь стал ездить намного реже, но все-таки ездил: важные дела! Ничего не поделаешь...

Неделю спустя майор снова чуть не попал в беду, и опять его спасла находчивость и смелость шофера. На этот раз все произошло под вечер, невдалеке от лагеря. «Хорьх» Дроздова плавно катил по узкому пригородному шоссе, как вдруг из-за угла на бешеной скорости вывернул тяжелый грузовик, нацеленный прямо на машину майора. Шофер Дроздова вывернул руль, бросив машину в кювет, и грузовик с грохотом промчался мимо, лишь слегка оцарапав борт «хорьха». Пока выбрались из кювета, преследование стало бессмысленным, и так и осталось неясным, то ли это случайность, шутка подвыпившего шофера, то ли что похуже...

* * *

Между тем жизнь Валентинаса в Любеке шла своим чередом. В первое воскресенье июня 1945 года, то есть тогда, когда майор Дроздов, постоянно подвергая свою жизнь опасности, вовсю разворачивал деятельность в английской зоне оккупации, Эйдукас и майор Рамулис, ставшие к этому времени закадычными друзьями, отправились по предложению Эйдукаса в один из самых роскошных любекских ресторанов. Здесь, если иметь деньги, можно было хорошо поесть да и выпить. Майор Рамулис никогда не отказывался ни от того ни от другого, особенно за чужой счет. В этот вечер за ужин платил Эйдукас.

Друзья славно поужинали и, смакуя десерт, вели неторопливую беседу. Беседа вертелась преимущественно вокруг посетителей ресторана, многих из которых Рамулис знал. Рамулис злословил по адресу английских офицеров, а Валентинас вяло ему поддакивал. Внезапно внимание майора привлек молодой, изысканно одетый человек, сидевший в небрежной позе возле одного из столиков.

— Черт побери! — наклонился Рамулис к Эйдукасу.— Ты этого человека знаешь?

Рамулис кивнул в сторону незнакомца.

— Которого? Вот этого? — спросил Валентинас.— Впервые вижу.

— Здесь-то и я впервые его вижу, но я его встречал раньше, еще до войны, в Каунасе, в Литве. Потом он куда-то про-

пал — помнится, уехал в Штаты. Он туда собирался. Это родственник одного из наших крупных воротил. Как же его фамилия? Забыл. Ну, да это неважно. Тот тоже уехал в Америку. Еще до войны...

Незнакомец, обративший внимание на то, что его разглядывают, сам принялся пристально разглядывать Эйдукаса и Рамулиса.

Внезапно лицо его озарилось радостной улыбкой. Он быстро поднялся из-за своего столика и направился прямо к Рамулису.

— Майор Рамулис, если не ошибаюсь? Впрочем, теперь наверное уже полковник? Рад в этих местах встретить земляка. Не узнаёте?

— Как же, как же,— расплылся в улыбке Рамулис,— я вас сразу узнал. Боже, сколько лет прошло, сколько лет!.. Я вижу, вы здесь в одиночестве, так не присоединитесь ли к нашей компании? Знакомьтесь: Эйдукас, мой друг,— представил он Валентинаса.

— Петкявичус,— представился незнакомец, здороваясь с Эйдукасом.

— Петкявичус! — воскликнул Рамулис.— Ну конечно же, Петкявичус. Вспомнил! Такова была фамилия вашего уважаемого дядюшки. Правильно? Но ведь вы, помнится, носили другую фамилию?

— Правильно, но не совсем,— улыбнулся Петкявичус, подзывая кельнера и делая заказ. Ни Рамулис, ни Эйдукас не возражали.— Господин Петкявичус был моим дальним родственником, но после его смерти я остался едва ли не единственным его наследником и вместе с состоянием унаследовал и его имя.

— Ах, так ваш уважаемый родственник умер?! — воскликнул Рамулис.— Какое несчастье, какое тяжелое несчастье... Такой достойный человек!..

— Ну, будем честными,— снова усмехнулся Петкявичус.— Если говорить начистоту, так для меня это было уж не таким большим несчастьем...

Беседа вскоре приняла самый непринужденный характер. Петкявичус охотно рассказал собеседникам, как сложилась его судьба. В середине тридцатых годов он, как, наверное, помнит Рамулис, занимался вместе со своим отцом сбытом автомобилей. (Рамулис помнил.) Затем, как и собирался, он уехал в Соединенные Штаты. Тут умер старик Петкявичус, живший в США. Став обладателем крупного капитала, молодой Петкявичус вернулся к излюбленному делу и основал посредническую контору по сбыту автомобилей. Дела идут хорошо, жаловаться нельзя. Сейчас он помышляет о расширении

своего дела и подумывает, в частности, о том, как бы заняться и производством автомобилей. Поэтому и оказался в Любеке, где, как известно, имеется ряд автомобильных предприятий. Выйдет ли что из его затеи, сказать трудно, но попробовать стоит.

Из слов Петкявичуса было совершенно очевидно, что к политическим проблемам вообще и к так называемому литовскому вопросу, в частности, он абсолютно равнодушен: его интересовали только коммерция, бизнес да еще «красивая жизнь».

— Не знаю,— говорил Петкявичус,— может, что здесь и получится. Хотя навряд ли. Во всяком случае, пока поживу здесь, погляжу, а там видно будет.

— Где вы остановились? — любезно поинтересовался Рамулис.

— Да на первое время просто так, налегке, в гостинице. Но это ненадолго. С тех пор как у меня завелись деньги, я взял себе за правило устраивать жизнь по собственному вкусу. Вот и сейчас присмотрел в окрестностях города неплохую виллу. Думаю ее снять и там обосноваться. Ну, а вы-то, вы-то как, господин майор или полковник, а?

Рамулис махнул рукой:

— Какой там полковник! Как был майором, так майором и остался. Сейчас состою при полковнике Тулбисе. Слыхали, конечно?

— Полковник Тулбис? — равнодушно переспросил Петкявичус.— Да, кажется, слыхал. Еще тогда, в Литве. Это ведь, кажется, один из подручных бывшего главы Литовского государства Сметоны, верно?

— Совершенно справедливо,— подхватил Рамулис.

Ни полковник, ни то, что с ним связано, судя по всему, тоже не интересовало Петкявичуса, и разговор сам собой перешел на любекские развлечения, на женщин, приняв самый игривый характер. Беседа закончилась изъявлением знаков взаимной приязни, и Рамулис с Эйдукасом расстались с Петкявичусом друзьями, договорившись о следующей встрече в ближайшие дни.

— Да,— мечтательно говорил Рамулис, когда возвращался с Эйдукасом домой (они жили по соседству),— вот это повезло человеку! При таких деньгах он может поплевывать на проблему освобождения Литвы...

— Ну и что в этом хорошего? — сердито сказал Валентинас.— Жить без идей, без убеждений...

— Да, да, конечно,— поспешил согласиться Рамулис.— Идеи — это все.

Майор с минуту помолчал, потом улыбнулся и добавил:

— А что, ежели пожить хоть месячишку, а то и более без всяких идей, пропади они пропадом, вот как этот Петкявичус? Не плохо бы, а?

Случайная встреча Рамулиса и Эйдукаса с Петкявичусом имела продолжение. Через несколько дней они встретились вновь, потом еще и еще. Рамулис с Петкявичусом быстро подружились, а Эйдукас как-то отошел на второй план.

Рамулис прожужжал все уши о своем новом знакомце полковнику Тулбису, и тот в конце концов захотел и сам повидаться с этим преуспевающим литовцем. Глядишь, и он пригодится. Вскоре, по приглашению Тулбиса, переданному Рамулисом, Петкявичус явился в особняк.

Полковник встретил земляка очень любезно: был мил, внимателен. Но сколько он ни пытался навести разговор на нужды литовского «национального движения» — напрасно. Петкявичусу все это было совершенно безразлично. Зато когда заговорили о Любеке и его ресторанах и Тулбис оказался на высоте, лучшего слушателя, нежели Петкявичус, он и желать не мог. Тут стареющий полковник, стремившийся ни в чем не уступать молодым, и богатый американец проявили себя собеседниками, достойными друг друга. Рамулис сиял: он сознавал, что в равной мере угодил и своему патрону, и новоявленному другу.

Расстались полковник Тулбис и Петкявичус очень тепло и взяли друг с друга слово встретиться еще. Такая встреча снова состоялась в особняке полковника. Тулбис опять пытался склонить Петкявичуса к участию — финансами, конечно,— в делах националистического подполья и опять безрезультатно. Но полковник был упрям и не терял надежды уговорить американца. Поэтому Тулбис и шел на сближение с Петкявичусом, не говоря уже о том, что и он сам пришелся ему по душе.

Во время одного из очередных посещений полковника Петкявичус высказал желание принять Тулбиса и еще кое-кого из своих здешних друзей — Рамулиса, Эйдукаса — на своей вилле, которую он недавно снял. Вилла, как говорил Петкявичус, расположена невдалеке от Любека, в исключительно красивом месте на морском побережье. Петкявичус уверял, что он сделает все, чтобы гости не пожалели о времени, которое проведут у него. Полковник, не очень любивший покидать свой особняк, после некоторых колебаний согласился: ему не хотелось обижать отказом богатого земляка, да и вечер сулил, судя по всему, немалые удовольствия.

День встречи был назначен, и Петкявичус заверил полковника, что примет гостей самым наилучшим образом.

* * *

В эти же дни у полковника Тулбиса состоялось несколько бесед с Эйдукасом, настолько серьезных, что в их содержание поначалу не был посвящен даже майор Рамулис, уже не говоря об остальных руководителях националистов. Полковник предложил Валентинасу вновь нелегально посетить Литву, но на сей раз с самыми серьезными полномочиями.

Надо было срочно повидать руководителей подпольных групп и довести до них новые директивы и установки, связанные с окончанием войны, и вызванные этим изменения ориентации.

— Вы, конечно, понимаете, о чем идет речь,— говорил полковник.— Ставка на немцев бита. Они оказались плохими союзниками: думали только о себе и мало чем помогали в возрождении суверенной Литвы, государства национального единства. Англичане, американцы — другое дело. Они помогут нам восстановить наше господство в Литве. Счастье, что кое-кто из нас и во время войны не терял связей с соответствующими кругами в этих странах, вел для них работу иногда вопреки интересам немцев.

Эйдукас полностью был с ним согласен.

— Столь ответственную миссию,— продолжал полковник,— как передача новых установок практическим деятелям националистов в Литве, можно возложить только на особо доверенного человека, который справится с обязанностями эмиссара. Таким человеком он, Тулбис, и считает Эйдукаса.

Надо также разыскать и «Джокера», что-то давно ни от него, ни о нем нет никаких вестей.

Кроме того, есть еще одна причина, из-за которой Эйдукасу лучше уехать: кое-кто здесь, в Любеке, не доверяет ему и относится к нему подозрительно. Пока он, полковник, держит их в руках, но как знать, чем все это может обернуться. Он, Тулбис, просто беспокоится за безопасность Валентинаса, пока тот находится здесь, в Любеке.

— Значит, вы полагаете, что в Советской Литве я буду меньше подвергаться опасности, нежели здесь, среди своих?— не без иронии спросил Эйдукас.

— Помилуйте! — воскликнул Тулбис.— И в мыслях такого не было. Но сейчас, пока кое у кого из наших обострилась маниакальная подозрительность, вам лучше исчезнуть. Съездите в Литву, вернетесь, и тогда уж ни у кого на вас рука не поднимется.

Было ясно, что полковник недоговаривает, что над Эйдукасом нависла реальная угроза; впрочем, его об этом еще раньше предупреждал и Рамулис. Сразу принять предложение

полковника Валентинас не мог и попросил время, чтобы все обдумать и принять решение.

По прошествии нескольких дней Эйдукас явился к полковнику и заявил, что он готов еще раз послужить родине. «Послужить родине» — так и сказал Валентинас Эйдукас, вкладывая собственный смысл в эти слова.

Возникли у него, говорил Эйдукас, и кое-какие мысли о том, как пробраться в Советскую Литву. А что, если в качестве репатрианта, из лагерей для перемещенных лиц? При том хаосе, который сейчас, как известно, там царит, эта задача может оказаться легко разрешимой. Особенно если помогут англичане... Вот только как выбираться из Литвы обратно, он себе не представляет. Да, еще одно: что подумают о таком способе переброски те, кто не доверяет Эйдукасу. Полковник Тулбис задумался, затем сказал:

— Идея, по-моему, неплохая. Я посоветуюсь с кем следует, заручусь помощью, выясню возможности переброски вас назад, а тогда и примем окончательное решение. Что же до тех деятелей, так их мы не будем посвящать в подробности...

С кем советовался Тулбис, о чем договорился, Эйдукас не знал, но вскоре полковник передал Валентинасу, что он может готовиться в путь. «Явки и адреса получите перед отъездом. Выбраться обратно вам помогут наши друзья, действующие на месте, в Литве». Так Эйдукас узнал, что полковник поддерживает связь с националистическим подпольем в Литве.

Итак, Эйдукас очутился в том лагере для перемещенных лиц, где одну из руководящих должностей занимал майор Дроздов.

В лагере Валентинас появлялся редко, часто ездил в Любек, где бывал у полковника Тулбиса, встречался с Рамулисом и Петкявичусом.

Через некоторое время Эйдукаса включили в одну из групп, вскоре репатриируемую в Литву. Полковник Тулбис держал свое слово.

* * *

Срок отъезда Эйдукаса на родину близился. Полковник Тулбис наконец-то вручил ему явки и специальный личный шифр для радиосвязи с ним.

Между тем настал день, назначенный Петкявичусом для встречи с его друзьями. Вилла Петкявичуса была готова принять дорогих гостей.

Петкявичус с утра был в Любеке, а под вечер, как было условлено, подъехал на своей машине к особняку полковника. Вместе с Петкявичусом в машине находился Эйдукас. Это был

последний день его пребывания в английской зоне оккупации. На следующее утро в группе перемещенных лиц он должен был отправиться в Литву.

Когда Петкявичус лихо подкатил к особняку, Тулбис уже ждал его. Вместе с Тулбисом тут же был майор Рамулис, еще двое видных националистов, с которыми полковник успел познакомить Петкявичуса и которые также были приглашены разделить компанию, и, конечно, охрана полковника.

Гости разместились в двух машинах. Впереди ехал Петкявичус с Эйдукасом и двумя своими новыми друзьями, а сзади шел огромный «мерседес» полковника, в котором рядом с шофером восседал сам Тулбис, на задних же сиденьях разместились майор Рамулис и четыре вооруженных охранника.

Когда подъехали к вилле, было около семи часов вечера. Далеко за песчаными дюнами солнце опускалось в море, золотя лучами верхушки деревьев и крыши одиноких зданий.

Привратник распахнул настежь массивные двустворчатые ворота, и машины одна за другой прошуршали по усыпанной гравием дороге.

Петкявичус снимал двухэтажную просторную виллу, уставленную претенциозной мебелью. В нижнем этаже располагалось несколько гостиных, курительная комната, бильярдная, обширная столовая. На втором находились спальни и кабинет хозяина.

Рядом с виллой пристроился флигель, соединенный с основным зданием крытым коридором. Там был сервирован стол для охраны полковника, которую не забыл гостеприимный хозяин.

Гости и хозяин расположились в курительной комнате. Полковник рассказывал игривые анекдоты и сам принимался хохотать первым. Мастером анекдотов, причем порою довольно тонких, оказался Рамулис. В отличие от полковника его лицо сохраняло каменное выражение и сам он собственному рассказу не смеялся.

Так прошло около часу, и Петкявичус пригласил своих гостей ужинать. Стол буквально ломился от яств и напитков.

Полковник Тулбис удовлетворенно крякнул и уселся во главе стола (Петкявичус указал ему на это место), заправив толстыми, как сардельки, пальцами салфетку за воротник. Остальные уселись несколько поодаль. Пир начался. Тосты следовали один за другим, причем чем больше хмелели гости, тем воинственнее становились тосты: «За освобождение Литвы от ига большевиков! За погибель Советов! За новую освободительную войну!»

Петкявичус также изредка провозглашал тосты, но совсем иного рода: «Да сбудутся желания каждого из нас! Да сопут-

ствует каждому из собравшихся удача! За достойное завершение всех наших начинаний!»

Часов около двух ночи полковник изрядно опьянел, и хозяин предложил ему пройти наверх, в специально приготовленную для него комнату.

Полковник с трудом выбрался из-за стола и, опираясь на руку Петкявичуса, не очень твердо держась на ногах, тяжело зашагал на второй этаж.

Возле дверей спальни, предназначенной для полковника, дежурил один из его охранников. Он тоже слегка осовел (охранников, как и их хозяина, угостили обильно), но на ногах держался уверенно. Другой охранник находился на улице, у входа, остальные ужинали.

— Смотрите! — Тулбис с пьяной ухмылкой погрозил охраннику пальцем.

— Полковник!—укоризненно заметил Петкявичус.—Здесь! У меня! Чего тут опасаться?

Полковник промолчал и вновь погрозил пальцем. На этот раз хозяину виллы.

Петкявичус провел полковника в комнату, усадил в удобное кресло и подал стакан минеральной воды. Тулбис опустошил стакан, откинулся на спинку кресла и тут же начал тихонько похрапывать. Петкявичус вышел из комнаты, сказал охраннику, что полковник уснул, и спустился вниз, к остальным гостям. Веселье продолжалось.

Первым поднялся Эйдукас.

— Извините, господа, но мне надо быть в городе. Как-никак, а завтра утром я должен...— Он умолк, ограничившись выразительным жестом.— Господин Петкявичус, чем вы можете мне помочь?

— Нет ничего проще,— сказал Петкявичус.— Сейчас разбудим моего шофера, и он доставит вас в Любек. Господа, никто не хочет воспользоваться машиной, а то она вернется не скоро? Туда и обратно — конец не малый...

— Как, майор,— обратился Эйдукас к Рамулису,— едешь со мной?

— С тобой?! — воскликнул Рамулис, поднимая бокал.— С тобой хоть на край света, но... не сейчас. Уйти из-за такого стола? Да за кого ты меня принимаешь?! Нет, мы еще погуляем! — Рамулис заговорщически подмигнул Петкявичусу.— Верно, дружище?

— Конечно, конечно,— нехотя согласился Петкявичус.— А вы, господа,— адресовался он к приближенным полковника,— не желаете воспользоваться машиной? А то до города далеко, когда будет другая оказия, сказать трудно.

Намек Петкявичуса был предельно ясен. Один из гостей

после непродолжительного колебания согласился, но другой уперся: нет, никуда он без Рамулиса и полковника не поедет. Если вместе приехали, то все вместе и уедут. Только так. В голосе его слышались нотки пьяного раздражения и какой-то подозрительности.

— Боже ты мой! — поспешно воскликнул Петкявичус.— Уж не подумали ли вы, что я жду вашего отъезда? Да сохрани бог! Нет, мы простимся с нашими друзьями, которые торопятся уехать, а сами продолжим веселье.

Проводив Эйдукаса и одного из националистов, остальные трое вернулись к столу. Петкявичус беспрестанно угощал то одного, то другого своего собутыльника. Те пили, не отказываясь, но ни Рамулис, ни отказавшийся уехать гость заметных признаков опьянения не выказывали, причем время от времени недоверчивый гость бросал на Петкявичуса злобные, подозрительные взгляды.

Чем дальше, тем хозяин виллы заметнее хмелел. В третьем часу пополуночи язык у него стал окончательно заплетаться. Чуть пошатываясь, он поднялся и во всеуслышание заявил, что кажется «готов».

— Извините, друзья,— лопотал, хихикая, Петкявичус,— но я вас покидаю. Такие партнеры мне не под силу. У нас, в Штатах, так не умеют. Я пошел спать. Бай-бай!.. А вы... вы продолжайте!..

Петкявичус покачнулся и направился к выходу из столовой.

— Эх ты,— с укоризной сказал Рамулис,— а еще литовец! Мужчина. Ну какой же ты мужчина? Впрочем, тебе, как видно, действительно лучше прилечь. А мы останемся. Мы продолжим. Верно? — Рамулис повернулся к изрядно осоловевшему собутыльнику.

— Да, да,— согласился тот.—Продолжим. Только сначала проводим господина Петкявичуса в его спальню. Бай-бай! Обязательно проводим, а то он еле держится на ногах...

— Правильно,— подхватил Рамулис.— Проводим! Ты — настоящий друг, не бросаешь товарища в беде. На тебя можно вполне положиться!

Втроем они поднялись на второй этаж, в спальню хозяина виллы, смежную с комнатой, в которой беспробудным сном спал полковник Тулбис. Удостоверившись, что Петкявичус благополучно добрался до своей кровати, гости пожелали ему спокойной ночи и спустились вниз, в столовую.

Минут пять Петкявичус неподвижно лежал, затем тихо поднялся, крадучись подошел к двери и дважды повернул ключ в замке. От его опьянения не осталось и следа. Он действовал быстро и уверенно.

Ни Рамулис ни его оставшийся единственный собутыльник, никто из охраны полковника не знали, что из спальни хозяина виллы было еще два выхода: один вел в комнату Тулбиса, другой по винтовой лестнице выходил в сад.

* * *

События развертывались своим чередом. Часов около двенадцати ночи возле стены, опоясывавшей парк, в котором была расположена вилла, со стороны, противоположной той, где находились ворота, остановился большой крытый «хорьх» черного цвета. Из машины вышли двое. Они отперли имевшимся у них ключом небольшую калитку, укрытую густым кустарником от постороннего глаза. Судя по их уверенным действиям, они проделывали подобную операцию не впервые.

Очутившись в парке, незнакомцы бесшумно двинулись к дому, укрываясь в тени деревьев. Подойдя к вилле почти вплотную с той ее стороны, на которую выходили окна спальни владельца виллы и его гостя, полковника Тулбиса, они замаскировались в разросшихся кустах и принялись наблюдать.

Через несколько минут из-за угла дома показалась фигура охранника. Он шел пошатываясь и что-то тихо напевал себе под нос. Пройдя вдоль стены, охранник скрылся за углом. Один из незнакомцев молча положил другому руку на плечо, а тот, так же молча, кивнул в ответ.

Прошло около часа. Охранник появился вновь и опять исчез за противоположным углом. Незнакомцы не подавали признаков жизни.

Часов около трех утра, когда уже начал брезжить рассвет, в спальне хозяина виллы вспыхнул свет, тут же погас, а минуту спустя зажглась настольная лампа. В тот же миг один из незнакомцев кинулся к углу дома, из-за которого перед этим появлялся охранник, и плотно прижался к стене, а другой, тот, что был пошире в плечах, вынырнул из кустов и скрылся в малоприметной двери, открывавшей вход прямо к винтовой лестнице, что вела в спальню хозяина. Наверху его уже ждал Петкявичус.

— Ну как? — спросил незнакомец.

— Я всыпал ему снотворного.— Петкявичус кивнул в сторону комнаты, где сном праведника спал полковник Тулбис.— Часов за двенадцать—пятнадцать сна ручаюсь. Дверь из его комнаты в коридор я запер изнутри. А вот остальные... С остальными хуже.

— В чем дело?

— Эйдукасу удалось увезти с собой только одного. Рамулис и еще один остались, причем последний явно настороже. Что-то, по-видимому, заподозрил. Мне еле-еле удалось от них отделаться. Но теперь нельзя терять ни секунды: кто их знает, что им еще взбредет в голову.

— Скверно,— сказал незнакомец.— Ну да ничего, справимся. Пошли.

Он уверенно направился к двери, что соединяла спальню с комнатой полковника. Было очевидно, что и тут он не впервой, и тут превосходно ориентируется.

Петкявичус последовал за ним. Полковника, все так же безмятежно похрапывающего в своем кресле, они вдвоем, не производя ни малейшего шума, перенесли в смежную комнату, заперли за собой дверь и, держа Тулбиса один за плечи, другой за ноги, начали медленно спускаться по винтовой лестнице.

В этот момент в дверь комнаты Петкявичуса постучали. Сначала тихо, потом громко, настойчиво.

Петкявичус и незнакомец остановились, молча поглядели друг на друга. Из-за двери неслись крики Рамулиса:

— Эй, дружище! Ты чего заперся? Открывай. У нас есть такой тост, такой тост...

— Нечего прятаться,— ревел второй.— Не так уж ты пьян, чтобы нас не слышать. Открывай, не то дверь высадим!..

— Я вернусь, попробую их задержать, а там будь что будет. Вы же не теряйте времени...— беззвучно, одними губами промолвил Петкявичус.

— Не дури,— прошептал незнакомец.— На тот свет всегда успеешь. Пока они будут возиться с дверью, у нас есть несколько минут. Опередим...

Они быстро снесли полковника вниз по лестнице. Вверху слышался грохот. Петкявичус осторожно приоткрыл дверь, ведущую в сад, и выглянул наружу. В предутреннем сумраке он разглядел второго притаившегося незнакомца. Тот, заметив Петкявичуса, решительно махнул рукой: торопитесь, пока путь свободен. А из виллы уже доносились грохот шагов, голоса, выкрики. Рамулис, протрезвившийся гость и охранники ломились в комнату Петкявичуса и в спальню полковника.

Петкявичус и первый из незнакомцев подхватили бесчувственное тело Тулбиса и скрылись в кустах. Второй скинул с плеча автомат и, не спуская глаз с двери, что вела из спальни Петкявичуса в сад, скрылся в кустах, прикрывая отход своих товарищей.

Едва он успел спрятаться, как дверь распахнулась и из нее выскочил с пистолетом в руке Рамулис, за ним помощник полковника и двое охранников.

Еще двое выбежали из-за угла здания.

Все они бестолково метались вдоль здания, крича и ругаясь.

— Туда! — Рамулис указал на кусты.— Не иначе, как они там. Вперед!

Сам он, однако, углубляться в кусты не торопился и старался укрыться за углом.

— Сейчас! Сейчас я им всыплю! — Один из охранников сорвал автомат и полоснул очередью по кустам. Пули прошили листву на верхушках деревьев.

— С ума сошел,— злобно прошипел помощник Тулбиса, успевший в последнее мгновение направить вверх ствол автомата.— Там же с ними полковник...

Посовещавшись несколько минут, преследователи цепью двинулись в кусты, держа оружие наготове. Шли они медленно, осторожно, беспрестанно перекликаясь: никто из них не желал рисковать собой.

Петкявичус и его друзья значительно опередили преследователей. Они быстро пересекли парк и нырнули в калитку. Петкявичус уселся на заднем сиденье, полуобняв за плечи обмякшего полковника, остальные двое сели впереди. Мотор взревел, и черный «хорьх» рванул с места, быстро набирая скорость.

Услышав шум мотора, Рамулис и его спутники выскочили на дорогу. Она была пуста.

Обшарив сад, они вернулись в дом. Тщетно Рамулис пытался связаться с Любеком. Телефон не работал.

Принялись допрашивать прислугу. Но все было напрасно. Все они были наняты два дня назад и ровно ничего не могли сказать о своем исчезнувшем хозяине.

Тогда Рамулис, помощник Тулбиса и охранники кинулись к машине. Увы, она была выведена из строя.

На случайной машине они наконец добрались до Любека, чтобы сообщить о происшедшем нескольким наиболее влиятельным руководителям националистов. Те только после полудня пришли к решению поставить в известность англичан о случившемся, но представитель оккупационного командования заявил, что просит их не впутывать во внутренние дела литовских националистов.

Наконец вспомнили об Эйдукасе и послали за ним на квартиру, но он исчез...

* * *

Тем же утром возле английского контрольного пункта остановился черный «хорьх» майора Дроздова. За рулем, как

обычно, сидел шофер, рядом, как обычно, майор. На полу задней кабины тоже, как часто бывало, лежал свернутый в рулон ковер.

— Алло, майор,— подошел дежурный офицер.— Счастливого пути! — Офицер приветливо помахал рукой.

— Счастливо оставаться! — ответил майор Дроздов.

Шлагбаум был поднят, «хорьх» медленно удалился в советскую зону. Едва он миновал контрольный пункт, где майора ждали, как набрал скорость и стремительно помчался к Берлину. Отъехав десятка два километров от демаркационной линии, машина остановилась, Дроздов открыл дверку машины. Внутри за скатанным в рулон ковром, блаженно посапывал все еще не проснувшийся полковник Тулбис...

* * *

Спустя сутки с небольшим, на Вильнюсском аэродроме приземлился самолет типа «Дуглас», прибывший из Берлина. Едва самолет вырулил на стоянку, как к нему подкатил большой темно-синий лимузин, из которого вышел человек в военной форме, со знаками различия капитана Советской Армии на поблескивавших золотом погонах.

Дверца самолета открылась, и по выдвинутой экипажем лесенке на землю спустился сначала советский офицер, затем полковник Тулбис и еще советский офицер — майор Дроздов. Полковник Тулбис растерянно оглядывался по сторонам — он все еще не мог толком понять, что с ним произошло.

Капитан, подъехавший на машине, шагнул навстречу прибывшим. Лихо вскинув ладонь к козырьку фуражки, он приветствовал майора Дроздова:

— Со счастливым прибытием, товарищ майор. Как добрались? Надеюсь, все благополучно?

Полковник Тулбис смотрел на капитана безумными глазами. А капитан как ни в чем не бывало обернулся к Тулбису и четко, внятно произнес:

— Рад и вас видеть, господин полковник. С благополучным прибытием в Советскую Литву. Хотите или нет, но вам придется меня извинить...

— М-м-м,— невнятно замычал полковник.— Го-господин Петкявичус? Это вы? Н-нич-чего не понимаю.— Тулбис схватился руками за голову, зубы его предательски лязгнули.

Капитан усмехнулся:

— Никак нет, господин полковник. Не Петкявичус. Разрешите представиться: капитан Аликас. Сотрудник Наркомата государственной безопасности Литовской Советской Социалистической Республики. Впрочем, если вам угодно, можете на-

зывать меня и Петкявичусом. Не скрою, я иногда ношу и это имя. Однако прошу. Машина ждет.

Не прошло и часа, как темно-синий лимузин подкатил к зданию Наркомата государственной безопасности Литвы. Аликас провел полковника Тулбиса к себе в кабинет, а майор Дроздов зашел в соседнюю комнату и снял телефонную трубку:

— Товарищ заместитель наркома? Здравия желаю. Докладывает подполковник Скворецкий: операция завершена, все прошло успешно, в соответствии с планом. Груз доставлен. Эйдукас? С Эйдукасом все в порядке. Не сегодня-завтра будет здесь, в Вильнюсе...

* * *

...На землю опустился тихий июльский вечер. Над поселком сгущались сумерки. Маренайте сидела в своей комнате одна, не зажигая света. Внезапно послышался тихий стук в дверь. Маренайте на мгновение застыла, затем кинулась к двери.

— Кто... Кто там?

— Это я... Не узнаешь? Я...

Девушка рванула дверь и кинулась на шею Валентинасу:

— Ты?.. Ты! Наконец-то!..



И. Акимов

НАДО ИДТИ

Наверное, я долго был в беспамятстве — до тех пор, пока вдруг не осознал, что прислушиваюсь к странному шипению, прерываемому хрипами. Я напрягся и понял: это бормотал Павел. Потом красный туман перед глазами стал редеть, совсем рассеялся, и я увидел небо; не обычное, безумно-белое, слепящее, а глубокое светло-лиловое небо. Тогда я понял, что еще живу.

Лежать на песке было жестко, но я не мог повернуться. Я лежал — электроэмоционатор под головой,— смотрел вперед и думал: вот как хорошо, барханы остались позади и дальше нужно будет идти по твердым солонцам. Они светятся ровным багровым огнем. Как раскаленная жаровня. От них, наверное,

несет жаром, как от настоящей жаровни. Завтра придется снова шагать в этом аду, снова который уже день шагать и думать: вот еще сто шагов, еще сто, только не останавливаться, только не садиться, потому что вставать еще труднее, чем идти.

Жаровня по краям остывала, тускнела. Потом по ней пошли черные полосы: красное — черное, красное — черное, и черного с каждым мгновением становилось все больше.

Тут я почувствовал: что-то неладно. Чего-то мне недостает. Но я даже встревожиться не успел, понял: замолчал Павел... Но вот Павел засипел, забормотал, только на этот раз гораздо четче и связно — я угадывал почти каждое слово:

— Понимаешь, волны были такие, что когда «Туб» выскочил из-за мола, над гребнями виднелись только клотики передних мачт и гафель на бизани. Представляешь? Только клотики и верхний гафель на бизани. И это рассказывали люди, которые все видели своими глазами и привыкли врать только женам. Если б кто-нибудь другой сказал, я бы не поверил. Чтоб только верхний гафель... А потом вдруг налетел шквал. Три порыва. Только это было уже лишнее. Хватило бы и одного. Дед рассказывал: мачты будто срезало. Он даже не слыхал, как лопнули шкоты, и когда опомнился, вокруг кипела холодная зеленая вода и в пене крутились обломки «Туба», одни обломки, а ведь он был когда-то лучшим клиппером на всю Атлантику и назывался как-то иначе — я не помню уже, как именно. И напрасно дед назвал его разбитым корытом. И без того за кабельтов было видно, что ему за тридцать и он ни к черту не годится; но к чему обижать старика, пусть ему действительно тридцать лет и он больше всего похож на разбитое корыто — ведь раньше это был самый быстроходный на всю Атлантику клиппер, и даже назывался он как-то иначе — я уже и не помню, как именно...

Павел это рассказывал много раз. Каждое слово было знакомо, каждое слово сидело в памяти, и когда он что-нибудь пропускал, я ловил себя на том, что это во мне вызывает раздражение.

Павел не сразу начал вспоминать про своего деда. В те минуты, когда мы сидели на песке и смотрели, как обломки нашего самолета, разбросанные после взрыва по всей ложбине у подножия огромного бархана, дымились и тлели, постепенно присыпаемые песком, нам было не до воспоминаний.

Тогда дул сильный ветер. Песок царапал лицо и забирался под одежду. Мне в ботинки набралось его довольного много, и это было неприятно.

Я смотрел, как ветер гонит песок на обломки самолета, и думал, что к вечеру от катастрофы не останется следов, а дней через пять весь бархан передвинется на это место, если не...

Наверное, Павел думал о том же, потому что сказал:

— Свались он на тридцать — сорок метров дальше, как раз угодил бы на вершину. И нас уже завтра разыскали бы.

— Быть может, ветер уляжется,— ответил я.

— Нет.— Он тяжело встал и с минуту смотрел на серое марево над нашими головами, на мутный горизонт, потом снова на небо и на обломки.— Нет,—сказал он,— знаю я эти ветры. Пережидать их безнадежно. Надо идти.

— Куда?

— На юг. По-моему, там должно быть селение. Да ты не смотри на меня так, там точно есть селение, я это отлично помню, вот только название забыл... Километров девяносто отсюда...

Я попытался представить, как пройду девяносто километров по этим пескам, в этой адовой жаре...

— Сделай чалму из парашюта,— посоветовал мне Павел.

Он был в шлеме, в унтах, в комбинезоне. Ему не досаждали ни солнце, ни ветер. И песок ноги ему не натирал. Он помог мне сделать чалму и все рассказывал бодрым таким голосом, что в этих местах часто встречаются русла пересыхающих рек, и когда мы набредем хоть на одно, он по профилю точно определит, где мы находимся, а уж тогда, считай, дело в шляпе.

Он был такой бодрый и энергичный... Сколько я с ним летал по дальним селениям, сколько знал его — никогда на моей памяти он не был таким бодрым и энергичным. А перед этим полетом он был совсем не в духе и даже поругался на аэродроме с Сапарбаем: не понравилось ему что-то в моторе. И Сапарбай кричал, что Павел к нему всегда придирается, и смешно размахивал руками. У этого Сапарбая гонора на троих хватит, и он отказался еще раз проверить мотор, а теперь внизу, у подножия бархана, дымятся обломки самолета.

...Павел повернулся на бок, и я снова услышал, как он бормочет:

— Дед был очень старый, и мы уж думали — угомонится. Так нет же. Он еще много лет ходил матросом на «цинготниках», и во время войны их дважды торпедировали немцы, и где-то — в Бирме или на Цейлоне — он подцепил малярию, а потом почти сразу — то ли в Бирме, то ли на Цейлоне — трахому, и с тех пор глаза его все время слезились, и слезы текли по глубоким морщинам; морщины были такие странные: они так складывались, что казалось, будто дед все время смеется, а глаза слезились. Но дед никогда не плакал. Последние годы он жил у моего отца в маленьком домике над Сулой, в красивой излучине, а вокруг буки и ракиты. Ему подарили великолепную рыболовную снасть, все мальчишки млели от зависти,

но он никогда не ловил рыбу, уж он ее столько наловил за свою жизнь! Он говорил, что ему хорошо, только иногда хочется маслин. Иногда он целыми днями сидел на завалинке и смотрел на синие луга за Сулой, и я знал, что он думает про то, какие рейсы делал от Буэнос-Айреса и до Танжера, от Сан-Хуана и до Монровии: про те времена, когда его во всех портах звали Старым Томом, хотя Старый Том — это не имя, это сорт крепкого джина; и еще про то, как впервые увидал, юнга, сто линьков в печенку, что там светится прямо по носу... Южный Крест, сэр... Гот дэм, он свихнулся, этот щенок... — как впервые увидал Южный Крест... «Трим-па-па, от Ямайки до Кейптауна...»

Больше всего он любил говорить про «Туб»: какие профили он имел великолепные, да какие паруса на нем стояли, да кто их шил: а уж если разговор доходил до рангоута, до таких тонкостей, из какого дерева да на каких верфях его лучше всего делали — вот уж о чем действительно он мог поговорить!.. Кстати, в настоящей морской травле он тоже знал толк. Запас историй у него был неисчерпаем, причем он никогда не повторялся. Помню такую. Случилось это, кажется, в двадцать пятом, а может, в двадцать восьмом — боюсь соврать; помню только, что дело было осенью, что «Туб» шел в Исландию и что муссон и Гольфстрим были на удивление трудолюбивы. Когда прошли Большую Ньюфаундлендскую банку, упал плотный туман. Дед спешил и — сакраменто!.. Пять камней в печень этому бездельнику Нептуну! — клиппер продолжал идти прежним курсом. Было два часа пополудни, и где-то, должно быть, белело ясное небо и сверкало солнце, а здесь мир был сер, как мокрая морская рыба, и впередсмотрящий жаловался, что не может разглядеть даже кливера. Все-таки дед видывал и не такое, и клиппер продолжал идти хорошим ходом, как вдруг из белой мглы вынырнул сейнер и врезался в борт «Туба» метрах в трех позади бушприта. Дед в это мгновение находился внизу, в своей каюте. Толчок опрокинул его на пол. Несколько секунд дед лежал и слушал треск и грохот врывающейся в трюм воды; потом клиппер с ходу зарылся в волну и почти мгновенно исчез под водой. А дед смотрел, словно завороженный, как вода за иллюминатором из зеленой становится голубой, потом фиолетовой. В каюте стало совсем темно, а клиппер все погружался...

...Хуже всего у нас было со съестными припасами. Правда, часа за три до катастрофы мы поели в том селении, где я выправлял электроэмоционатором работу сердца смешливого старика, который все вертелся и шутил, все не мог посидеть хоть минуту спокойно и, наверно, думал, что мы не видим, как он волнуется. В том селении я и съел все, что прихватил с со-

бою из дому. Правда, у нас еще были два круга брынзы и небольшой мех с вином — их насильно всунул нам смешливый старик, когда мы улетали, но до них невозможно было добраться. Самолет горел и терял высоту и нужно было поскорее прыгать, а я долго возился с застежками парашюта — мне впервые пришлось иметь с ним дело. Павел все поглядывал на меня через плечо и ничего не говорил, а когда я пристегнул парашют, я успел прихватить только электроэмоционатор и сразу полез через борт, а фуражка мигом — фьюить! — улетела. Павел потом удивлялся, как я ухитрился электроэмоционатор в руках удержать, потому что, когда парашют открылся, меня рвануло неожиданно и сильно.

Павел достал из карманов целое богатство: банку тушенки, и банку бычков в томате, и здоровенный сухарь, и почти полфляжки воды. А я как глянул на все это, такой голод почувствовал, будто двое суток не ел, будто тут же, не сходя с места, могу съесть десять килограммов мяса с караваем хлеба и выпить ведро воды; но больше всего мне хотелось именно тушенки и бычков в томате. И сухарей.

Я боялся разговора о еде, но Павел все решил удивительно просто. Он сказал, что до селения километров девяносто — значит, придется идти дня три, а может — и больше. Во всяком случае, припасов на двоих маловато. Но можно не делить припасы поровну на двоих, сказал Павел, вся еда достанется одному тебе, а ко мне ты подключишь электроэмоционатор и он будет «кормить» меня своими биотоками, чтобы я не испытывал голода и жажды и мог передвигать ноги.

Я, конечно, сразу заартачился. Не мог я согласиться, тем более, что всю еду спас он. Я начал говорить, что нужно все сделать наоборот, чтобы ел он, а не я, и мы несколько минут спорили, пока я не признал, что он прав, потому что он выносливей меня и в приборе ничего не понимает, а я хоть обычный фельдшер, но электроэмоционатор знаю хорошо. Я приладил к Павлу отводы электроэмоционатора, и мы двинулись на юг.

Был резкий ветер, а жару я с детства плохо переношу. Я шел мрачный и прикидывал, как бы нам продержаться подольше. Поразмыслив, я решил «кормить» Павла не своими биотоками — ведь теперь и я перешел на минимальный рацион, так зачем же голодать нам обоим, если у меня была прекрасная запись «сытости» и «отсутствия жажды». Я сразу включил обе записи, а потом, не сказав об этом Павлу, включил запись «оптимизма». Я сделал это как можно осторожней, чтобы он не заметил, и когда Павел постепенно ожил и даже начал посвистывать и рассказывать анекдоты, я пожалел, что аппарат не может одновременно обслуживать двоих. А он старался растормошить меня и все подбадривал.

Потом он мне начал рассказывать про деда, про то, как погрузился в волны «Туб».

— Ты думаешь, говорил мне дед, я тогда рассчитывал выпутаться? Ничуть. Видел бы ты, как «Туб» шел ко дну. Словно камушек. А дед — не салага, уж он-то знал: под килем две мили с хвостиком; на наши, на сухопутные, все четыре километра набежит. На какое тут чудо будешь надеяться! Только я все-таки человек, говорил дед, а не чушка чугунная, а человек до последнего мгновения борется; пусть неосознанно, пусть инстинктивно — но борется!.. Вот и он: бросил любоваться сменой гаммы за иллюминатором, подскочил к двери и — крэк-крак! — на ключ ее, потому что в коридор через люк вода стеной ломилась. Оглянулся: не законопатить ли в каюте где какую дырочку? Не пришлось, полный ажур. Успокоился. Вода из-под двери струями бьет, а дед на нее без внимания; думает, где сейчас Тэд, где Боб, где Коля Бомбей, где остальная команда. Прикинул — будто бы все в момент удара наверху находились. Значит, не пропадут, сейнер подберет. Совсем успокоился дед. Стоит посреди каюты, а в ней темно и воды уже по колено, и в ушах ломит — давление все-таки приличное и растет очень уж быстро. И чувство такое, словно на лифте спускаешься. Только вдруг «Туб» начал замедлять, замедлять движение и вовсе вдруг стал. Дифферент на нос у него — градусов пятьдесят. И все растет, будто клиппер вокруг поперечной оси поворачивается. Понять нетрудно: грузы в трюме из-за дифферента поползли к носу — значит, еще больше нарушают равновесие. И действительно, «Туб» поворачивался, пока вовсе не стал вертикально, да так и застыл. Дед плавает в своей каюте, ничего понять не может. Вода прибывать перестала — воздух ее дальше не пускает. Дышать тяжело, перед глазами муть красная, а все-таки веселее, чем ко дну идти... По давлению да по свету темно-фиолетовому в иллюминаторе дед прикидывает: глубина метров восемьдесят, ну сто от силы. Что за чудо? Ведь точно он знает, нет здесь ни хребтов подводных, ни скал, и зацепиться не за что... А потом почувствовал, что вода-то холодная стала, и не оттого, что долго в ней пробыл — какое там долго: и двух минут не прошло! — а просто действительно-таки чертовски холодная. А где ей здесь взяться, в сердце Гольфстрима? Единственно — из Лабрадорского течения. Как понял это дед, так ему ясно стало, отчего «Туб» ко дну не идет: у этих течений плотность воды разная, на границе скачок плотности получается. Через теплый слой, гибралтарский, клиппер прошел, а через холодный не может — вода слишком плотная; а в «Тубе» к тому же воздуха оставалось много, вот он и плавает на границе течений, будто поплавок. Ну и ну, подумал дед, история хоть куда,

будет о чем рассказать в «Черном Томе» между двумя стаканами виски. Эта рябая рожа Кристи с зависти сдохнет...

...На четвертый день мы набрели на высохшее русло и прошли вдоль него километра четыре, пока в одном месте не увидали несколько кустиков сочной зеленой травы; их я тотчас же съел с корешками, а потом копал в том месте, пока не докопался до воды, и мы, наконец, смогли напиться и набрали полную фляжку; еще через сутки у меня кончились консервы, а на следующее утро — значит, это был седьмой день,— Павел уже не мог идти сам, и мы брели в обнимку.

У нас не было компаса, но Павел и так неплохо ориентировался, а через два дня и я уже разбирался в звездах: знал, куда закатывается Арктур, узнавал яркие брызги Ориона над самым горизонтом, а несколько в стороне, если немного повернуть голову,— бледную, немощную Андромеду.

Мы шли днем и ночью. Мы отдыхали только тогда, когда вовсе выбивались из сил. Когда голод становился нестерпимым, я просил Павла отвернуться, и он говорил: ешь и не обращай на меня внимания, ты должен продержаться, понимаешь, должен. И я сидел рядом с ним и тщательно пережевывал каждую кроху.

Когда я докопался до воды и предложил ему напиться, он отказался. Он действительно не хотел пить, хотя уже вовсе высох и обуглился. Тогда я отключил электроэмоционатор и заставил его напиться.

Потом мы сидели над ямой и говорили, какая это славная штука — вода, и о том, что наши дела в общем не так уже плохи. Жаль только, что Павел так и не вспомнил, что это за русло, а я смотрел на него, и мне было страшно, потому что электроэмоционатор был отключен, а Павел все равно не говорил, что хочет есть.

«Сытость» я больше не включал...

Потом мы встали, и я помню, что трудней всего было заставить себя уйти с того места.

Сегодня я его нес...

Я попытался вспомнить сегодняшний день и не смог. Я только помню, что нес его, и он весил до ужаса много, с тонну, наверное, так что отдыхать я ложился только три раза, потому что чувствовал, что чаще отдыхать лежа нельзя.

Я боялся ложиться и отдыхал стоя. И даже глаза закрывать боялся, знал — упаду. А потом шел дальше, словно лунатик. Шел и думал, что вот сейчас нужно перенести тяжесть на левую ногу, а правую вынуть из песка, продвинуть вперед и упереть. Потом перенести тяжесть на нее и вынуть из песка левую ногу... упереть... а теперь правую... а теперь снова левую... (солнце отражается в песке, как в зеркале: черное, уса-

тое, много-много солнц, со всех сторон, от них весь песок почернел), а теперь снова левую... нет, сейчас правую, левую потом...

Я бы не смог нести Павла, но я переключил электроэмоционатор на себя и оставил только две программы: ровную работу сердца и легких. Я б еще включил и «оптимизм», но аккумулятор в аппарате вовсе сел, и нужно было беречь каждую каплю энергии. И я весь день смог нести его только потому, что сердце работало удивительно ровно и дыхание было великолепное. Я очень жалел, что в первый день не догадался записать биотоки ног при ходьбе. Как бы я сейчас шел! Не задумываясь шел бы и шел, пока в организме оставалось хоть немного сил. Теперь уж поздно об этом думать.

Павел весит тонну и рассказывает, рассказывает про деда — вынуть ногу из песка, перенести...

— Как делается чудо?—любил повторять дед. Вот этими руками. И чтобы немного повезло... Когда он рассказывал свои истории, то все посмеивался, но я-то понимаю, что пришлось ему в тот раз, ох, как нелегко: при таком давлении, да еще без привычки, двигаться вообще тяжело, а ведь он нырял снова и снова, из помещения в помещение, в темноте, пока не вытащил на сухое водолазную помпу, а конец шланга от нее привязал к двум пустым бочкам и выпустил этот поплавок на поверхность. А потом — это и на поверхности работенка! — качал себе воздух. Не пошел бы туда воздух, говорил я деду и на бумажке все это быстро ему доказывал, а он и не спорил. Может, ты и прав, Павлуха, может, по бумажке он действительно туда не может идти, говорил он, только ведь шел!.. И он плавал эдаким манером, говорит, дня три, слава богу, питьевой было что. Вот только холодно, но дед укрепил в воздухе гамак — и ничего, обходился. Но как на поверхность выбраться? Своим ходом — гибель, организм не выдержит, постепенно это нужно делать. А как постепенно? Попробовал дед воздухом воду вытеснять из клиппера — не под силу это помпе, а что еще придумать — не знает. И вдруг просыпается он как-то от толчка. Прислушался — явственные такие удары: бьется «Туб» обо что-то твердое. Посветил дед фонариком через иллюминатор, а там лед. И в то же мгновение, после очередного толчка, «Туб» вдруг качнулся, накренился, завертелся, перевернулся несколько раз. Это продолжалось пять—десять секунд, но дед едва не погиб: вода и воздух смешались, все кипело, бурлило, дышать нечем. Потом «Туб» вдруг замер, плотно стал, накренился в последний раз на борт — и в каюте стало светло: сквозь иллюминаторы лился дневной свет, а «Туб» стоял на льду, вода потоками сбегала в океан; с трех остальных сторон и сверху громоздились ледяные глыбы —

«Туб» оказался в гроте. Айсберг. Тут уж и пояснять-то нечего, каждому ясно: течение занесло клиппер в этот грот еще под водой, айсберг был источен Гольфстримом, очень неустойчив, и слабенький толчок «Туба» стал той последней каплей, после которой он опрокинулся. Вот и все. И здоровье деда не пострадало. С перепугу, наверное. Дед говорил: временный пластырь на пробоину в днище «Туба» он сам навел, и грузы в трюме сам на места перетащил, и сам динамитом пробил «Тубу» выход в океан, и сам вел клиппер до Рейкьявика. Опоздал, конечно, на восемь дней, и ремонт обошелся в копеечку, но зато таких историй, как эта, в «Черном Томе» еще отродясь никто не слыхивал, а рябой Кристи с досады перешел с виски на пиво; впрочем, они потом с дедом подружились, и когда, обнявшись, распевали «Гоп-ля, Атлантика — веселый океан», говорят, у них не плохо получалось...

...И вот восьмой день истек... Красных полос впереди уже не было, даже зарево погасло, и звезды выкатывались из-за горизонта, словно раскаленные песчинки; аккумулятор электроэмоционатора сел. Что дальше делать — я понятия не имел. Я только знал, что вот еще немного полежу, а потом встану и пойду, и буду нести Павла.

Я вдруг впервые так ясно и ощутимо понял (до сих пор я гнал от себя эту мысль), что у меня, по сути, нет ни одного шанса на успех. Буду ли я идти или останусь лежать здесь — от этого ничего не изменится.

Я прислушался.

Тишина. Но не тишина города, когда слышишь каждый вздох паровоза, хотя до станции четыре километра, когда тявкнет собачонка — и весь город знает... Нет, здесь была особая тишина, тишина пустыни, когда не слышишь ничего...

Я еще прислушался. Тишина сгущалась, непонятная и страшная.

— Паша,— позвал я.

Он не отозвался.

— Паша! — позвал я громче и насторожился, даже сердце замерло.

Он не отозвался.

— Пашка!!! — заорал я, перекатился к нему и начал его трясти изо всех сил.— Пашка!!! — орал я что было мочи.— Пашка!!!

Он открыл глаза.

— Ты что-нибудь увидел?.. — сказал он.

Я не мог говорить. Я сидел рядом с ним и был счастлив.

— Ты молчал,— сказал я наконец.

— Да,— ответил он.— Извини, я, кажется, немного устал.

— Ничего,— сказал я,— вот отдохнем, и будет порядок.

— Ты так думаешь?..

Его глаза были огромные, немигающие, и в них отражались звезды. На лице у него остались только скулы и вот эти глаза. Да еще тонкая пластиночка носа.

— Ты все время бредил, а потом замолчал,— сказал я.

— Я не бредил,— сказал он.

— Ну как же? — Я уже почти успокоился.— Ты бредил, во всяком случае, сегодня.

— Нет, я тебе рассказывал про деда. Я думал, тебе будет легче.

Его слова меня ошарашили. Я был уверен, что он бредит. А он...

Я отвязал ремни от электроэмоционатора — нести его теперь не имело смысла — и примерился, как бы понадежней привязать Павла к спине.

— Ты уж продержись еще немного,— говорил я.— Я уверен, завтра мы дотопаем.

— Это солнце,— сказал он.— Извини. Почему-то только про деда и помню... Ты уж извини...

— Так, теперь перехватим поперек,— говорил я.

Я работал быстро, уверенно, вымещал на этих ремнях всю ярость, которая вдруг во мне взорвалась. Мне было наплевать, что он весит тонну. Хоть десять тонн!..

— Только про деда и помню... Ты уж потерпи...

Я встал и посмотрел на звезды, чтобы определить, где юг. Я увидал Полярную, и Сириус, и целый букет возле Ригеля, и мне стало хорошо оттого, что они такие знакомые, и что я снова иду, и еще оттого, что Павел тут, рядом, и совсем как в прежние дни, рассказывает:

— Понимаешь, волны были такие, что когда «Туб» выскочил из-за мола, над гребнями виднелись только кончики передних мачт и гафель на бизани...



Я. Рыкачев

ДЕЛО ГЕЛЬМУТА ШРАММА

ПРОЛОГ

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

По автомобильным дорогам мира бегают более сотни машин марки «Краун Империэл». «Краун Империэл» не знает конвейера: ее не спеша собирают в Детройте мастера высшего класса и отделывают в Италии, в Турине, лучшие краснодеревцы, кожевники, ювелиры. Каждая машина имеет две радиоустановки, телевизор, телефон, холодильник, установку искусственного климата. Если человек является собственником «Краун Империэл», значит, он принадлежит к сильнейшим из сильных мира сего. Если человек находится на «Краун Империэл» даже в качестве случайного пассажира, значит, он так или иначе связан с высочайшими вершинами бизнеса, и

это само по себе служит ему отличной деловой рекомендацией...

Одна из таких машин мчалась ясным летним полднем по дороге из Нью-Йорка в Фишерс-Айленд со скоростью восьмидесяти миль в час. За рулем восседал сам владелец машины— крупный, тяжеловесный человек в светлом костюме свободного покроя, со щетинно-густой, беспорядочной гривой седых волос, с грубоватым, мясистым лицом и неожиданно яркими голубыми глазами. Это был Джеймс Ламетт, известный конгрессмен, модный политический деятель реакционного толка, заводчик и финансист, «дерзкий выскочка» среди старых династий Уолл-стрита, сколотивший громадное состояние на добыче и очистке одного редкого химического элемента, властно вошедшего в промышленную технику с началом второй мировой войны.

В описываемое время принадлежащие ему заводы охватывали уже добрую половину редких элементов Периодической системы. Рядом, прячась в тени занавески, опущенной на боковое стекло, оборотясь лицом к Ламетту, сидел некий Отто Вендель, человек лет шестидесяти, темный политический делец, прибывший из Европы со специальной секретной миссией. Он в чем-то горячо и настойчиво убеждал своего спутника. В ответ миллиардер, не отводя глаз от дороги, резко, зло и даже с наслаждением твердил одно и то же слово:

— Глупости! Глупости! Глупости!

— Поймите же, другого пути нет и не будет! Тогда остается только поднять руки или протянуть ноги...

— Глупости! Если вы приехали только для этого, то можете отправляться обратно в Европу!

— Да, но...

— Глупости!

Одутловатое, нечистое, в морщинах и складках лицо Венделя, пересеченное по левой щеке грубым шрамом, исказила гримаса злобы; его белесые, мутные, как бы взболтанные глаза порозовели от прилива крови, но он сдержался и промолчал.

— Говорю вам — глупости! — повторил Ламетт, не давая себе труда заметить душевное состояние европейского гостя.— И что у них там за головы — у ваших генералов? Неужели им непонятно, что ядерная война оставит после себя дохлую планету, всесветный зловонный морг, и ничего более? Что предлагаете вы нам, мне, Джеймсу Ламетту? Залезть во имя вашего проклятого реванша в подземную нору, жрать консервы, медленно подыхать от лучевой болезни и утешаться тем, что коммунистам не лучше? Глупости!

— Видите ли, Ламетт, прежде чем явиться к вам, я уже

беседовал с Джадсоном, с несколькими конгрессменами, с генералами Уотсоном и Лассвелом, и все они отнеслись к моей миссии с большим интересом. Да и вообще в вашей стране есть немало влиятельных людей и в Конгрессе, и в правительстве, и в армии, и, смею думать, в Си-Ай-Си [1], которые придерживаются совсем иного мнения, чем вы. Однако не скрою, когда я отправлялся в Штаты, мне было указано обратить особое внимание на вас и на вашу группу...

— Немало влиятельных людей — говорите вы? — Ламетт презрительно фыркнул. —Да разве это люди? Это идиоты, которых следует упрятать в сумасшедший дом! Люди — это те, кто умеет считать прибыли и убытки, а ядерная война—чистый убыток! Вот какого мнения придерживаюсь я и те, кого вы именуете «моей группой»!

— И идеалы, Ламетт?.. — назло произнес Отто Вендель — ускользнувший от виселицы военный преступник, повинный в массовых убийствах.— Что же будет с идеалами?

— Не высовывайтесь, черт возьми, вас могут узнать! — Ламетт свободной рукой прижал своего спутника к спинке сиденья и поправил сбившуюся занавеску.— «Идеалы, идеалы»!.. За кого вы меня принимаете, Вендель?

— Прежде всего за человека, которому тесно жить на одной планете с коммунистами.

— В этом вы правы, дорогой Вендель,— печально произнес Ламетт, будто признаваясь в тяжком, неизлечимом недуге.— Порой мне кажется, что я явился на свет слишком поздно. То ли дело эпоха Вандербильдтов, Гульдов, Карнеги!.. И все же я не могу согласиться с тем, что всеобщее самоубийство — лучший способ избавить планету от коммунистов. Это лишено всякого смысла...

— Превентивная [2] ядерная война не самоубийство! — азартно вскричал Вендель.— А мы предлагаем вам именно и только пре-вен-тив-ную войну, и никакую другую! Самый последний, глубоко продуманный план превентивной ядерной войны! — Речь Венделя приобрела плавность и ритм, он почти пел своим густым, хрипловатым голосом.— Мирные делегации... сентиментальные встречи министров, а то и на самом высоком уровне... обсуждение и подписание любых договоров, закрепляющих вечный мир на Земле... контрольные пункты для предотвращения внезапного нападения... обмен парламентскими делегациями, учеными, актерами, космонавтами, кинозвездами, футболистами... И в одну прекрасную, прекраснейшую ночь...

— Ах, Вендель, Вендель, что только сделало с вами вре-

---

[1] Си-Ай-Си — Центральное разведывательное управление США.
[2] Превентивная — предупреждающая, предохранительная.

мя! — Ламетт, не отрывая глаз от дороги, с насмешливым сочувствием покачал своей большой головой.— Просто не верится, что вы тот самый Вендель, с именем которого мы связывали такие большие надежды. Я-то думал, что вы человек сегодняшнего дня, олицетворяющий собой живую связь между прошлым и настоящим нацизма, а ваше время, оказывается, безвозвратно ушло! Конечно,— добавил он в ответ на протестующий жест Венделя,— у вас еще есть сильные козыри, и мы не собираемся сбрасывать вас со счетов. Но явились новые люди, новые идеи, более соответствующие времени...

— Вот-вот! — Вендель ревниво вскинулся.— Новые люди, новые идеи! Я сразу понял, что вы говорите с чужих слов! Кто же они, эти ваши новые люди? Где они? Назовите хоть одного! Если они и действительно способны привести нас к цели, я первый готов... Ну назовите же их!

— Терпение, Вендель.

Ламетт, внимательно оглядевшись, остановил громоздкую машину у глухих ворот, врезанных в высокий каменный забор, и отчетливо просигналил три раза. Ворота распахнулись, и машина въехала в обширный асфальтированный двор, посреди которого высилось длинное двухэтажное здание.

— Здравствуйте, Роберт. Надеюсь, все в порядке?

С этими словами Ламетт обратился к почтенному седому джентльмену, менее всего походившему на слугу и ничуть не уступавшему своему хозяину в представительности.

— Здравствуйте, сэр. Все в порядке.

Джентльмен не спеша запер ворота и вернулся в здание прежде, чем Вендель покинул машину.

Загородная вилла Ламетта, построенная из необработанного гранита, самым искусным образом была стилизована под скромный деревянный фермерский дом начала века. Но, переступив порог вслед за хозяином, Вендель едва удержался от удивленного восклицания: перед ним открылся гигантский двухсветный холл со стеклами из малахита, стеклянным потолком, открытым в синее небо, и полом, выложенным в шахматном порядке плитами из лабрадора и розового мрамора. Длинные солнечные лучи, пересекаясь во всех направлениях, казалось, непрестанно ткали золотую паутину, провисшую между полом и потолком.

— Это и есть моя скромная загородная хижина, Вендель, которую вы обрекли в жертву ядерной войне.

— Она и не заслуживает лучшей участи,— небрежно заметил Вендель.— Вот уж не думал, что у миллиарда долларов такой дурной вкус! Снаружи — гранитная развалюха, внутри— пародия на храм. Вы должны привлечь вашего архитектора к суду, Ламетт,— он просто обманул вас...

Эта злая реплика ничуть не задела миллиардера: он не верил подобным высказываниям, считая, что они продиктованы завистью.

— Вы и тут отстали,— сказал он медленно.— Прошло то время, когда мы, американцы, рабски следовали в таких делах европейской указке. Мода на средневековые замки, вывезенные из Шотландии вместе с привидениями и прочей дрянью, давным-давно миновала. Теперь извольте-ка вы поучиться у нас...

Ламетт провел гостя через анфиладу комнат, обставленных простоватой и неуклюжей сельской мебелью, изготовленной по специальному заказу из самых дорогих сортов дерева; через обширный зимний сад, где среди деревьев, вывезенных из его родных мест, высаженных в кадки, щебетали и пели на все лады птицы тех же широт; через большой зал с прудом-бассейном из коричневого, под цвет глины, мрамора, стилизованным под захудалый, с неровными берегами, сельский пруд — отраду его далекого детства. В ответ на пояснения хозяина Вендель лишь саркастически улыбался: ему ли, современнику третьего рейха, другу и соратнику его создателей и столпов, живших среди истинно королевских богатств, свезенных со всех концов Европы, дивиться вульгарной роскоши этого выскочки! Наконец хозяин предложил гостю спуститься по винтовой лестнице в глубокое убежище, расположенное под домом.

— Это мой противоатомный бар,— не без гордости объявил Ламетт, остановившись посреди небольшого помещения, мягко освещенного скрытыми лампами дневного света.

Пол был устлан пушистым нейлоновым ковром, имитирующим зеленый газон; по стенам, до высоты человеческого роста, шли деревянные панели, аляповато расписанные сельскими пейзажами, среди которых владелец дома провел свои юные годы; у одной из стен — деревянная стойка в виде старинной ветряной мельницы. Ее срезанная, плоская крыша была уставлена множеством бутылок, бокалов, рюмок и несколькими наборами коктейльной аппаратуры.

Ламетт указал гостю на одно из громоздких, жестких кресел, стоявших вокруг грубо сбитого стола.

— Обратите внимание, Вендель: перед вами подлинная мебель семнадцатого века, ее собственноручно сколотил для себя один из пионеров с «Мэйфлауера»...

— Что ж,— Вендель насмешливо оглядел ядовито-зеленый лужок из нейлона,— в этих почтенных креслах за добрым бокалом вина вполне можно переждать небольшую ядерную грозу.

— О да, если только мои ученые не врут, утверждая, что

это убежище, стоившее мне около миллиона, полностью обеспечено от проникновения радиации...

— Вот видите, Ламетт...

— Ничего я не вижу! — раздраженно отозвался Ламетт.— У человечества еще нет опыта ядерной войны, и ни за что нельзя поручиться. Но допустим даже, что в этой дыре можно благополучно отсидеться и уцелеть. А что, скажите, застану я наверху, когда решу, что пришло время жить дальше? Давайте условимся, Вендель: если вы и дальше намерены настаивать на вашей дурацкой ядерной войне, то нам с вами не по дороге. Ясно?

— Поймите же наконец, Ламетт: превентивная ядерная война сведет к минимуму силу, а то и самую возможность ответного удара! — Вендель сердито нахмурился и молчал несколько секунд.— Конечно, если вы против всякой ядерной войны — вы и ваши единомышленники,— то нам и верно не о чем говорить. Разве только вы предложите что-либо столь же решительное...

Хозяин, не отвечая, снял трубку внутреннего телефона, стоявшего на столе:

— Это вы, Роберт? Передайте мистеру Догану, что я ожидаю его внизу, в седьмой.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ламетт едва успел приготовить коктейль и разлить его по бокалам, как в комнату вошел человек лет сорока пяти, среднего роста, плечистый; круглая голая голова, лицо в рваных хлопьях румянца, круглые, чуть выпуклые холодные, серостальные глаза, золотые очки.

— Знакомьтесь, Вендель: это мистер Генри Логан, профессор одного из наших университетов.

— К чему такая неуклюжая конспирация, Ламетт? — ворчливо отозвался Вендель, чуть привстал в кресле и протянул вошедшему руку.— Чего бы я стоил, если бы не знал, что пожимаю руку Генри Листеру, бывшему профессору социологии Массачусетского технологического института, одному из шефов Си-Ай-Си, члену Совета ДБС![1]

— Браво, мистер Вендель, браво! Конечно, Джеймс, мое скромное имя не заслуживает конспирации, но имя нашего гостя, мне кажется, следует самым тщательным образом оберегать от чужого слуха. Если вездесущие репортеры пронюха-

---

[1] ДБС — «Общество Джона Бёрча» — полусекретная организация, нынешний центр американского фашизма.

ют, что в Штаты прибыл собственной персоной Отто Вендель, это наведет кое-кого на ненужные размышления...

— Об этом можете не тревожиться, Генри,— нахмурился Ламетт.— Мой Роберт прошел хорошую школу и все предусмотрел: в доме нет ни души. А теперь прошу садиться — и к делу! Вы уже знаете, Генри, что мистер Вендель прибыл из Европы с определенной целью: предложить нам план превентивной ядерной войны, детально разработанный бывшим гитлеровским, а ныне бундесверовским генералитетом. Там, видимо, считают, что мы можем содействовать продвижению этого плана в определенных кругах, привлечь к нему внимание...

— Вам уже известно мое мнение, Джеймс,— отозвался Листер,— и мне остается лишь ознакомить с ним нашего гостя. Я считаю этот документ жалким творением все тех примитивных умов,— легкий поклон в сторону Венделя,— которые в свое время породили идею гитлеровского блицкрига, с первых же шагов увязшую в русских снегах...

— Разрешите заметить, что я лично не имел к идее блицкрига ни малейшего отношения,— сердито заметил Вендель.— Я был в ту пору лишь абвером, как, впрочем, и позднее, до конца войны.

Эта реплика явилась безотчетной уступкой, сделанной Венделем «новому человеку» Ламетта, с которым он едва успел познакомиться. На деле он до сего времени считал идею гитлеровского блицкрига вершиной военной мысли и причину поражения третьего рейха усматривал единственно в чрезмерной «гуманности» покойного фюрера и его сподвижников.

— Что же, военная разведка — это не так уж мало,— назидательно заметил Листер.— Абверу вполне доступно было оценить обстановку и представить свои доводы. Однако, насколько мне известно, абвер лишь поддерживал заблуждение, в котором находился ваш фюрер и его генералы. Низкий уровень мышления — общая беда больших и малых руководителей третьего рейха. Не так ли, мистер Вендель?

Вендель неопределенно пожал плечами: он явно робел перед Листером.

— А знаете, Вендель, я с острым интересом шел сегодня на свидание с вами.— В интонации Генри Листера была снисходительность, этакое похлопывание по плечу.— Для моего поколения вы были легендарным Венделем! Умница, храбрец, великий конспиратор, человек, перехвативший знамя, выпавшее из мертвых рук Генриха Гиммлера! А ныне — глава, кумир и повелитель целого миллиона бывших эсэсовцев, рассеянных по всему свету, оплот и надежда всех, кто стремится к возрождению нацизма... — Листер умолк и будто в печальном недоумении склонил голову.— Но план, генеральский план... Как

могли вы поддаться на такую дешевку, Вендель? Неужели два последних десятилетия ничему вас не научили? У вашего генералитета, Вендель, нет ни крупицы воображения. Подумайте сами: возможно ли разработать толковую стратегию, если не учесть, что и другая сторона способна думать, хитрить, угадывать мысли и намерения противника?

«Ну конечно же,— подумал Вендель,— этот Генри Листер и есть «новый человек» Ламетта и его группы...»

— Превентивная ядерная война! — продолжал Листер.— Вам ли не знать, Вендель, что любая, даже самая сложная игра имеет свои железные правила, твердо известные всякому серьезному партнеру?!. А Советы, несомненно, очень серьезный партнер.

Неужели вы полагаете, Вендель, что ваши идеи, планы, расчеты, даже самые сокровенные, неведомы тем, против кого вы затеваете ваш ядерный блицкриг? Знайте же: любая ваша мысль, едва возникнув — и даже ранее того! — тотчас же становится известной там, как если бы ее улавливали радаром...

— Шпионаж? — усмехнулся Вендель.— Ну, я, старый разведчик, не столь высокого мнения о шпионаже.

— Да нет же, простой здравый смысл!

Листер откинулся на спинку кресла и заговорил привычным, ровным тоном лектора:

— Могу вас уверить, дорогой Вендель, что русские отлично разбираются в том, какие идеи, настроения, замыслы, расчеты, планы и действия способны породить — и порождают — в нашей стране обладание ядерным оружием; каких взглядов придерживаются на этот счет наши министры, генералы Пентагона, члены Конгресса, Белый дом, тайные организации, и даже Си-Ай-Си. Но мало того: Советы в каждый данный момент готовы дать отпор любому из вариантов ядерной агрессии, в том числе и внезапному нападению. Все приемы, преимущества и возможности превентивной войны известны им не хуже, чем вашим и нашим генералам, и, конечно, полностью учтены ими. Если что и способно определить успех в современной войне, так это абсолютное превосходство в силе оружия. Но и превосходство, как вы знаете, уже невозможно: каждая из сторон обладает такими запасами термоядерных бомб и средств их доставки, что и десятой доли с излишком хватило бы для полного уничтожения другой стороны и вообще всей планеты...

— Значит, вы — за со-су-щест-во-ва-ние? — протянул Вендель.

— Нет, почему же... — спокойно отпарировал Листер.—Мы всего только за химию — против физики. Химическое оружие дешево, действенно и гуманно: оно способно уничтожить людские массы почти мгновенно...

— Да-да, за химию — против физики! — с какой-то злой восторженностью повторил Ламетт.— Слушайте и учитесь, Вендель!

— Что же,— усмехнулся Вендель,— послушать я не прочь, а вот насчет ученья...

ХИМИЯ И ФИЗИКА

— Прежде всего,— сказал Листер,— ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос: известен ли вам в Германии человек, по фамилии Шрамм? Гельмут Шрамм, двадцати семи лет, город Бремен?

— Шрамм... Шрамм... Гельмут Шрамм... Бремен... — шептал про себя Вендель, словно мысленно листал картотеку.— Нет, такой не числится! — заключил он профессиональным тоном.

— Я и не ждал от вас другого ответа, Вендель. В вашей картотеке числятся, вероятно, лишь шпионы, осведомители, бывшие эсэсовцы, а Шрамм не подходит ни под одну из этих рубрик. Ведь Гельмут Шрамм — это сегодняшний, даже завтрашний день, а ваш взгляд обращен в прошлое...

— Кто же он, этот ваш Шрамм? Друг? Враг?

— Гельмут Шрамм — молодой ученый, возможно гениальный ученый. А друг или враг — это, в конечном счете, зависит от нас с вами. Вам ли не знать, что человек — всего лишь человек, Вендель!

— Химик?

— Разумеется, химик! Кажется, вы начинаете улавливать ход моей мысли...

— Что, вы хотите, чтобы я доставил вам этого химика, связанного по рукам и ногам?

— Ну, Вендель, вы, я вижу, еще не вышли в тираж! — одобрил его Листер. Затем, помолчав, снова перешел на лекторский тон: — Итак, химия! Я уже говорил, что только люди с примитивным мышлением могут думать, что ядерная война, пусть и превентивная, решит в нашу пользу давний наш спор с коммунистическим миром. Этим людям туманит голову военно-промышленный бум, безудержное хвастовство наших генералов, грозная красота наших ракет с ядерными зарядами, готовых вот-вот устремиться к цели с наших подводных и надводных кораблей, с сухопутных баз, разбросанных по всему миру, слитный гул наших бомбардировщиков, несущих на борту ядерные бомбы. За всей шумихой эти безумцы забывают, вернее, стремятся забыть, что на каждую нашу ядерную бомбу приходится, по меньшей мере, одна советская бомба, а о раке-

тах и говорить нечего — тут мы неизменно плетемся в хвосте. Словом, дорогой Вендель, мы разочаровались в физике! Уж очень оказалась она шумной, трескучей, бессмысленно-разрушительной, а главное, обоюдоострой наукой.

— Конечно, не мне, простому разведчику, спорить с таким ученым человеком, как профессор Генри Листер,— вставил Отто Вендель.— Однако мне думается, что все ваши соображения по поводу физики могут быть с таким же основанием отнесены и к химии. Разве не так?

— К счастью, не так, дорогой Вендель! — самоуверенно ответил Генри Листер.— Раздобудьте нам Гельмута Шрамма, и вы убедитесь в этом! А впрочем, я могу дать вам некоторое представление о нашей военной доктрине, Вендель... Существует, как известно, немало ядовитых веществ, даже в небольшой дозе смертельных для любого организма. Например, синильная кислота. Однако современная химия располагает куда более грозными ядами. Идеальным, разумеется, явился бы такой яд, который в возможно минимальной дозе — одна или несколько молекул — причинял бы человеку мгновенную, а значит, и безболезненную смерть, отличался бы необходимой химической устойчивостью и действовал бы равным образом на все животные и растительные организмы...

— Так, так...

— Молекула-воин, молекула-убийца! — с холодным пафосом воскликнул Листер.— Вы представляете себе, Вендель, сколько таких воинов-убийц уместится в ста граммах подобного вещества? В этом случае на каждого — заметьте, на каждого! — врага придутся целые полчища непобедимых воинов, не ведающих промаха. Это уже сверховеркиль![1] Страна, ставшая объектом такого нападения, в кратчайший срок лишится всего населения, но все богатства ее останутся нетронутыми, невредимыми, готовыми для использования.

— Простите, Листер,— нетерпеливо прервал оратора Вендель,— но ведь в этой вашей, с позволения сказать, доктрине нет ничего нового или оригинального, она давно известна. Я сам могу рассказать вам о подобных ядах, созданных у вас в Штатах, в Англии, в Канаде, наконец, у нас в Германии. Да что говорить: нет такого вида смертоносного оружия, над которым не работали бы самым энергичным образом наши немецкие ученые! Я сам, собственными глазами несколько лет назад видел порцию ядовитого порошка — не более одного килограмма,— которая при равномерном распылении способна убить все живое на огромном пространстве... Но я уже тогда задал себе вопрос: а разве у коммунистов нет химии? И в частности, химии поражающих веществ?

[1] Оверкиль — сверхубийство.

Листер пожал плечами и откинулся на спинку кресла.

— Видите ли, Вендель, вся суть в том, что ни одно из созданных до сего времени поражающих веществ не идет ни в какое сравнение со шраммовским мортином, и у нас нет оснований считать, что подобный препарат имеется у нашего потенциального противника. Увлеченные соперничеством с нами в области ядерного вооружения, Советы, по нашим сведениям, уделяли недостаточное внимание химическому оружию. В этом наше бесспорное, хотя, несомненно, и временное, преимущество. Другое наше преимущество — тщательно разработанные методы превентивной химической войны...

— Уж не имеете ли вы в виду доктрину «внедрения»? Выращенные в специальных школах «подложные» коммунисты, перевоплощаясь с головы до пят, проникают в Россию, делают там государственную или общественную карьеру, а затем, находясь вне всякого подозрения, распыляют по стране какой-нибудь мортин?

— Не скрою, у нас есть и такой вариант превентивной химической войны.

— Это же совершенная чепуха, Листер! — усмехнулся Вендель; наконец-то удалось ему взять реванш у этого «нового человека».— Не понимаю, как это вы, серьезный ученый, профессор социологии, могли поддаться на такую ребяческую выдумку! Вашего «подложного» коммуниста разоблачат там сразу же, как если бы на лбу у него стояло клеймо: «Изделие Аллена Даллеса». Мало того: он тут же передаст им в руки доверенную ему дозу мортина, выболтает во всех подробностях вашу доктрину и заставит смеяться двести миллионов человек. Нет, Листер, если уж вы решитесь на войну, то воевать придется в открытую, со всеми вытекающими последствиями...

— Позвольте не согласиться с вами, Вендель,— холодно возразил Листер.— Разумеется, вариант «внедрения» — лишь один из наших вариантов превентивной химической войны, об остальных я пока умолчу. Скажу лишь, что они связаны с проблемой создания специальной авиации, снабженной особыми соплами и распылителями,— эта техника уже имеется на вооружении западного мира и непрерывно совершенствуется. А сейчас я предлагаю прекратить бесплодную дискуссию и перейти к практической стороне дела. Итак, вы должны раздобыть для нас Гельмута Шрамма. Разумеется, мы окажем вам любую помощь. Наши люди в Германии...

— Скажите, Листер, откуда вам стало известно о Шрамме и его открытии?

— Это не относится к делу.

— Пусть так. Но имейте в виду, господа,— он повернулся к Ламетту,— что операция с этим Шраммом требует больших

денег. Выкрасть в большом, густонаселенном городе живого человека!.. В таком деле без тонкой выдумки и больших расходов не обойтись.

— Вот и выдумывайте! — резко заключил Листер.— Насколько нам известно, Шрамм — человек доверчивый и простодушный, к тому же его исчезновение не вызовет шума. В науке он пока малоизвестен, братьев и сестер у него нет, родители погибли в гитлеровском концлагере. Словом, самый удобный объект для похищения!

— А невеста? — озабоченно сказал Вендель.— Агнесса Добберт...

УКРОЩЕНИЕ ВЕНДЕЛЯ

Вендель внезапно умолк, словно пораженный апоплексией. Его лицо густо, до черноты, покраснело, затем кровь отлила обратно, даже белесые глаза его, казалось, задернулись тусклой пеленой.

— Что это значит, Вендель? — высоким, срывающимся голосом вскричал Ламетт, до сих пор молча следивший за диалогом двух разведок.— Потрудитесь объяснить, что это значит?

Вендель, сжавшись в тесном старинном кресле, тщетно шевелил бескровными губами и силился что-то сказать. Он до самой глубины был потрясен не тем, что его изобличили во лжи, а крахом своих хитрых расчетов.

— Зачем вы лгали, что ничего не знаете о Шрамме и даже не слыхали этого имени? Вы что — успели запродать его вашей федеральной разведке? Кому-нибудь из наших — Филду, Джадсону, концерну Люпона? Русским? Или вы придерживаете его в ожидании, кто больше предложит? Не для того, черт возьми, я вам плачу из года в год за содержание ваших бездельников-эсэсовцев, чтобы вы обделывали на стороне ваши темные делишки! Отвечайте же, что у вас там с этим Шраммом!

— Да ничего такого... Просто я припомнил сейчас, что некий Гельмут Шрамм действительно числится в моей картотеке...

— Вы опять лжете, Вендель! — жестко сказал Ламетт.— Я вижу, нам придется отказаться от ваших услуг.

— Ну ладно,— примирительно заговорил Вендель (он уже овладел собой).— Я вовсе не собираюсь ссориться с вами, Ламетт, из-за этого паршивого Шрамма. Признаюсь: на Шрамма действительно претендует один очень богатый покупатель. Нет-нет, не беспокойтесь, дело идет не о вашем мортине! Покупатель о мортине ровно ничего не знает, как, впрочем, до встре-

чи с вами не знал и я. Даю честное слово — не знал! Покупателя интересует совсем другой препарат—биолин, стимулирующий жизненные процессы. Я-то думал поначалу, что вы имеете в виду именно биолин, потому и отрекся от Шрамма. Биолин — мой личный бизнес...

— Кто покупатель? — хмуро спросил Ламетт.— Люпон?

— Да, концерн Люпона. Они предложили за патент полтора миллиона долларов.

— Откуда им стало известно о биолине?

— А Шрамм и не скрывал, что работает над биолином. Он даже поместил в специальном журнале заметку о биолине, где указал заранее его заданные свойства.

— Почему же концерн обратился к вам, а не к самому Шрамму? Ведь полтора миллиона — громадное состояние для нищего ученого!

— Обращались. Но Шрамм заявил, что научными открытиями не торгует и, как только работа над биолином будет завершена, он опубликует для общего сведения все данные о его составе и способе производства. Вот тогда-то концерн и попросил меня срочно раздобыть нужные им сведения о биолине. Они задумали опередить Шрамма, запатентовать в Штатах биолин под другим наименованием и приписать его открытие своим химикам...

— Ну и вы?..

— Я принял меры, вступил в переговоры с одним человеком...

— С кем именно?

— С ассистентом Шрамма, Артуром Леманом...

— Дальше!

— Этот мерзавец пронюхал о предложении Люпона и потребовал от меня половину суммы, назначенной концерном.

— А почему он не обратился непосредственно к концерну, минуя вас? Ведь все козыри были в его руках!

— То есть как это — минуя меня? — искренне удивился Вендель.— Он же знал, с кем имеет дело и чем грозит ему такой подвох! — Вендель вызывающе оглядел своих собеседников.— А ведь похоже, джентльмены, что ваши сведения о Шрамме и его мортине идут из того же источника!

— Вы не ошиблись, Вендель,— принял вызов Листер.— Леман действительно наш человек, я прошу вас принять это к сведению. Мы в свое время устроили его ассистентом к Шрамму, чтобы он снабжал нас необходимой информацией. Правда, комбинацию с биолином он от нас утаил, но, раз это его личный бизнес, мы все равно не стали бы ему мешать, тем более что Ламетт — не правда ли, Джеймс? — в биолине не заинтересован. Мы не возражаем и против вашего бизнеса,

Вендель, мы даже готовы помочь вам: заставим этого нахального юнца удовлетвориться третью куртажа, предложенного вам концерном Люпона...

— Я буду вам очень обязан, господа,— умилился Вендель.

— Пожалуйста,— сухо отозвался Листер.—Однако должен сказать вам, Вендель, что если вы и в дальнейшем попытаетесь вести с нами двойную игру... Вы же знаете, Вендель, у нас длинные руки!

— Бросьте, Листер,— скучным голосом сказал Вендель,— я же не враг себе. Величие духа! Скажу вам начистоту: лично я не верю ни в ядерный блицкриг, ни, того менее, в вашу химию. Если я и принял на себя известную вам миссию, то лишь по старым дружеским связям с рейхсвером. Для меня яснее ясного: время упущено, и, боюсь, упущено безвозвратно. Вот почему я не заглядываю теперь дальше сегодняшнего, ну, завтрашнего дня. Что требуется вам от меня сегодня? Гельмут Шрамм? Извольте, господа, получите Гельмута Шрамма за наличный расчет!..

— Да, Гельмут Шрамм, но целый и невредимый,— подтвердил Листер.— Нам известно, у вас тяжелая рука, Вендель!

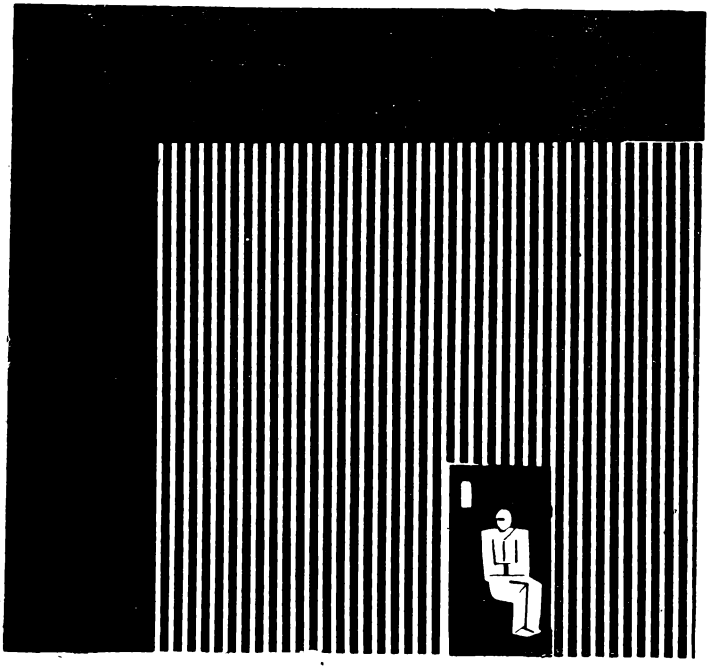
— Все зависит от условий заказа, дорогой Листер... Кстати, почему бы вам не узнать химическую формулу мортина у Артура Лемана?

— Он сам не знает ее. Шрамм очень скупо рассказал Леману о своем открытии, но и этого оказалось достаточно, чтобы мы предпочли мортин всем поражающим веществам, созданным в химических лабораториях западного мира, в том числе и в секретных лабораториях НАТО. Мортин — это небывалое, чудовищное сгущение гибельной энергии. Нам известно также, что Шрамм самолично уничтожил добытый им небольшой запас мортина и будто бы всю связанную с ним научную документацию.

— Гуманист?

— Вот именно — гуманист! Так что ныне химическая формула мортина существует только в мозговых клетках Гельмута Шрамма, откуда нам и предстоит ее выскрести.

— А когда мы завладеем этой формулой,— заключил Ламетт,— и мои заводы наладят производство мортина, тогда наша доктрина приобретет тысячи и тысячи новых сторонников и физике поневоле придется уступить первенство химии. Атомный бизнес, ведущий страну к катастрофе, перестанет загребать миллиарды долларов, а сама идея химической войны станет официальной и основной доктриной НАТО...



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КОНЕЦ СВАДЕБНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Первой остановкой в своем свадебном путешествии по родной стране супруги Шрамм избрали Мюнхен. Они давно мечтали ознакомиться с художественными сокровищами Старой Пинакотеки, собравшей в своих стенах множество шедевров. Гельмут и Агнесса Шрамм остановились в недорогой маленькой гостинице «Старая Бавария» на левом берегу Изара, в старинной части Мюнхена с ее узкими средневековыми улочками. Решено было пробыть в городе неделю и все утренние часы посвятить осмотру музея. Но на третий день Гельмут отказался сопровождать жену в Пинакотеку.

— Мне что-то нездоровится,— сказал он после кофе.— Кру-

жится и болит голова, хочется спать... Вероятно, переутомление — ведь я последние три года работал без отдыха, а тут еще мелькание картин...

— Ты и в самом деле очень бледен,— встревожилась Агнесса.— Я останусь с тобой и вызову врача.

— Нет-нет, я еще посплю часок-другой и уверен, что все пройдет. А ты иди, обязательно иди, как раз сегодня посетителей сопровождает профессор Кунц, крупнейший знаток голландской живописи!

— Нет, Гельмут, я буду беспокоиться...

— Умоляю тебя, святая Агнесса! — Гельмут театрально преклонил колено.— Умоляю тебя, отправляйся в Пинакотеку, внимательно слушай профессора Кунца, потом расскажешь мне о своих впечатлениях. А я, со своей стороны, обязуюсь полностью поправиться к твоему возвращению!

— Да будет так! — со смешливой торжественностью произнесла Агнесса и возложила свою маленькую руку на голову мужа.— Пусть исцелит тебя, любимый, мое святое прикосновение!

Агнесса вернулась в гостиницу к двум часам дня. Она подошла к двери своего номера и осторожно постучала: вдруг Гельмут еще не проснулся? Послышались твердые шаги, и дверь резко, наотмашь распахнулась. На пороге стоял высокий, плотный, бравой выправки человек лет тридцати, в шелковой голубой пижаме, левая щека в мыле, в руке бритва, через плечо полотенце, в углу рта дымящаяся сигарета.

— Да?!

— Простите,— растерянно произносит Агнесса.—Мой муж...

— Ваш муж? — в недоумении повторяет молодой человек.

— Ведь это семнадцатый номер, не правда ли?

— Совершенно верно, фрейлейн...

— Фрау Шрамм...

— Совершенно верно, фрау Шрамм, семнадцатый.

— Но ведь тут живем... жили... мы с мужем...

— То есть?!

— Сегодня утром эту комнату занимали мы с мужем...

— Утром? Вы с мужем? Но, фрау Шрамм, я живу здесь уже второй месяц!

— Этого не может быть... мы с мужем...

— Вы, вероятно, ошиблись номером, тут все комнаты одинаковые.

— Нет-нет, это наша комната, я хорошо помню: она единственная на отлете, возле лестницы! — уверяла Агнесса.—И затем, я твердо помню: семнадцатый номер...

— И все же, фрау Шрамм...

Молодой человек предупредительно стоит в дверях; он уже стер полотенцем мыльную пену со щеки и терпеливо выжидает, когда же выяснится это странное недоразумение.

— Но как же так... где же мой муж?..

— Простите, фрау Шрамм,— на лице молодого человека недоумение, готовое перейти в досаду,— я не могу знать, где находится ваш муж. Потрудитесь зайти в комнату и убедиться: это не ваша, а моя комната. Прошу вас!

Молодой человек посторонился, пропуская Агнессу. Нет, конечно, это не их комната. Тут все иное: мебель, занавески, постель — и нет ни единой из их вещей; облака табачного дыма — Гельмут некурящий — плавают под потолком, на столе пепельница с окурками, бритвенный прибор, кисть со свежей мыльной пеной... Мысли Агнессы путаются, она, шатаясь, выходит из комнаты, чувство предельного одиночества сжимает ей сердце.

Молодой человек, видимо, понял ее состояние: он набрасывает на себя пиджак и идет вслед за ней.

— Пройдемте, пожалуйста, к портье, фрау Шрамм, здесь явное недоразумение.

Портье услужливо достает книгу для приезжающих.

— Фрау Шрамм спрашивает, какой номер она занимает? Пятнадцатый. Нет-нет, именно пятнадцатый. Господин Гельмут Шрамм? Такого постояльца у нас не значится. Разве фрау не помнит, что приехала одна? Да, фрау Шрамм, я твердо помню, что вы приехали в гостиницу одна в понедельник 11 июля. Я сам записывал вас и принимал ваши вещи. Семнадцатый номер. Но, право же, фрау ошибается — там уже второй месяц проживает господин Герман Винкель!.

— Нет-нет, я приехала не одна...

Агнессе кажется, что она сейчас лишится рассудка, медленная бледность заливает ее лицо. Очнулась она через полчаса на диване в комнате номер пятнадцать, куда ее бережно, под руки, отвели господин Герман Винкель и портье. Агнесса огляделась: эта комната действительно ничем не отличается от той, где поселились они с Гельмутом. Но, странное дело, в ней нет никаких следов пребывания Гельмута: ни его книг, ни его двух чемоданов, ни знакомых ей предметов обихода. Зато ее, Агнессы, вещи остались на тех же местах, что и прежде. Пожилой усатый врач слушает ее пульс.

— Скажите-ка, фрау Шрамм, не страдаете ли вы галлюцинациями, выпадениями сознания?

— Где мой муж, Гельмут?..

— Опять муж! — поморщился врач.— Своей нелепой выдумкой вы всполошили администрацию гостиницы, без всякой надобности обеспокоили господина Винкеля...

— О, какое же беспокойство? — деликатно отозвался господин Винкель.— Я только сожалею...

— Должны же вы понять наконец, что приехали в Мюнхен одна! Совершенно одна!

— Гельмут... Но где же Гельмут?

— Сколько раз вам повторять? — В голосе врача звучит нетерпение.— Никакого Гельмута...

— Подождите, доктор,— строго сказал Герман Винкель.— Скажите, фрау Шрамм, нет ли у вас родных в нашем городе?

— Н-нет...

— А откуда вы приехали в Мюнхен?

— Из Бремена.

— Где работает ваш муж?

— В Институте химической кинетики, в лаборатории номер семь...

— Так, так... — Винкель взглянул на свои ручные часы.— Сейчас три часа. Быть может, вы хотели бы позвонить в Бремен по телефону? Справиться, не знают ли там что-либо о вашем муже?

— Но это же нелепо... мы приехали вместе... они не могут знать...

— А все же?

— Хорошо, я позвоню.

— С кем хотели бы вы говорить, фрау Шрамм?

— Леман. Ассистент мужа, Артур Леман...

Герман Винкель берет телефонную трубку, и через несколько минут телефонистка соединяет его с Бременом, с Институтом химической кинетики.

— Лабораторию номер семь! Благодарю. Господина Артура Лемана! Господин Леман? С вами желает говорить фрау Агнесса Шрамм. Передаю трубку...

Приподнявшись с дивана, Агнесса нетвердой рукой прижимает трубку к уху: наконец-то свой, близкий человек, друг Гельмута.

— О, Артур! Здесь такое творится... — Она умолкает, спазм перехватывает ей горло.

— Что с тобой, Агнесса, дорогая?

— Гельмут...

— Что — Гельмут?

Молчание. Слышен только сдержанный плач.

— Но Агнесса... Пусть Гельмут возьмет трубку.

— Гельмута нет... он исчез... я не знаю, где он...

— Что значит — исчез? Он же вылетел к тебе третьего дня на самолете! Что же он — не прилетел в Мюнхен?

— Что ты говоришь, Артур? — Агнесса мгновенно пришла в себя.— Ты же знаешь, что мы с Гельмутом выехали в вос-

кресенье из Бремена,— ты же сам провожал нас на вокзале! Мы вместе приехали в Мюнхен и прожили здесь три дня! Слышишь ли ты — вместе! — почти исступленно кричит Агнесса в трубку.— А сегодня... сегодня... он исчез!

— Ты, наверное, нездорова, Агнесса,— послышался в трубке тихий, печальный голос Лемана.— Выслушай меня внимательно, постарайся восстановить в памяти ход событий... Десятого числа, в воскресенье, я и Гельмут проводили тебя на вокзал, Гельмут купил в кассе билет, мы усадили тебя в вагон, простились... Было решено, что Гельмут вылетит в Мюнхен дня через два, лишь только закончит начатый ранее опыт. Во вторник, двенадцатого, в семь утра я проводил Гельмута на аэровокзал. Самолет взлетел на моих глазах...

— Ты с ума сошел, Артур! — холодно сказала Агнесса и положила трубку. Ей надо было как-то разобраться во всем, чтобы овладеть собой, жить и действовать дальше.

Молчание длилось уже несколько минут, его прервал Герман Винкель.

— Фрау Шрамм, что сказал вам Леман?

— Леман сумасшедший.— В голосе Агнессы звучало спокойное ожесточение.— Вы все сумасшедшие... — Она внимательно оглядела Винкеля и врача и неожиданно добавила: — А может быть, негодяи.

— Но фрау Шрамм!..

— Я прошу вас, господин Винкель, и вас, доктор, оставить мою комнату! Я жду, господа!

— Если вам угодно...

Винкель кивнул доктору, и они направились к двери

— В случае если вам понадобится моя помощь, фрау Шрамм,— обернулся на пороге Винкель,— я всегда к вашим услугам...

Агнесса не ответила.

Примерно через час к подъезду гостиницы «Старая Бавария» подкатила закрытая машина. В номер пятнадцатый поднялся тот же врач в сопровождении двух дюжих санитаров, и Агнессу Шрамм увезли в городскую психиатрическую больницу.

ДИАЛОГ В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ

Что испытывала Агнесса Шрамм, запертая в одиночной палате городской психиатрической больницы?

Маленькая комнатка была обставлена лишь самой необходимой стандартной мебелью: сиротского вида кровать, застеленная тонким серым одеялом, низкорослый шкаф для платья,

стол, стул, умывальник. Небольшое окошко, сродни тюремному, было расположено так высоко, что Агнесса, даже встав на стул — она уже раз предприняла такую попытку,— не могла дотянуться до него рукой. Массивная дверь, выходившая в коридор, была снабжена круглым окошком, позволявшим видеть извне все, что творится в палате...

Есть слабые, на поверхностный взгляд, натуры, обнаруживающие истинную свою суть лишь под давлением крайних обстоятельств. Мера испытаний, выпавших на долю Агнессы, уже переступила за черту, где таилась скрытая до времени сила ее характера, к которому жизнь не предъявляла до сих пор сколько-нибудь суровых требований. Несчастья сообщали ей сейчас твердость духа, побуждали ее к действию.

Агнесса еще с вечера решила, что должна как следует выспаться в эту первую ночь своего заключения, иначе у нее не будет сил, чтобы тем или иным путем вырваться на свободу. А дорог каждый день, каждый час: как знать, что замыслили о н и против Гельмута? Агнесса ничуть не сомневалась теперь, что исчезновение Гельмута и ее заключение в больницу — дело рук каких-то преступников, хотя и не представляла себе, какую цель они преследуют.

— Как вы спали? — приветствовала Агнессу утром пожилая женщина, принесшая скудный завтрак.

— Благодарю вас, отлично.

— Ну и слава богу,— стереотипно сказала женщина.— И вид у вас свеженький. Приготовьтесь, милая,— скоро будет врачебный обход.

Не успела Агнесса позавтракать, как в палату вошла стройная женщина лет тридцати. У нее было овальное чистое бледное лицо, гладко зачесанные назад черные волосы, собранные в пучок на затылке, черные, вразлет брови, прекрасные темные глаза.

— Доброе утро, фрау Шрамм! Я — Эвелина Петерс, ваш лечащий врач. Как вы себя чувствуете?

— Благодарю вас, отлично.

— Как вы спали эту первую ночь?

— Не хуже, чем дома, доктор,— Агнесса заставила себя улыбнуться,— да еще в далеком детстве. Право, я даже ни разу не проснулась!

— Вот и хорошо. Если так пойдет дальше, вы быстро оправитесь... А теперь дайте-ка мне взглянуть на вас! — Она маленькими, крепкими руками ласково взяла Агнессу за плечи и повернула лицом к свету.— Во-первых, фрау Шрамм, вы очень красивы,— сказала она серьезно.— Во-вторых, вы несомненная умница, а в-третьих, добрая душа. Такое сочетание встречается не столь уж часто.

— Все это я подумала о вас, доктор, лишь только вы вошли.

— Не надо так говорить,— отозвалась доктор Петерс.— Я в том возрасте, когда человек уже знает себе настоящую цену... А теперь скажите, фрау Шрамм, что предшествовало вашему заболеванию? Душевное потрясение?

— Я совершенно здорова, доктор.

— Так считают все больные,— улыбнулась доктор Петерс.— Во всяком случае, заболевание у вас легкое, и я охотно берусь вылечить вас. Готовы ли вы пройти у нас курс лечения?

— Нет, доктор! — твердо сказала Агнесса.— Я слыхала, конечно, что душевнобольные склонны считать себя здоровыми, и тем не менее считаю себя здоровой. Что делать,— добавила она с ироническим вздохом,— ведь и здоровые считают себя здоровыми! Разве не так, доктор?

— Конечно, так... К сожалению, это ничего не говорит о данном случае, фрау Шрамм.

— Какой же выход? — продолжала Агнесса (она хотела убедить доктора в своем душевном здоровье безупречной логикой своих доводов).— Ведь в вашем распоряжении нет ни метода, ни аппарата, способного отличить здорового человека от душевнобольного. А вдруг меня заточили сюда какие-то злые люди?

— Вот видите, дорогая фрау Шрамм,— печально сказала доктор Петерс,— злые люди, которые заточили вас...

— Я знаю, доктор, это именуется манией преследования.

— Увы, да.

— Но разве преследование ни в чем не повинных людей, заточение их в тюрьму, в психиатрическую больницу, наконец, угрозы смертью — это только плод воображения? Вспомните времена нацизма, доктор. Да и сейчас нередко бывает...

— Верно, фрау Шрамм. Но ведь это и есть та почва, которая питает разного рода неврозы и психозы...

Две слезы медленно скатились по лицу Агнессы.

— Как же найти мне путь к вам, доктор? — В голосе звучало отчаяние.— Как пробиться сквозь стену из врачебных терминов и предубеждений, которой вы оградили себя от всех случайностей и невероятностей живой жизни? Лишь только вы вошли и я увидела вас — ваше лицо, ваши глаза,— я почему-то сразу решила: этот человек все поймет! Я так поверила в вас, доктор Петерс...

Доктор Петерс тоже поверила в Агнессу Шрамм, но она не достигла еще того уровня опытности, когда каждый отдельный случай существует для врача сам по себе, вне усвоенных теорий и представлений, и предъявляет к его разуму всю полноту требований.

— Но, милая фрау Шрамм, поймите же...

— Я не обязана понимать вас, доктор! — резко прервала ее Агнесса.— Это вы... вы обязаны понять меня! Неужели вы не способны допустить, что за всю вашу практику могли столкнуться хоть раз — один-единственный раз! — с исключительным случаем, требующим отказа от привычных суждений? Неужели человек, попавший в это здание, тем самым уже является для вас душевнобольным?

— Но, фрау Шрамм, мне не раз приходилось слышать все это от больных. Я встречала людей с высоким, сильным интеллектом, которые до известной границы...

— Замолчите, доктор! — яростно крикнула Агнесса. Она сознавала, что совершает, быть может, непоправимую ошибку, но не могла остановиться: ей казалось, что она ополчается сейчас, в лице доктора Петерс, против всего мирового зла.— Я еще раз спрашиваю вас: может ли ваша наука доказать, что я сумасшедшая? Если нет, вы обязаны отпустить меня! Иначе я буду считать, что вы подкуплены — да, да, подкуплены теми, кто загнал меня в эту больницу!..

— Прежде всего успокойтесь, фрау Шрамм...— с привычной интонацией, которой почему-то стыдилась сейчас, сказала доктор Петерс.— Прошу вас, успокойтесь...

— Успокоиться? Нет, я не успокоюсь, пока не буду свободна! Слышите ли, я должна получить свободу сегодня, сейчас же, мне дорога каждая минута, бессердечный вы человек! Малейшее промедление может стоить жизни моему мужу, если только он еще жив!..

Агнесса чувствовала, что все глубже увязает в какой-то дурной декламации, которая со стороны, в стенах психиатрической больницы, вполне может быть воспринята как выспренность речи, какой нередко выражает себя безумие.

— Но почему вы решили, что вашему мужу грозит опасность? Согласитесь, что, если ваш муж не прибыл из Бремена в Мюнхен, это еще не значит...

— Не прибыл в Мюнхен? Так вы заодно с н и м и?

— Дорогая фрау Шрамм, сделайте над собой усилие, постарайтесь понять меня. Ваш муж не был с вами в Мюнхене. Поймите же — не был! Я внимательно изучила препроводительный акт, составленный полицейским врачом, и могу вас уверить: вы прибыли в Мюнхен и остановились в гостинице одна... одна! Вспомните, вы же сами звонили в Бремен и ассистент вашего мужа подтвердил... Только не надо волноваться...

Агнесса почти физическим усилием воли подавила в себе новый приступ ярости, и эта победа над собой уверила ее, пусть на время, в своих силах.

— Да, я действительно звонила в Бремен и ассистент мо-

его мужа, Артур Леман, действительно сказал, что я уехала в Мюнхен одна...— Агнесса наслаждалась сейчас спокойной деловитостью своей речи.— Мне еще не ясна цель, какую преследовал Леман своей ложью, но он несомненно причастен к заговору, который затеян против Гельмута.

— Значит, и господин Леман, и господин Винкель, и полицейский врач, и даже портье...

— В этом нет ничего невероятного. Если это заговор, то он, естественно, предполагает сговор... Но почему вы так странно смотрите на меня, доктор? Впрочем, мне понятен ход вашей мысли. Ощущать себя жертвой заговора, думаете вы,— это, конечно, крайнее, классическое проявление мании преследования, и теперь уже нет сомнений, что эта Шрамм сумасшедшая... Обстоятельства в самом деле против меня, доктор. Я и сама убедилась теперь, что предъявила слишком большие требования к вашей проницательности...

— Нет, зачем же, фрау Шрамм...

— Не надо жалких слов, доктор! Я вижу, мне приходится рассчитывать только на себя. Но если вы действительно хотите помочь мне, я облегчу вам задачу. Я вспомнила сейчас один эпизод... Вам, вероятно, известно, что мы с мужем в течение первых двух дней пребывания в Мюнхене посещали Старую Пинакотеку...

— К сожалению, фрау Шрамм, но мне не известно, что вы посещали Пинакотеку с мужем.

— Ну, разумеется, я не так выразилась: вам, во всяком случае, известно, что таково мое утверждение. Не правда ли?

— Да-да, в полицейском акте...

— А что, если я докажу вам, доктор, со всей очевидностью докажу, что в среду тринадцатого июля я находилась в Старой Пинакотеке вместе с мужем — именно вместе с мужем? Поверите ли вы тогда, что я вовсе не сумасшедшая и что люди, заточившие меня сюда, заведомые негодяи?

— Но это же невозможно доказать, милая фрау Шрамм. Не лучше ли вам отказаться от такой попытки, успокоиться — возбуждение только вредит вам...

— Доктор Петерс, не отделывайтесь от меня пустыми словами. Дело идет сейчас не только обо мне.

— Я слушаю вас, фрау Шрамм,— кротко отозвалась доктор Петерс, снисходя к безумию своей пациентки.

— Это произошло на третий день после нашего приезда в Мюнхен, в среду тринадцатого июля около полудня, в одном из залов Старой Пинакотеки. Мы с Гельмутом стояли около небольшого полотна Рибейры, когда меня окликнула моя школьная подруга фрейлейн Гертруда Якобс. Мы никогда не были с ней дружны, не виделись много лет, и я с трудом узнала ее.

Все же мы обрадовались друг другу. Я представила ей Гельмута. Гертруда просила нас посетить ее — она живет с родителями в Мюнхене. Затем мы расстались, и я вскоре забыла об этой встрече...

— Адрес?

— Адрес остался у Гельмута в записной книжке. Но вам ничего не стоит отыскать отца Гертруды: по ее словам, он известный мюнхенский адвокат. Согласны ли вы сделать это для меня, доктор?

— Конечно, конечно... Не обижайтесь на меня, фрау Шрамм, но ведь фрейлейн Якобс не сможет удостоверить, что видела вас именно с вашим мужем, а не с кем-либо другим. Насколько я поняла, они не были раньше знакомы...

— Вы правы, доктор.— Агнесса взяла свою сумку и достала оттуда небольшой листок.— Вот последний портрет моего мужа, доктор,— я вырезала его из химического журнала. Видите, под ним напечатано «Гельмут-Гейнрих Шрамм, Институт химической кинетики». Вы можете предъявить этот портрет фрейлейн Якобс.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕМЕЙСТВА ЯКОБС

Семья адвоката Якобса жила на Поссартштрассе в небольшом двухэтажном каменном особняке, украшенном по краям затейливыми башенками; стрельчатые, под готику, высокие окна были до половины забраны чугунными решетками; внутрь дома вела высокая двустворчатая дверь, выложенная ярко начищенными медными пластинами. На звонок доктора Петерс тяжелая дверь приотворилась на ширину цепочки, и оттуда выглянула юная горничная с белоснежной наколкой на волосах.

— Что угодно, фрау?

— Мне надо видеть фрейлейн Гертруду Якобс.

— Прошу вас.— Дверь широко открылась, пропуская доктора Петерс в вестибюль.— Как доложить?

— Фрау Эвелина Петерс.

Горничная вскоре вернулась и предложила посетительнице следовать за собой. Пройдя через анфиладу доброго десятка богато обставленных комнат и не встретив ни живой души, доктор Петерс вслед за горничной поднялась на второй этаж. Здесь навстречу ей вышла женщина лет двадцати пяти, видимо сама Гертруда Якобс, и остановилась с вопросительным видом.

— Фрейлейн Гертруда?

— Да, это я.

— Доктор Эвелина Петерс.

Доктор Петерс быстрым, опытным взглядом оглядела школьную подругу Агнессы Шрамм: некрасивое, золотушное, густо припудренное лицо, настороженные, недобрые, узкие зеленоватые глаза, твердый, почти безгубый рот. «Старая дева,— сказала себе доктор Петерс,— вечная, с самой юной поры, старая дева!»

— У меня к вам личное дело, фрейлейн Якобс.— Она чуть приметно повела глазами на горничную.

— Пройдемте ко мне.

Гертруда распахнула одну из дверей, выходивших на площадку второго этажа, и доктор Петерс шагнула, ослепленная, в настоящий девичий рай. Это было царство белого цвета: диван, кресла и стулья в белых чехлах, отороченных белым кружевом; кровать светлого дерева, застланная белым одеялом; белый пушистый ковер на полу; стены, отделанные белыми панелями с золотыми крапинками. Вся эта белизна была к тому же освещена яркими лучами полуденного солнца, бившими сквозь широкое окно.

— Фрейлейн Якобс,— сразу приступила к делу доктор Петерс, не без трепета усевшись в непорочно-белое кресло, указанное ей хозяйкой,— знакома ли вам фрау Агнесса Шрамм из Бремена, урожденная Доберт? Она утверждает, что вы ее школьная подруга и что она встретила вас третьего дня, в среду, в Старой Пинакотеке, где находилась со своим мужем Гельмутом Шраммом...

— А кто вы, собственно, такая, фрау Петерс?—Фрейлейн Гертруда сощурила свои и без того узкие глазки.— На каком основании задаете вы мне вопросы? Что вам от меня нужно?

— Видите ли, в интересах вашей подруги...

— В интересах моей подруги? Но я еще не сказала вам, знакома ли мне эта... как ее?

— Шрамм, фрау Агнесса Шрамм.

— Эта Шрамм. Почему же вы решили, что она моя подруга?

— В таком случае разрешите повторить вопрос: знакома ли вам фрау Агнесса Шрамм из Бремена, урожденная Доберт?

— Все это очень странно... И самый ваш приход, и эти расспросы... Быть может, эта Шрамм натворила что-нибудь?

— Нет, уважаемая фрейлейн Якобс,— гневно сказала доктор Петерс,— фрау Шрамм ничего не натворила. Я врач городской психиатрической больницы, куда вчера была доставлена Агнесса Шрамм. И вот я хотела удостовериться, насколько помрачен ее рассудок, соответствуют ли действительности некоторые ее утверждения. Это и привело меня к вам. Но если

вы не желаете...— Эвелина поднялась.— Если вы не желаете отвечать...

— Нет уж! — воскликнула фрейлейн Якобс и тоже встала с кресла.—Потрудитесь обождать: я позову сейчас моего брата — в этом деле надо разобраться!..

Фрейлейн Якобс быстро вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь и заперла ее.

Доктор Петерс растерянно огляделась. Другого выхода из комнаты не было, ей оставалось только ждать. Вот уж действительно странное приключение! И какая же неприятная эта Якобс: что-то нацистское есть в ее повадках... Конечно же, она знакома с Агнессой Шрамм и виделась с ней в Пинакотеке, это чувствуется в каждом ее слове. Нет-нет, Агнессе не померещилась встреча с Гертрудой Якобс! Но была ли она тогда в Пинакотеке со своим мужем Гельмутом Шраммом? Вот что следует выяснить во что бы то ни стало...

Эвелина так углубилась в свои мысли, что не сразу заметила, как в комнату вернулась Гертруда Якобс в сопровождении рослого, атлетически сложенного человека лет тридцати, одетого в домашний костюм. Лицом он походил на Гертруду: то же недоброе, брюзгливо-надменное выражение, твердый, безгубый рот, нечистая, как бы золотушная кожа.

— Вот, Альберт, это она! — заговорила Гертруда, чуть не пальцем указывая на сидящую в кресле Эвелину.— Пристает, выспрашивает...

— Разрешите представиться,— важно произнес вошедший и пристукнул домашними туфлями.— Альберт-Иоахим Якобс! Что вам угодно от моей сестры?

Доктор Петерс спокойно изложила цель своего прихода.

— Так, так...— протянул Альберт Якобс.— А почему эту Шрамм направила к вам именно полиция, полицейский врач? Она в чем-нибудь замечена? Красная? Коммунистка?

— Фрау Шрамм прибыла в Мюнхен из Бремена, где проживает со своим мужем Гельмутом Шраммом, молодым ученым-химиком. Она остановилась в гостинице «Старая Бавария», и там у нее были обнаружены некоторые признаки психического расстройства. Естественно, что администрация вызвала к ней полицейского врача, который и направил ее в нашу больницу. Вот и все, что мне известно.

— Все, что вам известно...— с подчеркнутым недоверием повторил Альберт Якобс, усаживаясь в кресло напротив Эвелины.— По-вашему выходит, что эта Шрамм обыкновенная сумасшедшая. Почему же вы проявляете к ней такой интерес, тревожите ради нее незнакомых людей, требуете от них ответа на какие-то вопросы? Мало того: выдумываете, будто она приехала в Мюнхен вместе с мужем, когда твердо установле-

но, что она приехала одна! Не находите ли вы, что это, по меньшей мере, странно и наводит на некоторые размышления?

— Я не понимаю, что вы имеете в виду, господин Якобс.

— Ах не понимаете? А я вот только что узнал по телефону, что одно весьма осведомленное учреждение считает мужа вашей сумасшедшей, Гельмута Шрамма, подозрительным субъектом, связанным с восточными коммунистами. Что вы на это скажете? Оказывается, родители его тоже были красными и в свое время понесли заслуженное наказание в Маутхаузене. Мало того: имеются сведения, что Гельмут Шрамм бежал на днях на Восток, к своему возлюбленному Ульбрихту. Как видите, доктор Петерс,— Альберт Якобс нагло усмехнулся,— ваш визит к нам пахнет довольно скверно. Вы что, заметаете следы за этой коммунистической парой?

— О, неужели муж фрау Агнессы действительно бежал в Восточную Германию? — с притворным волнением воскликнула доктор Петерс.— Боюсь, что в этом случае она окончательно лишится рассудка... Вы уверены в правильности ваших сведений, господин Якобс? А может быть, Шрамм исчез уже по приезде в Мюнхен, из гостиницы «Старая Бавария», когда жена его находилась в Пинакотеке? Есть еще и такая версия: будто он вылетел из Бремена в Мюнхен на самолете...

— Да что вы меня допрашиваете, черт подери! Сначала сестру, теперь меня! Сказано — удрал в русскую зону!

— Дорогой господин Якобс,— проникновенным голосом заговорила Эвелина,— вы, право же, ошибаетесь, приписывая мне такое намерение. У меня лишь одна цель — помочь этой несчастной, брошенной мужем в чужом городе, среди чужих людей. Я убеждена, что вы не можете желать зла одинокой, покинутой женщине, к тому же лишенной рассудка...

— Не верь ей, Альберт,— запальчиво крикнула фрейлейн Гертруда,— она все врет!

— Помолчи, Трудхен! — строго сказал Альберт Якобс, явно польщенный словами доктора Петерс.— Разумеется, я не желаю зла этой Шрамм, но и не хочу, чтобы наша семья была замешана в такое грязное дело.— Он встал с кресла.— Я считаю наш разговор оконченным, доктор Петерс.

Очутившись на улице, Эвелина радостно улыбнулась: она не рассчитывала так легко отделаться от этих людей. Они пробудили в ней старые, двадцатилетней давности, воспоминания, и ей стали уже мерещиться призраки Принцальбрехтштрассе[1], бродившие некогда по ее родному Берлину: допросы под пыт-

[1] На Принцальбрехтштрассе в Берлине помещалось Главное управление гестапо — фашистской государственной тайной полиции.

кой, истошные крики, прерываемые резкими, лающими голосами. И еще: у нее сложилось впечатление, почти уверенность, что в деле Агнессы Шрамм есть что-то темное, возможно преступное...

В ЗАМКЕ ОСТЕРМАРК

В то самое время как Альберт-Иоахим Якобс уверял Эвелину Петерс, что муж Агнессы Шрамм бежал в Восточную Германию, Гельмут Шрамм находился в шестидесяти километрах от Мюнхена, среди лесистых Баварских Альп, в родовом замке баронов Остермарк.

Все произошло просто и быстро: то ли заговорщики были лишены воображения, то ли считали наилучшим традиционный, многократно испытанный способ действия. Гельмут крепко спал в своем номере гостиницы «Старая Бавария», когда в дверь громко постучали. Он не услышал стука и проснулся оттого, что кто-то сильно тряс его за плечо.

— Несчастье, господин Шрамм, вставайте! Ваша жена попала под автомашину! Она тяжело ранена, ее отвезли в больницу! Фрау Агнесса выразила желание немедленно видеть вас! Вставайте же!

— Что? Что? Агнесса?

Гельмут отчетливо осознал лишь одно: с Агнессой случилось несчастье.

— Придите же в себя, вставайте! — настойчиво твердил незнакомец, бесцеремонно тормоша Гельмута.— Фрау Шрамм доставлена в больницу в очень тяжелом состоянии, нельзя медлить ни минуты! Торопитесь!

С помощью второго незнакомца — Гельмут поначалу не заметил его — первый поднял его с постели, затем они быстро одели его, свели с лестницы и усадили в поджидавшую у подъезда машину. Гельмут не только не сопротивлялся, но всячески способствовал их усилиям...

— А ну понюхайте вот это: сразу придете в себя! — уже в машине сказал первый незнакомец (второй сидел за рулем) и поднес к лицу Гельмута открытую коробочку с белым порошком.

Гельмут глубоко вздохнул и почти мгновенно погрузился в беспросветную тьму, откуда вынырнул — через час, через день, через месяц? — в небольшом квадратном помещении с каменными стенами, лишенном окна и лишь слабо освещенном электрической лампочкой, торчавшей посреди высокого сводчатого потолка.

Гельмут никак не мог связать это странное настоящее со своим прошлым. Да и само прошлое было окутано сейчас как

бы завесой тумана, сквозь которую смутно проступали очертания его былой жизни. Агнесса!.. Вот единственная реальность, какую сохранила и донесла до сознания его неустойчивая и, странно, зыбкая память. С ней было связано для Гельмута что-то мучительно-горестное и страшное. Что же именно? И тут какая-то сила, призванная охранять от губительного поражения драгоценнейшее создание природы—человеческий мозг, вдруг выключила сознание Гельмута, и он впал в глубокий сон. А когда проснулся, ощутил себя прежним Гельмутом. Прошлое накрепко связалось с настоящим, память восстановила все утраченные связи. Ясно, что все это время — сколько длилось оно? — его мозг был отравлен каким-то ядом, действие которого прекратилось только сейчас. Агнесса!.. Что же случилось с Агнессой? Да-да, какой-то человек — Гельмуту отчетливо вспомнился его внешний облик — сказал ему, что Агнесса будто бы попала под автомашину и ее в тяжелом состоянии увезли в больницу...

Но как же сам он, Гельмут, очутился здесь, в этой каменной дыре, на раскладной кровати из гнутых алюминиевых труб? Одежда на нем была прежняя, только сильно помятая, но ботинок не было, одни носки. Гельмут огляделся: не было их и на полу. Так-так, традиционный способ затруднить узнику побег... Он поднялся с кровати — ноги крепко держат его, голова не кружится! — и подошел к двери. Массивная, старинного дуба дверь как бы впаяна в такую же крепкую раму: ни единой щелочки. Гельмут всем телом налег на дверь — она даже не поколебалась. Итак, никаких сомнений: он в заключении. Но где же именно? Здание несомненно старинное, замковой стройки. Во всяком случае, тут не тюрьма: это странное помещение ничем не походило на тюремную камеру...

Однако прежде всего надо восстановить цепь событий, которые привели его сюда. Утром тринадцатого июля — это была среда — он, Гельмут, почувствовал себя разбитым: головокружение, сонливость — и убедил Агнессу пойти в Пинакотеку без него. Видимо, в его кофе подсыпали какое-то ядовитое снадобье: он отлично помнит, что проснулся здоровым и бодрым. Как только Агнесса ушла, он снова лег — его неудержимо клонило ко сну. Через какое-то время его разбудил незнакомый человек — потом оказалось, что их было двое,— и объявил, что с Агнессой случилась беда и ему, Гельмуту, надо немедленно ехать к ней в больницу. Теперь-то ясно, что это была ложь,— просто им надо было выманить его из гостиницы. Потом, с помощью незнакомцев, он сошел с лестницы, уселся в машину, вдохнул порошок — и дальше пропасть! Вот и все. Потом этот последний, заключительный

кадр: каменный мешок, в который его сунули, когда он находился без сознания...

А что, если бы Агнесса отказалась тогда пойти одна в Пинакотеку, не захотела бы покинуть его, Гельмута? Что ж, они придумали бы какой-нибудь иной способ выманить ее на час-другой из дому... Но кто же автор этого детективного спектакля? Кому и с какой целью понадобилось похитить его, Гельмута Шрамма, и упрятать в эту дыру? Впрочем, сегодняшняя Германия буквально кишит тайными и явными организациями бывших нацистов и эсэсовцев, хроника происшествий полна загадочных исчезновений, таинственных убийств и самоубийств. Уж нет ли какой связи между этим странным приключением и враждебной нацизму деятельностью его родителей, погибших в Маутхаузене? Уж не мстят ли ему эсэсовские террористы за то, что его родители, не щадя жизни, боролись против тысячелетнего рейха? Впрочем, едва ли — через двадцать лет...

Так или иначе, но дело обстоит скверно. Конечно, и Агнесса, если только она свободна, и Артур тотчас же предпримут все, чтобы отыскать его, Гельмута, след. Правда, это не так просто: ведь бывшие нацисты командуют и в полиции и в разведке у Гелена [1], да и повсюду есть у них своя рука...

За дверью послышался металлический звук — похоже, звякнул тяжелый засов,— дверь чуть поддалась, двинулась внутрь каморки, и в узкую щель просунулась голова. Морщинистое, острое птичье лицо. Глаза с тревожным, пристальным вниманием оглядели комнату и остановились, застыли на Гельмуте.

— Я принес вам обед,— сказал старик и медленно, настороженно втиснулся в комнату и прикрыл за собой дверь. В левой руке он держал судок — три кастрюльки, зажатые в обруче.

— Моя фамилия Шрамм, Гельмут Шрамм, химик из Бремена,—подчеркнуто сказал Гельмут.— Запомните это, почтеннейший, и передайте на волю. Меня заточили сюда насильно, и, если со мной случится здесь что-либо дурное, вы ответите за это перед законом наравне с другими. Вы поняли меня?

— Вот ваш обед.— Человек повернулся и, скосив взгляд, чтобы не терять узника из виду, шагнул к двери.

Гельмут вскочил, легко оттолкнул его, открыл дверь и бросился вперед. Три-четыре метра по узкому коридорчику — и он очутился перед другой дверью, сплошь обитой жестью, с крохотным круглым глазком посредине.

---

[1] Генерал Гелен — глава Федеральной разведывательной службы, иначе именуемой «Ведомство генерала Гелена».

— Куда? — раздался из-за двери густой, грубый голос.— А ну назад!

Так... Все ясно. Эта короткая разведка подтвердила худшие опасения Гельмута.

— Слушайте, вы, за дверью! Моя фамилия Шрамм, Гельмут Шрамм, химик из Бремена! — громко прокричал Гельмут (его вовсе не прельщала судьба современной «железной маски»).— Передайте это на волю и знайте: за насилие надо мной вы ответите перед законом наравне с вашими хозяевами!..

— Сказано — назад! И отпусти старика!

Пререкаться с неведомым стражем, стоявшим за дверью, не имело смысла, и Гельмут вернулся в свою каменную каморку. Пока он отсутствовал, старый слуга не терял времени даром. Судок с обедом был разобран и кастрюльки с едой аккуратно расставлены на табуретке: суп, жаркое, компот. При виде Гельмута старик укоризненно покачал головой, как если бы тот повинен был в нарушении этикета: в опоздании к обеду.

— Вот ваш обед,— повторил он спокойно и удалился, заложив засовом дубовую дверь.

— Что ж,— вполголоса сказал Гельмут,— будем жить, пока живы!

И он с аппетитом принялся за вкусно приготовленный обед.

ВРАЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ

— Здравствуйте, коллега Шмиц,— сказала Эвелина Петерс, входя в кабинет полицейского врача.— Я — доктор Петерс из городской психиатрической. На моем попечении находится известная вам фрау Агнесса Шрамм...

Пожилой жирный человек неопрятного вида тяжело поднялся из-за стола. Черные, явно крашенные усы, лихо закрученные кверху, придавали его чертам странную вульгарную игривость.

— Да? — сказал он выжидательно.— Что вам угодно?

— О, всего только совета,— любезно отозвалась фрау Петерс.—Надеюсь, вы не откажете мне в этом, коллега Шмиц?

— Что вам угодно? — грубовато повторил полицейский врач; ему явно не понравилось светское щебетание фрау Петерс.

— Что мне угодно? — мило улыбнулась Эвелина.— Мне угодно, уважаемый коллега Шмиц, узнать ваше мнение о нашей общей пациентке фрау Агнессе Шрамм. Я лично — да-да, лично, а не только в качестве врача!—заинтересована в ее судь-

бе. Это — чудесное, обаятельное существо, и страх перед врачебной ошибкой...

— Не пойму я, что вам от меня надо, фрау... фрау...

— Петерс, Эвелина Петерс.

— ...фрау Петерс. Если дело идет об этой сумасшедшей Шрамм, то вы получили мое заключение: мания преследования, галлюцинаторный бред, больная представляет известную опасность для окружающих. Родных у нее в Мюнхене нет, и моей обязанностью как полицейского врача было отправить ее к вам, что я и сделал. И больше мне нет никакого дела ни до нее, ни, простите, до вас...

— Ну зачем же так резко, коллега?! — с кокетливым упреком сказала фрау Петерс.— А вдруг эта бедная Агнесса Шрамм стала жертвой каких-нибудь нехороших людей и нас с вами решили использовать, чтобы погубить ее? — Она склонилась к столу и тихо, доверительно добавила: — Скажу вам по секрету, коллега Шмиц: я подозреваю, что фрау Агнесса Шрамм вполне нормальный, душевно здоровый человек. Это и привело меня к вам: прежде чем выписать ее из больницы, я решила посоветоваться с вами...

Эвелина точно попала в цель: слова ее повергли полицейского врача в злобное смятение, он тяжело задышал, его пальцы безотчетно сжались в кулаки.

— Выпустить из больницы эту... эту сумасшедшую? Да кто дал вам право, раз я... я... полиция...

— Ну вот видите, коллега Шмиц, как хорошо, что я пришла к вам за советом! Я очень высоко ценю вашу опытность, ваш авторитет... Я же, в сущности, молодой врач — неполных восемь лет практики...

Полицейский врач, польщенный словами фрау Петерс, явно сменил гнев на милость и едва ли не впервые обратил внимание на внешность своей посетительницы. Ого, да она прехорошенькая, и притом, кажется, круглая дура. Отличное сочетание!

— А все же признайтесь, фрау Петерс: вы усомнились в моем диагнозе? А? — Доктор Шмиц игриво ухмыльнулся.— Напутал малость наш высокоавторитетный, многоопытный коллега Шмиц! Так вот же вам — не напутал! — И он оглушительно захохотал, обнажив оскал крупных неровных желтых зубов.

— Право же, коллега, вы не поняли меня,— будто в смущении возразила Эвелина.— Это такой сложный случай... Представьте себе, что должна была чувствовать эта молодая женщина, когда по возвращении обнаружила, что ее муж, которого она оставила больным, бесследно исчез из гостиницы. При этом окружающие согласно уверяли ее, что его вовсе и

не было в гостинице, что она приехала в Мюнхен одна и поселилась будто бы в пятнадцатом, а не в семнадцатом номере, хотя она твердо помнила, что в семнадцатом. Создается впечатление, что ее просто решили свести с ума, сорвать ей нервную систему...

— Не болтайте чепухи! — Полицейский врач стукнул ладонью по столу.— О том, что она приехала одна, а не с мужем, свидетельствует и администрация гостиницы, и ассистент Гельмута Шрамма, которому эта сумасшедшая звонила в Бремен по телефону! Но мало того: сейчас стало известно, что этот Шрамм, пока жена его прохлаждалась в Мюнхене, удрал в русскую зону!

— Нет, коллега Шмиц,— твердо и внушительно сказала фрау Петерс, пристально глядя в мутные глаза полицейского врача,— вас явно ввели в заблуждение. Супруги Шрамм вместе прибыли из Бремена, вместе поселились в семнадцатом номере гостиницы «Старая Бавария» и вместе посещали по утрам Старую Пинакотеку. А четырнадцатого утром Гельмут Шрамм исчез из семнадцатого номера гостиницы — именно из семнадцатого, а не из пятнадцатого,— в то самое время, когда жена его находилась в Пинакотеке...

— Что? Что такое? — Полицейский врач был так ошеломлен, как если бы на месте молодой привлекательной женщины, только что сидевшей напротив него, оказался вдруг сам сатана.— Что вы такое болтаете? Откуда, позвольте спросить, взяли вы эту идиотскую сплетню? Уж не со слов ли этой сумасшедшей? Послушать вас, так все сговорились врать: и почтенный господин Герман Винкель, второй месяц проживающий в семнадцатом номере, и портье, и горничные, и даже бременский ученый, господин Артур Леман! Выходит, что одна эта сумасшедшая вещает истину!..

— Поймите же, господин Шмиц,— голос фрау Петерс звучал сейчас холодно и строго,— что эти люди, отрицая и оспаривая все правдивые утверждения Агнессы Шрамм, пытались создать впечатление, что она душевнобольная... И отправили ее в больницу...

— Надо же такое придумать! Да вы, я вижу, сами сумасшедшая!

— Не в большей мере, чем фрау Агнесса Шрамм... Так вот, господин Шмиц, я берусь доказать, что Гельмут Шрамм с одиннадцатого по четырнадцатое июля проживал в Мюнхене со своей женой Агнессой в гостинице «Старая Бавария». У меня есть свидетели, которые видели их вместе и готовы дать необходимые показания. Это уважаемые граждане нашего города, и в истинности их показаний никто не посмеет усомниться...

Это был рискованный шаг: едва ли фрау Петерс могла рассчитывать на показания Гертруды Якобс.

— Ах вот оно что! — Полицейский врач навалился грудью на край стола и угрожающе подался к фрау Петерс: — Кто же они, ваши свидетели?

— Но, коллега Шмиц,— фрау Петерс укоризненно покачала головой,— вы же врач, целитель человеческих страданий, а эти вопросы относятся к ведению прокуратуры!

Полицейский врач в нерешительности забарабанил пальцем по столу.

— Послушайте-ка вы...

И тут фрау Петерс увидела одно из тех лиц, в которые с мучительным, страстным интересом всматривалась на судебных процессах заправил гитлеровских концлагерей и гестапо, пытаясь найти разгадку непонятной ей адской жестокости этих людей.

— Послушайте-ка вы, Петерс, что я вам скажу. Бросьте это дело... Если вам дорога ваша жизнь — бросьте! Поняли?

— О да, я все поняла, господин Шмиц. Я затем и явилась сюда, чтобы понять вас. Как видите, мне это вполне удалось.— Фрау Петерс поднялась.— Постарайтесь понять и вы: на свете есть вещи, которые для меня дороже, чем моя жизнь.

СОЮЗ ДВУХ ЖЕНЩИН

Едва только фрау Петерс закрыла за собой дверь кабинета и ступила в коридор, как услышала за собой чей-то тихий, как шелест, голос:

— Фрау доктор Петерс?

Она оглянулась. Следом за ней шел невзрачный, низкорослый человечек со странной улыбкой на худом, узком лице: серая канцелярская мышь.

— Доктор Эвелина Петерс? Не правда ли? Доктор Петерс?

— Что вам угодно?

— Вы доктор Петерс? Не так ли?

— Да, я доктор Петерс. Что из этого следует?

— О, ничего, ничего! Просто начальник просит вас зайти к нему! Очень, очень просит!

— Начальник просит? — Фрау Петерс насторожилась.— Зачем же я понадобилась вашему начальнику? И кто он — ваш начальник?

— О, сам начальник полицей-президиума! Господин Эрнст фон Штриппель! Он приказал мне: лишь только фрау Петерс закончит разговор с доктором Шмицем, пусть зайдет в мой ка-

бинет, пусть обязательно зайдет — это в ее собственных интересах!

— Откуда же ваш начальник знал, что я нахожусь здесь?

— Но, фрау Петерс!..— Человечек с укором всплеснул руками.— Это же полицей-президиум, а не балетная школа!

Эвелина с удивлением взглянула на маленького человечка, и он показался ей вдруг совсем иным: не серой канцелярской мышью, а добрым, разумным троллем из народной сказки; на его худом лице горели большие черные насмешливо-умные глаза.

— Да, конечно, вы правы. И все же я не пойду к вашему начальнику, уважаемый господин...

— Герман Ангст! Господин Герман Ангст,— человечек с шутливой гордостью выпрямил свое хилое тельце,— личный секретарь господина фон Штриппеля! Я вам очень советую пойти, доктор, очень! Ну хотя бы ради меня...

— Нет, господин Ангст. Если я нужна вашему начальнику, он должен прислать мне официальный вызов. Только в этом случае...

— О, за этим дело не станет!..

Человечек извлек из кармана конверт и, чуть поднявшись на носках, протянул его фрау Петерс. В конверте лежал вызов в полицию: именно на сегодня, именно на данный час.

Фрау Петерс в задумчивости остановилась. Дело, которое она взяла на себя, все более осложняется. Странно враждебное поведение Якобсов, явная заинтересованность полицейского врача в мнимом безумии Агнессы Шрамм, а теперь еще этот вызов... Раз фон Штриппель успел узнать о ее визите к доктору Шмицу, он осведомлен, видимо, и о содержании их разговора...

— Что же, господин Ангст, ведите меня к вашему начальнику.

— Вот и хорошо!—обрадовался человечек и печально добавил: — А то я получил строгие инструкции... Очевидно, вы очень нужны начальнику, фрау доктор... Вот кабинет начальника, я сейчас доложу о вас...— И, снова подтянувшись на носках, он шепнул в плечо фрау Петерс: — Будьте начеку!

Не прошло и минуты, как фрау Петерс вошла в кабинет фон Штриппеля. Очень большая, очень светлая и очень пустая комната. Посреди комнаты, отражаясь, как в тихой воде, в зеркально-начищенном паркете, стоял громадный стол красного дерева. Из-за стола, звякнув шпорами, поднялся рослый, крупный, монументальный человек в полицейской форме — истинный оплот государства, с гладким, голым черепом, белым, холеным лицом и выкаченными водянисто-голубыми глазами.

— Прошу! — Он указал Эвелине на кресло, стоявшее по ту сторону стола.— Фрау доктор Петерс?

— Да, это я.

— Вас, верно, интересует, что побудило меня пригласить вас?..

— Вот именно.

— Как вам сказать? — Он помолчал, словно в раздумье.— Собственно говоря, мы, полиция, не имеем к вам никаких претензий. Все, что нам известно о вас, говорит в вашу пользу. Вы почтенная мать семейства, супруга уважаемого гражданина нашего города, господина архитектора Карла Петерса, лояльная гражданка нашего дорогого отечества, целитель больных человеческих душ... Да-да, больных человеческих душ...— повторил он бессмысленно и вдруг грозно выкатил на фрау Петерс свои водянисто-голубые глаза.— Что? Что скажете? — вскричал он неожиданно, как человек, потревоженный среди глубокого сна.

Фрау Петерс улыбнулась ясной, веселой и в то же время снисходительной улыбкой.

— Господин фон Штриппель, хотя я врач-психиатр, но несколько разбираюсь и в нормальной человеческой психологии. Неужели вы серьезно рассчитываете запугать или сбить меня с толку таким примитивным способом? Раз уж пытки теперь под запретом, следовало заменить их чем-нибудь более действенным: ну, душевными пытками, что ли... Скажите прямо, что вам от меня нужно, зачем вы вызвали меня?

— Пытки...— горько произнес фон Штриппель.— Вы хотите оскорбить меня, но поверьте, я не заслуживаю этого, фрау Петерс. Я отлично отдаю себе отчет, в какое время мы живем...— Он нажал кнопку на столе и откинулся на спинку кресла.

Дверь почти тотчас отворилась, и на пороге показался маленький Ангст.

— Папку триста сорок два!

— Извольте! — Человечек быстрыми, мелкими шажками пересек комнату и положил на стол папку.— Номер триста сорок два!

— Вы догадливы, как всегда, мой дорогой Ангст... Можете идти!

Как только за Ангстом закрылась дверь, фон Штриппель положил на папку широкую ладонь и многозначительно произнес:

— Вот зачем я пригласил вас, многоуважаемая фрау Петерс.

— Да что вы? Неужели из-за этой тоненькой папки?

— Вот именно, фрау Петерс,— фон Штриппель явно начи-

нал злиться,— из-за этой тоненькой папки. Я вижу, вы и в самом деле не дорожите вашей жизнью!

— Нет, не дорожу. Ваш подслушивающий аппарат правильно информировал вас. Я утверждаю, что Агнесса Шрамм— душевно здоровый человек, что ее муж, Гельмут Шрамм, приехал в Мюнхен вместе с ней и исчез из гостиницы при очень подозрительных обстоятельствах. И вот это я постараюсь доказать вам. Вы очень скоро убедитесь, господин фон Штриппель, что мы сейчас действительно живем не в нацистские времена...

— Но, фрау Петерс, поверьте мне, в этом деле нет ничего темного! — Фон Штриппель был явно смущен.— Мы вовсе не отрицаем, что Гельмут Шрамм прибыл в Мюнхен вместе с женой, но затем он скрылся в русскую зону, и притом не с пустыми руками!

— Зачем же было Гельмуту Шрамму приезжать с женой из Бремена в Мюнхен, если у него было такое намерение? Ведь отсюда до границ Восточной Германии...

— Не наивничайте, пожалуйста, фрау доктор! — грубо прервал ее фон Штриппель.— Вам отлично известно о военных заводах под Мюнхеном... Словом, перед своим бегством этот тип рыскал по окрестностям Мюнхена, где имеется немало секретных объектов...

— За несколько дней пребывания в Мюнхене? Это, вероятно, не так просто, господин Штриппель.

— Такому пройдохе, как этот Шрамм, и нескольких дней достаточно. Да-да, представьте, более чем хватит!

— Вам, конечно, виднее... Значит, Гельмут Шрамм прибыл в Мюнхен одновременно с женой и остановился в гостинице «Старая Бавария»?

— Надо думать, что так... В Мюнхене есть достойные доверия люди, которые видели их вместе.

Эвелина мысленно похвалила себя за то, что внушила эту мысль доктору Шмицу. Следовательно, существующая версия, будто пребывание Гельмута Шрамма в Мюнхене — плод больного воображения Агнессы Шрамм, недействительна?

— Мы не создаем версий, фрау Петерс,— с достоинством сказал фон Штриппель.— Мы основываемся единственно на фактах и руководствуемся единственно правдой. И тем не менее эта женщина душевнобольная. Доктор Шмиц, опытнейший врач, самым решительным образом утверждает, что бегство мужа окончательно надломило ее психику.— Фон Штриппель поднялся из-за стола.— Я пригласил вас, фрау Петерс, затем, чтобы дать вам добрый совет: не к лицу вам брать под защиту изменника и шпиона, сбежавшего с секретными сведениями в русскую зону! У вас двое сыновей, муж, занимаю-

щий видное общественное положение. Наконец, это и небезопасно для вас...

— Я уже сказала вам, что ничего не боюсь.

— В таком случае, пеняйте на себя! — И фон Штриппель указал Эвелине на дверь.

Не успела фрау Петерс покинуть здание полицей-президиума, как сказала себе: ей не следовало так открыто объявлять войну полиции. Но теперь, по крайней мере, она твердо убедилась в душевном здоровье своей пациентки и в реальном существовании преступного заговора против супругов Шрамм. Да-да, именно заговора! Видимо, исчезновение Гельмута Шрамма и заключение Агнессы Шрамм в психиатрическую больницу — дело рук какой-то одной тайной организации...

— Дорогая фрау Шрамм, простите меня, что я усомнилась в вашем душевном здоровье! — таковы были первые слова, с какими Эвелина обратилась к Агнессе, когда вошла в ее палату и закрыла за собой дверь.— Теперь я убедилась, что все ваши утверждения — правда. Выслушайте меня внимательно: нам надо решить, что делать дальше...

И доктор Петерс подробно рассказала о своем посещении Якобсов и полицейского управления.

— Видимо, эти Якобсы очень дурные люди,— заметила Агнесса.— Гельмут говорил мне, что старый Якобс бывший нацистский судья в Бремене. Но я думала все же, что Гертруда не откажется подтвердить, что видела меня с Гельмутом в Пинакотеке... Впрочем, в этом уже нет нужды благодаря вам, дорогая доктор Петерс!..

— Вы можете и в дальнейшем рассчитывать на меня, фрау Шрамм.

— Нет, доктор, я не могу принять вашей помощи! Вы же убедились теперь: эти люди способны на все.

— Это дело моей совести,— твердо сказала Эвелина.

— Благодарю вас, доктор.— Агнесса поцеловала ее в щеку.— Зови меня просто Агнессой.

— А ты меня — Эвелиной! И расскажи мне все о себе...

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

У Эвелины Петерс был двоюродный брат, ее сверстник, товарищ ее детства и отрочества, с которым она разошлась с тех самых пор, когда он пятнадцати лет, за год до крушения тысячелетнего рейха, вступил в гитлерюгенд и стал больше походить на злого волчонка, чем на того милого и застенчивого подростка, каким она его знала. Шли годы. Гитлеровский рейх превратился в прах и пепел, а Бруно Липгарт из волчонка вы-

рос в матерого волка и целью своей жизни поставил верность идеалам нацизма. До Эвелины порой доходили слухи о его темной деятельности на поприще неонацизма, о его связях с эсэсовскими и другими тайными нацистскими объединениями и союзами, которых так много в Федеративной Германии.

И вот теперь, спустя двадцать лет после того, как они расстались, Эвелина Петерс решила повидать Бруно Липгарта. Ей было известно, что он работает на одном из заводов Сименса и пользуется покровительством своих хозяев, разделяющих его политические взгляды. Узнав домашний адрес Бруно, Эвелина на другой день после посещения полицей-президиума отправилась к нему в гости. Вот наконец улица, где проживает бывший товарищ ее детских игр, а ныне представитель самой ненавистной ей ветви человеческого древа. Нарядный десятиэтажный дом из красного гранита, выстроенный после войны; цельные зеркальные окна отражают печально-багряный свет заходящего солнца; за высокой узорной чугунной решеткой палисада среди аккуратно подстриженного газона горят ядовито-яркие цветы...

Дверь Эвелине открыл высокий костлявый человек с небольшой головой, сжатой в висках.

— Бог мой, Эвелина!—воскликнул он неожиданно живым, взволнованным голосом.— Вот уж кого не ждал! Какой счастливый ветер прибил тебя к моему пустынному берегу? Заходи, заходи, дорогая кузина! Да ты ничуть не изменилась, все такая же красавица! Да нет, ты стала в тысячу раз лучше!

— Здравствуй, Бруно.

Он пытался было обнять ее, но Эвелина протянула ему руку и как бы отстранила от себя.

Странное дело, при всей своей антипатии к Бруно она ощутила глубокую печаль при виде того, что сделали с ним время и жизнь,— она помнила его совсем другим.

— Вот мы и свиделись, Бруно.— В ее голосе, помимо воли, прозвучали горечь и отчуждение.— Через столько лет... и каких лет!— И она добросовестно добавила: — Не скрою, я пришла к тебе по делу...

— Что ж, по делу так по делу,— уже холоднее отозвался Липгарт.— Буду рад, если смогу хоть чем-нибудь помочь тебе, Эвелина. Известно, старая дружба не ржавеет...— И он с напряженной шутливостью распахнул дверь в одну из комнат:— Прошу вас, доктор Петерс!

Эвелина вошла в кабинет хозяина, и они уселись в глубокие кожаные кресла, стоящие по краям рабочего стола.

— Как все это странно...— лирически начал Липгарт.— Давно ли мы были детьми, а теперь ты зрелая женщина, врач, мать двоих сыновей,— как видишь, я слежу за твоей судьбой!

Да и сам я инженер с десятилетним стажем, правда холостяк... А знаешь, Эвелина, ведь это ты отчасти виновница того, что я до сих пор не женат... Да-да, я искал женщину, которая напомнила бы мне тебя, а таких, надо сказать, не так-то просто найти... О, да ты, я вижу, еще не разучилась краснеть, милая Эвелина,— браво, браво!.. Ну, а как ты находишь меня— сильно я изменился?

— Да, Бруно, ты стал какой-то совсем другой...

— Что — постарел? Выгляжу старше своих лет? Это я и сам знаю. Дела, заботы — я же главный инженер мюнхенского филиала завода. Да и присмотреть за мной некому. Известно, холостяки старятся раньше женатых...

— Но у тебя, я слыхала, и помимо завода много всяких дел? Политика, не так ли?

— Да? Ты слыхала? — Липгарт оживился.— Что же ты слыхала? Что говорят обо мне?

— Говорят, ты связан с бывшими нацистами, СС... Какие-то тайные общества... Что вы стремитесь вернуть... ну, то, что было при Гитлере... нацизм... фашизм...

— Дураки говорят так! — злобно фыркнул Липгарт.— За кого они нас принимают? Что мы — идиоты? Фашизм — неудавшийся опыт! Это коммунисты продолжают называть нас фашистами, потому что мы их враги! Ты-то хоть понимаешь, Эвелина, какие высокие цели мы ставим перед собой?

— Я не интересуюсь политикой, Бруно,— я домашний, семейный человек. Ты же знаешь, политика стоила жизни моему любимому брату Курту — он погиб в Дахау...

— Курт сам был виноват в своей гибели! В годы, когда решалась судьба немецкого отечества, он пошел против самого... самого святого... — Липгарт вскочил с кресла и заходил по комнате из угла в угол, бурно жестикулируя.— Но это — прошлое, а сейчас я хочу, чтобы ты знала, Эвелина, за что борется твой кузен. О нас болтают всякую чепуху... Вероятно, обо мне тоже. Знай же, дорогая, мы объединяем людей с сильным характером, верящих в достоинство индивидуума, а не в достоинство безликой массы народа! Мы европеисты! Мы считаем, что Европа—да-да, Европа, а не только Германия!—нуждается в сильных руководителях. Она должна быть пересоздана на основе абсолютного антикоммунизма. Мы должны вооружиться, мы должны иметь возможность вести переговоры с Востоком, держа палец на спусковом крючке. Только в этом случае...

— Но, дорогой Бруно,— взмолилась Эвелина,— я пришла к тебе вовсе не для того...

— Но пойми же, Эвелина, ты растишь двух сыновей! — воскликнул Липгарт.— Они должны заниматься мужествен-

ными видами спорта! Мы верим в мускульную силу: она необходима для нервного равновесия. Нужно, чтобы человек был всегда готов вступить в бой с другим человеком...

— Нет, Бруно,— сердито перебила его Эвелина,— мои сыновья никогда не будут драчунами!

Ее голос подействовал на Липгарта отрезвляюще.

— Я и в самом деле несколько увлекся,— произнес он с вымученной улыбкой.— Так чем же я могу помочь тебе, дорогая кузина? — Он бессильно опустился в кресло.— Все, что в моих возможностях...

— Ты слыхал что-нибудь о таком человеке: Гельмут Шрамм из Бремена, химик?

— Гельмут Шрамм? — Липгарт наморщил свой узкий лоб.— А кем он приходится тебе, этот Шрамм?

— Мне?..— Эвелина пожала плечами.— Никем, я даже не знакома с ним. Это муж моей подруги.

— Муж твоей подруги? И ты проявляешь о незнакомом тебе человеке такую заботу? Гельмут Шрамм? Нет, о таком не слыхал. А что приключилось с ним?

— Он бесследно исчез четырнадцатого июля из гостиницы «Старая Бавария», где проживал со своей женой по приезде из Бремена...

— Так это же, наверное, уголовщина! Если хочешь, я могу позвонить... ну, в полицей-президиум... в прокуратуру... У меня повсюду знакомые!

— Нет, Бруно, здесь совсем другое...

— Что же? Он сбежал от жены? — ухмыльнулся Липгарт.— Но уж тут я бессилен!

— Все это гораздо серьезнее, Бруно. Это дело выглядит так, будто его сфабриковали на Принцальбрехштрассе. Тут и подставные свидетели, и ложный диагноз, приведший жену Шрамма в психиатрическую больницу. Словом, какой-то тайный заговор против Гельмута Шрамма и его жены.

— Заговор? Они что, эти твои Шраммы — коммунисты?— Липгарт вскочил с кресла и закричал:—Только говори правду, Эвелина! Если коммунисты или даже просто красные, я и пальцем не шевельну для них! Я сам помогу их изобличить!

— Нет, Бруно, они не красные. И пожалуйста, не кричи на меня,— добавила она строго,— я этого не терплю!

— Ты, я вижу, все такая же строптивая, как была, дорогая кузина,— умилился Липгарт.— Я всегда был у тебя под башмаком и готов пребывать там до скончания века... О, если бы ты была свободна, милая моя подружка детских лет! Если бы... Ну-ну, не сердись, я молчу! Так ты говоришь—Шраммы? Гельмут Шрамм и Агнесса Шрамм? Ладно, я попытаюсь сейчас узнать что-нибудь. Вот почитай пока...

Липгарт дал Эвелине какую-то брошюру и вышел из комнаты.

Эвелина машинально раскрыла брошюру и стала читать: «Мы создадим аристократическое общество... Наша демократия будет прямой, мистической и авторитарной... Мы пустим в ход психологическое воздействие и запугивание...»

— Что за вздор! — вслух произнесла Эвелина и брезгливо отбросила от себя брошюру.

Тут до нее донеслись обрывки телефонного разговора, приглушенного расстоянием. Встав с кресла, Эвелина неслышно, по мягкой ковровой дорожке, пересекавшей комнату, подошла к двери, через которую вышел Липгарт, и прислушалась. Ей удалось разобрать лишь несколько имен: Штиппель... Ведель... Винкель... Остмарк... Но это все: самая суть разговора от нее ускользнула.

Опасаясь быть застигнутой у двери — Эвелина впервые в жизни подслушивала чужой разговор,— она снова села в кресло, упорно повторяя про себя запомнившиеся ей имена: «Ведель, Остмарк, Ведель, Остмарк...»

— Увы, милая кузина,— заговорил Липгарт, входя в комнату,— я ничем не могу помочь тебе, кроме доброго совета: брось хлопотать об этих Шраммах, забудь их имя. Гельмут Шрамм — это подлый преступник, коммунистический шпион, он бежал в русскую зону с важными секретными материалами. Пока неясно, какую роль сыграла в его бегстве жена. Во всяком случае, Эвелина, твое участие в судьбе этих Шраммов может причинить тебе серьезные неприятности. Пока что я убедил кого надо, что ты к этому делу не имеешь отношения, и даже поручился за тебя... Но если ты не оставишь свои хлопоты, ты поставишь меня в затруднительное положение...

Все это о Шраммах Эвелина уже слышала в полицейском управлении: очевидно, такова теперь новая официальная версия.

— Ты же знаешь, Бруно, что все это — неправда,— сказала она спокойно.— Мы не виделись с тобой двадцать лет, и вот ты смотришь мне в глаза и лжешь! Неужели в тебе и действительно не осталось ничего доброго и никакие мои слова тебя не трогают?

— Но, Эвелина, как ты со мной разговариваешь! — жалобно произнес Липгарт; было похоже, что после телефонного разговора он успел наскоро хлебнуть спиртного.— Я же готов для тебя на все... Я обожаю, я люблю тебя! — Он развел руки и собирался было подняться, но Эвелина сделала такой властный отстраняющий жест, что он снова упал в кресло.

— Мне ничего от тебя не нужно,— сказала она презрительно.— Ответь мне только на один вопрос: где Гельмут

Шрамм? Ты же знаешь, что он никуда не бежал, что его захватили в Мюнхене какие-то негодяи— твои негодяи! Что вы с ним сделали? Где он находится? Жив он или мертв?

— Брось об этом, Эвелина... скучно, право же, скучно... какой-то Шрамм...— забормотал Липгарт, довольно неискусно изображая, что его развезло от выпитого вина.— Ты и сама не знаешь, до чего ты хороша, милая моя кузина... Я все скажу тебе, все открою... только будь моей... Мы очень сильны, всемогущи, скоро весь мир будет в наших руках. У нас везде свои люди... миллионы... миллиарды денег... Я все могу, Эвелина. Я все для тебя сделаю... Умоляю тебя, не уходи, не оставляй меня... Я поползу за тобой на коленях. Смотри, я целую твои следы на полу...

Эвелина резким движением поднялась, вышла из комнаты и распахнула дверь на лестницу. По дороге домой она продолжала твердить про себя: «Ведель, Остмарк, Ведель, Остмарк...»

Это было все, что ей удалось извлечь из своего визита к Бруно Липгарту, борцу за «прямую, мистическую и авторитарную демократию».

ЗАОКЕАНСКИЙ ГОСТЬ

Наиболее острое чувство, какое поначалу владело Гельмутом в его невольном одиночестве, было изумление. Не гнев, не возмущение, а именно изумление: как могло случиться, что его, человека, ничем не погрешившего против закона, схватили среди бела дня какие-то люди и заперли в этот каменный закуток? Мало того: при первой же попытке вырваться из заключения, заявить о своем праве на свободу ему пригрозили смертью...

Кто же могут быть эти люди? Гельмут мысленно пересмотрел всю свою недолгую жизнь, все свои поступки и не обнаружил в них ничего, чем бы мог прогневить кого бы то ни было. Быть может, эти люди хотят добиться от него чего-то, на что, по их убеждению, он не согласился бы пойти добровольно? Но чего же именно? Уж не связано ли это с его научной работой? Мортин? Но ведь о мортине не знает ни одна душа...

Проходили дни, и чувство невероятности случившегося постепенно притупилось в Гельмуте. Единственно, что продолжало угнетать его,— это тревога за Агнессу, но он не позволял себе предаваться этому чувству, зная, что главные испытания еще впереди...

Поворот ключа в первой, наружной двери и звук засова,

освобождающего внутреннюю дверь. Как, неужели обед? Ведь после завтрака прошло едва ли более часа.

— Здравствуйте, господин Шрамм!

Чуть приметный английский, точнее, американский акцент. Перед Гельмутом стоял человек лет сорока пяти, высокий, плечистый, элегантно одетый; круглая голая голова, лицо в рваных хлопьях румянца, круглые, чуть выпуклые холодные, серо-стальные глаза, золотые очки.

— Здравствуйте,— сдержанно отозвался Гельмут, поднявшись с койки.— С кем имею честь?

— Мое имя ничего вам не скажет, господин Шрамм. Зовите меня Смит.

— Что же вам угодно от меня, господин Смит? — усмехнулся Гельмут.— В какую игру собираетесь вы со мной играть?

— О, в большую игру, господин Шрамм! — без улыбки сказал Смит и кивнул на табурет.— Разрешите сесть?

— Странный вопрос...— Гельмут пожал плечами и уселся на койку.— Это же ваш табурет.

— Прежде всего, господин Шрамм,— заговорил Смит, усаживаясь на табурет и пробуя его прочность,— прежде всего мы приносим вам глубочайшие извинения за то, что вынуждены были прибегнуть к такой суровой мере, как насильственное водворение вас сюда...

— Куда же это — сюда? Где я: в Европе, в Америке?

— В Америке? Что за странная мысль?

— Я полагаю, что вы — гражданин Соединенных Штатов.

— Почему вы так думаете?

— Некоторый жизненный опыт... А кто это — мы?

— Это неважно... Итак, повторяю, приносим вам извинения. Оправданием нам служит высокая цель, ради которой мы решились на это: спасение западной цивилизации от коммунистического варварства.

Гельмута поразила эта истрепанная, банальная фраза, достойная какой-либо бульварной реакционной газетки.

— Но при чем же тут я, Гельмут Шрамм, безвестный житель города Бремена? Неужели я являюсь помехой на вашем пути к этой высокой цели?

— Напротив, господин Шрамм, совсем напротив! — воскликнул Смит, блеснув очками.— Вы наша главная надежда, по крайней мере на сегодняшний день!

— Почему же вы так дурно обращаетесь с вашей главной надеждой, господин Смит? Травите ее ядами, запираете на замок, грозите пулей?

— Не иронизируйте, господин Шрамм! — Злоба мелькнула в холодных глазах Смита.— Я прибыл сюда не для того,

чтобы состязаться с вами в остроумии. Я представляю могущественные силы, самые могущественные силы современного мира. Скажу прямо: перед вами выбор — либо идти с нами, либо...

— А что это значит: идти с вами?

— Господин Шрамм, когда вы работали в вашей бременской лаборатории над стимулятором биолином, то натолкнулись — случайно или не случайно, судить не берусь — на вещество небывалой губительной силы, идеальный яд, одна молекула которого способна вывести из строя человека...

— Будем точны — убить человека.

— Если вам угодно — убить. Так вот, дайте нам химическую формулу вашего мортина, и мы назовем вас нашим другом.

— Допустим на миг, что ваши сведения верны. Для какой же цели нужен вам этот, как вы выразились, идеальный яд? Что вы собираетесь с ним делать?

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Смит помолчал, затем, воздев глаза к потолку, словно бы к небу, заговорил тоном проповедника, ораторствующего перед толпой прихожан.

— Зачем нужен нам мортин, господин Шрамм? Конечно, вы слишком молоды, чтобы помнить то удивительное время, когда была изобретена и получила первое боевое крещение атомная бомба. Хиросима, чудовищный фейерверк в десять миллионов градусов, заставивший целую нацию пасть к ногам победителя! Мы все влюбились тогда в атомную бомбу, в физику, сумевшую создать такое волшебство. Я был в ту пору еще юным студентом, но отчетливо помню это прекрасное, сияющее, гремящее утро атомного века, когда мы, Соединенные Штаты — да-да, вы угадали, я гражданин великих Соединенных Штатов Америки! — ощутили себя волею физики всемогущими повелителями планеты. Но вскоре пришло отрезвление: Советы создали свою атомную бомбу, а вслед за ней, опередив нас, и водородную. Праздник кончился, наступили скучные будни, каждодневная, изнурительная гонка: кто изготовит большее число ядерных бомб и наиболее совершенные средства их доставки. А финал гонки один — война. Однако ядерная война, любой ее вариант,— это взаимное уничтожение, пиррова победа...

— Я понял вас.— Лицо Гельмута вспыхнуло от гнева.— Вы решили сменить физику на химию и отравить добрую половину человечества идеальным крысиным ядом... Так вот:

вы у меня ничего не получите! Я не собака и не змея, чтобы кусать и жалить, когда научился любить.

— А, припоминаю,— иронически скривился незнакомец,— это из вашего Гёте, старого доброго Гете! А вы не думаете, молодой человек, что и сам Гете, живи он в наше время, был бы сейчас сторонником благодетельного насилия при виде того, как его родная Германия расколота, рассечена на две кровоточащие части? Ведь Гете был человек государственный и великий патриот!

Гельмут молча, пристально, изучающе глядел на Смита. вот перед ним вполне респектабельный человек, возможно профессиональный ученый, и он хладнокровно предлагает во имя спасения «западной цивилизации» извести смертельным ядом сотни миллионов людей. Чем отличается он, в сущности, от нацистских идеологов и вождей?

— Вы что же, решили объединить нашу Германию ценой жизни полумиллиарда человек? Пятьсот миллионов трупов в обмен на семнадцать миллионов немцев, проживающих в Восточной Германии? Откуда у вас, американцев, такой яростный немецкий патриотизм?

— Откуда? — В голосе Смита явственно звучала злость.— А вот откуда, господин Шрамм. Случилось так, что вопрос объединения вашей родины стал краеугольным вопросом современной политики. От того или иного его решения зависит судьба западной цивилизации: мы или они! Разумеется, не будь германского вопроса, нашлась бы другая коллизия — в них никогда нет недостатка,— то или иное решение которой определило бы дальнейшую судьбу человечества. Во всяком случае, мы скорее отправим весь мир на тот свет, чем оставим его жить при коммунизме! Вот вы говорите — пятьсот миллионов трупов... А что, собственно, вас смущает, господин Шрамм? Любовь к ближнему?

Имейте в виду, у нас все предусмотрено, все до мельчайших деталей. Мы не повторим ошибок Гитлера — они обошлись нам слишком дорого. Мы все взвесили, все учли, теперь дело только за вами. Конечно, и американские, и английские, и французские, и немецкие химики неустанно работают над созданием поражающих веществ, но при всем их достоинстве эти яды, к сожалению, не отвечают пока всем требованиям, которые мы предъявляем к ним как к тотальному орудию уничтожения. Одни из них недостаточно токсичны, другие недостаточно устойчивы, в то время как ваш...

— Откуда вам известны свойства моего мортина?

— Удовлетворитесь тем, что они известны нам, господин Шрамм. Известно нам и то, что, едва открыв это удивительное вещество, вы тут же «закрыли» его, малодушно испугав-

шись его губительной силы. И вот,— Смит заговорил с пафосом,— я явился к вам за химической формулой вашего мортина и требую ее от лица тех, кто призван спасти человечество от ядерной смерти и установить на планете новый порядок...

— Новый порядок... Да-да, все та же порода убийц и палачей...— как бы подводя итог своим наблюдениям, раздумчиво проговорил Гельмут.— Очевидно, таких, как вы, закономерно порождает современная мировая действительность. Убийцы с громадным диапазоном действия, достигающим размеров целой планеты... Говорите же, господин Смит,— кто подослал вас ко мне?

— Я уже имел честь сообщить вам, господин Шрамм, что явился к вам, так сказать, от лица...

— Отвечайте прямо — кто ваши хозяева?

— Я не понимаю...

— Вы все прекрасно понимаете! Так вот, передайте вашим хозяевам: я скорее расшибу себе голову об эти каменные стены, чем открою им формулу мортина.

— Я очень сожалею, господин Шрамм, что вы проявляете такое упорство.— Смит поднялся с табурета.— Ведь дело идет о судьбе вашей несчастной страны, вашего народа. Я тем более сожалею, что к нашему великому движению, как это всегда бывает, примазались и люди низкого морального уровня... Мне стало известно, что они заключили вашу молодую супругу в психиатрическую больницу, в буйное отделение...

— Уходите... немедленно!.. — вскочил Гельмут.

Незнакомец поглядел на Шрамма, устало вздохнул и шагнул к двери, которую тотчас же распахнула чья-то услужливая рука. Привычный звук упавшего засова — и Гельмут остался один.

НЕЖДАННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Да, Смит не ошибся: Гельмут действительно испытал сильное душевное потрясение, когда перед ним на лабораторном столе впервые оказался результат его полугодовых трудов: крохотная кучка — не более ста граммов — распыленного вещества серо-зеленого цвета. Он назвал его мортином. Если бы каждая пылинка — да что пылинка, молекула! — этого вещества поразила ту мишень, какую предназначил ей Смит, то с лица земли, возможно, исчезло бы все живое и уж во всяком случае на ней возникли бы миллионы квадратных километров мертвого пространства...

То, что именно он, Гельмут Шрамм, открыл, сотворил это

небывалое по губительной силе вещество, что оно находилось в полном, единоличном его распоряжении, сделало его другим человеком. Голова его полна была самых фантастических планов. То он мысленно обращался к правительствам всех стран с непреклонным требованием, чтобы они в кратчайший срок осчастливили своих граждан самым гуманным законодательством, какое только в состоянии измыслить человеческий разум, угрожая, в противном случае, уничтожить в данной стране все живое; то он требовал от богачей всего мира, чтобы они поделились своими капиталами с бедняками. Стоило Гельмуту прочитать в газете о какой-либо несправедливости, о бессмысленной жестокости, о несправедливом приговоре, как он уже мысленно произносил свое властное, решающее слово, и угнетатели покорно склонялись перед его волей, а их спасенные жертвы благословляли его всемогущество и доброту.

Наконец, почти обезумевший от бессонных ночей, Гельмут решил поделиться своей тайной с женой.

— А можешь ты сделать так, чтобы изготовленная тобой проба мортина утратила свою губительную силу? — спросила Агнесса.

— Думаю, что могу,— растерянно отозвался Гельмут.— А почему ты спрашиваешь об этом?

— Как — почему? — удивилась Агнесса.— Чтобы ты уничтожил этот мортин и навсегда забыл о нем.

— Уничтожить мортин? Забыть о нем? Что ты говоришь, Агнесса? Я же могу с его помощью принести людям столько добра! Я могу стать властелином мира и навсегда прекратить войны, избавить человечество от нищеты, насилия, угнетения, несправедливости!..

— Вот видишь, Гельмут,— печально сказала Агнесса,— куда завел тебя твой мортин: ты уже готов стать властелином мира. А что, если дурные правители не захотят расстаться со своей властью? Если генералы и военные промышленники не захотят прекратить войны? Если богатые откажутся поделиться с бедными своими богатствами? В этом случае тебе придется объявить войну всему человечеству и травить мортином не только насильников, но и их жертвы, не только генералов, но и солдат, не только богатых, но и бедных. Уничтожь, Гельмут, свой мортин и забудь о нем.

Уже подготовленный к такому исходу, Гельмут решил последовать совету Агнессы.

— Я так и сделаю! Право, ты излечила меня от сумасшествия, настоящего сумасшествия!

— А ты никому не говорил о своем мортине, Гельмут? — тревожно спросила Агнесса.

— Несколько слов Артуру..

— Ну, Артуру...

— Во всяком случае, ни одна живая душа, в том числе и Артур, не знает ни его химической формулы, ни даже химической характеристики. Лишь только работа была завершена, я уничтожил все записи...

Все это вспомнил Гельмут после разговора со Смитом. Так вот с какой целью похитили его из гостиницы! Заокеанский гость не скрывает, что похищение было организовано воинствующими политиками Соединенных Штатов, изверившимися в ядерном оружии, и их германскими единомышленниками. Видимо, эти люди предпочитают химическую войну ядерной, полагая, что в области производства тотальных поражающих веществ западная наука опередила советскую. И тут они каким-то образом прознали о его мортине. Но как, каким именно образом? Кроме Агнессы, лишь один человек на свете, который — пусть в самом общем виде! — знал о мортине и его основных свойствах. Но этот человек его друг, Артур Леман,— уж в нем-то он твердо уверен. Кто же, в таком случае? Впрочем, если им даже известно что-либо о мортине, то ничего конкретного, ощутимого. Иначе зачем было им идти на эту рискованную авантюру с похищением?..

Правда ли, что они заключили Агнессу в психиатрическую больницу, в буйное отделение, или это только уловка Смита, чтобы сделать его, Гельмута, более сговорчивым. Но он, Гельмут, все равно не откроет им формулу мортина. Агнесса первая стала бы презирать его...

Углубившись в свои мысли, Гельмут не слышал, как повернулся тяжелый ключ в замке, как звякнул засов и как приоткрылась внутренняя дверь. В комнату ввалился человек: он не устоял на ногах и упал на каменный пол то ли от слабости, то ли от полученного толчка.

— Артур! — воскликнул, с трудом узнав его, Гельмут.— Что они с тобой сделали?

— Они пытают меня... мучают днем и ночью...

Гельмут помог Артуру подняться, усадил на койку. Тот привалился к стене, склонил на плечо голову, словно у него не было сил держать ее прямо, и закрыл глаза. Худое, узкое, смуглое лицо, нос с легкой горбинкой придавали Артуру сходство с индейцем.

— Ты можешь говорить, Артур? — Гельмут взял в свои руки горячую, маленькую, почти мальчишескую руку Лемана.— Когда они взяли тебя?

— Сегодня второй день...— с трудом выговорил Леман.— Я приехал... узнал от Агнессы, что ты пропал без вести...

— Ты видел Агнессу?

— Она в сумасшедшем доме... меня не пустили к ней...

— Чего они добиваются от тебя?

— Мортин... Помнишь ты говорил мне... Требуют формулу...

— Но ты же не знаешь ее, Артур!

— Не верят...

— От кого они узнали о существовании мортина?

— От кого? — Леман удивленно открыл свои большие темные глаза.— Разве не от Агнессы, Гельмут? Они говорят, от Агнессы...

— Глупости! — рассердился Гельмут.— И ты поверил им? — Он выпустил руку Артура.

— Не сердись на меня...— Леман вдруг всхлипнул, как испуганный ребенок, и упал головой на подушку.— Это же они говорят...

— Ну что ты, что ты, Артур! — Гельмут склонился над ним и ласково провел по его волосам.— Приди же в себя, надо что-то решить...

— Они замучают меня до смерти... а потом и тебя... это страшные люди... Открой им формулу, Гельмут!

— Открыть... им... формулу? — Гельмут отшатнулся от друга.— Что ты говоришь, Артур? Они же отравят сотни миллионов людей, все живое...

— Никого они не отравят! — с неожиданной энергией сказал Леман.— Мы перехитрим их, Гельмут.— Он снизил голос до шепота.— Как только они отпустят нас, мы опубликуем формулу для общего сведения, да еще сообщим в печати, что они вынудили ее у нас пытками...

Гельмут молча смотрел на друга.

— Ты ошибаешься, Артур,— сказал он ровным, спокойным голосом.— Если я открою им формулу мортина, я никогда не выйду отсюда — они убьют меня. Но они убьют меня и в том случае, если я не открою им формулу...

— Возможно, ты прав,— тихо отозвался Леман.— Они убьют нас и в том и в другом случае. Что же нам делать, Гельмут?..

— Я не сказал — нас, Артур. Я сказал, что они убьют меня. А теперь — пошел вон, подлец!

И снова чья-то невидимая рука приоткрыла в нужный момент тяжелую дверь: на этот раз ровно настолько, чтобы худое и верткое тело Артура Лемана могло скользнуть в образовавшуюся щель.

Гельмут Шрамм снова остался один.

Директор психиатрической больницы отклонил предложение доктора Петерс о выписке Агнессы Шрамм.

— У нас имеется заключение полицейского врача, что Агнесса Шрамм страдает манией преследования и представляет известную опасность для окружающих,— сказал директор,— а потому решение о ее выписке может вынести только консилиум.

— Но полицейский врач не психиатр, а терапевт,— возразила Эвелина,— и к тому же подозрительная личность. Его доводы да и все его поведение показались мне, по меньшей мере, странными.

— Я не имею никаких оснований считать доктора Шмица подозрительной личностью,— холодно сказал директор и поднялся с места, давая понять, что аудиенция окончена.

До этого случая он полностью доверял Эвелине в подобных вопросах, и она вышла из его кабинета в твердой уверенности, что он действовал на этот раз под давлением извне. О том же свидетельствовал и подчеркнуто официальный тон, каким он никогда ранее с ней не говорил. Словом, заговор против бедной Агнессы и ее мужа был очевиден. В тот же день к вечеру Эвелина, приняв все меры предосторожности, самовольно вывела Агнессу из здания больницы и поместила ее у своей старой подруги Ирмгард Кюн, проживавшей в полном одиночестве в маленькой двухкомнатной квартире на окраине города.

— Имей в виду, Ирмгард,— предупредила она подругу,— что Агнессу несправедливо преследует полиция и ее пребывание в твоей квартире связано с риском для тебя. Впрочем, риск небольшой: ты ничего не обязана о ней знать. Если явится полиция — сошлись на меня...

Что было делать дальше? Где и как искать след Гельмута Шрамма? Два загадочных слова, уловленные Эвелиной из телефонного разговора кузена Липгарта,— Ведель и Остмарк — не дали никаких сведений. Таких фамилий в адресной книге Мюнхена не значилось; не оказалось таких названий и в географическом справочнике.

Как это нередко случается, помощь пришла оттуда, откуда ее меньше всего можно было ждать: из полиции. Эвелина возвращалась домой от Ирмгард, где оставила встревоженную Агнессу, когда почти возле ее дома с ней поравнялся какой-то низкорослый человечек — в первое мгновение он показался ей подростком — и, не глядя на нее, тихо произнес:

— Следуйте за мной... на расстоянии... незаметно...

Он двинулся вперед, и Эвелина, не задумываясь, пошла

за ним следом. Господи, да ведь это же «тролль» из полицейского управления, маленький Герман Ангст! Что ему надо от нее? Между тем Ангст свернул в ближайший переулок и, ни разу не оглянувшись, продолжал свой путь. Еще улицы, еще переулки, и вот, наконец, старый город — причудливое переплетение узких, кривых средневековых улочек. Ангст остановился возле маленькой старинной церковки-кирхи, оглядел настороженно улицу — она была пуста — и через низкие резные ворота вошел на церковный двор. Эвелина последовала за ним. Дворик был крохотный, мощенный старинной, вытертой до зеркального блеска каменной брусчаткой; посреди него высился истолченный временем, черный, дуплистый дуб, почти лишенный листвы. Ангст обошел двор, открыл дверцу в задней стене кирхи и поманил за собой Эвелину.

— Сюда,— произнес он, когда они очутились в полутьме кирхи.— Вот в эту келью...

В келье едва могли уместиться два человека. Ангст указал Эвелине на небольшую деревянную скамью, стоявшую возле стены, и сам уселся рядом.

— Тут мы в полной безопасности, фрау Петерс, никто не услышит нас — ни одна живая душа! —начал он.— Вы помните меня? Я Герман Ангст, секретарь господина фон Штрипеля, важной персоны, бывшего штурмфюрера, что, впрочем, является строжайшим секретом... полишинеля! Ну как — страшно?

— Представьте себе, господин Ангст,— улыбнулась Эвелина,— совсем не страшно!

— Я знаю, я знаю, вы смелая женщина, фрау Петерс. Я горжусь вами. Да-да,— прибавил он убежденно,— именно горжусь!

— Что вы, господин Ангст, я просто хочу помочь одной несчастной женщине, попавшей в беду...

— Не так-то это просто,— перебил ее Ангст.— Послушайте моего совета, фрау Петерс: будьте осторожны. Я для того и позвал вас сюда, чтобы предупредить: вы ввязались в очень опасную игру. Супругов Шрамм преследуют могущественные и беспощадные люди!

— Что же это за люди, господин Ангст? И почему они преследуют Шраммов?

— Я пока не знаю, но постараюсь узнать.

— И еще — простите мне этот вопрос: кто вы? Какую роль приняли вы на себя в этом деле?

— Кто я такой? — Маленький Ангст на минуту умолк, как бы собираясь с мыслями.— Конечно, с этого я и должен был начать наш разговор. Ведь для вас я человек из полиции, а полиция — ваш враг, во всяком случае, пособник ваших вра-

гов. Так кто же я такой? Знаете, фрау Петерс, я никогда не задумывался над этим вопросом. А когда меня спрашивали, отвечал: «Перед вами господин Герман Ангст, секретарь господина фон Штриппеля». Правда, я лишь один из секретарей этого господина. Но когда такой вопрос задаете вы — вы, фрау Петерс,— это совсем другое дело... Кто я такой и какую роль играю в вашем деле? Что ж, я откроюсь вам. Мне сейчас двадцать восемь лет... Вы не смотрите, что я такой маленький,— мне действительно двадцать восемь лет! Значит, в год, когда кончился Гитлер, мне было всего девять лет. И все-таки я успел пережить в ту пору много тяжелого, и это навсегда определило мою жизнь. Дело в том, что моя семья жила в деревне, расположенной рядом с Бухенвальдом. Старинные живописные места, знаменитая Тюрингенская равнина, прекрасный буковый лес, где некогда прогуливался Гете! Но пейзаж моего детства — это, прежде всего, густой, жирный, угольно-черный дым, чуть подбитый красным отсветом пламени: он днем и ночью стлался по окрестности, застилая небо. И еще — удушающий запах горелого мяса и жира: он въедался в ноздри, в рот, в горло, в легкие, в кожу, в волосы, в одежду и убивал все другие запахи — запахи весны, лета, осеннего увядания, первого снега. Я вижу, вы поражены, фрау Петерс, что я так... складно говорю,— сказал Ангст, перехватив удивленный взгляд Эвелины.— Но я немножко поэт, я пишу стихи, для себя, конечно... И затем, я много читал и сейчас читаю...

— Нет, господин Ангст, я ничуть не удивлена, это совсем другое... Прошу вас, говорите.

— Мои родители были простые крестьяне. Они жили с постоянным мучительным ощущением творящихся рядом злодейств, и я уже с малых лет знал, что в Бухенвальде жгут детей, молодых девушек, юношей, женщин, мужчин, стариков и живая плоть их черным дымом сочится из труб крематорских печей... Вот каким было мое детство, фрау Петерс!..

Ангст замолчал.

— В этом было, вероятно, что-то болезненное,— продолжал он,— но я часами не мог оторвать глаз от гигантских траурных полос, тянущихся по небу. Может, я потому и рос так плохо и остался таким вот... малорослым. Я долго болел — у меня были какие-то припадки, а когда наконец выздоровел, на меня снизошла удивительная ясность духа и какое-то, сказал бы я теперь, гневное спокойствие. Я стал очень жалостлив к людям и навсегда возненавидел тех, кто виновен в их страданиях. Время уже вернуло нам наше голубое небо и тысячелетние запахи нашей земли, а я... я упорно не доверял этому благополучию, фрау Петерс! Я считал, вернее, безот-

четно чувствовал, что зло лишь до поры втянуло свои когти, оно только пережидает, когда люди забудут о нем: ведь человеческая память коротка. Борьба со злом, говорил я себе, требует выдержки, хитрости, терпения. Уже позднее, когда я окончил деревенскую школу и ушел сюда, в город, я понял, что чутье не обмануло меня. Как я попал на службу в полицию, фрау Петерс? Я прочитал однажды, что в царской России один революционер, скрыв свои настоящие убеждения, поступил в полицию, чтобы узнавать ее секреты и сообщать о них революционерам. Это удалось ему, и он принес большую пользу своим товарищам. Я не революционер, я маленький человек, но я не хочу, чтобы небо над моей Германией снова почернело от дыма. А у нас есть еще немало людей, которые хотели бы вернуть нацистские времена. Вот для чего поступил я в полицию, фрау Петерс. Конечно, все это должно остаться между нами, но я открыл уже немало темных дел и замыслов, и никто не знает, что они проникли в печать только благодаря Герману Ангсту. Правда, это капля в океане зла. Вы не представляете себе, фрау Петерс, какую силу снова забрали разные нацисты, и не только у нас, но и в других странах! При этом они все связаны между собой: у них сколько угодно денег, оружия, тысячи головорезов, готовых на любое злодейство; у них свои люди в правительстве, в армии, среди богачей; на их стороне тайная полиция и разведка; у них на учете целый миллион бывших СС как в самой Германии, так и по всему свету...

— Неужели это правда, господин Ангст? — с горестным недоумением спросила Эвелина.— Мне не раз говорили об этом, но я не верила. Как же это случилось?

ГЕРМАН АНГСТ РАСКРЫВАЕТ КАРТЫ

— Как это случилось? — повторил Герман Ангст.— Вы знаете, фрау Петерс, существуют такие морские моллюски — анемоны? Во время отлива они остаются на суше и превращаются в этакие ничтожные темные комочки, размером не более одной пятой своего былого объема. Они ссыхаются под палящими лучами солнца, и со стороны кажется, будто жизнь покинула их. Но вот начался прилив — и они снова заиграли всеми своими ядовитыми красками. Как они выживают? Дело в том, что они совершенно лишены чувствительности и потому способны выдержать любые колебания нашей среды...

— Вот именно — лишены чувствительности,— проговорила Эвелина. Она вспомнила своего кузена.

— Сейчас время прилива, фрау Петерс. Конечно, ученые

люди и большие политики объяснят вам лучше меня, как случилось, что нацисты сумели вырваться из петли и снова заносят над нами свой разбойничий нож. Одно я могу сейчас с полной достоверностью сказать: это они преследуют супругов Шрамм...

— Кто же это «они», господин Ангст? Есть же у нас против них законы!

— Для них у нас нет законов, фрау Петерс. Повторяю, мне пока неизвестно, почему они избрали своей жертвой господина Шрамма, но дело, видимо, очень серьезное. В нем заинтересованы и американская разведка и наш Пуллах [1], а выкрали господина Шрамма из гостиницы «Старая Бавария» мерзавцы, принадлежащие к одной из секретных нацистских шаек.

— А кто такой Герман Винкель?

— Это тот, который разыграл подлую комедию с бедной фрау Шрамм, уверив ее, что она приехала в Мюнхен одна? Он вовсе не Герман и не Винкель! — с презрением сказал Ангст.— Этот смазливый агент из Пуллаха, его употребляют обычно для таких вот «благородных» ролей,— некий Швейнефлейш. Они хотели свести с ума фрау Шрамм. Но, кажется, это не удалось им, не правда ли?

— Нет, господин Ангст, не удалось.

— А верно, что она сбежала сегодня из психиатрической больницы? Ваш директор звонил об этом нашему Штриппелю...

— О, неужели? — воскликнула Эвелина.— Это было бы замечательно!

— Вы молодец.— Ангст робко коснулся руки Эвелины.— Так и надо: не доверяйте ни одной душе, пока тысячекратно не убедитесь...— Увидев смущение на лице собеседницы, он оборвал себя, затем продолжал деловито:— Следующее действующее лицо — доктор Шмиц. Он действительно доктор, но не Шмиц и живет по фальшивому паспорту. Настоящая его фамилия — Ледерле, бывший лагерный врач, его имя уже упоминалось на двух процессах бывших работников концлагерей. Впрочем,— Ангст усмехнулся,— он почти не скомпрометирован. Скромные эксперименты с какими-то снадобьями фармацевтической фирмы Бауер... А теперь, фрау Петерс, спрашивайте: кто и что еще вас интересует?

— Прежде всего судьба Гельмута Шрамма.

— Полагаю, что он жив, но куда его упрятали, мне пока не удалось узнать. Он, кажется, химик?

— Да, и очень талантливый химик: у него был целый ряд серьезных открытий.

[1] Пуллах — место под Мюнхеном, где помещается Федеральная разведывательная служба Западной Германии.

— Химия имеет сейчас немалое военное значение. Но в этом ли разгадка их интереса к Гельмуту Шрамму?

— Очень вероятно, господин Ангст. Фрау Агнесса Шрамм высказала такое же предположение.

— Вот видите... На это указывает еще одно обстоятельство: в связи с его делом в Мюнхене ожидали приезда каких-то людей из-за океана. Ведь у них там собачий нюх на наши военные открытия и изобретения. А уж с нашей немецкой химии они глаз не сводят. Возможно, они уже прибыли...

— Что это за люди?

— Пока не знаю. Это сверхсекретно.

— А говорит вам что-нибудь такая фамилия: Леман? Артур Леман!

— Артур Леман? Которому фрау Шрамм звонила из гостиницы по телефону в Бремен?

— Да, ассистент Гельмута Шрамма.

— Это осведомитель, приставленный к Шрамму нашей разведкой в порядке слежки за учеными, работа которых может иметь военное значение. Его зачем-то срочно вызвали из Бремена, он находится сейчас в Мюнхене. Возможно, его хотят подослать к фрау Шрамм... О, я и забыл, что фрау Шрамм беглянка. Дальше, фрау Петерс!..

— Что вы скажете о моем кузене Бруно Липгарте?

— Вашем кузене? — удивился Ангст.— Вы поставили меня в трудное положение, фрау Петерс!

— Ничуть, господин Ангст. Мне известно, что Бруно Липгарт низкий человек.

— В таком случае, вы очень мало знаете о нем, фрау Петерс.

— Если я скажу вам, что была у него вчера вечером дома, вы согласитесь, что я знаю о нем не так уж мало.

— Вы... были... у него... дома? Да это же...

— Я просила его узнать о Гельмуте Шрамме.

— И что же?

— Я ничего не добилась. Скажите, Бруно Липгарт влиятельный человек среди этих... ну, новых нацистов?

— Очень влиятельный.

— Значит, и очень осведомленный?

— Безусловно.

— Вам говорит что-нибудь такое слово — не то фамилия, не то название: Ве-дель?

— Ведель? Это точно: Ведель?

— Насколько мне удалось расслышать... — Эвелина пожала плечами.

— Быть может, Вен-дель? — очень серьезно и взволнованно спросил Ангст.

— Возможно, Вендель. Я подслушала телефонный разговор Липгарта, когда он выяснял судьбу Гельмута Шрамма... И что же, если Вендель?

— Вендель — это значит, что в деле Шрамма замешана самая верхушка нашей, а возможно, и американской разведки. Вендель — опаснейший человек, бывший эсэсовский головорез, знаменитый гитлеровский разведчик, возглавляющий сейчас чуть ли не всю эсэсовскую банду, расползшуюся по свету, и тесно связанный с бывшими гитлеровцами в нашей стране, стремящимися к реваншу. В свое время американская разведка, заинтересованная в его сотрудничестве, помогла ему ускользнуть от виселицы. На днях он приезжал сюда из Испании, где постоянно живет. Упоминание Липгартом его имени может означать в данном случае только одно: Вендель причастен к делу о похищении Шрамма и дружки Липгарта дали ему понять, чтобы он не совал в это дело свой нос.

— Кажется, вы правы. Липгарту очень хотелось услужить мне, но после телефонного разговора он даже с некоторым испугом посоветовал мне забыть о Шраммах...

— А не говорил он вам, что Гельмут Шрамм бежал из Мюнхена в Восточную Германию, прихватив шпионские материалы? Это сейчас новая официальная версия на тот случай, если найдутся свидетели, которые могут удостоверить, что видели Шрамма в Мюнхене.

— Сказал. А ранее я слышала то же от вашего Штриппеля. Кстати, вы не знаете, кто такой Альберт Якобс?

— Как? Вы знакомы и с Альбертом Якобсом?

— Чуть-чуть.

— Якобс из той же шайки, что и Липгарт.

— Я так и решила. А вот еще одно подслушанное мною слово: Ост-марк — или вроде того.

— А не Ос-тер-марк?

— Возможно, Остермарк. Да-да, Остермарк!

— Фрау Петерс! — Ангст вскочил с места, едва не опрокинув скамейку.—Гельмут Шрамм — в замке Остермарк, в шестидесяти километрах отсюда, в Баварских Альпах! Барон Остермарк — старый нацист, адъютант и друг покойного Кальтенбруннера, а его замок — один из филиалов нашей разведки! Браво!

Ангст вдруг умолк, бессильно опустив руки.

— И что же? — проговорил он упавшим голосом.— Какой толк, что мы узнали местопребывание Гельмута Шрамма? Сообщить обо всей этой истории в печать — значит спугнуть зверя: они быстро заметут все следы. Заявить в полицию — тот же результат. Что же нам делать?

— Да, господин Ангст, что же делать?

— Остается только одно: собрать большое войско и захватить замок Остермарк штурмом.

— Вы все шутите, господин Ангст... А что, если мне пробраться туда в качестве лазутчика?

— Вам? — сердито отозвался Ангст.— Да они просто убьют вас! Не-ет, я не имею права рисковать вашей жизнью!

Маленький Ангст так и сказал: «Я не имею права...»

ИСТИННОЕ ЛИЦО ДОКТОРА ШМИЦА

И вот Эвелина Петерс во второй раз переступила порог кабинета полицейского врача Шмица.

— Здравствуйте, коллега,— сказала она дружелюбно.— Вы были в прошлый раз так любезны со мной, что я решилась обратиться к вам с небольшой просьбой.

— Что вам угодно от меня? Какая еще просьба?

— О, совершеннейший пустяк! — Эвелина мило улыбнулась.— Дело идет все о той же нашей общей с вами пациентке — фрау Агнессе Шрамм.

— Ка-ак? Вас подозревают в том, что вы помогли этой сумасшедшей бежать из больницы, а вы смеете являться ко мне с разговорами! Да вы что — смеетесь надо мной?

— Сохрани боже, коллега! — Эвелина была сама кротость и терпение.— Просто маленькая просьба...

— Говорите толком, черт побери, что вам от меня нужно?

— Справку, коллега,— все тем же кротким голосом сказала фрау Петерс.— Официальную справку за вашей подписью, что фрау Агнесса Шрамм душевноздоровый человек и в лечении не нуждается.

— Что-о?

— Моя просьба не должна затруднить вас, коллега. Я же не требую, чтобы вы подписали справку настоящей вашей фамилией Ледерле...

— Что... что... что?

Полицейский врач медленно поднялся с кресла, наклонился вперед и грозно навис над доктором Петерс. Видимо, на какой-то миг он утратил ощущение места и времени, готовый убить, уничтожить, растерзать сидящую перед ним женщину, в которой воплотилась для него сейчас угроза его благополучному существованию.

— Что? Что?..

— Я не требую, чтобы вы подписали справку вашей подлинной фамилией Ле-дер-ле,— медленно повторила Эвелина.— Но самую справку,— добавила она подчеркнуто,— я требую! И притом немедленно.

Полицейский врач упал в кресло.

— Извольте запомнить, достопочтенная фрау Петерс,— сказал он нагло,— что моя фамилия Шмиц, и только Шмиц! Если же вы намерены меня шантажировать, то на этот счет в нашей Германии имеются весьма строгие законы!

— Это верно, коллега,— согласилась Эвелина,— но куда более сурово карает закон за опыты над живыми людьми в нацистских лагерях. Лекарственные препараты фирмы Бауер, несколько десятков трупов! Знайте же, доктор Ледерле, сохранились ваши письма, где вы на запрос фирмы Бауер излагаете результаты ваших экспериментов. В одном из них вы пишете, что заключенные Анна Фрост и Клодина Бланшар в результате применения больших доз снотворного препарата умерли в мучительной агонии... Вы помните этих женщин, Ледерле? — вдруг неожиданно для себя звонким, негодующим голосом воскликнула Эвелина.

— Тише, тише...— забормотал полицейский врач.— Не поднимайте шума. Что вам от меня надо? Справку? Я напишу вам справку... Напишу... Но только в обмен на письмо!

Эвелина открыла сумку, достала конверт, полученный ею от Германа Ангста, и, отведя руку на добрые полметра, показала его полицейскому врачу.

— Узнаете?

— Узнаю.

— Пишите справку.

— Вы ставите меня в трудное положение, коллега.— Полицейский врач пытался сохранить хотя бы видимость достоинства.— Я уже однажды поставил диагноз этой больной, а теперь вдруг...

— Вы не психиатр, вам простят ошибку в диагнозе,— жестко сказала Эвелина.— Пишите!

Через несколько минут она держала в руках справку, удостоверяющую, что фрау Агнесса Шрамм душевноздоровый человек и в лечении не нуждается.

— Вот вам ваше письмо! — Эвелина бросила конверт на стол, полицейский врач ухватил его обеими руками.— Но помните, Ледерле,— она поднялась,— есть еще улики против вас, которые будут опубликованы в печати, если только мы найдем нужным. Поэтому ведите себя прилично и не пытайтесь вредить нам!

Когда Эвелина вручила Агнессе заветную бумажку, удостоверяющую, что она находится в здравом рассудке, та захлопала в ладоши.

— Ой как хорошо! — воскликнула она радостно.— Теперь наконец я смогу сама постоять за себя и за Гельмута. Ты не представляешь, Эвелина, как я тебе благодарна,— Агнесса по-

целовала ее в щеку.— Теперь мы будем действовать вместе. Скажи, что я должна делать? Одна мысль, что Гельмут, беспомощный, заключен в этом Остермарке... А вы уверены — ты и твой друг,— что Гельмут именно там?

— Да, Герман получил вчера подтверждение.

— Так что же мне делать, Эвелина? А знаешь, я все-таки не понимаю... — Агнесса в печальном недоумении глядела на подругу своими ясными голубыми глазами.— Просто не понимаю, почему бы мне не поехать в этот самый Остермарк и не сказать тем, кто там хозяйничает: «Мне стало известно, что у вас находится мой муж Гельмут Шрамм, и я требую, чтобы вы немедленно отпустили его, иначе я обращусь к самому канцлеру и вас накажут за это!»?

— Они тотчас же переправят Гельмута в другое место или убьют его.

— Да, ты права, конечно... Ну, а если я подниму шум на весь мир: сообщу во все газеты, разошлю телеграммы самым знаменитым политическим деятелям, ученым, писателям, если я наконец...— Агнесса беспомощно опустилась на стул и закрыла лицо руками.— Я понимаю, понимаю... Говори же, что я должна делать, Эвелина?

— Мы с Германом решили не скрывать от них больше твое местопребывание. По каким-то соображениям они хотят подослать к тебе Артура Лемана, и Герман укажет им твой адрес. Ты согласна принять Лемана?—Эвелина улыбнулась.— Из наших соображений...

— Согласна ли? — Агнесса открыла лицо и добавила с ледяной улыбкой: — Я жажду его видеть!

ЗАДУШЕВНАЯ БЕСЕДА

— Здравствуй, Агнесса, дорогая! — Артур Леман стремительно, будто в порыве радости, шагнул к Агнессе и обеими руками сжал ее маленькую ладонь.— О, Агнесса, какое несчастье!

— Что делать, Артур, надо быть мужественными и надеяться на лучшее... Садись, пожалуйста. Как ты оказался в Мюнхене?

— Как я оказался в Мюнхене? — повторил Леман.— Помнишь наш странный разговор по телефону? Мне стыдно вспомнить сейчас, что я говорил тебе...

— Но почему же ты это сделал, Артур? — с мягким укором спросила Агнесса.— Почему? Я так верила тебе, мне так нужна была тогда твоя помощь, твое ободряющее слово! А ты... ты уверял меня, будто я выехала из Бремена одна, без Гель-

мута. Я едва не лишилась рассудка, право, Артур. Скажи, почему ты сделал это?

— Если бы ты только знала, в каких обстоятельствах я с тобой говорил! — воскликнул Леман, сбитый с толку смиренной интонацией Агнессы.— Рядом со мной стояли два агента тайной полиции, у каждого в руке — револьвер, дулом обращенный ко мне! А перед тем под страхом смерти они приказали мне говорить именно то, что я говорил... Быть может, я проявил малодушие... но это было так неожиданно... я буквально не успел опомниться, взять себя в руки... Это заговор, Агнесса, настоящий заговор против Гельмута и меня!

— Я тоже так думаю, Артур. Но ты не ответил мне, как ты оказался в Мюнхене...

— Очень просто! При первой возможности я ускользнул от слежки и ринулся сюда, чтобы вместе с тобой искать Гельмута. Но едва я сошел с самолета, какие-то люди схватили меня, втолкнули в машину и увезли в пригородный дом, окруженный забором из колючей проволоки. Там и держат меня под охраной вооруженных головорезов... Нет-нет, ты не думай: я не бежал от них — оттуда не убежишь,— это они сами подослали меня к тебе! — Леман говорил с лихорадочной быстротой, на едином дыхании, как человек, который получил наконец возможность излить свою душу, изнывшую в тоске и одиночестве.— Они требуют, чтобы я вытянул из тебя — они так и сказали — вытянул! — секрет изготовления мортина, его химическую формулу! Ты, конечно, знаешь формулу мортина, Агнесса? Не может быть, чтобы Гельмут не поделился с тобой... не сказал тебе... не может этого быть!

— Что ты, Артур! Когда же это было, чтобы Гельмут говорил со мной о своей работе? Я же ничего не смыслю в химии. Раз уж он тебе не сказал об этом мортине... А может, мортина вовсе и не было?

— Ты сама не понимаешь, что говоришь! — резко выкрикнул Леман.— Они убьют Гельмута, они убьют нас обоих, они уже пытали меня! Ты должна сказать все-все, что тебе известно о мортине! Они обыскали лабораторию, перерыли вашу квартиру и нигде не обнаружили никаких записей о работе Гельмута над мортином... Я еще допускаю, что ты не знаешь формулы, но не можешь же ты не знать, где он хранит свои тайные записи! Ты же его жена!..

— Но, Артур, мы же поженились перед самым отъездом из Бремена...— Агнесса помолчала.— Значит, ты считаешь, что они захватили Гельмута из-за этого мортина?

— Ну да! И Гельмута и меня — нас обоих! Я не считаю — я знаю!

— Что же в нем такое, в этом мортине?

— Война! Тебе известно, что такое химическая война? Отравляющие, поражающие материалы? — Он злобно усмехнулся.— Или об этом Гельмут тоже ничего не говорил тебе?

— Артур, я, право, не узнаю тебя.

— Но пойми же наконец, Агнесса: если они не получат от нас мортина, если ты не вспомнишь, где находятся эти проклятые записи, они обрекут Гельмута и меня на мучительную смерть! Перед тобой человек, приговоренный к смерти, и от тебя одной зависит отмена приговора!

— От меня ничего не зависит, Артур. Все зависит только от Гельмута. Но Гельмут молчит — иначе они оставили бы тебя в покое. Значит, Гельмуту тайна мортина дороже жизни...

— Глупость, бессмысленное упорство, мальчишеская игра в идеалы! Я удивляюсь, как можешь ты так говорить, Агнесса. Или тебе не дорога жизнь Гельмута? Ты обязана спасти его вопреки его воле!..

— Видишь ли, Артур, я люблю Гельмута как раз за его глупость, за бессмысленное упорство, за игру в идеалы... Когда ты в последний раз видел Гельмута?

— Когда я видел Гельмута? — Леман чуть смешался.— Ты что, не знаешь? На вокзале в Бремене, когда провожал вас в Мюнхен. А что?

— Нет, Артур, я спрашиваю, когда ты видел Гельмута здесь, в Мюнхене, в замке Остермарк?

— Что ты, Агнесса...— Леман в полной растерянности отодвинулся от Агнессы вместе со стулом, на котором сидел.— Какой Остермарк? Не видел я вовсе Гельмута!

— Артур! — Агнесса с укором покачала головой.— Ты же сам говорил, что тебя подослали ко мне. Неужели они не устроили тебе свидание с Гельмутом, чтобы ты убедил его вести себя паинькой? Зачем же ты скрываешь от меня правду, Артур? От меня, от старого своего друга!

— Я боюсь их... Ты же знаешь, что это за люди... Поверь мне, это те же гестаповцы...

— Гельмут, наверное, прогнал тебя, Артур? — Агнесса улыбнулась какой-то странной улыбкой.— Ведь прогнал? Ну, вот я и угадала!

Агнесса не была искушена ни в сложных интригах, ни в чтении чужих мыслей: ею просто овладело сейчас некое вдохновение.

— Во всяком случае, он отказался открыть мне формулу мортина...

— Ну конечно, узнаю моего Гельмута... Вот что я хотела еще спросить тебя, Артур...— Агнесса помедлила.— Вот что... Сколько платят тебе за труды?

— Какие труды?

— Ну, ты понимаешь, о чем я говорю.

— Н-нет, я не понимаю тебя.

— За доносы, Артур.

Лицо Лемана передернулось, губы задрожали, он, видимо, хотел ответить что-то резкое, но не нашелся и стал терзать свой галстук.

— Ты не думай,— продолжала Агнесса ровным голосом,— я вовсе не хочу оскорбить тебя моим вопросом, нет. Меня просто интересует... цена подлости, предательства. Стоит ли, так сказать, игра свеч? Или, может, тебя запугали? Или воспользовались какой-нибудь твоей жизненной ошибкой? Мне говорили, что бывает по-разному. Некоторые предают даже по убеждению... Что же ты молчишь, Артур?

— А что я могу ответить тебе? — Леман усмехнулся.— Будь на твоем месте мужчина, я знал бы, что делать...— Он поднялся.— А сейчас мне остается только уйти и забыть о твоем, о вашем существовании... Да и жить-то мне осталось не так много, чтобы твои слова могли серьезно задеть, оскорбить меня...

— Нет, Артур, ты не уйдешь,— ласково сказала Агнесса, и было, видимо, в ее голосе нечто, побудившее Лемана послушно усесться обратно на стул.— Ты напрасно упрямишься, Артур, право же, напрасно: мне все известно. Тебя устроили в лабораторию к Гельмуту специально для того, чтобы ты следил за ним. Ты платный осведомитель американской Си-Ай-Си и нашей Федеральной разведывательной службы. Теперь-то я знаю, что это обычное дело: слежка за учеными, исследования которых имеют военное значение...

— Почему ты все это говоришь, Агнесса? Какое отношение имеет это ко мне, Артуру Леману? Не можешь же ты серьезно думать...

— Почему я говорю? — рассердилась Агнесса.— Вероятно, потому, что считаю тебя умнее, чем ты есть! Знай же: и собственными глазами читала одно из твоих донесений, адресованное твоему мюнхенскому начальству. 17 сентября прошлого года ты писал о близком завершении работы Гельмута над биолином — я не ошиблась в названии?—и в том же донесении любезно отдал дань моей скромной внешности в связи с нашей помолвкой: моей и Гельмута...

— Я всерьез начинаю думать, что ты с горя лишилась рассудка, Агнесса! Давай кончим на этом наш нелепый разговор — с меня довольно!

Но Леман не уходил; он прочно сидел на стуле, видимо в нем еще не умерла надежда оправдаться.

— Нет, Артур, я же вижу, как угнетает тебя твоя постыдная тайна! — Голос и лицо Агнессы изменились.— Я хочу по-

мочь тебе, но мне мешает твое нелепое упорство. Ну попытайся быть искренним, правдивым со мной: увидишь, Артур, тебе станет гораздо легче. Надо иметь хоть одного человека на земле, которому открыта наша душа, какой бы она ни была... Ну признайся же... Индеец! Ведь так кличут тебя в американской разведке? Если тебе и этого мало, я назову тебе и твою здешнюю агентурную кличку — Химик!.. Бедный Химик!

Это был последний, метко нанесенный удар. Артур Леман низко склонил голову и зарыдал, широко, безудержно, почти счастливо.

— Вот и хорошо,— удовлетворенно сказала Агнесса.

«ДАМЫ» И «КАВАЛЕРЫ»

Отныне Артур Леман стал «тройником»: он служил американской и федеральной разведке, но усерднее всего — Агнессе Шрамм. Это была беспредельная преданность, возможно та единственная, всепоглощающая любовь-поклонение, какую человек неожиданно открывает в себе, хотя годы жил рядом с предметом своей вдруг пробудившейся страсти. «Как же я не видел ее до сих пор? — удивлялся Леман.— Глядел — и не видел!» Агнесса внешне спокойно принимала его поклонение, но в глубине души ее пугало то чувство, которое она невольно внушила Артуру, преследуя собственную цель.

Не опасаясь вызвать подозрение своего начальства, Леман часто навещал Агнессу: он будто бы рассчитывал выманить у нее местонахождение тайных записей ее мужа или, во всяком случае, убедиться, что они не существуют и что Гельмут Шрамм действительно уничтожил их. Не сделай Артур такой оговорки, его хозяева, утратив, в конце концов, надежду на Гельмута, решились бы, возможно, похитить Агнессу, чтобы силой заставить ее выдать записи...

А пока что Леман открывал Агнессе одну за другой тайны своей двойной работы. Зная, по своей скромной должности агента-осведомителя, немного, он обнаружил незаурядную способность связывать воедино отдельные, даже незначительные факты, наблюдения, случайно оброненные фразы, даты, имена, а понимание общей политической обстановки позволяло ему строить правильные догадки о тех или иных действиях разведывательных органов.

Так, Артур Леман и Герман Ангст, разумеется порознь, сложили постепенно в представлении Агнессы и Эвелины общую картину так называемого «дела Гельмута Шрамма».

Любопытно, что Агнесса никогда не видела Германа Ангста и знала о нем лишь по рассказам Эвелины, равно как и

Эвелина не была знакома с Артуром Леманом. Таково было строжайшее условие конспирации, установленное самими женщинами. Эвелина в случае необходимости встречалась со своим «кавалером» в той же старинной церкви, а Агнесса со своим — в квартире Ирмгард Кюн, причем хозяйка на это время покидала свое жилище.

— Насколько я могу судить,— заметила однажды Эвелина,— Артур влюблен в тебя по уши и готов для тебя на все!

— Видишь ли, Эвелина,— медленно сказала Агнесса,— когда речь идет о таких людях, как Артур Леман, эти слова приобретают совсем иное содержание. Смертельно уязвленное самолюбие, любовь, готовая вот-вот обернуться ненавистью. И еще — страстная, злобная зависть к Гельмуту... Я убеждена, что он еще предаст меня, Эвелина.

— Вот уж не думаю. Какой в этом смысл: он же знает, что тебе неизвестны ни формула мортина, ни местонахождение записей Гельмута, если только они вообще существуют!

— Нет, Эвелина, химия тут ни при чем. Тут дело сложнее: придет час, и он ощутит неодолимую внутреннюю потребность предать меня. Ведь это — единственное, что способно дать ему иллюзию власти надо мной.

— Не мудри, Агнесса! — строго сказала Эвелина.— Просто у тебя не в порядке нервы.

— Ты непорочная душа, Эвелина, тебе этого не понять, а в учебниках психиатрии о таких вещах, наверное, не пишут.

— Опять о моей душе?..

— Не буду, не буду! — Агнесса встала на носки и обняла подругу.— А как Герман Ангст? Вот уж в нем-то я уверена, как в себе самой,— в этом маленьком тролле!

— Знаешь, Агнесса,— с глубокой, благоговейной серьезностью заговорила Эвелина,— порой мне кажется, что он и верно явился ко мне — к нам с тобой — из сказки. Едва ли когда-нибудь на страже добра и правды стоял такой чудный человечек. Он не только добр, но и умен, и разумен, и тверд, и деликатен. Не пойму, каким образом столько достоинств помещается в таком маленьком теле. Право, я начинаю любить его, как родного сына...

— А он тебя, как прекраснейшую из женщин... Ну, не буду, не буду! — засмеялась Агнесса.

АГНЕССА ЕДЕТ В ОСТЕРМАРК

Хотя Агнесса не позволяла себе никакой слабости, одна мысль по-прежнему искушала ее и не давала покоя. А именно, что Гельмут, ее Гельмут, находится в каких-нибудь шестидеся-

ти километрах от того места, где она в настоящее время живет, и их отделяет друг от друга всего лишь час езды на такси. Это было так странно, так невероятно, что на какой-то миг все препятствия, стоявшие на ее пути к Гельмуту, вдруг утрачивали всякое значение, и тогда казалось совсем простым и легким делом свидеться с ним, вернуть все в прежнее, счастливое положение. Кроме того, Агнесса никак не могла примириться с тем, что, в сущности, ничего не предпринимает для освобождения Гельмута, хотя ей теперь известно его местопребывание. В конце концов, его держат в заточении люди — всего лишь люди! — и почему бы ей не противопоставить их злой воле свое страстное стремление прорваться к Гельмуту, прийти ему на помощь...

— Дорогая Ирмгард,— сказала она однажды в полдень своей хозяйке,— если придет Эвелина, передайте ей, пожалуйста, что я ушла в город по важному делу и буду дома лишь во второй половине дня.

— Уж не собираетесь ли вы делать глупости? — подозрительно спросила госпожа Кюн, которой Эвелина поручила всячески опекать молодую квартирантку.— У вас что-то очень решительный вид!

— Что вы, милая Ирмгард, какие же глупости?! — чуть покраснев, улыбнулась ей Агнесса.— Просто деловое свидание...

— Ну смотрите...

Выйдя на улицу, Агнесса подозвала такси.

— Замок Остермарк... — смущенно обратилась она к водителю.— В горах...

— Остермарк? Замок? — отозвался водитель.— В горах? О таком не слыхал!

Он отъехал, и Агнесса вдруг с ужасом поняла, что и сама не знает, где находится этот таинственный замок Остермарк. Ей представлялось, что он стоит на неприступной вершине лесистой горы, в окружении высоких зубчатых стен и глубоких рвов, заполненных водой, с подъемным мостом, который опускается лишь перед сильными мира сего. И что за странная затея: проникнуть в эту средневековую твердыню на простом городском такси! Все же Агнесса еще раз попытала счастье, остановив проезжавшую мимо машину.

— Замок Остермарк, шестьдесят километров от города...

— Ос-тер-марк? — многозначительно отозвался водитель и не без удивления оглядел стоявшую перед ним молодую женщину.— Что же, можно в Остермарк. Туда и обратно?

— Туда и обратно,— обрадовалась Агнесса.

— Садитесь.

Когда машина выехала за пределы города и понеслась среди возделанных полей, густых, темных рощ, лесов и пере-

лесков, Агнесса ощутила, в каком напряжении жила она все эти страшные недели. Сейчас ей казалось, что какая-то могучая сила подхватывает ее и несет навстречу удаче и счастью.

— Остермарк... — произнес как бы про себя водитель и затем полуобернулся к сидевшей позади Агнессе: — А вам известно, фрейлейн...

— Фрау.

— А вам известно, фрау, что такое Остермарк? Вы что, едете туда по вызову или по своей воле? Простите меня, но по вашему виду... Вот я и решился спросить.

— Я по делу... сама...

— По делу... А известно вам, что Остермарк — осиное гнездо?

— Я слыхала...

— Значит, у вас случилось какое-то несчастье, не так ли?

— Да, большое несчастье.

— Несчастье... — в раздумье повторил водитель.— Тогда сделаем с вами так: я остановлю машину за два километра от замка и вы дойдете туда пешком. Вы доверяете мне, фрау?

Агнесса внимательно поглядела на водителя: это был молодой парень, вероятно ее сверстник, простое, хорошее лицо, твердый, открытый взгляд.

— Да, я верю вам.

— Вот и отлично! Давайте условимся: если вы задержитесь дольше трех, ну, четырех часов дня, то я вернусь в город и подниму тревогу. Вы скажете мне вашу фамилию и адрес?

— Конечно.

Агнесса назвалась и дала свой адрес.

— Ну вот,— парень улыбнулся,— теперь у меня на душе стало спокойнее. Люди должны помогать друг другу — ведь в этом Остермарке засели те же нацисты... Кстати, меня зовут Курт, Курт Швеллер.

— Вот вы говорите, Курт,— нацисты... А ведь до того, как со мной случилось это несчастье, я думала, что нацисты, гестаповцы — далекое прошлое: мне было всего пять лет, когда их прогнали. Если бы мне сказали, что моего Гельмута похитят — да-да, похитят, Курт! — какие-то новые нацисты, я просто не поверила бы...

— Легко ли поверить! — усмехнулся водитель.— Ведь на первый взгляд у нас в стране все гладенько, благополучно... Экономическое чудо, бундестаг, свободная борьба партий, ответственное министерство, профсоюзы, независимый суд, свобода печати — этакая либеральная демократия... И вдруг — осужденный нацист бежит из тюрьмы, откуда и мышонку не выбраться; из реки вылавливают изуродованный труп какого-

нибудь господина министра; из судебных канцелярий исчезают документы, обличающие преступную деятельность во времена нацизма крупных чиновников федерального правительства... Похоже, что наша хваленая демократия стоит на шатком основании... Ну, вот мы и приехали! Я поставлю машину в этой рощице, а вы ступайте вон по той дороге — она приведет вас прямехонько к воротам замка. Если вас спросят, как вы добрались сюда из города, скажите, что на такси, что за вами приедут... Желаю удачи!

Замок Остермарк действительно стоял на высокой лесистой горе, в окружении обветшалых от древности высоких зубчатых стен, и Агнесса устала, пока добралась по крутой извилистой дороге до массивных чугунных ворот, висевших на каменных столбах. Но ни рвов, заполненных водой, ни подъемного моста перед замком не оказалось. Маленькая женщина смело шагнула к воротам и стукнула кулачком по могучему, старинному металлу, лишь после того она заметила кнопку вполне современного электрического звонка. Но люди, находившиеся за воротами, отличались, видимо, исключительной чуткостью слуха: небольшое окошко в воротах немедленно приоткрылось и оттуда выглянуло лицо, точнее, два глаза.

— Что угодно?

— Мне нужен... хозяин замка,— растерянно отозвалась Агнесса.

— Барон фон Остермарк?

— Д-да...

— Как доложить о вас?

— Скажите... дама из Мюнхена.

— Имя, фамилия!

— Это неважно..

— Имя, фамилия?

— Агнесса Шрамм.

— Агнесса Шрамм из Мюнхена... Обождите!

Окошко захлопнулось, Агнесса осталась одна. Не сделала ли она оплошность, назвав свое имя и тем насторожив хозяев этого «осиного гнезда»? Впрочем, ей все равно неизвестно, как следует вести себя здесь и какое именно поведение вернее всего приведет к цели. И вдруг неожиданная мысль — да, неожиданная, хотя именно в этом и заключался весь смысл ее приезда сюда,— обожгла Агнессу: ведь тут, за этими воротами, быть может в десятке шагов от нее, находится Гельмут! Но при чем же тут барон Остермарк, к которому она напросилась? Имеет ли он какое-нибудь отношение к тем людям, которые похитили Гельмута и держат его здесь в заключении? Быть может, ей надо было прямо сказать, зачем именно явилась она сюда? Но тогда, возможно, ее просто не впустили бы в за-

мок и ей пришлось бы ни с чем возвратиться обратно... А впустят ли ее теперь?

Прошло не менее получаса, прежде чем перед Агнессой открылась узкая дверь, прорезанная в воротах.

— Следуйте за мной! — строго сказала пожилая, просто одетая женщина, вероятно из домашней прислуги барона Остермарка, и пошла вперед.

В ГОСТЯХ У БАРОНА ОСТЕРМАРКА

Очутившись на обширном мощеном дворе замка, Агнесса внимательно огляделась. Прямо перед ней тянулось длинное приземистое здание бывших конюшен, превращенных в гараж. Сквозь широко распахнутые двери в полутьме сверкали грузовые и легковые машины разных марок. Справа от гаража шла высокая, трехметровая стена новой, современной кладки. Слева — усыпанная гравием и окаймленная с двух сторон молодыми липками дорожка, по которой женщина и повела Агнессу. Обогнув здание гаража, дорожка вступила в густой парк, сквозь деревья которого Агнесса вновь увидела справа от себя ту же внутреннюю стену; было похоже, что эта стена делит надвое всю территорию замка...

Постепенно дорожка, все больше отклоняясь от парка, привела к трехэтажному старинному — впрочем, не старше второй половины восемнадцатого века — зданию причудливой и явно эклектической архитектуры.

— Сюда! — все так же строго сказала женщина, открывая перед Агнессой парадную дверь, ведущую внутрь здания.

В вестибюле спутница Агнессы повела ее за собой к широкой лестнице, выложенной сильно выцветшим красным сукном в многочисленных грязных пятнах. Если внутренняя архитектура, роспись и лепка стен говорили о дурном вкусе строителей замка, то современное убранство вестибюля и лестничных площадок — о не менее дурном вкусе его сегодняшних владельцев. Это обстоятельство, отмеченное Агнессой, почему-то придало ей уверенность в себе...

На третьем этаже женщина постучала в резную двустворчатую дверь, аляповато украшенную золотыми и серебряными накладками, и скромно отошла в сторону.

— Войдите!

Дверь раскрылась изнутри, на пороге показался и тут же отступил назад и в сторону высокий худой человек лет пятидесяти.

— Фрау Шрамм?

— Господин барон?

Агнесса вошла, и барон указал ей на одно из двух кресел, стоявших возле холодного камина.

— Я к вашим услугам, многоуважаемая фрау Шрамм.— Барон опустился во второе кресло.— Буду счастлив, если смогу быть вам полезен...

— Мне стало известно, барон, что на территории вашего замка насильно задерживают моего мужа Гельмута Шрамма. Я готова допустить, что лично вы не причастны к этому и немедленно примете меры для его освобождения. Именно за этим я и явилась к вам.— Она помолчала.— Я щадила ваше доброе имя, барон, и потому не прибегла к помощи прокуратуры...

— Но, фрау Шрамм, вы говорите... нечто невозможное, небывалое!..

— В таком случае, будьте добры сказать, что находится за внутренней стеной, недавно возведенной на территории вашего замка?

— За внутренней стеной? — будто в ужасе перед таким кощунственным вопросом воскликнул барон и даже воздел руки.— За внутренней стеной? Да это же государственное владение! Я не имею к нему ни малейшего отношения. Го-су-дарствен-ное! О, фрау Шрамм,— заговорил он жалостным голосом,— вы поистине вложили персты в мои отверстые раны! Древнейший, прославленный, но обедневший род баронов Остермарк! Чтобы спасти хотя бы часть нашего родового достояния, мне пришлось уступить, скажу прямо, продать — да-да, продать! — за презренные деньги почти половину территории замка. И теперь на древней земле баронов Остермарк эти люди... — барон будто в глубокой печали склонил голову,— эти люди учредили какой-то архив и охраняют его денно и нощно! Вот что находится за этой внутренней стеной, глубокоуважаемая фрау Шрамм...

Барон Остермарк явно переигрывал, словно стремился вывести Агнессу из себя, толкнуть на безрассудный поступок.

— Поверьте, я сочувствую вам, барон,— сказала Агнесса, будто не замечая его фальшивой игры.— Я вполне представляю себе, каково было вам, Остермарку, в чьих жилах течет баварская королевская кровь, быть адъютантом выскочки Кальтенбруннера, а теперь, в пожилые годы, подслуживаться к генералу-ищейке Рейнгарду Гелену! Но мало того: аристократ по происхождению и воспитанию, представитель одного из знатнейших родов Германии, вы утратили в среде нацистов, с их дурными, вульгарными манерами, все, что внушили вам в детстве...

— Что... это... значит? — Остермарк даже привстал в гневном изумлении.— Кто... дал... вам... право...

— Кто дал мне право? Вы же сами, барон! Я пришла к

вам с горем, с душевной болью, а в ответ вы разыграли передо мной заранее разученную шутовскую роль, которую поручила вам тайная полиция, расположившаяся за той стеной! — Агнесса кивнула в сторону окна.— Теперь я твердо убеждена, что мой муж находится там и что вам об этом известно. Если у вас еще осталась хоть капля совести, сейчас же проводите меня туда, к моему мужу!..

— Но, фрау Шрамм... — растерянно забормотал барон, сбитый с толку ее порывом.— От меня, право, ничего не зависит... Поверьте, если бы я мог... — Он встал с кресла и вдруг попятился назад и выставил перед собой руки: — Что? Что? Что вы мне тут сказки рассказываете? Не знаю я никакого Шрамма и знать не желаю! Уходите отсюда — нечего вам тут делать!.. Минна, Минна! — закричал он визгливым голосом.— Иди скорее сюда!

На его зов почти тотчас же явилась уже знакомая Агнессе пожилая женщина.

— Проводи госпожу Шрамм до ворот, да живее.

И барон Остермарк в полном смятении удалился из комнаты.

АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОВ

Была в характере Агнессы непримиримость, не позволявшая ей ни на дюйм отступить от того, что она считала — или признавала — своим долгом. Она вышла и от барона Остермарка с твердым убеждением, что Гельмут здесь, по всей вероятности за внутренней стеной, где, по словам барона, находится будто бы секретный государственный архив. И когда молчаливая, мрачная Минна пыталась повести непрошеную гостью прежним путем к воротам замка, Агнесса решительно свернула в парк, по ту сторону которого тянулась внутренняя стена.

— Куда? — резко крикнула Минна.— Мне приказано вывести вас за ворота!

Но Агнесса, не отвечая и не оглядываясь, продолжала шагать по парку, хотя вся сжалась от страха: именно такими, как эта Минна, представляла она себе надсмотрщиц — ауфзеерин — в гитлеровских концентрационных лагерях. Эта женщина, казалось Агнессе, способна ударить ее, избить, силой вывести за пределы замка. Но когда Минна, широко расставив руки, пыталась преградить ей путь, Агнесса все так же молча обошла ее и двинулась дальше.

— Не смейте идти туда! — кричала Минна, встав перед Агнессой.— Все равно вас не пустят! Слышите, что я говорю,— не смейте!

Но Агнесса все шла и шла, глядя прямо перед собой и обходя Минну, словно та была деревом или кустом. И вот она наконец оказалась перед высокой, глухой, свеже выбеленной стеной. Где тут ворота — направо, налево? Минна, как древний идол, расставив толстые руки, стояла справа. Значит, туда...

— Не смей, говорю тебе, не смей! — злобно приговаривала Минна, отступая перед Агнессой.

Когда они подошли к деревянным воротам, выкрашенным в яркий зеленый цвет, Минна с видом человека, выполнившего свой долг до конца, оставила Агнессу и заковыляла обратно. Агнесса поглядела ей вслед, а потом посмотрела на ворота. Она увидела небольшую вывеску, которая — золотом по белому — гласила: «Государственный архив». Кажущаяся правота барона Остермарка не смутила Агнессу: уроки, преподанные ей Артуром Леманом и Германом Ангстом, не прошли даром. Ей было известно, что филиалы федеральной разведки скрываются под самыми различными вывесками: это мог быть и магазин по торговле фруктами или кухонной посудой, и контора по продаже асфальта или дегтя. Почему же было не назваться для разнообразия «государственным архивом»?..

Победа, только что одержанная над Минной, вдохновила Агнессу, и она смело нажала кнопку электрического звонка, укрепленного под вывеской. В ответ тотчас же распахнулось окошко, и из него глянуло очень нелюбезное, хотя и не лишенное миловидности, девичье лицо и послышался грубоватый голос:

— Вам чего?

С того печально-памятного дня, когда исчез Гельмут, Агнесса привыкла делить всех людей, с которыми ее сталкивала жизнь, на «новых нацистов» и всех остальных. Так, «новыми нацистами» были для нее Винкель, доктор Шмиц, барон Остермарк, Минна, к ним же причислила она сейчас и эту девицу. У этих людей было что-то общее, и хотя Агнесса еще не определила для себя, в чем именно это «общее» состоит, она с первого же взгляда отличала их от всех прочих.

— Мне нужно видеть вашего начальника.

— Какого еще начальника?

— Есть же у вас кто-то главный...

— А вы кто такая?

— Я приехала из Мюнхена...

— Я, кажется, ясно спрашиваю: кто вы такая? Имя, фамилия?

— Агнесса Шрамм...

Агнессе показалось, что девушка взглянула на нее с любопытством, словно уже что-то знала о ней.

— Ждите!

Окошко захлопнулось, и Агнесса стала ждать. Казалось, это было точное повторение того, что час назад происходило перед главными воротами замка. Она стояла одна среди безлюдья и тишины этого враждебно затаившегося от нее мира, и ею все сильнее овладевало чувство отчаяния и безнадежности. Конечно, ее не впустят в этот «архив», и ей придется уехать, так и не узнав ничего о Гельмуте. Она не отдавала себе отчета, сколько прошло времени, когда услышала звук отпираемой двери и грубый голос той же девицы произнес:

— Входите!

Агнесса очутилась в длинной полутемной подворотне. Ее спутница молча указала на дверь, пробитую в каменной кладке, и она вошла в небольшое помещение, сходное с заводской проходной. В почти пустой комнате за простым канцелярским столом сидел человек средних лет, в роговых очках, одетый в штатский костюм. Волосы его были откинуты назад, обнажая чистый лоб, взгляд был спокойный и серьезный. Он походил не то на ученого, не то на культурного чиновника. Когда Агнесса вошла, он встал и учтиво указал ей на стул:

— Фрау Шрамм?

Агнесса утвердительно кивнула.

— Рихард Менгер, помощник директора архива,— скромно представился он.— Я вас слушаю, фрау Шрамм.

— Здесь у вас находится мой муж Гельмут Шрамм.

— Простите? — Взгляд Менгера выражал искреннее недоумение.— Среди служащих нашего архива господин Шрамм не числится...

Агнесса помолчала. Этот человек невольно внушал ей доверие, и она не знала, как вести себя с ним. А вдруг здесь и правда настоящий государственный архив, а не федеральная разведка?

— Разрешите задать вам один вопрос, господин Менгер?— сказала Агнесса.— Могу я рассчитывать, что вы ответите мне правду, святую правду?

— Можете в этом не сомневаться, фрау Шрамм.— Менгер слегка пожал плечами.— Я не дал никакого повода...

— Поверьте, я не хотела оскорбить вас, но мне так важно знать правду!

— Все, что в моих возможностях...

— Скажите, что у вас тут за учреждение? Не архив же, в самом деле?

— Фрау Шрамм,— Менгер улыбнулся ясной улыбкой,— вы уж слишком облегчили мою задачу. Могу вас уверить, что здесь помещается архив государственных актов Германии, примерно за пять последних столетий. Вот и вся правда, святая правда, фрау Шрамм!

— Значит, вы ничего-ничего не знаете о моем муже Гельмуте Шрамме? Меня уверяли, что он находится в заключении на территории замка Остермарк...

— Но, фрау Шрамм, у нас здесь не тюрьма, а научное учреждение! Пусть не покажется вам мой вопрос нескромным: что же, однако, приключилось с вашим мужем?

— Его похитили неизвестные люди...

— Похитили? Да разве это возможно в наши дни? И с какой же целью?

— Гельмут работал в области химии, представляющей военный интерес... — И тут, в упор глядя на Менгера, Агнесса с последней вспышкой недоверия спросила: — А могу я пройти на территорию вашего архива?

— Видите ли, фрау Шрамм, наш архив содержит редчайшие исторические документы, по большей части уникумы, и мы допускаем туда лишь ученых-историков, и то по особой просьбе научных учреждений. Я охотно сделал бы для вас исключение,— любезно добавил Менгер,— но наш директор уехал сегодня в Мюнхен, а делать исключение — его прерогатива. Если вы соблаговолите посетить нас в другой раз...

«Нет,— решила Агнесса,— так лгать нельзя...»

— Благодарю вас, господин Менгер, возможно, я воспользуюсь вашей любезностью.

Агнесса встала и протянула Менгеру руку. Тот, также поднявшись, задержал ее в своей.

— А как же вы доберетесь отсюда до Мюнхена? Наш гараж к вашим услугам, фрау Шрамм.

— О, не беспокойтесь, за мной из дома пришлют машину! Еще раз, господин Менгер, благодарю вас... за правду!

Агнесса направилась было к двери, но в этот момент другая дверь, выходившая на территорию архива, широко распахнулась, и на ее пороге показался... Герман Винкель.

— Слушай-ка, Рихард, дружище... — заговорил он и, видимо узнав Агнессу, вмиг осекся.

— В-вы! — выдохнула со стоном Агнесса.

Ее первым порывом было повернуться к Менгеру и потребовать ответа, но ее охватил вдруг такой жгучий стыд за него и такая горькая обида за себя, что она быстрым шагом, не оглянувшись, в слезах вышла, почти выбежала из комнаты.

ПРОКУРОР ВЫХОДИТ СУХИМ ИЗ ВОДЫ

Агнесса решила скрыть от Эвелины свою поездку в замок Остермарк: она не сомневалась, что та строго осудит ее и за самое поездку, и за то, что она не посоветовалась предвари-

тельно с ней, Эвелиной, о таком важном и рискованном шаге. Сознание, что она совершила, быть может, непоправимую ошибку, не давало Агнессе ни минуты покоя и заставляло ее измышлять все новые и все более решительные способы освобождения Гельмута. В том, что Гельмут находится именно в замке Остермарк, она более не сомневалась: об этом теперь свидетельствовало и поведение Менгера, и присутствие там Германа Винкеля, одного из похитителей Гельмута. И вот на утро, по возвращении из замка, Агнесса недолго думая отправилась на прием к прокурору земли Бавария. Сам прокурор был в отъезде, и Агнессу принял его помощник. Ее рассказ о похищении Гельмута из гостиницы «Старая Бавария» он выслушал с явным недоверием.

— Доказательства, уважаемая фрау Шрамм! — бодро и самодовольно воскликнул молодой прокурор.— Прокуратура не может принять на веру утверждение, что в нашем цивилизованном городе Мюнхене, с его отлично поставленной полицейской службой, произошло такое невероятное событие, как похищение среди бела дня человека. Предъявите полицейский акт о похищении!

— Но полиция сама содействовала этому преступлению...

— Доказательства, фрау Шрамм! — уже со строгостью повторил прокурор.—Закон сурово карает за клевету на полицию!

— Доказательства? Полицейский врач Шмиц работал в концлагере Бельзен и умертвил при помощи снотворного препарата фирмы Бауер несколько десятков заключенных женщин. Его подлинная фамилия — Ледерле, Ганс Ледерле. Он уже два десятилетия скрывается от правосудия, хотя его прошлое отлично известно его начальству. Это он объявил меня безумной и отправил в психиатрическую больницу, чтобы убрать свидетеля по делу о похищении моего мужа. Начальник полицейского управления господин фон Штриппель грозил моим друзьям всякими карами, если они не прекратят поиски Гельмута Шрамма...

По мере того как Агнесса говорила, выражение бодрости и самодовольства приметно блекло на круглощеком, румяном лице молодого прокурора. Видимо, то была лишь привычная маска, которую он натягивал на себя всякий раз, когда приступал к исполнению своих служебных обязанностей.

— Доказательства!

На этот раз прокурор произнес свое любимое словечко с оттенком мрачной угрозы.

На деле он вовсе не стремился получить доказательства того, что доктор Шмиц является бывшим лагерным врачом Гансом Ледерле, убийцей заключенных женщин, или что полицейский начальник фон Штриппель пытался замять дело о

похищении ученого-химика Гельмута Шрамма. В первом случае ему наверняка грозил бы выговор от главного прокурора за «вредную инициативу», во втором же он с трусливым трепетом чуял то, что мысленно именовал «духом Пуллаха».

— Какие же вам нужны доказательства? — спросила Агнесса.— Я располагаю сведениями из первоисточника и могу...

— Нет-нет! — прокурор сделал испуганный, отстраняющий жест рукой.— Не торопитесь, прошу вас, не торопитесь, многоуважаемая фрау Шрамм! Я обязан предупредить вас об ответственности, какую вы принимаете на себя, называя имена и фамилии, ссылаясь на те или иные обстоятельства, обвиняя живых людей в тех или иных дурных проступках или преступлениях!

Первоисточник... Кто скажет, что разумела под словом «первоисточник» эта маленькая бесстрашная фрау Шрамм! А что, если она столкнет сейчас прокурора с самим Рейнгартом Геленом в лице его бесчисленных креатур? Или же с одной из могущественных тайных неонацистских организаций, с этой подлинной мафией Федеративной Германии? Стоит ей произнести еще хотя бы одно слово — и перед прокурором, возможно, закроется последняя лазейка, через которую он мог бы ускользнуть в безответственность.

Конечно, Агнесса сразу заметила настороженную недоверчивость прокурора, но нашла ее вполне естественной: государственная власть в его лице обязана быть настороже, чтобы отличить истину от лжи, справедливое обвинение от злостного навета.

— Я вполне сознаю свою ответственность, господин прокурор,— в тон ему заговорила Агнесса,— и опираюсь исключительно на факты и документы. Так, мне достоверно известно, что преступники, похитившие моего мужа, увезли его в замок барона Остермарк, и там...

Это был наихудший из всех вариантов, какие только мог представить себе прокурор. Замок барона Остермарк! Секретнейший филиал ведомства генерала Гелена! И ему, помощнику прокурора, скромному государственному чиновнику, официально заявляют о преступном похищении и заточении в замке Остермарк ученого-химика Гельмута Шрамма. Нет, он не слышал, не имел права слышать то, что произнесли сейчас уста этой фрау Агнессы Шрамм! А может, она и в самом деле безумная, как это удостоверил, по собственным ее словам, полицейский врач, и вся история с похищением Гельмута Шрамма — плод ее расстроенного воображения?..

— Простите, фрау Шрамм,— очень строго произнес прокурор, уставившись на Агнессу пристальным, почти гипнотическим, как ему казалось, взглядом.— Если не ошибаюсь, вы на-

ходились некоторое время на излечении в мюнхенской психиатрической больнице?

Агнесса молча достала из сумочки справку, выданную доктором Шмицем, и протянула ее прокурору.

— Так-так... Но доктор Шмиц, о котором вам будто бы известны некоторые компрометирующие его данные, подвергся, видимо, известному моральному давлению... Помимо того, согласитесь, что душевноздоровые люди не имеют надобности носить при себе такого рода бумаги... Все это наводит меня на мысль, что ваши жалобы и обвинения... — Прокурор встал из-за стола.— Словом, я должен навести о вас некоторые справки. Сама странность, даже неправдоподобность ваших утверждений обязывает меня...

Прокурор позвонил, и на пороге его кабинета почти тотчас же возникла секретарша: то была фрейлейн Гертруда Якобс.

— Проводите, пожалуйста, фрау Шрамм.

— О, Трудхен! — воскликнула Агнесса.— А я и не знала, что ты...

— Прошу вас! — резко прервала фрейлейн Якобс, шагнула к выходу и широко распахнула перед посетительницей дверь.

Дома Агнессу ожидала бледная, взволнованная Эвелина.

— Тролль только что узнал, что сегодня ночью Гельмута увезли из Остермарка.

— Куда?

Эвелина молча пожала плечами.

— Это я, я виновата!

— Ты ездила в Остермарк?!

— Да...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НОВОСЕЛЬЕ ГЕЛЬМУТА ШРАММА

Дело о похищении Гельмута Шрамма постепенно приобретало все более сложный, запутанный характер, какой присущ будто бы лишь литературным произведениям детективного жанра. Действительно, ни один детективный роман, какой бы сильной фантазией ни обладал его автор, не в состоянии ни угнаться за хитросплетениями живой жизни, ни превзойти ту профессиональную изощренность, какая присуща операциям современных разведок, оснащенных вековым опытом и тончайшими достижениями техники. Дело Гельмута Шрамма, по крайней мере поначалу, отличалось как раз

исключительной простотой оперативного замысла. Похитить ученого, чтобы завладеть его научным открытием,— рядовая, банальная операция, каких немало насчитывается на совести западных разведок, и прежде всего американской Си-Ай-Си. Но на этот раз операция оказалась значительно сложнее, чем рассчитывали ее инициаторы. Глубокая преданность и любовь Агнессы Шрамм к своему мужу, душевная высота Эвелины Петерс, непримиримая ненависть маленького Германа Ангста ко всем видам и разновидностям фашизма, а главное, твердость духа самого Гельмута Шрамма — все это поставило «операцию» на грань провала...

Конечно, Гельмут не мог знать, что Агнесса побывала в замке Остермарк, и потому не понимал, какая причина побудила их переселить его в новое помещение. Так или иначе, но однажды утром Гельмут проснулся в сравнительно большой, светлой, странно круглой комнате, обставленной удобной современной мебелью. Однако сама комната являла такой же старинный, замковый вид, как и та, прежняя: высокий, сводчатый потолок; стены, сложенные из крупного, тесаного, чуть замшелого камня, источавшего сырость; высоко, под самым потолком, расположенные стрельчатые окна, открытые в синее небо и более всего походившие на бойницы. Замковая башня? По всей вероятности, так...

Первой мыслью Гельмута было, что его переместили в пределах того же здания, предварительно одурманив каким-либо снадобьем, подмешанным в пищу: он и сейчас еще находился в полусонном состоянии. Но по мере того как он приходил в себя, из глубин сознания стали всплывать на поверхность неясные воспоминания, точнее, обрывки, клочки воспоминаний, связанные с чисто физическими ощущениями. Вот его несут куда-то: он явственно слышит слитный топот ног и чей-то сердитый, повелительный голос; затем непривычно свежий воздух холодит его лицо; его слух оглушает странно-сильный, ревущий звук: похоже, что запустили пропеллер самолета; после того — забвение, сквозь которое он ощущает лишь легкую вибрацию всего тела, создающую приятное чувство невесомости. Но вот вибрация кончилась, будто ее выключили, к нему снова вернулась утраченная тяжесть, и этот резкий переход, помнится, был ему неприятен. Опять его несут куда-то, теперь уже сквозь знойный, душный, чуть не обжигающий воздух, насыщенный ароматами знакомых трав, деревьев, цветов; тот же воздух и здесь, в этой башенной комнате, лишь охлажденный камнем. Далее — знакомое ощущение быстрой автомобильной езды, и опять, топоча ногами, несут его какие-то люди, и опять слышится чей-то резкий, повелительный, хотя и приглушенный, голос. И вот, наконец, он приходит в себя на этой

опрятной, мягкой постели: на чистых хрустящих простынях, под легким шелковым одеялом...

Ясно, его доставили сюда на самолете. Но где же он находится? Гельмут невольно перевел взгляд на высокие, узкие окна, открытые в синее небо. Это не Германия, такого неба нет ни в одном самом южном уголке его родины; нет и такого воздуха, что густыми, благоуханными волнами вливается сейчас в комнату сквозь окна-бойницы. Да и стали бы о н и перевозить его на самолете, если бы он оставался в Германии! Но где же все-таки находится его тюрьма? В Испании? В Аргентине? В Бразилии?

Вероятнее всего, в Испании. В самом деле, откуда взяться феодальному замку в Аргентине или Бразилии, в странах, захваченных европейцами лишь в новое время? Испания со всех точек зрения наиболее правдоподобный вариант. Известно, что страна эта — истинный рай для бывших нацистов: здесь они пользуются покровительством самого каудильо, полуфеодальной испанской знати, высшего католического духовенства. Здесь у них свои опорные пункты, коммерческие и промышленные предприятия, эсэсовские и даже гестаповские штаб-квартиры, перебравшиеся сюда накануне разгрома третьего рейха. Очевидно, его исчезновение получило в Германии огласку, и о н и сочли за лучшее убрать его оттуда и водворить в один из тайных своих притонов в глухой испанской провинции...

Гельмут поднялся с кровати и с удивлением обнаружил, что на коврике стоят его начищенные до зеркального блеска ботинки, на специальном деревянном подставе висит свежеотутюженный костюм, а на старинной каменной скамье расположились два его чемодана. Какая трогательная заботливость! Видимо, те, от кого зависит его судьба, убедились, что угрозами от него ничего не добиться, и решили действовать более мягкими методами. Раз так — ему следует теперь быть вдвойне и даже втройне настороже. Ознакомившись со своим новым жилищем, Гельмут убедился, что оно, во всяком случае, обладает теми минимальными удобствами, которые делают пребывание в нем если и не слишком приятным, то вполне терпимым. Он с удовольствием помылся под краном ледяной водой, побрился электрической бритвой, оделся и принял, наконец, тот вид, который обычно называл про себя «внешней оболочкой Гельмута Шрамма». Оглядев себя в зеркале, вмонтированном в платяной шкаф, он довольно улыбнулся — едва ли не впервые за время своей неволи.

О, как же он сразу не приметил эти полки, битком набитые новыми и новейшими книгами по химии на немецком, французском, английском и русском языках! Тут имелись и комплекты основных химических журналов вплоть до послед-

них номеров. Особенно полно была представлена русская химия, притом все ее разделы. Как хорошо, что в свое время он изучил русский язык, по крайней мере настолько, чтобы свободно читать советскую химическую литературу...

Гельмут с давно не испытываемым чувством радости уселся за рабочий стол, на котором чьей-то щедрой рукой были разложены всевозможные письменные принадлежности, и углубился в чтение. Да, скучать здесь ему, во всяком случае, не придется...

— Войдите!

Ну, это уже чрезмерная вежливость: просить у заключенного разрешения войти. И какой деликатный стук!

Ключ со звоном повернулся в замке, тяжелая дверь, толщиной чуть не в полметра, со скрипом и визгом уступила чьему-то усилию, и на пороге показались два человека. Испанцы? Аргентинцы? Бразильцы? Ну, один-то, оставшийся стоять у двери, с револьвером, небрежно засунутым за пояс, во всяком случае, немец,— в этом он не может ошибиться! Другой — молодой, смуглый, черноусый, с озорными, разбойничьими глазами, явно южного типа — шагнул в комнату, неся на вытянутых руках поднос, уставленный разной снедью. Осторожно опустив поднос на небольшой круглый стол, он сделал в сторону Гельмута приглашающий жест, затем, не сводя с узника глаз, попятился спиной к двери.

— Кто вы такие? — громко и властно спросил Гельмут по-немецки.— Что это за дом? В какой стране я нахожусь?

Молчание.

— Знайте же: я — Гельмут Шрамм, ученый, химик из германского города Бремена! Меня насильно привезли в вашу страну и заточили в этом замке! Вы ответите за это преступление наравне с вашими хозяевами!..

Молчание. На всякий случай Гельмут повторил эти слова по-французски, затем по-английски; испанского он не знал. Ему показалось, что «эсэсовец», стоявший у порога, чуть заметно усмехнулся. Ясно, он все понял, но вступать с узником в разговоры ему, видимо, не положено. Замкнув дверь, оба посетителя удалились.

Так начался для Гельмута первый день в новом месте его заключения.

СНОВА МИСТЕР СМИТ

Едва Гельмут завершил свой завтрак, как снова послышался стук в дверь. На этот раз Гельмут решил промолчать: ему хотелось проверить, насколько серьезно считаются с ним хозяева замка. Увы, стук не повторился. Дверь медленно, с ду-

шераздирающим визгом повернулась на ржавых петлях, впустила уже знакомого Гельмуту мистера Смита и вновь закрылась.

— Здравствуйте, господин Шрамм!

— Здравствуйте, господин Смит. Вы что же, следуете за мной по пятам?

— Что делать, ваше бессмысленное упорство причиняет мне немало хлопот... Разрешите сесть?

— Садитесь. Уж не рассчитываете ли вы, что здесь, в Испании, я стану более сговорчивым?

— В Испании? — Смит пожал плечами, как человек, который слышит явную нелепость.— Почему в Испании? В прошлый раз вы вообразили, что находитесь в Америке...

— Не пытайтесь ввести меня в заблуждение, Смит. Почему в Испании? Да потому, что в Германии мои друзья напали на мой след и вы сочли за лучшее переправить меня на самолете в Испанию. Мы беседуем с вами сейчас в одном из замков, принадлежащих здешним пособникам нацистов...

— Допустим на минуту, что ваше умозаключение правильно,— холодно отозвался Смит.— Но в этом случае вам следует сделать и дальнейший вывод: уж теперь-то вы целиком в нашей власти и все, что вам остается,— это подчиниться нашим требованиям.

— Я сделал для себя другой вывод.

— Видите ли, Шрамм, я убежден, что единственный источник так называемого бесстрашия — недостаток воображения. В прошлый раз вы рассердились на меня, когда я сообщил вам о действиях некоторых наших единомышленников. Увы, мы и в дальнейшем не сможем удержать тех, кто настаивает на самых жестоких и решительных мерах...

— Можете не повторяться, Смит.— Гельмут встал.— Я уже тогда понял, с кем имею дело.

— Но вы же сами избрали свой жребий... — Смит остался сидеть, видимо, он еще не сказал своего последнего слова.— Надеюсь, вы удовлетворены вашим новым жилищем?

— Вполне.

— Быть может, у вас имеются какие-либо просьбы, пожелания?

— Не знаю, кому я обязан этим,— Гельмут указал на полку с книгами,— но если позволите, я представлю дополнительный список книг и журналов. За последние полтора года, увлеченный своей работой, я не имел времени следить за развитием некоторых разделов химии, прежде всего советской...

— Мы как раз выписали для вас из России всю новейшую химическую литературу, она уже прибыла и будет вам сегодня доставлена. Кстати, какого вы мнения о советской химии?

— Самого высокого.

— Вот как — это для меня неожиданность!.. Об их военной химии?

— Я не считаю, что военная химия — особый раздел химической науки. Военная химия — это всего лишь использование тех или иных достижений химии для военных целей.

— Понятно. Но раз вы поставили советской химии такой высокий балл, следовательно...

— Совершенно верно,— подтвердил Гельмут.— Но я не думаю, чтобы они собирались вести химическую войну.

— Не думаете? — Смит помолчал, склонив голову и как бы взвешивая слова собеседника, затем резким движением вскинул на него глаза.— Вы что же, верите в их хваленое миролюбие?

— Видите ли, Смит, я считаю, что для них война, равно ядерная, химическая, бактериологическая,— нелепость, бессмыслица. Да-да, совершенная бессмыслица! Они имеют у себя дома все, что им надо, чтобы прекрасно устроить свою жизнь. Это же не просто государство, это целый материк!.. Зачем им война? Что способна она принести им даже в случае победы? Разрушения? Задержку в развитии? Нет, им война не нужна, и, когда они утверждают это, я верю их искренности...

— Ну, а нам?.. Зачем, по-вашему, нужна нам война? Как вы думаете?

— По-моему? — Гельмут пожал плечами.— По-моему, и вам, Соединенным Штатам, война ни к чему. То есть вам лично война, может быть, и нужна: вы же профессиональный убийца, Смит. Вы и сюда явились затем, чтобы угрожать мне пытками и смертью, если я откажусь снабдить вас самым дешевым и эффективным средством для уничтожения сотен миллионов людей...

— Вы заблуждаетесь, Шрамм! — Смит с достоинством откинул свою круглую голову.— Я не убийца — я политик, и не моя вина, если современная политика требует миллионы трупов и реки крови! Так уж сложилась судьба человечества, что сейчас оказались друг против друга две силы: мы и они! Западная цивилизация или коммунистическое варварство! Вы в ужасе воздеваете руки при мысли о разрушениях, угрожающих миру, потому что не умеете распознать их близнеца — созидание! Вы воспитаны на отжившем, старомодном гуманизме и готовы отступиться от великого наследия ваших предков, лишь бы избежать войны. Неужели вы не способны подняться над собой, преодолеть ту убогую мораль, в которой вас воспитала ваша мещанская семья,— вы, сын народа, давшего миру великого Гитлера?..

— «Великого Гитлера»?.. — с презрением повторил Гель-

мут.— На этом можно и закончить наше собеседование, мистер Смит.

— Я не хочу, чтобы вы поняли меня ложно, Шрамм. Конечно, ваш Гитлер был лишь великим предтечей, слепым оракулом, указавшим человечеству путь, и на наши с вами страны, на наше положение, на нас с вами легла задача...

— Довольно, Смит, я больше не буду вас слушать!

— Как вам будет угодно,— примирительно сказал Смит.— Но прежде чем уйти, я хочу попросить вас об одном одолжении. Вы догадываетесь, с какой целью снабдили мы вас новейшей химической литературой?

— Нет.

— Скажу прямо: нам необходимо узнать, есть ли у русских нечто подобное вашему мортину. Мы понимаем, конечно, что химия поражающих веществ — дело глубоко секретное и русские не станут открыто писать о своих достижениях или неудачах в этой области. Но вы — именно вы, Шрамм! — сможете, без сомнения, в ы ч и т а т ь из их специальных книг и журналов, как далеко подвинулись они на этом пути. Ведь тут прежде всего требуется известный уровень развития химии, определенных ее разделов. Не так ли?

— Если вас способен удовлетворить общий ответ, то я уже сейчас могу сказать вам: такого уровня советская химическая наука достигла лет восемь — десять назад. Другой вопрос: пошли ли советские ученые по тому пути, который привел меня к созданию мортина?

— Именно это мы и хотели бы знать.

— Задача нелегкая, но я попытаюсь...

— Благодарю вас, господин Шрамм,— с неким подобием чувства сказал Смит.— И наконец, последнее. Не нужен ли вам помощник, который выполнял бы для вас всю, так сказать, черную работу: проглядывал бы тексты, подбирал бы цитаты. У нас имеется подходящий человек, к тому же он ваш соотечественник.

— Вы хотите приставить ко мне шпиона? Ведь для подобной работы пригоден лишь человек, знающий химическую формулу мортина. Нет, я обойдусь без помощника!..

СООТЕЧЕСТВЕННИК

Одна тайная мысль руководила Гельмутом, когда он дал согласие на предложение Смита: если выяснится, что русские владеют секретом изготовления вещества, близкого по своим свойствам мортину, то самая идея химической войны окажется в таком же тупике, как идея войны ядерной. Ну, а если он,

Гельмут, убедится, что русские отстали в производстве поражающих материалов или же вовсе пренебрегли этой отраслью химической науки?.. Что ж, у него еще хватит времени решить, как повести себя в этом последнем случае. Так или иначе, но предложение Смита кладет конец его вынужденной бездеятельности. Теперь, даже находясь в заключении, он снова сможет принять участие в общей жизни: от его труда, от его разума, от его воли будет в этом мире что-то зависеть...

Опять стук в дверь! И опять, не дождавшись отклика, кто-то бесцеремонно вторгся в его жилище. Сначала показалась тележка, доверху груженная книгами, за ней кативший ее молодой «испанец», который приносил ему утром еду, а следом за ним и «эсэсовец». Пока «испанец» молча выкладывал книги на рабочий стол Гельмута, «эсэсовец» сторожил у порога. Наконец оба удалились, но прежде чем закрыть за собой дверь, они впустили в комнату нового, незнакомого Гельмуту человека.

— Добрый день, господин Шрамм! — обратился к нему посетитель по-немецки.— Разрешите представиться: Густав Штубе из Мюнхена.

— Что вам от меня надо? — хмуро отозвался Гельмут, не вставая из-за стола.— Зачем вы меня беспокоите?

Посетитель был примерно одних лет с Гельмутом. Худой, среднего роста, белокурый, с высоким, узким лбом, прямым тонким носом с нервно подрагивающими крыльями и с удивительно маленькими черными глазами, сидящими в глубине глазниц. Не отвечая Гельмуту на его резко поставленный вопрос, Густав Штубе подвинул ближе к столу кресло и уселся в него.

— Вы спрашиваете, что мне от вас нужно? — неторопливо заговорил Штубе.— Об этом вы сейчас узнаете. Во всяком случае, я ваш доброжелатель, как ни банально звучит подобное определение. Что касается моей специальности, то мы с вами до некоторой степени коллеги: я химик, хотя и недоучившийся. Вам предложили взять меня в помощники, но вы отказались, справедливо полагая, что в моем лице в ваше скромное жилище проникнет шпион...

— Однако это не помешало вам...

— Да, это не помешало мне пренебречь вашим запретом и свести с вами знакомство. Мои побуждения? Как-никак мы оба с вами — немцы, и к тому еще сверстники. Разве это не достаточное основание для знакомства?

— Нет, не достаточное. Немцы, знаете ли, бывают разные.

— Ну, в вашем положении выбирать не приходится, Шрамм. Ведь я явился сюда для того, чтобы помочь вам, более того — спасти вас от верной гибели.

— Вы лжете, господин Штубе, вы явились сюда не по своей воле: вас подослали негодяи, которые держат меня в заключении.

— Разумеется, так. Но из этого вовсе не следует, что я желаю вам зла. Совсем напротив, я хочу спасти для нашей Германии молодого, многообещающего ученого Гельмута Шрамма! Слушайте же меня, Гельмут Шрамм! — Штубе чуть приподнялся в кресле и воздел руку, как бы призывая к вниманию.— У этих людей нет от меня тайн, я связан с ними на жизнь и на смерть. Знайте же: они решили убить вас, если вы не откроете им тайну вашего мортина!

— Мне это известно, господин Штубе.

— Но они убьют вас, даже если вы откроете им формулу мортина!

— И это мне известно, господин Штубе,— намеренно спокойным голосом сказал Гельмут: его раздражал крикливый пафос посетителя.

— И все же у вас есть выход...

— Выход? Вы же сами говорите: они решили убить меня и в том и в другом случае.

— Да, но есть третий, спасительный вариант! Пойти с нами, всем сердцем, всей душой принять нашу великую доктрину! Пусть вашим вкладом будет созданное вами идеальное химическое оружие! Мы поднимем вас на такую высоту...

Гельмуту было всего семь лет, когда труп Гитлера облили бензином и сожгли во дворе имперской канцелярии в глубокой воронке, образованной взрывом русской мины. Но из чужих рассказов и прочитанных книг у него создалось свое собственное отчетливое представление о бессмысленно-выспренней, оглушающей манере нацистов внушать людям ненависть и отвращение ко всему истинно высокому и светлому. И сейчас в голосе этого молодого немца, его сверстника, почудился Гельмуту отзвук тех истошных речей, которые целых тринадцать лет терзали слух и душу немецкого народа...

— Замолчите, Штубе,— с трудом сдерживая себя, прервал посетителя Гельмут.— Я уже сказал вам: предпочитаю смерть.

— Что ж, дело ваше,— холодно и враждебно сказал посетитель.— А вы отдаете себе отчет в том, что это такое—смерть? Смерть — это значит, что вас никогда и нигде не будет... Никогда и нигде... Вдумайтесь в эти слова, Шрамм! Вы скажете— такова судьба всего живого. Но это общие рассуждения, а дело идет о вашей смерти! О в а ш е й, Шрамм!

Лицо Густава Штубе побелело и задергалось тиком, под левым глазом задрожал какой-то мускул, в чертах проступило как бы безумие, и казалось, он вот-вот забьется в припадке.

— Знайте же: когда придет срок, они убьют вас и труп ваш

выбросят на дорогу, как если бы вы стали жертвой автомобильной аварии,— говорил Штубе ровным и вместе с тем странно вздрагивающим голосом.— И вот представьте: ваш мозг лежит на свинцовом столе прозекторской, тут же сердце, печень... Это вас — вас, Гельмут Шрамм! — потрошат после смерти. А за широким окном стоят белые облака, жаркая тишина летнего воскресного полдня. Все разъехались по дачам... Чего стóят в этом свете, Шрамм, все ваши «моральные принципы»?! Словесная труха, не более того...

Гельмут невольно содрогнулся, и не потому, что его ужаснул образ смерти — его, Гельмута, смерти! — нарисованный Густавом Штубе. Нет, этот молодой человек был так бесконечно далек от всего того, чем и во имя чего жил Гельмут, что не мог задеть его. Его ужаснула самая фразеология Штубе, его речь, выработанная в застенках гестапо и рассчитанная на слабый человеческий дух, колеблющийся между верностью и предательством. Значит, не канула в вечность, не испепелилась в бензиновом костре эта гнусная человеческая формация, возникшая в Германии в начале тридцатых годов!

Конечно, он мог прогнать этого Штубе, но ему не хотелось давать волю гневу или раздражению: его положение узника, предстоящие ему испытания обязывали его к выдержке.

— Смерть, умирание... — отозвался он небрежно.— Эту работу, в конце концов, придется проделать каждому, в том числе и вам, Штубе. Послушайте-ка, приходилось вам когда-нибудь слышать такую фамилию — Кант? Иммануил Кант?

— Кант? Это кто такой?

— Один старый немец, умерший более полутораста лет назад. Ему принадлежит фраза, которая на пороге моей юности определила всю мою духовную жизнь. Вот эта фраза: «Чем дольше я живу в этом мире, тем больше дивлюсь двум вещам: звездному небу надо мной и нравственному закону во мне». Это и есть мой ответ на ваше предложение, Штубе!

— Все декламируете? — с нескрываемым презрением произнес Штубе.

— Декламирую, Штубе. А теперь отправляйтесь к вашему Смиту...

— К Смиту? Это кто же такой?

— Американец, который удостаивает меня своими визитами.

— Вот вы о ком! Да он вовсе не Смит, а Листер, Генри Листер, один из воротил общества Джона Берча, апостол химической войны!

— Как? Тот самый Листер, один из идеологов североамериканских нацистов?

— Вот именно, тот самый Листер! Быть может, вас инте-

ресует, где вы находитесь? В Испании, мой друг, в железных руках СС! Вот уж, верно, не думали, что такое возможно двадцать лет спустя после крушения третьего рейха и процесса в Нюрнберге? А? То ли еще будет!..

«Так откровенничают лишь с тем, кто обречен на смерть»,— сказал себе Гельмут по уходе Штубе, уселся за рабочий стол и углубился в книги.

АГНЕССА НА УЛИЦАХ МАДРИДА

Агнесса прилетела в Мадрид ранним воскресным утром — в городе еще стояла прохлада — и прямо с аэровокзала решила ехать по адресу, который ей дала Эвелина.

— Эмбахадорес,— сказала она водителю такси.

— Улица? Дом?

— Эмбахадорес.

По настойчивому указанию, полученному от Эвелины, Агнесса не должна была называть водителю адрес, по которому она направлялась, и ей предстояло самой отыскать в Эмбахадоресе — рабочем квартале Мадрида — нужную улицу и дом.

Водитель пожал плечами — мало ли какие странности бывают у пассажиров, к тому же иностранцев! — и машина тронулась. В том смятении, в каком находилась Агнесса все последние дни, она не испытывала ни малейшего интереса к испанской столице, через которую мчалась машина. Погруженная в тревожные мысли, она вздрогнула от неожиданности, когда водитель, резко затормозив, воскликнул:

— Эмбахадорес!

Агнесса уплатила по счетчику и собиралась было выйти из машины. Вдруг водитель, глядя перед собой, негромко обратился к ней на ломаном французском языке, полагая, видимо, что этот язык скорее знаком иностранке, чем испанский:

— За вами следят. Я вижу в зеркальце машину, которая преследует нас от аэровокзала... Первый двор по этой стороне улицы проходной. Сверните туда, и вы попадете в переулки. Там они вас потеряют. Торопитесь...

— Благодарю вас.

Право, ей везет на водителей такси: вот уже второй принимает доброе участие в ее судьбе...

Агнесса быстро достигла указанных ей ворот, и вот она уже почти бегом пересекает обширный двор, густо населенный беднотой. Множество детей, одетых в лохмотья, играют на замусоренной земле в свои нехитрые игры; на ржавых до красноты железных балконах, лепящихся к грязным, источенным сыростью стенам, развешано для просушки дешевое, яркоцветное,

застиранное белье; двор изрыт землянками — в этих импровизированных квартирах ютятся, видимо, безработные. Вся эта картина промелькнула мимо Агнессы со скоростью киноленты. Затем сквозь другие ворота она выбегает в узкий переулок, уставленный такими же золотушными домами и домиками. Дальше, дальше! Переулок за переулком — целый лабиринт переулков, из которого Агнесса выбирается наконец на какую-то улицу, где уже можно затеряться в толпе прохожих. Она заходит в крохотное, на несколько столиков, пустое кафе и произносит по-испански слово «кофе». Ей необходимо спокойно посидеть, прийти в себя, успокоиться. Имитируя спокойствие, она мелкими глотками пьет кофе, поданное ей юной, лет пятнадцати, официанткой, и напряженно размышляет, как быть дальше. Она чувствует себя очень одинокой и несчастной в этом большом и враждебном городе, куда прилетела по следу мужа: Леман и Ангст согласно утверждали, что Гельмута увезли в Испанию. Слежка за ней, Агнессой, подтверждает правильность этих сведений...

Одна, без знания языка, в чужом городе, где полиция уже извещена о ее приезде и, видимо, о той цели, которая привела ее сюда. Как отыскать людей, к которым ее направили? Кого спросить, где находится та улица и тот дом, в котором живут эти люди, и в то же время не навести полицейских ищеек на их след? Агнесса глотает кофе, с трудом удерживаясь от слез; ей страшно покинуть это маленькое, уютное кафе и выйти на опасный простор испанской столицы. Она так устала от всех злоключений последних недель, от горестного страха за Гельмута, от неравной борьбы с неведомым и могущественным противником, от постоянного внутреннего напряжения, уже толкнувшего ее раз на ложный шаг, который, быть может, ухудшил положение Гельмута. Но распускаться нельзя, надо крепко держать себя в руках: сейчас все зависит от ее самообладания...

Агнесса подзывает юную черноглазую официантку и, беззаботно улыбаясь, показывает ей записку, на которой Герман Ангст написал адрес своих испанских друзей.

— Где? — спрашивает Агнесса по-испански; это одно из тех слов, которые она вызубрила перед отъездом.

Девушка быстро и охотно, с оживленными жестами, говорит что-то в ответ, но Агнесса не понимает ее и, продолжая улыбаться, отрицательно мотает головой.

— О! — восклицает девушка, хватает записку и выбегает в заднее помещение кафе.

Агнесса с ужасом смотрит ей вслед, но не проходит и полминуты, как девушка возвращается обратно, ведя за собой пожилого, очень толстого испанца в белом поварском колпаке,

со смугло-оливковым цветом лица и черными, круглыми, как маслины, глазами. Девушка странным образом похожа на него, и Агнесса решает, что это ее отец, владелец маленького кафе. Держа в толстых пальцах заветную записку, испанец с любезным видом подходит к Агнессе и обращается к ней на хорошем французском языке:

— Мадам интересуется, как пройти по этому адресу?

— Да-да...

— Нет ли тут какой-нибудь ошибки? Известно ли мадам, что на этой улице обитает лишь грязный рабочий сброд?

— Эмбахадорес? — говорит Агнесса.

— Совершенно верно — Эмбахадорес! — радостно подтверждает толстяк.— Я вижу, мадам неплохо подготовилась к путешествию по нашей столице!

— Во всяком случае,— отвечает Агнесса,— мадам отдает себе полный отчет в том, куда и к кому она идет: в Эмбахадорес живут родные ее старой служанки, которая просила мадам навестить их и передать кое-какие подарки...

— О, мадам, вероятно, очень добра, если снисходит к таким людям...

Мадам приехала в эту прекрасную страну как туристка и не считала возможным отказать своей старой служанке в таком маленьком одолжении...

— Но, быть может, мадам позволит, чтобы моя Игнасия проводила мадам, это не так далеко отсюда...

— Нет-нет,— решительно говорит Агнесса и встает.— Я не имею права лишать ваше кафе единственной официантки...

— Ну хотя бы до угла,— настаивает толстяк.— А там Игнасия покажет вам, как пройти...

— Благодарю вас,— соглашается Агнесса и берет из толстых пальцев испанца записку Германа Ангста; в конце концов, ей даже лучше показаться на улице вместе с юной испаночкой, это может сбить с толку полицейских ищеек, если они еще гоняются по городу за одинокой иностранкой.— Идемте, милая Игнасия!

Они выходят вдвоем из дверей кафе и сразу вступают в пестрый людской поток. Девушка неумолчно болтает, вставляя в свою речь, в надежде быть понятой, отдельные французские слова. Она поминутно указывает Агнессе на какие-то здания, чем-то, видимо, примечательные; на проходящих мимо военных в каких-то странных фуражках — каскетка с козырьком, приподнятым сзади,— восхищенно шепча при этом в самое ухо Агнессы: «Гуардиа сивиль»; с милой усмешкой — на людей в черных сутанах; с кокетливой жалостью — на юных студентов, одетых зачастую как оборванцы: в драные брюки и в сандалии на босу ногу.

— О,— сочувственно восклицает Игнасия,— у нас так дорого стоит учиться!

В своей озабоченности Агнесса обратила внимание лишь на важно ступающих представителей гуардиа сивиль — гражданской гвардии — этой главной опоры жестокого режима генерала Франко, испанских эсэсовцев, о которых ей уже приходилось читать и слышать. Каждый из них, казалось ей, так или иначе, причастен к судьбе Гельмута, повинен в ее, Агнессы, несчастье. Но она лишь скользит по ним взглядом, чтобы не обратить на себя их внимание; она то и дело одергивает Игнасию, убеждая ее жестами вести себя более скромно, но девушка то ли не понимает свою спутницу, то ли не может ничего поделать с собой и все говорит, говорит, сопровождая чуть ли не каждое слово страстной жестикуляцией...

АРТУР ЛЕМАН ИДЕТ ПО СЛЕДУ

— Агнесса!

Это восторженно восклицает некий молодой человек, и ошеломленная Агнесса не сразу понимает, что перед ней Леман, Артур Леман.

В первое мгновение Агнесса испытала чувство радости, почти счастья — наконец-то свой, родной человек! Но немедленно вслед за тем, едва это чувство успело оформиться, ее охватил гнев.

— Да-да, Агнесса! Что тебе нужно от меня? Зачем ты меня преследуешь? Который из твоих хозяев подослал тебя ко мне?

— Но, Агнесса, я же...

— Помолчи!

Она ласково взяла Игнасию за руку и на какой-то смеси испанского и французского дала ей понять, что ее миссия окончена. Впрочем, девущка и сама догадалась об этом: она жестами показала Агнессе дорогу — прямо, потом направо, потом налево, потом опять направо,— поцеловала ее, словно клюнула в щеку, и побежала прочь.

Агнесса с грустью поглядела ей вслед, затем повернулась к Леману.

— Где Гельмут? — спросила она коротко и резко.

— Я не знаю пока...

— Но он здесь, в Испании?

— Конечно, я же говорил тебе... А меня направили сюда по твоему следу. Сюда же явились и другие... Ну, те, что связаны с делом Гельмута.

— Кто они такие?

— Я не знаю пока...

— Не знаешь пока? Если ты ничего не знаешь — зачем ты мне нужен?

— Я же хочу помочь тебе, Агнесса. Тебе и Гельмуту...

— Помочь... — горько повторила Агнесса.— Будто не ты предал Гельмута! Будто не ты виновник всех наших бед! Если бы не ты — мы с Гельмутом...

— Ты увидишь, Агнесса,— в голосе Лемана звучала глубокая искренность,— ты увидишь, на что я способен, чтобы искупить свою вину... Я не пожалею жизни...

— Чьей? Моей? Гельмута?

— Зачем ты так жестоко говоришь со мной, Агнесса? Помнишь, ты сказала: надо иметь хоть одного человека на земле, которому открыта наша душа, какой бы она ни была... Я поверил тебе тогда... я стал совсем другим...

— Да-да, Артур, прости меня! — будто движимая внезапным порывом, воскликнула Агнесса, испугавшись, что может оттолкнуть Лемана.— Я несправедлива к тебе, но мне так трудно сейчас...

Это было игрой в искренность, но Агнесса твердо была уверена, что Леману, вообразившему себя самоотверженным защитником слабой женщины, не под силу разгадать ее игру.

— Ничего, Агнесса, увидишь, все будет хорошо,— заговорил он самоуверенно.— Дай мне только день-два, чтобы навести необходимые справки, начать ориентироваться... Где ты поселилась?

— Пока нигде...

— Хочешь, я устрою тебя в той гостинице, где я остановился? Недорого, удобно, на главной улице города.

— Что ты, Артур! За мной следят, они тотчас же арестуют меня...

— Если бы они решили арестовать тебя, ты уже давно сидела бы под замком. Их интересуют сейчас твои связи, адреса, по которым ты ходишь. У тебя есть тут знакомые? Что это за девушка, которая шла с тобой?

— Случайное знакомство: она взялась проводить меня по одному адресу...

— По какому адресу?.. Почему ты скрываешь от меня, Агнесса? Ты не доверяешь мне?

— Я доверяю тебе во всем, что касается меня лично. Но я не имею права доверять кому бы то ни было судьбу других людей. Да и тебе, Артур, лучше не знать, куда я направляюсь, чем лгать... твоему начальству. Это всегда проще, не правда ли?

— Возможно, возможно... А ты уверена в этих твоих знакомых?

— Уверена.

— Кто дал тебе их адрес? Доктор Петерс? Герман Ангст?

— Я не знаю таких... — с трудом владея собой, сказала Агнесса.— Что это за люди?

— Не надо лгать, Агнесса! — усмехнулся Леман.— В Пуллахе все известно...

— Что — все?

— Ну, все. Ангста арестовали через час после твоего отлета в Мадрид. Тяжкий служебный проступок: выдача секретных сведений...

— Эвелина?

— Эвелина Петерс для них всего лишь своевольная дамочка, любительница запретных приключений. О ее деятельности сообщено мужу для сведения и принятия мер. Единственно, что грозит ей,— увольнение со службы за то, что она способствовала твоему бегству из больницы.

— Артур, это ты выдал Ангста?

— Я.

— Зачем ты это сделал?

— Ради тебя, Агнесса.

— Ради меня?

— Да, мне надо было завоевать доверие в Пуллахе, чтобы лучше помогать тебе и Гельмуту. Там уже заподозрили меня, и мне пришлось принести в жертву этого карлика... Его все равно скоро разоблачили бы — он совсем потерял голову из-за этой Петерс! Да и тебе он уже был ни к чему.

— Каким образом ты узнал, что Эвелина и Ангст...

— По агентурным сведениям было известно, что ты дружишь с Петерс. Однажды мне удалось проследить, как она и Ангст вошли в церковь в старом городе. Я припугнул сторожа, и он устроил так, что я слышал каждое их слово... Только ты напрасно огорчаешься: этот Ангст принадлежит не к лучшим сынам человечества. Простой полицейский шпик!.. Только и всего.

— Да-да, простой полицейский шпик... — с каким-то сложным выражением повторила Агнесса.— Что же теперь ему грозит?

— Таких не судят во избежание огласки. Да и не так легко подобрать закон.

— Значит, тайная расправа?

— В этом роде.

— «В этом роде»...

— Послушай, Агнесса! А разве сам я не в таком же положении, в каком был Ангст? Разве мне не грозит арест и смерть, как только им станет известно о моей двойной игре? Но я иду на это, иду ради тебя, без всякой надежды, что ты когда-нибудь... Ах, Агнесса, я же знаю, что ты любишь одного Гель-

мута, и все же стараюсь спасти его, хотя его спасение — могила моей любви...

Агнесса молчала. Ей хотелось сказать Артуру, что для полицейского осведомителя он слишком красноречив, но она растерялась перед тем словесным потоком, который он обрушил на нее. В самом деле, что могла она ответить ему?..

— Бедный Артур! — сказала она неожиданно для себя.— Мой бедный друг...

— Агнесса! — Он схватил ее руку.— Пусть будет что будет, но я пройду свой путь до конца!

— Спасибо, Артур... Скажи, где и когда мы встретимся?

— Приходи завтра утром ко мне в гостиницу «Кастилия». Это на Гран-Виа, главной улице Мадрида. Ну, к десяти часам.

— Хорошо, Артур, я приду.

Они разошлись, но Агнесса несколько раз оглядывалась, желая убедиться, что Артур не идет за ней следом. Ей надо было во что бы то ни стало сохранить тайну, доверенную ей Эвелиной и Ангстом. К тому же по указанному адресу ее ожидало единственное верное убежище во всем этом враждебном ей мире. Один раз, оглянувшись, она встретилась с Артуром взглядом: он стоял в отдалении и глядел ей вслед. Гнев охватил Агнессу, она сделала резкий отстраняющий жест. В сущности, вопреки всем своим клятвам и уверениям он ничего существенного пока для нее не сделал. У него одна забота: соблюсти строжайший баланс между интересами своего начальства и служением ей, Агнессе. Во всяком случае, арест маленького Ангста, происшедший по его доносу, с избытком перевесил все оказанные им услуги. А сколько ей приходится с ним возиться, лгать, лицемерить, когда ей совсем не до того, когда сердце у нее разрывается от тревоги за Гельмута! И сейчас — чего смотрит он ей вслед, этот соглядатай? Убедившись, верно, что Агнесса настороже, и словно угадав ее мысли, Леман повернулся и исчез из виду...

АГНЕССА НАХОДИТ ДРУГА

Прямо, потом направо, потом налево, потом опять направо... Как ни смутно было указание, полученное Агнессой от Игнасии, она быстро отыскала нужный ей адрес, ни разу не прибегнув к расспросам прохожих. Жалкое, покосившееся одноэтажное деревянное строение в ряду таких же убогих домишек, многие годы не знавших ремонта. Дверь Агнессе открыла старая, седая женщина с изможденным, в насечке мелких морщин лицом и выцветшими, тусклыми, словно слепыми глазами.

— Вам кого? — спросила она подозрительно, увидев в две-

рях молодую, нарядно — для здешних мест — одетую женщину.

— Здесь живет Дионисио Гонзалес? — произнесла Агнесса по-испански заранее заученную фразу.

— Его нет дома. А зачем он вам?

Агнесса достала из сумки письмо и, не выпуская его из рук, показала старухе. Та протянула костлявую руку, но Агнесса, прижав письмо к себе, отрицательно покачала головой. Старуха сердито и громко сказала что-то на испанском языке. В это время, видимо на ее голос, к двери подошла женщина лет тридцати, с открытым, добрым, симпатичным лицом.

— Обожди, мать... Я жена Дионисио Гонзалеса.— Она отошла от двери.— Заходите!

Агнесса ступила в переднюю.

— А когда придет Гонзалес? Могу я обождать его?

— Он может вообще не прийти сегодня. А вы от кого? И по какому делу?

— У меня к нему письмо. Из Мюнхена.

— О, из Мюнхена! — Лицо женщины выразило радость.— Наверное, от товарища Фреда?

— Да, от Фреда.

— В таком случае, будьте нашей гостьей, дорогая соотечественница,— сказала женщина по-немецки, на баварском диалекте.— Я такая же немка, как и вы. Мой Дионисио несколько лет назад работал у нас в Германии на том же заводе, что и я. Мы поженились, и он увез меня в Мадрид. Идемте в комнаты! Вы, наверно, устали...

Квартира состояла из двух скромно обставленных комнат и крохотной кухоньки.

Женщина привела Агнессу в гостиную, усадила ее на диван и села рядом с ней.

— Меня зовут Марта, Марта Гонзалес. А вас? Агнесса! Ну, Агнесса, а теперь дайте мне ваше письмо... Оно, вероятно, не содержит ничего, кроме рекомендации. Не правда ли?

Агнесса протянула женщине письмо. Та вскрыла конверт и быстро прочитала несколько строк.

— Так и есть! Фред пишет, что вы сами расскажете, что привело вас сюда. Знакомы ли вы с Фредом лично, от него ли получили вы письмо?

— Нет, незнакома. Письмо было передано мне через вторые... нет, через третьи руки. Посредником между Фредом и моей подругой, вручившей мне письмо, было еще одно лицо. После моего отлета из Мюнхена это лицо было схвачено тайной полицией...

— Откуда стало вам известно об аресте этого лица?

— Когда я час назад шла по улицам Мадрида...

— Я прерву вас,— каким-то новым, твердым тоном сказала Марта.— Сначала расскажите во всех подробностях о вашем деле. Лучше идти от начала к концу, чем от конца к началу. Я слушаю вас.

Какое-то верное чувство подсказало Агнессе, что этой женщине можно открыть все-все, что произошло с ней за последние недели ее жизни, рассказать о всех своих встречах на этом страдном пути, о переживаниях, тяготах, сомнениях, ошибках вплоть до той самой минуты, когда она переступила порог этого жилища.

— Вот так я и оказалась у вас,— бледная от волнения, прерывающимся голосом заключила Агнесса свой долгий рассказ.

— Похоже, что похищение вашего мужа и действительно связано с американской разведкой. Нам известно, что один из вожаков неонацистов, Отто Вендель, проживающий в Мадриде, ездил недавно в Соединенные Штаты, а вскоре после его возвращения сюда прибыл известный американский ультра Генри Листер...

— Что же мне делать? — в отчаянии воскликнула Агнесса, словно впервые осознав, какие могущественные силы отняли у нее мужа.

— Я посоветуюсь с Дионисио,— сказала Марта.— Возможно, товарищи сумеют узнать, где находится сейчас ваш муж, если только его в самом деле переправили в Испанию.

— Я убеждена, что в этом случае Леман не солгал. Ведь и сведения, полученные Ангстом...

— Я тоже так думаю, но, вообще говоря, будьте с Леманом осторожны. Подобные люди капризны, истеричны, хитры, способны на самые неожиданные поступки. Уверены ли вы, что он не выследил вас, когда вы направлялись сюда?

— Кажется, у него было такое намерение, но он понял, что я догадалась об этом, и отказался от слежки. Я видела, как он ушел в противоположную сторону.

— Это ничего не значит: он мог «передать» вас другим ищейкам, неприметным как тень. Эти полицейские следопыты редко выходят на свой промысел одни. Его дело было — опознать вас, а уж следить за вами обязаны другие.

— Я долго кружила около вашей улицы, пока не убедилась, что за мной никто не идет.

— И все же вам не следует оставаться у нас, так будет лучше: полиция не сводит с меня глаз. Как только стемнеет, я провожу вас к одним нашим друзьям. Эти люди далеки от политики, но они нередко оказывают нам разные услуги. Связь с вами я буду поддерживать через их дочь, она работает в конторе одного завода...

Резкий звонок у входной двери, и тотчас же вслед за ним

с нарастающей, дерзкой настойчивостью второй, третий, четвертый.

— Кто бы это мог быть? — Марта поднялась с озабоченным видом.

Агнесса растерянно осталась сидеть.

— Похоже, за Дионисио... — Марта улыбнулась странной улыбкой и направилась к двери.

Поворот ключа, и до Агнессы донесся слитный топот ног, ступивших в переднюю, какие-то грубые восклицания. И вот на пороге комнаты вслед за Мартой показались трое здоровенных, рослых парней, одетых в форму, которой так восхищалась маленькая Игнасия: гуардия сивиль! Позади них, словно прячась за их широкие спины, плелся худой, неприметный человечек в штатском, и Агнесса решила, что это и есть та «неприметная тень», которую Леман пустил по ее следу.

— А-а, маленькая иностранка! — со смехом заметил один из вошедших, видимо старший, будто присутствие здесь Агнессы было для него неожиданным.— Готлиб! — обратился он к одному из подчиненных, голубоглазому блондину.— Скажи твоей соотечественнице, что мы не сделаем ей ничего дурного: Испания уважает туристов!..

Обыск длился недолго: в квартирке Гонзалеса, обставленной лишь самой необходимой мебелью, все было на виду, к тому же, видимо, хозяева всегда были готовы к приходу непрошеных гостей.

— Ты долго еще будешь прятать от нас своего Дионисио, Марта? — сказал старший.— Смотри, если в следующий раз не застанем его, то заберем тебя! Мы давно приготовили тебе в Карабанчеле[1] уютное местечко. Синьора,— это относилось к Агнессе,— стыдно связываться со всякой коммунистической швалью! Пошли!

Забрав для формы какие-то бумаги и книжки, полиция удалилась.

Женщины остались одни.

— Это я во всем виновата...

Агнесса в полном бессилии уронила голову на стол, никогда еще не чувствовала она себя такой несчастной. Своим безрассудным поведением она навредила Гельмуту, по ее вине в руки тайной полиции попал Герман Ангст, а Эвелине грозят разные беды. Она приносит несчастье всем и каждому, кто бескорыстно пытается помочь ей.

— Ни в чем вы не виноваты, милая Агнесса,— услышала она голос хозяйки.— Они давно подбираются к Дионисио, и

[1] Карабанчель — тюрьма в Мадриде с особенно жестким режимом.

ваш приход послужил для них только поводом. Я знала, с кем связала свою жизнь... Я покормлю вас сейчас, а затем провожу к нашим друзьям. Ну же, выше голову, соотечественница!..

И Марта улыбнулась Агнессе доброй, ободряющей улыбкой. Агнесса встала, подошла к Марте и обняла ее.

— Нет, я не пойду к вашим друзьям. С меня достаточно той неприятности, которую я причинила вам! — сказала она твердо.— Несчастье ходит по моему следу, и я не вправе встречаться с хорошими людьми. Не удерживайте меня, Марта, я уже выбрала свой путь...

Агнесса поцеловала Марту и пошла к двери.

— Пусть так, Агнесса, но помните: этот дом всегда открыт для вас!

АГНЕССА ШРАММ И ОТТО ВЕНДЕЛЬ

Через час Агнесса входила в гостиничный номер, который занимал Леман.

— Ты что же, Артур,— холодно сказала она в ответ на восторженное приветствие Лемана,— решил довести меня до отчаяния? Сначала ты предал Ангста, а теперь Гонзалесов, единственных людей в этой чужой для меня стране, на которых я могла положиться? Уж не думаешь ли ты таким путем подчинить меня своей воле?

— Гон-за-лесы? — с искренним удивлением воскликнул Леман.— Клянусь тебе, я даже не знаю, о ком ты говоришь! Не скрыл же я от тебя, что арест Ангста — дело моих рук. Но Гон-за-лес! Тут совесть моя чиста. Да кто они такие — эти Гонзалесы?

— Я понимаю твою нехитрую игру, Артур.— Агнесса устало опустилась в кресло.— Я верю, что ты и в самом деле не знаешь, кто такой Дионисио Гонзалес. Но это ты, именно ты, расставшись со мной на улице, «передал» меня своим ищейкам, которые и проследили меня до дома Гонзалеса. Остальное сделала гуардиа сивиль. На таких вот жалких уловках и строишь ты сейчас, Артур, всю свою несложную душевную жизнь. Германа Ангста ты предал будто бы для того, чтобы укрепить свое положение и тем самым помочь мне и Гельмуту. В обыске у Гонзалесов ты неповинен — ты всего лишь послал ищеек по моему следу. Придет час — и ты для моей же пользы предашь меня, Артур!

Агнесса не отдавала себе отчета, зачем явилась она сейчас к Леману и для чего говорит ему то, что способно лишь превратить его в злобного врага. В том трудном и едва ли не безвыходном положении, в какое она сейчас попала, Агнесса дей-

ствовала как отчаявшийся человек, которому уже нечего терять, сознавала это и все же не могла заставить себя хитрить и притворяться.

Резкий телефонный звонок. Артур проворно подбежал к телефону.

— Алло! Кто-кто? О-о! Я сейчас же спущусь вниз! Не надо? Но у меня, простите, гостья... О нет, фрау Агнесса Шрамм... Да, та самая... Жду! Жду!

Леман бережно положил трубку на рычаг и обернул к Агнессе растерянно-восторженное лицо:

— Сейчас сюда войдет человек, который был любимцем самого фюрера, его правой рукой...

— Зачем ты назвал меня? — гневно прикрикнула на него Агнесса и шагнула к двери.— Я ухожу...

— Останься, Агнесса, умоляю тебя! — Леман в испуге схватил ее за плечо.— Он хочет тебя видеть, это единственный человек в мире, который может тебе помочь!

— Кто он такой? Его фамилия?

— Я не имею права назвать... Но поверь, Агнесса...

— Ладно, я останусь,— Агнесса с решительным видом уселась в кресло.— Я понимаю, ты хочешь поднести ему меня как трофей и заслужить его благоволение. И все же я останусь.

— Вот и хорошо... вот и хорошо...— засуетился Леман и стал лихорадочно прибирать в комнате, где и без того царил полный порядок.— Ты увидишь, это такой человек... надо только вести себя, ну, осторожнее... уступчивее... Это он, он! Войдите!

И Артур Леман бросился к двери.

Человек, вошедший в комнату, поразил Агнессу своей внешностью. Высокий рост, атлетическое сложение, широкие, неприятно-округлые плечи, крупное, прямоугольное лицо, мутные глаза, низкий лоб, изрезанный глубокими морщинами, левая щека от уха до подбородка рассечена грубым красным рубцом. «Да это же... это же... Вендель! — сказала себе Агнесса.— Знаменитый Отто Вендель!»

— Рад познакомиться с вами, фрау Шрамм.— Вошедший чуть склонился перед Агнессой и опустился в соседнее кресло.— Мне известно, что привело вас сюда, в Мадрид, и надеюсь, что смогу быть вам полезным. Впрочем, многое зависит от вас самих.

То ли потому, что с именем Венделя — она знала об этом от Эвелины — было связано похищение Гельмута из гостиницы, то ли сама его личность как бы воплощала в себе все грязное, мрачное и жестокое, что было характерно для «гитлерцейта», но Агнесса сразу решила: перед ней враг, смертельный враг, возможно, главный виновник постигшего ее несчастья. Конечно,

этот человек может не только погубить, но и спасти Гельмута, но на условиях, которых Гельмут никогда не примет.

— Кто вы такой? — резко сказала Агнесса, хотя ничуть не сомневалась, что перед ней Отто Вендель.— И почему вы рады познакомиться со мной? И что зависит от меня?

— Вендель.— Он склонил голову, словно представлялся знатной особе.— Отто Вендель, коммерсант, доверенный германских фирм.

Так вот как реализовались для нее два таинственных слова, подслушанные некогда Эвелиной в квартире ее кузена! Что такое «Остмарк»—Остермарк, Агнесса уже убедилась на собственном опыте. А теперь судьба свела ее воочию и с «Веделем» — Венделем, кровавым эсэсовцем, одним из сподвижников фюрера, спасенным американцами от виселицы...

— Откуда же вам известно, господин Вендель, какое дело привело меня в Мадрид? Оно не имеет к коммерции ни малейшего отношения.

— Видите ли, фрау Шрамм, хотя я и занимаюсь коммерцией, но в душе я остался солдатом. В былое время я служил фюреру, великому германскому рейху. Теперь я служу Федеративной Республике Германии — так именуется сейчас наше дорогое отечество. На путях этого служения я и столкнулся с вашим делом... Теперь, разрешите, я, в свою очередь, задам вам вопрос: от кого вы узнали, что ваш муж в Испании? От этого маленького негодника Ангста? Или от этого господина? — Он кивнул в сторону Лемана, который с видом пай-мальчика сидел в отдалении на кончике стула.

— Во всяком случае, не от господина Лемана: он не слишком разговорчив... Вы сказали, что беретесь помочь мне. Ваши условия?

— Мор-тин, уважаемая фрау Шрамм! Химическая формула мортина!

— Я не знаю формулы мортина.

— Но ее знает ваш муж. Для вас не составит труда выудить у него эту тайну.

— Выудить? — с нескрываемым презрением отозвалась Агнесса.— Не сумели же вы раздобыть ее силой, угрозой смерти!

— Но ведь поэты говорят, что любовь сильнее смерти, фрау Шрамм. Разве не так?

— Видимо, так,—спокойно сказала Агнесса.—Иначе вам не приходилось бы скрывать от людей вашу основную профессию, прикрывать ее высокопарными фразами о служении родине...

— Мою профессию?

— Ну да, ведь ваша профессия — смерть.

— Агнесса! — подал голос из своего угла Леман.— Как ты можешь...

— Помолчите, господин Леман.— Отто Вендель усмехнулся, и длинный рубец на его щеке, изогнувшись змейкой, безобразно расползся по лицу.— Выговор, полученный от хорошенькой женщины, не способен задеть или оскорбить меня. Скорее, напротив. Мы, СС, всегда были рыцарями... Итак, милая фрау Шрамм, решайте! Мортин или жизнь вашего мужа!

— Я попытаюсь уговорить мужа. Но мне нужны гарантии.

— Какие же именно? Если господин Шрамм даст согласие лично руководить производством для нас мортина — вам гарантии не нужны: тогда он н а ш человек и может рассчитывать на любые жизненные блага. Постарайтесь склонить его именно к этому. Если же он ограничится тем, что откроет нам формулу мортина... Что ж, в этом случае мы согласны на любое ваше разумное требование!

— Когда вы предоставите мне свидание с мужем?

— Если угодно — сегодня.

— Сегодня — нет. Я должна подумать, подготовиться. Вы же знаете, какой у него характер?

— Знаю. Но помните, в случае неудачи...

— Мне известно, господин рыцарь, что ждет мужа и меня в случае неудачи.

— Что ж, я человек деловой и не люблю недоговоренности. Когда прикажете заехать за вами, прекрасная дама? Когда и куда?

— Я сообщу вам об этом через господина Лемана.

— Торопитесь, фрау Шрамм, торопитесь, мы не можем ждать до бесконечности. Имею честь!

Отто Вендель поднялся, небрежно кивнул Леману, чтобы тот следовал за ним, и пошел к двери. Леман тотчас же вскочил и бросился за Венделем. Агнесса осталась сидеть в кресле в глубоком раздумье. Нет, она вовсе не собирается уговаривать Гельмута, это было бы и бесполезно. Ей надо лишь выиграть время. Зачем? Она и сама не могла бы ответить на этот вопрос, у нее не было никакого плана освобождения Гельмута...

— Ну, Агнесса,— вывел ее из задумчивости голос Лемана,— он просто влюбился в тебя! Вот это, говорит, женщина!

— Я счастлива, Артур, что этот убийца так лестно отозвался обо мне. Но мне, право, сейчас не до него.

— Я понимаю, понимаю...

— Где находится Гельмут? Он здесь, в Мадриде?

— Я не знаю, Агнесса. Но ведь ты скоро встретишься с ним...

— И что же? Они примут все меры, чтобы я не узнала, где именно Гельмут находится.

— А к чему тебе знать?

— Надо, Артур, надо... Скажи, зачем он позвал тебя за

собой? Что говорил он тебе? И зачем он вообще приходил сюда?

— Ему сообщили, что ты в Мадриде, и он хотел через меня вступить с тобой в переговоры. А когда я сказал ему по телефону, что ты здесь, в моем номере, он решил поговорить с тобой сам. А позвал он меня затем, чтобы я поторопил тебя. Его самого торопят, и он не может больше ждать. Он настаивает, чтобы ты скорее увиделась с Гельмутом, иначе, по его словам, Гельмуту придется плохо...

— Ты не лжешь, Артур, он так и сказал?

— Агнесса!

— Что — Агнесса?

— Как ты можешь? Ты же знаешь, как я люблю тебя, что я готов...

— А я думаю, что ты куда сильнее любишь... Отто Венделя. Если дело дойдет до выбора, ты, конечно, предпочтешь его... Но если ты и вправду любишь меня, помоги узнать, где находится Гельмут!

— Ладно, я попытаюсь.— Артур резко поднялся.— Я сделаю для спасения Гельмута все, что в моих силах. Но если... если все же с ним случится... непоправимое... могу ли я надеяться, Агнесса? Скажи только слово, одно слово...

Гнев, ненависть, отвращение охватили Агнессу с такой силой, что она с трудом сдержалась.

— Но, Артур, как ты можешь в такую минуту...

— Ах, дорогая моя, я и сам не знаю, что говорю!..

У МАРТЫ ГОНЗАЛЕС

Агнесса поселилась в той же гостинице, где Леман, и на следующее утро он явился к ней и сообщил, что Гельмут находится в провинции Бургос, в замке богача и давнего агента нацистской разведки дона Пабло Эгуэра. Там же расположился и один из испанских филиалов Федеральной разведывательной службы.

— Эти сведения обошлись мне в полторы тысячи долларов.

— О, Артур,— смущенно сказала Агнесса,— я не располагаю такими деньгами.

— Стыдись, Агнесса! Как ты могла подумать?.. К тому же ты знаешь, что моим состоянием я обязан вам... Гельмуту... и мой долг....

Это унизительное признание, сделанное без всякого понуждения, в приступе любовной откровенности, вызвало в Агнессе новый приступ отвращения к Леману, и она почувствовала се-

бя почти счастливой, когда, расставшись с ним, вышла одна на людную улицу.

Теперь Агнессе не к чему было таиться от возможной слежки, не к чему было и оберегать от шпиков квартиру Гонзалесов. Не оглядываясь по сторонам, она прямым путем направилась к Марте. Та встретила ее с глубокой искренней радостью и обняла, как сестру.

— А тебе не опасно приходить сюда? — спросила она озабоченно.— Ведь наша квартира наверняка находится под наблюдением!

— Нет, Марта, игра идет в открытую. Они все знают обо мне, я — о них. Я открыто поселилась в гостинице «Кастилия», в центре города, веду дипломатические переговоры с самим Венделем...

— С Отто Венделем? Он что — сам назвал себя?

— Я сразу узнала его по портретам, но он и не думал скрывать свое имя — он с гордостью назвался: Отто Вендель. Что ты хочешь — ведь у нас в Германии многие считают этого злодея героем! Вендель рассчитывает, что я уговорю мужа открыть им тайну изготовления мортина. Он предложил мне свидеться с Гельмутом. А пока я узнала, что они держат Гельмута в замке дона Пабло Эгуэра, в провинции Бургос.

— В замке Эгуэра? Да ведь там помещается геленовская разведка!

— Да, я знаю об этом.

— Когда же тебе дадут свидание с Гельмутом?

— Видишь ли, Марта, это зависит от меня, а я не знаю, как мне быть. Ты же понимаешь, я не стану уговаривать Гельмута, а их подслушивающие аппараты способны уловить даже самый слабый шепот, не то что обычную речь. Выйдет так, что я сразу разоблачу себя, а мне необходимо какое-то время поддерживать в них надежду, чтобы они щадили Гельмута. Другое дело, как использовать это время. Я думаю об этом постоянно, но одна я бессильна что-либо предпринять. Не обратиться ли мне за помощью к печати?

— В Испании нет печати.

— Я попытаюсь передать во Францию, в Германию...

— Вот что, Агнесса, по совету Дионисио я познакомлю тебя с одним человеком. Он журналист, корреспондент крупной английской газеты, тайно сочувствует и помогает антифашистам и коммунистам и тайно передает за границу информацию о злодействах каудильо и его шайки. Многое, что осталось бы неразоблаченным, попало в мировую печать именно через него. Можешь полностью ему довериться. К тому же он английский подданный, и самое худшее, что ему угрожает,— высылка из Испании.

— Но где же я увижусь с ним, Марта?

— Я уговорюсь с ним так... Ты явишься завтра к десяти утра на угол проспекта Корталеза и улицы Монтера. К этому часу туда подъедет такси, номер пять два сорок три. Запомни: пять два сорок три! Он уже будет в машине, и ты поедешь с ним вместе. Зовут его Уоткинс, Чарльз Уоткинс. Но помни, Агнесса!..— И Марта приложила палец к губам.

— О! — произнесла Агнесса, и в этом восклицании сказалась вся сила и твердость ее духа.— А как же водитель?

— Водитель — наш человек. При нем можно говорить обо всем — мы постоянно пользуемся его услугами...

— Ты думаешь, этот Уоткинс сможет помочь мне?

— Как тебе сказать? У него большие связи в самых различных кругах, его считают лояльным по отношению к режиму Франко. Это позволяет ему поддерживать отношения с франкистскими вельможами и крупными чиновниками, даже посещать неонацистские салоны, чуть ли не дружить с самим Венделем.

— Но освобождение Гельмута — это так сложно и ужасно трудно!

— Не знаю, Агнесса, возьмется ли он за это, но дельный совет ты от него, во всяком случае, получишь.

— Дельный совет...— горько произнесла Агнесса.— Оставить всякую надежду — это тоже дельный совет! Ах, милая Марта, если бы ты знала, как мне тяжело! Будь я на твоем месте, мне, наверное, было бы куда легче. Верить в лучшее будущее людей, бороться за него, жертвовать собой, своим покоем и счастьем...

— Милое мое дитя,— сказала Марта, хотя была всего лишь на несколько лет старше Агнессы,— какая цена была бы нашим жертвам, если бы нам чужды были те чувства, какие испытываешь сейчас ты?

— Прости меня, Марта,— тихо отозвалась Агнесса.— Мне очень стыдно, что я сказала такую глупость. Постарайся забыть о ней...

ПРОФЕССОР ДЖОРДЖ СТЕНТОН

— Знакомьтесь, мистер Шрамм: наш известный химик профессор Джордж Стентон!

И Листер шагнул в сторону, как бы призывая Гельмута оценить значительность представленного ему человека.

Гельмут слышал о Стентоне: блестящий ученый, с пытливым, острым умом, продавший свой незаурядный дар химическому концерну Ламетта. Стентон вместе с тем занимался ка-

кой-то двусмысленной политической деятельностью, отдающей авантюризмом.

— Шрамм,— холодно отозвался Гельмут, стоя у своего рабочего стола и не протягивая Стентону руки.— Что угодно профессору от узника?

Стентона ничуть не смутил такой прием. Он спокойно отвел свою протянутую было руку и сказал с чуть приметной усмешкой:

— Не моя вина, коллега, что мы встречаемся в такой странной обстановке. Я предупреждал Смита...

— Листера, Генри Листера! — прервал Гельмут.

— Листера,— поправился Стентон, кинув удивленный взгляд на своего спутника.— Так вот, я предупреждал Листера, что он ставит меня в неловкое положение. Но он возразил. Дело, которое привело нас сюда, имеет мировое значение, и в этом случае вполне допустимо пренебречь обычными условностями. Мне это возражение показалось убедительным...

— Что же все-таки угодно от меня профессору Стентону?

Гельмут отлично понимал, зачем Листер явился к нему на этот раз в сопровождении «своего» профессора химии, но это была единственно доступная ему форма протеста: заставить непрошеных гостей лишний раз высказаться.

Стентон повернулся к Листеру:

— Отвечайте же, Генри, что нам угодно!

— Что нам угодно?..— Листер шагнул вперед, положил руку на спинку кресла и, как всякий раз, хотя и был хозяином положения, отдал дань вежливости.— Разрешите присесть?

Гельмут пожал плечами.

Гости уселись по одну сторону стола, хозяин — по другую, на свое обычное рабочее место.

— Я позволю себе напомнить вам, мистер Шрамм, что вы по моей просьбе и, прибавлю, вполне добровольно согласились информировать меня о состоянии русской химической науки.— Листер говорил тоном председателя ученого симпозиума, напутствующего очередного докладчика.— Точнее: имеются ли данные полагать, что русская наука способна в настоящее время производить поражающие вещества такой же примерно губительной силы, какой обладает ваш мортин? Я профан в этой области и потому просил моего друга Стентона...

— Мне понятно, зачем вы прихватили с собой профессора Стентона,— сказал Гельмут.— Но прежде всего прошу вас твердо запомнить: о мортине нам с вами решительно ничего не известно. Если вам требуется эталон для сравнения — пусть это будет некое гипотетическое вещество, обладающее абсолютной поражающей силой, а также исключительной химической устойчивостью. Конечно, химия поражающих веществ —

сугубо засекреченная область, но, насколько я знаю, подобного вещества в распоряжении западной науки пока как будто не имеется...

— Совершенно верно,— подтвердил Стентон,— не имеется. При условии, конечно, если ваш мортин, о свойствах которого меня осведомил Листер...

— Повторяю, мистер Стентон,— резко сказал Гельмут,— мортин — это призрак, фантом, мечта Генри Листера, а не реальность! Если мортин и существует, то единственно в моей голове,— Гельмут пристукнул себя указательным пальцем по лбу,— и ни политическая софистика, ни тончайшие методы современной психологии, ни самая изощренная пыточная аппаратура не в состоянии извлечь ее оттуда.

— Не могу не сказать вам, мистер Шрамм, что вы для меня загадка! — патетическим голосом воскликнул Стентон.— Ведь ваш мортин — это высшее, я бы сказал, высочайшее политическое достижение нашей науки, и я не в состоянии постигнуть, как это вас, молодого человека, почти юношу, не прельщает возможность сыграть решающую роль в роковой схватке двух исторических сил, из которых одна — наша великая западная цивилизация, вскормившая наши души! Лично я завидую вам, страстно завидую! Если бы я держал руку на таком рычаге, я бы не задумался ради столь высокой цели принять на себя ответственность за любое число человеческих жизней. Каждый год на земле без цели и смысла умирают от разных болезней и мерзкой, бессильной старости,— лицо Стентона свело гримасой отвращения,— десятки миллионов людей. Разве не разумнее, не благороднее принести их в жертву при помощи мгновенной, безболезненной смерти во имя великой идеи? Мы новое человечество, призванное решать и властвовать, дать новый смысл и новое значение слову «человек»! Пусть же все государства мира, кто по собственной воле, а кто и приведенный к покорности жесточайшими мерами...

— А знаете, Стентон,— с какой-то веселой, озорной злостью прервал оратора Гельмут,— лишь только вы вошли, я стал мучительно думать, на кого вы похожи. Ну конечно же, на черта! Таковы же были и наши нацистские черти, повешенные в Нюрнберге: в одной руке — «Моя борьба» и «Миф XX века», в другой — топор палача. А впрочем, те черти были куда проще вас, теперешних. Видимо, чтобы обмануть людей, чертям год от году приходится маскироваться все искуснее и хитрее. И все же, как видите, я сразу узнал вас в обличье профессора химии!..

— Что ж, ваше ангельское преподобие,— без всякой обиды сказал профессор Стентон,— теперь, когда мы с вами так близко познакомились и утратили в отношении друг друга всякие

иллюзии, можно приступить и к делу, ради которого мы с Листером позволили себе нарушить ваш покой...

— Однако вы наблюдательны, мистер Шрамм,— светским тоном заговорил Листер.— И должен заметить, что меня поражает сочетание в одном человеке такой остроты ума и характера со старомодным, замшелым гуманизмом. Но что поделать, если мистер Гельмут Шрамм именно таков, каков есть, и предлагает нам вместо своего мортина воображаемый эталон идеального яда! Нам остается лишь надеяться, что коммунисты еще не успели обогнать нас в производстве поражающих материалов и пока столь же далеки от достижения идеала, как и мы. Итак, мы слушаем вас, мистер Шрамм!..

РАЗРЫВ

Несмотря на ядовитость реплик, которыми обменивались собеседники, ничто на этом маленьком ученом симпозиуме не указывало на истинную расстановку сил. И со стороны не так-то просто было распознать, что по одну сторону здесь находятся высокоученые представители заокеанской разведки и по другую — человек, которого силой удерживают в этом своеобразном «зале заседаний», чтобы под угрозой пыток и насильственной смерти принудить его к соучастию в тягчайшем преступлении против человечества.

— Итак, мистер Шрамм?..

Но Гельмут не спешил поделиться с Генри Листером и Джорджем Стентоном своей тайной. Он испытывал удовлетворение от мысли, что от него одного зависит, когда «выбить из седла» этих апологетов химической войны.

— Да-да,— заговорил он будто в рассеянности,— вы хотите узнать, как далеко продвинулась русская наука в создании поражающих веществ? Но ведь это лишь часть более общего вопроса. Мне кажется, господа, что вы недостаточно прониклись одной несложной истиной, доступной в наше время пониманию всех и каждого, или же сознательно отказываетесь признать ее, потому что она противоречит вашим политическим планам и расчетам...

— Что вы имеете в виду, Шрамм? — нетерпеливо прервал Листер.— И не лучше ли нам держаться ближе к теме?

— Эта истина,— продолжал Гельмут, игнорируя реплику Листера,— гласит, что научный прогресс в высокоразвитых промышленных странах находится в каждый данный момент в среднем на одинаковом уровне. Таков закон развития современной науки. При одних и тех же исходных данных ученые, обладающие современной научной аппаратурой, естественно,

приходят к одним и тем же результатам. Ведь известно, что даже строжайшая засекреченность некоторых областей научного исследования, имеющих военное значение, не мешает ученым разных стран создавать одни и те же, во всяком случае сходные, виды и типы вооружения. Словом, чуть раньше, чуть позже, но любая развитая в промышленно-техническом отношении страна способна...

— Уж не хотите ли вы сказать,— вскинулся Листер, совсем недавно почти в тех же словах развивавший ту же мысль перед Отто Венделем,— что советская наука в данном случае...

— Вот именно это я и хочу сказать. На тех высотах, которых достигла советская химия, она способна сегодня решать любые задачи, будь то создание идеального яда...

— Доказательства!

— Нет ничего проще.— Гельмут отобрал несколько книг и журналов и придвинул Стентону.— Начните хоть с этого журнала, вышедшего в свет несколько лет назад! — Он раскрыл журнал на нужной странице.— Можно ли сомневаться, что ученые, создавшие эту формулу, являются полновластными хозяевами в данной области науки и способны изготовить любое поражающее вещество этого рода с заранее заданными свойствами.

— Н-да...— хмуро произнес Стентон, одним взглядом охватив длинную химическую формулу, протянувшуюся от края до края строки.— С этим приходится считаться...

— «Приходится считаться»! — раздраженно воскликнул Листер.— Что вы хотите этим сказать, Джордж? Вы что, разделяете мнение Шрамма?

— Дело не во мнениях, Генри, а в фактах.

— Но одно дело возможность, другое дело свершение! Ведь Советы не собираются вести против нас химическую войну — вы сами утверждали это, Шрамм! — и потому вряд ли создали и запасли...

— Но ведь они не собираются вести против вас и термоядерную войну, однако создали и запасли более чем достаточное количество ядерного оружия на тот случай, если вы нападете на них или на их союзников. Не сомневайтесь: они отлично осведомлены о том, что в вашей армии создан целый химический корпус, к услугам которого имеются заводы, полигоны, арсеналы; что создаются все новые военно-химические соединения и новые виды химического оружия; что в Штатах, в Канаде, в Англии, во Франции, в нашей Германии имеются десятки секретных лабораторий, финансируемых военными министерствами стран НАТО и неустанно работающих над созданием всех мыслимых видов химического, бактериологического и радиологического оружия. Не обманывайте себя, гос-

пода, не надейтесь, что вам удастся захватить русских врасплох! Нет и не может быть у вас такого секретного оружия, которое отсутствовало бы у них. Это вполне подобно зеркальному отражению: если мог возникнуть «западный» мортин, значит, существует и «восточный» мортин...

— Что вы скажете на это, Джордж?

— Я не склонен к такого рода обобщениям, Генри. Что же касается, в частности, мортина, то мистер Шрамм прав. Отсюда,— Стентон ткнул пальцем в страницу,— действительно всего лишь один-два шага до идеального яда. А ведь журнал этот четырехлетней давности.

— Послушайте, Джордж! — азартно воскликнул Листер.— Если от этой формулы всего один-два шага до идеального яда, почему бы не сделать эти шаги нашим химикам?

— Придет время, и мы сделаем их, Генри. Но это совсем не так просто, как вам представляется.

— Но почему же, Шрамм, вы решили, что русские уже сделали эти шаги?

— Я сам шел тем же путем. Косвенные данные, имеющиеся в более поздней русской химической литературе, убедили меня, что последний этап у них позади.

— Что это за косвенные данные, Шрамм?

— Это моя маленькая тайна, и я решил оставить ее при себе. К тому же никто другой, по крайней мере на ближайшее время, не сможет их обнаружить. Точнее говоря, понять их значение....

— Но ведь это дает русским недопустимое преимущество перед нами! — негодующе воскликнул Листер.— Неужели вы, человек западного мира, способны поставить под удар...

— Повторяю, Листер: они не собираются нападать на вас.— Гельмут поднялся из-за стола.— Послушайте, господа! Один из вас — профессор социологии, другой — профессор химии. Допустим, что вы, Листер, ничего не смыслите в точных науках, а вы, Стентон, в науках социальных. Почему бы вам не объединить ваши усилия? В этом случае при минимальной добросовестности вы неизбежно придете к тому же выводу, что и русские: у человечества нет иного выхода из тупика, кроме мирного сосуществования. Вы уже поняли, что ядерная война не принесет победы ни одной стороне. Но то же относится и к войне химической, и к любой другой. Как бы ни изощрялись вы в измышлении разных видов и родов оружия: нервно-паралитические, психо-химические газы, чумные блохи, пары цианистой кислоты, скорпионий яд,— все они с роковой неизбежностью, во всех без исключениях случаях обратятся против вас самих. Кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других.

— Довольно нравоучений, Шрамм!— Листер поднялся.— Намерены вы поделиться с нами вашей тайной или нет?

— Нет, не намерен.

— Я начинаю думать, что вы и верно коммунист.— Листер положил руку на плечо Стентона.— Идемте, Джордж. Мы ничего не потеряем, если не дослушаем пропагандистское выступление мистера Шрамма!..

СВИДАНИЕ В ТАКСИ

Когда Агнесса проснулась, было семь утра. Ей плохо спалось в эту ночь. В канун свидания с Чарльзом Уоткинсом ее преследовал страх, что какая-то сила помешает ей выйти в условленный час из гостиницы и встретиться с человеком, на которого она возлагала теперь все свои надежды. Да и на кого еще могла она рассчитывать? Ведь она отправилась сюда, в Испанию, в Мадрид, как бы по немому зову Гельмута, влекомая не столько расчетом, сколько отчаянием! И вот с первых же шагов ее постигла горькая неудача.

Если бы не Марта, ей оставалось бы теперь одно из двух: либо вернуться обратно в Германию, если бы ее отпустили отсюда живой, либо решиться на какой-нибудь отчаянный поступок и тем, скорее всего, погубить Гельмута. Конечно, обратно она не вернулась бы — это означало бы предоставить Гельмута его собственной судьбе, а с таким сознанием она не смогла бы жить. Конечно, она могла бы сегодня, сейчас же потребовать от Венделя свидания с Гельмутом. Увидеться с Гельмутом, говорить с ним!.. Агнесса старалась отогнать эти мысли от себя. Нет-нет, она не должна соглашаться на это свидание из одного лишь желания увидеть мужа, обнять его, рассказать ему обо всем накопившемся в ее душе. Только ради самого Гельмута, ради его освобождения, ради его спасения имеет она право свидеться с ним! Вот почему ей прежде надо поговорить, посоветоваться с этим человеком, с Уоткинсом.

Измученная своими мыслями, Агнесса неприметно для себя вновь задремала, потом в страхе очнулась и бросила взгляд на часы: четверть десятого! Она еще накануне побывала на том перекрестке, который ей указала Марта, и твердо запомнила дорогу к нему. Ровно в половине десятого — такси должно было подъехать к десяти — она уже выходила из дверей гостиницы, предварительно оглядев обширный холл: там было пусто, лишь портье сидел за своим столиком, склонившись над книгой для приезжих. Но Леман?.. Агнесса испытывала безотчетный страх перед ним: ей казалось, что он, невидимый, наблюдает за каждым ее шагом и, возможно, уже ждет ее на улице, что-

бы проследить, куда направляется она в столь ранний час. Агнесса вернулась в холл и подошла к портье.

— Скажите,— обратилась она к нему по-французски,— господин Артур Леман, двадцать девятый номер, у себя?

— Двадцать девятый номер? — Портье привычно быстро оглядел доску с ключами.— У себя. Но только в двадцать девятом номере проживает не господин Леман, а господин Нибург. Приезжего с фамилией Леман в гостинице нет.

— Да-да, я спутала,— будто в досаде на свою беспамятность говорит Агнесса.— Кажется, мосье Леман остановился в «Орионе». Вы не скажете мне, как пройти в «Орион»?

Портье подробно и долго объясняет, как пройти в «Орион», но Агнесса в страхе, что опоздает на свидание и что Леман — он же, очевидно, Нибург — вот-вот спустится из своего двадцать девятого номера в холл, прерывает его на полуслове:

— Благодарю вас, я все поняла!

И она быстрым шагом направляется к выходу. На улице удушающая жара, но Агнесса не замечает ни жары, ни прохожих, ни машин. Она пересекает улицы в неположенных местах, не обращая внимания ни на гудки, ни на проклятия, которые расточают ей вслед шоферы. Только бы не опоздать, только бы поспеть к десяти часам к заветному перекрестку! Такси не может, не должно ждать ни минуты, ни секунды, иначе она подведет человека, который рискует своей репутацией, свободой, а возможно, и самой жизнью, чтобы помочь ей, Агнессе.

Ну вот он, наконец, перекресток, а на часах без одной минуты десять! Агнесса облегченно вздыхает, и в тот же миг, лишь только она подходит к краю тротуара, вплотную к ней подкатывает машина. Такси, номер 52-43! Дверца распахивается, машина принимает в свои недра Агнессу и мчится дальше, как если бы Агнесса вскочила в нее на ходу.

— Фрау Шрамм?

— Мистер Уоткинс?

— Да, Чарльз Уоткинс. Я предлагаю вести наши дипломатические переговоры на немецком языке.

— Я свободно говорю по-английски.

— Но вы представляете в данном случае самую могущественную державу в мире — женскую, и по обычаю, принятому среди дипломатов, переговоры должны вестись на языке вашей страны...

Агнессе не понравилось такое игривое вступление, и она внимательно оглядела своего спутника, откинувшегося в глубь машины. Это был человек лет тридцати, с узким, тонким, нервным лицом и печальными глазами.

— Я не возражаю, будем говорить по-немецки,— согласилась Агнесса.— Только вы заблуждаетесь относительно силы

моей державы. Перед вами сама слабость и безвыходное отчаяние.

— О, простите мне мою глупую шутку! — Уоткинс порывисто пожал руку Агнессы.— Я понимаю всю ее неуместность и глубоко раскаиваюсь!

Это прозвучало так искренне, что Агнесса сразу почувствовала симпатию к своему спутнику.

— Я не в обиде, я поняла вас,— улыбнулась ему Агнесса.— Просто вы нащупывали почву, прежде чем ступить...

— Нет, даже не это! — уже весело воскликнул Уоткинс.— Вы оказались такой юной, красивой и симпатичной, что я не удержался от этакой кокетливой фразы. Только и всего! Больше не буду. Однако не скрою: если мне удастся что-либо сделать для вас — именно для вас! — я буду вдвойне, втройне доволен. А теперь,— он стал серьезен,— расскажите мне подробно о всех ваших злоключениях. Общее представление о вашем деле я имею... И давайте перейдем на английский — этот язык немного знаком и Мануэлю.

Когда Агнесса закончила свое повествование, Уоткинс произнес удрученным голосом:

— Это трудное, очень трудное дело. Тут действует заодно тесная компания: американские ультра, американская и германская разведка, Отто Вендель со своей эсэсовской шайкой...

— Я знаю... Можно задать вам один вопрос, мистер Уоткинс?

— Да.

— Видите ли, я могла бы оказаться и не такой, какой померещилась вам в полутьме машины, и все же путь назад был бы для вас отрезан... Короче, что побуждает вас взяться за это трудное и вовсе не безопасное дело?

— Что меня побуждает?— с нигранно-комической интонацией отозвался Уоткинс.— Нет ничего проще: я борец за правду — в этом мое единственное призвание. Да и что еще остается делать на земле такому неприкаянному человеку, как я?

— Вам не кажется, что вы опять кокетничаете, мистер Уоткинс?

— Кажется, фрау Шрамм,— сокрушенно признался Уоткинс.— Уж лучше приступим прямо к делу.

ЧАРЛЬЗА УОТКИНСА ОСЕНЯЕТ МЫСЛЬ

Но сразу приступить к делу не удалось. Машину вдруг тряхнуло так, как если бы она на всем ходу налетела на стену или на столб, и мимо окна, с той стороны, где сидел Уоткинс, скользнула гигантская тень. Пассажиров бросило вперед, и они

сильно ударились о переднее сиденье. Машина остановилась, заскрипев всеми тормозами.

— Мануэль! — крикнул Уоткинс.— Что это было?

— Покушение на убийство,— хмуро отозвался шофер, не оглядываясь, и дал газ.— Двадцатитонка мчалась мне навстречу и не давала уклониться от удара. Мне удалось увернуться лишь в последнее мгновение, и она прошла слева, задев капот. Однако ходовая часть, как видите, не пострадала. Ясно, нас выследили...

— Вы уверены, Мануэль, что покушение? А может, шофер хватил лишнего?

— Уверен, Чарльз. Он был более чем трезв. Твердый, упорный расчет. Нас спасла случайность.

— На этот раз случайность приняла ваш облик, Мануэль. Значит, выследили?

— Несомненно, Чарльз.

— Но откуда узнали они время нашего выезда? Дорогу, по которой мы решили выехать за город? Наконец... — Уоткинс вдруг прервал сам себя.— О, простите меня, фрау Шрамм! Я даже не осведомился, как перенесли вы эту маленькую аварию! Надеюсь, вы не больно ушиблись?

— Больно,— улыбнулась ему Агнесса.— Но продолжайте, пожалуйста: откуда узнали они...

— Да-да, Мануэль! Откуда узнали они...

— Вот уж на это я не могу ответить, Чарльз. Кто непосредственно связал вас с вашей спутницей? Марта. А ведь за Мартой следят...

— Нет, Марта избегает сейчас всякой прямой связи. Она направила ко мне Студентку...

— Студентку? — Шофер пожал плечами.— Но Студентка выше подозрений.

— Ну, разумеется, тут надо искать по другой линии. По всей вероятности, моя спутница находится под неустанным наблюдением...

— Можете не сомневаться, Чарльз. Я лично убедился в этом.

— Вы, Мануэль? Когда и каким образом?

— Вышло так, что сеньора по прибытии в Мадрид случайно села в мою машину.— Шофер с улыбкой оглянулся на Агнессу.— Узнаете меня, сеньора?

— О, так это вы? Значит, благодаря вам я ушла тогда от преследования? Спасибо, мой друг!

— Не стоит благодарности, сеньора. Они гнались за нами на машине от самого аэродрома, но я высадил сеньору у проходного двора, и сеньоре удалось уйти. Так, сеньора?

— Да, Мануэль, я чуть не задохнулась от бега: мне все ка-

залось, что я не успею скрыться... Но вскоре они опять выследили меня,— печально добавила Агнесса.

— Нам известно об этом, сеньора. Итак, Чарльз?..

— Кажется, я решил эту несложную задачу,— раздумчиво сказал Уоткинс.— Дело в том, что я также нахожусь под наблюдением и они выследили сегодня и меня, и фрау Шрамм. Их ищейки видели, как фрау Шрамм подсела ко мне в такси, и немедленно дали знать об этом куда следует по телефону. А там рассудили: Чарльз Уоткинс, представляющий в Мадриде, можно сказать, мировую прессу, в одном такси с возможной мировой сенсацией! Похищение и увоз в Испанию молодого немецкого ученого Гельмута Шрамма, создателя могущественного химического оружия! Агнесса Шрамм летит в Мадрид, чтобы спасти своего мужа из лап американо-германо-испанской разведки, заточившей его в замок Эгуэры, филиал Пуллаха, где его стерегут бывшие эсэсовцы под бдительным надзором самого Отто Венделя, любимца и сподвижника покойного фюрера!..

— Но ведь они, кажется, считают вас своим, герр Уоткинс? — заметила Агнесса.

— Считали, фрау Шрамм! За последнее время моя репутация сильно подмокла: похоже, они усомнились в моем сочувствии идеям неонацизма, иные считают меня даже коммунистическим шпионом. Я не раз замечал, что за мной, за всеми моими передвижениями, ведется слежка; мою корреспонденцию вскрывают; неонацистские салоны, где меня прежде принимали с величайшей охотой, нередко закрывают передо мной двери; мой друг Отто Вендель явно ко мне охладел... Вот и было решено: уничтожить возможную мировую сенсацию в самом зародыше, пока она не вырвалась за пределы черепной коробки Чарльза Уоткинса! А уж заодно и самый источник беспокойства: фрау Агнессу Шрамм.

— Это похоже на правду,— отозвался из своей кабины водитель.

— Пойдем дальше. Откуда им стало известно, по какой дороге решили мы выехать за город? Очень просто: у них по всему городу расставлены посты наблюдения. Очередное сообщение по телефону: такси с драгоценным грузом проследовало в таком-то направлении! И вот навстречу нам высылают двадцатитонку...

— Но им не имеет смысла убивать меня сейчас,— заметила Агнесса.— Вы же знаете: они предложили мне свидеться с мужем в расчете, что я уговорю его...

— Ну, едва ли они сколько-нибудь серьезно рассчитывают на вашу помощь. Я знаю их мнение о вашем... характере! А когда им стало известно сегодня, что вы установили связь со

мной — с прессой! — их колебаниям, надо думать, сразу пришел конец.

— Но ведь я еще в Мюнхене имела возможность сообщить в печать о похищении мужа, однако не сделала этого. Я боялась, что в этом случае они убьют его, чтобы замести следы. Они сами внушили мне эту мысль через Артура Лемана...

— Что ж, в ту пору, в Мюнхене, они могли считать, что вы еще не отчаялись в судьбе своего мужа и потому не пожелали идти на риск. Иное дело теперь. Впрочем, возможно и другое: они опасаются не столько вас, сколько меня. А что, если я даже вопреки вашему намерению прокричу на весь мир о похищении Гельмута Шрамма, да еще распишу это похищение во всех подробностях, какие узнаю от вас? Почему же им не покончить одним ударом со мной и с вами? Упрятали же они вас в свое время в психиатрическую больницу!

Машина уже выехала за пределы города. За ее окнами по обе стороны простерлась пустынная окрестность. Выжженная зноем земля, огромное, белесое, как бы выцветшее небо и, казалось, на самом краю земли подернутые туманом голубые Гвадараммские горы. Агнесса выглянула в окно, внимательно оглядела этот чуждый, скудный, неприютный пейзаж. На миг ей показался призрачным этот странный, грозный мир, словно бы она нечаянно неосторожно ступила из простой, привычной, доброй жизни в страшную, злую сказку и забыла заветное слово, способное вернуть ее в обыкновенный мир.

— Вот что, фрау Шрамм... — услышала она как бы из далекой дали голос Чарльза Уоткинса.— Мне только что пришла в голову одна дерзкая мысль. Не знаю, правильный ли это ход, но другого я пока не вижу. К тому же они почти разоблачили меня, и я уже ничем не рискую, разве что... высылкой за пределы владений каудильо. Так вот: от свидания с мужем вы пока воздержитесь — возможно, оно вам и не потребуется. Словом, ничего не предпринимайте, пока я не дам вам знать о себе. Мы вернемся сейчас в город другой дорогой. Вы пересядете на другое такси и поедете на квартиру к Мануэлю, где и будете ждать от меня указаний... Вы не возражаете, Мануэль?

— Ну что вы, Чарльз! Я только позвоню из города жене.

— Вот и хорошо!

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Чарльз Уоткинс велел доложить о себе сеньору Отто Венделю — представительство западно-германских металлургических фирм — и был тотчас же принят.

— А, Чарльз, нежданный гость! — приветствовал его хозя-

ин, вставая из-за стола и протягивая руку.— Где ты блуждаешь, пропащая душа? Ну садись, садись, рассказывай! Говорят, ты подцепил какую-то красотку-немочку и раскатываешь с ней в такси по окрестностям благословенной испанской столицы. Очередная любовь? Признавайся, греховодник!

— Увы, Отто,— в тон хозяину отвечал гость,— я еще не добился взаимности, а уже какой-то ревнивец пытался отправить меня сегодня утром на тот свет. Правда, вместе с красоткой...

— Ого, это совсем в здешнем духе! — отозвался хозяин.— Кинжал? Пистолет? Яд?

— Двадцатитонка, Отто. Рыцарские обычаи отмирают и в отсталой Испании.

— Двадцатитонка? Это как же понять?

— Буквально, Отто. Человек едет в такси с молодой очаровательной женщиной, а навстречу мчится двадцатитонная грузовая машина с твердым намерением расплющить такси в лепешку. Странно, не правда ли? Грузовые машины служат, обычно, для перевозки грузов, а тут вдруг... — И Уоткинс с комическим недоумением пожал плечами.

— Может, случайность? Пьяный водитель?

— Нет, Отто. Это исключено. Тут действовала твердая, уверенная рука. И если бы не находчивость водителя...

— Но кто же этот... ревнивец? Ты кого-нибудь подозреваешь?

— Подозреваю, Отто,— сказал Уоткинс, глядя на Венделя спокойным и твердым взглядом.— Дело тут пахнет... военной химией!

— Как, как ты сказал? — со смехом воскликнул Вендель.— Военной химией?

— Вот именно, я разумею химию поражающих веществ,— с подчеркнутой серьезностью подтвердил Уоткинс.— Надо тебе сказать, что я ехал в такси с фрау Агнессой Шрамм, женой молодого бременского химика Гельмута Шрамма...

— Что-то не слыхал о таком...

— Ну что ты, Отто! Это тот самый Гельмут Шрамм, которого недавно силой доставили сюда из Мюнхена и заточили в замок дона Пабло Эгуэры.

— Не пойму я, о чем ты говоришь, Чарльз.— И без того холодные глаза хозяина будто затянуло ледком.— Я всегда считал тебя фантазером, но на этот раз...

— Да нет же, Отто, я говорю тебе сущую правду! Это сложнейшая, преступная политическая интрига, в которой замешаны Си-Ай-Си и геленовская разведка, американские и германские химические монополии, американские ультра и неонацистский сброд!

— Знаешь, Чарльз, все это очень походит на бабьи сплет-

ни, и я не пойму, зачем ты все это мне рассказываешь. И что это за тон: неонацистский сброд? Давно ли ты сам...

— Что — сам? Посещал ваши бандитские сходки? Присутствовал на последнем съезде неофашистов, съехавшихся со всех концов света? Так я же журналист, господин Вендель, я собирал материал для книги, которая должна предостеречь мир о грозящей ему опасности! А сейчас я выступаю перед вами с поднятым забралом и объявляю вам открытую войну! И рассказываю я вам не бабьи сплетни, а неоспоримые факты. А зачем рассказываю — об этом вы сейчас узнаете... Вам стало известно, что жена Шрамма, Агнесса Шрамм, вырвавшись из психиатрической больницы, куда, по вашему указанию, ее упрятал полицейский врач, бывший нацистский убийца Ледерле, по свежему следу явилась в замок Остермарк. Тогда Гельмута Шрамма в срочном порядке переправили в Испанию, в замок Эгуэры, в это ваше эсэсовское гнездо...

— Бред, сумасшедший бред! — усмехнулся Вендель.

— А вот и продолжение бреда: на днях Гельмута Шрамма посетили в его тюрьме профессора Генри Листер и Джордж Стентон, прилетевшие для этой цели в Испанию, первый — из Мюнхена, где он находился в связи с делом Шрамма, второй — из Штатов. Оба известные американские ультра, к тому же Стентон — химик, специалист как раз в той области, в какой работает Шрамм. Насколько я знаю, им ничего не удалось добиться от Шрамма, и дело вступило в острую фазу. Я не сомневаюсь, что вы — именно вы, Вендель! — и ваши сообщники пойдете сейчас на все, чтобы вырвать у Шрамма его тайну. А пока что вы решили пристукнуть жену Шрамма, а заодно и меня из опасения, что я разоблачу в европейской печати все ваши преступления. Вот почему я сказал, что ваша двадцатитонка отдает... военной химией! — Уоткинс поднялся с кресла, как бы собравшись уходить.— Как видите, мне все-все известно, господин Вендель! К тому же я принял свои меры: подробное изложение всех обстоятельств этого грязного дела хранится в тайном и недоступном для вас месте и, если со мной что-нибудь случится, документ будет немедленно передан куда следует... Я не думаю, чтобы...

— А если с вами ничего не случится?

— Дальнейший ход событий зависит от вас, Вендель. Вот мои условия: вы немедленно освободите Гельмута Шрамма, обеспечите ему и его жене безопасный проезд на родину, гарантируете ему неприкосновенность... ну, хотя бы на ближайшие два-три года.

— Так-так... И в этом случае вы даете слово молчать?

— Даю честное слово.

— Я имею все основания не верить вам, господин Уоткинс.

— Вы не имеете никаких оснований не верить мне, господин Вендель. А впрочем, как вам угодно...

— Ладно, я поверю вам! — Вендель протянул Уоткинсу руку, и тот, помедлив, пожал ее.— Считайте сделку состоявшейся! Завтра к девяти утра, к отходу самолета, ваш подопечный будет доставлен на аэровокзал...

— Сегодня, Вендель! К шести вечера!

— Сегодня? К шестичасовому самолету? Но я должен согласовать... Ладно, пусть так, я все приму на себя! Сколько вам надо мест? Два? Для Шрамма и его жены?

— Два... а впрочем, три! Я провожу их до Бремена.

— Что, не доверяете старому Венделю? Ах, молодой человек, молодой человек, я же доверился вам! Знайте же: я прежде всего солдат, а у солдата верное сердце! Ну, да бог вам судья... Итак, в пять сорок пять будьте с вашей спутницей у главного входа на аэровокзал... Счастливого пути!

Через час Уоткинс позвонил Венделю по телефону и сообщил ему о перемене маршрута: по желанию фрау Шрамм, они полетят сейчас не в Бремен, а в Мюнхен.

— Не возражаю,— коротко ответил Вендель.— Еще раз — счастливого пути!

КОНЕЦ ПУТИ

...Агнесса и Уоткинс подъехали к главному входу аэровокзала на четверть часа раньше назначенного срока, отпустили машину — наемное такси — и стали ждать. Агнесса не раз внимательно смотрела на Уоткинса: уверен ли он в успехе своего предприятия?

— Не сомневайтесь, Агнесса,— говорил Уоткинс в ответ, угадывая ее состояние и ласково улыбаясь ей,— Вендель приперт к стене: у него просто нет другого выхода!

— Да-да, благодарю вас, Чарльз...

Между тем к аэровокзалу одна за другой подкатывали автомашины самых различных марок — высаживали пассажиров и мчались обратно. Агнесса не сводила с них глаз: в какой-то приедет Гельмут! Но Гельмута все не было. Наконец ровно в пять сорок пять несколько в стороне от входа остановился маленький, неприметный, старого выпуска «Пежо», сразу привлекший внимание Агнессы. Дверца растворилась, чьи-то руки высадили на тротуар молодого, очень бледного человека, бережно поддерживая его за талию. Стук захлопнутой двери — и «Пежо» на полной скорости умчался прочь. Человек остался один на краю тротуара. С трудом удерживая равновесие и слегка пошатываясь, он, видимо, не сознавал, где находится и что с ним происходит. Гельмут! Это было для Агнессы как пу-

ля в сердце. Почти обезумевшая от жалости, она бросилась вперед, а следом за ней поспешил и Уоткинс.

— Гельмут! Гельмут!

Она взяла его холодные, бессильно повисшие руки в свои, жадно заглядывала ему в глаза, говорила какие-то добрые, убеждающие, бессвязные слова, но в ответ Гельмут только странно улыбался, и Агнессе было непонятно, узнает он ее или нет.

— Гельмут, это я, твоя Агнесса! Почему ты ничего не говоришь, Гельмут? Или ты не узнаешь меня? Скажи хоть что-нибудь, Гельмут, дорогой мой! Чарльз, о Чарльз, они что-то сделали с ним! И какой ужасный у него вид...

— М-м-м... — все также странно, будто иронически улыбаясь, произнес Гельмут.

— Герр Шрамм, скажите, что с вами? — Уоткинс сильно сжал ему плечо.— Вы слышите, вы понимаете меня?

— М-м-м...

Уоткинс сунул руку в нагрудный карман пиджака Гельмута и извлек оттуда бумажник: как он и ожидал, в бумажнике оказалось три билета на самолет Мадрид — Мюнхен.

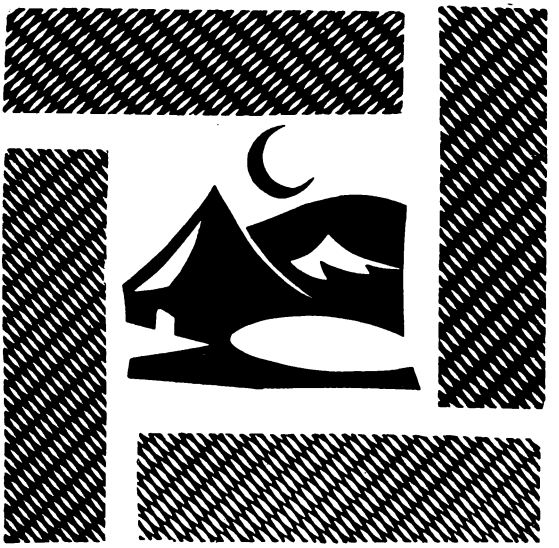
— У нас нет ни минуты времени, Агнесса. Возьмите мужа под руку с той стороны, я с этой. Вот так. И не тревожьтесь. Мне кажется, он находится сейчас под действием какого-то наркотика. Это состояние пройдет...

Они поднялись втроем на борт самолета за несколько минут до старта.

— Теперь я могу признаться вам, Агнесса,— сказал Уоткинс, когда все четыре мотора огромной машины яростно взревели и она устремилась в синюю пустыню неба.— Я и сам не очень-то верил, что мой фантастический план удастся...

* * *

На другое утро в газете появилось сообщение о катастрофе, постигшей самолет, вылетевший вчера из Мадрида в восемнадцать ноль-ноль. По неизвестной причине самолет взорвался в воздухе, когда летел над Пиренеями. Взрыв был так силен, что осколки самолета разлетелись на несколько километров от места катастрофы. Погиб весь экипаж и все пассажиры — всего сорок шесть человек. Двадцать восемь мужчин, двенадцать женщин, шестеро детей. В перечне фамилий погибших были супруги Шрамм и журналист Чарльз Уоткинс.



Б. Гурфинкель

ЧЕРНЫЙ ГРЕБЕНЬ ЧОЛПОНБАЯ

Не одну еще тайну Природы
откроет нам луч света.

Христиан Допплер

Переход от полутемной прохлады Пограничного управления к пышущей зноем улице был подобен опаляющей атомной вспышке. Здесь, в Оше, на крайнем юге Ферганской долины, белесо-голубое небо никогда не затуманивалось и вечное солнце беспрепятственно обрушивало на город потоки света и жары. Елена еще раз перечитала документ: он гласил, что ей, Елене Каржавиной, кандидату исторических наук, разрешается въезд в пограничную Горно-Бадахшанскую область Таджикской ССР.

Перейдя на противоположную сторону, Елена перепрыгнула через музыкально журчавший мутноватый арык и поспе-

шила в пятнистую тень высоких неподвижных тополей. До вылета было еще три часа, и она пошла в сторону базара.

В этот полуденный час на улицах не было ни души; но базар, восточный базар, даже в 1976 году был по-прежнему средоточием кипучей жизни в любое время дня. Его красочная бестолочь слегка ошеломила Елену. Горы желтых дынь громоздились, как груда черепов в Верещагинском «Апофеозе войны», прямо на земле, перемежаясь с терриконами зеленых огурцов и целыми полями ярко-красных помидоров. Многоголосый шум, пестрота одежд и лиц, разнообразие запахов — это воспринималось всеми чувствами сразу, как праздничная пляска первобытного племени, полная торжествующего экстаза самой Жизни.

— Эй, джолдос-кызым [1],— услышала она.

На разостланной кошме в тени наклонного навеса из молочного пластика сидел старик в черно-серебряной тюбетейке и ватном халате с вертикальными желтыми полосами.

— Ты из Москвы?

— Да, дедушка...

— А у нас что делаешь? — Коричневое лицо расплылось в улыбке, а два острых клинышка белоснежной бороды забавно сошлись вместе.— Не говори «дедушка». Скажи: «Чолпонбай-ата».

— Хорошо, Чолпонбай-ата.— Елена улыбнулась.

— Садись здесь.— Старик выбрал из кучи большую дыню, ловко вскрыл ее перочинным ножом и поставил перед Еленой.— У нас жить будешь?

— Нет, Чолпонбай-ата... улетаю туда.— Она показала на юг, в сторону Алая.

— На Памир летишь? Что там делать будешь?

Елена задумалась. Как ему объяснить? Там, на Памире, ей хотелось — нет, нужно было! — разыскать следы согдийско-афганской культуры, павшей некогда под безжалостным мечом ислама.

— А... я знаю, Аличур едешь, там большой дом стоит и еще... железный багатур Чон-Кулак. Ученые люди живут, звезды считают... Ты тоже ученая? Кызым-мирзо?

Елена знала об обсерватории в Аличурской долине и ее гигантском радиотелескопе, метко окрещенном местными жителями Чон-Кулак — Большое Ухо.

— Нет, Чолпонбай-ата... я еще не мирзо, учиться надо... Работать буду в Хороге, два месяца...

— А зачем по небу летишь? С неба только беркут много видит. На машине ехать нужно! Нашу землю посмотришь...

---

[1] Товарищ девушка *(кирг.)*.

— А как ехать, Чолпонбай-ата? Автобус давно не ходит, только вертолет...

— Когда сядет солнце, мой внук Орсунбай поедет, он тоже в Аличуре работает... Автоджигит! — старик с хитринкой в умных глазах искоса глянул на Елену. Неожиданное словечко заставило Елену расхохотаться.

— Хорошо смеешься, счастливая будешь... Орсунбай за дынями приехал, обратно с ним поедешь... Он тоже немножко ученый, зимой в Киргизабаде учится... Писатель будет, как Чингиз Айтматов, по дороге тебе все покажет. Хочешь?

— Хочу, Чолпонбай-ата!

— Хорошо, молодец! — Старик потрепал ее по горячей щеке.— Иди отдыхай, а к заходу солнца приходи сюда, Орсунбай отсюда поедет...— Старик обернулся и достал небольшую шкатулку из нефрита. Открыв ее, он вынул черный полированный гребень китайской работы с четырьмя прямыми зубцами.

В верхней его части ровно белели шесть вертикальных рядов крохотных иероглифов.

— Возьми, кызым-мирзо, когда станешь ханум — в волосах носи. Он старый, как Чолпонбай,— принесет тебе счастье...

Елена бережно приняла подарок:

— Откуда это у тебя, Чолпонбай-ата?

Старик на мгновение задумался.

— Давно-давно лежит... Еще сто лет назад мой отец в Кашгар ушел, с Исмаил-беком... Потом вернулся, оттуда привез...

— Сколько же тебе лет, Чолпонбай-ата?

— Ой, много, кызым-мирзо.— Глаза старика собрались в лучистые щелочки.— Никто не считал... Худояр-хана хорошо помню...

— А что написано на гребне, знаешь?

— Нет, кызым... Ты ученая, потом прочитай, мне расскажешь...

Елена поблагодарила старика.

— Смотри не опоздай! — крикнул он вдогонку.

Очутившись в кондиционированной прохладе комфортабельного номера гостиницы «Ак Джулдуз» — «Белая Звезда», Елена принялась изучать неожиданный подарок. Вещь, несомненно, была очень древней — вероятно, эпохи «Воюющих царств». Прочесть надпись Елене не удалось: начертание иероглифов было незнакомым. Похожи были только «нан» и «сюэ», но, вырванные из контекста, они не были понятными.

Она воткнула гребень в волосы и глянула в зеркало. Соче-

тание черного блеска с медью волос было гармонично и придало удлиненному лицу некоторую загадочность, сразу исчезнувшую, когда Елена показала язык своему отражению. Гребень был явно к лицу, но ускорять превращение в «ханум» почему-то не хотелось.

Потом она выглянула в окно. На дальнем горизонте бледно прорисовывались призрачные очертания снежных гор. Покрасневшее солнце почти касалось близлежащих скал Тахта-и-Сулейман; пора было собирать рюкзак.

* * *

Было около пяти утра, когда темно-зеленый «козел» Орсунбая Чолпонбаева, имея на борту «кызым-мирзо» Елену Каржавину, вскарабкался на последний серпантин перевала Талдык. После ночной гонки нестерпимо хотелось спать, и Елена то и дело клонилась влево.

— Эй, Лена-джон! — Веселый голос Орсунбая заставил ее поднять голову.— Закрой глаза, пожалуйста!

— Зачем?

— Ну закрой, прошу... Когда станем, выходи, потом открывай...

Елена послушно закрыла глаза. Когда машина остановилась, она нащупала ручку двери и сошла на перевальную площадку.

— Теперь открывай...

Она открыла глаза и тихонько ахнула. Внизу, словно изумрудное море, лежал неоглядный простор Алайской долины, вдоль которой красной коралловой нитью извивалась река. За долиной ступенями возвышались пестрые горы — выше, выше, выше,— увенчанные белыми льдами. Над ними голубело небо.

— Алай-Тоо, Заалайский хребет... Хорошо? — Орсунбай был горд красотой родного края.— Повезло нам: облаков нет и дымки нет... Это редко увидишь... Смотри хорошенько, сейчас дальше поедем... Реку видишь? Кызыл-Су, по нашему Красная река, по-таджикски Сурхоб, тоже Красная река... Она течет с перевала Кызыл-Арт, Красная спина, там земля красная... А вот там Сары-Таш, хороший лагман готовит старый Ли Чо...— Орсунбай загремел ведром, доливая воды в паривший радиатор, потом сел в машину и задернул «молнию» куртки.— Лагман знаешь? Как итальянские спагетти,— длинная лапша с мясом, очень вкусно... Есть хочешь? Потом опять быстро поедем, ночью дома будем.— Он говорил без умолку, то и дело поглядывая на Елену. У него было молодое загорелое лицо, веселые узковатые глаза и мальчишеская быстрая

улыбка.— У нас остановишься, жить будешь, Чон-Кулак увидишь, как он звезды слушает... Сашу Ивантеева узнаешь...

Машина виток за витком мчалась вниз, взметая клубы белой пыли. Из кузова тянуло нежным ароматом спелых дынь.

— Но я не могу жить у вас, Орсунбай,— улыбнулась Елена.— Меня ждет работа в Хороге...

— Даже и не говори. Начальник тебя не отпустит, у нас гости бывают редко.

— А кто начальник?

— Приедешь — увидишь.— Он резко крутнул руль влево. Прозвучал громовой удар, и машину бросило поперек дороги. Орсунбай, бешено вертя баранкой, сумел удержать «козла» на самом краю кювета. Елена больно ушиблась о ручку двери, ошеломленно молчала. Мотор заглох. Орсунбай выскочил из машины, бросился к правой дверце.

— Жива, кызым-мирзо?— В его серо-зеленых глазах застыл испуг.— Задний левый скат лопнул, на полном ходу... Перегрелся на камнях... Помогай, пожалуйста...

Они вдвоем сменили тяжелый скат. Орсунбай озабоченно заглянул под задний мост.

— Сильный удар был,— сказал он, качая головой,— задний мост перекосило... Ничего, в Сары-Таш приедем, все сделаем!

* * *

В прохладном зале чайханы в этот ранний час было пусто. На полу стояли низенькие шестигранные помосты, устланные мягкими ковриками из разрисованного линопрена. Пока Орсунбай возился с машиной на ремонтной эстакаде, Елена заказала у старого молчаливого дунгана Ли Чо два лагмана и чайник, после чего ее мысли вернулись к гребню. Кому принадлежал он, чью прическу украшал и что гласила надпись?

Машинально она достала гребень и воткнула его в волосы.

— Порядок, Лена-джон.— Орсунбай тащил под мышкой увесистую дыню.— Как красиво! Откуда это у тебя?

— Твой дед Чолпонбай-ата подарил.— Елена скосила взгляд на висячее зеркало.

— А что там написано?

— Это по-китайски, но язык старый, я не могу прочесть...

— Дай, пожалуйста.— Орсунбай повертел гребень в руках.— Знаю! Ли Чо прочтет, он, наверно, знает старый язык.

— Правильно,— обрадовалась Елена.

Старик дунган направлялся к ним с подносом, уставленным пиалами, и Орсунбай быстро заговорил с ним по-киргизски, указывая на гребень. Поставив поднос, Ли Чо надел

очки и, вглядываясь в надпись, беззвучно зашевелил губами. Потом поднял голову, и его впалые раскосые глаза заблестели. Он оживленно заговорил, адресуясь к Елене.

— Говорит, тут про звезду написано,— перевел Орсунбай.— В давние времена пришла звезда, светила по очереди всеми красками, потом погасла...

Елена оживилась, вспомнив летописи Ма Туан-Лина: тогда это называлось «звезда-гостья».

— Скажи ему большое спасибо.— Елена пожала старику маленькую сухую руку, отчего тот просиял и погладил Елену по волосам.

Лагман старого Ли Чо был великолепен, и Елена подумала, что зеленый чай гармонирует с ним не хуже, чем итальянское кьянти со спагетти.

— Про звезды у нас тебе все расскажут.— Большая пиала Орсунбая пустела на глазах.— И про цветную звезду тоже... Теперь поехали: еще двести километров.

Машина мчалась по прямой, как линейка, дороге, среди высоких трав, стоящих как спелая пшеница. Неудержимо убегали назад белые строения Сары-Таша и стройный силуэт радиорелейной башни Транспамирской связи. Ветер гладил щеки, хлестал волосами по лбу.

Закрыв глаза, Елена запела любимое:

А ветер как ухнет,
Как мимо просвищет,
Как двинет волною под звонкое днище...

Орсунбай высоким тенором затянул древнюю путевую песню своих кочевых предков.

* * *

Отведя взгляд от надоевшей клавиатуры настольного суперкалькулятора, Ивантеев устало распрямился, резким движением головы отбросил назад рыжую прядь, упавшую на лицо, глянул на часы и прислушался.

Пришло время ночной вахты Чон-Кулака.

Распахнув наружную дверь, Ивантеев вышел на застекленный балкон, опоясавший круглое здание обсерватории. Темное, почти фиолетовое небо куполом накрыло простор Аличурской долины. Ровно, плоско, как на родной Кубани; но здешняя степь была бурой, голой и простиралась до горизонта, упираясь в горную гряду на юго-востоке. Неподалеку, в сгущавшихся сумерках, алюминиевым блеском мерцало что-то огромное, как амфитеатр стадиона, покоившееся на широком решетчатом основании.

— Давай! — крикнул Ивантеев сквозь раскрытую дверь куда-то в глубину аппаратной.

Послышался щелчок контактора, и на большом табло под самым потолком засветились цифры координат. Гигантская ажурная чаша с неожиданной легкостью пришла в бесшумное движение. Повернувшись вокруг вертикали и несколько наклонившись, Чон-Кулак замер, уставившись в невидимую точку над южным горизонтом. Лишь несколько редких звезд теплились в той стороне над темнеющим силуэтом Сарыкольского хребта.

— Схватил,— проговорил Ивантеев в темноту.

Покинув галерею, он прошел в круглый полуосвещенный зал. В его центре, на легком трубчатом постаменте, покоился большой панорамоскоп, с помощью которого Чон-Кулак общался со своими жрецами, не умевшими, как он, слышать шепот звезд в тысячах парсеков от Земли.

Хаотическая пляска световых точек на прямоугольном горизонтальном экране больше всего, пожалуй, походила на беспорядочную толчею снежинок или пылинок в солнечном луче. Человек, сидевший перед экраном, осторожно манипулировал рукояткой электронного визира. Зеленоватый отсвет экрана ложился на резкие черты лица с русой бородкой.

— Ну, что у тебя? — с тайной надеждой спросил Ивантеев.

— Каким он был, таким остался,— иронически протянул Шагин.— С трудом вытянул, чуть в сторону — и его как не бывало...

Среди световой суматохи на экране привычный глаз Ивантеева угадал знакомое яркое пятнышко. В этом месте световые вспышки толпились охотнее и теснее,— на этой частоте был регулярный сигнал. Все остальное было случайными помехами.

— А тонкая структура?

— На вот, гляди сам! — И Шагин поворотом рукоятки растянул пятнышко в тускло мерцающую лунную дорожку.— Ни намека на закономерность, этакое торжество хаоса... Тебе еще не надоело?

— Нет, не надоело,— сказал Ивантеев.— Старик Линтварев не поручил бы его нам так просто, ты ведь его знаешь. Длина волны растет? Растет. Закономерно? Да, закономерно. Следовательно...

— Опять за свое! На сколько она растет-то, господи? На микротютельку в месяц? Объект остывает, вот она и растет... Только такой верующий энтузиаст, как ты, может в хаосе излучений космоса усмотреть разумные сигналы...

— И это говорит старший научный сотрудник Аличур-

ской обсерватории Комитета космических контактов! — воскликнул Ивантеев.— Строго говоря, ты заслуживаешь увольнения без выходного пособия.— Он неожиданно вздохнул.— Увы, время энтузиастов прошло. Я лишь добросовестный дневальный, один из многих... Чужой Разум существует. Рано или поздно он заявит о себе — может быть, завтра, может быть, через столетие... Но мне кажется, что тот, кто первым примет сигналы Чужого Разума, должен будет в ножки поклониться тому, кому первому пришло в голову их искать...

— Кто же, по-твоему, первый? — спросил Шагин серьезно.

— Иван Ефремов, автор «Туманности Андромеды»... Его герои были первыми искателями следов разума в космических излучениях. Помнишь «Великое Кольцо»?

— Ого! — Шагин поднял брови, глядя на собеседника с комическим уважением.— Этого аргумента, коллега, вы еще не выставляли... Читал, читал,— протянул он небрежно.— Идея изящная, но абсолютно химерическая... Но если на то пошло, в научном плане первым был астроном Кардашев, еще в шестьдесят четвертом... Помнишь его пресловутые мигающие радиоисточники на девятистах мегагерцах в созвездиях Овна и Пегаса? Он предположил, что они искусственные... Ну и мигают по сей день, а толку что?

— Но «Туманность» вышла в пятьдесят седьмом,— возразил Ивантеев,— так что приоритет за Ефремовым, что там ни толкуй насчет научного плана... А толк будет, дай срок,— сказал он твердо.

— Пока солнце взойдет — роса очи выест... Единственные разумные сигналы из космоса — это сигналы наших спутников и кораблей, облетающих планеты.— Шагин усмехнулся.— Всё остальное только голоса космического хаоса, и ничего больше...

— Хаоса? Послушай, совесть или... знания у тебя есть? Что говорят твои учителя — Колмогоров, Шаннон, Винер? Чтобы вооружить хрупкого Давида — разумное сообщение — для единоборства с Голиафом помех, нужно сделать Давида Голиафом, придать ему беспорядочную, случайную структуру... И кроме того: на Земле и на орбитах работают тысячи радиопередатчиков и иных излучателей по всему радиоспектру. Разве их суммарное излучение издалека не будет воспринято, как хаотическое?

Вместо ответа Шагин прильнул к стеклу балконной двери.

— Гляди, кто-то едет...

Белая лента дороги, прямая и тонкая, как игла, растворялась во тьме. Где-то на ее конце сверкали два дрожащих огонька.

— Со стороны Мургаба... кто бы это мог быть?

— Давненько не было начальства из КОККАНа[1].— Шагин ухмыльнулся.— Я предпочел бы Орсунбая с дынями.

— Наверняка это он и есть, давно пора,— сказал Ивантеев.— Включай автозахват, и пошли встречать...

Машина приближалась быстро, и в подпрыгивающих лучах засияла часть опорной решетки Чон-Кулака. Раздался ровный высокий аккорд звукового сигнала.

— Везет, что ли, кого?

— Извещает о прибытии...

— Оркестра у нас нет, обойдется. Да что он, сдурел, что ли?

Звук продолжал стелиться ровно и монотонно, будоража привычную ночную тишь. Тон его заметно понижался, а громкость по мере приближения становилась оглушающей. Огромные слепящие глаза уставились прямо на Ивантеева, и машина резко затормозила против входной двери. Орсунбай соскочил и бросился поднимать капот.

— Это что, салют? — осведомился Шагин.

— Заклинила кнопка звукового сигнала.— Грудное контральто принадлежало женщине.

Орсунбай отключил клемму аккумулятора,— погасли фары, и звук резко оборвался.

— Привет, Орсунбай,— сказал Ивантеев, пожимая ему руку.— Кого это ты привез?

— Гостя привез, хорошего гостя... Сам смотри!

Ивантеев зажег ручной фонарик. В его луче возникла молодая женщина в брюках и сером вышитом свитере.

— Добрый вечер,— сказал он.— Ночевали у Кара-Куля?

— Нет, едем прямо из Оша.— Руки Елены повисли, а грудь тяжело вздымалась.

— Передохнете, у нас тут высота 4200... Почему так поздно, Орсунбай?

— У Сары-Таша скат на ходу лопнул... тогда же, наверно, заклинило и кнопку. Мы после ни разу сигнал не давали, правда, Лена-джон?

— Правда,— сказала Елена. После суток сумасшедшей езды слегка сводило икры ног, побаливала голова и хотелось пить.— А вы чьи?

— Так вы не из КОККАНа?

— Нет, я из ИНКИДАНа[2]...— и, переглянувшись, все трое рассмеялись.

В просторном холле первого этажа с треугольным столом в «диванном» углу было уютно.

---

[1] Комитет космических контактов Академии наук.

[2] Институт комплексного изучения древностей Академии наук.

— Здесь наша кают-компания, а вон там,— Шагин указал на дальнюю дверь,— ваша комната. Тринадцатый номер, если вы не суеверны...

— Нисколько,— улыбнулась Елена.— Я родилась тринадцатого.

— Тогда все в порядке... А сейчас подкрепитесь.— Ивантеев подал ей поднос с небольшим тибетским чайником.

Ничто сейчас не могло быть лучше, и, с наслаждением осушив чайник, Елена почувствовала себя в состоянии задавать вопросы.

— Чем живете, добры молодцы, на что силушку свою тратите? — Она подбоченилась, тряхнув головой.

— От КОККАНа всея Руси поставлены идолу служить баеурманскому, Чон-Кулак зовется, матушка...— пропел Шагин.

— Осмелюсь доложить, следим за объектом сто шестнадцать дробь зет шестьдесят один,— отрапортовал Ивантеев.

— Господи! А если по-русски?

— Радиотуманность Центавра в шестнадцать раз больше Солнца по своей излучающей площади,— сказал Шагин наставительно.— Но Чон-Кулак выделил на ее фоне точечный источник.

— А в каком диапазоне?

— Сегодня тысяча сто восемнадцать миллимикрон,— сказал Ивантеев.

— Сегодня? А вчера?

— Вчера было чуть меньше... Волна день ото дня удлиняется...

— Удлиняется? — Елена поднялась с места.— На сколько?

— Ерунда, в месяц полмиллимикрона...

Елена, чуть прищурившись, внимательно поглядела на Ивантеева. Что-то мелькнуло в сознании,— какая-то неясная, еще бесплотная идея, смутно связанная с черным гребнем.

— Но почему?

— Я уверен, что это...— Ивантеев смолк, наткнувшись на иронический взгляд Шагина.

— Уселся на своего конька! — Шагин комически махнул рукой.— Ладно, примите ванну и отдыхайте. Ежели не очень устали, к десяти просим в кают-компанию. До свиданья, Звезда-Гостья!

— Так вы знаете летописи Ма Туан-Лина? — Елена оживилась.

— Китайской грамоте не разумею, но... есть тут у нас один грамотей...— Он искоса показал глазами на Ивантеева.— Старается изо всех сил...

Ивантеев молча кинулся на Шагина, тот ловко увернулся.

— А вы что, китаевед?

— Нет, я — историк... с примесью астрофизика,— ответила Елена.

— Ух какая редкая комбинация,— сказал Ивантеев.

— Кстати, а кто из вас начальник?

— Не я,— сказал Шагин.

— И не я,— сказал Ивантеев.

* * *

Приоткрытая дверь кают-компании бросала на пол косой параллелограмм света.

— А, Звезда-Гостья.— Шагин привстал, указал Елене место за столом.— Милости просим... У нас тут обычный вечерний матч научного бокса — Шагин против Ивантеева, равные весовые категории... Болельщиками будете вы и Орсунбай. (Тот, выбритый и гладко причесанный, весело улыбнулся Елене.) А вот и судья, прошу познакомиться...

Узкое матово-бледное лицо с высоким чистым лбом и косым разрезом черных блестящих глаз, ореол смоляных волос, крупный медальон характерной формы в квадратном вырезе вечернего платья (это же с о ё н б о, национальный символ Монголии!) — такой была Цыреннадмид Цультэм, доктор астрофизических наук, заведующая обсерваторией. Она спокойно и дружелюбно пожала Елене руку, задержав внимательный взгляд на черном гребне, украшавшем ее прическу.

— Еще Дрейк делил разумные сигналы из космоса на несколько видов,— говорил между тем Ивантеев,— сигналы внутренней связи — это вроде суммарного излучения всех приборов Земли, затем «дальние вызовы» тем, кто уже известен, и, наконец, сверхдальние сигналы космического контакта в адрес тех, кто еще неизвестен,— кстати, Шагин, это и есть «Великое Кольцо» Ефремова. Мне думается, что Чон-Кулак принимает сигнал именно из этой последней категории — космический «позывной», адресованный всем-всем-всем. Сигнал, возможно, имеет форму «зубьев пилы»: медленное нарастание длины волны, за которым следует быстрый спад. Сейчас мы наблюдаем нарастание... Как еще можно его объяснить?

— Если вы не возражаете, попытаюсь я.— Елена вынула из волос черный гребень. В мягком свете плафона на нем четко проступило белое хитросплетение иероглифов.— Эта вещь мне досталась в Оше совершенно случайно.— Она рассказала историю неожиданного дара.— Содержание надписи приблизительно известно благодаря Орсунбаю.

— Смотри какой дед,— сказал Орсунбай.— Мне никогда не показывал гребень...

— Быть может, в столь компетентном собрании это покажется наивным,— Елена повела глазами в сторону Ивантеева,— но мне почему-то кажется, что надпись на гребне имеет отношение к вашей проблеме...

— Дайте мне! — Карие глаза Ивантеева загорелись. Взяв гребень, словно драгоценную камею, он начал читать: — «В период Чжун-Пин, во второй год, в десятую луну, в день Гуй-Хай...», это мне непонятно, «...появилась звезда-гостья посредине... Нан-Ман». Что это?

— Центавр,— подсказала Цыреннадмид глубоким напевным голосом.

— Наш Центавр! — Ивантеев привскочил с места.

— Да. А все предыдущее означает седьмое декабря сто восемьдесят пятого года нашей эры. Но читайте дальше, Саша.

— «Она была как глаз Синего Дракона»...— Он помедлил, соображая.— «...потом последовательно показывала... п я т ь ц в е т о в...» — Он вопросительно посмотрел на Елену.

Та кивнула.

— «Постепенно она слабела и к шестой луне следующего года угасла». Всё... Нет, погодите, вот еще, помельче: «Созерцал досточтимый господин Яо Чжи-Тун, Хранитель Небесного Спокойствия».

— Шестая луна следующего года, это спустя восемь месяцев, не так ли? — Голос Цыреннадмид поразил Елену.— Если я вас правильно поняла,— она обращалась к Елене,— вы отождествляете наш объект со звездой-гостьей Яо Чжи-Туна?

— Да, я думаю... Волна удлиняется теперь, удлинялась и тогда.

— Елена права! — Ивантеев вскочил, с грохотом отодвинул стул.— Удлинение световой волны, ведь это и есть пять цветов... синий, зеленый, желтый, красный!

Орсунбай восхищенно посмотрел на Елену.

— Как красиво,— сказал он мечтательно.— Ты придумала, как художник... Об этом надо написать стихи...

— Поистине вы посланы нам провидением, Елена Владимировна.— Ивантеев уселся на место.

— Буйство красок.— Шагин вручил Елене сочный ломоть дыни.— А если первым был, скажем, желтый?

— А глаз Синего Дракона? Разве это прямо не указывает, что вначале звезда была синей?

— Ни чуточки не указывает.— В тоне Шагина была небрежная самоуверенность, бесившая Ивантеева.— Это обычная новая, постепенно остывающая. Вначале она была, скорее всего, голубовато-белой. Потом пропало излучение высокой энергии — она пожелтела. Исчезли зеленые лучи — звезда ста-

ла красной. Остывая дальше, она стала уже невидимой, инфракрасной, и продолжает остывать... Вот тебе и пять цветов и удлинение волны.

— Ничего подобного! — Ивантеев вышел из себя.— Такой поток не может излучаться просто горячим телом, спектральная линия слишком узка, ты же сам жаловался,— а интенсивность постоянна.

— Вы правы, Саша. Интенсивность излучения ведь пропорциональна четвертой степени температуры и к нашему времени упала бы до ничтожной величины...— Цыреннадмид немного помолчала.— Причиной удлинения волны может быть также эффект Допплера, если предположить, что объект движется, и притом ускоренно.

— Ускоренно? Значит, это искусственный объект!

Возбуждение Ивантеева росло на глазах.

— Астрокорабль.— Шагин усмехнулся.— Интеллигентные существа, ищущие собратьев по разуму... И летят они, конечно, только к нам, на Землю,— больше некуда... Да мало ли в космосе может быть ускоренных объектов, ну, хотя бы разбегающиеся галактики...

— Эффект Допплера? Я это читал, но хорошо не понял.— Орсунбай вопросительно посмотрел на Шагина.— Объясни, пожалуйста!

— А разве у вас в литературном этого не преподают? Жаль...— Шагин снисходительно улыбнулся.— Допустим, ты очень быстро едешь на красный огонь светофора... Он покажется тебе зеленым. Проскочив светофор и оглянувшись, ты его не увидишь совсем, он станет невидимым, инфракрасным... Но тут тебе свистнет ОРУД, ты остановишься, снова увидишь красный свет — и... получишь прокол в талоне...

— Ай-ай-ай.— Орсунбай иронически покачал головой.— Сколько езжу — ни разу не видел...

— Не мудрено. Для этого нужно развить одну пятую скорости света...

— Слушай, не надо,— обиделся Орсунбай.— Ты что, меня за школьника считаешь? Саша, объясни, пожалуйста, суть, почему меняется цвет?

— Причина вот в чем.— Ивантеев наморщил лоб, стараясь избежать тривиального примера.— Луч света — это струя фотонов, частиц чистой энергии... Представь себе...— он ерошил свою рыжую шевелюру, пытаясь найти выразительный образ,— крохотную пылинку, летящую со скоростью света и при этом пульсирующую в объеме, знаешь, как «уйди-уйди», но неимоверно часто и быстро. На лету мимо тебя он будет выглядеть как волна. Отбери у фотона часть энергии: скорость его не изменится, но пульс станет реже, волна удлинится, свет

покраснеет. Прибавь энергии — пульс участится, длина волны уменьшится, свет посинеет. Так вот, если светящий в твою сторону фонарь удаляется,— Ивантеев уже говорил увлеченно и уверенно,— то его луч, направленный на тебя, подталкивает фонарь силой реакции, то есть отдает ему часть энергии фотонов. Пульс их становится реже, и волна удлинится, а видимый цвет покраснеет...— Ивантеев смолк, переводя дух.

— Точнее, он сдвинется в сторону красного, и тем больше, чем больше скорость расхождения... А если эта скорость со временем нарастает, то волна будет непрерывно удлиняться.— Цыреннадмид завершила описание улыбкой, от которой ее лицо сразу потеплело.— Поздравляю, Саша. Вы нашли образ фотона и совсем по-новому объяснили эффект Допплера.

— Понял! — торжествующе воскликнул Орсунбай.— Значит, цвет может меняться из-за изменения скорости!

Елена зарумянилась от волнения. А что, если это действительно...

— Это корабль Неизвестных, удаляющийся от нас.— Ивантеев горячился, барабаня кулаком по столу.— Его разгоняет реактивная сила светового луча невиданной мощности. Может быть, это сродни нашим лазерам. Луч, конечно, сам по себе ультрафиолетовый, невидимый. Но во времена Яо Чжи-Туна скорость удаления возросла уже настолько, что эффект Допплера сдвинул длину волны в видимую часть спектра. Луч прошел пять цветов от синего до красного, а когда стал инфракрасным, звезда-гостья угасла. Теперь скорость настолько велика, что Чон-Кулак воспринимает его уже в дальней инфракрасной области...— Ивантеев стоял, упершись в стол руками.— А что, если вообще вспышки новых звезд — это движущие лучи чужих звездолетов, случайно задевшие Землю?

— Дальше — больше,— насмешливо протянул Шагин.— Смотри также Тунгусское чудо, древние продырявленные кости, бога в скафандре из сахарских фресок и так далее. Если это звездолет,— он продолжал уже серьезно,— то его ускорение должно быть небольшим и постоянным, иначе твоих небожителей давно превратила бы в лепешку исполинская перегрузка. Во избежание этого они должны были бы со временем непрерывно уменьшать силу своего луча, так как масса их корабля с расходом горючего уменьшается. А наш сигнал постоянен по интенсивности!

— К этому надо добавить ослабление с квадратом расстояния... Нет, Саша, вряд ли он искусственного происхождения.— Цыреннадмид сочувственно взглянула на Ивантеева.

Изящная гипотеза, в которую так хотелось верить, рассыпалась в прах, и на глазах Елены выступили слезы.

— Ну, а если он не удаляется, а приближается? — Ивантеев не выносил женских слез.

— Тогда бы его движущий луч был обращен от нас и мы бы его не видели вовсе. Если же это специальный сигнальный луч, то волна не удлинялась бы, а укорачивалась.— Шагин был неумолим.— Доедай-ка свою дыню, да на боковую, а то проспишь смену... Спокойной ночи, девицы-красавицы.— Его шаги послышались возле лифта, ведущего наверх, в аппаратную.

* * *

Ивантеев ворочался в постели, машинально прислушиваясь к шорохам ветра снаружи. Взбудораженное сознание не успокаивалось: из неимоверной дали наплывали пульсирующие фотоны, увеличиваясь до устрашающих размеров... Если они приближаются и сигнализируют лучом, так этот луч их уже не подталкивает, а притормаживает, отбирает часть энергии движения. Пульс учащается, и волна укорачивается... А она удлиняется! Здесь крылась какая-то зацепка...

* * *

Распахнувшаяся дверь с маху ударила ручкой по стене, и Ивантеев ворвался в аппаратную.

— Саша, что с вами? — Его лихорадочно сверкавшие глаза встревожили Елену.

— Шагин, старая лошадь...— Ивантеев неровно дышал,— звук!

— Какой звук?

— Вчера, когда приехал Орсунбай с Еленой... Помнишь, заела кнопка звукового сигнала? Вдали звук был высоким, а потом понижался в тоне, пока они не остановились. Тот же эффект Допплера, только наоборот!

— Ну и что же?

— А то, что за полминуты «газик» сбавил скорость с семидесяти километров до нуля... Нормально звук низкого тона, но при сближении на большой скорости звуковая волна укоротилась и тон повысился... При торможении эффект Допплера сошел на нет и тон понизился до нормального. Они,— Ивантеев указал вверх,— летят прямо в нашу сторону, но не ускоренно, а замедленно... То, что слышит Чон-Кулак,— это контрпар, тормозящий луч, понимаете? С каждым мгновением скорость уменьшается и луч отбирает у корабля все меньше кинетической энергии. Пульс фотонов становится реже, и волна удлиняется... Ясно?

На минуту Шагин задумался, облокотившись на стол и

упершись большим пальцем правой руки в верхний ряд зубов. Этот признак замешательства был хорошо знаком Ивантееву.

— Но тогда яркость луча должна была бы со временем расти,— сказал он наконец.

— Сэр,— Ивантеев был предельно вежлив,— вчера вам угодно было просветить нас, что ускорение нужно поддерживать постоянным, постепенно уменьшая интенсивность луча. При торможении, к вашему сведению, нужно проделать то же самое. А так как они приближаются, то принимаемая нами интенсивность остается постоянной.

— Что же, Саша, давайте проверим. Тогда собственный луч вашего звездолета должен быть не ультрафиолетовым, а инфракрасным.— Цыреннадмид взялась за свой медальон-соёнбо, нажимом невидимой кнопки откинула крышку: медальон оказался миниатюрным вычислителем.— Объект начал торможение более двух тысяч лет назад, начиная со субсветовой скорости около девяти десятых,— она нажала несколько миниатюрных кнопок на овальной шкале,— при которой инфракрасный луч воспринимался бы на Земле как ультрафиолетовые фотоны большой энергии... При снижении скорости до семи десятых луч стал видимым — сине-фиолетовым: появилась звезда-гостья Яо Чжи-Туна. При дальнейшем торможении луч сделался зеленым. Это при скорости пять десятых, затем,— она опять посоветовалась с соёнбо,— красным, при скорости тридцать шесть сотых... Так как для постоянства перегрузки темп торможения должен со временем уменьшаться, за последующие тысяча восемьсот лет удлинение замедлилось... А сейчас волна удлинилась почти до исходной, порядка тысячи миллимикрон...

— Браво, Саша! — Елена, вскочив с места, в экстазе чмокнула огорошенного Ивантеева.

— Торможение в течение тысячи восемьсот лет! — воскликнул Шагин.— Ну что же, сейчас им самое время начать сигнализацию, запросить у КОККАНа разрешения на посадку, что ли...

— Тысяча восемьсот наших лет,— поправила его Елена.— Кто знает, какое у них там время?

— Чушь, не верю я в это! — Шагин, вскочив, заходил по комнате, нервно жестикулируя.— Космос не может повторяться, и ничего похожего на себя мы не встретим никогда! Довольно иллюзий из научной фантастики! Сколько времени и сил затрачено на разведку на волне двадцать один сантиметр? И до сих пор ничего! Кто возьмется подсчитать многообразие Вселенной? Да кто мы такие, черт подери, чтобы служить для нее универсальной моделью? Не слишком ли...

Его взволнованную речь прервал сильный мелодичный

звон, в котором слышалось что-то маняще тревожное. Ивантеев бросился к панорамоскопу.

— Чон-Кулак потерял след! — крикнул он на бегу.

На обширном экране яркое пятнышко сигнала исчезло: лишь помехи продолжали свою бестолковую пляску.

Подскочив к пульту, Шагин нажал кнопку размыкателя, и звон оборвался.

— Сигнал исчез! — сказал он.

— Они запрашивают посадку! — съязвил Ивантеев.

Не отвечая, Шагин завертел маховичками ручной наводки, направляя Чон-Кулак в прежнюю точку небосвода.

— Но откуда они? — Елена уцепилась за руку Ивантеева.— Не с Проксимы ли Центавра? Она ведь ближайшая...

Внезапно прозвенело снова: излучение возобновилось. Что-то необыкновенно радостное обожгло душу Ивантеева: этот перерыв был с и г н а л о м!

— Ты, бородатый скептик... если это не сигнал, то... то...— слово не находилось.

Шагин включил автозахват и молча подошел к черному прямоугольнику балконной двери. Минуту простояв, он отворил ее и скрылся во тьме. За ним последовали остальные.

И опять прозвучал звон сброса, и снова на экране засияло пятно. Сомнений не оставалось!

Разбушевавшийся ночной ветер неистово набрасывался на решетчатые фермы Чон-Кулака, и тот весь гудел,— басовито и торжественно,— словно орган в Домском соборе Риги. Четверо на балконе углубились в свои мысли: ничто не могло потрясти сильнее, чем это неоспоримое свидетельство,— здесь, сегодня, в этот вечер в Аличуре... Этого долго ждал мир, и они оказались первыми.

— Итак, они идут.— Ивантеев нарушил молчание.— Но что принесут они нам? Разум — высочайший, совершеннейший,— но нечеловеческий, быть может, как марсиане Уэллса?

— Нет, Саша,— Цыреннадмид полуобняла Елену за плечи,— высший разум не может быть нечеловеческим... Они поделятся с нами знанием, которого у нас еще нет...

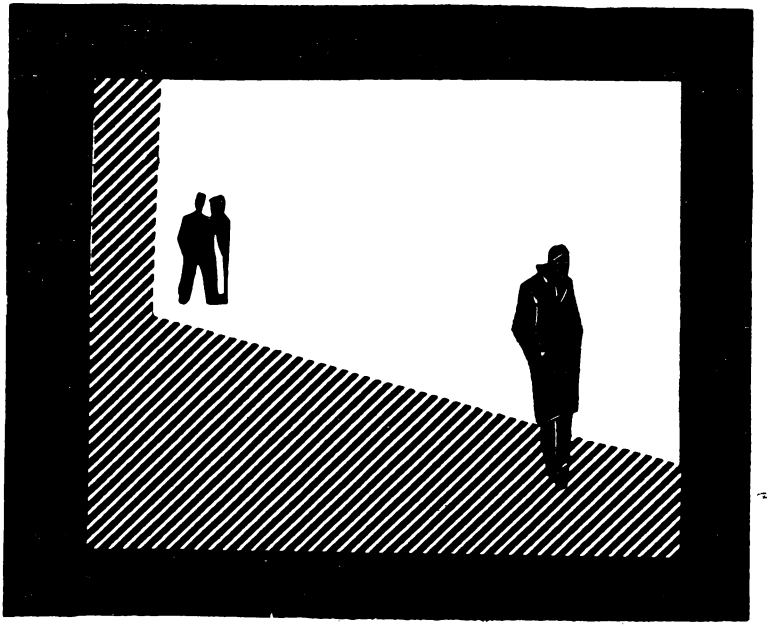
Периодические звонки не прекращались.

— Но когда они придут?

— Им лететь еще долго... лет сто двадцать. Их встретит грядущее Земное Братство,— проронила Цыреннадмид задумчиво.

— Они? Нет, не о н и... скорее Нечто,— сказал Шагин серьезно и торжественно.— Нечто, о котором предупреждали многие... Мир должен узнать немедленно.— Он исчез в двери.

В темноте ярко засветилось круглое окно рубки радиорелейной связи.



Николай Томан

СИЛЬНЕЕ СТРАХА

ПРИЗНАНИЕ

В коридоре надрывается телефон, а Валентина никак не может оторваться от книги. Странно, однако, что и Михаил не спешит к телефону. Он всегда бросается к нему опрометью.

А звонок не умолкает.

Валентина бросает взгляд на часы — уже половина двенадцатого. Ну, это определенно Михаила; так поздно ей никогда еще никто не звонил.

Она с досадой отрывается от книги и идет в коридор.

— Ты разве не слышишь, Миша? — спрашивает она брата, заглядывая в его комнату.— Это ведь тебя кто-то.

— Если меня, скажи, что нет дома,— почему-то испуганным голосом отзывается Михаил.

— Так поздно? Кто же этому поверит?

— Придумай тогда что-нибудь. Я к экзаменам готовлюсь... Некогда мне...

Валентина удивленно пожимает плечами и снимает трубку.

— Да, я слушаю... Мишу? Он спит уже... А откуда вы знаете, что не спит? Ну хорошо, я посмотрю, может быть, он и в самом деле не спит.

Она кладет трубку на столик и идет к Михаилу.

— Это какой-то твой товарищ. Он звонит из телефонной будки на другой стороне улицы и видит тебя через окно. Поговори с ним.

Она замечает, как нервно дергается вдруг лицо брата.

— Да, я слушаю,— говорит он в трубку каким-то чужим, робким голосом.—А, Тарзан, здравствуй! Это сестра почему-то решила, что я уже сплю. Все еще маленьким считает. Выйти к тебе? Поздно ведь... С чего ты взял, что боюсь? Ничего я не боюсь! Ладно, сейчас...

Но тут Валентина выхватывает у него трубку:

— Никуда я его не пущу так поздно! А если он вам очень нужен — зайдите к нему сами. Потерпите до завтра? Ну вот и хорошо. Спокойной ночи!

Она кладет трубку и торопливо оборачивается к Михаилу.

— Может быть, ты объяснишь мне, какому Тарзану понадобился так поздно? И вообще — что это с тобой происходит в последнее время?

Михаил молчит, понурив голову.

— Кто такой этот Тарзан? Что ему нужно от тебя?

Михаил, не отвечая ей, медленно уходит в свою комнату. Валентина идет за ним следом. Она давно уже собиралась поговорить с ним серьезно.

— Почему ты не отвечаешь, Михаил?

— Я не могу тебе ответить,— произносит он наконец чуть слышно.— Не спрашивай меня ни о чем... Не вынуждай врать.

— Но я вижу, что с тобой случилось что-то... Ты попал в беду? Расскажи, может быть, я помогу тебе...

Она берет его за руки, но он отстраняется от нее и просит дрогнувшим голосом:

— Помоги мне уехать куда-нибудь...

— Но ведь у тебя экзамены!

— Для меня сейчас это важнее, чем экзамены... Поверь мне на слово и помоги...

Валентина хорошо знает его упрямый характер и решает ни о чем его больше не расспрашивать.

— Ладно, ложись спать, я подумаю о твоей просьбе.

Михаил послушно ложится, но Валентина знает, что он не скоро еще заснет. Не удастся, наверно, заснуть и ей...

Что случилось с парнем? Почему он стал таким нервным, замкнутым? Ведь совсем недавно был дерзок, самоуверен... Любил говорить о сильных личностях, о Фрейде и его теории агрессивности человеческих существ. А теперь вдруг присмирел, будто боится чего-то. Опять, значит, какой-то в нем перелом?..

А когда-то был вполне нормальным, обыкновенным мальчишкой. Увлекался футболом, читал запоем приключенческие книги, любил ходить в цирк.

Когда же случилось с ним это впервые? Кажется, после того, как ушел отец...

Да, именно тогда, когда отец ушел к другой женщине. Мише было в тот год четырнадцать. Он не плакал, не возмущался поступком отца, но за один день стал совсем другим и всё, что любил до этого, возненавидел. Любимого своего кота Тигрика сбросил с подоконника, ударил девочку, с которой давно дружил и даже, кажется, по-мальчишески тайно любил. Все книги, подаренные отцом, выбросил в мусоропровод. А потом вообще убежал из дому, и мама нашла его лишь на третий день на даче у знакомых.

Но что такое, он бредит, кажется?

Валентина вскакивает с дивана и спешит к брату. Не зажигая света, останавливается на пороге его комнаты. Прислушивается...

— Не убивал я ее, не убивал!.. — невнятно бормочет Михаил.— Не ее это кровь...

И снова долгий, мучительный стон.

Валентина бросается к брату, тормошит его.

— Проснись, Миша, проснись!.. Что за кошмары тебе снятся?

— Оставь меня, Джеймс... — молит Михаил.

— Какой Джеймс? Это я, Валя. Проснись же наконец!

Михаил испуганно вскакивает и бросается к окну. Валентина преграждает ему путь.

— Опомнись, Михаил! Куда ты?..

Узнав сестру, Михаил обессиленно повисает у нее на руках. Валентина сажает его на диван, зажигает свет и бежит на кухню. Когда возвращается, видит его широко открытые, испуганные глаза и покрывшийся испариной лоб.

Не считая, дрожащей рукой Валентина капает в стакан валерьянку.

— Выпей, тебе станет легче.

Михаил покорно пьет и постепенно успокаивается.

— Ну вот и хорошо, Мишенька,— ласково, как маленькому,

говорит ему сестра.— Ложись теперь поудобнее. Это ты в неудобной позе лежал и потому, наверно...

— Нет, Валя, не потому... — перебивает ее Михаил.— Они меня все равно разыщут и убьют, куда бы я ни поехал. И не смотри на меня так — это уже не бред.

— Господи, да кто это они? Что ты говоришь такое?..

— Не могу сказать кто, но они ни перед чем не остановятся и убьют, как ту девушку...

— Какую девушку? Да ты просто нездоров, наверно...

— А то, что я украл у них улику против меня,— не отвечая сестре, продолжает Михаил,— ничем мне уже не поможет...

— Какую улику?

— Они хотели меня запутать... Сделать причастным к убийству той девушки. А я украл у них эту улику, и они, должно быть, хватились ее теперь. За этим, наверно, и вызывал меня Тарзан...

— Какой Тарзан? Тот, что звонил тебе?

— Да, тот. Он мог убить меня тут же, на улице, прямо перед нашим домом. Он и мать родную не пощадит, если Джеймс ему прикажет. Кто такой Джеймс? Я и сам не знаю. Этого никто из нас не знает. Джеймсом Бондом мы сами его между собой называем по имени главного героя английского писателя Яна Флемминга. Джеймс познакомил нас с его романами.

Михаил говорит это очень спокойным, бесстрастным голосом, а Валентина с ужасом думает:

«Боже мой, неужели он попал в лапы шпионов?.. Что же теперь делать, как его спасти?..»

— Некоторые из нас тоже мечтали быть похожими на знаменитого Джеймса Бонда с номером ноль-ноль-семь, дающим право убивать... Наверное, тот, кому мы дали кличку Джеймса Бонда, может не только убить, но и заставить сделать это любого из нас. Девушку убили по его приказу...

— Какую девушку?

— Я ее не знал, но они ее убили, и Джеймс хотел, чтобы я был к этому причастен. И он сделал меня причастным...

— Нет, ты просто бредишь, Михаил! Ложись сейчас же в постель — смотри какой у тебя холодный лоб. Я ведь все-таки врач, и ты слушайся меня...

— Э, какой ты врач,— вяло усмехается Михаил.— А что всё это не бред, я тебе сейчас докажу.

Он торопливо нагибается, ищет что-то под диваном, достает бобину с магнитной лентой и дрожащими руками вставляет ее в магнитофон. Неестественно громко щелкает кнопка воспроизведения записи.

Затаив дыхание Валентина слышит пьяные выкрики каких-

то мальчишек, грубую брань, произнесенную чьим-то более низким голосом, и душераздирающий девичий крик:

«Куда вы меня тащите, мерзавцы!.. Помогите, помогите же, ради бога!..»

«Заткните ей глотку!» — командует властный голос, принадлежащий, видимо, вожаку этой банды.

Теперь слышно лишь приглушенное хрипение, а потом чей-то озлобленный выкрик:

«Ой, кусается, зараза! До крови укусила!..»

«А ну, пырни ее, Малыш!»

Раздается такой душераздирающий вопль, что Валентина невольно закрывает уши.

И снова крик девушки (ей удалось, наверно, освободить рот):

«Помогите... Помогите... Убивают!»

«Кончай ее, ребята! А то еще услышит кто-нибудь».

«Чего испугались-то? — слышится насмешливый низкий голос.— Пусть себе орет — тут в лесу никто ее не услышит. А вы привыкайте к этому, закаляйтесь... Чего трясешься, Малыш? На-ка финку, будь мужчиной!..»

— Выключи эту мерзость! — протягивает руку к магнитофону Валентина.— Я не могу больше...

— Подожди, сейчас и меня услышишь,— останавливает ее Михаил.

«Ну, а ты чего опустил руки, Ясенев? — снова слышится властный голос вожака.— Тоже мне супермен!»

«За меня не бойтесь,— хрипло смеется Михаил.— Моя рука не дрогнет. Я...»

И опять душераздирающий крик девушки...

Но Валентина уже не в силах слушать. Она выдергивает шнур из розетки, и магнитофон захлебывается на полуслове.

— Правда, здорово сфабриковали мое участие в убийстве? — с нервным смешком спрашивает Михаил.

Валентина молчит, с трудом переводя дыхание.

— Уж если и ты готова в это поверить, то...

— Но откуда же там твой голос? Ведь это действительно твой голос! Пьяный, озверевший, но твой...

— Да, верно, пьяный. Это Тарзан меня спаивал в притоне Джеймса, который мы называли «колледжем». Подзадоривал, чтобы я целый фужер водки выпил. Вот я и ляпнул, что моя рука не дрогнет, и опрокинул фужер себе в рот. А потом без сознания под стол свалился. Ну, а Джеймс записал мои слова на магнитофонную ленту, а потом к той, что ты слышала, подмонтировал. Вчера они продемонстрировали мне это, и получилось, будто я в самом деле участвовал в убийстве. А когда я стал возражать, Тарзан меня оборвал: «Просто слушать про-

тивно, как этот герой выкручивается! Ты же таким пьяным был, что и вообще-то ничего не помнишь». А Джеймс добавил: «Это и понятно. Все вы только в пьяном виде супермены, а в трезвом ходите с поджатыми хвостами».

Страшась взглянуть в глаза сестре, Михаил завершает свою исповедь деланно равнодушным тоном:

— Я все теперь тебе рассказал. Хочешь верь этому, хочешь не верь...

Валентина долго молчит, видимо, не в силах произнести ни слова, потом спрашивает чуть слышно:

— А зачем им это?

— Джеймс хотел какое-то дело мне поручить. Сказал даже — выполнишь, отдам тебе тогда эту пленку.

— А ты знаешь кого-нибудь из тех, кто действительно в убийстве участвовал? Этого Малыша, например?

— Нет, не знаю. Он, наверно, из числа подопечных Тарзана, которые в «колледже» Джеймса никогда не бывали. Их даже сам Тарзан считал подонками. А в «колледже» собирались подонки другого рода... Образованные хлюпики, вроде меня, мечтающие стать суперменами...

— А где же находится «колледж» этого Джеймса?

— Не знаю...

— Как не знаешь?

— А так. Меня туда в пьяном виде возили... Не совсем, конечно, бесчувственным, но в таком состоянии, когда уже не очень соображаешь. И потом поздно вечером, да еще по каким-то темным улицам.

— И тебя это не настораживало?

— Нет. Нравилось даже. Таинственно, как в романах Флеминга.

— Что же мы теперь делать будем?

— Не знаю...

— Может быть, попробуешь заснуть?

— Не удастся, наверно...

ВАЛЕНТИНА ПЫТАЕТСЯ СПАСТИ БРАТА

Валентина хотела сначала пойти в Комитет госбезопасности, но Михаил сказал, что лучше в уголовный розыск на Петровку.

В комендатуре ей выписали пропуск к полковнику Денисову. И вот она сидит теперь в его кабинете и рассказывает все, что узнала вчера от брата. Полковник не перебивает ее, слушает очень внимательно, записывая что-то в настольный блокнот.

Кончив свой сбивчивый рассказ, Валентина спрашивает:

— Может быть, об этом нужно было не вам, а работникам Комитета госбезопасности рассказать?..

— Нет, судя по всему — это дело нашей компетенции.

— А кличка этого самого главаря банды — Джеймс Бонд, и его номер ноль-ноль-семь?

— Это номер не его, а героя романов Флемминга,— улыбается полковник.— И учит он не столько секретам ведения тайной войны, сколько искусству ненависти и жестокости, пытается воспитывать неразмышляющих убийц и насильников. Теоретики «творчества» этого Флемминга утверждают, что книги его дают отдушину присущей будто бы каждому человеку жажде насилия и агрессивности. Ну, а ленту с записью убийства той девушки вы не захватили?

— Михаил не дал мне ее. Он уверен, что на меня мог напасть Тарзан или еще кто-нибудь из банды Джеймса и отнять ее.

— Да, видно, крепко его запугал этот Джеймс,— снова улыбается полковник.— Ну, а Тарзан ему больше не звонил?

— Утром звонил кто-то. Голос похожий, но я не уверена, что это был Тарзан.

— И что вы ему ответили?

— Сказала, что Михаил болен. Я и в самом деле уложила его в постель и велела никому не открывать.

Полковник нажимает кнопку на панели внутреннего телефона и спрашивает кого-то:

— Алексей Иванович, вы не помните, когда произошло убийство Анны Зиминой? Двадцать первого? Кто у нас этим занимается? Райотдел Краснопресненского? А конкретно? Ясно. Благодарю вас.

Он кладет трубку и снова поворачивается к Валентине:

— Так вы говорите, что ваш брат не совсем здоров?

— Да, у него явное нервное расстройство. Я хотела сводить его к психиатру, но он боится выходить на улицу. А что, если бы...

Она умолкает, не решаясь договорить.

— Я слушаю вас, Валентина Николаевна.

— А что, если бы вы его арестовали, товарищ полковник? Посадили бы, пока установите непричастность к убийству той девушки... А главное — пока не поймаете Джеймса и Тарзана. Они ведь...

Но тут голос ее пресекается и она умолкает.

— Нет, Валентина Николаевна, мы не имеем пока оснований его арестовывать,— мягко произносит полковник, наливая ей воды.— А Джеймс и Тарзан ничего ему не сделают... Мы постараемся, чтобы они ничего ему не сделали. Пусть

только он полежит пока в постели и не выходит из дома. Врача мы пришлем сами. И не удивляйтесь, если вместе с ним окажется кто-нибудь из наших сотрудников. Предупредите об этом брата.

— А сотрудник этот останется у нас и будет охранять Михаила? — с надеждой спрашивает Валентина.

— Нет, зачем же. Он уедет вместе с врачом, и вы всем говорите, что у вас были только врачи. А за брата вашего не беспокойтесь, мы постараемся, чтобы с ним ничего не случилось.

Полковник подписывает пропуск Валентине. Попрощавшись с нею, он некоторое время задумчиво прохаживается по кабинету. Валентина произвела на него хорошее впечатление. Есть в ней что-то внушающее доверие. Ее рассказ очень может пригодиться для раскрытия убийства Зиминой. Сделав кое-какие записи у себя в блокноте, полковник идет с докладом к своему начальнику.

— Да, тут, видимо, есть какая-то связь,— выслушав Денисова, заключает комиссар.— Похоже, что именно убийство Зиминой записано на ленте, похищенной Михаилом Ясеневым. Кто ведет это дело?

— Старший оперативный уполномоченный Краснопресненского райотдела капитан Черкесов.

— А ему посильно это? Может быть, поручить кому-нибудь поопытней?

— Я в него верю, товарищ комиссар. Он хотя и молод еще, но у него большой опыт работы с несовершеннолетними правонарушителями.

— Будем считать, что вы меня убедили. А кто еще в его оперативной группе?

— Старший оперативный уполномоченный майор Глебов. Вы должны его помнить, товарищ комиссар.

— Как не помнить! Это он ведь разоблачил группу Краюхина? Ну, так как же его не помнить! Я и Черкесова помню. Черный такой, с усиками? Он что — кавказец? Русский? А фамилия у него, по-моему, кавказская, да и лицом он похож на горца. Пригласите-ка его к нам — нужно будет поближе познакомиться.

— А когда, товарищ комиссар?

— Да в пятницу хотя бы,— полистав настольный календарь, говорит комиссар.— Сейчас вот что важно установить. Не было ли в последнее время убийств, подобных убийству Зиминой, не только в других районах Москвы, но и в области? О вчерашнем покушении на Сорочкина вы уже знаете, конечно? Пьяные молокососы зверски изрезали человека ни с того ни с сего.

— Вам разве не докладывали? Их уже поймали.

— Кого поймали — мальчишек? Да они, наверно, и не помнят, что делали, а на допросе будут биться в истерике... Ловить нужно тех, кто за ними стоит, кто их спаивает, кто зверей из них делает. Думается мне, что тут действует чья-то опытная рука и с целями не столько уголовными, сколько политическими. Не случайно ведь находим мы у наших ребят комиксы и «подпольные» переводы романов с человеконенавистническими идеями. Да еще различные записи такой музыки, под звуки которой можно и отца родного зарезать.

— А может быть, об этом нужно с работниками госбезопасности посоветоваться?

— Советовались уже. Они тоже считают, что это не исключено. Похоже даже, что предпринимают что-то по своей линии, но это не должно снимать с нас ответственности...

— Понимаю вас, товарищ комиссар.

— Ну, а этот несчастный Сорочкин скончался?

— Пока жив, и врачи все еще не теряют надежды спасти его, хотя это будет настоящим чудом. Ему ведь нанесено семнадцать ран.

— Видно, очень крепкий человек.

— Он спортсмен, товарищ комиссар. Тренер по самбо. Многие наши милицейские самбисты — его ученики.

ЕЩЕ ОДНО ПРИЗНАНИЕ МИХАИЛА

Медицинская «Волга» с красным крестом на лобовом стекле подъезжает к дому Ясеневых во второй половине дня. Из нее выходят двое в белых халатах. Один пожилой седоволосый, видимо врач, второй — молодой, широкоплечий, с медицинским чемоданчиком в руках — похож на санитара. Остановившись перед подъездом, они читают на табличке, прибитой над дверями, номера квартир.

— А как насчет носилок? — высовываясь из машины, спрашивает их шофер.

— Пока не нужно,— отвечает тот, которого можно принять за врача,— может быть, не понадобятся.

— Вы к Ясеневым, наверно? — спрашивает их девочка школьного возраста, вышедшая на улицу.— Так они на втором этаже.

А на лестничной площадке их уже ожидает Валентина.

— Вы к нам? К Ясеневым? Проходите, пожалуйста.

И Валентина провожает их в комнату Михаила.

— Нет, нет, не вставайте,— машет руками один из вошедших, видя, что Михаил пытается подняться с дивана.

— А я и не болен. Это сестра меня уложила,— смущенно улыбается Михаил.— Она молодой врач, и ей все кажутся больными. Вы ведь из милиции? Тогда я должен дать показания...

— Нет, нет — об этом после. Сначала мы вас все-таки посмотрим, а потом уж, может быть, и послушаем,— снова укладывает его на диван пожилой человек со строгими глазами и таким лицом, которое Михаил сразу же определил, как «волевое». Он не сомневается, что это какой-нибудь известный сыщик или следователь по особо важным делам.

— А что касается показаний,— улыбаясь, продолжает человек с «волевым» лицом,— то их вы дадите вот этому товарищу. Он оперативный уполномоченный милиции, а я всего лишь врач и выслушаю вас только по своей специальности, да и то с помощью стетоскопа.

— Вы, наверно, мальчишкой меня считаете,— хмурится Михаил.— А я давно уже вышел из этого возраста...

— Дорогой мой, я все это понимаю и вовсе не считаю вас мальчишкой, но болеют ведь не только мальчишки, но и люди с аттестатом зрелости. Дайте-ка мне вашу руку, я послушаю пульс.

— Не упрямьтесь, Миша,— как-то очень просто, будто давно знакомый с ним человек, произносит наконец и тот, которого врач отрекомендовал оперативным уполномоченным.— Пусть вас посмотрит Илья Ильич, раз уже вы не очень доверяете диагнозу вашей сестры. А я еще успею обо всем с вами поговорить. Зовут меня Олег Владимирович, и я действительно старший оперативный уполномоченный капитан милиции Черкесов.

Пока Илья Ильич считает удары пульса, Михаил внимательно всматривается в смуглое лицо капитана Черкесова. Нет, не таким представлял он себе опытного сыщика. Пожалуй, больше на киноактера похож. И усики какие-то уж очень легкомысленные. Наверно, Валентина так неубедительно все им изложила, что они не приняли ее сообщения всерьез. Но ничего, как только капитан узнает, в чем суть дела, сам, наверно, от него откажется, и им придется подыскать кого-нибудь поопытнее...

Процедура осмотра длится почти четверть часа, и, когда Михаил начинает уже терять терпение, Илья Ильич говорит вдруг Валентине:

— А знаете, коллега, я у него ничего серьезного не нахожу. Вы что ему давали — валерьянку? А таблеток по Бехтереву у вас нет? Ну так я выпишу. И пусть денек-другой посидит дома. У него что сейчас — подготовка к экзаменам? Дня два-три пусть не занимается ничем, потом наверстает. А те-

перь,— поворачивается он к Черкесову,— передаю его вам, Олег Владимирович.

— А встать можно? — спрашивает Михаил, немного разочарованный заключением врача. Ему казалось, что состояние его нервной системы должно было встревожить Илью Ильича.

— Да, конечно, можете встать,— разрешает Илья Ильич.— Вам бы на свежий воздух нужно... Куда-нибудь за город. Но с этим придется повременить.

— Давайте теперь и мы побеседуем,— кивает Михаилу капитан.— Начнем с магнитофонной ленты.

— Да, да, я включу ее сейчас,— как-то очень уж торопливо отзывается Михаил.

Жестокую сцену надругательства над неизвестной девушкой врач и капитан слушают молча, лишь изредка обмениваясь быстрыми взглядами. Молчат они некоторое время и после того, как Валентина выключает магнитофон.

— Вы узнали мой голос?.. — не выдержав этой слишком длинной для него паузы, спрашивает Михаил, ощущая неприятную, мешающую говорить сухость во рту.— Ловко они меня подмонтировали...

— Я уже сообщила им об этом, Миша,— прерывает его Валентина.

— Но ты не знаешь всего... Я тебе не все рассказал. Они не только подмонтировали мои слова... Они еще вымазали меня кровью... Может быть, даже ее кровью...

Голос Михаила, то и дело прерывавшийся от волнения, пресекается вдруг совсем, и он с ужасом чувствует, что не может произнести ни слова.

— Дайте ему воды,— шепчет Валентине Илья Ильич.

Но Михаил резко вскакивает вдруг и бросается к дивану. Приподняв его сиденье, он достает измятую рубашку.

— Вот та ковбойка, в которой я тогда был. Они вымазали ее кровью... И уверяли, будто это кровь той самой девушки... Я потом потихоньку от Валентины выстирал ее, но, видно, плохо...

— А ну-ка дайте мне ее,— протягивает руку к рубашке Илья Ильич и идет с нею к окну.

— Да, тут действительно следы крови,— заключает он.

— А это не ваша кровь? — спрашивает Михаила капитан Черкесов.— Может быть, вы в тот день порезали себе что-нибудь?

— Нет, ничего я не порезал. Можете меня осмотреть — на мне ни единой царапины.

— Чья же тогда это кровь?

— Я же сказал — они уверяли меня, что это ее кровь...

Но, может быть, это кровь самого Джеймса. Он в тот вечер открывал консервную банку и порезал руку. Это я хорошо помню. Он и скатерть на столе вымазал своей кровью.

— Мы возьмем вашу рубашку на экспертизу,— спокойно говорит капитан Черкесов и кладет ковбойку Михаила в чемоданчик с медицинскими принадлежностями.— Нам уже известно от вашей сестры, что вы не помните, как попадали к Джеймсу. А кто возил вас туда? И на чем? На чьей-то машине или на такси?

— Обычно мне звонил Тарзан и вызывал на улицу. Это всегда было под вечер. Когда уже смеркалось, Тарзан предлагал зайти куда-нибудь и выпить. Я не возражал, потому что с этим скотом в трезвом виде просто не о чем было говорить... И потом я знал, что он послан Джеймсом, а к нему всегда нужно было приезжать «навеселе».

— А как определялось это состояние «навеселе»? Была какая-нибудь определенная норма?

— Нет, не было. Тарзан сам это определял, и как только я начинал хмелеть, командовал: «Стоп!» И не давал закусить. «Закусывать будем у Джеймса»,— говорил он и выводил меня на улицу. А ездили мы к нему, по-моему, на каких-то частных машинах, но один раз на такси. Это уж точно.

— Почему вы в этом так уверены?

— Мне запомнился его номер.

— Даже несмотря на то, что были в нетрезвом виде?

— Я ведь не без сознания был... Я, когда выпиваю, всегда прихожу в состояние какого-то телячьего восторга. Читаю стихи, говорю без умолку... Вот в таком восторженном состоянии обычно и возил меня к Джеймсу Тарзан. А в тот день, когда мы на такси ехали, очень забавляли меня цифры шесть и девять. Наверно, это был номер такси, написанный на панели под лобовым стеклом машины. Мне казалось, что цифры захмелели... Что одна из них стоит твердо, а вторая вверх ногами. Чушь, конечно, но мало ли что может прийти в пьяную голову?

— А вы чешского писателя Чапека не читали?

— Это который написал «Войну с саламандрами»?

— Да, этот. Только я имею в виду его рассказ «Поэт». Чапек описывает в нем, как своеобразно запомнил номер машины, сбившей женщину, один чешский поэт. Вы не читали этого рассказа?

— Нет, не читал. А «Война с саламандрами» мне понравилась.

— Но тот номер такси, который вам запомнился, не мог же состоять только из двух цифр?

— Возможно, это было 69-69 или 96-96, но сочетание шести и девяти я помню совершенно точно.

Капитан Черкесов записывает эти цифры и продолжает расспрашивать Михаила:

— А когда это было, не помните?

— Нет, не помню... Хотя постойте — девятого мая это было! Да, правильно, девятого мая. Потому, наверно, цифры шесть и девять так запечатлелись.

Капитан задает еще несколько вопросов и начинает прощаться.

— Илья Ильич выписал лекарство,— обращается он к Валентине.— Вы его непременно получите. А Михаил два дня пусть посидит дома. И не впускайте к нему никого. Как у вас с работой? Можете вы побыть с ним?

— Я взяла сегодня отпуск на неделю за свой счет.

— А если мне звонить будут? — спрашивает Михаил.

— Вы вообще не подходите к телефону, а Валентина Николаевна пусть отвечает, что вы больны. Или знаете что — подходите, и если это окажется Тарзан или еще кто-нибудь из банды Джеймса...

— Кроме Тарзана, мне обычно никто больше не звонит.

— Ну так вот, если он позвонит, вы сделайте какой-нибудь знак Валентине Николаевне, а сами постарайтесь поговорить с ним как можно дольше. А вы, Валентина Николаевна, побыстрее зайдите к кому-нибудь из соседей и позвоните мне. Есть у вас кто-нибудь поблизости, от кого вы смогли бы мне позвонить?

— Я дружу с дочерью наших соседей, у них есть телефон.

— Вот от них и позвоните. А если меня не будет, скажите, что вы Ясенева, мои коллеги будут знать, что делать. И вообще, если я вам зачем-нибудь понадоблюсь, звоните мне вот по этому телефону.

И он записывает на вырванной из блокнота страничке свой служебный номер. Потом подробно расспрашивает Михаила, как выглядит Тарзан, и уходит вместе с Ильей Ильичом. А когда дверь за ним захлопывается, Валентина встревоженно спрашивает брата:

— Почему ты не рассказал мне об окровавленной рубашке, а выложил все это работникам милиции?

— Я и им не собирался рассказывать...

— А почему же рассказал?

— Сам не знаю... Показалось вдруг, что, увидев кровь на моей рубашке, они мне больше поверят...

Валентина смотрит на него таким взглядом, будто перед нею сумасшедший.

— Ну, знаешь ли, Михаил, тебе обязательно нужно показаться психиатру!

— Покажи тогда меня еще и ветеринару.

— Глупо остришь. Да и не до острот сейчас... При чем тут ветеринар?

— Я от кого-то слыхал, будто в каждом мужчине живет зверь.

— От Джеймса, наверно? Но ты ведь не мужчина еще...

— И не буду им, наверно,— тяжело вздыхает Михаил.— Я просто ничтожество и самый заурядный трусишка, однако не сумасшедший.

— Нет, ты настоящий сумасшедший! — злится Валентина.— Разве не может кровь на твоей рубашке оказаться одной группы с кровью той девушки? Чем ты тогда докажешь, что не участвовал в ее убийстве?

— Пусть будет что будет,— снова вздыхает Михаил.— И пусть уж лучше они меня посадят, чем Джеймс или Тарзан зарежут...

ЭКСПЕРТЫ ПРОСЛУШИВАЮТ МАГНИТНУЮ ЛЕНТУ

Капитан Черкесов давно уже выключил магнитофон, но никто из приглашенных экспертов не произносит ни слова. А эксперты тут самые необычные: специалисты по звукозаписи, два врача из бюро судебно-медицинской экспертизы, известный актер, кинорежиссер.

— Да-с, жуткую сценку вы нам продемонстрировали,— первым нарушает молчание актер.— И чертовски все натурально...

— Кроме реплик Ясенева,— добавляет режиссер.— Они явно из другой пьесы, если только все это можно назвать пьесой. У меня почти безошибочное чутье на этот счет. То, что произносит Ясенев, звучит в ином ключе, чем все остальное.

— А я бы этого не сказал,— возражает ему актер.— Его голос такой же хмельной, как и у всех остальных, и слова вполне соответствуют происходившему.

— А что скажут медики? — обращается капитан Черкесов к представителям судебной медицины.

Врачи пожимают плечами.

— Нам впервые приходится участвовать в такого рода экспертизе,— замечает один из них.— Что касается предсмертной агонии убитой девушки,— подлинность этого у меня лично не вызывает никаких сомнений.

— А зачем им это? — недоуменно разводит руками актер.— Зачем записывать все это на пленку? Может быть, они садисты? Вам это не кажется, доктор? — обращается он к врачу.

— Да, возможно. Тот, кто записал все это на пленку, мог сделать это из садистских побуждений.

— А может быть, ему понадобилась эта запись и для какой-то иной цели,— задумчиво произносит второй медицинский эксперт.— Может быть, ему нужно было запутать в это преступление Ясенева, фамилию которого, как мне показалось, произнес кто-то слишком уж четко.

— Да, это верно,— соглашается с ним актер.— Всех по кличкам, а его по фамилии...

— Ну, а какова точка зрения акустиков? — спрашивает Черкесов специалистов по звукозаписи.— Можно ли установить, в помещении это записано или на открытой площадке?

— На слух воспринимается это, как запись на открытой площадке,— заключает один из акустиков.— Тут нет отзвука от стен и акустической обратной связи. Отражения от стен особенно были бы заметны в области средних и высоких звуковых частот. Зато довольно отчетливо слышен шум ветра. От этого при записях на открытых площадках очень трудно избавиться, даже если ветер тихий.

— А та часть, где слышен голос Ясенева, тоже записана на открытой площадке? — снова спрашивает Черкесов.

— На слух это трудно определить. Запись его голоса могла быть уже потом переписана на фон основной пленки, а не подклеена к ней. Все это нужно проверить специальной исследовательской аппаратурой в лабораторных условиях.

— Я вполне согласен с моим коллегой,— одобрительно кивает звукооператор из киностудии «Мосфильм».— Без приборов утверждать что-нибудь очень трудно.

— Тогда у меня еще одна просьба,— обращается к акустикам Черкесов.— Снимите, пожалуйста, с этой ленты копию, или даже несколько копий. Это может понадобиться нам для опознания участников убийства Зиминой по их голосам.

А потом, когда приглашенные эксперты расходятся, Черкесов спрашивает майора Глебова:

— Вы не связались еще с оперативной группой, которая расследует нападение на Сорочкина, Федор Васильевич?

— Связался.

— Надо дать им эту ленту послушать. И непременно продемонстрируйте ее кому-нибудь, кто хорошо знал Анну Зимину.

— Я тоже подумал это.

— Ну, а как обстоит дело с наблюдением за домом Ясеневых?

— Удалось с помощью телеобъектива сфотографировать трех подозрительных типов. Один из них очень похож на Тарзана, судя по описанию Михаила Ясенева. Вот, посмотрите сами. Форменный дегенерат. Мы хоть и критикуем Ломброзо, а в чем-то он все-таки прав. Разве такой тип не может быть предрасположен к преступлению?

— Предрасположение к преступлению по антропологическим данным определяется теперь не только ломброзианцами, но и неоломброзианцами,— усмехается Черкесов,— но разницы между ними никакой. И те и другие видят корни преступности лишь в биологических свойствах личности.

— Но ведь в какой-то мере...

— Да, в какой-то мере они правы! — соглашается Черкесов.— Но биологические свойства личности — не определяющее начало. Дайте-ка мне эти фотографии — их нужно показать Ясеневу. Сестра его не звонила сегодня?

— Нет, Олег Владимирович.

— Ну, а вы что помалкиваете? — обращается Черкесов к майору Платонову — эксперту-криминалисту райотдела.— Вы наш собственный, так сказать, эксперт, а мнения своего о прослушанной магнитной ленте не говорите.

— Размышляю пока,— скромно произносит Платонов,— потому и не тороплюсь.

Черкесов знает, что Платонов слов на ветер не бросает и прежде, чем придет к какому-либо заключению, взвесит все не один раз.

— Одно только несомненно, Олег Владимирович,— раздумчиво произносит майор,— запись на этой ленте велась не нашим магнитофоном. Это какой-то иностранный на батарейках или аккумуляторах.

— А отсюда вывод...

— Нет, пока никакого вывода. Такой магнитофон можно было и в комиссионном магазине на Смоленской площади купить.

— Согласен с вами — не будем торопиться. Ну, а как у нас дело с поиском такси, Федор Васильевич? — снова обращается Черкесов к майору Глебову.— Подключили к нашей группе еще кого-нибудь? Начальство обещало.

— Да, подключили двух лейтенантов. Прямо из милицейской спецшколы. Им я и поручил поиски шоферов такси, ездивших вечером девятого мая на машинах с интересующими нас номерами. Но пока никаких результатов.

Капитан Черкесов смотрит на часы — рабочий день в райотделе давно уже окончен.

— Пошли по домам,— говорит он своим коллегам.— Всего все равно не переделаешь, а срочного ничего пока нет.

Сам он остается еще на несколько минут. Ему спешить некуда, он человек холостой.

«А что, если съездить к Ясеневым?» — мелькает вдруг неожиданная мысль.

И, не раздумывая более, он едет к себе и переодевается в штатское. От его дома на Большой Грузинской до улицы Гер-

цена, на которой живут Ясеневы, недалеко. Черкесов не торопясь идет к ним пешком и думает почему-то не о Михаиле, а о Валентине.

«Дома ли она сейчас? Должна быть дома — вечером она Михаила одного не оставит...»

СНОВА У ЯСЕНЕВЫХ

— А знаете, я ведь почему-то ждала вас сегодня,— открывая ему дверь, простодушно признается Валентина.

— Значит, я могу не считать себя незваным гостем? — шутит Черкесов.— Ну, а как наш больной?

— Днем чувствовал себя неплохо, а к вечеру захандрил. Вернулись прежние страхи...

— Ну, что ты все из меня какого-то неврастеника делаешь?

Обиженный Михаил выходит из своей комнаты.

— Добрый вечер, товарищ капитан! Или, может быть, мне полагается гражданином капитаном вас называть?

— Называйте меня лучше Олегом Владимировичем,— улыбается Черкесов.— Да посмотрите-ка на эти вот фотографии. Не узнаете ли кого-нибудь?

Михаил внимательно всматривается в лица, а Валентина удивленно восклицает:

— Одного и я знаю! Это же Верочкин поклонник!

— А мне никто из них не знаком,— разочарованно возвращает фотографии Михаил.

— А какой же из них Верочкин поклонник? — любопытствует Черкесов, повернувшись к Валентине.

— Да вот этот. Ужасно некрасивый, но безумно, и притом безнадежно влюбленный парень,— смеется Валентина, указывая на одну из фотографий.

Взглянув на нее, начинает смеяться и Черкесов.

— Не правда ли — ужасный урод? — спрашивает его Валентина.

— Я смеюсь совсем не потому... Мы ведь за Тарзана его приняли. Он почти весь день возле вашего дома околачивался.

— Ну, это-то понятно. Он сейчас в отпуске, вот и торчит целыми днями под Верочкиными окнами. Она даже в милицию хотела жаловаться.

— А кто он по специальности?

— Инженер-конструктор какой-то. И, говорят, талантливый.

— Вот вам и тип, предрасположенный к преступлению! — снова начинает смеяться Черкесов.

Валентина и Михаил удивленно смотрят на него.

— Сейчас объясню,— обещает Черкесов.— Эх, надо бы Глебову позвонить! Ну да ладно — успею сделать это и завтра. Глебов — мой коллега. Посмотрев на фотографию этого безнадежно влюбленного инженера, он вдруг вспомнил теорию итальянского психиатра Чезаре Ломброзо, раскритикованную в наших учебниках криминологии, и решил, что Ломброзо все-таки в чем-то прав.

— А вы разве не признаете этой теории? — спрашивает Черкесова Михаил.— Разве преступные наклонности, так же как и противоположные им, не заложены в каждом человеке? Вот Фрейд, например, считает...

— Простите, Миша, а вы читали Фрейда или знаете о нем понаслышке?

— Видите ли... — мнется Михаил.

— Это Джеймс их по части фрейдизма натаскивал,— раздраженно перебивает его Валентина.— Знакомил и с пресловутым «комплексом Эдипа», и с теориями современных психоаналитиков.

— Ну и что из того? — повышает голос Михаил.— Что же плохого, что Джеймс нас с учением Фрейда знакомил? Его чтят во всем мире, а у нас он почему-то запрещен...

— Почему же запрещен?—удивляется Черкесов.—Его книги есть во многих библиотеках. С некоторыми из них наши профессора специально даже рекомендовали познакомиться во время моей учебы в юридическом институте.

— А вы его для чего читали? Чтобы критиковать или для того, чтобы учиться у него тайнам человеческой психики? — допытывается Михаил.

— Учиться у него, в общем-то, нечему. Закономерностям психических явлений учились мы у Павлова, а Фрейда читали только потому, что он все еще на вооружении у современной буржуазной психологии и криминологии.

— Не переменить ли нам тему разговора? — предлагает Валентина.— А еще лучше, если мы пройдем в мою комнату и выпьем чаю.

— Скажешь тоже!—усмехается Михаил.—Олегу Владимировичу не полагается, наверно, распивать чай с такими, как я...

— А я вот от чая и не откажусь как раз,— смеется Черкесов.— Не отказываюсь я и от беседы о Фрейде. Не знаю, кто вам его преподавал, Миша, но не сомневаюсь, что вам непременно поведали об убежденности Фрейда в том, что первобытный человек, нисколько не изменившись, продолжает жить в нашем подсознании. Этот предок, по Фрейду, был более жестоким существом, чем другие животные, и любил убивать. Я даже дословно запомнил одно выражение Фрейда. Он писал в какой-то из своих книг: «Если судить о нас по желаниям нашего подсо-

знательного, то мы, подобно первобытному человеку, просто банда убийц». Ну что, разве не это проповедовал вам Джеймс?

— Да, что-то в этом роде... — смущенно признается Михаил.— Но ведь действительно гнездится в человеке что-то такое...

— Джеймс им не только проповедовал это, он и осуществлял на практике подобные идеи,— зло перебивает брата Валентина.— Выпускал из них этого предка наружу. И не всем даже требовалась для этого теоретическая подготовка. Скоты, которые убили ту девушку, и имени-то Фрейда, конечно, не слыхали. А Фрейд был у Джеймса для таких интеллигентных мальчиков, как ты... Да ты хоть понимаешь, из какого вертепа вырвался?

Михаил угрюмо молчит, а Валентина, махнув на него рукой, уходит на кухню готовить чай.

— Валентина, наверно, не права,— негромко говорит Михаилу Черкесов.— Вы, конечно, не убийцей хотели стать, а сверхчеловеком, суперменом. Однако супермен и убийца, по сути дела, одно и то же. Главный герой Флемминга Джеймс Бонд — именно такой типичный супермен. Но ведь он агент номер нэль-ноль-семь. А подобный номер, начинающийся с двух нолей, в реестрах английской разведки дает право на убийство. Давайте, однако, больше не будем говорить об этом— Валентине эта тема не очень нравится.

— А пока ее нет, ответьте мне: как вы будете относиться ко мне, если кровь на моей рубашке окажется той же группы, что и у убитой девушки?

— А это уже установлено совершенно точно,— спокойно сообщает Черкесов, однако, увидев испуганные глаза Михаила, поспешно поясняет: — Но не это ведь главное. Установлено и другое — кровь на вашей рубашке принадлежит не женщине, а мужчине. Скорее всего это действительно кровь самого Джеймса...

В это время входит Валентина с чайником и, заметив, что они вдруг замолкли, спрашивает с напускной шутливостью:

— О чем это вы тут шептались в мое отсутствие?

— Миша поинтересовался экспертизой пятен крови на его рубашке...

— И, знаешь,— возбужденно перебивает Черкесова Михаил,— кровь оказалась мужской! Значит, она не была кровью той девушки...

— Ну вот и слава богу,— произносит Валентина, но Черкесов по глазам ее видит, что она не верит этому.

— Вы, кажется, сомневаетесь? — спрашивает он.

— Это, наверно, что-то новое в экспертизе?

— Да, это у нас сравнительно недавно.

— Но как же это возможно? Ведь эритроциты и лейкоциты мужской и женской крови неотличимы друг от друга.

— Так думали раньше, а теперь в сегментно-ядерных лейкоцитах женской крови обнаружили половой хроматин. Не замечали этого раньше по той причине, что среди ста лейкоцитов женской крови лишь примерно три имеют такой хроматин.

— Теперь и я припоминаю... Нас знакомили с этим открытием. Но ведь обнаружены эти половые различия в живой крови, а вы, криминалисты, имеете дело с засохшей, разложившейся. Как же вам-то удается обнаружить в ней три процента этих лейкоцитов?

— О, это в результате почти нечеловеческих усилий сотрудников научно-исследовательского института милиции,— не без гордости за своих коллег говорит Черкесов.— Чем только не пытались они восстановить ядра лейкоцитов! Для того чтобы добиться этого, проводилось множество экспериментов. А когда наконец удалось добиться успеха в лабораторных условиях, предстояло воскресить лейкоциты засохшей крови на случайных предметах и потому почти всегда загрязненные. Очень трудно было решить эту задачу. Производили своеобразную инкубацию мертвых лейкоцитов засохшей крови в термостатах, отделяли их ядра из растворов с помощью центрифуг, а потом чуть ли не сутками сидели за микроскопами...

— Господи! — восклицает вдруг Валентина, перебивая Черкесова.— Когда я узнаю, какие усилия и какие средства затрачиваются на борьбу с преступностью, я наполняюсь прямо-таки лютой ненавистью ко всем этим подонкам. Среди них немало, конечно, кретинов и шизофреников, но ведь есть и обыкновенные ребята, страдающие лишь «комплексом неполноценности», невозможностью чем-нибудь блеснуть, выделиться из «толпы». И тогда они выходят на улицы в ночное время, строя из себя геройчиков и суперменов, которым все дозволено...

Валентина с трудом сдерживает волнение. Это заметно по красным пятнам, выступившим у нее на щеках. Резко повернувшись к брату, она говорит ему очень зло:

— И ты, Михаил, был недалек от этих ночных шакалов. И если бы докатился до этого... я возненавидела бы тебя! Романтики вам захотелось! Так идите тогда в авиацию, в морской флот, уезжайте на Дальний Восток, проситесь на полюса, идите в геологи, в дружинники, черт возьми! Когда «геройчики» нападают на беззащитных, дружинники выходят ведь почти один на один против этих озверевших, потерявших разум от водки, вооруженных подонков. Значит, они и есть подлинные герои.

Заметив, что с Михаилом творится что-то неладное, Черкесов делает Валентине знаки, чтобы она перестала, но она не

замечает или, может быть, не хочет замечать его предостережений. Она так изнервничалась за эти дни, что теперь нуждается, наверно, в разрядке. А Михаил сидит, стиснув зубы. В лице его ни кровинки. Губы то и дело нервно подергиваются.

— Ты подала мне хорошую мысль,— неожиданно произносит он.— Я пойду...

— Куда это ты пойдешь? — обрушивается на него Валентина.— В дружинники ты пойдешь?

— Правильно, другие пусть идут,— нервно смеется Михаил.— Нет, Валентина, я пойду не в дружинники, а просто на улицу и буду ходить, как всегда, не прячась ни от кого... И не потому, что стал вдруг храбрым, а потому, что не хочу больше быть трусом...

— А к чему это самопожертвование? — раздраженно спрашивает Валентина.

— Может быть, это поможет милиции выследить Тарзана...

— Судя по тому, что никто из этих подонков тебе не звонил, и по тому, что возле нашего дома никаких подозрительных типов милиция не заметила,— тобой уже никто не интересуется. Мы вообще зря подняли такую панику...

— Как зря? А магнитная лента, которую я у них выкрал?

— Да, а как, кстати, вам это удалось? — спрашивает Черкесов.

— Когда они мне ее продемонстрировали, я хоть и пьян был, но сразу сообразил, чем это для меня пахнет, и тут же решил выкрасть ее. Стал меньше пить, но притворялся, что меня совсем развезло. Падал даже два раза, и один раз возле той самой тумбочки, в которую Джеймс кассету с лентой положил. Я это хорошо заметил. А они на меня никакого внимания уже не обращали. Я и воспользовался этим. К счастью, лента была на маленькой кассетке и ее легко было в карман спрятать. Потом они, конечно, обнаружили пропажу, а Тарзан, наверно, поэтому и вызывал меня на улицу...

— А по-моему, ты выдумываешь все это,— пренебрежительно говорит Валентина.

— Тем более мне нечего бояться выходить на улицу, и я завтра же пойду,— упрямо встряхивает головой Михаил.

— А я тебя не пущу! Ты ведь не совсем здоров, и врач предписал тебе побыть несколько дней дома. Правда, Олег Владимирович?

— Да, пожалуй,— говорит Черкесов, понимая, что она очень нуждается в такой поддержке.— Я, однако, засиделся у вас — мне пора.

— А чай как же?

— В другой раз как-нибудь — поздно уже.

— Жена, наверно, ждет?

— Да нет, не ждет меня никто. Я все еще в холостяках хожу,— смущенно улыбается Черкесов.— Никак не могу решиться на столь ответственный шаг.

— А на меня вы произвели впечатление храброго человека,— смеется Валентина.— И я надеюсь, вы не испугаетесь, если я напрошусь пройтись с вами немного по свежему воздуху? Понервничала, голова разболелась...

— А одна ты боишься? — ревниво спрашивает Михаил.— Олегу Владимировичу не полагается, наверно, с сестрами подозреваемых прогуливаться. Зачем же нам его подводить?

— Это правда, Олег Владимирович?

— Ну что вы, Валентина Николаевна! С удовольствием пройдусь с вами. Вам действительно нужно на свежий воздух. Посмотрите-ка на себя в зеркало.

ЗА ЧЕРКЕСОВЫМ КТО-ТО СЛЕДИТ...

— А знаете, почему мне захотелось проводить вас? — спрашивает Валентина Черкесова, когда они выходят на улицу.

— Догадываюсь. Так просто вы едва ли бы...

— И вовсе не «едва ли»!.. — смеется Валентина.— Но сегодня мне действительно очень нужно с вами поговорить без Михаила.

— Я так и понял.

Валентине хочется взять этого молодого, стройного капитана под руку, но она не решается.

— Вот вы разбираетесь в ситуации, в которую попал мой брат, а сами, наверно, думаете... Не можете не думать: а как же докатился он до жизни такой? Куда семья смотрела — в данном случае я, старшая его сестра? Догадывалась ли я о чем-нибудь? Честно вам признаюсь — нет, не догадывалась. Почему? Да потому, наверно, что Михаил по-прежнему хорошо учился, а нервным и вспыльчивым стал уже давно. Еще с тех пор, как папа от нас ушел. А то, что он в дурную компанию может попасть, нам как-то и в голову не приходило. Казалось, что такое может произойти лишь с теми, кто без матери остался.

— Наша статистика говорит об обратном. Наибольшее количество преступлений совершают те подростки, которые остались без отцов. Такие ребята чаще делаются преступниками, чем даже круглые сироты. Особенно характерно это для осужденных за хулиганство.

— Казалось бы, отцы не принимают такого повседневного участия в воспитании детей, как матери, а смотрите, как получается! Тут, видимо, играет роль чисто психологический фак-

тор. Значит, не избежал этого и наш Михаил... Он ведь очень был травмирован, хотя и не сразу попал в дурную компанию. Ему было, конечно, стыдно перед товарищами, что от нас ушел отец. Учиться, однако, он стал еще лучше, чем прежде. И это, как мне кажется, было у него своеобразным актом протеста. Обычно в таких случаях ребята отбиваются от рук, начинают плохо учиться или вообще бросают учебу. В его школе уже был такой случай, и учителя боялись, как бы и с Михаилом не произошло того же. Он это почувствовал и, как мы с мамой поняли, назло своим школьным опекунам стал так учиться, что они просто диву давались. Ну, а в компанию Джеймса он попал уже после смерти мамы...

Она умолкает и лезет в сумочку за платком. Черкесов невольно берет ее под руку. Но как только она начинает снова говорить, осторожно отпускает ее локоть.

В это время Валентина замечает, что какой-то обогнавший их мужчина обернулся и бросил на них внимательный взгляд.

«Наверно, какой-нибудь знакомый или сослуживец Олега Владимировича»,— решает Валентина и продолжает свой рассказ, слегка понизив голос:

— Вы можете спросить: а как же отец? Он что, совсем перестал интересоваться вами? А ему было не легче нашего, может быть даже тяжелее, потому что он был очень порядочным человеком... Да, да — именно порядочным, несмотря на все то, что произошло. Я знала ту женщину, к которой он ушел. Папа был с нею знаком еще до того, как женился на маме. И, по-моему, уже тогда был в нее влюблен, но не пользовался взаимностью. Ну, а потом у нее трагически погибли муж и сын, и она была в таком отчаянии, что чуть не покончила с собой, и спас ее от этого мой папа. Не буду вам рассказывать, как он это сделал,— это длинная история, но он ее действительно спас. Мама это знала и считала даже, что он сделал доброе дело. Но, спасая эту женщину, папа окончательно погиб сам... Однако я, кажется, заболталась и рассказываю уже о том, что вам совсем неинтересно...

— Ну что вы, Валентина Николаевна!

— Папа, видимо, и не переставал никогда любить ту женщину,— продолжает Валентина,— и ему лишь казалось, наверно, что он любил маму — простую, добрую, но ничем не примечательную женщину. Ну, а после всего этого, после почти ежедневных встреч с тою, которую он любил (а длилось это около года), ему стало совсем невмочь... И все-таки он ни за что не ушел бы от нас, и мама никогда бы этого не узнала, если бы не я... Да, именно я. Одна я в нашей семье понимала, что творится с отцом. И я сказала ему: «Уходи, так больше нельзя...» Я была тогда уже на первом курсе института и прекрасно во

всем разбиралась. Я понимала, что он жертвует собой из-за нас, детей. Пожалуй, даже главным образом из-за меня. Маму он уже совсем не любил, Михаила тоже, кажется, не очень... И я ему сказала: «Уходи, пока знаю одна только я, как ты мучаешься. И я не могу больше на это смотреть... Мы уже не маленькие и не пропадем, а так тоже больше нельзя»... Он, конечно, не сразу послушался меня. Но я говорила ему это почти каждый день и более убедительно, чем сейчас рассказываю вам.

— И он ушел?

— Да, он ушел, хотя это было ой как нелегко. Даже маму ему было не так-то просто оставить. Ну, а нас тем более... Но это еще не все. Он был членом партии, руководителем крупного предприятия, и такой разрыв с семьей не мог, конечно, оставаться в тайне ни от парткома, ни от начальства. А как ему было объяснить им, почему он ушел? Это ведь я только могла понять, что с ним происходило. И даже не понять, а, скорее, почувствовать. Не знаю, как он там объяснил им, едва ли, однако, стал очень уж «обнажать душу», не в его это характере. Но от нас в конце концов ушел, и не к ней, а попросил перевести его на работу в другой город. И его перевели, понизив в должности и поручив делать то, к чему не лежала его душа. Нам он посылал почти весь свой оклад, а на что жил сам, я до сих пор понятия не имею. А потом, уже спустя год, к нему приехала она. Может быть, просто из жалости. Михаил считал уход отца настоящей изменой, которую простить нельзя. Ну, а мама погоревала-погоревала и утешилась тем, что обвинила во всем коварную соблазнительницу. Я и не пыталась ее в этом разуверить... — Валентина вдруг умолкает, потом шепчет чуть слышно: — Вам не кажется, что за нами давно уже кто-то наблюдает?

— Кажется. Только вы не подавайте вида, что мы заметили это. Мне нужно разглядеть его получше. Продолжайте свой рассказ.

— Да вот, собственно, уже и все. Мама умерла спустя два года от рака желудка, а мы продолжали жить почти так же, как и раньше.

Теперь, когда Валентина точно знает, что за ними следит кто-то, она уже не может не думать об этом. Снова возникают прежние страхи за брата, и она просит Черкесова:

— А Михаилу вы посоветуйте, пожалуйста, не выходить на улицу. Это ведь очень рискованно. Им ведь ничего не стоит убить его...

— Ну, не думаю, чтобы они решились на это в центре города. К тому же за Михаилом следовали бы наши люди. Мне думается даже, что это было бы ему полезно. Он поверил бы

в себя, преодолел бы как-то ощущение своей неполноценности. Но если вы так боитесь за него...

— Честно говоря — очень боюсь! Не верю я, что он преодолеет самого себя...

— А мне думается, что у него есть характер. Вы же сами рассказывали, как он стал учиться после того, как вас постигло такое горе.

— Ну, это он из одной только гордости.

— Не согласен с вами. Он вот уж который год отлично учится. Для этого, уважаемая Валентина Николаевна, нужна воля.

— Может быть... Не знаю... Но мне страшно за него.

Они разговаривают теперь вполголоса, и Черкесов все время бегло поглядывает на упорно идущего то впереди, то позади них человека. Вечером в свете уличных фонарей разглядеть его, однако, нелегко.

Дойдя до площади Восстания, Черкесов говорит Валентине:

— Ну, а теперь вам пора домой, только я вас одну не отпущу. Мы сядем сейчас на такси и поедем в сторону улицы Горького, а уж оттуда к вам. Вот, кстати, такси, и хорошо, что всего одна машина. Этому типу не на чем будет за нами поехать.

— А вам, наверное, и самому нужно за ним понаблюдать?

— К сожалению, сделать это незаметно сейчас уж невозможно. Я хотел было остановить его и проверить документы, но документы у него, наверно, в полном порядке. А если это кто-нибудь из банды Джеймса, то лучше их пока не настораживать. А насчет Михаила мы давайте так договоримся: если он и завтра будет настаивать — не возражайте, ладно?

В РАЙОТДЕЛЕ МИЛИЦИИ

Когда капитан Черкесов приходит на следующий день в свой отдел, майор Платонов сообщает ему:

— Предположение ваше оправдалось, Олег Владимирович,— по голосу, записанному на магнитной ленте, родственники Зиминой опознали Анну. Это действительно ее убила банда Тарзана. А вот заключение экспертов-акустиков. Из него следует, что голос Михаила Ясенева явно вмонтирован в эту ленту.

— Я в этом не сомневался,— с невольным вздохом облегчения произносит Черкесов.

— Не сомневался и я,— замечает Платонов.— Но прежде это было лишь предположением, а теперь акустические приборы подтвердили нашу догадку, и она приобрела силу доказательства.

Радует Черкесова и майор Глебов. Из следственного отдела Тимирязевского района ему сообщили, что они прослушали присланную им магнитную ленту вместе с арестованными участниками нападения на Сорочкина. Опознан один из записанных на ней голосов.

— Голос Тарзана? — догадывается Черкесов.

— Да, хотя им он известен под именем «дяди Жоры». Описание этого «дяди Жоры» не очень совпадает, однако, с тем портретом, который нарисовал вам Михаил Ясенев. Совпадают только рост, цвет волос и глаз. В возрасте тоже колебания в пределах пяти — семи лет. А лицо у него, по их словам, добродушное, улыбчивое. Они вообще считают его очень добрым и щедрым.

— Еще бы,— усмехается Черкесов.— Он ведь не раз, наверно, поил их и кормил. Да и в кино, конечно, водил на «Великолепную семерку» и другие боевики.

— Да, уж наверное, не без этого,— соглашается Глебов.

— Ну, и что же получается, Федор Васильевич? — лукаво подмигивает ему Черкесов.— Полное противоречие с теорией Ломброзо?

— А если этот «дядя Жора» и «Тарзан» одно и то же лицо, то как же быть с описанием наружности его Ясеневым?

— Ясеневу Джеймс так основательно вбил в голову учение Фрейда, что он зримо видел в образе Тарзана прообраз его первобытного предка. Потому и нарисовал нам звероподобный его портрет. А мальчишек Тарзан угощал, наверно, не только водкой, но и конфетами, потому и представлялся он им таким благообразным, пожалуй, даже сладеньким. Кстати, знаете, кем оказался сфотографированный нашими лейтенантами человек, принятый нами за Тарзана? Очень талантливым инженером-конструктором, безнадежно влюбленным в одну из девушек, живущих в том же доме, что и Ясеневы.

— А я все-таки думаю,— не сдается Глебов,— если подвергнуть Тарзана или этого «дядю Жору» обследованию...

— А я уверен, что «или» тут ни к чему,— перебивает его Черкесов.— Вне всяких сомнений, Тарзан и «дядя Жора» — одно лицо.

— Может быть. Но если подвергнуть его антропологическому освидетельствованию, то Ломброзо окажется в чем-то прав.

— В чем-то — весьма возможно,— соглашается с ним Черкесов.— Однако теория его не станет от этого истиной. Но меня волнует сейчас другой вопрос. Как вы, товарищи, относитесь к свидетельским показаниям? Судя по вашей оценке описаний внешности Тарзана, данных Ясеневым и теми хулиганами, которые напали на Сорочкина, вы далеки от оптимизма.

— Да, эти мальчишки, напавшие на Сорочкина в состоянии

крайнего опьянения, или панически боящийся Тарзана Ясенев — не очень объективные свидетели, конечно.

— Как же тогда быть? Где искать более объективных? Разве вот только Сорочкин?

— Так ведь его еле-еле от смерти спасли.

— Но жизнь его теперь уже вне опасности, и я думаю, что через несколько дней врачи могут разрешить нам побеседовать с ним. Ну, а потом шофер такси, который возил Тарзана с Михаилом к Джеймсу. На этого свидетеля у меня особенно большие надежды.

— Но шофер еще не найден. Номер такси, сообщенный Ясеневым, очень уж неточен. Наши лейтенанты беседовали почти со всеми таксистами, которые в тот день ездили на машинах с номерами, состоящими из цифр, названных Ясеневым. Теперь они опрашивают тех, у которых из четырех цифр две первые или две последние имеют подобное сочетание.

— Пусть не прекращают поисков. Ну, а к Джеймсу никаких пока подступов?

— Никаких,— со вздохом произносит Глебов.— И думается мне, что вывести на него сможет нас только Тарзан...

В это время раздается телефонный звонок.

— Это вас, Олег Владимирович,—протягивает Глебов трубку Черкесову.

— Да, слушаю вас. Ах это вы, Валентина Николаевна! Ну, как у вас там? Был звонок?.. Не выдержал, значит? Можете вы к нам сейчас приехать?.. Боитесь оставить Михаила одного? Ну хорошо, я пришлю к вам моего товарища. Придется вам к ним съездить, Федор Васильевич,— обращается он к майору Глебову.— Меня уже «засекли», наверно.

— Почему вы думаете, что «засекли»?

Черкесов рассказывает ему о вчерашней своей прогулке по улице с Валентиной Ясеневой, не особенно вдаваясь в подробности.

— Непонятно все-таки,— задумчиво произносит Глебов.— Ну хорошо, Валентину они могли и раньше видеть вместе с Михаилом (да он и сам, наверно, им ее показал и все сведения о ней дал), ну а вас-то как они узнали? Мало ли с кем могла она гулять...

— Если убийство Анны Зиминой — их дело, то удивляться тут нечему. Они могли видеть меня, когда я выезжал на место убийства. Мог рассказать им обо мне и кто-нибудь из тех, кого я допрашивал по ее делу.

— Если только «Корявый»... Так его давно уже нужно было арестовать.

— Тогда против него еще не было достаточных улик, а теперь этот вопрос согласован с прокуратурой. Ну, а если он

им рассказал обо мне, они могли и понаблюдать за мной на всякий случай.

— Значит, нужно считать, что Тарзану уже известно, что Ясенев признался нам во всем, раз они видели вас вместе с его сестрой.

— Почти не сомневаюсь в этом.

— А Михаилу сейчас Тарзан, значит, звонил?

— Да, Тарзан. А пока они говорили, Валентина бросилась к соседям, но их не оказалось дома. Тогда она магнитофон включила, поднесла микрофон к телефонной трубке и значительную часть их разговора успела записать. Очень толковая девица,— почти с нескрываемым восхищением заключает Черкесов.

— Не замужем, значит? — интересуется Глебов.

— Да, совсем еще молодая. Только что медицинский институт окончила. Вы заберите у нее эту пленку и Михаила подбодрите, чтобы не очень робел от угроз Тарзана.

— А вы думаете, что он никакого участия в их бандитских делах не принимал?

— Думаю, что они лишь готовили его к чему-то. Да и не его одного, наверно. Потому-то и нужно как можно скорее обезвредить эту банду.

Майор Глебов возвращается спустя полчаса. Выкладывает на стол кассету с магнитной лентой. Ее тотчас же забирает Платонов и вставляет в магнитофон.

— А знаете,— говорит Глебов,— на меня этот Михаил вовсе не произвел впечатления неврастеника. И держится совсем не робко.

— А может быть, он только храбрится?

— Не знаю, не знаю... Я бы, например, не отказался от его помощи. По-моему, он вполне осознанно соглашается пойти на встречу с Тарзаном, хотя его сестра считает такое решение почти самоубийством.

— Ну хорошо, Федор Васильевич, мы это еще обсудим. Рассказывайте все по порядку.

— Михаилу действительно позвонил Тарзан. Ругал, что скрывается и симулирует болезнь.

— А за то, что предал их, не упрекнул?

— Спрашивал только: «Не продался ли операм из угрозыска?» Да вы это сами сейчас услышите. Эту часть разговора Валентине как раз и удалось записать. Ну, как у вас, Серафим Силантьевич, все готово? Включайте тогда.

Сначала слышится лишь хрипловатый, не очень разборчивый голос, потом начинают различаться отдельные слова:

«Сволочь ты... трусливая скотина... ну, чего испугался?..

Джеймс над тобой подшутить захотел, не знаешь ты его разве?»

«Ничего себе шуточки,— слышится голос Михаила.— Да ведь если бы он дал послушать это какому-нибудь прокурору...»

«Ну вот еще — прокурору! — перебивает его Тарзан.— За кого ты его принимаешь? За сумасшедшего, да? Там же еще и мой голос записан... А мне что же — свободная жизнь надоела? Я еще своего не отгулял. У меня все еще впереди, и никакому Джеймсу продать себя я не позволю. Ты тоже это учти, если собираешься отнести ленту эту на Петровку. Я тебя из-под самой земли извлеку!..»

«Чего пугаешь,— снова бурчит Михаил.— Ты это брось, а то я и разговаривать с тобой не стану».

«Ну ладно-ладно, обидчивым каким стал. В самом деле, видать, захворал... Я ведь тебе по поручению Джеймса звоню. Очень он на тебя рассерчал, и если бы не я... Ну да, в общем, отошел он теперь. Предлагает забыть все, что произошло. Но при условии...»

«Каком еще условии?»

«Ленту ты должен вернуть. Если боишься к Джеймсу ехать, мне передашь, и не ночью в каком-нибудь темном переулке, а среди бела дня. Это специально, чтобы ты не боялся, что мы тебе что-нибудь сделаем. Сегодня сможешь?»

«Нет, сегодня не смогу. Я еще болен. А завтра в первый раз выйду. Это тебя устраивает?»

«Ну ладно, черт с тобой, хотя Джеймс велел непременно сегодня. А завтра ты выходи тогда по Калашному переулку прогуляться. Там мы с тобой и встретимся. Людный ведь переулок, так что можешь не бояться, что мы тебе что-нибудь...»

«Да чего это ты решил, что я боюсь? Не боюсь я вас ничуть... А во сколько?»

«Хорошо бы утром, часов в девять-десять».

«Ладно, договорились. Приходи к десяти».

«Ну, будь здоров!»

«Постараюсь».

Платонов выключает магнитофон.

— Молодец Михаил,— одобрительно замечает Черкесов.— Неплохо сыграл свою роль, только вот хватит ли у него завтра храбрости пойти на эту встречу?

— А зачем Тарзану эта встреча? — спрашивает Платонов.— Если они уже знают, что Михаил все нам рассказал, то нужен он им за тем разве только, чтобы пырнуть его ножом. А сделать это может не обязательно сам Тарзан.

— Да, конечно, тут нужно тщательно все взвесить,— соглашается с ним Черкесов.— И продумать все наши действия до мельчайших деталей.

А в Московском уголовном розыске в это время идет не очень приятный разговор о капитане Черкесове. В руках комиссара милиции три фотографии, на которых Черкесов изображен со спины, сбоку и спереди, но не один, а под руку с Валентиной Ясеневой. Значит, кто-то снял их в тот самый вечер, когда он шел с Валентиной по улице Герцена и она рассказывала ему о трагической судьбе своей семьи.

— С какой целью присланы нам эти фотографии, ломать голову не приходится,—задумчиво произносит комиссар.—Текста к ним нет, но снимочки настолько выразительны, что он и не требуется. Конечно же, его хотят скомпрометировать. Рассчитывают, что мы, увидев эти снимки, отстраним капитана от ведения следствия по делу об убийстве Анны Зиминой. Глядя на них, действительно можно предположить, что он ухаживает за сестрой человека, показания которого имеют прямое отношение к убийству.

— Но ведь вы же знаете, товарищ комиссар, что Черкесов никогда не позволил бы себе... — прерывает размышления своего начальника полковник Денисов.

— Считайте, что я ничего этого не знаю,— хмурится комиссар.— Считайте меня вообще человеком недоверчивым, склонным к подозрительности. И вот такому человеку присылают фотографии этой милой парочки, прогуливающейся под руку. Вы посмотрите только на их лица! А что, Черкесов не женат? Ну вот видите!.. Да не перебивайте вы меня, пожалуйста! Надо мной тоже есть начальство, и не исключено, что оно будет рассуждать именно так.

Полковник Денисов сидит теперь молча, отвернувшись к окну и насупившись. Комиссар встает из-за стола и начинает расхаживать по кабинету.

— Кто-то, значит, побаивается этого красивого капитана,— продолжает он свои размышления.— Хочет убрать, отстранить его от дела, в котором он уже нащупал, видимо, какую-то путеводную ниточку.

Полковник Денисов поворачивается к комиссару, готовясь снова защищать капитана Черкесова, но комиссар сердито перебивает его:

— А ваше мнение я спрошу немного позже, дайте мне сначала самому во всем разобраться. Ну, а что же еще? Бесспорно, что преступники оснащены такой техникой, которая позволяет им делать снимки достаточно хорошего качества даже без импульсной лампы, при свете простых уличных фонарей. Да и фотоаппарат тоже, наверно, миниатюрный, в противном случае капитан Черкесов заметил бы, что его фотографируют, и если

бы даже не задержал столь подозрительного фотографа, то хоть под руку с этой красоткой перестал бы идти...

— Убийство Зиминой тоже записано с помощью заграничной техники,— замечает полковник Денисов.

— Импортные тут не только техника, но и методы Джеймса, а скорее, еще кого-то, руководящего и им, и Тарзаном,— соглашается комиссар.

— Похоже, что кто-то пытается с их помощью воздействовать на самые низменные инстинкты подростков.

— Да, тут, пожалуй, вы правы,— задумчиво говорит полковнику Денисову комиссар.— Попробуют, наверно, с помощью Фрейда и его последователей развить и у нашей молодежи инстинкты агрессивности, врожденной, якобы, враждебности каждого по отношению ко всем. Идеи эти они давно уже втолковывают своей молодежи, наводнив книжные рынки фрейдистской литературой. Так называемый фонд Рокфеллера ежегодно субсидирует на издание ее миллионы долларов.

— Ну, у нас это не выйдет,— убежденно произносит полковник Денисов.

— Во всяком случае, не должно выйти.

Комиссар открывает папку, лежащую у него на столе, и достает из нее сводку происшествий за последнюю неделю.

— Вот тут упоминается еще о двух случаях зверского избиения пьяными подростками прохожих. Я не думаю, чтобы все это было спровоцировано Джеймсом и Тарзаном, но вы поинтересуйтесь все-таки и этими происшествиями.

Звонит телефон, и комиссар снимает трубку.

— Очень кстати! — оживляется он.— Пусть заходит. Вызвал я этого капитана Черкесова. Доложили, что уже явился. Сейчас предстанет перед нами,— говорит комиссар Денисову.

Капитан Черкесов появляется в дверях спустя несколько минут.

— Разрешите, товарищ комиссар?

— Здравствуйте, товарищ Черкесов. Заходите и полюбуйтесь-ка вот на эти снимочки.

И комиссар протягивает капитану фотографии, присланные анонимным фотографом.

— Ах мерзавец! — невольно вырывается у Черкесова.— Успел, значит, даже сфотографировать...

— А вы что, знали разве, что за вами следит кто-то?

— Догадывался. Но если бы только заметил, что он меня фотографирует,— непременно бы задержал. А так повода не было...

— А моменты тут запечатлены весьма выразительные,— усмехается комиссар.

— Да, было такое,— смущенно признается Черкесов, внимательно рассматривая фотографии.— Валентина Ясенева историю своей семьи мне поведала и всплакнула. Думаю, что на моем месте и вы бы, товарищ комиссар...

— Ну, это еще неизвестно, как бы я на вашем месте,— все еще посмеивается комиссар,— но я вас не обвиняю пока ни в чем, так что нечего и оправдываться. Расскажите-ка лучше, как у вас дела. Есть что-нибудь новое?

— Есть, товарищ комиссар. Нужно бы только магнитофон — еще одну ленту хочу вам продемонстрировать.

Пока Денисов по просьбе комиссара достает из шкафа магнитофон и включает его, капитан Черкесов рассказывает все то, что неизвестно еще комиссару и полковнику. А когда прокручивается лента с записью разговора Михаила Ясенева с Тарзаном, комиссар спрашивает:

— Ну, и что же вы решаете предпринять?

— Я бы разрешил Михаилу пойти на эту встречу с Тарзаном.

— А он не заробеет?

— Думаю, что нет.

— Ну, а что же дальше? Как вы представляете себе эту встречу? Раз они знают, что Ясенев обо всем нам рассказал, не понимают разве, что пойдет он на эту встречу не один? Да и зачем им эта встреча? Не из-за ленты же?

— Может быть, расправиться с ним хотят? — высказывает предположение Денисов.

— Едва ли,— качает головой Черкесов.— На людной улице, да еще на глазах у нас они этого делать не станут. Это они смогут сделать в любое иное время, как только Михаил выйдет из дома. У него ведь экзамены скоро.

— Ну, так что же тогда им от него нужно?

— Может быть, догадку свою уточнить хотят? — возникает новое предположение у полковника Денисова.— Если Ясенев выйдет в условленное время, они могут и усомниться, что он нам во всем признался. Не выйдет — не останется никаких сомнений...

— А я все-таки склонен думать, что они хотят поскорее от него избавиться. Есть у вас какой-нибудь план действий на этот случай?

— Да, товарищ комиссар. Мы предусмотрели и возможность расправы с Ясеневым. Я поручил майору Глебову отработать систему его защиты. К тому же у нас есть очень легкая стальная кольчужка, которую он наденет под рубашку. Ее сконструировал майор Платонов, и она уже спасла жизнь одному нашему лейтенанту. Только я все еще сомневаюсь, чтобы затевалось покушение на Ясенева.

— А я снова спрашиваю: зачем тогда им эта встреча?

— Не знаю, товарищ комиссар,— чистосердечно признается Черкесов.— Поэтому-то и нужно пойти на нее, чтобы узнать.

— Ишь, как мудро!

— Ну, давайте тогда воздержимся...

— Нет, это тоже не годится.

Комиссар снова начинает ходить по кабинету, а капитан Черкесов просит разрешения закурить.

— Чертовски рискованно это,— шепчет ему полковник Денисов.— Да и не даст, пожалуй, ничего...

— А может быть, они собираются его похитить?

— Похитить? — удивленно поднимает брови комиссар.— Каким образом?

— Будут ехать по улице на какой-нибудь машине и, как только поравняются с Ясеневым, втолкнут его в нее...

— Ну, это уж из практики американского кино,— смеется комиссар.— Но мы, видно, все равно не додумаемся сейчас ни до чего. Давайте тогда действовать так: поговорите-ка вы с Ясеневым, товарищ Черкесов, сами. Может быть, он вообще не решится пойти на эту встречу. Тогда и голову не над чем ломать.

ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ

Капитан Черкесов не очень был уверен в решимости Ясенева встретиться с Тарзаном, но Михаил не только не раздумал за это время, но и Валентину почти убедил.

— Ты же не хочешь, чтобы я потом всю жизнь себя презирал? — спрашивал он сестру.— Я и так ни во что себя не ставлю с некоторых пор. Дай мне почувствовать себя человеком.

И Валентина его, кажется, поняла. А может быть, просто побоялась, что все равно не удержит. Более же всего надеялась она на капитана Черкесова и, когда он позвонил, откровенно ему призналась:

— Вся надежда теперь только на вас, Олег Владимирович. Судьба Михаила, а может быть, и жизнь — в ваших руках. Но я верю в вас и почти не сомневаюсь, что с ним ничего не случится.

Черкесов обещал ей сделать все возможное и попросил передать трубку брату.

— Ну, так вы, значит, готовы, Миша?.. — спросил он.— И никаких сомнений?.. Тогда к вам зайдет наш товарищ — вы его уже знаете. Он детально все обсудит с вами.

А поздно вечером, когда майор Глебов собирается к Ясеневым, Черкесов напоминает ему:

— И не забудьте, Федор Васильевич, сказать Михаилу, что

Тарзан, видимо, все знает и встретиться с ним хочет, наверно, не только для того, чтобы получить магнитную ленту. Он об этом, может быть, и сам догадывается, но вы все-таки предупредите его.

— А я бы не стал этого делать,— возражает Глебов.— Нервничать только будет больше. А может, и вовсе откажется от встречи...

— Таково требование комиссара,— поясняет Черкесов.— И я с ним вполне согласен. Но мне думается, что Михаил не заробеет. В таком случае, пусть будет готов ко всему...

— Так, может быть, ему тогда и оружие дать?

— Нет, оружие будет у нас.

От Ясеневых Глебов возвращается в начале одиннадцатого.

— Ну, все в порядке,— с облегченным вздохом произносит он.— Парень в полной боевой готовности. Похоже, что у него настоящий характер.

— Теперь займемся разработкой тактики нашего завтрашнего поведения в Калашном,— приглашает Черкесов своих коллег к столу.— Серафим Силантьевич сделал днем несколько снимков этого переулка, и у нас теперь полная его панорама. Попробуем представить себе, что же может произойти там завтра. Ясенев свернет сюда с улицы Герцена, и мы посоветуем ему держаться подальше от домов, чтобы кто-нибудь не бросился на него из каких-нибудь ворот или подъезда. Думаю, что ему не следует проходить всю улицу, а вот только до сих пор. Ну, а что будем делать в это время мы? Я бы хотел послушать ваше мнение, Федор Васильевич. Вы в этих делах опытнее нас.

Широкоплечий, коренастый майор Глебов сосредоточенно трет крутолобую, гладко выбритую голову. Потом не торопясь, со знанием дела, излагает свой вариант скрытой охраны Ясенева. Предложения его кажутся Черкесову разумными. Но тут просит слово один из прикрепленных к ним лейтенантов и предлагает сделать все совсем по-другому, и это оказывается таким естественным и бесспорным, что все единодушно одобряют его предложение, а он, смущенно улыбаясь, поясняет:

— Это у меня на основании личного опыта... Однажды, когда я еще учился в школе, меня собирались избить хулиганы. Моим друзьям стало известно об этом, и они выработали примерно такую же вот тактику моей защиты.

Утром, когда капитан Черкесов набирает номер телефона Ясеневых, у него все еще нет полной уверенности, что Михаил не дрогнет. Но тот отвечает ему бодро:

— Я готов, Олег Владимирович. Чувствую себя очень хо-

рошо. И даже спал как никогда, честное слово! Когда мне выходить? Через четверть часа?..

— Ну, как он? — спрашивает майор Глебов.— Храбрится?

— Да, старается, наверно, казаться бодрее, чем чувствует себя на самом деле. Во всяком случае, я не очень-то верю, что он спал эту ночь спокойно...

Михаил действительно не спал всю ночь, и это вызывает у него чувство досады. Ему даже хочется как-то наказать себя за это, усложнить свою задачу, подвергнуть себя еще большему риску.

И уже под самое утро он решает не надевать кольчугу, а идти так, «с обнаженной грудью». А Валентина, конечно, ничего не знает об этом.

И вот какими-то непослушными, почти не сгибающимися ногами Михаил идет по родной своей улице, на которой знаком ему не только каждый дом, но и каждый подъезд.

До угла Калашного переулка остается всего пятнадцать метров, а ему кажется, что нужно преодолеть километры. Навстречу идут прохожие... Среди них, наверно, и сотрудники милиции, опытные оперативные работники, они внимательно следят и за ним, и за теми, кто проходит мимо него. У них зоркий глаз, они, конечно, сразу же увидят подосланного Джеймсом убийцу и схватят его прежде, чем он успеет вонзить в Михаила финку или выстрелить из пистолета.

Но эти утешительные мысли тотчас же покидают его, как только он сворачивает с улицы Герцена в Калашный переулок. Снова мелкая дрожь пронизывает все его тело, а ноги становятся такими непослушными, что, кажется, и прохожие замечают это. То, что взмокли вдруг руки, еще не очень тревожит его, но постепенно пот начинает проступать и на лбу. Это приводит его почти в бешенство. Держи себя в руках, парень!..

Михаил уже несколько минут шагает по переулку. Мысли понемногу становятся спокойнее, и он начинает всматриваться в прохожих. Всех ли нужно остерегаться? В том, что нападет на него не Тарзан, он почти не сомневается. Наверное, это будет какой-нибудь юнец, подобный ему. Но он не даст зарезать себя, как барана! Он постоит за себя, по крайней мере до тех пор, пока подоспеет помощь...

А они, те, кто должен прийти к нему на помощь, где-то тут неподалеку. Капитан Черкесов сидит, наверно, в какой-нибудь машине и следит за ним оттуда. А вот те двое атлетического сложения наверняка оперативники из уголовного розыска. Да и тот, что прошел сейчас мимо и виден теперь со спины, чертовски похож на майора Глебова. Ну, а прохожие, разве они не заступятся, не помогут?

В этом он, правда, менее уверен, но хорошо знает, что «геройчики», с которыми имеет дело Тарзан, не очень любят свидетелей. Они предпочитают действовать вечерком, а еще лучше ночью, когда никого нет вокруг...

Но сколько, однако, можно еще бродить? Прошло около пятнадцати минут, он трижды дошел до того места, о котором говорил ему капитан Черкесов. Наверно, эти подонки просто побоялись напасть на него.

И он решает: пройду еще раз туда и обратно, и все! После этого можно будет вернуться домой с сознанием выполненного долга. Михаил оглядывается по сторонам. Может быть, работники милиции подадут ему сигнал? Нет, никто из прохожих даже не смотрит на него.

Михаил останавливается, долго глядит на свои часы, потом сворачивает на улицу Герцена и не спеша идет к своему дому.

Валентина уже ждет его у дверей и начинает так порывисто обнимать, будто он вернулся с того света. Лицо у нее заплаканное, бледное, и говорит она прерывающимся от волнения голосом:

— Ну, как?.. Что они от тебя хотели?.. Ты все сделал, что просил капитан Черкесов? Не оробел?

— А чего было робеть-то? — счастливо улыбается Михаил. — Меня никто и пальцем не тронул. Попугать, наверно, хотели, нервы испытать.

Ему очень хотелось сказать сестре, что он был без кольчуги, но он преодолевает это желание. Уж если взаправду воспитывать в себе мужество — нечего хвастаться!

И вдруг раздается телефонный звонок.

— Бери трубку, это капитан Черкесов, наверно,— говорит ему Валентина.

Но Михаил слышит в трубке голос Тарзана.

— Что, струхнул?.. — хохочет он.

«Скотина!» — хочется выругаться Михаилу, но он сдерживается, ждет, что еще скажет ему Тарзан.

— Мы только попугать тебя хотели... Очень нам нужно руки марать. Не понимаем разве, что влипнуть из-за тебя можем? Знаем ведь, что ты показал нашу ленту операм из угрозыска. Мы ее смонтировали для розыгрыша, а ты нас теперь под «вышку» подвести хочешь? Конечно, надо бы тебя проткнуть, но это мы еще успеем, если ты и дальше будешь операм помогать. Ну, бывай здоров и запомни то, что я тебе сказал. Это Джеймс велел тебе передать.

— Господи! — испуганно восклицает Валентина, когда Михаил вешает трубку.— Магнитофон-то я забыла подключить.

КТО-ТО ВСЕ-ТАКИ ПОКУШАЛСЯ НА МИХАИЛА

— Выходит, мы их чем-то насторожили? — спрашивает Черкесова майор Глебов.— Михаил держался молодцом.

Офицеры сидели в машине в конце Калашного переулка и видели всю сцену его прогулки.

— Вот это-то, может быть, и насторожило их,— высказывает предположение Черкесов.— Я просто не вижу, в чем другом мы оплошали. Разыграли все как по нотам. На всякий случай нужно все-таки прочесать весь этот район. Проверить все дворы и подъезды. Поручите это...

— Этим я сам займусь,— перебивает Черкесова Глебов.— У меня тоже мелькнула такая мысль. Для этой цели есть специальный резерв. Полковник Денисов распорядился усилить нас оперативной группой из местного отделения милиции. Вы подождете, пока я осмотрю тут все, или поедете в райотдел?

— Подожду.

Когда майор Глебов уходит, Черкесов по радиотелефону связывается с райотделом.

— Не звонил Ясенев? — спрашивает он дежурного.

— Только что, товарищ капитан. Едва он вошел в дом, как ему Тарзан позвонил. Сказал, что они подшутили над ним, хотели попугать. Но пригрозил всерьез расправиться, если он станет вам помогать.

— Позвоните Ясеневу и передайте ему, чтобы пока никуда не уходил. Мы навестим его попозже.

Машина Черкесова поставлена так, что из нее хорошо просматривается весь Калашный переулок. Он видит, как майор Глебов и другие оперативные работники ходят из подъезда в подъезд.

«Едва ли они там кого-нибудь обнаружат,— думает Черкесов.— Тарзан снял уже, наверно, свою засаду... Но что такое? Кого это они выносят из подъезда? Похоже, что какого-то пропойцу, потерявшего сознание... И, кажется, несут ко мне. Но это уж они зря... Пусть бы им работники местного отделения занялись, у них есть тут своя машина, а нам сейчас не до того...»

— Зачем вы его сюда? — спрашивает он майора Глебова.

— Очень подозрительный тип, Олег Владимирович. По паспорту Дыркин Федор. Финку у него нашли и недопитую четвертинку водки. Не ему ли было поручено расправиться с Ясеневым? Наверно, он на это дело пошел навеселе, да в последний момент, видно, еще добавил для храбрости, но не рассчитал... Когда мы вошли — валялся в подъезде без сознания. Явно перебрал.

Капитан Черкесов внимательно рассматривает лицо мертвецки пьяного парня. Оно совсем юное. Парень не старше Михаила, пожалуй. Может быть, еще совсем недавно был с ним в одной компании, слушал те же поучения Джеймса и его теории о сверхчеловеках, которым все дозволено...

— В вытрезвитель его,— говорит капитан Черкесов.— А потом ко мне на допрос.

К Ясеневым Черкесов решает сходить сам. Он идет к ним поздно вечером, высоко подняв воротник плаща и надвинув шляпу на самые глаза. Это ни у кого не вызывает подозрений— на улице моросит дождь.

Открывает ему Михаил, а капитан шутит:

— Ишь каким храбрым стал! А если бы это Тарзан?

— Я действительно стал очень храбрым с сегодняшнего дня,— счастливо смеется Михаил и добавляет: — Но и осторожным. Прежде чем дверь вам открыть, посмотрел через прорезь почтового ящика. Это вы меня и осторожности, и храбрости научили. Спасибо вам, Олег Владимирович!

— Ну, за это вы зря меня хвалите,— машет рукой капитан.— Этому трудно научить. Это нужно самому в себе воспитать. А Валентина Николаевна дома?

— Ушла к больной подруге в соседний дом. Скоро должна вернуться. А вы думаете, мужество действительно можно в себе воспитать? Но ведь некоторые западные ученые утверждают, что все в человеке предопределено. Что люди рождаются либо со способностями властвовать и вести за собой других, либо без этих способностей, и тогда их участь...

— Быть «ведомыми»? — смеется Черкесов.— Это вам Джеймс втолковывал? Ну, а психологи-материалисты считают, что психику человека формирует социальная среда. Джеймс же внушал вам, наверно, будто среда уродует человека, делает его неврастеником, подавляет в нем «естественного человека». А этот «естественный человек» есть всего лишь человекообразная обезьяна, потому что человек без общества является животным...

Черкесов высказывает ему и другие соображения из области психологии и даже психиатрии.

Они так увлекаются этим спором, что не слышат даже, как Валентина открывает входную дверь.

Капитан заводит этот разговор неспроста. Ему хочется отвлечь Михаила от мысли, что с ним произошло сегодня нечто необычное, что он совершил почти подвиг. Пусть лучше думает, что о происшедшем и говорить-то особенно нечего.

Спор их прекращается с приходом Валентины. Она привет-

ливо здоровается с Черкесовым, который поспешно встает при ее появлении.

— Пока я раздевалась в коридоре, слушала ваш ученый разговор,— улыбаясь, говорит она Олегу Владимировичу.— И, откровенно, хочу вам признаться — удивляюсь, откуда у вас, оперативного уполномоченного районного отдела милиции, такие познания из области психиатрии?

— Ну, видите ли,— почему-то смущается капитан Черкесов,— во-первых, у меня высшее юридическое образование... И потом, я веду дела главным образом несовершеннолетних правонарушителей и мне необходимо многое знать. Без этого просто не поймешь ничего в их психике. Да и не объяснишь им ничего толком, а они ведь не закоренелые преступники и пока еще многим интересуются. Не объясним им этого мы, растолкуют такие, как Джеймс... Ну ладно, об этом в другой раз как-нибудь. Перейдем к делу. Вот взгляните-ка на эти фотографии, Миша. Не встречались ли вы где-нибудь с этим типом?

Михаил внимательно всматривается в фотографии какого-то парня, снятого анфас, в профиль и в три четверти. Лицо у него опухшее, с мешками под глазами. Смотрит он недоуменно, будто проснулся только что.

«Кажется, где-то видел...» — мелькает в голове Михаила, но на вопрос Черкесова он отвечает осторожно:

— Что-то не припомню... Да и снимки странные. Такое впечатление, будто его в нетрезвом виде фотографировали.

— Вот именно,— усмехается Черкесов.— А не пили ли вы когда-нибудь с ним вместе у Джеймса?

Михаил снова берется за фотографии.

— Возможно,— все еще не очень уверенно произносит он.— Мы там в трезвом виде вообще ни разу ни с кем не встречались. Да и особенно сближаться друг с другом не рекомендовалось.

— Похоже, что бандитов из вас готовили по методу школы тайных агентов,— замечает Валентина.

— А нам казалось все это романтичным, таинственным. Мы там даже по имени не имели права друг друга называть. У каждого была кличка.

— А у вас какая? — будто без особого любопытства спрашивает Черкесов.

— Гамлет.

— Гамлет? — заметно оживляясь, переспрашивает Черкесов.

— Тоже мне — принц датский! — смеется Валентина.

— Посмотрите-ка тогда еще раз, да повнимательнее, на этого парня,— кивает Черкесов на фотографии, все еще лежащие на столе.— Мы подобрали его мертвецки пьяным в одном

из подъездов Калашного переулка. В бреду он произносил несколько раз имя Гамлета. Мы тогда не понимали почему, но теперь почти не остается сомнений, что это ему было поручено расправиться с вами. Мы нашли у него в руках финку. А в вытрезвителе он бормотал: «Пусть сами... Пусть эти суперы убивают Гамлета сами!..»

— Да, уж тут теперь все яснее ясного,— нервно вздрагивает Валентина.— Конечно же, этот подонок пьянствовал с тобой у Джеймса. Неужели ты не можешь вспомнить его, Михаил? Это же очень важно...

— Да, это действительно немаловажно,— подтверждает Черкесов.

— Кого-то он мне напоминает. Но сказать с уверенностью, что видел его у Джеймса, не могу. Может быть, потом вспомню... — Михаил еще раз смотрит на фотографии.

— Мы его вам завтра покажем. А теперь еще одна новость — нашли того шофера, который возил вас девятого мая к Джеймсу. Его номер оказался 66—99. У него хорошая память, и он довольно точно описал вас и Тарзана. А вы, Миша, изобразили Тарзана совсем другим. Вовсе не свирепое у него лицо, а скорее, добродушное. И другие свидетели то же подтверждают.

— Это он им мог показаться добродушным,— убежденно произносит Михаил,— а я-то хорошо знаю, какая это гадина! А у гадины...

— Ну, знаешь ли,— возражает ему Валентина,— у иной гадины вполне благообразное обличье.

— У этого шофера — его фамилия Лиханов — видимо, действительно отличная зрительная память. Он уверяет, что запомнил, куда возил вас в тот вечер. Если не возражаете, мы съездили бы туда.

— Какие могут быть возражения! — восклицает Михаил.— Да хоть сейчас!

— Сейчас не надо, а завтра давайте съездим. Вечером, часов в девять. Договорились? За вами заедут. Ну, а теперь я должен с вами попрощаться.

И он крепко жмет руку сначала Валентине, потом Михаилу. А когда Черкесов уходит, Михаил говорит задумчиво:

— Завидую я ему... Интересная работа, требующая ума и мужества. Никогда не думал, что в милиции могут быть такие образованные люди... А выдержка!.. Ты ему, по-моему, очень нравишься, но он и виду не подает. Или, может быть, это только мне кажется?

— Не знаю,— смущенно говорит Валентина.— Я как-то не присматривалась к нему с этой точки зрения...

Они выезжают ровно в девять на такси Лиханова. Черкесов сидит рядом с шофером, на заднем сиденье Михаил Ясенев с Глебовым и Платоновым.

— Повезу вас тем же маршрутом, что и девятого мая,— говорит Лиханов.— Сами увидите, какая у меня память. Что, не верно разве я вам этого парня обрисовал? — кивает он на Михаила.— Помните, о родинке даже говорил? Вот она, эта родинка,— на левой щеке на уровне рта. Я и того второго типа досконально вам обрисовал. Мне бы не в таксомоторном парке, а в милиции работать...

«С таким-то язычком»,— укоризненно думает о нем майор Глебов.

А шофер болтает без умолку:

— Я сразу заметил, что ребята были навеселе. Особенно этот вот. Хохотал всю дорогу. А тот, что постарше, все шутил. Этот, видать, из интеллигентов, а у того сплошные блатные словечки. Я, конечно, извиняюсь — не в свое дело, может быть, лезу, но только вы ими правильно заинтересовались.

— Может быть, помолчим немного,— досадливо замечает майор Глебов.

— Это можно,— безобидно соглашается Лиханов.

Машина миновала уже Рижский вокзал и с проспекта Мира свернула на Мурманский проспект в сторону Ново-Ховрина.

— Вот до этого места я их довез,— притормаживая, говорит Лиханов.— Тут они со мной расплатились и пошли пешком. А куда пошли,— в темноте не разглядел. Ну, мне как — ждать вас тут или можно возвращаться?

— Возвращайтесь. Мы обратно на своей поедем.

Они стоят на углу какой-то темной улицы, осматриваясь по сторонам.

— Я нарочно решил сюда ночью приехать,— говорит капитан Черкесов.— Чтобы все было, как в тот раз.

— Да и не только в тот раз,— поправляет его Глебов.— Они сюда всегда ночью или поздним вечером приезжали. Неужели вы ничего не можете вспомнить, Михаил?

— Подождите, дайте сообразить,— просит Ясенев.— Тут где-то я всегда в какую-то канаву проваливался...

— Вот тут, может быть? — спрашивает майор Платонов.— Возле мостика?

— Да, верно! Пожалуй, с этого мостика я и соскальзывал всякий раз... А потом проволочный забор должен быть. Помнится, брюки об него порвал. Ну да — вот он! А что дальше, не помню...

Они снова останавливаются, давая Михаилу возможность

осмотреться и вспомнить, куда водил его Тарзан. Вокруг совсем темно. Замаскированные густыми кустами сирени, окна одноэтажных домиков почти не излучают света.

— Да, местечко... — вздыхает майор Глебов.

— А вы что хотели — чтобы эти подонки собирались на улице Горького?

— Собираются, к сожалению, и на улице Горького.

К ним присоединяется лейтенант Егошин и еще несколько человек из оперативной группы Черкесова, ехавших вслед за ними.

— Ну что, Миша, так и не можете ничего больше вспомнить? — спрашивает Ясенева капитан.—Может быть, мы не туда пошли? Не влево вдоль забора, а вправо?

— Да нет, влево вроде... Тут картофельное поле должно быть. Мы через него шли по диагонали... Хорошо помню, я както еще сказал Тарзану: «Обойдем, может быть? Передавим тут все...» А он: «Твое оно, что ли»?

— Так вот это поле,— указывает куда-то в темноту лейтенант Егошин.— Меня Лиханов днем сюда привозил, и я познакомился с этим районом. За проволочным забором пустырь должен быть, а за ним, наверно, то самое картофельное поле.

— А не спугнули вы их? — тревожится майор Глебов.— Не могло им показаться подозрительным, что вы тут разгуливаете?

— Не думаю. Я действовал осторожно. Переоделся даже в форму железнодорожника. Тут почти одни железнодорожники живут.

Когда оперативная группа подходит к картофельному полю, Михаил ведет их уже увереннее.

— Все теперь вспомнил,— возбужденно шепчет он капитану.— Как только пересечем это поле, домик должен быть... Там мы и гуляли.

— Это, должно быть, домик вдовы железнодорожного машиниста Бушуевой,— поясняет лейтенант Егошин.— Я у местного участкового уполномоченного кое о ком сведения тут собрал.

«Ну и зря...— все больше беспокоится майор Глебов.— Не нужно было ему ни о ком тут расспрашивать...»

К домику, надежно укрытому густыми кустами сирени, Черкесов и Глебов подходят первыми. Остальные офицеры окружают его со всех сторон.

Михаил не испытывает никакого страха. Боится он лишь одного — что не туда привел. Пытается даже войти в маленький садик первым, но капитан Черкесов осторожно отстраняет его.

— Вы не ходите пока,— чуть слышно шепчет он.— Мы позовем вас, когда будет нужно.

У Михаила сразу же начинает гулко биться сердце...

«Что же это? Он мне не доверяет?.. Или боится за мою драгоценную жизнь?..»

Калитка садика оказывается незапертой. Открывается она без скрипа. В доме не светится ни одно окно.

«Видно, нет никого,— торопливо думает Черкесов.— Может быть, не входить?.. Оставить засаду и прийти в другой раз... А если они лишь притаились? Или должны прийти попозже?.. Нет, нужно войти, а там видно будет, что делать дальше».

И он негромко стучит в дверь. Некоторое время никто не отзывается, а когда капитан уже собирается постучать вторично, в одном из окон, выходящих в садик, вспыхивает свет.

— Кто это там? — слышится заспанный женский голос.

— Откройте, пожалуйста, не бойтесь.

— А чего бояться-то! — хрипловато смеется женщина.— Я, милые вы мои, никого не боюсь.

Дверь широко распахивается, и офицеры видят плечистую женщину лет шестидесяти в голубом, вылинявшем от многих стирок халате.

— Прошу вас, гости дорогие, хотя и незваные,— весело говорит она.— За какой надобностью, однако, в столь поздний час?

— Мы из милиции, гражданка Бушуева,— спокойно говорит капитан Черкесов.— И хотели бы...

— Ага, я так и догадалась! — бесцеремонно перебивает его Бушуева.— Это, наверно, по поводу проживания у меня квартиранта без прописки? Ну, так он съехал уже. Распрощалась я с ним, наконец, вчера — уж больно он шумный.

— Ну, а почему же вы его не прописывали все-таки?

— Так чего ж его прописывать-то? — удивляется Бушуева.— Он и не жил тут почти. Приезжал раз-другой в неделю (с компанией, правда), ночевал и укатывал в город.

— И вам не казалось это странным?

— А чего ж тут странного-то? Человек он молодой, видать, из хорошей семьи и потому дома повеселиться как следует ему не разрешалось... Ну, он и жаловал ко мне с приятелями. Но без девиц. С девицами я бы ему гулять у меня не позволила. Это уж поверьте мне на честное слово. Да и веселились они тут интеллигентно. Без скандалов. Выпивали, правда, и эту, как ее, радиолу гоняли нещадно. А музыка, сами знаете, какая у них теперь. Да еще и не наша, видать, хотя и от нашей тоже хоть уши затыкай. Вот бы куда милиции нужно было вмешаться.

— То есть, куда же? — не понимает ее Черкесов.

— Как, куда? В музыку эту. Композиторов как следует

приструнить, чтобы не сочиняли такого безобразия. Она ведь, молодежь-то нынешняя, как понаслушается ее, музыки этой, так сама не своя делается. Ну, буквально все воют и звереют до того, что запросто могут полоснуть кого-нибудь ножом или еще чем... У меня, правда, все обходилось без этого. Однако сама я запиралась у себя от греха, когда они тут радиоле подвывали. А теперь прямо-таки рада-радешенька, что квартирант мой съехал. Я и сама уж хотела его попросить, а он вдруг сам прикатил вчера под вечер и забрал все свои манатки.

— Покажите нам его комнату,— просит Черкесов.— Мы вообще весь дом ваш должны осмотреть.

— А это уж после того только, как вы документики свои мне предъявите.

— Да, конечно, это вы вправе у нас попросить. Ну, а у квартиранта своего проверяли ли его-то документы?

— А как же? Все проверила. По паспорту он Дмитрий Андреевич Бутлицкий. Одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года рождения. Уроженец города Москвы. Холост. У меня память, что ваш милицейский протокол. Я и служебное удостоверение его просмотрела. Инженером он работает в телевизионном ателье Бауманского района. Он и мне телевизор починил, так что это, видать, взаправду.

Тем временем Глебов с Платоновым начинают осмотр дома. Им помогает лейтенант Егошин.

— Может быть, и Ясенева пригласить? — спрашивает капитан Глебов.

— Нет, не надо. Ему, пожалуй, не следует тут показываться. А что это тот самый дом, и без него ясно.

Обыск длится уже более получаса, но найти чего-нибудь существенного все еще не удается. Майор Платонов обрабатывает магнитной кисточкой поверхности всех столов, спинки стульев, зеркало, дверцы шкафов и почти всю посуду. Некоторые предметы окрашивает он еще и порошкообразным составом, а там, где обнаруживаются какие-нибудь следы, переносит их на следокопировальную пленку.

— Ну как? — спрашивает его Черкесов, закончив с Глебовым осмотр дома.

— Следов очень мало. Похоже, что все тут протиралось или даже промывалось совсем недавно.

— Вы что, генеральную уборку, что ли, проводили тут, мамаша? — спрашивает Бушуеву майор Глебов.

— Зовут меня, между прочим, Анфисой Тарасовной,— с достоинством замечает Бушуева.— А уборку я действительно производила. Они же так тут насвинячили, что без этого было нельзя. Да и посуду всю позалапали — выпивали ведь и за-

кусывали. Пришлось перемыть, моя посуда-то. Журнальчики с книгами, которые вы просматривали,— это тоже все мои. Ихнего тут вообще ничего больше нет. А бумаги, что от них остались, они сами во дворе сожгли.

— Ну, а мусор, окурки — это ведь вы выметали?

— Мусор свой они тоже сами сожгли.

— А раньше? В другие дни убирали же вы за ними?

— Убирала, конечно. Ну так это все в помойке. Она у меня в огороде.

Глебов делает знак лейтенанту Егошину, и он выходит во двор.

«Или она действительно чистоплотная такая, или по их заданию навела тут такой порядок»,— с досадой думает майор Платонов.

— А вы чего тут так все исследуете? — спрашивает Бушуева, и в голосе ее никакой тревоги, одно любопытство.— Я, конечно, извиняюсь за такие вопросы, но, может быть, они зарезали кого? Понаблюдала я, что они под музыку эту выделывали,— ничему не удивлюсь. Могли и зарезать кого-нибудь...

— Ну, я пойду к Егошину, Олег Владимирович,— говорит Платонов, закрывая свой чемоданчик.— Может быть, там что-нибудь поинтереснее обнаружится.

И он уходит, а капитан Черкесов принимается за официальный допрос Бушуевой.

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ТРУДНОСТЕЙ

Спустя полчаса они возвращаются в райотдел. Михаил Ясенев едет теперь в другой машине. А чтобы это не вызывало у него каких-нибудь тревожных мыслей, капитан крепко пожимает ему руку и говорит:

— Ну, спасибо, Миша! Вы очень нам помогли. Вас отвезут теперь домой, а мне нужно еще к себе в отдел. Передайте привет сестре. До свидания!

А в машине он говорит Глебову и Платонову:

— Чем-то, значит, мы их все-таки насторожили...

— Да,— тяжело вздыхает майор Платонов,— видно, опытная публика. Прекрасно знают, что нас могло интересовать.

— Так-таки ничего интересного не обнаружилось? — спрашивает его майор Глебов.

— Кое-что есть, конечно. Несколько отпечатков пальцев, но очень слабых. Эта тетка основательно все протерла и не только сырой тряпкой. Ну, а те отпечатки, которые отчетливы, принадлежат, видимо, самой Бушуевой. Установить это будет

нетрудно — я ее персональный, так сказать, отпечаток снял со стакана, из которого она пила что-то перед самым нашим приходом. Да и во время осмотра ее квартиры к стакану тому прикладывалась. Отпечатки ее пальцев очень четкие, видно, все-таки нервничала, вот руки и вспотели.

— А остальные следы не очень, значит, четкие? — допытывается Глебов.

— Боюсь, что четкими могут оказаться лишь оттиски одного-двух пальцев. А вы же знаете, что наши дактилоскопические карточки закодированы по формулам, составленным на основании данных о всех десяти.

— А разве не освоен еще метод сотрудников нашего научно-исследовательского института, основанный на повторяемости симметрии рисунков на пальцах правой и левой руки?

— Да, он освоен и дает возможность осуществить идентификацию в восьмидесяти пяти случаях из ста. Но для этого нужно все-таки иметь отпечатки хотя бы трех пальцев. А я не уверен, что они у нас будут, ибо статических следов тут очень мало. Больше динамических, оставленных при скольжении рук по предмету. Но наберемся терпения и подождем заключения экспертизы.

Капитан Черкесов не участвует в этом разговоре. Только теперь чувствует он, как устал за сегодняшний день. Да и поволновался немало. А каков результат?

Подростков, убивших Анну Зимину, поймали. А что толку? Они признались во всем, но и без того ясно, что их специально спаивал кто-то и доводил до озверения. Конечно, они будут наказаны, не взирая на то, что и сами в какой-то мере были жертвами истинных преступников. А кто же эти преступники? Конечно, Джеймс и Тарзан. Ребята, напавшие на Сорочкина, знают Тарзана как «дядю Жору», а тем, которые убили Зимину, известен он как Папа.

«Ишь как ласково — Папа,— невольно усмехается Черкесов.— Отца родного перед ними разыгрывал. Да и у подопечных его клички в том же стиле: Малыш, Сынок, Паря... Видно, не лишен педагогического чутья этот Тарзан...»

— А в мусорной яме вы ничего не нашли? — продолжает расспрашивать Платонова Глебов.

— Тоже небогато. Несколько окурков со следами слюны, по которой можно установить группу крови тех, кто их курил. Думаю, что пригодится нам и огрызок яблока. На нем есть следы зубов. А Егошин с помощью слепковой массы получил отпечатки нескольких следов мужских ног во дворе и огороде.

— Вы записали имя и фамилию квартиранта Бушуевой, Федор Васильевич? Уточните завтра в адресном столе — существует ли такой. По словам Бушуевой он работает в телевизи-

онном ателье. Нужно проверить, хотя все это едва ли подтвердится.

— Конечно же, Олег Владимирович, это типичная липа!

— Но Бушуева тут может быть и ни при чем...

— А меня другое беспокоит,— слышится вздох майора Платонова.— Почему они ликвидировали свой «колледж» столь поспешно?

— В какой-то мере лейтенант Егошин тут виноват,— замечает Глебов.— Проявил усердие сверх меры...

— Не думаю, чтобы насторожило их только это,— задумчиво произносит Черкесов.— После того, как им стало известно, что Ясенев во всем признался, они уже были начеку...

Всю остальную дорогу они едут молча, раздумывая каждый о своем. Постепенно усталость снова начинает одолевать Черкесова, и мысли его теряют стройность. Думается теперь о вещах, далеких от того трудного дела, которым приходится заниматься. Все чаще почему-то возникает образ Валентины Ясеневой, и он ловит себя на желании поехать к ней сейчас, посидеть в ее уютной комнате.

Скорее бы уже завершалась эта операция, тогда можно было бы зайти к ним просто так. А операции все еще не видно конца...

Михаил приезжает домой в двенадцатом часу. Валентина встречает его тревожным вопросом:

— Ну как?..

— Я их не подвел! Нашел берлогу Тарзана и Джеймса!

— И их арестовали?

— Не так-то это просто. Их не было на месте. Но вот увидишь, их обязательно арестуют! Знаешь, какие это толковые ребята?

— Какие ребята?

— Эти лейтенанты милиции, с которыми я ехал. Обратно я ехал уже не с капитаном, а с лейтенантами...

Глаза у Михаила горят от возбуждения.

— Да, привет тебе от Олега Владимировича,— вспоминает наконец Михаил о просьбе Черкесова.

И у Валентины сразу становится теплее на душе от этого казалось бы ничего не значащего слова «привет».

— А есть-то ты хочешь? Или сыт острыми впечатлениями?

— Ну что за вопрос! Я никогда еще не был так голоден!

И он набрасывается на приготовленный Валентиной ужин с таким аппетитом, которого она действительно давно уже у него не замечала.

— Эти лейтенанты наговорили мне чертовски много интересных вещей,— захлебываясь, рассказывает Михаил.— В их

работе меньше всего, оказывается, стрельбы и погони... Главное — анализ, оценка фактов, криминалистическая экспертиза. И не прежними примитивными средствами, а с помощью электроники и кибернетики... Ты же врач, ты знаешь, что такое дактилоскопия. Но ты, наверно, не представляешь себе, как нелегко отождествлять в дактилоскопических картотеках отпечатки пальцев разных преступников. Каторжный труд! И вот теперь это будет делать электронный автомат. Его уже конструируют. Конструируются и электронные вычислительные машины, которые будут сами сравнивать почерки лиц, заподозренных в подделке документов...

— Ты ешь, да получше пережевывай,— смеется Валентина,— а то знаешь, что может случиться?..

— А ты слушай и не перебивай. Математики, кибернетики и криминалисты уже работают сейчас над исследованием признаков внешности. Автоматы сами будут теперь опознавать подозреваемых по фотографиям. И, наверно, смогут даже создавать такие фотографии по словесным описаниям. А о машинной обработке следов орудий взлома и пуль слышала ты что-нибудь?..

— Ну, я вижу, ты в полном восторге от этих лейтенантов и готов, кажется, последовать их примеру.

— Да, после окончания школы я бы, пожалуй...

— Не торопись,— перебивает его сестра.— Еще совсем недавно ты готов был под руководством Джеймса и Тарзана стать гангстером или суперменом, что, в общем-то, мало чем отличается друг от друга. А ведь лейтенанты эти и должны как раз бороться с нашими доморощенными суперменами. Кончай-ка ужинать и ложись лучше спать.

«СОСТАВНОЙ ПОРТРЕТ» ТАРЗАНА

Неприятности у Черкесова начинаются с самого утра. Едва капитан входит в свой кабинет, как раздается телефонный звонок.

— Докладывает Егошин,—слышит он взволнованный голос лейтенанта.— Я по поводу Дыркина, который с Ясеневым должен был расправиться. Начальник вытрезвителя забыл предупредить своего помощника, а тот и выпустил Дыркина, как только он протрезвился... Да, дома у него были и разговаривали с его матерью, но, если он действительно имел задание убить Михаила, разве явится домой?.. Установить наблюдение за его домом? Ясно, товарищ капитан!

Едва Черкесов кладет трубку, как входит майор Глебов.

— Насчет Дыркина знаете? — спрашивает его капитан.

— А что с ним такое?

— Сбежал этот Дыркин.

— Быть не может! Мы же предупреждали работников вытрезвителя...

— Плохо, значит, предупреждали.

— Ну, прямо-таки одно к одному! — всплескивает руками Глебов.

— Что еще такое?

— Мадам Бушуева тоже куда-то исчезла. Участковый уполномоченный только что звонил. Соседи ему сообщили, что на рассвете к ее дому подъезжала машина, которая, видимо, и увезла ее.

— Выходит, что допрашивать больше некого?

— А эти подонки, убившие Зимину, вас не интересуют?

— Двух допрошу еще раз, Васяткина и Назарова. Вы договоритесь об этом со следователем. Остальные кажутся мне не вполне вменяемыми.

— Ну, а что же мы дальше будем делать? Ловко они все свои концы смотали. Теперь притаятся на какое-то время, а у нас никаких ориентиров. Джеймс вообще представляется мне каким-то бесплотным духом. Слышал я, как вы Бушуеву о нем расспрашивали. Она такой портрет нарисовала, что и родная мать никогда бы его не опознала. Ну, а все ее анкетные данные о нем, конечно же, липа. Адресный стол уже сообщил мне, что никаких сведений о Дмитрии Андреевиче Бутлицком тысяча девятьсот тридцать восьмого года рождения у них нет. А в телеателье я лейтенанта Синицына послал — скоро должен вернуться. Но и без того ясно, что никакой инженер Бутлицкий там не работает. Не сомневаюсь я, что и отпечатков его пальцев в квартире Бушуевой Платонов не обнаружил. Такой мог и дома не снимать перчаток, чтобы следов не оставлять.

— А вы знаете, что по поводу таких осторожных бандитов сказал один французский юрист? — хитро прищуриваясь, спрашивает Черкесов.— Он сказал, что преступление только начинается в перчатках, а кончается в рукавицах. Рукавицы каторжника, конечно, имеются в виду.

— Ничего не скажешь,— хмуро усмехается Глебов,— остроумно. Ну, а этого Джеймса, если только мы его поймаем, ждет расплата посерьезнее...

— Почему же: «если только мы его поймаем»? Мы обязаны его поймать. Но о нем мы действительно ничего пока не знаем. А вот о Тарзане кое-что уже известно. Его видело несколько человек. И голос его у нас на пленке записан. К тому же он-то, конечно, не носит перчаток и какие-то следы свои в квартире Бушуевой не мог не оставить. А это уже кое-что! Поэтому давайте вот что сделаем — приступим к составлению «словесного

портрета» Тарзана, и пусть возглавит это Серафим Силантьевич. Да вот и он, кстати,— легок на помине! Мы с Федором Васильевичем решили приступить к составлению «словесного портрета» Тарзана. Как вы на это смотрите?

— Тогда лучше, может быть, и «составного»? — предлагает Платонов.— Словесным описанием не всегда ведь удается создать достаточно наглядное представление о внешности. Графическое или фотографическое изображение, по-моему, гораздо выразительнее, хотя этот метод у нас пока еще не очень освоен. А за границей он хорошо себя зарекомендовал. У меня, кстати, есть на примете художник, знакомый с криминалистикой и судебно-следственной практикой.

— Вот давайте и займемся этим с завтрашнего дня. Кого бы вы хотели вам в помощь из нашей оперативной группы?

— Пока достаточно будет одного Егошина. Он производит на меня впечатление толкового парня. А кого из свидетелей будем опрашивать?

— Да почти всех, кто видел Тарзана. Ясенева, шофера Лиханова, участников убийства Зиминой и тех, которые напали на Сорочкина.

— А самого Сорочкина?

— Он все еще плохо себя чувствует, и врачи, наверно, не разрешат нам пока с ним беседовать. А мы давайте распределим нашу работу так: Серафиму Силантьевичу поручим создание «составного портрета», а мы с вами займемся составлением «словесного».

Майор Платонов с художником-криминалистом Вадецким приступают к работе с утра следующего дня. Из тех, кто видел Тарзана, проще всего было бы пригласить Михаила Ясенева, но Платонов решает начать с шофера Лиханова.

— У него очень хорошая зрительная память,— объясняет он свой выбор капитану Черкесову.— А Ясенев, по-моему, не очень уравновешен и потому не может быть достаточно объективным.

Лиханов, вызванный в райотдел, легко отвечает на все вопросы Вадецкого и Платонова, называя характерные черты внешности Тарзана. Но когда Вадецкий показывает ему первый набросок, не задумываясь подвергает его критике:

— Нет-нет, совсем не то! Почти никакого сходства.

— А что же тут не то?

— Да почти все. Ну вот хотя бы лоб... Да, я сказал, что большой, но теперь вижу, что не во лбу тут дело, а в залысине. Это из-за нее, наверно, лоб его показался мне большим. И нос тоже не тот... Правильно, крупный и приплюснутый, но не от природы, а скорее всего, заехал ему кто-нибудь в драке. У боксеров такие носы бывают.

Делает он весьма существенные замечания и по другим частям портрета Тарзана. А когда Вадецкий показывает ему второй набросок, одобрительно замечает:

— Ну вот — совсем другое дело!

Но присмотревшись повнимательнее, снова с сомнением покачивает головой:

— Что-то все-таки не то. Не хватает чего-то в выражении глаз, да и рот не такой... Глаза у него с хитринкой, и он все время улыбается, только ненатурально...

А после третьего наброска Лиханов неожиданно заявляет:

— Теперь все вроде так, а сходства еще меньше... Но я уж и не знаю, чего еще тут недостает...

— Ну ладно, товарищ Лиханов, кончим пока на этом. Спасибо вам за помощь,— благодарит его майор Платонов.

Все три наброска Вадецкого он показывает потом некоторым из тех, кто участвовал в убийстве Зиминой и нападении на Сорочкина. Большинство не находит в них никакого сходства с «дядей Жорой» или Папой. Только один парень, несколько постарше и посерьезнее других, не очень уверенно замечает:

— Что-то есть, конечно... Но уж очень этот хитер, а «дядя Жора» добрый. Что улыбается он все время — это верно, а улыбка совсем и не такая...

Подсказать что-нибудь определенное он, однако, не может или не хочет.

— Что теперь делать будем? — обескураженно спрашивает майора Платонова Вадецкий.— Похоже, что мы еще очень далеки от подлинного облика Тарзана...

— А я другого мнения,— убежденно говорит Платонов.— Главное мы, по-моему, схватили. Обратили вы внимание на выражение глаз почти всех парней, которым мы показывали ваш набросок?

— Они произвели на меня впечатление форменных кретинов, так что я особенно к ним не присматривался.

— Дело не в их умственных способностях. Я следил за их глазами и почти не сомневаюсь, что во втором наброске они узнали Тарзана, только не захотели в этом признаться.

Капитану Черкесову тоже кажется, что второй набросок Вадецкого напоминает ему чем-то того человека, который преследовал его, когда он шел с Валентиной по улице Герцена. А Михаил долго рассматривает все три наброска и ни на одном из них не может остановиться.

— В отдельности все вроде похоже,— задумчиво говорит он.— И нос, и лоб... даже подбородок. Но вот глаза и рот явно не его. Глаза у него злые, а рот ехидный.

— А теперь давайте попробуем создать «составной портрет» Тарзана еще и по методу «фото-робота»,— предлагает

Платонову Черкесов.— Наброски, сделанные товарищем Вадецким, не противоречат составленному «словесному портрету», вот мы и подберем по ним фотографии для «фото-робота».

В тот же день с помощью фотолаборантов райотдела Платонов принимается кромсать на части отобранные вместе с Черкесовым фотографии. Потом они расклеивают их на три длинные дощечки таким образом, что на первой размещаются десять лбов, на второй столько же бровей, глаз и носов. А на третьей — десять ртов и подбородков. Затем, смещая дощечки одну относительно другой и совмещая в разных вариантах все эти лбы, носы и рты, Платонов демонстрирует «составной фотопортрет» сначала Лиханову, а потом тому парню, который узнал Тарзана на одном из набросков Вадецкого. На этот раз они более уверенно сходятся на одной, наиболее удачной, по их мнению, «составной фотографии».

— А я все еще не очень уверен,— по-прежнему сомневается Михаил.— Хотя какое-то сходство уже есть, конечно... Особенно на этом вот варианте.

— На нем и остановимся,— решает Черкесов, так как портрет этот оказывается тем самым, на который указал и Лиханов.— Отретушируйте его и пусть фотолаборатория размножит. Пошлем эту фотографию во все отделения милиции и в областные управления.

— А в исправительно-трудовые колонии?

— И туда тоже, вместе с фонограммой его голоса.

ВОЛОДЯ ИВАНОВ—КОЛЛЕГА МИХАИЛА ПО «КОЛЛЕДЖУ»

Михаилу было очень нелегко все эти дни. Он, правда, уже не досадует на себя за то почти животное чувство страха перед Тарзаном и Джеймсом, которое испытывал еще совсем недавно. Ему даже кажется, что он овладел собой, хотя и не стал храбрее. По-прежнему нудно ноет у него под ложечкой, когда он выходит из дому, а в каждом встречном парне чудится сообщник его бывших «боссов». Но он не сидит больше дома, несмотря на все просьбы Валентины, и уже в одном этом видит немалую победу над собой. Он не выходит пока по вечерам, но мог бы заставить себя выйти и вечером, если бы оказалась в этом необходимость.

Гнетет его теперь другое — невозможность хоть чем-нибудь помочь капитану Черкесову. Даже обличье Тарзана не запечатлелось в его памяти настолько, чтобы он смог подсказать какие-то характерные черты этого бандита для создания его «составного портрета». Мало того, своим сомнением в достовер-

ности уже созданного портрета он может еще и помешать его розыску, лишить уверенности тех, кто, возможно, уже идет по верному пути...

Но что же делать? Чем помочь Черкесову?

И тут он вспоминает Володю Иванова, с которым познакомился у Джеймса. Они учились в одной и той же школе, но Иванов был старше Михаила на класс. На другой день после встречи у Джеймса Володя, увидев Михаила на школьном дворе, сам подошел к нему.

— Привет супермену! — с иронической усмешкой произнес он.— Ты давно у Джеймса?

— А ты не знаешь разве, что задавать таких вопросов не положено?

— Ишь какой дисциплинированный! А на недосмотр наших боссов не обратил внимания?

— На какой недосмотр?

— Свое же правило нарушили — свели вместе учеников одной и той же школы. У них это не положено.

— Могли и не знать, что мы из одной...

— Думаешь, значит, что это по недосмотру? А я не очень в этом уверен. Я у них не первый день и все их правила хорошо знаю. У них так просто ничего не делается. Не знать, что мы из одной школы, они не могли. О каждом из нас у них заведено исчерпывающее досье. Имей это в виду, а о разговоре нашем — никому ни слова.

— А чего это ты разоткровенничался так?

— Да потому, что супермен из тебя такой же, видно, как и из меня,— усмехнулся Володя Иванов.— Похоже, что влипли мы с тобой, парень...

Он не стал ничего больше объяснять Михаилу, а через несколько дней вообще покинул школу и «колледж», так как отца его перевели в другой город. А потом, недели две спустя, Джеймс неожиданно сказал Михаилу:

— Трепач этот твой однокашник Иванов. Никуда ни он, ни отец его не уезжали. Просто перебрались на другую квартиру.

— Не понимаю, зачем ему надо было сочинять это? — искренне удивился Михаил.

— От нас хотел избавиться. А это знаешь чем попахивает? Предательством! Надо бы его от этого предостеречь. И хорошо бы сделать это тебе. Не знаешь, где его искать? Зато я знаю. Сходи к нему завтра и поговори. Пристыди как следует. Назови предателем. Он ведь не только меня с Тарзаном, но и тебя предал.

Михаилу не хотелось, но он пошел. Как было не пойти, если Джеймс приказал?

Володя Иванов очень удивился, увидев Михаила, но сразу же догадался, зачем он к нему пришел. Однако перед матерью и сестрой виду не подал, что визит этот ему неприятен. Напротив, изобразил радость встречи, бросился чуть ли не обнимать Михаила и, заметив тревогу в глазах матери, сказал ей: «Это не из тех, мама. Это мой приятель по прежней школе». А Михаилу шепнул: «Уговори меня погулять».

Михаил так и сделал, и они вышли на улицу.

— Джеймс прислал? — хмуро спросил его Владимир.— Выследил, значит... А тебе уговаривать поручил, чтобы вернулся? Нет уж, хватит с меня его науки! Отцу и так из-за этого пришлось на другую квартиру переезжать...

— Ты разве рассказал ему все?

— Он и сам догадывался, в какую компанию я попал. Чуть ли не каждый день пьяным домой приходил — нетрудно было сообразить, с кем я связался. Хорошо еще, что мама многое скрывала от него. Ну, а потом, когда решилась рассказать ему о моих похождениях,— был у меня с ним разговор! Он у меня человек энергичных действий — сразу же решил вырвать меня из той «дурной среды», которая, как он выразился, «засосала меня». Под «дурной средой» имел он в виду таких шалопаев, конечно, как мы с тобой, а не такую организацию, как «колледж» Джеймса. Я его не стал в этом разубеждать. Но если эти подонки будут меня преследовать — я ему все расскажу. Им не поздоровится. Ты это так им и передай. Да и сам сматывай поскорее удочки из этого «колледжа»...

Так и ушел от него Михаил ни с чем. Да он и не пытался его уговаривать. И не потому только, что понимал всю бесполезность этого... А Джеймсу он сказал:

— Послал меня Володя Иванов к чертовой матери. И пригрозил отцу обо всем рассказать, если мы еще будем к нему приставать. А отец у него...

— Ну, этого он и сам, пожалуй, не очень-то знает,— мрачно усмехнулся Джеймс.— Мы получше его знаем, кто его отец. Однако напрасно он надеется так просто от нас отделаться...

Разговор этот произошел незадолго до того, как Михаилу продемонстрировали магнитофонную запись, с помощью которой хотели сделать его соучастником убийства Анны Зиминой. Все это Михаил вспоминает теперь, раздумывая — сообщать о Володе Иванове капитану Черкесову или попытаться еще раз встретиться с ним? Вмешивать его теперь в это грязное дело будет не по-товарищески, пожалуй... Ведь отец его тогда узнает, в какую банду он попал. Будет, наверно, лучше поговорить с ним и вместе поискать выход из создавшегося положения.

И он решает снова встретиться с Ивановым.

Дверь ему открывает Вика, сестра Владимира, ученица

восьмого класса. Она помнит Михаила еще по первому его посещению их дома и охотно отвечает на его вопросы.

— Володи нет дома,— бойко говорит она.— Он на даче. Только что звонил мне оттуда. Вы хотели бы с ним поговорить? Ну так я сейчас соединю вас с ним.

Вике не более пятнадцати, но она говорит и держится, как взрослая. Небрежным движением указательного пальца она очень ловко набирает нужный номер.

— Это ты, Володя? — кричит она в трубку.— Приятель твой тут. Кто? Сейчас узнаю...

— Скажите, что Ясенев,— подсказывает ей Михаил.— Миша Ясенев. А лучше — дайте-ка трубку. Здравствуй, Володя! Ты мне чертовски нужен. Да нет, нет, не от него. Твоему совету последовал и послал их сам знаешь куда... А теперь мне очень нужно поговорить с тобой. Что?.. Приехать к тебе?.. Вика расскажет?

— Да-да, я все вам расскажу,— понимающе кивает Вика.— Он просит приехать к нему, да? Поезжайте, это недалеко.

«А как же Валя? — торопливо думает Михаил.— Нужно бы как-то сообщить ей об этом... Или, может быть, уже оттуда по Володиному телефону?..»

— Ну так как?—кричит из трубки Владимир.—Приедешь? Вот и ладно! Я тебя встречу на станции. Ты давай тогда прямо на метро, успеешь на часовой, он идет до Ландышевки без остановок.

— Решились, значит? — спрашивает Вика.— Я вас провожу до метро. Мне к подруге надо. Дорогой расскажу, как до дачи нашей добраться. Ах, Володя вас встретит? Ну, все равно вам это не мешает знать на всякий случай.

Звонкий голосок ее не умолкает и на улице:

— А вы в Ландышевке не бывали, значит? Вам она очень понравится. Я оттуда никогда бы не уезжала, если бы не уроки музыки у Инессы Петровны, которую мама считает почему-то потрясающей пианисткой. Хоть бы папа скорее приехал! Он бы так разнес маму за эту Инессу... Но ведь он занят очень. Иногда по целым неделям его не видим. Сейчас у него тоже какие-то серьезные испытания. А Володя на даче один, если не считать тети Поли, и ему там скучно. Теперь с вами будет веселее, конечно. А мы с мамой только в субботу к нему приедем. Привет ему от нас передайте.

Прислушиваясь к щебетанию Вики, Михаил замечает, что за ними, не отставая и не обгоняя, упорно идет какой-то парень. Похоже даже, что он прислушивается к их разговору. Михаилу кажется это подозрительным, и он собирается попросить Вику не говорить так громко, но вместо этого спрашивает вдруг:

— А не кавалер ли это ваш идет за нами? Обернитесь-ка незаметно и посмотрите на него!

— Скажете тоже — кавалер! — смеется Вика, но оглядывается не без любопытства и с заметным разочарованием замечает: — Впервые вижу этого типа. А он что — все время за нами?

— Это мне, наверно, показалось,— деланно равнодушным тоном отвечает Михаил.

— А я уже пришла. Моя подруга в этом вот доме живет. Ну, а вы садитесь на метро. Оно за этим вот углом. До свиданья!

А Михаил все еще размышляет, случайно ли шел за ними этот парень или следил и прислушивался к их разговору? Он и сейчас идет за ним, только чуть подальше. Михаил теряет его из виду только в вестибюле метро, переполненном пассажирами.

Не видит Михаил его и в электричке, хотя ощущение, что он где-то поблизости, все еще не покидает его.

В ЛАНДЫШЕВКЕ

— Молодец, что приехал! — радостно приветствует Владимир Ясенева.— А еще больше молодец, что ушел от этих подонков. Ты когда же на это решился?

— Да уже недели две, пожалуй,— отвечает ему Михаил, а сам все посматривает на сошедших с поезда пассажиров. Один из них напоминает ему того парня, который шел за ним, но он вскоре теряется в толпе

«Говорить о своих подозрениях Володе или не говорить? — торопливо думает Михаил.— Не стоит его тревожить, пожалуй. Мне могло это только показаться... Да и что удивительного, если тот парень тоже сюда приехал? Может быть, он живет тут...»

— А ты не знаешь, случайно, не напала милиция на их след? — доходит до сознания Михаила вопрос Владимира.— Ведь если их возьмут, на следствии они всё могут рассказать. Всплывут тогда, наверно, и наши имена...

— Ну, я-то этого не боюсь.

— Храбрый какой!

— Нет, я не храбрый. Тарзана, например, все еще до смерти боюсь.

— А милиции ты не боишься?

— Милиции не боюсь. Я ей во всем признался, как только с Джеймсом и Тарзаном решил порвать. Но как я ни боюсь Тарзана — все готов сделать, чтобы помочь его поймать...

— И откуда такая решимость! — усмехается Владимир.— Милиция и без тебя до них доберется. Выбрось ты это из головы — какой из тебя Пинкертон! Поживи лучше со мной на даче. Мы неплохо проведем время. Смотри, какая вокруг благодать! А в Ландышевке еще лучше. До нее недалеко— она вон за той рощей.

Они идут теперь берегом извилистой речушки, поросшим кустарником. А по обе стороны от нее колышутся хлеба. Все это в самом деле красиво, но Михаилу сейчас не до красоты. Его очень тревожит легкомысленное настроение Владимира. Ему нужно поговорить с ним серьезно, а он красотами природы предлагает любоваться. С чего же начать, однако?..

И вдруг Владимир сам задает ему вопрос:

— Ты ведь по какому-то делу ко мне приехал? Что ж молчишь? Выкладывай.

— Мне нужно тебя сначала спросить о твоем отце,— довольно робко произносит Михаил.— Можешь ты сказать мне, кто он такой?

— Он известный ученый...

— Я так и думал! Нужно, значит, немедленно об этом рассказать капитану Черкесову.

— Да ты что? — испуганно хватает его за руку Владимир.— Знаешь, что мне за это от отца будет?

— А ты не о себе, ты лучше об отце подумай.

— Ему подонки эти ничего не сделают...

— А убить из-за угла разве не смогут?

— Ну, это ты детективов начитался...

— Да как же ты не понимаешь, что от них все можно ожидать? Они ведь не простые уголовники, а на кого-то из-за границы, наверно, работают... А то чего бы им отцом твоим интересоваться? Тарзан, конечно, типичный бандюга, а Джеймс, видно, не случайно носит кличку главного героя Яна Флемминга. Они не пытались разве в какое-нибудь уголовное дело тебя запутать, чтобы держать потом в своих руках?

— Пытались...

— Меня тоже хотели, да я вовремя сообразил, чем это пахнет. Они меня после твоего бегства особенно усердно обхаживали... Да и теперь не оставят, наверно, в покое ни меня, ни тебя. И самым правильным будет — рассказать о них все...

— Нет, подожди,— хватает Михаила за руку Владимир.— Лучше я отцу сначала все расскажу. Он сегодня на дачу должен приехать. И ты со мной останься... Подтвердишь ему, что я правду буду говорить....

— Ладно уж, останусь,— не очень охотно соглашается Михаил.— Только мне сестру нужно предупредить.

— Позвонишь ей с дачи.

Они идут теперь молча. Владимир приуныл. Его явно страшит предстоящий разговор с отцом.

У калитки дачи их встречает старушка, которую Владимир называет тетей Полей.

— А я уж беспокоиться стала,— укоризненно качает она головой.— Обед давно готов, а вас все нет и нет. Идите-ка скорее руки мыть — и сразу к столу.

Обед проходит почти безмолвно. Тетя Поля удивляется:

— Что это вы молчаливые такие? Уж не поссорились ли?

— Ну что вы, тетя Поля, какая там ссора! Просто Миша грустную весть мне привез. Школьный товарищ наш в речке утонул. А это, сами понимаете, не поднимает настроение...

Но и после обеда разговор у них не очень клеится, особенно в присутствии тети Поли.

Валентине Михаил звонит в шестом часу, полагая, что она уже пришла с работы. Но на первый звонок ему никто не отвечает. А когда спустя полчаса он собирается звонить ей вторично, Владимир просит его:

— Ты только не говори ей, пожалуйста, адреса нашей дачи и номера телефона. Она может забеспокоиться и позвонить в милицию, а мне не хотелось бы...

— Ладно уж, не буду тебя рассекречивать,— обещает Михаил. Ему тоже не хочется лишнего шума, а Валентина может, конечно, поднять переполох.

Она сразу же отзывается на второй его звонок:

— Откуда ты, Миша? Я, правда, только что пришла, но Леночка мне сказала, что ты ушел давно. Она видела тебя, когда ты выходил из дому. Что-то плохо слышно... Ты откуда говоришь? С дачи?.. С какой дачи?.. А как фамилия твоего приятеля? Иванов? Что-то я не слышала раньше о таком приятеле... Не сочиняй мне, Михаил. Говори прямо — где ты? Может быть, опять...

— Нет, нет,— почти кричит ей в ответ Михаил.—Как ты можешь подумать такое? Я действительно у моего школьного приятеля Володи Иванова, а ты за меня не беспокойся. Я у него переночую, а завтра приеду... Ну что ты волнуешься, честное слово! Что я — маленький, что ли? Да не могу я тебе ничего больше сказать! Вот вернусь завтра и все расскажу.

И он кладет трубку, очень недовольный своим разговором с сестрой. Лучше было бы совсем не звонить. А тут еще Владимир смотрит с таким осуждающим видом.

— Ну зачем ты ей мою фамилию назвал? Она теперь определенно в милицию заявит...

— Пусть заявляет, мало разве Ивановых?

— Ты же сказал ей, что в одной школе учились.

— А там скажут, что ты давно в другом городе живешь...

Вообще-то не нужно было ей звонить, но теперь уж ничего не поделаешь...

Постепенно они успокаиваются, а за ужином начинают даже посмеиваться над своими страхами.

— Вам где постелить? — спрашивает их тетя Поля.

— На веранде,— отвечает Владимир.— Только мы еще не скоро ляжем — папа ведь сегодня должен приехать.

— А это точно, что сегодня? — спрашивает Михаил.— Вика говорила...

— А Вика этого и не знает. Он недалеко от Ландышевки на испытаниях каких-то и сегодня в Москву должен вернуться, а по дороге обещал ко мне заехать.

— Может, мы погуляем немного вокруг дачи? — предлагает Михаил.

— Поздновато уже... — не очень охотно отзывается Владимир.

— А у вас тут что — пошаливают?

— Да какое там пошаливают,— смеется тетя Поля.— Дай бог, чтобы всюду было так спокойно. Володя очень любил раньше погулять перед сном, а теперь его силком за ворота не вытащишь.

— Ну что вы, тетя Поля, сочиняете... — пытается оправдываться Владимир, но от Михаила не ускользает нотка смущения в его голосе.

Потом, когда они остаются вдвоем, он признается:

— Я и в самом деле стал побаиваться выходить за ворота как только стемнеет. И знаешь почему?..— Он делает паузу и, оглядевшись по сторонам, произносит уже шепотом: — Раньше я считал себя почти храбрым, но с тех пор, как сбежал от Джеймса... И ничего не могу с собой поделать...

— Я тоже не из храбрых,— вздыхает Михаил.— Но всякий раз, когда мне удается пересилить страх, начинаю чувствовать себя человеком.

— И ты решился бы выйти ночью за ворота дачи, зная, что там может быть Тарзан?

— Просто так, из удальства, не пошел бы — ведь это почти что на смерть... Ну, а если бы необходимо было, решился бы, пожалуй...

— А я не знаю... Я в себе не уверен...

ВАЛЕНТИНА ИЩЕТ БРАТА

Валентина просто не знает, что делать, где искать Михаила. А нужно срочно что-то предпринимать! Может быть, позвонить Черкесову?..

Она порывисто снимает трубку и торопливо набирает номер телефона райотдела милиции.

— Капитана Черкесова, пожалуйста,— просит она дежурного по отделу.— Нет его?.. А не могли бы вы разыскать его и сообщить, что звонила Валентина Ясенева по очень срочному делу?

— Хорошо, я постараюсь,— обещает дежурный.

«А может быть, в уголовный розыск позвонить? — торопливо думает Валентина.— Конечно, лучше бы с Олегом Владимировичем поговорить, но сможет ли дежурный разыскать его так скоро?..»

На всякий случай она решает все-таки подождать немного, но проходит целый час, а ей все еще никто не звонит.

«Нужно, значит, ехать на Петровку,— решает Валентина.— Попрошу доложить обо мне тому полковнику, с которым разговаривала в прошлый раз...»

Не успевает она, однако, собраться, как раздается звонок.

— Да, да, это я, Валентина! — радостно кричит она в трубку, узнав голос капитана Черкесова.— Мне очень нужно поговорить с вами, Олег Владимирович. Миша пропал...

— Не уходите никуда из дома,— прерывает ее Черкесов.— Я еду к вам.

А Валентину уже начинает мучить совесть: «Зачем я сказала, что он пропал? Неправда ведь это... И вообще, может быть, напрасна моя тревога, а у него есть дела поважнее...»

...Уже сидя в машине, капитан Черкесов тоже досадует на себя: «Зачем, собственно, я еду? Можно было бы и по телефону обо всем расспросить...»

Ему даже самому себе не хочется признаться, что он рад случаю повидаться с Валентиной. Чем бы ни был занят он все эти дни — она не выходила у него из головы.

— Что случилось с Михаилом? — с нескрываемым беспокойством спрашивает он Валентину, как только она открывает ему дверь.

— Простите меня, ради бога, Олег Владимирович, может быть, я зря подняла такую тревогу...

И она рассказывает ему о телефонном звонке Михаила.

Сначала Черкесову кажется, что она и в самом деле напрасно так встревожилась. Но потом он начинает припоминать, что Михаил сообщал ему о каком-то Володе Иванове, сбежавшем из «колледжа» Джеймса раньше его. Они учились с ним в одной школе, но потом Иванов ушел из нее, так как отца его перевели на работу в другой город. Как же они встретились теперь, да еще на даче? Черкесову и тогда была не совсем ясна история с этим Володей Ивановым, так как чувствовалось, что Михаил чего-то не договаривал. А теперь сообщение Валентины

начинает все больше тревожить его, хотя он и старается успокоить ее:

— Я думаю, Валентина Николаевна, что для серьезного беспокойства нет пока причин. Я кое-что постараюсь предпринять. Разрешите мне позвонить от вас?

И Черкесов звонит по нескольким номерам, пока, наконец, не дозванивается до майора Глебова.

— Это я, Федор Васильевич. Вам, кажется, приходилось встречаться с Савостиным? Да, с директором школы, в которой учится Ясенев. Попробуйте-ка разыскать его сейчас и узнать поподробнее о бывшем ученике его Владимире Иванове и его родителях. Как только узнаете что-нибудь, позвоните мне по телефону Ясеневых. А теперь наберемся терпения и подождем, что удастся узнать об этом Иванове майору Глебову,— обращается Черкесов к Валентине, внимательно всматриваясь в ее лицо. Заметив, что она смущена его пристальным взглядом, поспешно объясняет: — Похудели и побледнели вы за эти дни...

— Да, возможно...

— Все тревожитесь о брате?

— И не успокоюсь, пока вы этого Тарзана не поймаете.

— Поймаем, можете не сомневаться. Следствие по его делу теперь почти завершено, и грехов у него столько, что хватило бы высшей меры на нескольких человек...

Он сказал это и испугался, заметив, как побледнела вдруг Валентина.

— Да вы не пугайтесь только! Ему никуда теперь от нас не уйти.

Черкесову очень хочется сообщить ей, что с помощью «составного портрета» Тарзан уже опознан в одной из исправительно-трудовых колоний, в которой он отбывал наказание за участие в убийстве. Известна уже и его фамилия, и место работы. Он оказался Дерябиным, работает на автобазе и находится в загородном рейсе. Наверно, сейчас к Подольску подъезжает, и его должны там взять работники местной милиции. Всего этого, к сожалению, нельзя пока сказать Валентине. Но ему приятно и вот так, не говоря ни слова, сидеть у нее и молча смотреть на ее милое, озабоченное лицо.

Раздумья его прерывает звонок Глебова.

— Олег Владимирович,— торопливо сообщает майор,— нас с вами срочно вызывают на Петровку к полковнику Денисову. Заехать за вами?

— Не нужно, я доберусь и так.

— Очень хотелось о многом с вами поговорить,— вздыхает он, опуская трубку и поворачиваясь к Валентине,— но...

— Долг службы,— грустно улыбаясь, заканчивает за него

Валентина.— Надеюсь, однако, что это не последняя наша встреча?

Конечно, по-всякому можно истолковать ее слова, но для Черкесова в них заключается надежда... Надежда на что-то большее, чем одна встреча. И хотя он уходит от нее не домой, а к начальству, и неизвестно пока, для какого разговора, уходит он очень счастливым.

НА КВАРТИРЕ ИВАНОВЫХ

В Московском уголовном розыске все уже в сборе. И как только входит Черкесов, полковник Денисов отрывается от чтения каких-то документов и, невесело усмехаясь, произносит:

— Я мог бы начать наш разговор словами гоголевского городничего, но сейчас не до шуток, ибо мне предстоит сообщить вам действительно не очень приятное известие. Из Подольска нам сообщили, что машина Тарзана-Дерябина в пункт назначения не прибыла. А четверть часа назад ее обнаружили пустую неподалеку от кольцевой дороги, в районе Кузьминок. Тарзан бежал. Кто мог его предупредить?

— Скорее всего, кто-нибудь из тех, кто принимал участие в составлении его портрета,— замечает Глебов.

— Но не Ясенев же и не Лиханов? — невольно вырывается у Черкесова.

— Я тоже думаю, что не они,— соглашается полковник.— Но ведь вы показывали варианты его портрета и тем, кто участвовал в убийстве Зиминой. Разве не могли они как-нибудь сообщить об этом людям, связанным с Джеймсом? Мне хотелось бы послушать ваши соображения.

Некоторое время все молчат. Потом просит слово Черкесов.

— Наверное, вы правы, товарищ полковник,— говорит он.— И Джеймс теперь ни минуты не сомневается, что главным участником составления портрета Тарзана был Ясенев. Допускает, наверно, что с его помощью, может быть, создан и его портрет. И у меня нет сомнений, что они попытаются расправиться с Ясеневым, тем более что обстановка для этого весьма благоприятная. Михаил ведь сейчас не дома, а на даче у своего приятеля Володи Иванова, который, кстати, тоже сбежал в свое время от Джеймса.

— А где эта дача? — спрашивает полковник.

— Вам удалось что-нибудь узнать об Иванове, Федор Васильевич? — обращается Черкесов к Глебову.

— Да, кое-что. Оказывается, Ивановы не уезжали из Москвы. Переехали только в другой район. Кстати, Петр Петрович Иванов — доктор физико-математических наук.

— И у вас есть его новый адрес?

— Да, Олег Владимирович.

— Тогда нужно немедленно разыскать этих ребят,— решает полковник.— Займитесь этим, товарищ Черкесов.

— А вам не кажется, товарищ полковник,— замечает Глебов,— что Джеймса может интересовать не столько Миша Ясенев и Володя Иванов, сколько доктор физико-математических наук Петр Петрович Иванов?

— Кажется,— соглашается с ним полковник.— Не случайно же этим Джеймсом занялся теперь Комитет госбезопасности. Но Тарзан-Дерябин — типичный уголовник и поймать его— дело нашей чести.

Жене Петра Петровича Иванова капитан Черкесов представляется как дядя школьного приятеля их сына.

— Не спросив разрешения, племянник мой уехал, оказывается, на дачу к вашему Володе,— говорит он.

— Но я просто никакого понятия об этом не имею,— делает удивленные глаза Иванова.— Меня целый день дома не было. Вот, может быть, Вика в курсе этого вопроса... — поворачивается она к дочери.

— Да, мама, я в курсе,— солидно отзывается Вика.— Ваш Миша был тут. Ты его тоже знаешь, мама, он заходил к нам как-то. Мы еще думали, что он из той компании... Но он вообще у вас со странностями,— обращается она к Черкесову.— Рассказала я ему, как на нашу дачу ехать, до метро даже проводила (мне как раз к подруге нужно было). Идем с ним, разговариваем, а он все озирается по сторонам. Показалось ему, что наш разговор кто-то подслушивает...

— А может быть, и в самом деле подслушивали? — улыбаясь, спрашивает Черкесов.

— Вообще-то действительно шел за нами какой-то парень...

— Может быть, вы о чем-нибудь интересном говорили? — снова любопытствует Черкесов.

— А о чем таком могли мы с ним говорить, если я всего второй раз в жизни Мишу вашего видела? Попросила его только передать привет Володе да сказать, чтобы он не скучал там без нас с мамой. А вы что, очень рассердились на Мишу, что он без спросу в Ландышевку уехал? Если хотите, мы телефон нашей дачи можем вам дать.

— Что уж теперь с ним поделаешь! — вздыхает Черкесов.— А телефон на всякий случай дайте. Позвоню ему завтра, если не приедет.

И Вика, не задумываясь, выпаливает номер дачного телефона. Поблагодарив Ивановых за любезность, Черкесов уходит.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Уставшие, переволновавшиеся за день, Владимир и Михаил ложатся спать в двенадцатом часу, так и не дождавшись Петра Петровича. Тетя Поля стелет им на веранде — одному на диване, другому на раскладушке. Они долго молча лежат рядом и никак не могут заснуть.

— Ты не спишь, Володя? — шепчет Михаил.

— Да нет, не спится что-то...

— А сам ты так и не решился, значит, отцу обо всем рассказать?

— Обо всем не решился... Да и как решиться? Он ведь думал, что я с обыкновенными уличными босяками связался. Потому и переехали мы на другую квартиру, чтобы подальше от них,— представилась тогда папе такая возможность. Ему давно уже предлагали более удобное для его работы жилье, а он все тянул. Занят был очень... Ну, а когда такое случилось со мной, решил срочно переехать. А что толку? Все равно эти бандиты меня выследили...

— Вот тогда, после первого моего прихода к тебе, и рассказать бы все отцу.

— Побоялся я... Очень бы это его расстроило. Да и не думал я, что все так серьезно...

Они лежат некоторое время молча. Потом Михаил снова шепчет:

— А мне в голову разные страшные мысли лезут... Их, по-моему, отец твой очень интересует. Рассчитывали, наверно, с твоей помощью какие-нибудь чертежи его выкрасть...

— А он и не держит их дома. Они у него в институте.

— Ну, тогда у них другое что-нибудь на уме...

— Да что же другое?

— Они на все могут решиться...

— На что «на все»?

— Ну, на убийство даже... Тарзану это ничего не стоит...

— Ты думаешь, что он и папу сможет?..

— Думаю, что сможет. И, пожалуй, когда он сюда... к даче будет подъезжать.

— А они знают разве, где наша дача?

— Следил сегодня за мною один тип... А когда я с сестрицей твоей по улице шел, она так громко разговаривала, что ему не трудно было сообразить, куда я направляюсь. Выследил он меня, конечно...

— Что же делать-то теперь?.. — растерянно спрашивает Володя.

— Нужно немедленно предупредить твоего отца. Ты же говорил, что он может заехать сюда сегодня.

— Да, он обещал. Но как же нам предупредить его?..

— Нужно встретить где-нибудь. Он по какой дороге в Ландышевку ездит? По той, что мы шли, или есть еще и другая?

— Есть и другая, но, скорее всего, по этой.

— Вот и давай туда... К мостику, через который мы переходили. Машина там обязательно должна сбавить ход.

— А если он по другой?..

— Давай тогда разделимся.

— Нет, уж лучше вместе. Я боюсь один... А как же мы выйдем отсюда? Он уже ходит, наверно, вокруг дачи... подкарауливает...

— Ну знаешь!.. — начинает злиться Михаил.— Просто противно слушать! У меня у самого душа в пятках... но ведь нам твоего отца нужно спасать. Простишь ты себе когда-нибудь, если его убьют?.. Я бы себе никогда этого не простил.

— Ну что ты городишь такое?! Я обязательно пойду. Только давай не через ворота. Он, наверно, притаился там... А в заборе с другой стороны дачи две доски отходят. Давай через эту дыру...

— Ладно! Нужно только, чтобы тетя Поля нам не помешала. Она, видно, не спит еще. Свет в ее комнате горит.

— Забыла, наверно, потушить. Слышишь, похрапывает?

Выбравшись из дома, они осторожно идут через сад к забору. Потому ли, что темно, или, может быть, от страха, Владимир долго не может найти оторванных досок. А когда они уже собираются перелезть через забор, их обнаруживает Михаил.

Хорошо знакомой Владимиру тропинкой они выходят к речке и по ее берегу благополучно добираются до мостика. Путь этот значительно короче того, который ведет через дачный поселок.

— Давай спрячемся в кусты,— с трудом переводя дыхание от быстрой ходьбы, предлагает Владимир.

Михаил не успевает ответить. Он замечает свет фар от машины, идущей к мостику.

— Надо ее остановить,— слегка дрогнувшим голосом говорит он Владимиру.

— А может, это не папина...

— У него какая? «Волга»?.. Похоже, что и это «Волга».

А машина уже совсем близко. Как Михаил и предполагал, у моста она заметно сбавляет ход. Надо бы, наверно, Владимиру выйти на середину моста и поднять руки — если в машине его отец, он сразу бы узнал его,— но Михаил не хочет лишний раз испытывать храбрость своего приятеля и выходит на мост сам.

Не очень-то приятно находиться в потоке лучей света неизвестной машины, но Михаил твердо стоит на ее пути. Гулко

бьющееся сердце на какое-то мгновение заглушает все иные звуки. Он не слышал бы, пожалуй, даже сигнала машины. Но шофер не сигналит, а останавливается, и из нее поспешно выходит какой-то человек, кажущийся Михаилу очень знакомым.

— Миша! — слышит он взволнованный голос и сразу же узнает капитана Черкесова.— Что ты тут делаешь, Миша?

Теперь они стоят рядом и к ним спешит лейтенант Егошин.

— Я все вам сейчас расскажу, Олег Владимирович,— шепотом произносит наконец Михаил,— только потушите, пожалуйста, фары вашей машины.

И он торопливо и не очень связно рассказывает капитану Черкесову все, что они пережили с Володей Ивановым и о чем передумали за этот вечер...

В ЗАСАДЕ

Тарзан зол не только на весь мир, но и на самого себя. Напала, значит, на его след милиция... И, наверно, не по какому-то там «составному портрету», как уверяет Джеймс, а просто предала какая-то сволочь. Молокососов этих, Мишку с Володькой, давно нужно было прикончить. Нашел Джеймс с кем связываться!

А Васька Оголец — толковый парень. Выследил их не хуже того заморского шпика, под которого работает Джеймс... А как же настоящее-то его имя? Небось Жоржик какой-нибудь?..

Чем больше думает Тарзан о Джеймсе, тем злее становится.

Все у него тайны да секреты, но для него, Тарзана, не секрет ведь, на каких «боссов» он работает. А чьими руками он жар загребает? Его, Тарзана, руками. Ну, так ты и расскажи тогда, каковы у тебя или у твоих «боссов» цели. Так нет же, не доверяет, видишь ли... А тому, будто главная его задача — развращать мальчишек, забивать им головы этим дурацким суперменством, Тарзан просто не верит.

Джеймс вообще любит пускать пыль в глаза, делать вид, что осуществляет какие-то идеи. А какие у него могут быть идеи? Вот он, Тарзан, например, почему работает на Джеймса? Да потому, что ему хорошо за это платят. А сам-то Джеймс ничего не получает разве от своих «боссов»? Побольше, конечно, чем Тарзан. Вот тебе и вся идея! А попадись этот «идейный» в руки милиции или госбезопасности — не задумываясь продаст любого, спасая свою шкуру. Да и сам он, Тарзан, в подобной ситуации не будет дураком...

Ну, а пацанов этих нужно обязательно прикончить — они слишком много знают. В этом Тарзана не надо убеждать. По-

тому он сейчас у забора дачи Ивановых. Ждет подходящего момента. Как только мальчишки лягут спать, он мигом проберется к ним и сделает свое дело. Но, пока у них горит свет, предпринимать что-нибудь опасно — поднимут крик, да и телефон там...

А свет все не гаснет в одном из окон. Они это не спят или тетка? Оголец уверял, будто, кроме их и тетки, никого там больше не должно быть. А вдруг сам профессор вернулся? Тогда с ним должна быть охрана, он ведь засекреченный какой-то...

Это тревожит Тарзана.

«А не послать ли всех к черту? — мелькает вдруг неожиданная мысль.— С этим Джеймсом можно влипнуть посерьезнее, чем на любом уголовном деле. Не махнуть ли, пока не поздно, куда-нибудь подальше от столицы? У меня и на Кавказе, и в Молдавии кореши есть, они приютят...»

Он уже направляется в сторону станции, но тут же возвращается назад, решив все-таки перелезть через забор и заглянуть в освещенное окно. А когда уже взбирается на забор, слышит шум автомобильного мотора и быстро сползает назад. Лишь убедившись, что машина ушла в другую сторону, лезет снова. Но и на этот раз его постигает неудача — под его грузным телом ломается вдруг подгнившая доска и он чуть не срывается с забора.

«Ну, теперь все!.. — замирает сердце у Тарзана.— Сейчас выскочит кто-нибудь из охраны профессора и начнется переполох...»

Но все тихо вокруг, даже свет нигде не зажегся, кроме того окошка, с которого он вот уж второй час не сводит глаз. Неужели так крепко спят, что не услышали ничего?

Тарзан прислушивается, озирается по сторонам и даже у самой дачи долго не решается заглянуть в освещенное окно, дивясь своей непонятной робости.

А за окном очень мирная картина: небольшая, аккуратно прибранная комнатка с диваном, а на диване спящая старушка.

«Володькина тетка, наверно,— с невольным вздохом облегчения решает Тарзан.— А пацаны, скорее всего, на веранде...»

И он, низко пригнувшись, неслышно скользит к дверям, перебирая в руках связку ключей и отмычек.

Что тут за замок у них? Ага, врезной. Какой только — пружинный или сувальдный? Ну, слава богу, пружинный! Этот попроще...

Он осторожно всовывает отмычку в замочную скважину, но не успевает сделать ни одного поворота ею, как дверь бесшумно распахивается, а кисти его рук оказываются зажаты-

ми чьими-то сильными пальцами. Он пытается отпрянуть назад, но теперь его хватает кто-то сзади.

— Ну все, Дерябин! — слышит он почти добродушный голос, и напружинившееся было тело его сразу обмякает.

«Да, теперь уж все...» — проносится в его мозгу.

Спустя несколько минут, когда связанного Тарзана сажают в машину, капитан Черкесов спрашивает Михаила:

— Ну как, Миша,— тут переночуешь или отвезти тебя к сестре?

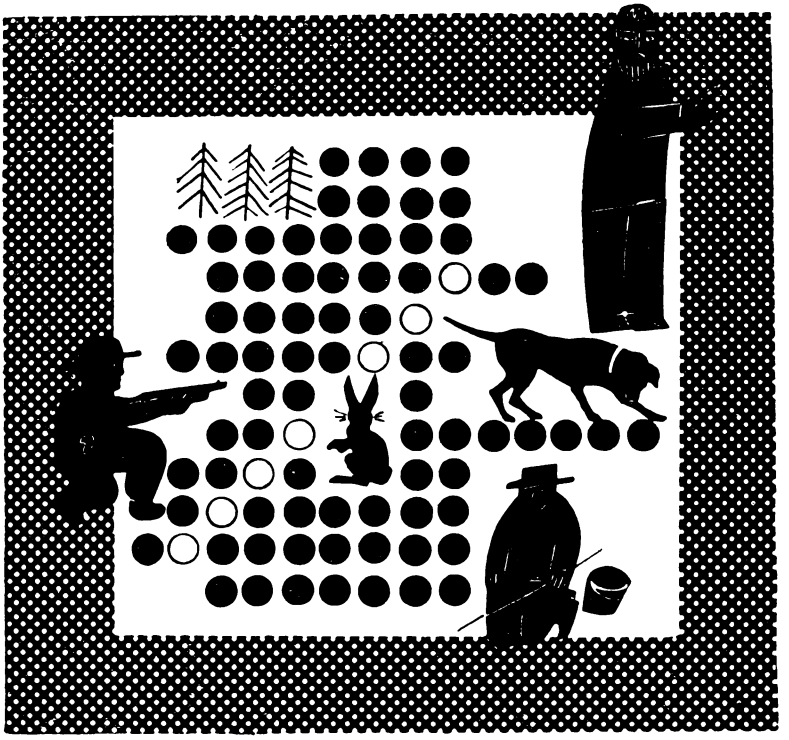
И, хотя Михаилу очень хочется домой, к Валентине, он пересиливает это желание.

— Нет, я тут переночую, вместе с Володей, а уж завтра...

— Ну и ладно! — протягивает ему руку Черкесов.— Завтра я пришлю за тобой машину.

А ведь и ему тоже очень хочется отвезти Михаила к Валентине сейчас, но он понимает, как важно этому парню пересилить себя, преодолеть страхи этой ночи, почувствовать, что он обрел наконец мужество. И не стоит, пожалуй, ставить его в известность, что будут они тут с Володей не одни, что о них позаботятся работники местного отделения милиции.

Дорогой он долго думает об этих ребятах, не пожелавших стать суперменами «I» и именно потому ставших полноценными людьми. Ибо что такое супермен? Существо, по сути дела, лишенное главных человеческих достоинств — морали и чувства долга. Но какие же они сверхчеловеки — лишенные этих достоинств человека? Скорее, недочеловеки, подобные такой скотине, как Тарзан, у которого теперь лишь одно на уме — любой ценой спасти свою шкуру...



С. Другаль

ПРАВО ВЫБОРА

Олле прижался лицом к холодному стеклу, бросил не обернувшись:

— Почти любую зрительную комбинацию, созданную природой, за редким исключением, мы воспринимаем как прекрасное. Море, нагромождение скал или белый гусь на зеленой траве... Твои посылки, Нури, не выдержат проверки опытом.

Спор ему изрядно надоел. За окном было куда интереснее. Площадь хоть и пустая, но над клумбой висит и вспыхивает синими огнями туманный шар — капельки, взвешенные в электростатическом поле,— первое земное творение Нури. Он го-

ворил тогда, что шаровые фонтаны вызывают приятные ассоциации. А что он говорит сейчас?

— ...Дай мне хорошего художника, и мы сумеем столь гармонично вписать машину в природу, что даже ты не поймешь, где начинается природа и где кончается автомат.

Ну конечно, Нури мало, что после него в марсианских пустынях остались разноцветные и чересчур самостоятельные киберы, которых он десятками выпускал на волю. Ему, видите ли, не нравилась марсианская фауна, он дополнял ее. И шумно ликовал, когда новички-стажеры принимали эти прыгающие, похожие на сказочных чертиков, покрытые чешуей фотоэлементов автоматы за живых обитателей Марса. Сейчас он, наверное, ищет повод учинить нечто подобное на Земле.

Олле, как и Нури, вырос на Марсе в небольшом поселке одной из десятка постоянно действующих научных станций. Землю он знал по книгам, фильмам да рассказам родителей. Тем более досадно третий месяц торчать в этом городке, отбывая карантин. Хорошо хоть дед набрался мужества, прервал исследования и приехал с ними, а то можно бы помереть от безделья. Нури легче: кибернетику везде дело найдется, хотя бы подвешивать фонтаны. Кстати, сколько дед не был на Земле?.. Десять... нет, двенадцать лет.

— Вряд ли.— Олле проследил, как маленький вездеход пересек площадь, пробежал по проспекту и скрылся в оранжевых песках, окружающих город: почти марсианский вид.— Твой кибер только дополнит пейзаж, но он останется сам по себе. Без той внутренней, или на твоем языке, обратной связи с природой, которая отличает дельфина от торпеды и стрекозу от вертолета. Изыми его, и ничто не переменится.

— Какая разница.— Темпераментный Нури забегал по комнате.— Я говорю не о том, уживется ли природа с машиной. Я говорю, что твои ощущения не изменятся, будет ли в лесу кибер-волк или волк настоящий. Тебе будет одинаково страшно.

Сатон, полулежа в кресле, молча следил за ходом спора. Сейчас он неожиданно рассмеялся. Нури замер на повороте:

— Не понял...

— Прости, Нури. Я представил, как малютка Олле пугается волка в лесу, и мне стало весело.— Сатон оглядел двухметровую фигуру Олле, бугры мышц на плечах.

Нури улыбнулся:

— Пожалуй, волк испугается Олле.

— Да и спор ваш не из тех, которые рождают истину. Послушайте лучше новости. Там есть для вас неожиданность.— Сатон щелкнул тумблером информатора. Чуть приглушенный голос произнес: «Совет Земли за исследование дискретных

психических реакций присудил руководителю третьей марсианской научной станции доктору Сатону высшую премию: право выбора желания»...

— Ну? — Сатон выключил звукозапись, глаза его лукаво блеснули.

Олле кинулся к нему, обнял:

— Я рад за тебя, дед. Очень рад!

— Поздравляю вас, профессор.— Нури почтительно склонился.— У вас есть неисполненное желание?

— О Нури,— с укоризной произнес Сатон.— Сколько угодно. Я, например, желаю быстрее привыкнуть к земной тяжести. В мои годы переносить удвоенный вес не так легко, а утяжелителями, как ты знаешь, я на Марсе не пользовался. К сожалению, это вне компетенции Совета — ускорить акклиматизацию. И еще. Мне хотелось бы помочь Олле в его исследовании. Я думаю об этом третий день. И, знаете, вы мне подсказали одну идею. Очень интересный психологический опыт. Но сперва нужно,— Сатон поднялся, взгляд его на мгновение стал тяжелым, и он отрывисто проговорил,— о вашем споре забыть. Забыть.

Несколько секунд длилось молчание, потом Олле с удивлением спросил:

— Какой спор, дед? Мы обсуждаем твою премию.

— Премию? — Сатон удобно уселся в кресле.—Надеюсь, вы мне доставите удовольствие разделить премию на троих?

* * *

Пневмокар повис возле домика, встроенного в глухой высокий забор. Зоолог, качнув машину, вышел первым и долго разглядывал старую липу на обочине шоссе. Потом вытащил из дупла заржавленный ключ, открыл замок.

— Входите. Это охотничья избушка. Такие описаны в старинных книгах. Читали?

— Мы все читали,—ответил Нури.— Мы только и делали, что читали.

Он торопливо шагнул внутрь, но не успел пригнуться и больно стукнулся лбом о притолоку.

— Э, Нури, зачем так спешить? — сказал Сатон, входя следом.— Древние ощущения требуют неспешных движений.

В помещение степенно протиснулся Олле. Он белозубо улыбался.

— Вот это и есть зона?

— Она самая,—сказал Зоолог.— В вашем распоряжении сутки.

Надо сказать, что Совет Земли не без удивления узнал о

выборе Сатона. Особенно смущали некоторые специальные пункты программы. Проще было бы организовать для лауреата традиционную экспедицию в джунгли Венеры или, как иногда бывало, дать на несколько месяцев право неограниченного рабочего дня. Но ничего не поделаешь, желание лауреата — закон. Пришлось подыскать подходящий кусочек природы и провести кое-какую подготовку...

Через закопченное стекло небольшого окна проникало ровно столько света, чтобы можно было разглядеть кирпичную печь с чугунной плитой, охапку поленьев, брошенную на щелястый пол, две широкие скамьи и деревянный неровный стол между ними.

— Очень похоже,— сказал Олле.— Я примерно так это и представлял себе.

— Здесь все настоящее.— Зоолог вытащил из чулана сверток.— Переоденьтесь: не идти же вам на охоту в лавроновых джинсах. Раскопали для вас в музеях так называемые кирзовые сапоги и эти, как их, портянки. И куртки из натурального хлопка. Согласно программе.

Он оглядел неуклюжие фигуры охотников, ухмыльнулся:

— Ну вот, все в порядке. Нет, не сюда.

Зоолог открыл вторую дверь, и они вышли в зону.

— Минутку. Захватите собак.— Он протяжно свистнул.

Из пристройки с лаем выскочили три пса.

— Запомните клички. Этот красный сеттер — Бобик, легавая — Трезор, а беспородная — Шарик. Не правда ли, какие звучные старинные имена?

Но охотники не слышали Зоолога. Перед ними расстилался зеленый луг. Близкий лес качал верхушками сосен, и странная, наполненная звоном тишина царила вокруг.

Они пошли прямиком по колени во влажной траве. Разноцветные кузнечики разлетались из-под ног, и ласковый ветер доносил смолистые запахи. Лес встретил их влажной прохладой, грибной свежестью и щебетанием какой-то птахи.

Олле двигался медленно, трогая руками белую кору берез. Он долго стоял у муравейника, обошел его, осторожно ступая на пружинящую хвою, наклоняясь, чтобы не задеть сеток блистающих каплями росы паутинок. Увидел расширенные, восторженные глаза Нури. Тот жестом подозвал его, раздвинул ветви.

— Смотри.

Олле замер, увидев букет маленьких глянцево-коричневых, с ярким желтым ободком цветов. Они шевелились. Наклонился ближе. Это были не цветы: шесть голых птенцов лежали в гнезде, подняв кверху раскрытые клювы.

Сбоку послышалось сопение, и над гнездом нависла голова

сеттера. Олле схватил собаку за ошейник, оттащил в сторону, удивляясь тяжести животного.

— Что вы там нашли, идите сюда.— Сатон стоял у кустов, покрытых розоватыми цветами.— Шиповник. Каков запах? А этот золотистый называется «шмель». Он поет басом и собирает пыльцу. Видите, на задних лапах бугры вроде бицепсов.

— Ага, шмель,— обрадовался Нури.— Сейчас мы его изучим.

— Не приставай к насекомому,— сказал Олле, прогоняя шмеля.

— Пойдемте к озеру, здесь недалеко.— Сатон достал карту.— О, ты опять что-то обнаружил?

Олле, неловко сутулясь, сидел на корточках.

— Это гриб, Олле.— Сатон оглядел находку.— Превосходно! Коричневая бархатная шляпа, толстое белое пузо. Нури, ты чувствуешь, сколько в нем силы и достоинства? Конечно, грибная масса питательнее, но гриб — это совсем другое. Их раньше собирали в лесах...

— Тоже в качестве награды?

— Это делал каждый, кому не лень. И это называлось идти по грибы...

Деревья расступились. Небольшое лесное озеро у берегов поросло кувшинками. В зеркале его отражались сосны, а с валуна, вросшего в мох, Олле и Нури сквозь прозрачную глубину разглядели илистое дно и тени рыб.

Охотники скинули рюкзаки, натянули палатку. Собаки в одинаковых позах лежали у валуна.

— Двинемся на зайцев? — сказал Нури.— Не будем время терять.

— Сейчас будет дождь.— Сатон кивнул в сторону клубящегося облачка.

И дождь хлынул. Проливной, с грозой, молниями и порывами ветра. Охотники укрылись в палатке, поглядывая на озеро в тумане брызг. Собаки даже не переменили позы. Только Бобик посмотрел на небо и вновь уронил голову на вытянутые лапы.

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Сатон выбежал из палатки. Он ухватился за ствол деревца, тряс его и смеялся, подставляя лицо под летящие с листьев капли.

— Ах, как здорово!..

Запах озона, ставший привычным запахом городских площадей, но чем-то отличный от него, реял во влажном воздухе. Случайные звуки далеко разносились в лесу и над притихшим озером.

Сатон взял ружье, кликнул собаку и скрылся в кустах...

Нури уселся на мокром камне, листал инструкцию, а Олле сосредоточенно разглядывал коричневого упругого червяка.

— Ну и что с ним делать?

— Здесь написано: «Надо повернуть головку на десять оборотов. Это обеспечит шевеление червя в течение трех минут». Вообще примитивное устройство, без какой-либо логической схемы.

— Повернул, а дальше?

— «Насадить червя за колечко, расположенное посередине, на крючок, так, чтобы жало крючка было свободно»,— прочитал Нури.

— Сделано.

— Передвинь поплавок, чтобы между ним и крючком было расстояние примерно в метр, и бросай все это в воду. Теперь сиди и жди. И гляди на поплавок. Думай о всякой всячине, о смысле жизни или о том, почему полосатая гракула имеет одну ноздрю. Лучше, как рекомендуется в инструкции, ни о чем не думай. И представь, червяк в воде шевелится, рыба, не зная, что он заводной, глотает его вместе с крючком... О! Тяни. Быстрее!

Олле взмахнул удилищем. Рыбка описала в воздухе серебряную дугу и забилась в траве. Они ошеломленно смотрели на нее. Потом Олле торопливо высвободил крючок, завел червя и закинул удочку. Налили воды в котелок, туда пустили рыбку. Долго сидели молча.

— Я себя как-то странно чувствую, Олле. Эта тишина, сосны... И воздух удивительный... Сколько это стоило: звукоизоляция, дождь? А изменение маршрутов транспорта?

— Примерно четыре-пять тысяч человеко-часов.

— Ради нас троих!

— Дед выбрал сутки в настоящем лесу и натуральные ощущения древних охотников. А забытые ощущения и одиночество дорого стоят. И, мне кажется, он что-то задумал. Зачем бы иначе он так долго готовился?

— Сатон — могучий старик.

— И он неплохо распорядился правом выбора, а?

— Я бы до этого не додумался,— пробормотал Нури.— После Марса это изобилие леса, воды и прочего весьма впечатляет. Кто это там шумит?

— Собаки воду пьют.

Пес взобрался на камень и, свесив морду, уставился выпуклыми глазами на поплавок. Нури пристально разглядывал его. Пес постоял, ловко спрыгнул с камня и протяжно зевнул, передернувшись всем телом. Уловив взгляд Нури, он помахал хвостом, отвернулся и улегся на траве.

— Что ты там заметил?

— Да так, почудилось,— ответил Нури.— А, собственно, зачем она, собака?

— Сейчас просто для забавы. Но я читал, собака—доброе и ласковое животное. Когда-то она была нужна человеку. Собака, лошадь, олень и другие звери. Потом машин становилось больше, животных меньше. Затем мясо, молоко и все остальное стали выращивать на биофабриках, и нужда в животных отпала...

День в лесу пролетел незаметно. Когда сиреневые сумерки выползли из кустов, трое сидели у маленького костра. Сатон долго возился с вентилем баллончика. Наконец огонек перестал шипеть, послышалось легкое потрескивание смолистых пластмассовых сучьев. Он удовлетворенно крякнул и, откинувшись, прислушался к комариному звону.

Собаки, выдвинувшись из темноты, смотрели, как Нури помешивал пахучее варево в закопченном котелке. Потом Трезор лениво поднялся и приволок откуда-то кость. Он лег у костра, ухватил кость зубами и застыл, изредка помаргивая на огонек.

После ужина, когда Олле вымыл посуду, сложил ее в палатке и вернулся к костру, Сатон начал рассказывать:

— Не пойму, как мы умудрились подойти к нему настолько близко. Заяц сидел совсем рядом, у пенька. Он что-то жевал, и уши его казались красными, солнце просвечивало их насквозь. Он долго сидел, расставив широкие задние лапы, шевеля раздвоенной верхней губой. Затем он подпрыгнул, постучал по пню и стал кататься в траве. Он долго отряхивался и умывался, приводя себя в порядок, приглаживал мех на боках и животе. Это было смешно и трогательно... Что ты так смотришь на меня, Нури? Тут дело не в том, что у зайца, на мой взгляд, излишне обширная программа. Меня восхитило отношение механиков-фаунистов к своему делу. По сути, заяц — автомат разового пользования, а как он тщательно сработан...

— Значит, здесь все не настоящее,— со странной интонацией протянул Олле.— А мы-то радовались земному раю...

— Ты послушай дальше. Я подумал, что, если сразу выпущу пса, охоты уже не будет. Тогда я свистнул. Заяц сделал гигантский скачок и мгновенно исчез, как бы растворился в воздухе. Трезор присел, завыл нехорошим голосом и кинулся в погоню. Он нашел меня через час. Он был без зайца и из пасти у него валил пар — видно, перегрелись аккумуляторы...

Сатон пожевал травинку, наморщил лоб:

— Может, ты скажешь, Нури, в чем здесь дело? Собака должна поймать зайца, это предопределено программой.

— Я не знаю, зачем вам это понадобилось, профессор? Я смутно догадывался: здесь что-то не то, когда собаки не

спрятались от дождя, когда они синхронно, точно повторяя движения друг друга, отряхивались от воды. Но эта догадка была совсем абсурдной, и я отбросил ее.

— Ты не ответил на мой вопрос.

— Не знаю... Коэффициент надежности у пса, как и у прочих автоматов этого класса, почти равен единице, навряд ли он испортился. Игровая ситуация по программе обычна: поиск источника энергии. Собака ловит зайца и подзаряжается от его батарей. Тривиально!

— Стандартная программа — это я и сам знаю. Ты уходишь от ответа. Заяц-то остался не пойманным!

Олле погладил пса.

— Заводной червяк, механический барбос полусерийного производства, кибер-заяц,— со скукой в голосе бормотал он.— Кому это надо?.. На твой вопрос, дед, лучше Трезора никто не ответит.

Пес мотнул головой, кость откатилась в сторону. Внутри у пса что-то щелкнуло, и он сказал голосом подростка:

— У меня все в порядке. Неисправен заяц. Он бежал нелогично, вопреки программе. Я несколько раз рассчитывал координаты точки нашей с ним встречи и каждый раз ошибался. Когда в аккумуляторах закипел электролит, программа автоматически переключилась на поиски хозяина.

Нури слушал, машинально рассматривая кость. Заметил два углубления, армированных металлом (сюда Трезор всовывал клыки), вздохнул: проще было бы сменять аккумуляторы, чем каждый раз подзаряжать их. И корпус имитирован под кость не совсем удачно. Он осторожно положил батарейку возле собаки и сказал:

— Трезор ошибается, на мнение кибера в этом случае полагаться нельзя.

— Или неисправна собака,— проговорил Сатон,— или неисправен заяц. Третьего быть не может.

Олле глядел на огонек костра. Его массивная фигура казалась бронзовой в желтом мигающем свете. Он с тоскливой надеждой произнес:

— Третье может быть.

— Ты считаешь, что...— вскричал Нури.

— Вот именно. Ведь мог же в зоне случайно уцелеть хотя бы один настоящий заяц...

Прошло полгода. Олле сидел вечером за письменным столом и диктовал самопишущей машинке последнюю главу своего «Исследования мимики и жеста древних народов Средиземноморья». Дело спорилось. До установленного законом

срока окончания работы оставался еще целый час, а за это время много можно успеть сделать. Помешал Нури. Он шумно ворвался в кабинет, забегал:

— Ты слышал?

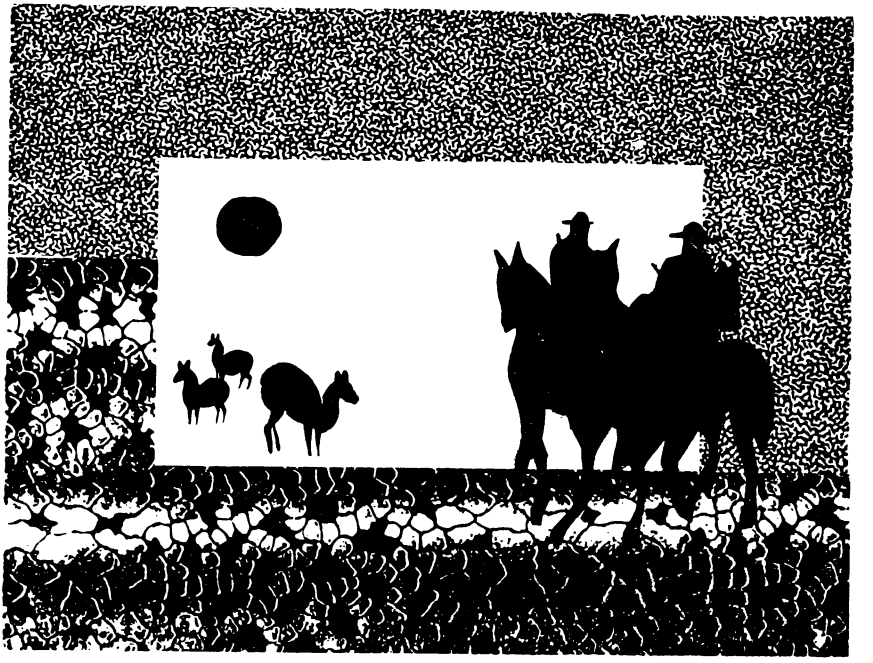
Олле, вздохнув, выключил машинку. Все, сегодня уже не работать.

— Ну что, забраковали твоего кибера?

Как раз сегодня Нури должен был сдавать приемочной комиссии действующую модель элегантного и молчаливого робота-парикмахера.

— Кибер-то принят...— Нури, торопясь, включил информатор.— Ты лучше вот что послушай.

— «Повторяем последние известия. Совет Земли рассмотрел предложение Института Реставрации Природы (ИРП), сформулированное профессором Сатоном по результатам весьма интересного исследования. Товарищ Сатон экспериментально доказал, что человеческая психика отрицательно реагирует на замену подлинных животных имитирующими кибернетическими устройствами. Основные отрицательные реакции: скука, чувство досады, горестное недоумение. Совет одобрил предложение ИРП об увеличении ассигнований на заселение лесных массивов и водных площадей диким зверьем и птицей».



Глеб Голубев

ДОЛИНА, ПРОКЛЯТАЯ АЛЛАХОМ

МИРНЫЙ ПРИТОН УБИЙЦЫ

Господин Шукри так натянул поводья своего коня, что тот попытался встать на дыбы.— Вот она, эта проклятая аллахом долина.

Было видно, что он очень трусит, словоохотливый господин Шукри, наш заботливый проводник. Казалось, он боится, как бы лошадь не сделала даже одного лишнего шага вперед. А мы надеялись, что он проводит нас в долину, открывшуюся перед нами с высоты перевала.

Долина в этот вечерний час выглядела такой приветливой и мирной. От гор, за неровные зубцы которых уже зацепилось

заходящее солнце, протянулись поперек долины длинные лиловые тени. На перевале было пустынно и голо, одни камни да редкие кустики терескена. А долина манила густой прохладной тенью, веселой зеленью деревьев и кустарников, местами сливавшихся в сплошные заросли. Наверное, как раз там, в зарослях, и протекает речка. До чего приятно будет опустить в ее холодные струи разгоряченное, обветренное лицо, смыть с него толстый слой надоевшей пыли...

— Может быть, вы все-таки послушаетесь моего совета и устроитесь в поселке? — сказал господин Шукри.

— В долине никого не осталось?

— Нет. Все откочевали в окрестности поселка. Остался только Хозяин.

Он так произнес эту кличку, что писать ее следует только с большой буквы.

— Чего мы встали? Что он говорит? — нетерпеливо спросил Женя.

— Советует устроить базу в поселке.

— И каждый день таскаться оттуда за двадцать километров? — возмутился Женька.— Много мы так наработаем.

— Ну ладно, мальчики, вы можете тут вести дискуссию хоть до утра, а я хочу умыться и спать. Солнце уже садится,— сказала Мария и, объехав нас, начала первой спускаться по каменистой тропе.

Женя подстегнул свою лошадь и двинулся следом за женой.

Господин Шукри укоризненно покачал головой, вздохнул и поцокал языком. Мы уже знали, что это означает у него полное неудовольствие.

Я посмотрел на Николая Павловича. Он молча пожал плечами и тоже тронул свою лошадь.

— Что же, господин Шукри, нам остается поблагодарить вас за внимание,— сказал я.— Возвращайтесь в поселок. Мы как-нибудь сами выберем местечко для лагеря. А завтра наведаемся к вам, чтобы вместе обсудить программу исследований.

Мы с ним церемонно раскланялись, прикладывая руки к груди по всем правилам восточного этикета, и я поспешил за товарищами.

Господин Шукри что-то крикнул мне вслед. Я остановился и вопросительно посмотрел на него.

— Да хранит вас всемогущий аллах! — крикнул он снова и, нахлестывая лошадь камчой, скрылся за поворотом тропы.

Я догнал наш маленький караван уже на самом конце спуска в долину. Тропа сворачивала направо. Но слева из зарослей доносилось близкое журчание воды, и Мария реши-

тельно свернула туда. Правильно, через полчаса станет темно, надо поскорее устраиваться на ночлег. А завтра осмотримся и выберем место для постоянного лагеря.

Продравшись сквозь заросли, мы очутились на берегу говорливого ручья. Он был неширок, перепрыгнуть можно, но ворочал солидные камни и весь так и пенился, разбрасывая брызги. В долине, говорили, есть речка. Но это, видно, не она, а один из ее притоков.

Лошади, оттирая друг друга, потянулись к воде. Но в ручей ни одна не входила, пили с берега, далеко вытягивая шеи. Местные лошади опытные: знают, что даже такой ручеек легко может свалить с ног и пойдет швырять об острые камни.

Мы тоже с наслаждением умылись, прополоскали пересохшие рты ледяной чистейшей водой.

— Давайте скорее ставить палатки! — хозяйственно покрикивала Маша.— Или лучше заночуем сегодня просто в спальных мешках. Я так устала, прямо думала, свалюсь с лошади. Женька, Николай Павлович, собирайте быстренько валежник для костра. Что-то я забыла, в каком вьюке у нас тушенка?

— Стоп, Мария, не тарахти,— остановил я ее.— Прежде всего, пока еще видно, надо осмотреть друг друга, не нацепляли ли мы клещей, пока продирались сквозь кусты. Тут их наверняка уйма.

Поиски мелких клещей, затаившихся у нас в складках одежды, отняли с полчаса. Потом мы поужинали и с наслаждением выпили по две кружки сладкого душистого кок-чая, а Николай Павлович, даже немного подумав, осилил третью. Мы так устали за день, что почти не разговаривали.

— Посуду помоем утром,— сладко зевая, сказала Маша.

Она расстелила на кошме спальный мешок.

— Отвернитесь на минутку, быстро!

— Стоп,— сказал я.— А где твоя сетка?

От негодования она даже не сразу напала на меня. Сначала только махала руками и таращила свои глазищи, потом закричала:

— Ну одну ночь я могу поспать по-человечески, без этой паранджи? Завтра поставим палатки, натянем противомоскитные сетки,— радуйся. Но сегодня-то могу я в нее не закутываться, ведь дышать нечем будет!

— Уймись, Маша,— сказал ей Женя.— Приказ есть приказ. Обсуждению не подлежит.

— Ладно, будь по-вашему. А змей тут нет? Вот кого опасаться надо.

Она улеглась, но что-то сердито бурчала из-под сетки, демонстративно ворочаясь. Но через две минуты уже затихла и тихонько захрапела, будто кошка замурлыкала.

Мы с Женей выкурили еще по сигаретке, глядя, как затухают и подергиваются седым пеплом угли догоревшего костра. Бормотание ручья убаюкивало. Глаза слипались. Мы забрались в спальные мешки и закрылись сетками.

«Да, спать будет душновато,— подумал я.— Может, зря так уж сразу навожу железный порядок? Хотя кто скажет, откуда может подкрасться беда?»

И тут же я услышал тоненький, звенящий и жалобный писк над ухом. Это москиты сетовали, что я спрятался от них и они не могут до меня добраться.

Может быть, именно они виновники всех бед? Или клещи?

Нет, я был прав: тут надо держать ухо востро, в этой «милой» долинке...

С этой мыслью я и уснул, словно провалился куда-то.

И тут же кто-то начал меня расталкивать.

— Что случилось? — спросил я, пытаясь выбраться из-под сетки и не понимая спросонья, кто и зачем закутал мне голову. Наконец выпутался из сетки и сел, с удовольствием вдыхая свежий ночной воздух и отмахиваясь машинально от москитов, кружившихся возле моего лица.

— Слышишь? — спросил невидимый в темноте Женя.

— Что?

— Где-то поблизости собаки воют.

— Ну и что?

— Откуда они здесь взялись? Ведь все люди ушли из долины? Опять, слышишь?

Протяжный и полный какой-то ужасной тоски и безысходности вой донесся из темноты.

— Может, это волки? — сказал я.

— Здесь волки не водятся. Да и что я, волчьего воя от собачьего не отличу, что ли?

Мы посидели несколько минут, прислушиваясь к ночи. Все снова было тихо, только возился с камнями ручей.

— Ладно, давай спать. Завтра разберемся,— сказал я и опять начал закутываться в сетку.

И тут вой раздался снова — такой же плачущий, печальный, полный тоски и злобы.

— Вот черт, прямо Баскервильская долина какая-то,— пробормотал в темноте Женька.

ВИЗИТ ХОЗЯИНА

Прежде чем продолжить дальше рассказ о наших приключениях, мне хочется объясниться с читателем.

Когда я читаю детективный роман о долгих и запутанных

поисках какого-нибудь таинственного убийцы, меня, признаться, нередко берет злость. Почему ему уделяется столько внимания, этому злосчастному преступнику? По его следам, ниточку за ниточкой распутывая клубок всяких хитрых ложных ходов, идут неустрашимые и проницательные следователи, заставляя читателя восхищаться своей настойчивостью, железной логикой и поразительной интуицией.

«Холмс бегал туда и сюда, иногда теряя след, иногда вновь натыкаясь на него, пока мы не очутились у самого леса, в тени очень большой, старой березы. Холмс нашел его следы за этим деревом и снова лег на живот. Раздался радостный возглас. Холмс долго оставался неподвижным, переворачивал опавшие листья и сухие сучья, собрал в конверт что-то похожее на пыль и осмотрел сквозь лупу землю, а также, сколько мог достать, и кору дерева. Камень с неровными краями лежал среди мха; он поднял и осмотрел его...

— Это может заинтересовать вас, Лестрейд,— сказал он, протягивая ему камень.— Вот чем было совершено убийство.

— Я не вижу на нем никаких следов.

— Их нет.

— Тогда как же вы это узнали?

— Под ним росла трава. Он пролежал там всего лишь несколько дней. Нигде вокруг не было видно места, откуда он взят. Следов какого-нибудь другого оружия нет.

— А убийца?

— Это высокий человек, левша, он хромает на правую ногу, носит охотничьи сапоги на толстой подошве и серое пальто, курит индийские сигары с мундштуком, в кармане у него тупой перочинный нож. Есть еще несколько примет, но и этого достаточно, чтобы помочь нам в наших поисках».

Мы тоже ищем убийцу. Чтобы поймать его, и отправилась в эту укромную долину, затерявшуюся среди гор, наша маленькая экспедиция.

Преступник, которого мы должны поймать, уличить и обезвредить, убил не одного, а уже сотни людей. Он не знает сострадания и жалости и убивает всех без разбора: детей в колыбельках и ухаживающих за ними матерей, здоровых, в полном расцвете сил мужчин и мудрых стариков. И убивает он мучительно, заставляя жертвы сутками кричать от ужасной боли, лишая их рассудка, постепенно парализуя руки, ноги и лишь потом останавливая навсегда сердце.

К тому же таинственный убийца этот невидим и вездесущ. Он может спрятаться в траве, в красивой птице, в моските, в безобидной овце, пасущейся на лугу, чтобы в подходящий момент нанести своему преследователю предательский смертельный удар в спину...

Мы не следователи, а научные работники, исследователи. Но и нам порой приходится решать такие запутанные задачи, что и не снились, пожалуй, никакому Шерлоку Холмсу. Люди же об этом, к сожалению, мало знают.

«А почему бы не написать о наших исследованиях детективную повесть?» — подумалось мне.

Попробуем. Я стану рассказывать о наших победах и поражениях как историю детективную, опуская всякие научные подробности, которые будут непонятны и лишь начнут тормозить действие. Любопытно, что из этого получится.

Правда, я медик, а не писатель. Особенных красот стиля от меня не ждите. Но одно я вам обещаю: все будет как в детективном романе — и допрос свидетелей, и очные ставки, и создание хитроумных гипотез по весьма шатким уликам, и ложные ходы, и опасные приключения.

С чего только начать? Видимо, как и следует по законам детективного жанра, с рассказа о преступлении. Или с описания места, где оно совершено.

Итак, небольшая уютная долинка, затерявшаяся среди горных хребтов на севере Афганистана, неподалеку от нашей границы.

В долине этой нет ничего зловещего. Наоборот, путнику, попавшему сюда после долгих скитаний по голым, раскаленным от солнца скалам, она кажется поистине райским уголком. Прохладная тень деревьев, густые заросли, откуда доносится ликующее пение птиц... Всю долину пересекает речка, да еще в нее впадают два родниковых ручейка, возле одного из них мы устроили свой первый ночлег. Речка почему-то называется Сиоб, что в переводе значит «черная вода». Но на самом деле вода в ней зеленовато-хрустальная, вкусная, чистейшая, какая только может быть в реке, рожденной ледниками.

Неудивительно, что люди с давних времен облюбовали эту приветливую долинку.

Но в ней поселился и невидимый убийца.

Каждую весну, в апреле, в долине вспыхивает странная эпидемия. Люди заболевают один за другим и умирают в страшных мучениях. Из десяти заболевших редко выживает больше одного.

А к началу июля загадочная болезнь так же внезапно прекращается сама собой. Долина снова становится райским уголком, где никакие опасности не угрожают человеку до новой весны.

Как бороться с этой болезнью, никто пока не знает. Известен лишь ее возбудитель. Еще лет десять назад американский врач-миссионер Рональд Робертсон, работавший в здеш-

них краях, обнаружил в крови больных из зачарованной долины крошечные микроскопические существа — вибрионы. Под микроскопом они выглядят даже довольно красиво — изящные, слегка изогнутые палочки с длинными жгутиками на конце.

Вот и все, что, пожалуй, известно об этой болезни. Остальное — сплошные загадки. Никто не знает, где прячутся убийственные вибрионы в перерывах между эпидемиями. Неизвестно, кто хранит их в природе и почему они становятся смертоносными лишь весной. Никому неведомо, кто их переносит, заражая людей,— это могут делать и клещи, и москиты, и какие-нибудь грызуны.

Местные жители в опасные месяцы просто бегут из долины — откочевывают со своими стадами овец за ближайший горный перевал, куда никогда не заглядывает таинственная болезнь. Тогда долина становится совершенно пустой и безлюдной.

Хотя нет, один человек в ней все-таки остается. Его болезнь почему-то не трогает. Он пользуется этим, выдавая себя за святого хозяина долины, грозит напустить болезнь на соседние селения и собирает с напуганных суеверных крестьян солидную дань. Его так и называют «Хозяином»...

В ближайшие годы в долине с помощью наших советских инженеров и рабочих намечено проложить дорогу и построить гидростанцию на Черной воде. Но для этого нужно прежде разобраться в загадочной болезни, выследить и обезвредить неведомого убийцу, чтобы сделать долину безопасной во все времена года. Для этого по просьбе местных властей и приехали сюда мы — зоолог Евгений Лаптев, его жена Мария, очень, по-моему, талантливый микробиолог, опытный врач Николай Павлович Соколовский, имеющий немалый опыт борьбы с различными эпидемиями, и я, Сергей Покровский, по профессии паразитолог.

Вот вам протокольное изложение всех обстоятельств преступления и столь же краткое описание места, где оно произошло. Можно начинать следствие.

Утром я первым делом распаковал и молча раздал защитные костюмы. Все их взяли так же молча, даже Мария. Конечно, работать на жаре в тяжелых сапогах и наглухо застегнутых до самого воротника комбинезонах с капюшонами тяжеленько. Да на руках еще постоянно перчатки, поверх сапог вдобавок обмотки, чтобы и щелочки не осталось, а лицо закрыто черной сеткой из тюля, пропитанного весьма ароматной жидкостью. Форменная паранджа, Маша права. Но ничего не попишешь. Микробиолог, как и сапер, ошибается лишь однажды.

Позавтракав на скорую руку, мы двинулись выбирать место для постоянного лагеря. Решили идти по берегу ручья, но скоро от этой затеи пришлось отказаться. Заросли колючих кустарников подступали к самой воде и были так густы, что через них не продерешься. И на каждом кусте полным-полно клещей...

Мы вернулись на тропу и пошли по ней. Вскоре она вывела нас к реке, на берегу которой лепились по склону горы домики, похожие на соты. Они были пусты. Ни один дымок не поднимался над заброшенным поселком. Нам стало как-то не по себе.

— Давайте пойдем вверх по реке,— предложила Мария.— Очень уж тут неуютно. Да и неудобно входить в поселок без хозяев.

Мы обошли поселок стороной и километра через полтора нашли подходящее местечко для лагеря, оно сразу всем понравилось. Это была небольшая ровная площадка у самой реки. Часть ее козырьком прикрывала нависшая скала, защищая от солнца. Из узенького, сплошь заросшего ущелья вытекал крошечный ручеек. Тут удобно разбить палатки, поближе к воде построить походную лабораторию. И лес рядом, не придется далеко ходить за валежником для кухни и вечернего костра, а он в экспедиции куда необходимее и уютнее самого роскошного городского клуба — это мы все знали по опыту прежних странствий.

— Райское местечко! — восхитился Женя.— Чего тут никто не поселился? Теснятся в селении, а там куда хуже.

— Вот и хорошо, что никто его не облюбовал,— подхватила Мария.— Лучше и искать нечего. Разгружаемся, мальчики, нечего долго раздумывать!

Не теряя зря времени, мы взялись за работу. Развьючили лошадей, напоили их и пустили пастись в заросли. Быстро поставили две палатки — одну для супругов, вторую для нас с Николаем Павловичем. Поверх каждой палатки натянули еще пологи от москитов, а на полу разостлали кошмы — говорят, они предохраняют от змей. Много у нас могло оказаться тайных врагов в этой тихой долинке...

Потом все взялись за лабораторию. Делали ее попросторней, чтобы у каждого был свой рабочий стол; их еще придется сколотить из жердей и листов фанеры.

Забот было немало. Где разместить клетки с морскими свинками, чтобы они не передохли у нас от жары? Как получше установить термостаты? Где хранить куриные яйца, чтобы они не испортились? Холодильника у нас нет. Придется как-то использовать вместо него ледяную воду из речки. А потом еще надо поломать голову, как доставить сюда эти

злополучные яйца с ближайшего базара по горной дороге в целости и сохранности...

Короче говоря, даже при устройстве такого маленького лагеря, как наш, всяких головоломок хватало. Уже перевалило за полдень, солнце пекло нещадно, мы обливались потом в своих защитных костюмах и сетках, но решили сначала все закончить, привести лагерь в порядок, а потом уже пообедать и как следует отдохнуть.

— Фу, не могу больше,— сказала Маша, помогавшая мне распаковывать возле палатки лабораторную посуду, и отбросила сетку с раскрасневшегося лица.— Если бы еще не эта паранджа проклятая. И чего мы ее носим здесь-то, в лагере, где ни клещей, ни москитов днем нету...

— Опять ты за свое,— отмахнулся я.

Но она почему-то тут же оборвала свою воркотню. Это было так на нее не похоже, что я удивленно поднял голову.

Мария словно зачарованная смотрела куда-то в сторону.

— Ой, кто это там? — прошептала она.

На выступе скалы метрах в сорока от нас стоял старик в рваном халате и высокой круглой шапке из бараньей шкуры. Он стоял и молча смотрел на нас, а вокруг него сидело на камнях штук десять здоровенных псов. Они тоже не спускали с нас глаз.

— Кто это, мальчики? — вскрикнула Мария, прижимаясь ко мне.

— Где? — откликнулся от другой палатки Евгений.

Они с Николаем Павловичем тоже бросили работу и подошли к нам.

— Хозяин,— догадался Женя.— Красиво стоит. Как памятник.

— Надо пойти с ним познакомиться,— сказал я.— А ты бы, Маша, чайку вскипятила. И консервов разогрей.

— Не ходи. Ты же видишь, какие у него псы,— испуганно схватила Мария меня за локоть.

Псы действительно выглядели довольно кровожадными, и знакомиться с ними поближе у меня как-то особого желания не было. Я вдруг почувствовал себя парламентером, по которому в любой момент могут открыть огонь, хотя он и с белым флагом. Но не станет же старик спускать на меня свою дикую свору.

— Ничего, это же обыкновенные овчарки. Тут их полно возле каждой отары овец,— бодро сказал я и, приветственно помахивая рукой, направился к старику.

Все псы вскочили и оскалились на меня. А старик смотрел все так же молча. Хоть бы помахал в ответ, что ли. Стоит истуканом, свесив длинные рукава...

— Селям алейкум! — крикнул я.— Добро пожаловать к нам, ата!

Псы зарычали так громко и грозно, что я услышал их рык за добрых двадцать метров и невольно замедлил шаг.

Странный старик вдруг повернулся и скрылся за скалой. И псы моментально исчезли, растаяли тенями среди серых камней. Словно и не было никого.

Я повернулся и взглянул на своих товарищей. У них тоже были совершенно обескураженные лица. Пожав плечами, я пошел обратно.

— Вот так так! — сердито сказала Мария.— Ничего себе, гостеприимный хозяин.

Мы помолчали, поглядывая друг на друга. Потом снова все сразу повернулись и посмотрели на то место, где только что стоял старик со своей грозной свитой: не появился ли он снова? Нет, пусто.

— Хотел бы я знать, почему он не боится заболеть и не болеет,— задумчиво проговорил Николай Павлович, теребя бородку.— Похоже, здесь-то и зарыта собака...

— Даже не одна, а целая свора,— добавил Женька.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

На следующее утро мы отправились в поселок, захватив с собой и вьючных лошадей, чтобы сразу уж везти в лагерь все необходимые материалы и побыстрее приступить к работе.

На перевале Мария демонстративно сняла с себя защитную куртку с сеткой, пропитанной вонючим препаратом для отпугивания клещей и москитов. Все мы с удовольствием последовали ее примеру.

«Странно все-таки, что у болезни существует такая строго очерченная граница,— подумал я при этом.— И мы уже психологически смирились с нею: переступили эту невидимую границу — и сразу почувствовали себя свободнее. Наверное, это плохо. Так можно незаметно стать боязливым и робким, приноравливаться к неведомой опасности, а это помешает бороться с нею».

— Смотрите-ка, что это? — прервала мои размышления Мария.

Она, пожалуй, самая наблюдательная из нас. Всегда первой замечает все необычное и любопытное.

А мы могли бы в задумчивости проехать мимо высокой груды витых архарьих рогов, возвышавшейся необычным памятником в стороне от дороги. Ведь не заметили мы ее прошлый раз.

— Это о́бо,— пояснил я.— Нечто вроде жертвенника духам гор. Тут всякие суеверия еще весьма распространены.

— Что за рога! — тоном знатока воскликнул Евгений.— Если по ним судить, тут прямо богатырские архары водятся. Любопытно будет поохотиться. Хотя, конечно, для жертвоприношений отбирали самые лучшие экземпляры. Надо их посмотреть поближе.

Он подъехал к о́бо, спрыгнул с лошади и потянулся к самому большому, лобастому черепу, украшенному тяжелыми рогами.

— Перчатки! — остановил я его.

— Что? — рассеянно переспросил Женька.

— Надень перчатки.

— Слушай! — возмутилась Маша.— Ты становишься прямо невыносим, начальник. Тебе не кажется, что ты сам заразился местными суевериями? — И она насмешливо продекламировала:

Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала...

Я пожал плечами и закурил. Женя вопросительно посмотрел на меня и снова потянулся к заветным рогам...

— Тебе сказано надеть перчатки? — вдруг набросилась на него жена.

Я посмотрел на нее: издевается надо мной, что ли? Нет, не похоже. Ох эта женская логика!..

Женя послушно натянул защитные перчатки, закрывавшие руки до самых локтей, взял череп и начал рассматривать.

— Может, захватить в лагерь? — спросил он, но тут же одумался и бросил рога обратно в кучу — тяжелый.— Ладно, сам добуду свеженькие.

Мы двинулись дальше. Уже на спуске с перевала, когда впереди открылась большая долина, расчерченная аккуратными квадратиками рисовых и хлопковых полей, из-за поворота вдруг появилась лошадь. Она шла одна, без всадника, но была навьючена какими-то плетеными сумками и глиняными кувшинами. Мы подумали, что это просто вьючная лошадь, вырвавшаяся вперед, а хозяин едет следом за ней.

Кто этот смельчак, решившийся отправиться в мертвую долину?

Но никто не появлялся; только теперь мы заметили, что за лошадью идут два здоровенных лохматых пса. Они злобно ощерились и зарычали, заставив наших лошадей испуганно шарахнуться с тропы, освобождая им дорогу. Загадочная лошадь меланхолично прошла мимо нас. А псы все рычали, ска-

лились. Миновав нас, они начали пятиться... Они явно охраняли эту одинокую лошадь с ее кладью!

— Слушайте, а ведь это Хозяину везут дань! — воскликнул Николай Павлович.

— Верно!

— Вот ловкач! — возмутилась Мария. — Даже сам ленится собирать ее, просто посылает лошадь с собаками. И суеверные бедняки спешат отдать ему последний кусок...

Потом, в поселке, мы расспросили подробнее о находчивом Хозяине долины. Оказалось, что он и в самом деле редко появляется в поселке. Чаще присылает лошадь в сопровождении специально надрессированных псов. Они не мешают складывать в корзинки подаяние, но зорко следят, чтобы из них никто ничего не взял. Да и кто решится обокрасть Хозяина, который в любой момент может напустить смерть, обитающую в его долине, на эти мирные поля! Такого святотатца немедленно бы побили камнями.

Ловкий старик, ничего не скажешь!..

На крыльце больницы, прилепившейся обеими своими этажами прямо к скале на окраине поселка, нас встретил доктор Шукри, сияя гостеприимной улыбкой.

— Слава аллаху! — воскликнул он, молитвенно поднимая руки к небу.

Это, видимо, следовало понимать: слава аллаху, что вы пока живы и невредимы выбрались из проклятой долины...

В своей больнице, в белоснежной броне накрахмаленного халата доктор Шукри чувствовал себя гораздо увереннее, чем позавчера на перевале. Он обстоятельно обсудил с нами намеченный план работ, посоветовал уделить особое внимание клещам, как наиболее вероятным переносчикам вибрионов. Он выложил перед нами на стол двенадцать историй болезни, составленных за последние годы; все они, кроме одной, заканчивались зловещими черными крестами и лаконичной пометкой: exitus let [1].

— А какова судьба выздоровевшего? — спросил я. — Вы что-нибудь знаете о нем?

— Он оглох, и у него была парализована вся правая сторона.

— Но приобрел ли он иммунитет против повторного заражения? — спросила Мария. — Можно его обследовать?

Я перевел ее вопрос.

— Увы, нет. Он умер. Умер в прошлом году.

— Отчего?

— Истощение. Он был простой дехканин. Сами понимаете:

---

[1] Умер *(лат.)*.

паралич, некому ухаживать.— Доктор Шукри развел руками и добавил сакраментальное: — Иншалла...[1]

Потом доктор Шукри любезно предложил нам посмотреть и самого «преступника»...

Он провел нас в небольшую, но чистенькую лабораторию, привычными движениями ловких пальцев вставил в микроскоп предметное стекло, и мы по очереди склонились над окуляром.

В ярко освещенном кружке быстро и даже, я бы сказал, грациозно сновали во все стороны, словно гоняясь друг за дружкой, продолговатые, слабо окрашенные тонкие палочки.

— Позвольте, но они у вас свежие? — удивился я.— Как вы ухитрились сохранить их целый год?

Доктор Шукри покачал головой.

— Они совсем свежие,— ответил он.— У нас и в этом году уже было три случая заболевания. Слишком поздно покинули долину, задержались на два-три дня, и все. Люди молодые, не прислушиваются к мудрости старших.

— Спроси, живы ли они? — подтолкнула меня Мария.

— Двое уже предстали перед аллахом. Один...

Не договорив, доктор Шукри шагнул к двери, жестом пригласив нас последовать за ним. По узким коридорчикам и лесенкам он провел нас на второй этаж, без стука открыл дверь и отодвинулся, давая нам заглянуть.

— Когда он заразился, то весил семьдесят два килограмма. Теперь — тридцать,— сказал доктор Шукри.— Двадцать четыре года. Охотник. Один приносил с гор на плечах убитого архара.

Мы молчали, глядя на живой скелет, лежавший перед нами в уродливой, неудобной позе. Одно дело читать описание болезни в медицинских трудах, совсем иное увидеть ее собственными глазами...

Несчастный не двигался, ничего уже не слышал и не видел. Только вздохи — стонущие, слабые, прерывистые — выдавали, что он еще жив.

— Три дня и три ночи он кричал, не умолкая,— продолжал доктор Шукри.— Бился от боли головой о стены, мы были вынуждены связать его. Теперь он уже ничего не чувствует. И завтра успокоится совсем... Иншалла!

Мы молча вышли обратно в коридор, спустились по узкой скрипучей лесенке и вернулись в тесный кабинетик доктора Шукри. Все было уже упаковано: выписки из историй болезни, пробирки, в которых сновали невидимые простым глазом убийцы-вибрионы, анализы крови и спинномозговой жидкости

[1] Если угодно аллаху *(фарси)*.

умирающего охотника. Мы могли возвращаться в свой лагерь. Остальное теперь было за нами.

— А срезы внутренних тканей и мозга...— начал доктор Шукри, но его прервал негромкий стук в дверь.— Кто там? Войдите! — недовольно прикрикнул он, нахмурившись.

Дверь открылась, и в комнату заглянул смуглый человек лет тридцати с очень приятным узким лицом, на котором густые разлетистые брови выглядели словно приклеенными по ошибке. На голове у него была щеголеватая шапочка из серого каракуля, напоминающая пилотку.

— О, извините, Шукри-ата, я не знал, что вы заняты,— сказал он и попятился.

Но доктор Шукри чуть не силой втащил его в комнату:

— Нет, нет, дорогой Али, вы нам вовсе не мешаете. Это мой молодой и весьма талантливый коллега — доктор Али Омар Вардак. А это наши друзья из России, знакомьтесь.

Доктор Али поклонился и дружески приветствовал нас по всем правилам восточного этикета. Потом, задав несколько традиционных вежливых вопросов о нашем самочувствии и о том, как мы устроились в долине, он еще раз поклонился и отошел к окну.

Мы стали прощаться.

— Помощь в долине вам не нужна? — озабоченно спросил доктор Шукри.

— Нет, мы справимся сами.

— Да, а срезы внутренних тканей и мозга я вам пришлю с нарочным... Видимо, завтра,— вздохнув и насупившись, сказал доктор Шукри.

— Патологоанатом у вас опытный? — спросил я.

— Я все сделаю сам. Ведь у нас только два врача и один фельдшер. Или попрошу доктора Али. У него руки вернее моих. Надеюсь, он не откажет.

— Вы преувеличиваете, мой дорогой учитель. Я простой ветеринар...

— Не скромничайте, не скромничайте, аллах дал вам золотые руки! — Доктор Шукри шутливо погрозил ему коротеньким пухлым пальцем, пожелтевшим от табака.— Побольше бы нам таких врачей.

ПОДОЗРЕВАЙ ВСЕХ!

Рано утром, по холодку, мы приступили к исследованиям. Евгений с Николаем Павловичем отправлялись на охоту за грызунами. Я — собирать клещей в зарослях. Мария оставалась в лагере охотиться за москитами.

Ловить клещей было совсем не сложно. Я забрался в самую гущу зарослей, нашел там крохотную полянку и расстелил на ней белое полотнище, так называемый «флаг». А через час собрал наползших на полотнище клещей, рассортировал их по пробиркам. Потом я тщательно осмотрел все складки своей одежды, уделив особое внимание воротнику и манжетам. На мне тоже нашлось немало этих жадных кровососов.

Вот и вся технология. Нужно только не лениться вовремя снимать клещей со своей одежды, пока они не добрались до кожи и не впились в нее. Пусть вас укусит лишь один клещ, но, может быть, именно он-то и принесет смерть...

Закончив сбор в одном месте, я переходил на другое. Любопытно было наблюдать, как клещи, сидевшие на ветках, уже заранее чуяли мое приближение и готовились к атаке. Зацепившись тремя парами задних ножек за листок или веточку, они вытягивали переднюю пару ног вперед и быстро-быстро перебирали ими, готовые немедленно вцепиться в мою одежду.

Среди разных видов клещей попадалось немало иксодовых, давно заслуживших зловещую славу переносчиков опасного таежного энцефалита. Этим я уделял особое внимание. Природа их специально вооружила для нападения на живые существа. Кроме обычных челюстей, иксодовые клещи имеют еще особую зубчатую пластинку — «подъязык». Он глубоко впивается в кожу своими зубчиками, похожими на зазубрины гарпуна, и тогда клеща уже не оторвешь, пока не раздавишь.

Чтобы не терять зря время, ожидая, пока клещи наползут на «флаг», я попутно занимался охотой на всякую живность, которая подвертывалась под руку. Еще по дороге к зарослям мне удалось подстрелить любопытного сурка, не успевшего нырнуть в свою нору. Удача! Ведь если сурка только ранишь, и он скроется в норе, то уж ни за что не удастся вытащить его из хитрого лабиринта подземных переходов — они порой тянутся на добрых пятнадцать метров!

На подстреленном сурке я собрал семь упитанных клещей, пристроившихся в густой шерсти. Эти забавные зверьки, к сожалению, передают такую опаснейшую болезнь, как чума, а может быть, и переносят смертоносные вибрионы, так что не считайте меня жестоким злодеем за эту охоту.

Подкрадываясь к суркам, я вдруг испытал странное и неприятное ощущение, будто за мной самим тоже кто-то охотится. Огляделся по сторонам, но вокруг было пустынно и тихо.

На каменистой площадке среди зарослей мне повстречался дикобраз. Он тоже вполне мог оказаться переносчиком и

хранителем болезни, но все-таки у меня рука не поднялась выстрелить в него. При виде меня он не только не струсил, а наоборот, грозно захрюкал и воинственно затопал задними лапками. Но смелости ему хватило ненадолго: через минуту он уже юркнул в кусты.

Было уже за полдень. В зарослях царила знойная духота. Я устал и проголодался, левое плечо мне оттягивал ягдташ с двумя подстреленными сурками. Клещами заполнены почти все пробирки, можно возвращаться в лагерь.

Я прошел уже, наверное, половину пути до лагеря, как вдруг из зарослей на меня кинулся матерый волк! Нападение было столь внезапным, что он едва не сбил меня с ног. Я удержался лишь потому, что буквально повис на спружинившем кустарнике.

Волк кинулся на меня снова, но теперь я успел сунуть ему в оскаленную пасть приклад винтовки и одновременно сильно ударить его ногой.

Он отскочил. Теперь у меня уже появилась возможность перехватить винтовку и прицелиться в него.

Бешеный шквал отрывочных мыслей бушевал у меня в голове, пока я искал взглядом прицел.

Откуда взялся здесь волк? Почему он бросился на меня? Волки в одиночку да еще летом обычно не бросаются. Бешеный? Но тогда бы он не отступил под ударами, а рвался бы ко мне, пока я не убил его или... или пока он не перегрыз бы мне горло...

Я уже почти нажал на спусковой крючок, как вдруг понял: это вовсе не волк. Это собака! Один из тех псов, что бродят со стариком.

Стрелять нельзя! Хорошо, что я вовремя спохватился. Но что же делать? А если он не один?

И в тот же миг, словно прочитав мои тревожные мысли, сбоку из зарослей на меня так же молча ринулся второй пес...

Сколько их там в кустах? Вся свора? Только и ждут команды, чтобы кинуться на меня? Ясно, что их науськал Хозяин, он тоже, верно, прячется где-то в кустах. Зачем? Чем мы его обозлили?

Отбиваясь от наседавших собак прикладом, я медленно пятился, пока не добрался до ближнего дерева. И тут, улучив удобный момент, ухватился за нижние раскидистые ветки, подтянулся и начал карабкаться по стволу.

Ветки трещали и гнулись. Ствол с перепугу казался гладким, как телеграфный столб. Один из псов все-таки успел хватить меня за сапог и едва не сдернул на землю...

Но я все-таки удержался, уселся в развилок ветвей и постепенно смог отдышаться. А внизу сидели и облизывались

уже не два, а четыре пса. Один из них, негодяй, скалился так, словно смеялся надо мной!

Что и говорить, положение создалось совершенно глупое. Стрелять нельзя; ведь это все-таки не дикие волки, а собаки. Слезть и пробиваться к лагерю тоже невозможно: наверняка остальные псы прячутся в кустах и бросятся мне на спину. Сколько же мне придется сидеть на этом ореховом дереве словно обезьяне?

Прошло с полчаса. Я сидел на дереве, а псы — кружком внизу, не сводя с меня глаз. Придерживаясь кое-как одной рукой за ветки, я другой обобрал с одежды успевших наползти клещей,— так сказать, поневоле героически продолжал вести научные исследования.

Хорошенько упершись спиной в ствол дерева, я трижды выстрелил в воздух. Поймут, надеюсь, в лагере, что это сигнал тревоги, а не простая охотничья пальба, и поспешат ко мне на выручку.

Псы прижали уши, оскалились еще грознее, зарычали, но не сдвинулись с места.

Прошло еще пятнадцать минут. Может быть, повторить сигнал? Или подождать? Я взглянул на часы. А когда снова посмотрел вниз, собак уже не было. Они исчезли — явно по сигналу, которого я не слышал.

Я прислушался, размышляя, что же мне теперь делать? Кроме беззаботного гомона птиц, ничего не было слышно вокруг. Никто пока не спешил ко мне на помощь. Почему же тогда ушли собаки? Или это просто хитрый тактический маневр старика: отозвать своих псов в кусты и подождать, пока я слезу? Глупо было бы попасться в ловушку.

Но еще глупее будет, если придут товарищи и увидят, как я сижу на дереве, хотя никакой опасности вокруг нет и в помине.

Эта мысль заставила меня решиться осторожно, то и дело прислушиваясь, все-таки слезть с дерева. Нет, кажется, все спокойно кругом.

Оглядываясь и приседая чуть не на каждом шагу, я пошел к лагерю. Постепенно нервы у меня успокаивались, как вдруг какой-то треск впереди снова заставил меня насторожиться. Я остановился, занеся над головой винтовку, на манер дубинки, для удара...

Из кустов вышел Женя и удивленно спросил:

— Ты что?

Я рассказал ему о нападении.

— А мы было сначала подумали, что ты по архару стреляешь. Промазал, думаю. Потом забеспокоились, решили пойти к тебе навстречу.

— Надо нам на будущее договориться, что три выстрела подряд будут сигналом тревоги,— сказал я.— Как услышишь, спеши на выручку.

— Так-то так, но это не выход. Надо нам укротить этого зловредного старца. А то пойдет такая игра в индейцев с постоянной пальбой, что не до науки будет.

Проклятые псы продержали меня столько, что отдохнуть после обеда, как все мечтали, не удалось. Надо было до вечера просмотреть хоть часть добытого материала. Этим мы и занялись: я в одном углу палатки возился со своими клещами, Мария за другим столом сортировала москитов, а на улице под навесом Николай Павлович с Женей вскрывали грызунов на оцинкованном столе.

Вечером у костра мы подвели первые итоги. Они были более чем неутешительны.

Вибрионы оказались всюду: и в сурках, и в белках, и в песчанках, даже в голубой сойке, которую Николай Павлович подстрелил. Они кишмя кишели почти в каждом клеще! Не было их только в москитах.

— Не густо,— с унылым вздохом сказал Николай Павлович, как бы подводя итоги обсуждения.— На военном языке это называется «шаг на месте»...

— А на языке математиков — «икс минус единица»,— подхватил Женя.— Москитов реабилитировали, но зато каков этот «икс» многочисленный. В сетки-то хоть теперь на ночь можно не заворачиваться?

— Все меры предосторожности остаются в силе,— сказал я.— Где гарантия, что мы за один день проверили все виды москитов? Пока в них вибрионов не обнаружили, а вдруг да затешется один зараженный...

Укладываясь спать, я подумал: «Ну вот, мистер Шерлок Холмс, что бы вы предприняли теперь на нашем месте? Если все вокруг под подозрением, то как же найти настоящего виновника?»

В ПОТЕМКАХ

В каком направлении двигаться дальше? Нельзя же, в самом деле, подозревать всех обитателей долины, так мы никогда не разрешим загадки.

Основное внимание мы решили уделить клещам как переносчикам и суркам как возможным «хранителям» болезни. Одновременно заложили серию лабораторных опытов, чтобы попытаться выяснить, какие виды клещей могут особенно активно переносить вибрионы и кто из грызунов более вос-

приимчив к болезни. Хотя я, признаться, в успех этих опытов не особенно верил. Ведь уже стало ясно, что загадочная болезнь поражает только людей. Насекомые и животные могут оказаться буквально напичканы вибрионами и будут чувствовать себя прекрасно. Но провести дополнительную проверку, конечно, следовало.

Николай Павлович отправился в поселок, чтобы привезти необходимые анализы, если охотник действительно умер. Наверное, это уже случилось, но никто не решался везти их к нам в долину, придется это сделать самим. Женя собирался снова отправиться на охоту за грызунами, а мы с Марией решили обследовать гнезда москитов в ближайших окрестностях селения, покинутого жителями. Может быть, среди них окажутся какие-нибудь новые разновидности, пока не попадавшиеся нам. Вероятно, болезнь должна укрываться где-то именно здесь. И если ее все-таки переносят москиты, мы это выясним: ведь они плохие летуны и не забираются от своих гнезд дальше чем за километр.

Но сначала мы все втроем решили нанести визит Хозяину и попытаться установить с ним дружеские отношения.

По рассказам, он жил где-то в пещере километрах в полутора от селения. Прихватив с собой подарки — новый халат, несколько пачек чаю, сахар, увесистый мешочек риса,— мы отправились туда.

От селения к пещере старика вела через заросли узкая, едва приметная тропа. Видно, по ней редко ходили. Кое-где возле тропы валялись среди травы дочиста обглоданные кости. Это были кости ягненка, как определил Женя, а в другом месте — лисицы.

— Видно, псы у него натасканы как охотничьи собаки! — восхищенно сказал Женя.— Любопытный старик, надо с ним поближе познакомиться.

— Конечно! — напустилась на него жена.— Вот науськает он на тебя своих волкодавов, отлично с ними познакомишься. Смешно, идем словно в логово какой-то бабы-яги или людоеда. Эти кости мне на нервы действуют.

— Может, вернешься в лагерь? — предложил я.

— Нет уж! И, по-моему, эти псы уже следят за нами, наверняка крадутся в кустах.

Честно говоря, и у меня опять было такое же неприятное ощущение, будто из зарослей за нами все время следят чьи-то настороженные глаза. Но я решил помолчать об этом.

Худенькая и подвижная, похожая в своем синем комбинезоне, ладно подогнанном по фигуре, на мальчишку, Маша все забегала вперед, а тут притихла и старалась держаться поближе к Женьке.

— Смотрите, дымок,— сказал Евгений, показывая на легкую синеватую струйку, поднимавшуюся над зарослями.— Там его логово.

В самом деле, тропа свернула в ту сторону, откуда тянулся дымок, таявший в солнечных лучах. С каждым шагом мы все как-то больше настораживались, озирались по сторонам, часто переглядывались. Но пока вокруг все было спокойно, никто не собирался нападать на нас.

Заросли кончились, и мы увидели небольшую площадку, всю заваленную костями и собачьим пометом. Вонь тут стояла ужасная.

У скалы, где среди громадных камней чернел вход в пещеру, догорал костер. Возле него неподвижно стоял Хозяин и молча смотрел на нас. А вокруг него лежало штук шестнадцать псов, весьма похожих на волков. Они тоже не сводили с нас горящих глаз. При нашем появлении несколько собак вскочили и грозно зарычали. Но старик издал какой-то негромкий цокающий звук,— и они покорно улеглись.

Я немного приободрился: все-таки он не науськал их сразу на нас, как мы опасались. Можно начинать переговоры.

Поклонившись как полагается, я приветствовал старика традиционным:

— Селям алейкум!

Он молчал.

Я начал говорить о том, что мы приехали из дружественной страны, чтобы помочь местным жителям избавиться от опасной болезни, которая не щадит ни детей, ни смелых охотников, ни стариков. Я напирал на то, что мы лекари, табибы, представители самой гуманной профессии, угодной аллаху. Мы не имеем никаких враждебных намерений, не собираемся ему мешать и хотим лишь одного: чтобы и достопочтенный старец не мешал нам помогать страждущим и пораженным жестокой болезнью...

Старик молчал. Он стоял от нас всего в десятке шагов, и теперь можно было хорошо рассмотреть его морщинистое лицо, длинную, запущенную седеющую бороду, насупленные лохматые брови. А взгляд его я никак не мог поймать. Глаза старика прятались в узких щелочках под нависшими бровями и, похоже, смотрели куда-то поверх наших голов. Казалось, он даже не слушает моих витиеватых речей. Зато собаки слушали внимательно и с явным интересом, высунув языки и чутко насторожив уши.

— Вот истукан какой,— неожиданно прошептала у меня над ухом Мария.— Эх, взять бы у него пробу крови! Попроси!

От такого предложения я невольно сбился и сердито оглянулся на нее.

— Ладно, ладно,— примирительно сказала она.— Давай, митингуй дальше. Только что-то плохо у тебя получается.

Женька не сдержался и тихонько фыркнул.

А старик стоял неподвижно и молчал.

Я старался объяснить старику, что мы вовсе не охотники и стреляем мелких грызунов и птиц лишь по необходимости, дабы выяснить, кто же из них хранит в себе и переносит болезнь. Как только мы это узнаем, мы сразу покинем долину. А пока просим его как лучшего знатока и настоящего хозяина этих прекрасных, благословенных аллахом мест помочь нам поскорее закончить нашу важную работу, так необходимую его землякам...

С этими словами я сделал два небольших шажка вперед и торжественно разложил на грязной земле наши подарки.

Старик молчал.

Я растерянно оглянулся на своих товарищей, спрашивая их взглядом: что же делать дальше?

И вдруг старик заговорил, заставив нас всех вздрогнуть от неожиданности:

— Уходите отсюда... Эта земля проклята аллахом за грехи людей...

Голос у него был хриплый и какой-то словно заржавленный, отвыкший произносить слова.

— Что он говорит? — потянула меня за рукав Мария.

— Подожди.

— Уходите отсюда, френги...— Он употребил именно эту старинную ругательную кличку, какой обзывали европейцев, наверное, еще во времена Тимура.— Только я могу здесь жить. Так угодно аллаху. А вас да покарает аллах, если нарушите его волю...

С этими словами он поднял обе руки к небу, словно призывая аллаха немедленно обрушить кары на наши головы.

— Что он сказал? Переведи,— теребила меня Мария.— Ой, что это у него с руками, мальчики? Он же без рук!

Еще при первой встрече, как я, кажется, упоминал, мне показалось что-то странным в фигуре старика. Длинные рукава его халата свисали слишком свободно, словно пустые. Теперь, когда он поднял руки, мы поняли, в чем дело. Рукава халата в самом деле были чуть не до половины пустыми: обе руки у старика были отняты по крайней мере до локтей!

Не успели мы опомниться, как старик, пригнувшись, исчез в пещере. А псы вскочили, как один, и выстроились перед ее входом, завывая и рыча. Еще минута — и они бросятся на нас.

— Пошли отсюда,— сказал я.— Похоже, дипломатические переговоры прерваны.

Пятясь и спотыкаясь, не решаясь повернуться спинами к

этим оскаленным клыкам, мы начали поспешное отступление. Но, кажется, преследовать нас собаки пока не собирались.

— Да что же он сказал, этот зловредный старик? Третий раз тебя спрашиваю, можешь ты ответить? — напустилась на меня Мария, когда мы отошли на некоторое расстояние от пещеры и почувствовали себя спокойнее среди зарослей.

— Сказал, чтобы мы убирались отсюда. Грозил местью аллаха.

— Вот ирод! Но как же он живет, один и безрукий? Ой, мальчики, мне его жалко! Как же он ест, пьет? И ведь никто ему не готовит, даже постирать некому. Одни собаки вокруг. Ужас!

— Да, нелепый старик,— пробормотал Женя.— Он нам еще попортит крови. А как с ним бороться? Ведь он старый и к тому же инвалид. Положеньице!

Мы все были ошеломлены и обескуражены. В самом деле, что же теперь делать? Не просить же у местных властей охраны от одинокого старика, да к тому же безрукого?

— И чего он не уйдет к людям, где бы за ним кто-то ухаживал? — опять начала сетовать Мария.— Хотя ведь он только тут за счет суеверий и кормится...

— Точно. И прекрасно понимает, что исчезнет болезнь и никому он будет не нужен и не страшен, как мифический владыка ее. Тогда он совсем пропадет,— сказал Женя.— Так что мы для него враги смертельные — это ясно.

— Но почему же он не заболевает и не боится болезни? — высказал я вопрос, уже давно занимавший меня.

— Вот и я об этом все время думаю,— подхватила Мария.— И зря вы смеялись: если бы удалось получить у него анализ крови — это наверняка бы многое разъяснило, есть у него иммунитет или еще что.

— Хорошо бы, конечно, еще у него и спинномозговую жидкость взять,— насмешливо поддакнул я.

— Во сне,— подхватил Женя.— Подкрадись к нему и коли!

Мы с ним расхохотались, представив эту картину: как Маша крадется ночью в пещеру к старику со шприцем в руках.

Она сердито посмотрела на нас, но не выдержала и тоже рассмеялась:

— Ладно, хватит вам зубоскалить. Беритесь лучше за работу.

Мы с ней отправились ловить москитов, Женя — охотиться за грызунами, а к обеду все сошлись в лагере.

Там нас встретил неожиданный гость — доктор Али.

При виде его у меня было мелькнула мысль, что вдруг случилось чудо и несчастный охотник остался жив. Но тут же моя радость угасла...

— Я привез вам все материалы, которые обещал Шукриата,— с легким поклоном сказал доктор.

Мне понравилось, что он не хвастался тем, что решился приехать к нам в лагерь.

— Не испугались?

Доктор Али пожал плечами и просто ответил:

— Я же медик.

— А где материалы? — спросил я.

Николай Павлович ответил, что все привезенные материалы сразу были спрятаны в холодильник.

Мы пригласили гостя пообедать с нами. Он отказался, сказав, что никогда ничего не ест в такую жару до наступления сумерек, но охотно согласился выпить чашечку кофе. Мария постаралась его сварить по всем правилам.

Пришлось и нам ограничиться только кофе, хотя из кухни тянуло весьма аппетитным запахом. Николай Павлович, видно, успел приготовить что-то вкусное.

Меня немножко удивило, что доктор Али пил кофе, не снимая перчаток.

«Видно, все-таки побаивается заразы»,— подумал я.

Гость похвалил чудесное место, которое мы так удачно выбрали для лагеря:

— Даже я не смог бы выбрать более живописного уголка, хотя неплохо знаю эту долину. Ведь я здесь жил раньше, до смерти моего дорогого отца, и лишь пять лет назад перебрался в поселок... Ужасно, что столь райское место постигло такое страшное бедствие.

Говорили мы по-английски. Увлекшись, я некоторые вопросы задавал на фарси, но доктор Али неизменно отвечал мне по-английски, чтобы Николай Павлович и Женя тоже могли принимать постоянное участие в беседе. Из нас четверых не знала английского лишь Мария. Женя все время нашептывал ей на ухо краткий перевод нашего разговора.

Мы посетовали на то, как встретил нас хозяин долины. Доктор Али сочувственно покивал и развел руками:

— Что поделаешь? Подобные пережитки еще, к сожалению, живучи у нас.

Выпив три чашечки кофе, он стал благодарить и прощаться. Мы не стали задерживать его. Нам не терпелось заняться делом, а времени до вечера уже оставалось мало, да и нашему гостю предстоял еще неблизкий путь в одиночестве по горным дорогам. Но я все-таки предложил ему посмотреть нашу лабораторию. Он с большим интересом согласился.

Сначала холодильник и термостаты. Гость наговорил немало приятных слов о том, как остроумно нам удалось выйти из трудного положения, вызванного местными условиями. По-

том мы заглянули с ним в лабораторию, где Мария занималась вирусологическим анализом спинномозговой жидкости покойного охотника.

Это была не очень сложная, но довольно тонкая операция. Маша брала куриное яйцо, осторожно прокалывала шприцем скорлупу и вводила туда несколько капель спинномозговой жидкости. Потом отверстие запечатывалось парафином, и яйцо укладывалось в термостат. Теперь оставалось только ждать несколько дней, пока все микробы и вирусы в этой герметически закупоренной идеальной, питательной среде размножатся в миллионы раз.

Затем мы прошли под навес, где Николай Павлович с Женей препарировали убитых грызунов.

Женя как раз собирался вскрывать очередного суслика. И тут такой сдержанный доктор Али вдруг не выдержал. Видно, в нем взыграла душа талантливого медика.

— Позвольте мне! — неожиданно умоляюще произнес он, мягко придержав Женю за руку.

Мы сначала даже опешили и непонимающе все трое уставились на него.

— Позвольте мне,— повторил смущенно доктор Али и поднял кверху палец, помогая себе этим жестом.— Хоть одно вскрытие! Это будет мой вклад в вашу благородную работу.

Он так забавно-умоляюще смотрел на меня, что я поспешил протянуть ему халат и сказал:

— Конечно, конечно, коллега, прошу вас! Мы будем очень признательны.

Я помог ему надеть халат, Николай Павлович уже протягивал резиновые перчатки, а Женя искал среди инструментов чистый скальпель. Доктор Али ловко натянул резиновые перчатки прямо поверх своих, замшевых, но скальпель, который ему подал Женя, не взял, отрицательно покачав головой:

— Простите, я привык пользоваться своим...

С этими словами он вынул из кармана кожаный потрепанный футляр, расстегнул его и достал тускло сверкающий медный скальпель. Нож был какой-то непривычной формы, видимо, старинной работы.

— Перешел ко мне по наследству от отца,— пояснил доктор Али, благоговейно держа скальпель в своих тонких пальцах.— Пользуюсь только им. Мой отец ведь был, как и я, ветеринар.

Он склонился над столом и одним стремительным и легким взмахом скальпеля вскрыл тушку суслика. Еще несколько точных надрезов — и доктор Али выпрямился, коротко сказав:

— Все.

Мы переглянулись. В самом деле: вскрытие заняло буквально две минуты. Суслик был отпрепарирован с таким поразительным мастерством, какого мне еще не приходилось видеть.

Тут уж я не мог удержаться и сказал то, что давно вертелось у меня на языке:

— Дорогой доктор Али! Если бы вы согласились помогать нам!

Он коротко засмеялся и покачал головой.

— Поверьте, вы переоцениваете меня. Я простой ветеринар и вряд ли смог бы вам быть полезен. Я в самом деле ветеринар, каким был и мой покойный отец,— упрямо повторил он в ответ на мой протестующий жест.— Вы, может быть, подумали, что я называю себя так из скромности, а работаю вместе с уважаемым доктором Шукри в его больнице? Нет, я служу в местном ветеринарном надзоре и немножко подрабатываю частной практикой. Очень мало, потому что хлопот у нас, овечьих лекарей, здесь, как вы сами понимаете, хватает. Пожалуй, даже знающий ветеринар в наших краях нужнее хорошего хирурга. Поэтому не обижайтесь, что я не могу принять вашего любезного предложения, хотя, поверьте, весьма ценю его.

Он сам вымыл свой старомодный скальпель, тщательно вытер его и любовно спрятал в потрепанный чехол. Потом снял халат, коротко поклонился нам и пошел к своей лошади, встретившей его негромким ласковым ржанием. Доктор Али легко вскочил в седло, помахал нам рукой и через минуту скрылся за поворотом тропы.

— Да, талантливый малый,— с уважением произнес Николай Павлович.— И в микробиологии разбирается, мы тут с ним немного потолковали, пока ждали вас. Жалко, что не согласился. Ну ладно, займемся делами, их у нас немало.

Они с Женей опять взялись за сусликов и песчанок, а я за своим столом проверял москитов. Работа ювелирная, под стать легендарному Левше, что блоху подковал.

Среди пойманных нами возле поселка москитов нашлись три вида, не встречавшихся прежде. Но ни в одном из них не было вибрионов Робертсона...

Вечером, как уже стало традицией, возле жарко пылавшего костра открылось очередное заседание нашего научно-дискуссионного клуба.

Опять, собственно, ничего нового мы не узнали. Женя обнаружил проклятых вибрионов даже в убитой змее гюрзе и в случайно подстреленном диком горном голубе! Только их еще не хватало!

Что делать дальше? То же самое: все расширять и расши-

рять круг подозреваемых, закладывать новые и новые лабораторные опыты. Пока мы шли наугад, в полной темноте. Одно светлое пятно: москиты явно неповинны в распространении болезни.

Так прошло три дня, однообразно и довольно бесперспективно. С утра мы отправлялись на ловлю грызунов и клещей. После обеда изучали добытые материалы в лаборатории, снова и снова рассматривая в микроскопы вездесущие вибрионы. Они попадались буквально всюду: в крови варана, подстреленного дотошным Николаем Павловичем, в крови сизоворонка и степной лисицы, глупого кеклика — каменной куропатки и летучих мышей, пойманных нами однажды вечером прямо в лагере. Список подозреваемых грозил разрастись до бесконечности...

КАК СЛЕЗА НА РЕСНИЦЕ...

— Давай сегодня поднимемся выше, в предгорья,— предложил Женя.— Может, повезет, и архара подстрелим.

Я согласился. Консервы нам надоели. И надо было проверить всех обитателей долины, в том числе и архаров, хотя, конечно, вряд ли эти осторожные и пугливые красавцы, сторонящиеся людских поселений, могли быть распространителями болезни.

Мы несколько раз любовались, как архары паслись высоко в горах, обступивших со всех сторон долину. Казалось, до них совсем не трудно добраться, всего каких-то три-четыре километра.

Но это первое впечатление оказалось весьма обманчивым. Сначала мы долго карабкались по скалам, обливались потом. Затем нам повезло: мы наткнулись на охотничью тропу, идти стало полегче. Но тропа привела нас к совершенно отвесной скале, по склону которой над бездонной пропастью тянулся овринг...

При виде его у меня сердце упало. «Висячие тропы» — овринги я встречал и раньше на Памире и даже ходил по ним. Но то были настоящие мосты по сравнению с тем оврингом, по которому нам предстояло пройти теперь.

А тут... Бревно шириной в ладонь висит на каких-то колышках и сухих арчевых ветках. Дальше второе бревно, которое укреплено уже совсем непонятно на чем. Как ухитрились их втащить сюда и подвесить на совершенно отвесном обрыве, уму непостижимо.

А сверху еще льется маленький ручеек. Бревна мокрые, скользкие. А внизу... Нет, вниз лучше совсем не смотреть. Там все тонет в голубоватой дымке, дна ущелья не видно.

«Путник, будь осторожен! Ты здесь — как слеза на реснице»,— сразу вспомнилась мне памирская поговорка, сложенная вот про такие дорожки.

— Ну, это и есть овринг? — деловито спросил Женя.

Я только молча кивнул.

— Неплохо. Цирковой номер: баланс с кипящим самоваром на лбу. А как же они его строили? Сверху, что ли, спускали бревна?

— Вероятно,— с трудом выдавил я.

— Ладно, раз построили, надо идти. Давай шагай.

— А может, поищем другую тропу?

— Асфальтовую? Да ты что, трусишь? Ведь говорил, будто прыгал как козел по оврингам где-то на Памире. Так расписывал, завидно становилось.

— Там другие.

— Тут отступать поздно. Ты посмотри, архары-то прямо ждут! Видишь?

Я ничего не видел, кроме овринга...

— Ладно, давай я первый пойду.— Он отодвинул меня в сторону, словно какой-то неодушевленный предмет, и осторожно пошел по скользкому бревну.

Шаг, второй, третий... Женя высокий, здоровенный, бревно под ним громко скрипело. Но он шел все увереннее, так, что мне стало обидно. Ведь никогда раньше оврингов и в глаза не видел, а вот шагает же с ухватками заправского циркача.

И вот он уже на той стороне!

Зажмурившись, я тоже ступил на бревно. Качается, пружинит... Но ведь Женька-то прошел!

Я сделал еще один неуверенный шажок. Бревно заходило ходуном подо мной. Я приник к мокрой скале, за воротник мне текла ледяная вода...

Так я стоял над бездной, зажмурившись и судорожно вцепившись немеющими пальцами в скользкий камень, и не решался шагнуть ни вперед, ни назад.

— И долго ты собираешься так стоять? — насмешливо спросил Женя.

Я ничего не ответил. Боялся, что если заговорю, то даже от такого усилия сорвусь и полечу вниз, в синеватую бездну.

Все-таки я поборол себя и сделал шаг вперед, потом второй, третий...

Еще три неуверенных шажка... Женя протянул свою длинную руку и втащил меня на площадку.

— Идем скорей, архары рядом, вон за той скалой! — торопил меня Женя.

— Погоди, дай отдышаться.

— Ладно, никуда они от нас не уйдут.

Однако скоро мы убедились, что торжествовать еще рано. Трижды подкрадывались к пасущимся архарам так близко, что могли спокойно прицелиться наверняка. Но каждый раз, пока целились, архары исчезали как привидения. Я даже не понимал, куда они деваются: не то превращаются в камни, не то проваливаются под землю.

Мы страшно устали, прыгая сами, как козлы, по скалам под палящим солнцем.

Сердце у меня бешено колотилось. Во рту так пересохло, будто я не пил уже целую вечность.

Пот лил с меня в три ручья, он противно щипал глаза, мешая целиться.

И только злость давала мне силы снова и снова карабкаться по скалам вслед за убегающими архарами.

Один раз мы совершенно неожиданно застали их спящими! Подошли к краю обрыва, заглянули вниз — и обмерли.

Прямо под нами всего в каком-то десятке метров преспокойно лежали и безмятежно нежились на солнце четыре архара — старый лохматый козел и три самки. Они не замечали нас. Возле них пасся сурок, на него они тоже не обращали никакого внимания. И ветер дул с их стороны. Редкостная удача!

Женя погрозил мне кулаком, чтобы я не шелохнулся, и начал осторожно целиться. Я затаил дыхание, словно сам вместе с ним спускал курок...

В тот же миг проклятый сурок пронзительно засвистел, поднимая тревогу, и архаров точно ветром сдуло. Только загремели камни из-под копыт!

Женя так разозлился, что трижды, уже не целясь, выпалил им вслед. Хотел пристрелить предателя-сурка, но его, конечно, тоже след простыл. Вот неудача!

И все-таки нам повезло. Один архар словно сам нарочно подвернулся Жене под выстрел. Он выскочил из-за скалы... Женя молниеносно вскинул винтовку. Грохот выстрела долго перекатывался среди скал.

— Ты посмотри, какие рога! — восхищался Женя, прыгая вокруг архара.— А крупный какой, теперь мы свежим мясом надолго обеспечены!

Мы тщательно собрали клещей, прятавшихся в густой шерсти архара, и, связав ему ноги, потащили убитого козла в лагерь.

Он как будто с каждым нашим шагом становился тяжелее. А как перетащить его через проклятый овринг?

— Смелей! — скомандовал Женя.

Я первым ступил на шаткий, пружинистый мостик. И шел

по нему медленно, но без остановок, словно лунатик по карнизу, глядя прямо перед собой и ничего не видя.

И вдруг правая нога моя куда-то резко провалилась...

Руки у меня были заняты, я приник к скале всем телом, боясь пошевельнуться.

Потом взглянул себе под ноги и тут же зажмурился, еще крепче прижимаясь к скале...

— Ты чего остановился? — спросил сзади Женя.— Опять трусишь? Шагай, а то архара уроним.

— Шагать некуда,— еле выговорил я.

Прямо передо мной зияла пропасть. Одно из бревен, по которому мы благополучно перешли всего несколько часов назад, куда-то исчезло, провалилось. Вместо него был провал шириной метра в три!

— Это Хозяина работа,— сказал Женя.— Не иначе, как он овринг разрушил. Надо как-то чинить. Давай пятиться назад, положим архара и наломаем веток.

Пятиться назад? По этому узенькому бревну да еще с архаром в руках? Я бы с удовольствием втиснулся в скалу еще глубже, да жалко, она не поддавалась.

От напряжения у меня начали дрожать ноги. И чем больше я старался унять эту противную дрожь, тем сильнее она становилась. Казалось, вся скала начинала ходить подо мной ходуном.

— Не тряси овринг, а то еще дальше обвалится! — крикнул Женя.

— Это не я. Это он сам...

— Какого черта сам! Ты его раскачиваешь. Чего ты приплясываешь, словно обезьяна?

Я не успел ничего ответить, потому что мы вдруг услышали чей-то гортанный голос, раздавшийся откуда-то сверху, словно с неба:

— Спокойно. Я сейчас помогу вам.

От удивления я в самом деле чуть не сорвался. А Женька даже присел, озираясь вокруг.

На выступе скалы стоял, опершись на винтовку, загорелый худощавый человек лет тридцати в туго подпоясанном сером халате и шапке из лисьего меха.

— Чего он сказал? Откуда он взялся? — растерянно спросил Женя.

Незнакомец исчез за скалой, и мы услышали треск ломаемых сучьев арчи. Он несколько раз появлялся с охапками узловатых сучьев, складывал их и уходил снова. Наконец незнакомец, все время ободряя нас гортанными окриками, начал быстро и ловко наращивать провалившуюся часть овринга. Даже в своем трудном положении я не мог не залюбовать-

ся, как он ловко это делал, словно и не висел при этом, как мы, над бездонной пропастью.

Не прошло, наверно, и получаса, как работа была закончена. Наш спаситель сам первый встал на пружинистые ветки, чтобы показать их прочность, и протянул мне смуглую крепкую руку. Я ухватился за нее и наконец-то очутился на прочной, некачающейся земле.

Тут нервное напряжение дало себя знать, и я опустошенным мешком вяло опустился на горячие камни. Женя сел рядом, протянул незнакомцу пачку сигарет. Тот поблагодарил, приложив обе ладони к груди.

— Он кто, охотник? — спросил Женя.

Я перевел его вопрос.

Наш спаситель кивнул.

— Меня зовут Селим,— коротко сказал он.

— Мой товарищ не знает фарси,— пояснил я.— А живешь здесь, в долине?

— Сейчас нет. Нельзя. Разве вам не сказали, что в долине жить сейчас нельзя? Там смерть.

— Мы знаем.

— И не боитесь? Видно, очень большая нужда заставила вас разбить свой лагерь в долине? Или вы знаете слово против болезни, как Хозяин?

Я начал объяснять охотнику, кто мы такие и зачем пришли в долину. Он слушал внимательно, склонив голову и время от времени кивая. Потом вдруг засмеялся, неожиданно качая головой, и в ответ на наши удивленные взгляды пояснил:

— Простите мою невежливость, но я не мог удержаться. Я смеялся не над вами — над людской глупостью. Ведь все в поселке уверены, будто вы пришли сюда искать заветный клад Искандера Двурогого. Моих земляков можно понять. В самом деле: что может в человеке пересилить страх смерти? Только жажда денег.

Я рассказал Жене, какие легенды уже ходят о нас.

— Значит, вы не ищете золото? — спросил охотник, во время нашего разговора с Евгением внимательно наблюдавший за нами.

— Нет,— успокоил я его.— Мы ищем только болезнь.

— Ее искать не надо. Она всюду. Она сама вас найдет.

— Всюду — значит, нигде,— ответил я.— А мы должны узнать точно, где она прячется.

— Для этого твой товарищ и охотится за песчанками и птицами? Я долго не мог понять, для чего он это делает, вместо того чтобы охотиться за архарами. Ведь песчанок не едят даже нищие.

Вот как, значит, не один старик следит за нами...

Я стал объяснять, для чего нам нужно исследовать не только всех животных, птиц, но и насекомых, обитающих в долине.

Когда я упомянул летучих мышей, Селим перебил меня:

— Летучих мышей много в пещерах над Сиобом. Но туда трудно добраться. Надо сверху.— Он показал рукой.— Берегом не пройти.

Я перевел его слова Жене, пояснив, что именно мой товарищ занимается охотой за различными зверями, меня же интересуют больше насекомые — клещи, комары.

— Там есть и клещи,— сказал охотник.— Их полно в пещерах.

— Надо непременно там побывать,— сказал я Евгению.

— Попроси его поподробнее объяснить, где это.

Я расстелил на камнях карту, и Селим стал показывать, где именно встречаются различные животные. Мы тут же делали пометки на карте.

— Он великолепно знает тут каждый камешек,— сказал с завистью Женя.— А я многое упустил. Вот тут проходил не раз, а никакой колонии песчанок не заметил. И об этих пещерах над рекой понятия не имел. Слушай, а не удастся ли его уговорить, чтобы нанялся к нам проводником и охотником? Это было бы здорово.

— Вы не могли бы помогать нам? — спросил я у охотника.— Отстреливать грызунов, быть проводником? Мы хорошо заплатим.

Он покачал головой и, усмехнувшись, ответил строкой Хайяма:

— «Ведь в царстве бытия нет блага выше жизни...»

— Боится,— понял Женя и без моего перевода.— Жаль. Ну ладно, пошли в лагерь, а то без обеда останемся. Может, он пообедает с нами?

Селим покачал головой в ответ на мое приглашение, поблагодарил и сказал:

— Нет, я обойду долину горами. Там есть тропы.

Мы попрощались с ним, опять взвалили убитого архара на свои ноющие от усталости плечи и двинулись по каменистой тропе в лагерь.

Пока мы добирались до него, уже начало смеркаться.

— Ну всыплет нам Мария, что так поздно возвращаемся,— мрачно сказал Женя и сокрушенно покачал головой.— Надо бы что-нибудь придумать.

— А что придумывать? Зато архара добыли.

Но, к нашему удивлению, никакой бури не последовало. Мария только спросила, даже не очень грозно:

— Где это вы пропадали?

А на архара даже не взглянула. Мы с Женькой переглянулись и пожали плечами.

— Ты не заболела? — сочувственно спросил он у жены.

— С чего ты взял? Просто устала немножко. Трудный денек выдался.

Было что-то такое в ее тоне, что мы оба внимательно посмотрели на нее. Мария даже смутилась под нашими взглядами, стала поправлять волосы.

— Слушайте, ребята,— вдруг тихо сказала она.— Я, кажется, обнаружила следы нового вируса.

— Какого вируса? — опешил я.

— Не знаю, пока трудно сказать. Но, по-моему, еще неизвестный.

— В тканях погибших от болезни Робертсона?

— Да.

ВИБРИОН ПРЕДЪЯВЛЯЕТ АЛИБИ

Это неожиданное открытие Марии не столько обрадовало нас, сколько озадачило. Оно вдруг смешало все карты. Мы и так топтались на месте, находя всюду злополучные вибрионы, а теперь вдруг неожиданно появился на сцену какой-то вирус.

Без электронного микроскопа увидеть вирус мы не могли. Но следы его разрушительной работы легко было рассмотреть и в обычный микроскоп на тонком слое тканевой культуры, которую Мария три дня выращивала в термостате. Ткань превратилась в мрачное кладбище изувеченных, разрушенных клеток.

Да, сомнений быть не могло: это поработал невидимый вирус. Но каковы его свойства? Связан ли он как-то с болезнью Робертсона или не имеет к ней никакого отношения? Может быть, он просто случайно оказался в организме погибших больных?

Ответить на эти вопросы могли только новые опыты. Программу их мы наметили тут же, у полуночного костра.

Решили освободить Марию от всяких забот по хозяйству, чтобы она могла все время проводить в лаборатории, поручив пока обязанности «отца-кормильца» Николаю Павловичу. А нам с Женей предстояло добыть побольше и клещей, и москитов, и разных грызунов, чтобы проверить их теперь еще и на зараженность вирусом.

Но когда на следующий вечер, нагруженные богатой добычей, мы вернулись в лагерь, нас ожидала еще более невероятная новость. Заслышав еще издали наше приближение, из лаборатории выскочила Мария и замахала рукой, торопя

нас. Встревоженные, мы почти побежали к ней, с трудом переводя дыхание.

— Что еще стряслось? — спросил я.

Она ответила упавшим голосом:

— Второй вирус...

— Где? Откуда он взялся?

— В срезах мозговой ткани.

Мы вошли следом за ней в лабораторию, где сидел задумчиво в уголке Николай Павлович. При виде нас он недоуменно пожал плечами.

Я приник к микроскопу. В самом деле: разрушенные клетки питательной ткани под окуляром заметно различались между собой. Тут, несомненно, поработали разные вирусы-невидимки.

— Час от часу не легче! — буркнул я.— Откуда он взялся, второй?

— В спинномозговой жидкости только один вирус, а в этих материалах, из срезов головного мозга, почему-то два,— жалобно сказала Мария.— Ничего не понимаю.

— Чего тут непонятного,— сердито ответил ей Женя, отрываясь от микроскопа.— Нечисто работаешь. Загрязнила опыт, в этом все дело.

Мария гневно посмотрела на мужа, но ничего не сказала, прикусив дрожащую губу.

Я посмотрел на Николая Павловича. Он снова пожал плечами, потом мягко сказал:

— Ну, это ведь легко проверить. Конечно, придется повторить опыт.

Позднее, как говорится, «задним числом», нелегко бывает установить, когда именно и почему вдруг приходит новая идея, резко меняющая весь ход исследований.

Наверное, все дело было в том, что Мария обнаружила этот новый загадочный вирус. Его появление как-то сразу внушило нам некоторые подозрения насчет вибрионов, только мы пока еще этого не сознавали.

Слишком уж много появилось «подозреваемых». За кем же из них следует установить особое наблюдение?

Вместе с Машей мы заново «начинили» куриные яйца мельчайшими капельками суспензии крови покойного охотника и заложили их в термостаты. Были приняты все меры предосторожности, в чистоте этих опытов сомнений быть не могло.

После трех дней мучительной неизвестности мы с трепетом склонились над микроскопами...

Да, вот они, следы разрушительной работы вирусов. И опять разные! Значит, вирусов все-таки два, а не один.

Но не везде они встречаются вместе. В крови погибшего охотника скрывается лишь один «преступник», мы решили его назвать «вирус А». А вот во всех образцах тканей, взятых из мозга покойного, поработал вместе с ним и второй невидимка — вирус Б.

Странно...

— Может, часть материала была каким-то образом засорена этим вирусом Б еще в больнице? — задумчиво произнесла Мария.

Я тоже подумывал об этом. Но разве можно было обидеть такими подозрениями доктора Шукри? И все-таки проверить это было необходимо, только осторожно, деликатно.

— Надо будет провести повторные анализы,— сказал я.— А пока проверить на вирусы все образцы, в которых мы уже нашли вибрионы.

— Я только этим и занимаюсь,— ответила сердито Маша.

Она целыми днями возилась в лаборатории, заражая взятыми у различных грызунов, клещей и москитов пробами сотни куриных яиц и укладывая их в термостаты. А рядом в клетках сидели подопытные мыши и морские свинки, давно зараженные вибрионами, и как ни в чем не бывало поглядывали на нас. Никто из них явно не спешил заразиться.

И вот настал день, когда Маша сказала нам за обедом:

— А не кажется ли вам, братцы, что мы стали жертвами внушения?

— То есть? — насторожился Женя.

— Не водит ли нас за нос почтенный доктор Робертсон и возбудителем служит вовсе не вибрион?

— У меня, признаться, тоже возникали подобные опасения,— сказал Николай Павлович, теребя выгоревшую на солнце бородку.— Когда я последний раз ездил в поселок на базар и видел там у реки черные шатры беженцев из этой долины, то подумал: а не проверить ли нам у них кровь, у здоровых? Этим, кажется, никто не занимался.

Идея была интересная, и мы решили проверить ее, не откладывая, а заодно взять и материалы для повторных анализов.

На следующее утро мы отправились в поселок, оставив Николая Павловича охранять лагерь.

Доктора Шукри весьма удивило наше сообщение об открытии следов двух каких-то неведомых вирусов в пробах, которые мы от него получили.

И хотя я приложил все силы, чтобы он не подумал, будто мы его упрекаем в том, что анализы были проведены не совсем чисто, он, кажется, немножко обиделся, хотя и не показал виду.

Он сам вызвался проводить нас в лагерь беженцев. Это было очень кстати, потому что без него нам наверняка никто бы не дал кровь для анализа.

Видимо, о нашей работе в долине распускались самые темные и зловещие слухи, потому что встретили нас беженцы неприветливо. Дети, игравшие на берегу реки, завидев нас, моментально попрятались в шатрах. А из шатров вышли нам навстречу хмурые, настороженные мужчины.

Доктор Шукри не столько уговаривал их, сколько пугал штрафом и другими наказаниями. Опасаясь, как бы это вовсе не испортило нам отношений с местными жителями, я остановил его и попросил самому разрешения сказать несколько слов.

Я объяснил, чем мы занимаемся в долине и для чего теперь нам необходимы пробы крови. Сказал, что операция эта совершенно безболезненна, и добавил:

— Чтобы вы все убедились в этом, мы сначала возьмем кровь у самих себя и у всеми уважаемого доктора Шукри, примеру которого, конечно, никто не откажется последовать...

Собравшаяся вокруг нас толпа молча наблюдала, как мы брали друг у друга кровь для анализа. Но последовать нашему примеру, похоже, никто не собирался. Наоборот, толпа даже начала потихоньку отступать и вот-вот грозила растаять.

И вдруг какой-то человек шагнул вперед, решительно закатывая рукав халата. Он поднял голову, и я с радостью узнал нашего нового знакомца, охотника Селима.

Кроме него, пробы крови нам дали еще десять мужчин и две женщины, одна из них, похоже, была женой Селима. Мы их не видели: в палатку к ним пустили только Марию. Хорошо было бы для страховки взять несколько проб крови у детей, но пока на это рассчитывать не приходилось.

Мы уже собирались уходить, как вдруг рваная кошма, закрывавшая вход в одну из палаток, откинулась и оттуда выглянул доктор Али.

— Очень рад вас видеть,— сказал он.— Прошу извинить. Одну минуточку...

Он скрылся в палатке и вскоре вышел из нее, на ходу отворачивая закатанные рукава рабочего синего халата, запачканного кровью.

— Мои пациенты могут обождать, они бессловесны,— сказал он, пожимая мне руку.— А как ваши успехи?

Я коротко рассказал ему о наших подозрениях насчет вибриона и о том, как осложнило и запутало ход поисков неожиданное появление каких-то загадочных, неопознанных вирусов, да еще сразу двух разных видов.

— Два вируса?! — вскрикнул он так громко, что товарищи мои, упаковывавшие неподалеку собранные анализы, обернулись в нашу сторону.

— Да, два. А что вас так удивило? — спросил я.

— Ничего,— смущенно ответил доктор Али.— Но ведь это означает, извините... Что опыт проведен грязно. Не может быть двух возбудителей у одной болезни.

— Верно, не может. Но факт остается фактом: кроме вибрионов, при повторных опытах в некоторых срезах тканей погибшего охотника мы обнаружили следы двух каких-то различных видов вирусов. Не во всех, но в некоторых.

— Странно,— пробормотал задумчиво доктор Али.— И что же вы собираетесь делать дальше?

Я пожал плечами.

— Возьмем сегодня повторные пробы из тех материалов, что хранятся у доктора Шукри, и проверим все заново.

— Ну что ж, пожелаю вам успеха. Не смею больше задерживать, да и у меня дела.

Мы попрощались, и доктор Али скрылся в палатке, из которой доносилось тревожное овечье блеяние.

Нам так не терпелось поскорее проверить «виновность» вибриона, что мы решили провести анализы прямо в местной больнице, а не в нашем лагере. Правда, у доктора Шукри нашелся лишь один микроскоп. Это замедляло работу.

Но уже первая проба показала, что мы на верном пути. В крови вполне здорового беженца из долины оказалось множество вибрионов, однако он не заболел! Значит, антитела нейтрализовали и подавили вибрионы.

Второй анализ, третий, четвертый...

Только у троих из всех, давших нам пробы крови, не нашлось вибрионов и антител. У всех остальных вибрионы были, а люди оставались здоровыми! Выходит, вовсе не вибрион вызывал болезнь, достопочтенный Робертсон ошибся.

Доктора Шукри в этом убедило, пожалуй, больше всего то, что и у него в крови, как он тут же убедился собственными глазами, резвилась целая стайка вибрионов...

— Но ведь я же здоров, слава аллаху! — воскликнул он, молитвенно воздев руки к небу.

Совершенно неожиданно нашлись вибрионы и в капельках крови, взятых у Марии и у меня!

Маша, разумеется, не преминула что-то съязвить по этому случаю о «личностях, которые всем надоедают драконовскими инструкциями, а сами...»

Я отшучивался, но, признаться, мне стало немножко не по себе. Правда, вибрионы оказались безвредными. Но ведь както они ухитрились проникнуть в мое тело? Это был словно

тревожный звонок. Значит, мы где-то проявили преступную неосторожность. Надо это учесть.

Доктор Шукри тут же собрал весь персонал больницы и сам у каждого взял кровь. Лишь у фельдшера и у повара не оказалось вибрионов.

Надо ли говорить, как обрадовала нас эта первая ощутимая победа! Тьма, сгущавшаяся по мере того, как мы повсюду находили эти злополучные вибрионы, сразу рассеялась.

Вибрион неповинен — значит, вирус? Но который из двух? Ведь доктор Али прав: не может быть сразу двух возбудителей у одной болезни. Ничего, проведем заново анализы образцов, которыми снабдил нас снова доктор Шукри, разберемся и с вирусами.

Покидая больницу, мы снова столкнулись на крыльце с доктором Али. В руках он держал, неловко выставив далеко вперед, громадный букет великолепных крупных роз.

— Ой, какая прелесть! — ахнула Мария.— Где вы достали?

Доктор Али немедленно протянул ей букет.

— Это вам. Прошу,— галантно сказал он.

— Ну что вы, спасибо...

— Вы меня обидите отказом.

Марию, конечно, не пришлось больше упрашивать. Она взяла букет, поблагодарила доктора Али весьма красноречивым взглядом и спрятала лицо в цветы.

— Я не зря спешил. Вижу, что одержана победа,— сказал доктор Али.— Примите мои поздравления.

— Спасибо,— ответил я.— Да, кое-что прояснилось. Вибрион неповинен в болезни Робертсона.

— Значит, возбудитель — вирус?

— Видимо, да.

— Поздравляю.

Доктор Али уже закончил все свои дела и любезно вызвался проводить нас до базара, где прямо на земле в полном беспорядке были грудами навалены овощи, мешки риса, плоские корзинки с круглыми лепешками, стояли плетенки с ячменем и машем — местным горохом, по вкусу напоминающем чечевицу. Все это окружала пестрая толпа.

Она шумела, кричала, поднимала тучи серой пыли. Сквозь толпу напролом, с горделиво-презрительным видом продирались верблюды. Выкрики продавцов, неистовое кудахтанье перепуганных кур, ржанье лошадей — все сливалось в сплошной хаос звуков. К нему еще добавлялся грохот молотков из полутемных ниш в скале, примыкавшей к базару. Там работали в своих крошечных мастерских ремесленники.

Сделав все покупки и попрощавшись с доктором Али, мы

зашли в чайхану, устроенную на широком деревянном помосте прямо над арыком. Тут нам приготовили шашлыки и поставили перед нами блюдо всякой вкусной зелени.

Получился настоящий праздничный пир.

— Я уж тебе признаюсь,— вдруг сказала Мария, наклоняясь к самому моему уху.— Я еще вчера обнаружила у себя вибрионы. Делала анализы и подумала: а не взять ли пробу крови и у самой себя? Оказалось, и у меня есть вибрионы. Вот почему я и предложила провести проверку здоровых беженцев в поселке. Видишь, как удачно получилось...

— Ты еще хвастаешь и гордишься?— возмутился я.— Чем? А то, как эти вибрионы забрались к тебе в кровь, об этом ты задумываешься? Или и дальше собираешься работать спустя рукава?

— Ну ладно, ладно,— смутилась она.— Победителей не судят. Налей-ка лучше мне винца. Кисленькое, вкусно.

Вот мы сидим, смеемся, пьем из грязноватых пиал кисленькое вино. Коротенький перерыв в затянувшихся поисках. У нас есть нынче повод для радости. Кажется, кое-что стало ясным: вибрион не виноват.

Но...

«Подождите радоваться,— сказал бы умудренный Шерлок Холмс.— Ведь убийца пока продолжает разгуливать на свободе...»

Да, вы, к сожалению, правы, мистер Холмс. Убийца еще не пойман. Кто он: вирус А? Или вирус Б? А может, нас ждут еще другие неожиданности?

Но нельзя же искать и искать без отдыха и хоть маленькой передышки. Мы скоро встанем с этого рваного ковра, опять натянем надоевшие защитные костюмы и снова полезем в лисьи норы, станем ловить клещей, москитов; а сейчас мы хотим немножко посидеть в этой базарной чайхане, что стоит на сваях над журчащим мутным арыком, отдохнуть среди этих незнакомых людей, ради которых мы ходим рядом с невидимой смертью...

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Вернулись мы в свой лагерь из поселка уже поздно, в полной темноте и, признаться, немножко навеселе, не столько от вина, как от сытного пиршества. Всю дорогу мы любовались яркими зарницами, которые полыхали в небе одна за другой, на миг вырывая из тьмы сумрачные горы. Где-то там, далеко в горах, бушевала гроза.

При вспышках зарниц Мария каждый раз осматривала свой букет, поднося его к самому лицу.

— Ой! Кажется, уже начинают вянуть. Хоть бы до лагеря довезти,— причитала она.

— Да выбрось ты этот веник! — наконец не выдержал Женя.

— Не ревнуй!

— Подумаешь, я тебе завтра такой букет наломаю...

— Наломай. А пока поберегу этот.

Ужинать мы, конечно, не стали, несмотря на ворчание Николая Павловича: «Что же я зря старался...»

И сразу улеглись спать. Я как подсунул под голову надувную подушку, так и захрапел, даже сам еще, похоже, успел услышать свой собственный могучий храп.

А проснулся я от страшного треска и грохота. Что-то рухнуло возле самой палатки, сорвав ее край, и на меня хлынули тугие, тяжелые струи ледяного дождя!

При ослепительной вспышке молнии я нашел фонарь, зажег его, прикрывая от ветра всем телом... Рядом, тяжело сопя, торопливо одевался Николай Павлович.

Сквозь шум ливня донесся испуганный голос Марии, окликавший меня. Я выглянул из палатки и обомлел.

Прямо передо мной, всего в каких-то полутора метрах, вместо узенького, тихого ручейка стремительно разливался широкий поток маслянистой коричневой грязи. Он выкидывал из ущелья громадные валуны, сталкивавшиеся с грохотом, тащил целые деревья. С противным причмокиванием эта грязь подступала все ближе и ближе, грозя затопить и унести в реку нашу палатку.

— Скорее оттаскивайте вещи под скалы! — закричал я.— Это сель!

— Кто? — откуда-то из темноты переспросил меня Женька.

Но мне некогда было объяснять ему, что на нас обрушился грязевой поток. Где-то в горах дождь смыл верхний слой почвы, и вот потоки липкой грязи хлынули вниз по ущелью, сметая все на своем пути. Если бы наша палатка стояла всего на два метра левее, мы не успели бы даже выбраться из нее и оказались погребенными под слоем грязи!

Теперь мне стало понятно, почему никто из местных жителей не поселился в этом «уютном местечке», чему мы раньше все удивлялись. Как мог я забыть, что в здешних горных краях никогда нельзя себя чувствовать в безопасности возле таких вот ущелий, да еще когда из них вытекают ручьи. Чаще всего сели прорываются именно здесь.

Но каяться и рвать на себе волосы было некогда. С ног до головы перемазанные грязью, скользя и падая, мы как одер-

жимые оттаскивали подальше, под защиту скалы, при то и дело разрывавших тьму голубоватых призрачных вспышках молний, все, что подвертывалось под руки: мешки, ящики, колья от упавших палаток, ружья...

«Хорошо, хоть лабораторию построили немножко в стороне. Туда сель не доберется»,— подумал я, и в тот же миг обернулся на крик Марии...

Нашу лабораторию заливало водой!

Грязевой поток из ущелья запрудил реку, и теперь вода в ней начала прибывать, выходя из тесных берегов.

Побросав все, мы ринулись к лаборатории. Оборудование и добытые материалы были дороже всего. Без них вся наша работа летела насмарку!

Дощатый пол лаборатории уже залила вода. Мы зажгли факел и при его мечущемся свете, встав цепочкой, начали передавать друг другу вещи, в первую очередь дневники наблюдений, микроскопы...

Какой-то сосуд выскальзывает у меня из мокрых рук и разбивается совершенно беззвучно, потому что именно в этот миг небо над нашими головами — очередной раскат грома.

А вода все прибывает, она уже по колени...

Взбесившаяся река перекатывает уже не отдельные валуны, а целые глыбы. Под их тяжкими ударами трещат столбы навеса. Он, того и гляди, рухнет нам на головы. Женька подпирает крышу, словно Атлант.

— Всем уходить! — кричу я.

Мария снимает еще какие-то банки с полки... Женя хватает ее в охапку и вытаскивает из лаборатории, весьма похожей теперь на тонущее судно.

Прислонившись к скале и прижимаясь друг к другу, чтобы укрыться под ее выступом от дождя, мы, размазывая по лицам грязь, тупо и устало смотрим на разгул стихии. Уже не разберешь, где сливаются грязевой поток и река. Вся долина превратилась в мутное клокочущее озеро.

Мария что-то бормочет, роется, присев на корточки, в груде мокрых пожиток.

— Чего ты ищешь? — спрашивает Женя.

— Сколько термостатов вынесли?

— Кто их считал.

— Утром все проверим,— говорю я.

Но Мария вдруг срывается с места и прыгает в клокочущий поток.

— Назад! — кричу я.— Тебе ноги переломает!

Мутная ледяная вода ей уже по грудь. Но Мария упрямо пробивается к покосившейся под ударами валунов лаборатории...

Хватается за бревно, лезет в дверь...

Мы с Женькой бросаемся следом за ней.

Вода валит с ног. Только бы удержаться, не упасть — тогда пропали.

О черт! Как больно ударил в бок какой-то камень.

Захлебываясь и помогая друг другу, мы все-таки добираемся до двери лаборатории. Нам навстречу появляется Мария, держа над головой термостат. Так и есть, один не успели вынести, она была права.

Руки у Марии заняты, мы не успеваем помочь, как ее сбивает с ног. Она скрывается под водой, все еще протягивая кверху термостат.

Я с трудом вырываю у нее из рук скользкий ящик, иначе она так и не расстанется с ним. А Женька уже ныряет, чтобы подхватить Марию, пока ее не утащило стремительным течением во тьму. Ну, у него хватит силы поспорить с бешеным потоком!

Не знаю, как мне удается добраться до твердой почвы, не утопив термостат. И тут же, сунув его Николаю Павловичу, я спешу на подмогу товарищам.

Мы вытаскиваем Марию уже без сознания. Николай Павлович начинает делать ей искусственное дыхание. Делает он это, по-моему, весьма умело, но Женя не выдерживает и отталкивает его:

— Дайте, я...

— Осторожнее, руки переломаешь! — сдерживаю я его.

Проходит, кажется, целая вечность, пока Мария, застонав, помотала головой и начала отплевываться.

— Жива? — сердито спрашивает Женя.

— А термостат?

— Тьфу!

— Осторожно. Мария Степановна, не двигайтесь!—неожиданно сказал Николай Павлович.— У вас клещ за ухом.

— Где?

— Вот он. Да не вертите вы головой! А вот второй присосался рядом.

Я присел на корточки рядом с Николаем Павловичем. В самом деле, среди мокрых волос за ухом Марии крепко присосались к коже два небольших клеща. Где она успела их подцепить?

Достав пинцет, я осторожно снял клещей и напустился на Марию:

— Где ты их подцепила? Сколько раз вам напоминать о правилах безопасности?

— Откуда я знаю? — так жалобно ответила она, что я лишь махнул рукой.

...Буря утихомирилась только к утру. Но выяснять потери у нас уже не было сил. Выбрав расщелину в скалах, где теперь, когда дождь кончился, было сравнительно посуше, мы расстелили на камнях полотнища палаток и заснули.

Проснулись в полдень, когда в расщелине стало душно, словно в оранжерее. Солнце сияло на чистом небе. Река уже почти вошла в старые берега, промыв грязевой завал. И только громадные валы подсыхающей грязи, из которой повсюду торчали принесенные с гор валуны, напоминали о ночном разгуле стихии. Да еще наш разгромленный лагерь...

От него, собственно, ничего не осталось. Его предстояло строить заново. Выбрав место подальше от предательского ущелья, мы стали перетаскивать туда уцелевшие вещи.

Чем яснее становились наши потери, тем больше мы мрачнели. Перебита почти половина лабораторной посуды. Затопило одну из клеток с мышами, и все они утонули. Где-то под слоем грязи покоился один из трех наших микроскопов. К счастью, уцелели все термостаты. Но в тот, что так безрассудно спасала Мария, все-таки затекла вода, все образцы в нем пропали безвозвратно.

К счастью, хоть ничего, кажется, не случилось с теми образцами, что мы вчера взяли у Шукри для повторного анализа. А то с какими глазами мы бы показались к нему...

Но многое из наших лабораторных материалов пострадало. С некоторых флаконов смыло все надписи и наклейки, и теперь невозможно было установить, что же в них находилось. Попробуй тут разобраться, где вирус А, где Б, а где потрудились вибрионы,— все материалы перепутались.

И это когда впереди как будто наконец забрезжил какой-то слабый проблеск и предстояло так много сделать, чтобы ринуться по следам вдруг появившегося вируса!

Мы уныло сидели на берегу, разложив вокруг для просушки свои вещички, и молчали.

— Мальчики, а это не мог нам старик подстроить? — вдруг жалобно спросила Мария.

— Что?

— Ну, эту бурю.

Я удивленно посмотрел на ее обиженное лицо, над которым из-под сбившегося платочка так забавно торчали совсем детские косички, и расхохотался.

— Если под стариком ты подразумеваешь господа бога, то права,— внушительно ответил Женя.— Но Хозяину, при всей его зловредности, такие эффекты не под силу.

— А я все-таки уверена, что без него тут не обошлось,— упрямо ответила Мария и встала.— Ладно, нечего плакать. Давайте начинать сначала. Ух, как голова трещит!..

И мы снова стали разбивать лагерь: ставить палатки, рубить жерди для лаборатории. Николай Павлович отправился искать в зарослях куда-то удравших от бури лошадей, чтобы поехать потом в поселок. Надо было закупить на базаре побольше куриных яиц, их много понадобится для размножения вирусов.

Все косточки у нас болели. Мы кряхтели, словно столетние старцы. У Женьки под глазом, затмевая солнце, сиял громадный багровый синяк. У меня ныла ушибленная камнем нога. Но постепенно мы втянулись в работу.

К вечеру лагерь был вчерне готов. Возиться с ужином не было никакого желания. Из тех яиц, что привез с базара Николай Павлович, мы, несмотря на слабые возражения Марии, решили два десятка принести в жертву и нажарили роскошную яичницу. Как добрался я до подушки, уже не помню.

А рано утром мы снова отправились добывать грызунов, птиц, клещей, москитов, чтобы пополнить уничтоженные материалы. Я возвращался в лагерь, еле волоча ноги, и на берегу реки догнал такого же усталого Женю.

— Я сегодня план перевыполнил,— похвастал он.— Даже муравьев набрал для коллекции. Наткнулся на замечательную колонию муравьев, понимаешь. Прямо муравьиное царство. Любопытный народец.

Он показал мне банку, в которой копошились и лезли друг на друга какие-то здоровенные красные муравьи, но тут же спрятал ее в сумку, поняв, что я сейчас никак не могу оценить его находку.

— Ладно, потом посмотришь,— несколько обиженно пробурчал он.

Первым, кого мы увидели, подойдя к лагерю, был Селим. Он сидел на большом камне в сторонке, на берегу.

— Тебя прислал доктор Шукри? Что случилось? — встревожился я.

— Нет, я сам, совсем пришел,— ответил Селим.

— Как — совсем? — переспросил я.

— Помогать буду. Ты же просил?

Это было здорово! Но я не стал ничего говорить, только просто крепко пожал ему руку.

ГРОЗНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Селим стал каждое утро приходить к нам. Ночевать в лагере, чтобы не тратить времени на дорогу, он категорически отказался. Мы, конечно, не стали настаивать, особенно после того, как этот сдержанный, молчаливый человек однажды об-

молвился, что его старший сын два года назад погиб от болезни Робертсона...

С помощью Селима дела у нас пошли быстрее. Он прекрасно знал, где именно водятся какие грызуны, куда местные жители обычно гоняют овец: там в первую очередь следовало проверить на вирус клещей и москитов, по каким тропам ходят здешние охотники.

Была с ним только одна трудность, и, чтобы побороть ее, мне пришлось проявить максимум «начальственной строгости». Селим никак не хотел одевать защитный костюм и особенно резиновые перчатки. И сдался лишь после того, как я решительно заявил ему, что, если он не станет беречься по нашему примеру, мы, хотя нам и очень жаль, будем вынуждены отказаться от его помощи. Рисковать его жизнью мы не имеем права.

Он подчинился.

Но я сильно подозреваю, что, оставаясь один где-нибудь на охоте за сурками, он все-таки ненавистные ему перчатки хоть на время да снимал — так стрелять удобнее.

С появлением Селима Хозяин как будто оставил нас в покое, хотя дважды, когда я проходил по горной тропе под нависшей скалой, с нее довольно подозрительно скатывались большие камни, к счастью, не задев меня. Но сам старик больше не показывался. Я видел его только один раз, осматривая как-то склоны горы в бинокль и случайно наведя его на пещеру, где он жил.

Хозяин сидел на камне в окружении своих псов, одинокий, грязный старик, совсем одичавший без людей. Кругом валялись обглоданные кости, грудами нарос всякий мусор... У меня стало как-то нехорошо на душе, но чем мы могли ему помочь? Как найти дорогу к этой одинокой, озверевшей душе, когда все ее надежды на людское несчастье, на болезнь, которую мы хотим уничтожить?

Старик сидел сгорбившись и смотрел в костер, догоравший перед ним. Потом он вдруг поднял голову. Собаки сразу насторожились, не сводя с него глаз.

В сильный бинокль мне было отчетливо видно лицо старика. Могу поклясться, что он не произнес ни единого слова. Он только внимательно посмотрел в глаза одного из лохматых псов.

И тот вдруг нехотя встал, схватил зубами за ручку закопченный чайник, валявшийся у костра, и скрылся с ним в кустах. Сомнений быть не могло: пес отправился за водой, и старик приказал ему это без слов, одними глазами!

Я смотрел как зачарованный. Через несколько минут пес вернулся, волоча в пасти чайник с водой. Старик подхватил

чайник своими култышками, сунул на уголья и начал раздувать огонь.

Когда я, вернувшись в лагерь, стал рассказывать о том, что видел, мне, конечно, не поверили. Спасибо, Селим подтвердил:

— Да, верно это, собаки все делают Хозяину. И воду носят, и хворост для костра собирают. Он такое слово знает, его все слушаются...

Селим провел нас и в те пещеры, куда мы раньше так и не могли проникнуть. К ним пришлось спускаться сверху, со скалы, обвязавшись для предосторожности веревкой. Пещеры были довольно глубокими, но узкими. Пробираться в них можно было только ползком. Ничего особенно интересного в них не оказалось: поймали шесть летучих мышей, среди густой шерстки которых, конечно, нашлись клещи, и наловили москитов, устроивших здесь гнезда.

Мария тем временем сделала повторный анализ на зараженность вирусами тех материалов, которые заново дал нам доктор Шукри.

— Во всех образцах только один вирус А,— не поднимая головы, мрачно объявила она, когда мы, как обычно, собрались вечером у костра.

— И в мозговых тканях? — спросил я.

Мария молча кивнула.

— Так,— насмешливо сказал Женя.— Не всякий блондин — светлая личность. Я был прав. Это ты сама ухитрилась занести в анализы вирус Б. Я же говорил, да что толку... Советов мы не любим, нам по душе только поддакивание.

— А откуда он у меня мог взяться, этот вирус Б? — У Маши был такой усталый и несчастный вид, что я ничего не стал говорить, хотя, конечно, она виновата, что загрязнила опыт.

Ведь образцы, данные нам доктором Шукри, не содержат никакого вируса Б, это теперь показала повторная проверка. Значит, этот вирус как-то попал в материалы уже в нашем лагере. Мы не сумели провести все опыты чисто, как полагается.

Но и Маша ведь тоже права: откуда он мог взяться, этот загадочный вирус Б? Где он прячется в нашем лагере?

— А что показывают анализы материалов, которые мы раньше проверяли на вибрионы? — спросил я.

— Почти во всех встречается вирус А,— тихо ответила Мария.

— Тебе что, нездоровится?

— Да нет, просто устала.

— А вирус Б больше нигде не попадается? — спросил из темноты Николай Павлович.

— Нет.

— Чертовщина какая-то,— сказал Николай Павлович, подвигаясь поближе к огню и смотря на меня.— Откуда же он, в самом деле, мог взяться?

— Будем продолжать анализы, пока проб еще слишком мало,— ответил я.— Может быть, и вирус Б попадется. И надо завтра же самим у себя взять пробы. Может, это кто из нас подхватил где-нибудь вирус Б и потом занес по неосторожности в материалы.

Так мы и сделали на следующий день. Мария заложила наши анализы в термостат вместе с очередной партией проб, взятых у разных грызунов, а мы отправились добывать ей новые материалы.

Но через день все работы пришлось прервать: Маша заболела.

Еще вчера ее немножко лихорадило. Заметив это, я пытался заставить Машу бросить опыты в лаборатории. Но она только сердито фыркнула:

— Пустяки какие! Просто немного простудилась в ту кошмарную ночь. Прогреюсь как следует на солнышке, и все пройдет.

Но я не мог забыть о клещах, которых мы обнаружили у нее на шее в ту злополучную ночь... Стоило их все-таки сохранить и проверить, хотя тогда нам было не до этого.

А нынче утром Маша расхворалась уже всерьез. Температура 38,4. Глаза воспалены. Ее бьет озноб. Болит голова. На шее высыпала мелкая красноватая сыпь.

Женя так смотрит на меня... А что я могу ему сказать? Все может быть.

Мария притихла. Она без всяких возражений дает нам с Николаем Павловичем для анализов кровь и спинномозговую жидкость.

Я тут же сам наношу мазки на предметное стекло, начинаю регулировать микроскоп, тщетно пытаясь унять противную дрожь в пальцах...

Приникаю к окуляру — и немею.

— Ну? — не выдержав, торопит меня всегда такой сдержанный Николай Павлович.

— Подождите! — отмахиваюсь я.

Отчетливо видно, как на алом фоне резвятся и гоняются друг за дружкой юркие вибрионы.

А это что?

Я протираю глаза, вытираю стекло окуляра...

Нет, мне не показалось: в капельке крови, взятой у Марии, несомненно два вида мельчайших микроорганизмов. Одни уже знакомы нам — это вибрионы, которых считали возбудителя-

ми болезни Робертсона, а другие... другие несколько иной формы — круглые, без жгутиков, неподвижные.

— Посмотрите вы,— предлагаю я Николаю Павловичу, уступая место у микроскопа.

Он тоже так долго молчит, что я не выдерживаю:

— Два вида?

— Два,— отвечает он, поднимая на меня недоумевающие глаза.— Вибрионы, а эти, более крупные, похоже, какие-то риккетсии?

Несколько минут мы молча смотрим друг на друга.

«Этого еще не хватало,— читаю я в его взгляде.— Два загадочных вируса, а теперь кроме вибрионов появились еще какие-то совершенно непонятные риккетсии...»

— Что же будем делать? — спрашиваю я довольно растерянно.

— Может быть, именно эти риккетсии вызывают болезнь Робертсона, а не вирусы и не вибрион? — отвечает он встречным вопросом.— А мы их раньше не замечали?

Я качаю головой. Нет, это исключено. Ни в одной из проб, взятых у погибшего охотника, мы не встречали никаких риккетсий.

Но нужно еще и еще раз проверить, ведь материалы у нас сохранились.

— Не думаю, но проверим,— отвечаю я.— А пока надо везти ее в поселок. Там и уход будет лучше, и опыт доктора Шукри нам поможет разобраться...

А сам думаю: «Может быть, сразу везти ее домой, в Ташкент?» Хотя, если это болезнь Робертсона, и там никто не сможет помочь...

Я сначала колебался: говорить ли Марии о странных результатах анализа? Но, зная ее характер, решил все-таки ничего не скрывать. И не ошибся. Узнав, что обнаружены еще какие-то риккетсии, Мария так этим заинтересовалась, что словно забыла о своей болезни. Она даже потребовала, чтобы мы разрешили ей подняться, пойти в лабораторию и своими глазами взглянуть на этих неведомо откуда взявшихся риккетсий! Но тут мы все так дружно на нее напустились, что после нашей атаки Мария даже не решилась возражать против перевозки ее в больницу.

После всех происшествий я не мог решиться оставить в лагере без охраны немногие уцелевшие у нас материалы. От Хозяина можно было ожидать новых пакостей. Поэтому мы решили, что пока в лагере останется Николай Павлович, заложит на всякий случай проверочные опыты на вирусы — вдруг и они тоже обнаружатся у Марии,— а завтра его сменит до вечера Селим, которому мы могли вполне довериться.

Пришлось немало поломать голову, как пристроить Марию в седельные сумки, ведь никакой повозки у нас не было. Но, кажется, она чувствовала себя довольно удобно, потому что по дороге еще пыталась втянуть нас с Женей в научную дискуссию:

— Все-таки я абсолютно уверена, что риккетсии не имеют никакого отношения к болезни Робертсона, как и вибрионы. Зря вы, конечно, не дали мне самой взглянуть, я бы сразу разобралась. Но голову даю на отсечение: ни в одном материале, которые мы получили от доктора Шукри, не было никаких риккетсий, только вибрионы. А они безвредны, мы уже твердо знаем. Все дело в этих вирусах...

— В обоих? — перебил ее Женя.

— Нет, конечно, в одном из них.

— А откуда же их взялось два? — напал на нее муж.— Все ты: то напутала с вирусами, теперь с этими риккетсиями. Молчала бы уж...

Она притихла и даже, кажется, задремала. Видно, ей было лихо. Но перед въездом в поселок Мария вдруг потребовала, чтобы мы дали ей пересесть в седло.

— Это еще зачем? — возмутился Женя.

— Не могу же я в таком виде появляться в поселке,— сердито ответила Маша.— Что подумают люди? Представляете, какая сразу поднимется паника? Ну, не упрямьтесь. Тут недалеко. А в больнице обещаю вам быть паинькой.

Как мы ни урезонивали ее, Мария все-таки настояла на своем и пересела в седло. Но доктор Шукри, увидев нас из окна, сразу, видимо, догадался, что произошла какая-то беда, и выскочил нам навстречу, даже не сняв халата.

Я коротко объяснил ему, что случилось, и он тут же начал отдавать распоряжения сбежавшимся санитарам.

После того как Машу перенесли в палату и доктор Шукри сам внимательно осмотрел ее, Женя остался возле заболевшей жены, а мы прошли в маленькую комнату, служившую кабинетом главному врачу.

— Что вам сказать? — задумчиво проговорил Шукри, запирая дверь.— По первым симптомам трудно судить. Вы не хуже меня видите, что это похоже на болезнь Робертсона. Но... Меня, признаться, немножко успокаивает эта сыпь. Я, к сожалению, видел многих, погибавших от болезни Робертсона. Но ни у кого из них не было такой сыпи. Иншалла! Но мы не имеем права ошибаться! Потерять эту милую, такую мужественную женщину было бы ужасно. Нет, аллах этого не допустит!

Я молчал, думая, что же делать? Вся ответственность за решение по-прежнему лежала на мне. Аллах тут не поможет.

— Давайте все-таки повторим анализы,— прервал мои размышления доктор Шукри.— Откуда они могли взяться, эти риккетсии? Как они выглядят?

Повторение анализов дало те же результаты. В крови Марии были и вибрионы, и риккетсии. А в пробах, сохранившихся от погибшего охотника, никаких риккетсий не было, только вибрионы.

Доктор Шукри задумался. Я молча смотрел на него, ожидая, что же он скажет.

— Боюсь ошибиться, но эти риккетсии весьма напоминают возбудителя клещевого сыпного тифа,— наконец проговорил он.— Болезнь эта довольно распространена в здешних краях, хотя в той долине, кажется, ее не знали, аллах миловал. Если это она, то понятно и появление сыпи. Но,— он предостерегающе поднял палец,— окончательно решать пока нельзя. Признаться, пока не найден другой возбудитель болезни Робертсона, вы меня, извините, мой дорогой, еще не убедили до конца, будто вибрионы в ней неповинны. У всех заболевших этой болезнью мы находим непременно вибрионы. Есть они, как видите, и в крови этой бедняжки, не только риккетсии, которые могли попасть в организм случайно. Так что надо быть готовыми к самому худшему.

Мне нечего было ему возразить. Ведь мы в самом деле пока не нашли подлинного возбудителя болезни Робертсона. Вирусы? Но их два, и ни один еще полностью не «уличен». Так что, в самом деле, видно, преждевременно полностью «реабилитировать» вибрион, может, все-таки он возбуждает болезнь?

— Что же вы мне посоветуете, Шукри-ата? — спросил я.— Везти ее в Ташкент, домой, или попытаться лечить здесь?

Он ответил мне встречным вопросом:

— А там, в Ташкенте, у вас найдется лекарство от болезни Робертсона?

— Нет.

— А от тифа, если это тиф, у нас кое-что есть и тут...

— Ясно,— согласился я.— Значит, будем ее лечить от тифа. И ждать.

Ждать было трудно. Марии становилось все хуже. Температура на третий день поднялась до 39,6. Кожа на шее, на месте укуса клещей, сильно воспалилась. Все нестерпимее становились головные боли. Порой Маша даже теряла сознание, не узнавала нас.

Неужели это все-таки болезнь Робертсона и переносят ее в самом деле риккетсии? И неужели нам суждено убедиться в своей ошибке такой страшной, непоправимой бедой?

Все мы по очереди непрерывно дежурили у постели боль-

ной. Почти каждый день в больницу заходил доктор Али, и хотя, конечно, он ничем не мог помочь, такое внимание нам было приятно.

В тревоге и неизвестности прошло еще два дня, пока наконец доктор Шукри после очередного осмотра больной не сказал, торжественно воздев кверху руки:

— Благодарение аллаху! Это все-таки сыпной тиф. Я больше не сомневаюсь.

У меня, признаться, сомнения еще оставались. Но кризис, кажется, и в самом деле миновал: температура начала постепенно спадать, исчезла сыпь, дело явно пошло на поправку.

А еще через три дня Мария уже настолько пришла в себя, что решительно потребовала, чтобы мы немедленно отвезли ее домой — в лагерь.

Переспорить ее, конечно, не удалось, и мы покорились, торжественно взяв с нее честное слово, что до полного выздоровления она не будет допущена к исследованиям.

Мне никак не давало покоя, откуда же взялись эти проклятые клещи, заразившие Марию? Их нападение тем более было непонятным, что обитают клещи-дермацепторы обычно на открытых местах, в ковыльной степи. Никогда раньше в окрестностях лагеря они нам не попадались, да и вообще в долине встречались очень редко.

Но факт оставался фактом. Болезнь Марии была весьма грозным предостережением. И мы решили принять особые меры предосторожности: заново тщательно обработали защитными веществами всю территорию лагеря и ближайшие окрестности, было строжайше запрещено выходить даже за валежником для костра или за водой к реке без защитных костюмов.

И лагерь теперь мы никогда не оставляли без охраны. Принять такие меры меня заставило одно загадочное и тревожное происшествие.

Мы стали продолжать охоту за грызунами и ловлю клещей и москитов. В лагере оставалась Мария, и я каждый раз перед уходом сам, несмотря на ее возмущение, запирал лабораторию, чтобы не дать ей, пока окончательно не поправится, заниматься какими бы то ни было опытами.

И вот однажды, бродя в зарослях на берегу реки в поисках клещей и звериных нор, где могли бы гнездиться москиты, я сильно устал и решил сделать небольшой привал. Выбрав на самом берегу местечко поукромнее, я прилег в тени и, кажется, немного задремал, убаюканный неумолчным говором реки.

Проснулся я от сердитого вскрика:

— Но что я могу сделать, аллах свидетель!

Я сразу узнал скрипучий и хрипловатый голос Хозяина. Он

донесся из кустов с другого берега реки, совсем узкой в этом месте.

Что это он, уже совсем спятил и разговаривает сам с собой?

Но старик там был не один! Я вдруг услышал второй голос:

— Значит, ты хочешь, чтобы тебя вышвырнули отсюда, как твоих шелудивых псов?

Кто так осмелился спорить с Хозяином? Кто еще, кроме него, решился прийти сюда, в зачумленную долину?

Второй голос мне показался тоже как будто знакомым. Где я мог слышать его раньше?

— Помоги мне во имя аллаха!—громко выкрикнул старик.

— Тише! — оборвал его второй голос и стал что-то объяснять, но так неразборчиво, что до меня долетали лишь отдельные слова: «У тебя есть... они ходят по одному... зачем... собаки...» Потом голос перешел почти на шепот, и я уже ничего не мог разобрать.

Тогда я встал, взял ружье на изготовку и вошел в воду. До противоположного берега было метров пять, не больше. Но я шел очень медленно, осторожно нащупывая ногами камни понадежнее, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Мне удалось перебраться через реку, не подняв шума. Но едва я ухватился за ветку, чтобы взобраться на берег, как из кустов на меня с рычанием кинулись сразу два пса! Конечно же, старик выставил надежную охрану.

Отбиваясь от них, я начал отступать вдоль берега, стараясь все время держаться под прикрытием кустов. Кто знает: не попробует ли таинственный собеседник старика подстрелить меня как единственного нежелательного свидетеля их беседы? Ведь они явно замышляли что-то недоброе и, очевидно, против нас. А подстрелить меня посреди реки было проще простого.

Но, на мое счастье, в кустах все было тихо. И псы вскоре оставили меня в покое, скрылись в зарослях, видимо отозванные каким-то сигналом Хозяина.

Отойдя подальше, я поспешно перебрался на свой берег, пригибаясь, будто в самом деле где-то на фронте, под пулями, и поспешил в лагерь.

Событие было достаточно тревожным и неприятным. Видимо, мы мешали не только одному Хозяину. Были и другие, весьма заинтересованные в том, чтобы помешать нам спокойно работать. Кто? Почему?

Я решил при первом же посещении поселка поставить об этом в известность доктора Шукри и местные власти, а нам всем в дальнейшем быть настороже.

В такой напряженной обстановке мы продолжали исследования. Первым делом я, конечно, занялся нашими анализами, которые мы сделали перед тем, как слегла Мария. Все пробы оказались чистыми. У меня и у Маши, правда, как и раньше, нашлись в крови вибрионы, в безвредности которых мы теперь не сомневались. Но ни у кого из нас не было никаких вирусов.

Это было, разумеется, приятно, но на душе у меня легче не стало. Ведь загадочный вирус Б откуда-то появился. Он до сих пор преспокойно жил и размножался, разрушая культуру клеток в одном из наших термостатов.

А через несколько дней мы наконец обнаружили его и в крови одного из клещей, пойманного Николаем Павловичем на самом дальнем пастбище, в предгорьях. Мы немедленно отправились туда, тщательно осмотрели это место и поймали еще шесть клещей, подозрительных на вирус Б. Но загадка его появления в наших лабораторных материалах от этого не прояснялась. Ведь никогда прежде никто из нас еще не бывал на этом отдаленном пастбище, а в материалах, добытых из других мест, вирус Б нам ни разу не попадался. Как же он попал к нам в анализы? И какое отношение он может иметь к болезни Робертсона, если встречается так редко и в самых глухих местах, отдаленных от людских поселений?

Зато с вирусом А все почти повторялось, как и с вибрионами. Мы находили следы его пребывания в крови сурков, песчанок и всяких других грызунов. Эти вирусы переносились москитами, пойманными в самых различных уголках долины. Их нашли даже в крови муравьев! Мария в самом деле не удержалась и взяла под контроль даже этих безобидных лесных тружеников, как ей шутя посоветовал Женя.

Все как и с вибрионами. Опять подозревать всех? Только «для разнообразия» теперь «чистыми» оказались клещи: ни в одном из добрых трех тысяч проверенных нами клещей не оказалось вируса А!

НИТОЧКИ ОБРЫВАЮТСЯ

Так прошла неделя в однообразной и довольно монотонной работе. Мы ловили полевок, стреляли птиц, собирали в пробирки москитов. Мария уже совсем поправилась, возилась в лаборатории, закладывая в термостаты все новые и новые партии яиц, зараженных вирусами,— Селим чуть не каждое утро привозил свежие с базара. А потом ждали результатов...

Вечерами, чтобы скоротать ожидание, болтали у костра по возможности на отвлеченные темы. Пели, читали стихи.

Женя каждый вечер возился со своими муравьями, под-

кармливал их сахарным сиропом, сортировал по банкам, пытался даже устроить в лагере настоящие муравейники, притаскивая из леса сухие веточки и охапки душистой хвои.

А потом мы опять собирались вокруг костра и возвращались все к тому же проклятому вопросу: что же делать дальше?

Основное внимание мы решили уделить пока вирусу А, раз он встречался повсюду. В термостатах уже накопилось несколько десятков пробирок и плоскодонных флаконов — «матрацев» — с культурой этого вируса, добытого из москитов и различных животных. Но опять, как и с вибрионами: ни одной подопытной мыши или морской свинки нам этим вирусом пока заразить не удавалось.

Может быть, и он так же ни в чем не повинен, как и вибрион? Или вирус А поражает лишь человека?

Теперь мы стали умнее и, не откладывая, решили повторить опыт, который уже один раз помог нам. Отправились в поселок и уговорили четверых беженцев из нашей долины дать для анализа кровь.

Три дня ожидания, пока под защитой тонкой яичной скорлупы должны размножаться вирусы-невидимки. Есть они или...

И вот мы приникаем с Марией к микроскопам.

Один срез — чисто.

Второй срез — чисто. Никаких следов разрушительной работы вирусов.

Третий анализ...

Есть! В микроскопе отчетливо заметны среди сплошного пласта нормальных клеток целые гнезда разрушенных невидимкой-вирусом. Это именно вирус А, знакомые следы. Но...

Но ведь пожилой таджик, носивший в своем жилистом теле эти вирусы, жив и здоров! Значит, и вирус А ни в чем не повинен, как и вибрион?

И у него алиби?

Четвертый срез — чисто, никаких следов ни вируса А, ни вируса Б.

— Заколдованный круг какой-то! — возмущенно сказала Мария, сердито отодвигая от себя микроскоп.— Или этот вирус отличается от тех, что я выделила первыми из мозга погибшего охотника?

Она подумала и уныло добавила, вопросительно глядя на меня:

— Без электронного микроскопа нам в этих вирусах не разобраться. Надо ехать в институт. И оборудование пополним. Так работать нельзя — ни посуды, ни пробирок. Два микроскопа осталось, разве это работа? И термостатов еще хоть парочку непременно надо.

Неужели мы опять шли по ложному следу? Но кто же тогда вызывает болезнь? Вирус Б? Не похоже. Он не попался нам ни у кого из беженцев. Но проверить надо. Как?

Да, опознать вирусы можно лишь под электронным микроскопом, дающим увеличение в десятки тысяч раз большее, чем наши обычные. А без этого нельзя двигаться дальше.

Кроме того, в институте удастся проверить оба загадочных вируса на обезьянах. Может, они восприимчивы к болезни — или одни лишь люди?

И оборудование в самом деле необходимо пополнить, Мария права. Ночная буря нанесла нам серьезный урон.

Через день мы с Машей, захватив образцы всех вирусных культур, отправились в дальний путь через горные перевалы верхом на лошадях, потом на автомашине, любезно предоставленной нам местными властями, по новому шоссе до границы и дальше в Ташкент.

Перед отъездом я рассказал доктору Шукри о таинственном, случайно подслушанном мной разговоре. Он был так поражен, что, кажется, даже не сразу мне поверил.

— Кто это мог быть, о аллах? — негодующе восклицал доктор.— Я допускаю, что этот темный старик... Но чтобы кто-то еще замышлял против вас недоброе... Позор! Я сегодня же, сейчас же пойду сам к хакиму[1]. Он примет меры.

Приятно было снова вернуться к цивилизации: ехать с аэродрома в такси, пройтись по тенистому бульвару среди цветников; приятно было войти в такой знакомый вестибюль института, вдохнуть еще с порога лаборатории привычный запах формалина, обняться с друзьями...

...Электронный микроскоп впервые дал нам возможность увидеть убийцу воочию или следует его пока называть «подозреваемым», если вспомнить ошибку с вибрионами.

Прежде всего был опознан загадочный вирус Б, хотя и не сразу. Нам пришлось провести несколько часов, до боли в глазах рассматривая фотографии различных вирусов в картотеке и сравнивая с ними «портрет» нашего вируса Б.

Оказалось, что он вовсе не был новым, мы не открыли его. К общему удивлению, в нем удалось опознать возбудителя уже известной болезни — так называемого лошадиного энцефаломиелита!

Этой болезнью от лошадей могут заражаться и люди. Но все равно оставалось непонятным, как же попал этот вирус в некоторые из наших анализов. Через наших лошадей? Но ни одна из них пока не заболела. Придется проверить их, когда вернемся в лагерь.

---

[1] Начальник уезда.

Зато вирус А оказался действительно новым, еще неизвестным науке. Снова и снова рассматривали мы пробы, взятые из мозга покойного охотника: вот они — серые шарики на сером фоне. Размеры их ничтожно малы — всего одиннадцать тысячных микрона. Они свободно проникают даже через поры самого плотного керамического фильтра. Неужели это они убили человека?

Теперь Маша помещает под электронный микроскоп кусочек ткани, клетки которой разрушены вирусом, обитавшем в теле беженца таджика, оставшегося здоровым... Я вижу, как она волнуется. Еще бы, ведь вот сейчас все может разъясниться. Мы узна́ем: один и тот же это вирус или они разные?

Маша так долго смотрит в микроскоп, что я не выдерживаю:

— Ну?

— По-моему, они совершенно одинаковы,— упавшим голосом говорит она.— Посмотри сам.

Да, она права. Точно такие же серые шарики на сером фоне. Но одни убивают, а другие нет. Почему?

К сожалению, у нас нет еще столь мощных микроскопов, которые позволили бы заглянуть внутрь вируса. Может быть, у них различное строение, хотя они и неотличимы на вид?

Теперь останется проверка на обезьянах. Мы вводим одной группе концентрированную культуру того штамма, что убил охотника. Контрольная группа получает вирус, взятый из проб крови здорового жителя долины.

Проходит три дня... Неделя... Десять дней.

Обезьяны здоровы! Все до одной.

Мы берем у них для анализа спинномозговую жидкость. В ней почти не осталось вирусов. Они не прижились, погибли, не причинив обезьянам ни малейшего вреда.

Вечером мы докладываем об этих неутешительных результатах профессору Ташибаеву, нашему научному руководителю. Он слушает, не прерывая, расхаживает по просторному кабинету, заложив за спину руки и склонив коротко остриженную седую голову. Иногда он вдруг останавливается и вроде бы начинает, совсем забыв о нас, внимательно рассматривать узор на ковре, застилающем пол...

— Так,— сказал профессор, когда я закончил рассказ о наших исследованиях. Подняв голову, он смотрел на нас задумчиво, но с какой-то легкой насмешкой.— Трудный орешек попался, а? Давайте все-таки подведем хоть какие-то итоги.

Ташибаев подошел к обычной школьной доске, занимавшей почти всю стену кабинета, и взял в руки мелок. Эту привычку его мы хорошо знали.

— Итак, что же все-таки вам удалось выяснить? Первое: обнаружен новый, прежде неизвестный науке вид вируса, особенно активно размножающийся в нервных тканях...— Рассуждая, он аккуратно записывал каждый пункт на доске.— Второе: есть серьезное подозрение, что именно этот вирус, а вовсе не вибрионы, вызывает болезнь Робертсона, будем пока называть ее так, по-старому... Третье: вирус этот патогенен только для человека, ни одного случая заражения им различных лабораторных животных, включая обезьян, не установлено.

Ташибаев замолчал и несколько минут опять в задумчивости расхаживал по кабинету, склонив голову и рассматривая узоры на потертом ковре. Потом вернулся к доске и, поскрипывая мелком, вывел четвертый пункт.

— Однако исследование вирулентности вновь открытого вируса осложняется тем, что он имеет некоторые штаммы или разновидности, не отличимые по внешнему виду, которые безвредны для человека.

Профессор положил мел, тщательно вытер руки и, повернувшись к нам, спросил:

— Кажется, все?

— А вирус Б? — спросила Мария.

— Что — вирус Б? — насупился профессор.— Никакого вируса Б не существует. Есть возбудитель лошадиного энцефаломиелита, которого где-то подцепил ваш охотник. Или вы сами занесли его в лабораторию. Так что следите лучше за чистотой опытов, а не думайте больше об этом вирусе. Дай бог с основным разобраться.

Опять он начал молча ходить по кабинету. Мы думали об одном: как дальше подступиться к этому хитрому вирусу и «уличить» его?

— Я вижу лишь один выход, Умурзак Расулович,— сказала Мария, откидывая прядку волос со лба.

Ташибаев повернулся так резко, что не дал ей договорить.

— Запрещаю! — строго сказал он.— Опыт на себе категорически запрещаю.

— Но что же делать? — Маша начинала злиться.

Впрочем, профессор ее тоже знает не первый год.

— Наверняка будут еще случаи заболеваний,— задумчиво сказал Ташибаев.— Они дадут вам материал для новых анализов. И если каждый раз обнаружится этот вирус, патогенность его можно будет считать доказанной и без дополнительной проверки. Гораздо важнее сейчас выяснить, кто переносит и распространяет болезнь...

Маша пыталась перебить его, но профессор остановил ее властным взмахом руки и продолжал:

— Это нелегко, я прекрасно понимаю, поскольку вирус вы нашли и в песчанках и в москитах. Может быть, это различные штаммы вируса, а какой именно вирулентен, мы пока определить не можем. Все равно нужно выявить наиболее вероятных переносчиков и попробовать прервать цепочку в этом звене, поставить преграду болезни. А мы здесь попытаемся из ваших материалов создать лечебную вакцину. Возбудитель оспы был открыт лишь через сто лет после того, как Дженнер предложил делать прививки от этой болезни. Сколько людей было этим спасено, хотя наука и не знала виновника заболеваний! — Он внимательно посмотрел на Машу и, погрозив пальцем, добавил: — Еще раз повторяю: никаких рискованных опытов! Поверьте мне: болезнь сама еще даст вам немало материала для дальнейших исследований.

А когда мы зашли к нему попрощаться перед отъездом, профессор Ташибаев задержал меня в кабинете, крепко ухватил за пуговицу пиджака и внушительно напутствовал:

— Очень прошу вас, Сережа,— будьте неумолимым начальником. Пока не установлен бесспорно ни возбудитель, ни переносчик болезни, все вы ходите по лезвию бритвы. Понимаешь? Одно неосторожное движение — и... Требуй, чтобы все строго соблюдали меры предосторожности. И особенно следи за Машей!

УДАР В СПИНУ

Я раздобыл в Ташкенте маленькую переносную гидростанцию; в разобранном виде ее легко было перевезти в тюках на лошади. Мы установили ее на берегу Черной воды и устроили настоящую иллюминацию по случаю возвращения в лагерь.

Николай Павлович и Женя приготовили нам торжественную встречу. Накануне Женя ходил с Селимом в горы, и наконец подстрелили архара. Мы сидели у костра, уплетали шашлык, запивая его чешским пивом, привезенным из Ташкента, а над нашими головами, затмевая звезды, сияли четыре лампочки по триста свечей.

— Хозяин решит, что мы подожгли речку,—сказал Женя.— Ну что, теперь чайку?

— Не беспокоил он вас тут? — спросил я.

— Нет, притих.

— И ничего... подозрительного больше не было?

— Вроде нет,—пожал плечами Женя и добавил многозначительно: — Хотя чей-то сигаретный окурочек я нашел в траве...

— Где?

— Неподалеку от лагеря.

Значит, кто-то бродит возле нашего лагеря. Кто он? И что ему надо?

Сегодня, когда мы заглянули в больницу, чтобы рассказать о привезенных новостях и подарить кое-какое оборудование, доктор Шукри сказал, что, как ни печально, я был прав в своих подозрениях.

— Кто-то в самом деле наведывается к вам в долину. Доктор Али говорил мне, что однажды он осматривал овец на пастбище возле дороги, ведущей к вам в долину, и заметил какого-то незнакомого человека, спускающегося с перевала. Он окликнул его, но незнакомец пришпорил лошадь и быстро ускакал.

— Как он выглядел?

— Али не разглядел как следует, заметил только, что он был на белой лошади. Это не здешний, поверьте мне. Никто из местных не решится заглянуть в долину. Даже жандармы боятся, а то бы хаким непременно дал вам охрану.

— Ну, охрана нам не нужна...

Возле ламп тучами вились москиты. Я не удержался и расстелил на земле лист бумаги, смазанный маслом. Москиты обжигались, падали на бумагу и прилипали к ней. Оставалось лишь собрать их и рассортировать по пробиркам.

— Видать, соскучился ты по исследовательской работе,— подтрунивал надо мной Женя.— А нам тут без вас все уже порядком надоело, правда, Николай Павлович?

— Ладно,— напала на него Мария.— Вот мы утром проверим, что ты тут без нас сделал полезного. Небось все со своими муравьями возился.

— А что? Похоже, мои наблюдения принесут больше пользы для науки. Есть тут неподалеку от селения большая колония муравьев-жнецов. Крупные такие, головастые. Я за ними специально слежу. Питаются они исключительно семенами, а хранят их в особых кладовых, которые непременно должны располагаться во влажной почве. Так что по гнездам этих муравьев можно уверенно искать, где ближе к поверхности прячутся подземные воды. Я начал такую схемку составлять, вот вам и реальная польза.— Женя потянулся и повернулся к Николаю Павловичу.— А вы чего молчите? Николай Павлович тут без вас настоящее открытие сделал. Только скромничает, молчит.

— Что за открытие? — спросил я.

Николай Павлович пожал плечами:

— Да так... Некоторые любопытные наблюдения над овцами...

— И архарами,— вставил Женя.— Мы тут без вас частенько охотились, материал был.

— Да, и над архарами,— кивнул Николай Павлович.— Завтра я вам покажу записи.

— Но в чем все-таки дело? Что такое? — нетерпеливо спросила Мария.

— Эти вибрионы поражают копыта у овец. Я специально, когда ходил в поселок, осматривал стада, пригнанные из этой долины. У очень многих овец сильно повреждены копыта. Брал у них кровь на анализ, мне тут доктор Шукри помог, и каждый раз обнаруживал вибрионы. Я вам завтра покажу материалы. И архары страдают этим заболеванием.

Я рассеянно киваю и, чтобы не обижать Николая Павловича, соглашаюсь:

— Хорошо, вставим в план работ.

А сам думаю: когда нам заниматься овечьими болезнями, если смерть ходит кругом и уносит людей? Овцы подождут, и пусть ими ветеринары занимаются.

Мария, видно, думала примерно то же самое, потому что, невежливо зевнув, сказала:

— Любопытно, но давайте спать. Очень я устала.

С утра мы взяли анализы у всех наших лошадей на вирус энцефаломиелита, доставивший нам так много хлопот и тревог, заложили их в термостат и снова разбрелись по маршрутам (забегая вперед, скажу, что все лошади оказались здоровы и загрязнение материалов вирусом Б опять пока так и осталось загадочным).

Меня несколько задело, что Селим в этот день не пришел: ведь мы не виделись почти две недели. Хотя его и вчера не было. Видимо, задержали какие-то дела по хозяйству, а то бы он непременно пришел нас встретить.

Но дела оказались гораздо серьезнее.

В полдень я, ловя в зарослях москитов, вдруг услышал со стороны перевала три глухих выстрела. Это был условный сигнал тревоги, но кто его мог подавать: ведь в той стороне никто из наших сегодня не работал?

Через некоторое время выстрелы прозвучали снова — три подряд. И теперь я разглядел в бинокль: над перевалом поднимается черный дымок. Похоже, там кто-то зажег сигнальный костер, пытаясь привлечь наше внимание.

Я поспешил в лагерь, где Мария сегодня работала в лаборатории.

— Слышал, Сережа? — бросилась она ко мне навстречу.— По-моему, это какие-то сигналы.

— Похоже.

— Что бы это могло быть?

— Не знаю. Сейчас поеду туда.

Быстро оседлав лошадь, я поскакал на перевал. Там меня

поджидал у дымного костра знакомый старичок санитар из поселковой больницы.

— Селям алейкум, ата,— приветствовал я его.— Что случилось?

Он молча протянул мне сложенный листочек бумаги, подавая его так, чтобы ненароком не прикоснуться к моей руке даже кончиками пальцев. Это сразу меня насторожило.

Я развернул листок и прочитал:

Уважаемые коллеги! Заболел Селим. Было бы хорошо, если бы кто-нибудь из вас приехал. Да хранит вас всемогущий аллах!

С искренним почтением.
Доктор Шукри.

Пока я читал, санитар уже успел сесть на лошадь, дремавшую в тени скалы.

— Подожди, ата, я поеду в поселок, а ты скачи в наш лагерь, я дам записку, что нужно привезти.

Он испуганно замотал головой и начал нахлестывать свою лошаденку. Было ясно, что спуститься к нам в долину его не заставишь никакими силами. Придется мне вернуться самому в лагерь, чтобы оповестить товарищей.

— Скажи доктору, что мы скоро приедем! — только и успел крикнуть я вдогонку перепуганному посланцу, и он уже скрылся за поворотом.

Мы с Марией и Николаем Павловичем приехали в поселок уже под вечер. Весть о болезни, видимо, уже встревожила всех. Проезжая мимо притихшего базара, мы ловили настороженные, враждебные взгляды.

Сумрачный и неразговорчивый, против обыкновения, доктор Шукри показал нам первые записи в истории болезни Селима. Доставлен в больницу вчера, но недомогание чувствовал уже за два дня до этого. Сейчас температура 39,2, одышка, жалуется на ломоту в суставах...

— Может быть, тоже сыпняк? — спросил я.

Доктор Шукри развел руками и коротко ответил:

— Но на этот раз сыпи нет.

Его опытности можно было довериться, мы уже убедились. И все-таки меня не оставляла надежда, что Шукри ошибся. Пусть это не сыпняк, а какой-нибудь энцефаломиелит, только бы не...

Но прошел еще день, и нам всем стало ясно: да, это болезнь Робертсона. И мы уже знали, что будет дальше. Завтра у Селима начнутся дикие головные боли, от которых этот сильный и всегда сдержанный человек станет метаться в беспамятстве и бросаться на стены. Он будет худеть у нас на

глазах, превращаясь в скелет, обтянутый желтой кожей, и мы ничем не сможем помочь ему. Еще через два дня нашего друга Селима разобьет паралич. А затем остановится сердце...

Селим лежал в той же маленькой палате на втором этаже, где когда-то мы впервые увидели, как убивает людей эта страшная болезнь. Когда мы вошли, он еще нашел силы улыбнуться нам и приветственно приподнять слабую, исхудавшую руку.

— Как же это ты, Селим? — спросил я, наклоняясь над ним и пожимая эту руку, спасшую меня от гибели.

— Иншалла,— виновато ответил он. Потом осторожно отстранил меня и добавил, обращаясь к доктору Шукри: — Господин Шукри, я прошу записать, что русские друзья ни в чем не виноваты. Я сам, по своей воле, вызвался помогать им. Не их вина, если всемогущий аллах карает меня смертью. На все его воля.

Мы сделали несколько инъекций. В лихорадочно горящих глазах Селима я читал страстную надежду, что наши лекарства все-таки каким-то чудом спасут его. Но мы-то знали, что бессильны против этой болезни. В лучшем случае удастся лишь немного умерить боль на первое время.

Мы были бессильны. И болезнь неотвратимо убивала его на наших глазах, точно так, как было известно заранее.

Он скрипел зубами и метался от боли, не узнавая нас, и мы помогали санитарам скручивать ему руки, привязывали его к железным прутьям кровати...

На третий день Селим впал в беспамятство. Лицо его исказил паралич. К вечеру четвертого дня все было кончено.

На похороны мы не пошли. Доктор Шукри сказал, что дервиши на базаре распространяют о нас всякие вздорные слухи, лучше нам не появляться на людях, пока не улягутся страсти.

— К тому же начался, как говорил мне доктор Али, какой-то непонятный мор среди скота,— добавил он, отводя глаза.

— И считают, будто в нем виноваты мы? — спросил я.

Доктор Шукри молча кивнул и развел руками.

Теперь мне стало понятно, почему за все время болезни Селима нас ни разу не навестил доктор Али. Ему было не до нас. Но неужели и он разделяет эти вздорные суеверия? Я видел его как-то раз мельком на улице, приветственно помахал ему, но он почему-то не ответил, хотя не мог не заметить меня. Обидно!..

Мы покинули поселок рано утром, как воры, увозя с собой образцы крови поврежденных болезнью тканей и мозга нашего покойного друга...

Всю дорогу мы ехали молча, погруженные в невеселые думы.

Враг по-прежнему неуловим. Мы его ищем, словно в прятки играем с завязанными глазами. А убийца вот он, рядом и нанес удар в спину.

Вернувшись в лагерь, мы так же молча, угрюмо поужинали и разошлись по палаткам.

Я долго не мог уснуть, все перебирая в уме факты, которые мы установили. И все больше убеждался, что мы почти не продвинулись вперед. Признать это было горько.

Николай Павлович тоже не спал, тяжело вздыхал, ворочался рядом в темноте. Но молчал, словно мы оба сговорились притвориться спящими.

Утром за завтраком Женя уныло спросил меня:

— Ну, шеф, какие будут дальнейшие указания?

— Как обычно,— ответил я, пожав плечами.

— Снова стрелять все, что под руку подвернется?

— А ты можешь предложить какой-то более продуманный план?

— Сергей прав,— вмешалась Мария.— Пока у нас нет никакой даже самой тоненькой ниточки, за которую можно было бы ухватиться, остается одно — набирать как можно больше материалов.

Женя молча встал, закинул на плечо винтовку, хмуро буркнул:

— Я обойду заречную часть.

— Хорошо,— кивнул я.

Он, сутулясь, ушел. Мария, наскоро помыв посуду, ушла в лабораторию работать с препаратами — с новыми препаратами, пополнившими нашу коллекцию со смертью Селима...

А я сел за стол под тентом, чтобы написать докладную о трагическом ЧП — гибели Селима. Ведь он был членом нашей экспедиции, я нанял его, платил ему зарплату. И теперь обязан составить докладную по всей форме, чтобы телеграфом переслать в институт.

Долго я всячески оттягивал это невеселое занятие: перекладывал бумажки на столе, искал камень потяжелее, чтобы придавить их этим камнем вместо пресс-папье... Потом долго передвигал стол, чтобы он как можно дольше оставался в тени.

Но писать все-таки надо. А что?

Я задумался, сжимая виски кончиками пальцев.

— Ты что, не слышишь? — наконец добрался до моего сознания раздраженный голос Марии; она выглядывала из палатки.— Кричу, кричу, а ты словно оглох.

— Ты же видишь, что я занят делом.

— Помешала? Извини, пожалуйста. Но мне нужен свежий глаз. Тут что-то непонятное.

— Что?

— Иди сюда и посмотри.

С удовольствием покинув место своей казни, я пошел в лабораторию.

— Ну, что?

— Посмотри в микроскоп.

Я посмотрел. Без всяких вопросов было ясно, что передо мной капелька крови покойного Селима. И на этом алом фоне весело сновали и резвились давно знакомые вибрионы.

— Ты ничего не замечаешь? — тихо спросила над самым моим ухом Мария.

— Нет. А что?

— Может, мне это кажется... Глаза устали. Но, по-моему, они разные. Тебе не кажется?

Я снова склонился над окуляром. Обычные вибрионы, все одинаковые.

— Некоторые как будто движутся медленнее, лениво,— сбивчиво зашептала Мария, жарко дыша мне в самое ухо.— И они чуть-чуть потолще... словно раздуты. Видишь?

Пожалуй, в самом деле вот этот вибрион движется медленнее, чем другие. Они обгоняют, подталкивают его... Но внешне он ничем не отличается от них.

А вот еще один, тоже заметно медлительнее прочих. И, похоже, в самом деле, прозрачное тельце его слегка раздуто в боках...

— Ну что ты молчишь? Видишь ты что-нибудь или это мне показалось?

Я отрываюсь от микроскопа. Некоторое время мы с Марией молча смотрим друг на друга, словно пытаясь так, без слов, обменяться мыслями. Потом я спрашиваю:

— Ты думаешь, что это два разных вида?

Мария пожимает плечами, и я отвечаю сам себе:

— Вряд ли. Они совершенно идентичны...

— Только медленнее двигаются,— перебивает меня Мария.

Мы снова задумываемся, глядя друг другу в глаза.

— У тебя сохранились...

— Да,— отвечает она, поняв меня с полуслова, и бросается к термостату.

Я молча слежу, как она вынимает из него пробирки, в которых живут и размножаются на питательных тканях потомки тех вибрионов, что добыл еще доктор Шукри из крови больных, погибших в канун нашего приезда.

Мы переглядываемся с Марией и опять понимаем друг друга без слов. Похоже, что это одни и те же вибрионы, а вовсе не два разных вида. Но часть из них поражена какой-то болезнью и лишь постепенно заражает и остальных. Может быть, именно эти «больные» вибрионы и разят людей?

А что их делает «больными»? Вирус? Тот же самый, которого мы находим опять-таки всюду — и у больных, и у здоровых людей и животных? Неужели он становится опасным, лишь поразив сначала вибрион?

— Ты сможешь как-то отделить «больные» вибрионы от нормальных? — спрашиваю я.

— Конечно.

— И взять вирусологические пробы тех и других?

— Надеюсь.

Да, но ведь придется ждать несколько дней, пока будут какие-то результаты!

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

Никто из нас не подозревал, какой оборот примут дальнейшие события и как они вдруг обрушатся на нас одно за другим, словно лавина...

Надо было снова ждать, а лучшим лекарством при этом, как я уже много раз убеждался, была работа. И с утра я отправился в горы над рекой — ставить ловушки на сурков. Для новых исследований нам понадобятся живые зверьки.

Когда солнце стало припекать невмоготу, я решил передохнуть и стал искать среди скал хоть небольшой клочок спасительной тени. Забрался в одну расщелину — нет, тут испечешься быстрее, чем на раскаленной сковородке. Полез дальше... И вдруг заметил черневшее в скале отверстие.

Несомненно, это был вход в пещеру, в которой никто из нас еще не побывал. Надо бы осмотреть ее. Там наверняка прячутся днем летучие мыши, их тоже стоило добыть хоть парочку живьем. А где мыши, там и москиты, клещи. Очень важно узнать, какие вибрионы носят они в себе — обычные или «больные»?

Добраться до пещеры было трудновато. Ход в нее располагался метра на полтора выше того места, где я стоял. Отвесная скала над рекой, перекатывающей внизу камни. Прийти сюда завтра с Женей или Николаем Павловичем и спуститься сверху на веревке? Во всяком случае, осмотреть пещеру нужно непременно, и чем скорее, тем лучше. Это ведь остался, пожалуй, один из немногих уголков, пока не исследованных нами.

Кто знает, может, именно здесь нас и ожидают какие-нибудь открытия.

Я уже научился карабкаться по здешним горам. Скала неровная, с выступами. Вот сюда можно поставить ногу, за тот выступ уцепиться... А дальше? Дальше есть небольшой карни-

зик, по нему можно пройти, вполне уместятся обе ноги. Зато в пещере сейчас прохлада...

Я полез. Все шло благополучно; я успешно добрался до карнизика, решил немного постоять на нем и передохнуть. Дальше, похоже, будет еще проще.

И тут вдруг огромный камень, лежавший на краю скалы прочно и недвижимо, наверное, уже долгие века, качнулся, сдвинулся с места и начал медленно валиться на меня...

Я отшатнулся, потерял опору под ногами. И все потемнело в глазах от страшного удара, будто я провалился сквозь землю...

Очнулся я от резкой боли где-то в ноге. Полная тьма. Пробую открыть глаза — все равно ничего не вижу: что-то плотно сжимает мне голову.

И вдруг отчетливо слышу почему-то голос доктора Шукри. Откуда он взялся? И почему он говорит кому-то:

— Тампон...

— Где я?

Откуда-то взялась Мария и радостно восклицает:

— Он очнулся, доктор! Слышите?

Почему я не вижу ее?

Я шарю вокруг правой рукой, пытаясь выбраться из этой непонятной тьмы,— левая почему-то не двигается — и к полнейшему удивлению нащупываю не камни, а накрахмаленную простыню, край стола. Как я попал на этот стол?

— Якши, доктор, якши? — безбожно коверкая язык, допытывается у кого-то Мария.

И невидимый понимает ее, отвечает уклончиво знакомым голосом доктора Шукри:

— Иншалла...

Конечно, это он. Его любимая отговорка.

— Где я? — снова пытаюсь я приподняться.

— Лежи, лежи!—Ласковые руки Марии осторожно, но настойчиво придерживают меня за плечи.— Ты в больнице.

— В какой больнице? Зачем?

— Ты сорвался со скалы, понимаешь? Тебя немножко засыпало камнями... Но это не опасно, раз ты очнулся. Мы привезли тебя сюда, сейчас доктор Шукри-ата закончит перевязку, и все будет в порядке.

Неужели это старик столкнул на меня камень? А я уж думал, что он оставил нас в покое.

— А почему ничего не видно? Я что — ослеп?

— Ну что ты! — пугается Мария.— Просто у тебя лицо... немножко поранено, не пугайся. Пришлось на время забинтовать голову. А вот и Женя идет, он готовил тебе палату.

— Зачем мне палату? Везите меня обратно в лагерь.

— Нельзя, дорогой, нельзя,— вмешивается доктор Шукри, видно, понявший мое желание.— В походных условиях весьма трудно соблюдать антисептику, не вам мне это объяснять. А здесь вы будете как дома, мы приложим все силы.

— Доктор Шукри, я знаю, как у вас тесно,— пытаюсь я спорить, вертя головой и стараясь догадаться, где он стоит.

— Нельзя, дорогой, нельзя,— отвечает он совсем с другой стороны, чем я ожидал.

Товарищи мои уезжают в лагерь продолжать работу, а я остаюсь в больнице. Скучно и невесело лежать забинтованным, не видя буквально света белого. Да и к тому же мысли довольно мрачноватые одолевают: только что-то начало проясняться, работы непочатый край, и вот в такое горячее время я так глупо вышел из строя.

Каждую свободную минутку заходит доктор Шукри, и мы ведем с ним длинные медицинские беседы, пока его не вызовут к очередному пациенту. За мной все ухаживают, словно за самым дорогим гостем. Повар Бедиль лично приходит каждое утро и не отступается от меня, пока не закажу что-нибудь повкуснее на обед.

Дважды заходил доктор Али справиться о моем здоровье. Держался он опять приветливо, как и прежде, и я даже не решился расспрашивать его об этом падеже скота, который связывали с болезнью Селима и приписывали нам какую-то вину. Видимо, все окончилось благополучно, зачем затрагивать неприятные темы...

Но вот доктор Шукри снимает наконец-то опостылевшую повязку, и я, жмурясь от яркого света и помаргивая, словно прозревший слепец, разглядываю в зеркале свое покореженное лицо.

Я ждал, что меня навестит Мария и обо всем расскажет, но через день приехали Женя с Николаем Павловичем и даже вдвоем не могли рассказать ничего нового.

— Опытов заложено много, но результатов придется еще подождать денька два, вы же сами должны понимать, Сергей Николаевич,— увещевал меня Николай Павлович.

— Понимаю,— вздохнул я.— А как ваши исследования?

— Какие?

— Да с копытами.

Николай Павлович помрачнел и махнул рукой:

— Да оказывается, это уже известно. Доктор Али сказал мне, что давно изучает эту болезнь скота и уже отправил статью куда-то... в какой-то английский журнал.

— Ну, это ничего не значит,— попытался я его утешить.— Ваши исследования тоже могут оказаться интересными. Разве дело в приоритете?

Николай Павлович посидел у меня немного и заспешил на базар, а Женя еще остался. От огорчения, что нет пока никаких приятных новостей, я, признаться, разговаривал с ним довольно вяло и неохотно.

— Чего ты злишься? — спросил он.

— А чего ты мне не можешь ничего толком рассказать, что у вас там делается?

— Ты же знаешь Марию. Ничего она нам не докладывает, а возится в лаборатории каждый день до полночи.

— Возится, да толку что. А ты небось все с муравьями забавляешься...

— А что, у них тоже есть чему поучиться. Я вчера наткнулся на колонию горных черных муравьев. Они знаешь как ловко умеют от холода спасаться? Как морозец ударит, начинают глицерин вырабатывать, бывает, до десяти процентов от собственного веса. Давно ли мы додумались добавлять глицерин в радиаторы, чтобы они не замерзали? А природа, оказывается, запатентовала это изобретение, наверное, несколько миллиардов лет назад.

Мы помолчали. Потом я сказал, положив ему руку на плечо:

— Ладно, старик, ты меня извини. Просто надоело тут лежать.

— Понятно...

Мария приехала через два дня, когда я уже всерьез подумывал ночью вылезти в окно, спуститься со второго этажа по столбику террасы и сбежать в лагерь.

Я уже раскрываю рот, чтобы обрушиться на нее за то, что так долго держала меня в полнейшем неведении, но Маша опережает меня.

— У всех заболевших два вида вибрионов, а у здоровых — только один! — выпаливает она, еще стоя в дверях.

Так... Неужели мы нащупали заветную ниточку?

Через минуту мы сидим с ней прямо на полу, не обращая внимания на негодующие монологи славного доктора Шукри, тщетно призывающего на помощь аллаха. Мария раскладывает передо мной целую кипу лабораторных записей, анализов, графиков, выписок из историй болезней.

— Вирус один и тот же, хотя, может быть, штаммы и разные; это можно проверить только в Ташкенте,— поясняет она.— Но мне кажется, болезнетворным становится он лишь тогда, когда поразит вибрион и при каких-то, пока неясных, условиях завершит в нем определенный цикл развития.

Она рассказывает, что начали выборочно проверять всех грызунов на уже обследованных раньше участках: какие у них вибрионы — пораженные вирусом или обычные?

— Проверили мы и архаров. Женя с Николаем Павловичем специально подстрелили трех в различных местах. У всех из них найдено оба вида вибрионов: и болезнетворные, и неопасные. Ты будешь ругаться, но... я даже не удержалась и взяла пробу у одной из овец из отары Хозяина! — ликующе продолжает Мария.

— Ты с ума сошла? — пугаюсь я, показав ей глазами на доктора Шукри.

— Ничего, он нам сколько мешал, противный старик. Я, конечно, извиняюсь, может, некоторые его и считают святым. Да он ничего и не заметил. Подкараулили овцу в зарослях, Женя отогнал собак, а я быстренько взяла пробу и отпустила ее. Даже не заблеяла...

— Ну и что?

— У нее тоже два вида вибрионов, понимаешь? — значительно произносит Мария.— Материалы такие интересные, что я даже не решилась оставить их в лагере. Привезла сюда, в холодильнике у Шукри они лучше сохранятся...

Так, значит, болезнь переносят архары и овцы, а вовсе не грызуны, как мы предполагали. И москиты с клещами тут ни при чем. Неужели мы напали на верный путь?!

До вечера мы втроем с доктором Шукри, давно переставшим ворчать на меня за нарушение больничной дисциплины, обсуждаем это открытие и намечаем, как вести исследования дальше. Надо проверить, не содержат ли опасных вибрионов с вирусами овцы в здешнем поселке, особенно в отарах, пригнанных сюда беженцами из долины. Это берет на себя доктор Шукри.

— Но с условием, что вы еще хотя бы два дня не встанете с кровати! — говорит он мне, строго грозя пальцем, пожелтевшим от йода.— Я же прекрасно вижу, что вы так и норовите сбежать. Но нельзя, видит аллах, нельзя. Вы увлечетесь работой, полезете опять в горы, раны откроются, и вам конец, иншалла. Так что на этом условии, дорогой мой, я категорически настаиваю!

Как ни пытаюсь я его переубедить, он остается непреклонным. И Мария к тому же его поддерживает.

— Ладно, но это последние два дня!—сдаюсь я.—И с условием, что завтра вы мне дадите самому проверить все образцы, привезенные Машей. Холодильник у вас хороший?

— Отличный, американский. Во всяком случае, самый лучший на добрую сотню километров вокруг,— засмеялся Шукри.— Не беспокойтесь.

— Простите, я стучал, но вы так увлеклись...

Мы оглянулись и увидели в дверях доктора Али.

— Добрый вечер! У вас хорошие новости?

— Да, дорогой коллега, кажется, мы наконец напали на верный след,— ответил я, потирая руки.

— Поздравляю. Все-таки вирус?

— И вирус, и вибрион!

— Как так? Два возбудителя? Вы заинтриговали меня. Не буду вам сейчас надоедать, но завтра вы мне все расскажете. Я пришел взглянуть на вашу заболевшую лошадь, дорогой Шукри. Но вы сейчас заняты, я зайду попозже или утром...

— Вы пройдите на конюшню, дорогой друг, конюх вам ее покажет, а я скоро освобожусь,— сказал доктор Шукри.

— Отлично. До свидания! — И доктор Али с поклоном закрыл дверь.

Все ушли, а я расхаживаю по комнате и думаю, думаю...

Похоже, мы в самом деле напали на правильный путь. Болезнь, несомненно, переносит вирус, завершивший свое развитие в вибрионе. Только тогда он способен поразить человека. А передают людям этих вибрионов, «заминированных» вирусами, горные архары и овцы, вероятнее всего именно овцы: ведь в кошарах тут царит неимоверная грязь.

Ну а дальше? Кто же хранит болезнь в природе и передает ее овцам? Грызуны? Но через кого?

Похоже, цепочка тут обрывается. Какое-то звено пока остается скрытым от нас. И если даже кто-то из грызунов, неведомый пока нам, и хранит в своих норах болезнь, то совершенно непонятно, как же он может передать ее потом овцам или архарам. Ведь они травоядные, грызунами не питаются...

Обычно переносят возбудителя болезни кровососущие насекомые — клещи, комары, москиты. Насосутся крови больного грызуна, а потом заразят человека или овцу. Но с этой злополучной болезнью Робертсона дело обстоит иначе. Ведь мы точно установили, что в москитах никогда не бывает вибрионов, клещи никогда не заражаются вирусом, а комаров тут почти нет. Значит, ни те, ни другие не могут переносить вибрионы, пораженные вирусом. Но кто же тогда распространяет болезнь по всей долине?

Темно, темно, много еще непонятного... И работы нам предстоит немало, пока распутаем весь клубочек загадок до конца.

Опять я расхаживаю по комнате, то и дело присаживаясь к столу, чтобы записать возникающие мысли.

Как я накурил! Достанется мне от милейшего Шукри.

Я распахнул окно. Жалко, оно затянуто частой сеткой от москитов, не высунешься. Я приложил лоб к холодной сетке, с наслаждением вдыхая бодрящий вечерний воздух, настоявшийся за день, словно вино, на цветах и душистых травах. Поселок уже спал, только кое-где мерцали в окнах редкие огоньки.

Вдруг мне послышался какой-то скрип на деревянной галерейке, тянувшейся вдоль стены. В свете луны маячила чья-то черная тень. Вот она медленно двинулась дальше...

Кто это мог быть? Высунуться из окна и рассмотреть его мне мешала сетка. Хороший человек не станет таиться и красться, как вор. А если это и в самом деле вор?!

Я вышел в коридор, стараясь не скрипеть половицами, быстро подскочил к двери, выходившей на галерею, и распахнул ее.

Черная фигура шарахнулась от меня и побежала по галерее. Я кинулся за ней.

Незнакомец уже скрылся за углом дома. Я сделал большой прыжок, рискуя обрушить вниз ветхую галерею, завернул за угол и успел схватить убегавшего за локоть...

Но в тот же миг он полоснул меня по руке ножом, и я, вскрикнув, выпустил его.

Вор не стал мешкать. Он спрыгнул с галерейки в сад и убежал, ломая кусты.

Внизу забегали, зашумели. Доктор Шукри кричал кому-то:

— Принеси огня с кухни, негодяй!

— Сюда! Ко мне! Ах, подлец...— закричал кто-то в дальнем углу сада, где была конюшня.

Туда побежали с фонарем.

Держа раненую руку на весу, чтобы не перемазаться кровью, я спустился вниз.

— Что с вами? — бросился ко мне навстречу перепуганный доктор Шукри.

— Кто-то пытался влезть через галерею в больницу. Я хотел его задержать. Он ударил меня ножом,— пояснил я, поднося руку к свету.

— Ножом? — переспросил доктор Шукри, рассматривая рану.— Ножом?! — повторил он, поднимая голову и ошеломленно глядя на меня.— Нет, этого не может быть, аллах не допустит...

И он снова уставился на мою рану, словно не веря собственным глазам.

— Ну что вы так встревожились, ведь рана совсем неглубокая,— попытался я его успокоить.

Но почему-то мои слова еще больше взволновали добрейшего Шукри.

— Да, вот именно, она совсем неглубокая! — закричал он на весь дом.— Она совсем-совсем неглубокая. Где он?!

— Кто? Вор? Он убежал, если его только не успели схватить там, у конюшни,— сказал я.

— У конюшни?

— Да, он побежал туда, я слышал какие-то крики.

— Хотел бы я посмотреть на этого вора, решившегося осквернить...— начал грозно доктор Шукри и замолчал при виде людей, приближавшихся к нам по тропинке из глубины сада.

Два санитара бережно поддерживали за локти доктора Али, конюх светил им фонарем. Левая рука у Али болталась, как плеть, он весь был залит кровью.

— Что с вами? — бросился я к нему.

— Похоже, что то же, что и с вами,— с кривой усмешкой ответил он.— Я только вышел из конюшни и хотел идти домой, как вдруг услышал шум, на меня налетел в темноте какой-то человек. Я попытался задержать его и вот...

Он показал окровавленную руку.

— И вас порезал? — ахнул я.— Вот негодяй!

Доктор Шукри осмотрел рану Али и пробормотал:

— Да, точно такой же порез.

Потом он отвел нас в операционную, сам обработал наши раны и наложил повязки. Он был так подавлен, что я снова стал утешать его. Но он словно не слышал меня, время от времени бессвязно бормоча:

— Вор... Вор в моем доме! О аллах, аллах...

Доктор Али попрощался и ушел домой. Я поднялся к себе в палату. Постепенно в доме все угомонились...

Я лег, но никак не мог заснуть, взбудораженный этим глупым происшествием. Да и рана слегка ныла. Потом я снова начал думать о работе и незаметно задремал...

И вдруг вскочил, услышав торопливый цокот копыт по камням, тревожные голоса под окном,— мне явственно послышался среди них голос Марии!

В окно ничего не видно, оно выходит в садик, а крыльцо за углом. Голоса доносятся оттуда, и там почему-то горит факел. Его тревожный, зыбкий багровый отсвет сразу заставляет почему-то подумать о пожаре, беде...

Я бросаюсь к двери и сталкиваюсь с Марией. Голова у нее непокрыта, волосы растрепал ветер.

— Беда, Сережа,— еле выговаривает она запекшимися губами.— Заразился Женя.

СТРАШНЫЕ ДНИ

Когда на твоих руках умирает друг... Нет, я не могу подробно рассказывать о последующих страшных днях. Судя по календарю, их было всего десять. Но мы постарели за это время по меньшей мере на десять лет...

Сначала мы мчались по горным дорогам на старом, гото-

вом вот-вот развалиться санитарном автомобиле, который раздобыл доктор Шукри. На границе нас ждал самолет, и через два часа мы были уже в Ташкенте, в родном институте. Но что толку? Ни самые опытные профессора, ни новейшие препараты не могли спасти нашего товарища.

Спасти его могли бы только мы сами, если бы успели к этому времени разгадать тайну проклятой болезни. Но мы не успели.

— Мы здесь, кажется, уже нащупали, как создать вакцину,— сказал мне мрачно профессор Ташибаев.— Случись это несчастье месяцем позже, мы, наверное, сумели бы предохранить его от заражения. А пока...

Женя держался поразительно, хотя, как мне казалось сначала, первое время не отдавал себе отчета, насколько все обстоит серьезно. Он не хотел, чтобы мы везли его в Ташкент, и подтрунивал, что вот, дескать, горе-лекаря: не могут отличить болезнь Робертсона от простой лихорадки. Прощаясь с Николаем Павловичем, который оставался в лагере, Женя сказал:

— Вы тут, пожалуйста, моих муравьев голодом не заморите. Вернусь, чтобы они не жаловались.

Но с каждым днем становилось очевиднее, что вернуться снова в наш лагерь ему уже не удастся. Женя не мог не понимать этого, потому что отлично видел, как ход его болезни неумолимо повторяет с точностью не только по дням, но даже и по часам трагедию Селима. Никаких сомнений уже ни у кого не оставалось: его поразила беспощадная болезнь Робертсона...

И все-таки Женя не сдавался. Мы с Машей дежурили возле него днем и ночью, и он все время заводил длинные разговоры о том, кто из грызунов может хранить болезнь, где она прячется, по его мнению, осенью и зимой, в перерывах между эпидемиями, какие исследования надо провести, чтобы выявить все звенья цепочки распространения болезни от животных к людям.

Признаюсь, порой мне это начинало казаться какой-то глупой мальчишеской бравадой. Но однажды, когда Марии не было в палате, Женя вдруг сказал мне спокойно и строго:

— Ты думаешь, я бодрюсь, стараюсь себя успокоить игрой в героического деятеля медицины? Изображаю из себя этакого книжного бодрячка, которому все нипочем, даже собственная смерть? Эх ты, психолог! Я просто твердо знаю, что умру. Нет у вас для меня лекарства, лекаря. И хочется мне напоследок найти, нащупать хоть кончик той ниточки, за которую потянешь — и распутается весь клубок, понимаешь? Чтобы я и дальше распутывал его вместе с вами, потом...—И кивнув на

потрепанный блокнот, лежавший на тумбочке возле кровати, добавил: — Ты его полистай потом, может, что и пригодится.

На седьмой день у него помрачилось сознание. А на рассвете девятого дня, когда за распахнутым окном в институтском саду только начинали весело перекликаться просыпающиеся птицы, наш товарищ Евгений Лаптев скончался.

Через три дня после похорон мы с Марией выехали обратно в долину. Профессор Ташибаев хотел было заменить ее кем-нибудь из сотрудников института, но Мария только молча посмотрела на него, и он сразу заговорил о другом.

До границы мы ехали на поезде. В купе нас было только двое. Маша все время лежала на верхней полке и смотрела в потолок. Я не находил себе места, то и дело выходил в коридор курить, без всякой нужды начинал — в какой уже раз — осматривать и перевязывать тюки с оборудованием, потом достал затрепанный блокнот погибшего друга и снова начал листать его.

В этих отрывочных записях не было никаких откровений или открытий. Случайные наблюдения над животными вперемежку с выписками из понравившихся книг, какие-то рисунки, пометки о разных забавных черточках, подмеченных мимоходом у кого-нибудь из нас. Женя многим интересовался, и глаз у него был острый, цепкий.

«...Удивительно все-таки, сколько опасных силков расставила повсюду природа человеку! Какие только болезни не таятся, например, в норах грызунов: и чума, и таежный энцефалит, и бешенство! Причем многие из них для самих животных неопасны, а губительны лишь для человека. Начинает казаться, будто слепая природа прямо-таки с иезуитским коварством расставила капканы в диких, труднодоступных местах и терпеливо ждет миллионы лет, когда туда придет человек. Ведь микроб чумы, как уверяет Машка, старше человека по крайней мере на пятьдесят миллионов лет. Что же, рассматривать его как этакую живую мину поразительно замедленного действия?!

Но это, конечно, лишь кажется. Просто все живое нуждается в определенной среде для нормального существования. И повсюду идет вечная, бесконечная борьба за существование, за выживание наиболее приспособленных. Человек лишь случайно порой «вваливается» в эту схватку микробов между собой.

Академик Павловский, создавший замечательное по своей стройности и глубине учение о природной очаговости болезней, писал: «Болезни с природной очаговостью стары для природы

и новы лишь в отношении времени и условий поражения ими людей и еще более новы, если судить о времени, когда врачи научились правильно их распознавать».

Блестящий зоолог, микробиолог, путешественник, страстный фотограф — чем только не увлекался этот замечательный старик! Вот у кого надо поучиться...»

«Никак не удается подобраться поближе к архарам и понаблюдать за ними. Сегодня наткнулся на большое стадо. Подошел метров за двести. Они смотрели на меня и совершенно не пугались. Но едва двинулся дальше, вожак подал сигнал, и стадо умчалось.

Даже к спящим архарам не подкрадешься. Они хитрые: всегда устраиваются где-нибудь возле колонии сурков. При малейшей тревоге сурки их вспугивают своим свистом, и бараны убегают...»

Я листал страницу за страницей, не особенно вчитываясь. В глаза лезли лишь отдельные записи, другие словно застилало туманом.

«...Очень меня заинтересовало, что некоторые муравьи возле пятого муравейника почему-то странно себя ведут. Они совсем не участвуют в общей жизни муравейника, а, облюбовав себе какую-нибудь травинку повыше, забираются на нее и сидят там неподвижно, вцепившись жвалами в листовую пластинку. Я пометил некоторых лаком для ногтей, который взял у Машки,— на другой день все они снова оказались висящими на травинках. Зачем они это делают? Сошли с ума? Еще одна загадка. Как говаривал дедушка Крылов: «Весьма на выдумки природа таровата...»

Интересно, уходят ли эти «рехнувшиеся» муравьи хоть на ночь в муравейник или висят так целыми сутками? Но как это проверить? И так все в лагере глумятся над моим увлечением муравьями».

...«Видел издали Хозяина и опять стал думать: почему же не заболевает этот зловредный старец? Ведь должна быть какая-то причина. Маша считает, будто у него выработался иммунитет. Но тогда можно, значит, и у других людей выработать невосприимчивость к болезни, над загадкой которой мы так безуспешно бьемся? Ну, это уж нашим медикам виднее. Я тут профан...»

Ну, а дальше опять про муравьев... Я отложил блокнот и стал смотреть в окно. А Мария все лежала наверху на полке и молчала как мертвая.

КАПКАН ЗАХЛОПНУЛСЯ

И вот мы снова в долине. Вечер. Бормочет в камнях река. Мы опять сидим у костра — только уже втроем, а не вчетвером...

Николай Павлович, видно, сильно скучал один и теперь отводит душу в бесконечных рассказах с тысячами пустяковых подробностей о том, что́ он тут делал без нас, сколько подстрелил сусликов и полевок, как дважды встречался со стариком, но тот собак на него науськивать не стал — «видно, привык к нам...»

— И поверите: как его встречу, даже вроде легче на душе становится — все-таки живая душа. В общем-то, если внимательно разобраться, он старик неплохой, только, конечно, темный, забитый, вот и пытался вредить...

Я слушаю плохо, киваю и поддакиваю невпопад. Мария молча смотрит в огонь. Но Николаю Павловичу надо выговориться.

Скверно у меня на душе еще из-за нелепого спектакля, который устроил нынче для чего-то доктор Шукри. Когда мы приехали в поселок и зашли к нему в больницу, принял он нас очень тепло и трогательно. Угощал чаем, расспрашивал о работе, не утешал и не произносил никаких громких слов, но мы все время ощущали, как глубоко и искренне он нам сочувствует.

Среди нашей беседы в комнату без стука вошел какой-то полный седой человек в помятом и мешковатом сером костюме.

— Разрешите представить вам моего старого, хорошего друга,— сказал доктор Шукри.— Давно обещал приехать ко мне погостить и наконец, когда, признаться, я уже совершенно перестал в это верить, неожиданно сдержал слово. Его зовут Абдулла Фарук Назири, но вы мои друзья и можете называть его просто «дядюшка Фарук».

Дядюшка Фарук только улыбнулся, приветливо покивал нам седой головой и молча уселся в уголке возле окна, на правах старого друга, видно, вовсе не считая, что может нам помешать.

Мы поговорили еще с доктором Шукри о наших дальнейших планах и уже собирались прощаться, как вдруг он удивил нас странной просьбой.

Сначала доктор зачем-то подошел к двери и выглянул в коридор, потом тщательно закрыл ее, сел рядом со мной и, доверительно положив руку мне на колено, зашептал:

— У меня будет к вам одна просьба, дорогой коллега. Маленькая просьба, хотя и несколько щекотливого свойства...

— Какая?

Доктор Шукри встал, подошел к холодильнику и достал из него большой медицинский термос, который мы привезли ему прошлый раз из Ташкента. Поставив осторожно термос в центре стола, Шукри снова подсел ко мне и опять зашептал как заговорщик:

— Я объявлю всем, что вы наконец-то создали и привезли вакцину от этой проклятой болезни. Она здесь...

Он показал на термос.

— Но я не могу...— начал я.

— Понимаю, все понимаю, дорогой! — умоляюще зашептал Шукри, хватая меня за руку.— Конечно, вы не можете лгать. Но это нужно, очень нужно, поверьте мне!

— Зачем?

— Пока я не могу вам сказать. Прошу только верить мне... Ну хотя бы для того, чтобы поднять дух населения. Ведь и вы, и я твердо уверены, что рано или поздно вам, конечно, удастся создать эту вакцину. Почему не порадовать людей немножко раньше? Бывает же ложь во спасение. И потом, вам вовсе не придется лгать. Вы просто молчите и принимайте поздравления, а говорить буду я.

Очень мне не по душе была эта просьба, но доктор Шукри так упрашивал, что я пожал плечами.

— Спасибо! Вы не пожалеете об этом, дорогой,— сказал он, крепко пожимая мне руку, и повернулся на стук в дверь.— Войдите! А, вот и наш милый доктор Али! Входите, входите.

— Я не помешаю? — спросил доктор Али с порога, кланяясь нам.— Здравствуйте. Рад вас видеть...

— Нет, нет, Али, вы не помешаете, наоборот... Разделите нашу радость! — ликовал Шукри.— Что я вам говорил? Наши советские друзья создали все-таки вакцину против болезни Робертсона! — И он величественным жестом указал на термос, стоявший посреди стола, словно маленький памятник.

Я не знал, куда девать глаза. А тут еще Шукри, будто нарочно, начал приговаривать:

— Не смущайтесь, не смущайтесь, дорогой коллега! Скромность украшает лишь до известных пределов. Такой победой нужно гордиться!

Он весьма правдоподобно и натурально поздравлял нас. Поздравлял доктор Али и кланялся. Ободряюще кивал из своего угла дядюшка Фарук, хотя я готов был поклясться, что глаза его смеялись надо мной.

Мария уже так грозно фыркала за моей спиной, что я поспешил попрощаться. А неугомонный Шукри скликал санитаров, показывал им проклятый термос, расхваливал советскую медицину и заставлял чуть ли не кланяться нам в ноги...

Мы выскочили из комнаты как ошпаренные. А Шукри кричал нам вдогонку:

— Не беспокойтесь, я сейчас же спрячу вакцину в свой холодильник, с ней ничего не случится! И прививки будем делать завтра только с вами, только вместе с вами!

Ну и напустилась же на меня Мария, когда мы остались одни! И теперь, когда, сидя у костра, я вспоминал весь этот глупый и постыдный спектакль, лицо мое багровело...

Мы рано разошлись по палаткам, долго ворочались, вздыхали и не могли уснуть. А с утра снова начали готовиться к работе. Встали поздновато, так что мы с Николаем Павловичем собрались к выходу на очередной маршрут лишь часам к одиннадцати. Мария оставалась в лагере.

Мы уже уходили, как вдруг она окликнула нас:

— Постойте! Кто-то к нам едет.

В самом деле, из кустов показался всадник. Это был незнакомый молодой человек, сидевший в седле с явно военной выправкой. Я никогда не видел его раньше. Наверное, он был нездешний, раз решился приехать к нам в долину. Козырнув, он подал мне записку.

Дорогой коллега! Приезжайте немедленно, вы очень нужны. Всегда ваш Шукри, — прочитал я с недоумением. Слово «немедленно» было дважды жирно подчеркнуто.

— Что еще ему надо от нас?

Когда мы с молчаливым посыльным приехали в поселок, я хотел свернуть в переулок, ведущий к больнице. Но он взмахом руки показал в другую сторону.

Мы миновали базар и остановились у здания, где, как я знал, размещались различные уездные власти. Вслед за посыльным я прошел по нескольким коридорам и оказался перед дверью, возле которой стоял черноусый рослый жандарм. Он распахнул передо мной дверь — и я вошел в комнату с одним небольшим окном, затянутым решеткой, где сидели за столом и пили чай доктор Шукри, его старый приятель Фарук и молодой офицер с погонами капитана.

— Заходите, заходите, дорогой, мы вас заждались! — бросился Шукри навстречу, словно принимал меня где-то в самой дружественной обстановке, а не в каком-то явно полицейском участке.— Хотите чаю? Не смущайтесь, пожалуйста, этой... несколько строгой обстановкой! — засмеялся он.— Сейчас вы все поймете. И не сердитесь на меня за вчерашнее.

Он повернулся к дядюшке Фаруку, тот молча кивнул, капитан подошел к двери, приоткрыл ее и отдал какое-то приказание.

— Капкан захлопнулся, дорогой, капкан захлопнулся! — ликовал Шукри, потирая руки.

Я ничего не понимал, и, наверное, вид у меня был очень глупый.

Дверь открылась, и вошел доктор Али. Все еще ничего не понимая, я хотел с ним поздороваться...

И тут увидел, что руки у него скованы за спиной.

— Вам знаком этот человек? — негромко спросил дядюшка Фарук.

Кажется, я впервые за все время знакомства услышал его голос.

— Да.

— Что вы можете сказать о нем?

Я пожал плечами.

— Это доктор Али... Местный ветеринар. Нас познакомил доктор Шукри и... мы с ним несколько раз встречались, беседовали. Но я не понимаю...

— Он бывал у вас в лагере? — продолжал дядюшка Фарук, а капитан, сидя за столом, записывал его вопросы и мои ответы.

— Да, однажды.

— Заметили ли вы что-нибудь странное в его поведении?

Я снова недоуменно пожал плечами.

— Подлец! — закричал вдруг доктор Шукри, грозя Али сразу обеими кулаками.— Мы поймали тебя с поличным, будь ты проклят! Капкан захлопнулся, негодяй, и ты попался! А там была вода, простая вода из арыка!

Черные густые брови у Али дернулись, но он ничего не ответил, глядя куда-то мимо нас, сквозь стену.

— Уведите его! — так же негромко приказал Фарук.

Али повернулся и пошел к двери, раскрывшейся перед ним, но на пороге вдруг обернулся и бросил через плечо:

— Орешек еще твердый. Попробуйте раскусить!..

Теперь я узнал голос, споривший с Хозяином в кустах у реки! Неужели это был он?!

— Каков наглец! — Взбешенный Шукри так стукнул кулаком по столу, что полицейский капитан опасливо отодвинулся от него со своими записями.

— Но объясните же мне, в чем наконец дело! — взмолился я.

Шукри усадил меня за стол, налил горячего кок-чая и начал рассказывать:

— Аллах открыл мне глаза в ту ночь, когда он пытался вас зарезать. Помните?

— Конечно, помню.— Я невольно посмотрел на свою руку, на шрам от удара ножом.— Но кто он? Вор? Вы поймали его?

— Какой вор! — снова зашумел Шукри.— Это Али Вардак вас ударил.

— Как? Но ведь он сам...— опешил я.

— Да! Да! Порезал и сам себя, чтобы отвести глаза,— втолковывал мне Шукри.— Но мои глаза он не мог обмануть. Я же старый врач, оперировал тысячи людей и сразу увидел, что такие неглубокие раны можно нанести только ветеринарным скальпелем. Где он?

Капитан достал из стола знакомый потрепанный футляр и вынул из него старомодный медный скальпель.

— Вот, видите выступ? Этот скальпель делал опытный мастер. Его лезвию специально придана такая форма, чтобы он лишь вскрывал кожу и верхние ткани, но не уходил глубоко. И я сразу понял, что вам нанесли удар именно скальпелем и мог сделать это лишь медик! — торжествующе пояснил Шукри.— Нож рассек бы вам руку до самой кости. Тогда аллах сразу все прояснил мне, и я понял, кто мешал вам, путал анализы, шептался с Хозяином в кустах, натравливал его на вас, пытался даже заразить эту милую Мариам...

— Как? Вы считаете...

— Да! — не дал мне договорить Шукри.— Голову даю на отсечение, что он подсунул ей клещей в букете. Помните, он подарил ей в тот вечер букет?

Я молчал, потрясенный тем, что услышал.

— Но доказать это, дорогой мой Шукри, к сожалению, невозможно,— меланхолично произнес Фарук, закуривая сигарету,— как и многое другое, в чем вы его обвиняете. Даже с этой раной... Ведь она уже заросла.

— Да,— сразу стихая, согласился доктор Шукри.— Ты прав. Но ведь мы поймали его с поличным!

— В этом ты прав,— кивнул седой головой Фарук.— От этого он не отвертится. Но он ловкач, выдаст это за простую кражу, и все; отделается пустяковым наказанием.

— А как же вы его уличили? — спросил я.

— Вчерашним маскарадом, дорогой мой, вчерашним маскарадом, который так вывел вас из себя! — снова оживился доктор Шукри, ласково похлопывая меня по руке.— Понимаете, в ту ночь, когда он вас порезал, я все думал: чего он хочет и как его поймать? Вы помешали ему тогда залезть в мой кабинет, чтобы испортить, перепутать материалы, привезенные из долины. Он делал это уже и раньше, загрязняя анализы и сбивая вас с толку. Кто, кроме ветеринара, мог подсунуть вам вирус лошадиного энцефаломиелита? На такую приманку и следовало его ловить. Я написал моему старому другу, дорогому Абдулле Фаруку, вот он сидит перед вами и благодарите его за то, что мы поймали злодея. Абдулла действительно мой старый и верный друг, только я пока не говорил вам и никому другому, что он — опытнейший полицейский чиновник. Ко-

гда-то мы с ним работали в одном городе, подружились, и он, конечно, не станет отрицать, что я порой помогал ему медицинскими советами...

Доктор Шукри сделал маленькую паузу, явно для того, чтобы дать возможность другу подтвердить его заслуги многозначительным кивком, а затем продолжал:

— Наверное, и я за это время заразился от него каким-то мальчишеским шерлокхолмством. И вот теперь я решил твердо разобраться в этом темном и позорном деле и позвал его на помощь. Ведь была задета честь нашего народа, честь медицины! Не спорьте со мной! Он приехал, и мы придумали этот вчерашний маскарад...

— Вы поймали его...— догадался я, но Шукри опять не дал мне договорить.

— Конечно! Он полез ночью в холодильник, чтобы испортить эту мнимую вакцину, и мы схватили его. Видели бы вы рожу этого мошенника, когда комната вдруг осветилась и лапы ему сковали наручники! Расчет был правильный: он просто не мог не полезть в холодильник, это был последний шанс для него. И капкан захлопнулся! А там была просто грязная вода из арыка...

Шукри был так увлечен, что я невольно рассмеялся и тут же извинился.

— Но зачем ему это было надо? Как он решился на это?— спросил я.

Доктор Шукри помрачнел и нехотя ответил:

— Он исмаилит.

— Не понимаю.

— Ну, есть такая религиозная секта — исмаилиты. Они существуют во многих странах. У них свой пир, вожак, которого они считают живым богом... Религиозные фанатики!..—Было видно, что милейшему доктору неприятно обсуждать со мной эти религиозные проблемы.

Я не стал его больше расспрашивать, но тут вмешался Абдулла Фарук и решительно сказал:

— Ты все-таки неисправимый идеалист, Шукри, хотя и медик. Исмаилит... Разве в этом дело? Гораздо важнее, что чуть не половина пастбищ в этой долине перешла к нему в наследство от папаши, и кто добровольно откажется от таких доходов? Уж я-то лучше знаю людей, согласись.

Он задумчиво побарабанил пальцами по столу, потом поднял голову и внимательно посмотрел на меня.

— Не буду кривить душой,— строго сказал он.— Мне, да и всем нам, очень неприятно, что вы, гости из дружественной страны, столкнулись с этим... Мы постараемся, чтобы он получил по заслугам. Хотя опять-таки не скрою: доказать его

виновность будет трудно. Путал анализ? Докажите. Подсунул зараженных клещей в букете? Я верю, но где доказательства? Пытался залезть в холодильник? Да, он это отрицать не станет, но лишь для того, чтобы выкрасть из него бутылку шотландского виски, которую наш друг Шукри всегда держит там для гостей.— Абдулла Фарук невесело усмехнулся, покачал головой и добавил: — Но вы все-таки напишите подробно и обстоятельно о всех загадочных, странных, непонятных для вас происшествиях. Ничего не обходите: ни подслушанного разговора в кустах, ни внезапной болезни вашей сотрудницы, ни разрушенного овринга. Может быть, мы что-нибудь из него и выжмем, он проговорится, признается. Я сам буду вести допросы.

Всю дорогу обратно до нашего лагеря я не мог опомниться. Слишком невероятным казалось все, что я услышал. И в то же время разоблачение Али Вардака проясняло многое, казавшееся раньше загадочным и непонятным.

Да, конечно, только он мог засорить материалы вирусом лошадиного энцефаломиелита и на какое-то время сбить нас с толку; именно для этого Али и вызвался тогда сам привезти их к нам в долину.

И не случайно он так удивился тогда, услышав, что мы наткнулись сразу на два каких-то загадочных вируса. Одного он подсунул сам, но о другом-то, истинном возбудителе болезни Робертсона, и понятия не имел! Не удивительно, что он в тот свой приезд к нам в лагерь не предупредил нас об опасности селя. Наверное, даже порадовался в душе, что мы сами забрались в такое опасное место.

Хитрости и коварства ему не занимать. Как ловко он отводил нам всем глаза, сначала рассказав Шукри, будто видел какого-то таинственного незнакомца, якобы посещавшего долину, а потом порезав себе руку в ту ночь, когда я его едва не поймал! Ловкач, ничего не скажешь!

Как ни чудовищно выглядела попытка забросить к нам в лагерь тифозных клещей в букете, но, наверное, доктор Шукри не ошибся. Именно таким путем — принеся с собой с прогулки в степь букетик безобидных полевых цветов — и заражаются нередко люди. Метод был выбран простой и безошибочный: никто никогда не сможет доказать, что зараженные клещи не очутились в букете случайно. И, конечно, лишь специалист, медик, мог до этого додуматься.

Медик? Представитель самой гуманной профессии?! У меня язык не поворачивался, чтобы называть так этого подлеца! И как он мог решиться на это? Однако решился.

А гибель Жени и Селима? Нет, в этом он, конечно, неповинен. Тут орудовал другой, главный убийца — невидимый и

вездесущий, за которым мы так долго охотимся. Выбрал момент, когда наши товарищи допустили, может, совсем пустяковую неосторожность, и нанес неотразимый удар. Женя был слишком храбр и порой пренебрегал опасностью. Правду говорят, что наши недостатки — это зачастую продолжение наших достоинств.

Медик-исмаилит... Чепуха какая-то! Хотя эта религиозная секта возникла еще в средние века именно как подпольная террористическая организация. Недаром исмаилитов чаще называли в те времена французским словом «асассины» — убийцы. Но в наши времена...

Нет, скорее, прав Абдулла Фарук: золото для него единственный бог. Этого подлеца толкнули на преступления вовсе не какие-то религиозные мотивы, а самая обыкновенная корысть, жажда денег, наживы, неистовое стремление сохранить свои доходы. Или и то и другое вместе?

Об этом мы далеко за полночь еще спорили в лагере у костра, пока Мария не сказала брезгливо:

— Да ну его, этого подлеца! Хватит о нем думать.

«СУМАСШЕДШИЙ» МУРАВЕЙ

Да, думать об этом негодяе было противно, но у меня не выходила из головы наглая фраза, брошенная им при последней встрече:

«Орешек еще твердый. Попробуйте раскусить!..»

Опять мы каждый день уходим на маршруты. Отстреливаем сусликов, полевок, птиц, ловим москитов. Мария тоже ходит с нами, лагерь теперь можно не охранять, а после обеда я ей помогаю в лабораторных исследованиях.

Они ничего нового не дают, ни в чем не опровергают наших прежних наблюдений. Это приятно: значит, мы работали все время чисто и аккуратно. Но где же прячется это недостающее звено?

В какой уже раз мы подводим итоги! Итак, установлено: болезнь вызывают только вибрионы, в которых окончательно «дозрели» вирусы; сами по себе, в отдельности, и вирус и вибрион не опасны, хотя и могут, судя по наблюдениям Николая Павловича, вызывать повреждения копыт у овец.

Для грызунов даже зараженные вирусом вибрионы безвредны. Но, видимо, именно в организме сусликов, полевок и других обитателей глубоких подземных нор болезнь может сохраняться в промежутках между эпидемиями. Чтобы проверить это, мы сделали несколько опытов, но результаты их скажутся не скоро, только будущей весной.

Непонятным остается одно, зато самое важное: кто же разносит болезнь? Как она передается от грызунов к овцам? Москиты в этом неповинны: они не переносят вибрионов. А у клещей другое, не менее убедительное алиби: ни в одном из них мы не находили смертоносных вирусов. Так же «чисты» и другие кровососущие насекомые; мы проверили их всех.

Кажется, снова забрели в тупик. Правда, мы уже можем дать какие-то рекомендации: посоветовать местным жителям строго соблюдать чистоту при уходе за овцами, не охотиться в опасное весеннее время на архаров... Но ведь это будет простой отпиской. Кто здесь, в глуши, станет всерьез выполнять наши советы и рекомендации?

И к тому же ведь это полумеры. Коли быть честным — разве можем мы считать свою работу законченной, пока самый важный переносчик и распространитель болезни остается необнаруженным? А прячется он где-то совсем рядом. Ведь не по воздуху же передается болезнь от грызунов к овцам.

Прошло пять дней в напрасных поисках и невеселых размышлениях. И вдруг мы натолкнулись на открытие...

В это утро, готовясь, как обычно, отправиться на охоту за грызунами и насекомыми, я удивился, зачем Мария, кроме обычных мешочков и морилок, берет с собой и еще какую-то плоскую стеклянную банку, похожую на аквариум.

— Банка-то на что? — спросил я.— Или ты решила еще и рыбешек проверить?

— Нет. Это для муравьев,— ответила она.

«Этого еще не хватало,—с досадой подумал я.—То Женька увлекался, теперь она».

— Но ведь мы их проверяли...

— Я не для опытов, а... просто так.

— Да их же полно, целый муравейник в банках, самых разных сортов,— сказал подошедший к нам Николай Павлович.— Я же всех сохранил.

— Не всех,— не глядя на него, ответила Мария.

— Как — не всех? — возмутился Николай Павлович.

— В одной банке все муравьи сдохли.

— Это те, сумасшедшие? Но я же не виноват, что они ничего не ели! Я им и меду давал, и сахарного песку. А они словно в самом деле рехнулись.

Я слушал их пререкания, и у меня голова кру́гом пошла. Сумасшедшие муравьи? Или мы? Кто из нас рехнулся?

Хотя ведь это Женя назвал сумасшедшими тех муравьев, которые почему-то забрасывали все свои муравьиные дела и часами висели на травинках.

«Если бы я увлекался антропоморфизмом и искал подходящее сравнение, то сказал бы, что они похожи на людей,

уходящих в монастырь и отвергающих все помыслы и заботы нашего бренного мира»—вспомнилась мне запись из его блокнота. И сразу стало немножко стыдно. Я ведь совсем забыл о его увлечении и не подумал, что Марии эти муравьи теперь могут быть тоже дороги.

— Ладно,— сказал я,— что вы препираетесь? Конечно, надо пополнить коллекцию...

«Хотя зачем? — тут же мелькнула у меня здравая мысль.— Ведь если эти сумасшедшие муравьи отказываются от еды, то опять скоро погибнут. Черт с ними, во всяком случае это произойдет уже после нашего отъезда отсюда. Да и Мария к тому времени немного отойдет».

— Только чего ты будешь таскать все это на себе? — сказал я.— Возьми лошадь, навьючь на нее все банки. Не все равно, где ей пастись — возле лагеря или там, где ты станешь образцы собирать.

Мария молча кивнула. Я помог ей навьючить лошадь, подсадил в седло.

Маша все делала с таким отсутствующим видом, что мне стало не по себе. Нельзя ее отпускать одну. Еще свалится в реку. Или будет реветь весь день, собирая этих злосчастных муравьев. Надо поехать с ней.

Она начала возражать, но было видно, что ей и самой не хочется оставаться одной. Я тоже быстро оседлал своего гнедого Россинанта, и мы поехали вместе.

Я предполагал, что Мария станет ловить этих сумасшедших муравьев, а я где-нибудь неподалеку займусь настоящим делом. Но мы увидели такие необычные и любопытные вещи, что я тоже увлекся и забыл о делах.

Довольно быстро мы нашли первого «свихнувшегося» муравья. Тысячи его собратьев деловито сновали вокруг, волоча к муравейнику кто обломок сухой веточки, кто убитую личинку, весящую в несколько десятков раз больше своего носильщика. А этот зачем-то взобрался на самую верхушку пожелтевшей от зноя травинки и сидел там, отрешенный от всего земного, не подавая никаких признаков жизни.

Муравей даже усиками не шевелил, и я уж подумал, не мертвый ли он. Стряхнул его на землю... Муравей упал на спину, замахал всеми шестью ножками, пытаясь подняться, и опять упрямо полез на ближайшую травинку.

Я начал ходить по лужайке, где, позвякивая уздечками, паслись наши лошади, и за какие-нибудь полчаса насчитал восемнадцать таких «сумасшедших» муравьев. Все они словно спали, крепко вцепившись в торчащие повыше травинки и не желая заниматься никаким делом.

Забавно! Я лег в траву возле одного из муравьев и начал

наблюдать за ним. Хотя наблюдать, собственно, было нечего. Муравей оставался неподвижным. Набегавший с гор ветерок раскачивал былинку, но муравей цепко держался за нее.

Зачем он залез сюда? Захотелось покачаться, словно на качелях? Нелепое предположение, но ведь в природе ничего не совершается просто так, без причины. Что-то, значит, заставило его бросить все дела, покинуть родной муравейник и карабкаться на травинку. Свихнулся? Раз мы не знаем причин, это шутливое Женькино объяснение отнюдь не хуже других.

Забрался на травинку и качается... Интересно, и долго он будет так сидеть?

Чья-то тень легла на траву. Прямо перед моим носом появилась лошадиная морда. Это мой Россинант шлепнул пухлыми губами, вкусно хрупнул, и травинка с муравьем отправилась к нему в желудок.

«Вот и кончились научные наблюдения»,— подумал я, и мне стало смешно.

— Сумасшествие и отрыв от коллектива никогда до добра не доводят! — наставительно проговорил я, отмахиваясь от лошади, которая теперь тянулась ко мне.— Сидел бы ты, муравей, уж лучше на твердой земле. Нет, захотелось, видите ли, покачаться. А о том не подумал, что придет какая-нибудь лошадь или овца...

Овца?!

А почему нет? Ведь мы находили в муравьях и вирусы, и вибрионы. Вместе или поврозь?!

Я вскочил так резко, что испуганная лошадь, всхрапнув, рванулась в сторону.

— Мария! — закричал я.— Ты много набрала муравьев?

— Порядочно. А что?

— Лови скорее свою лошадь и едем в лагерь!

И вот золотые пальцы Марии ловко и осторожно наносят на предметное стекло тонкий мазок...

Сейчас мы узнаем, кто прячется в «сумасшедших» муравьях.

Стекло вставляется в микроскоп...

— Есть,— шепотом говорит Мария и отодвигается, давая мне заглянуть в окуляр.

Да, вот они, зловещие, едва двигающиеся вибрионы, заметно распухшие от пробравшихся в них вирусов.

А в обычных, «нормальных» муравьях таких вибрионов нет! Чтобы проверить это, мы исследуем чуть ли не сотню муравьев. Почти в каждом попадаются обычные вибрионы. Но ни в одном нет вибрионов, пораженных вирусом, только в «сумасшедших»!

Мы смотрим с Марией друг на друга и все еще никак не

можем поверить: неужели нам в самом деле посчастливилось найти наконец последнее, ускользавшее звено?! И неужели истинным убийцей оказался самый безобидный обитатель долины?

Забегая вперед, не могу не рассказать, какие поразительные вещи выяснили специалисты-мирмекологи, специально занявшиеся позднее «сумасшествием» муравьев. Они провели в долине немало дней под нещадно палящим солнцем, наблюдая таинства муравьиной жизни.

Почти в каждом муравье паразитируют вибрионы. И многие муравьи, забираясь в норы грызунов, подхватывают от них и вирус — возбудитель болезни Робертсона. Эти вирусы размножаются в нервных клетках муравьев, но пока еще не опасны.

Вибрионы в основном обитают в желудочке муравья. Но бывает, некоторые из них проникают и в нервные центры — ганглии. Тут-то и происходит роковая встреча вируса с вибрионом, чреватая столь опасными последствиями.

Такой муравей бросает все дела, забирается на какую-нибудь травинку и висит на ней часами, пока в ганглиях его усиленно размножаются и «дозревают» уже ставшие смертоносными для человека вибрионы с вирусами внутри них.

Приходит на пастбище овца, съедает травинку с повисшим на ней муравьем, и болезнь отправляется дальше, поближе к людским поселениям.

Весь этот сложный и довольно длительный процесс, который теперь в деталях проследили ученые, кажется прямо-таки целеустремленным! Словно природа специально задалась целью поразить человека да еще изобрела для этого способ похитрее. Конечно, это не так. У природы нет никаких целей, Женя говорил уже об этом в одной из своих записей. Но в ней постоянно и непрестанно действует великий закон выживаемости наиболее приспособленных. Он-то и заставляет вибрионы и вирусы размножаться и расселяться любым, даже вот таким удивительным способом. А человек лишь натыкается на эту запутанную цепочку, и тогда ему приходится плохо.

Что заставляет некоторые вибрионы проникать именно в ганглии? Какие природные условия породили столь сложные пути распространения болезни? Этого мы пока еще не знаем. Но первооткрывателем, имя которого теперь занесено, как говорится, в «анналы науки», по праву надо считать нашего покойного друга. Ведь Женя первый подметил странное поведение муравьев. И раз болезнь поражает у муравьев именно нервные центры, то и шутливая кличка «сумасшедших», которую он им дал, вдруг неожиданно оказалась пророческой! Вот ведь как оно бывает...

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАГАДКА

Все на свете имеет конец. Вот пришел конец и нашей работе. Свернуты палатки. Неуютно чернеет выжженная земля на том месте, где собирались мы вечерами возле костра. Упакованы все вещи, и Николай Павлович уже пошел за лошадьми. Сейчас мы навьючим их и навсегда покинем эту долину.

Почему-то каждый раз, когда приходится вот так свертывать лагерь и двигаться дальше, мне становится грустно. Наверное, потому, что, уезжая, оставляешь навсегда какой-то отрезок своей жизни... И понимаешь, что его уже не вернуть.

А здесь мы оставили больше...

Мария сидит в сторонке на камне и смотрит на пенящуюся у ее ног речку. Но видит ли она ее?

Вздохнув, я открываю блокнот, в котором помаленьку набрасываю черновик отчета о нашей работе. Когда вернемся в институт, писанины будет много. Интересно, удалось ли им там создать вакцину?

Свое дело мы сделали. Никаких загадок не осталось, вся цепочка распространения болезни прослежена от начала до конца. И теперь ясно, как с ней бороться.

Надо просто ранней весной, когда муравьи только начнут «сходить с ума», обработать какими-нибудь химикатами все пастбища и норы грызунов в тех местах, где мы обнаружили основные «хранилища» болезни. И через несколько лет загадочная вездесущая смерть будет поминаться лишь в легендах да преданиях стариков.

Химики теперь творят чудеса, им нетрудно будет подобрать какую-нибудь отраву, чтобы она уничтожала только опасных муравьев, а других насекомых не губила. Но работы, которые намечалось вести в долине, можно начинать и сейчас, не ожидая полного искоренения болезни. Нужно лишь принимать определенные меры предосторожности. Раз убийца разоблачен, от него уже нетрудно защититься. Да и наши товарищи в институте, наверное, уже нашли или непременно создадут в ближайшее время предохранительную вакцину...

— Пришел попрощаться,— заставив меня вздрогнуть от неожиданности, вдруг произносит рядом Мария усталым, каким-то мертвым голосом.

Я и не заметил, когда она подошла.

— Ты что? — встревоженно спрашиваю я.— О чем ты?

Она молча кивает, предлагая мне обернуться.

На скале, точно в такой же окаменелой позе, каким мы увидели его впервые, стоит Хозяин. Вокруг него сидят четыре пса, разморенные зноем и разинувшие пасти. А где же остальная свора? Прячется в кустах?

Да, похоже, что старик пришел попрощаться. Радуется ли он, что мы наконец-то покидаем его долину? Или понимает, что недолго ему осталось царствовать в ней за счет людских страхов и суеверия?

Он стоит довольно далеко, отсюда не разглядишь его лица. Да и на таком лице, которое давно стало словно опаленный солнцем древний камень, ничего не прочитаешь.

И опять у меня возникает мысль, так часто не дававшая нам всем покоя: почему его не берет болезнь? Ведь уж он-то живет в такой грязище и запустении, что вибрионы, начиненные смертоносными вирусами, должны были бы давно умертвить старика. А он жив и здоров, вот стоит себе на скале этаким истуканом.

Почему он не заболевает? Видно, мы уедем, так и не узнав этого. Я ошибся: одна загадка все-таки останется...

«Форменная статуя! — возмущаюсь я в душе с какой-то детской обидой.— И чтоб полное сходство было, без рук, словно Венера Милосская...»

Без рук?!

— Поражает копыта... — бормочу я, не сводя глаз со старика.

Неужели в этом весь секрет?!

— Что с тобой? — испуганно спрашивает Мария.

— В каком тюке у нас истории болезни? Кажется, здесь!— Я кидаюсь лихорадочно распаковывать тюк.

— Зачем?

— Мне нужна Женина история болезни...

Мария сжимается, как от удара. Лишь теперь я соображаю, как больно ей слышать такую фразу. Но мне некогда ее утешать.

Я вынимаю одну папку за другой, открываю, перелистываю аккуратно подшитые бумажки... Вот она!

«...Печень несколько увеличена, цвет нормальный... На левой голени старый шрам...» Дальше, дальше!

Вот оно!

«...На обеих руках незначительно повреждены ногти, видимо, следы повреждения цестодой или другим каким-то видом паразитических червей. Трудно определить, свежие ли это травмы или давние. Такое же незначительное разрушение ногтей отмечено и на двух пальцах правой ноги...»

Труп Жени вскрывал наш опытный институтский прозектор Савелий Павлович, конечно, он не мог пропустить ни одной кажущейся мелочи. Я был прав!

Вот и разгадана последняя загадка. Можно сказать, что помог в этом Хозяин: ведь именно его изувеченные руки на-

толкнули меня на первую, еще смутную мысль. А потом что-то щелкнуло в мозгу, словно включили лампочку, и темнота вдруг стала ясной, простой и понятной.

Загадочны и запутанны все-таки пути искания истины! Вот теперь вдруг неожиданно пригодились и стали бесценными казавшиеся нам прежде малоинтересными наблюдения Николая Павловича. Ведь это он первый подметил, что вибрионы поражают копыта у овец. А специально проведенные позднее исследования подтвердили мою догадку о том, что именно через ногти проникает болезнь в человеческое тело. Поражая роговые ткани, вибрион окончательно «созревает», и лишь после этого таившийся в нем вирус начинает свою смертоносную работу.

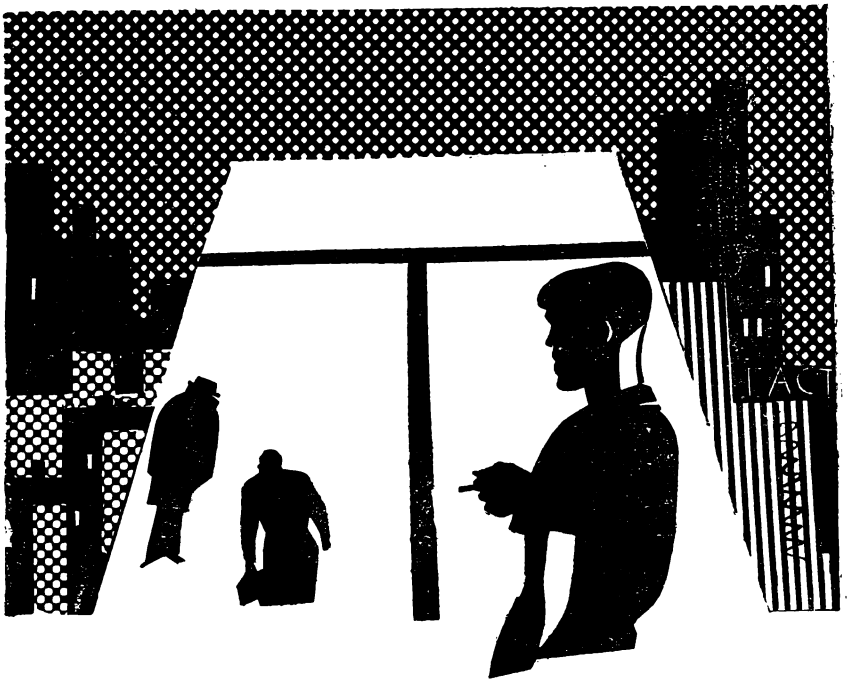
У Хозяина не было рук, а сапог он не снимал, даже ложась спать. Только это и спасло его от невидимого убийцы...

Знал ли об этом Али Вардак? Мне думается, догадывался, подозревал, глядя на безрукого старика, что тот не заражается каким-то образом именно из-за своего увечья. Поэтому и пришел тогда Али к нам в лагерь в перчатках и не снимал их, к нашему удивлению, даже за столом, когда пил кофе. И о заболевании копыт у овец он тоже хорошо знал, хотя, конечно, ничего не подозревал ни о вирусе, ни о роли «сумасшедших» муравьев. Но вместо того чтобы искать разгадку опасной болезни и помочь людям, он выбрал путь преступлений и всячески мешал нам.

Ладно, мне не хочется больше говорить о нем...

Не стану я и рассказывать подробно о дальнейших исследованиях и опытах. Точку можно ставить уже здесь. В болезни, которая теперь называется в честь нашего погибшего товарища заболеванием Лаптева-Робертсона, не осталось ничего загадочного. И защититься от нее, пока не будут обезврежены все ее природные очаги и «хранилища», оказалось теперь, когда мы во всем разобрались, совсем несложно: надо только, отправляясь на работу на пастбища, надевать сапоги и резиновые перчатки.

Убийца пойман. И мне надо кончать затянувшийся рассказ, потому что мое основное дело — борьба с болезнями, а на столе у меня уже лежит новая телеграмма, на сей раз из маленького таежного поселка: «Вылетайте немедленно положение угрожающее...»



Александр Кулешов

ШЕРЛОК ХОЛМС С ПЕТРОВКИ, 38

КОЕ-КАКИЕ СРАВНЕНИЯ

Название этой повести может натолкнуть на мысль, что речь идет о произведении сатирическом. Мол, кто-то вообразил себя Шерлоком Холмсом, ползает по полу с лупой, носит клетчатую кепку, а упрятав в тюрьму очередного злоумышленника, играет на скрипке. Как-то уж так повелось, что современного следователя сравнивают с непревзойденным мастером следствия, созданным талантом Конан Дойла лишь тогда, когда хотят посмеяться над ним. Тоже еще возомнил! В Шерлоки Холмсы лезет!

А между тем на Петровке, 38, в большом доме, где помещается Управление охраны общественного порядка столицы,

есть люди, за которыми величайшему литературному детективу всех времен не просто было бы угнаться.

У них высшее специальное образование (а мы помним, что эрудиция Холмса была весьма однобокой и неровной), они не только, как Холмс, владеют боксом, но еще и приемами самбо, на службу им поставлена такая техника, о какой великий английский сыщик не мог и мечтать.

А главное, они не одиноки.

Как ни гениален был Холмс, но еще старая русская поговорка гласит: один ум хорошо, а два лучше. А если их двадцать или даже двести?

Как в каждом коллективе, здесь есть люди выдающиеся. Обладающие природным даром в своей работе, замечающие то, что не замечаем мы с вами, умеющие так оценивать факты, как не сумеем мы, мгновенно делающие из этого выводы, каких нам в голову не пришло бы сделать. Одним словом, уметь наблюдать не так-то просто.

Многое дается здесь учебой, тренировкой, опытом, но многое, как говорится, от рождения.

Ну есть же в конце концов люди, у которых природные способности к музыке, к рисованию, к математике, к литературе! А есть — к следовательской работе. Это давно установленный факт, и бесполезно его оспаривать.

Думаю, что в полиции любой страны есть такие люди. Но у наших преимущество. И не потому, что в нашей стране нет профессиональной преступности,— спросите у любого криминалиста, и он скажет вам, что «работать» с профессиональными преступниками куда легче. Нет, просто советский следователь лучше вооружен для борьбы с преступниками психологически и идеологически: ведь человеку, верящему в людей, верящему в силу добра, легче бороться с преступниками, чем тому, кто видит в мире лишь зло.

Гуманизм — одно из самых неотъемлемых свойств советского работника милиции — резко отличает его от западных коллег.

Так вот, среди многих работников московской милиции — и тех, кто украшен сединой и витыми комиссарскими погонами, и тех, кто только привинтил на китель академический значок и на чьих погонах с одним просветом две-три совсем маленькие звездочки,— я встречал людей, которые уверенно и спокойно могут вступить в соревнование с Шерлоком Холмсом.

Просто их еще мало знают, а Холмса знает весь мир. И, честно говоря, я не считаю, что это справедливо.

Называю я своего героя Шерлоком Холмсом с Петровки, 38, не потому, что хочу сделать ему этим комплимент (с моей

точки зрения, он сильней), а просто пользуюсь образным, понятным многим читателям сравнением.

Кто знает, может быть, когда-нибудь, говоря о литературном герое Конан Дойла, скажут: ну как же, это был известный английский Тихоненко!

И не думайте, пожалуйста, что такой Тихоненко на Петровке, 38 один-единственный. К радости честных людей и к огорчению преступников, могу сообщить, что, кроме него, есть там и другие.

Не хочу умалять и коллективности действий нашей милиции — черты, впрочем, характерной для всех советских учреждений и организаций. Но в этой повести я пишу о совершенно реальном и конкретном человеке, о его реальных делах, удачах и неудачах, мыслях, поступках. О старшем лейтенанте милиции Викторе Ивановиче Тихоненко, сотруднике Московского уголовного розыска, размещающегося по адресу: Москва, И-51, улица Петровка, дом 38; вход с Колобовского переулка.

Поскольку это повесть, а не корреспонденция, здесь смещены во времени кое-какие события, изменены кое-какие имена, кое-что домыслено. Но, повторяю: так или иначе, все, о чем пойдет речь, случилось в действительности. Это рассказ о сыщике. «Сыщик» — хорошее старое русское слово. И пора ему вернуть его первоначальное значение.

КАПЛЯ КРОВИ

Над вечерней Москвой висел упрямый, терпеливый, настойчивый дождь. Он висел давно и, судя по всему, не собирался уходить на покой. Мелкий и частый, он несильно шуршал по асфальту, чуть громче по железным подоконникам и крышам сараев.

Асфальт блестел, отражая дальний свет фонарей, и если поднять к ним, к этим дальним, высоко подвешенным над улицей светильникам, глаза, то не различишь тонкую, мокрую сетку, опустившуюся с черного неба.

Ленивые, чуть дрожащие под дождем, разлеглись на улице лужи. От промокших заборов остро пахло сырым деревом. А от розыскной собаки, грустно поглядывавшей на весь этот водянистый пейзаж,— мокрой шерстью. Чувствуя свою бесполезность, она посматривала в сторону синей машины, внутри которой, она это твердо знала, есть теплый и сухой проволочный домик.

Человек десять, кто в набухших, совсем черных от дождя милицейских шинелях, кто в плащах с поднятыми воротника-

ми, толпились возле подъезда. Подъезд был обыкновенным, с тусклой лампочкой, освещавшей номера квартир, черной эмалью нанесенные на белую эмаль дощечки.

Виктору было тоскливо. Он не любил дождь, сырость, промозглость. Да и кто их любит?..

Виктор усмехнулся. Ему вспомнился эпизод, в общем, не такой уж далекой его юности. Произошло это около книжного магазина на Кузнецком. Он приходил туда частенько и старался купить на скопленные (прирабатывал подсобником) деньги какую-нибудь редкую книгу. Томик Есенина, например. В те первые послевоенные годы это было куда как трудно. С отсутствием шоколада Витька мирился, с отсутствием любимых книг — не хотел. Он собирал свою библиотеку со страстью и редким для мальчишки упорством. Вот и в тот день он пришел, толкаясь по морозу среди старых и молодых, собравшихся сюда кто купить, кто продать, кто обменять книгу.

Ходил долго, и вдруг несказанная удача: какой-то парень продает Есенина! То, о чем Витька так долго мечтал.

— Сколько?

— Три сотни!

Витька обомлел. Сто, ну двести, но триста! Он лихорадочно шарил по карманам. Плохо слушающейся от мороза рукой посчитал мятые, скопленные бумажки. Где уж там триста...

— Сбавь!

— Давай, давай, пока не набавил!

— Нету столько,— печально констатировал Витька.

— Нету, так мороженое иди покупать, а то ишь за Есениным пришагал!

Парень повернулся к Витьке спиной. Есенин уплывал из-под носа. Столько гонялся за ним, искал, с таким трудом копил... И все к черту! Неужели совести нет у людей! Триста — это же, это...

Витька не находил слов. Он понимал, что спекулянты должны быть, что они заламывают, но ведь есть же предел! Он не находил слов, зато нашел жест. Догнав парня и быстро забежав вперед, он изо всей силы ударил его по противной роже.

Поднялся шум, крик. Витьку забрали в милицию. Он нарушил порядок и подлежал наказанию, хотя у самого педантичного блюстителя законов не лежала душа наказывать мальчишку за то, что он ударил спекулянта.

— Но он же триста рублей драл! — негодовал Витька, глядя горевшими от обиды глазами вверх, на обступивших его высоких мужчин в сапогах.

— Да ты пойми,— растолковывал без особой убежденности дежурный,— нельзя драться...

— А триста монет за Есенина драть можно? — вопил Витька, не имевший других аргументов в свою защиту.

Милиционеры смущенно переглядывались, пожимали плечами. Конечно, нельзя. И, конечно, они с куда бóльшим удовольствием привели бы в отделение того мордастого спекулянта. Но не пойман — не вор.

— Знаешь что, мальчик,— предложил наконец дежурный,— раз ты хочешь с такими вот бороться, возьми да сколоти дружину из ребят. А то, сам понимаешь, как мы в форме подходим — спекулянты разбегаются. А вас опасаться не будут. Давай действуй, а мы поможем. Только не деритесь.

Витька ушел домой довольный. Он сколотил дружину и начал бороться с преступниками. С тех пор он всю жизнь наносит им удары. Но первый удар был прямо-таки символичным: спекулянт, которого ударил Витька, оказался не кем иным, как... Рокотовым, знаменитым впоследствии валютчиком, расстрелянным по приговору суда. Начинал он со спекуляции книгами...

...Виктор мотнул головой, отряхивая холодные капли. Да, он тогда считал, что спекулянты — это «нормально», вот только «перехватывать» они не должны. Прошло некоторое время, пока он понял, что ни спекулянтов, ни воров, ни убийц вообще не должно быть.

Но пока они есть. Только что в этом обыкновенном московском подъезде убили одного и ранили другого человека. В милицию уже отвезли предполагаемого убийцу, отсидевшего свой долгий срок за такое же убийство ножом, только что вернувшегося... И вот снова, наверное, взявшегося за старое.

Наверное, но не наверняка. Потому что он категорически, отчаянно, изо всех сил отрицает свою вину. Он понимает, что вряд ли кто ему поверит, что все улики против него, но все равно отчаянно, безнадежно протестует.

А как протестовать?

Дежурному по городу сообщили, что по этому вот адресу, в подъезде, обнаружен труп человека — Рулева Федора. Через полчаса в одну из больниц доставили другого Рулева — Петра, с ножевым ранением бедра. Глубоким, но, к счастью, не опасным.

Оперативные работники выехали на место и выяснили следующее.

В подъезде, когда оба брата (оказалось, что Рулевы — братья) мирно беседовали, пережидая дождь, к ним подошел живущий по соседству их знакомый Карпенко, слегка навеселе. Он недавно вернулся после отбытия срока за убийство. Карпенко вмешался в разговор, стал приставать к братьям, ругаться, грозить, а когда они захотели прогнать его, выхва-

тил нож, убил одного, ранил другого и убежал. Особой сложности дело не представляло: свидетели видели всех троих стоящими в подъезде, слышали шум ссоры. Карпенко, как уже известно, убил человека ножом при аналогичных обстоятельствах. Да он и сам не отрицал, что ссорился с братьями. Просто он пытался утверждать, что ушел раньше, оставив их одних, да и выпил совсем малость по случаю радости — нашел наконец работу. А то все брать не хотели. И вообще-то не пьет теперь. А чтоб драться, да еще ножом... «Что вы, гражданин начальник, да ни в жисть!» Он смотрел на Виктора таким отчаянным, таким тоскливым взглядом, что тому делалось не по себе.

И хотя картина в общем была ясной, Виктор не мог изменить своему твердому правилу: проверить, осмотреть, убедиться, так, словно в деле был сплошной туман и абсолютная неизвестность.

Пока милиционеры в десятый раз осматривали подъезд, стучались к жильцам, Виктор шел вдоль улицы, останавливаясь у подворотен, подъездов, подсвечивая себе карманным фонарем.

Большинство оперативников уехало, а он все ходил с немногими помощниками и искал.

Что?

На такой вопрос вряд ли сможет ответить даже самый опытный, самый выдающийся следователь. В каждой профессии рано или поздно, и тем раньше, чем больше призвание у человека к этой профессии, достигаются какие-то рубежи, какие-то вершины, непостижимые для понимания «простых смертных». Нелегко представить себе машинистку, печатающую чуть не триста знаков в минуту, слесаря, выполняющего пятьсот процентов нормы, хирурга, возвращающего жизнь умершему человеку, актера, знающего наизусть сотню ролей, или автомеханика, по звуку мотора точно определяющего малейшую неисправность.

Кому-то этого не понять, а для них самих это степень освоения профессии.

Виктор — не Вольф Мессинг и не волшебник. Он просто опытный, добросовестный работник, одаренный к тому же исключительными способностями. Ведь он вполне мог ограничиться осмотром места происшествия, а не бродить с фонарем по дождю, за сотню метров от этого места. Он мог не заметить маленькую темную каплю крови, чудом сохранившуюся дождливой ночью на сухом местечке у входа в один из домов. Наконец, он мог заметить ее и не придать значения, не обыскать с поразительной тщательностью захламленное, пыльное, темное подлестничное помещение и не обнаружить там окровав-

ленный нож. Он мог не найти еще две-три капли крови, а найдя их, не догадаться, куда ведет след...

Но он все это сделал. Нашел, сообразил, догадался, взял на себя смелость поверить.

Он сумел мгновенно построить правильную версию, найти свидетелей, задать им нужные вопросы, а потом сделать из их ответов правильные выводы.

И тогда он просто поехал к раненому Петру Рулеву и, еще раз выслушав его показания, сказал:

— Ну, а что, если кто-нибудь видел, как все произошло? Что бы он рассказал? Хотите, я вам скажу? Вы стояли втроем в подъезде и ссорились. Только не с Карпенко, а с братом. Когда Карпенко ушел, вы убили брата, ушли в подъезд дома номер двенадцать, сами себе нанесли рану в бедро, забросили нож и, зажав рану, добрались домой.

И Виктор подробно, не спеша описал Петру Рулеву, как все произошло, описал так, словно, прикрытый шапкой-невидимкой, все это время находился с ним рядом.

— Кто ж мог видеть? Ведь не было никого...— вот все, что мог сказать подавленный убийца...

Потом, когда Виктор вспоминал это дело, он иногда задавался вопросом, что́ именно толкнуло его на дальнейшее расследование, кроме обычной профессиональной добросовестности, что́ заставило его не поверить сразу, с налету, в казавшуюся очевидной виновность Карпенко!

Ну, обычное для следователя недоверие к очевидному, ну, излишняя, но, в общем-то, объяснимая горячность и озлобленность Петра против Карпенко, старание убедить всех в его виновности. А еще? А еще, сам себе отвечал Виктор, глаза Карпенко, его неуклюжие, отчаянные и безнадежные оправдания. Да, бывший убийца, да, под хмельком, да, кругом, казалось бы, изобличенный...

Но прежде всего — человек.

КАПЛЯ СОЧУВСТВИЯ

Каждое утро, приходя на работу, Виктор, как он выражался, «знакомится со своей корреспонденцией». Это приказы, ориентировки, служебные записки, отчеты и так далее. Но порой среди вороха напечатанных на машинке бумаг попадался треугольный или простой конверт, надписанный далеко не всегда красивым почерком.

Эти письма он читал в первую очередь.

Они, как правило, приходили не из Сочи и не из Малаховки. Их отправители жили в далекой сибирской тайге, на Ко-

лыме, в Зауралье. Они обосновались там надолго благодаря его, Виктора, усилиям.

Но содержали письма не проклятья и угрозы, а совсем наоборот — неумелые слова благодарности, рассказы о невеселом, но заслуженном лагерном житье. И главное — планы на будущее, мечты, вопросы.

Виктор ни разу не оставлял такое письмо без ответа. Наверное, немало было таких, кто в сладком сне видел, как расправляется с ненавистным ему оперативником, но важно было, что многие все же поняли, что к чему, и разгадали сочувствие.

Людям, даже самым плохим, так нужно бывает сочувствие, одна капля.

Виктор отложил перо, посмотрел в помутневшее от мокрого снега окно. То и дело в него шлепался снежный комок. Тонкие струйки стремительно начинали свой бег по стеклу, и потом, нерешительно остановившись, на мгновение замирали и вновь продолжали путь, на этот раз зигзагами, виляя из стороны в сторону.

За их причудливой оградой виднелось серое, набухшее небо, клочкастые облака, потемневшая стена дома напротив.

Виктор еще раз, неизвестно зачем, поворошил бумаги на столе — письма от Губановой не было. Жаль. Больше всего он любил получать письма от нее. И не потому, что она лучше всех умела их писать. Скорее потому, что эта странная печальная женщина, трудное многомесячное единоборство с которой он никогда не забудет, оставила в памяти какое-то особое, смешанное чувство горечи и удовлетворения.

Вот уже два года, как она с ним переписывается, ей осталось не так уж много времени пробыть в заключении. Он знает, что потом, когда она вернется, то придет сюда, к нему, на Петровку, 38, как приходили до нее многие, как будут приходить после нее, и он поможет ей устроиться на работу, поможет снова найти место в жизни.

Обычное дело. Разве только к нему сюда приходят, разве только он помогает...

Обычное дело, старое дело. Он хорошо помнит его.

Губанову задержали при смешных обстоятельствах. К тому времени, когда это произошло, она была уже опытной «домушницей». На ее счету были десятки краж, дважды она отбывала наказание. Губанова тщательно готовила свои операции и шла наверняка. Вот и тогда она два месяца следила за квартирой и ее жильцом. Казалось, все предусмотрела. Ан нет, всего, оказывается, не предусмотришь. Хозяин квартиры, человек тихий и степенный, отличался аккуратностью и точностью: всегда в одно время уходил на службу, в одно время

возвращался. А тут взял да и загулял. Пошел к другу на рождение да так с непривычки напился, что на следующий день проспал все на свете. Еле придя в себя, с раскалывающейся от боли головой, он часов в одиннадцать утра поднялся с постели и вышел в соседнюю комнату.

Увидев незнакомую женщину, спокойно и неторопливо укладывавшую его костюмы, рубашки и обувь в его же чемодан, хозяин квартиры сначала решил, что продолжает видеть пьяные сны. Сообразив наконец, что происходит, он бросился к женщине и стал звать на помощь.

— Несолидный мужчина,— презрительно отозвалась о нем Губанова на первом же допросе,— пьяный, небритый и кричал, словно его не обворовывают, а режут. Несолидный!

— Да,— согласился Виктор,— несолидный. Что ж делать, не всем мужчинам храбрыми быть.

— Да все вы подлецы,— неожиданно зло сказала женщина,— извините, конечно, гражданин начальник, я не вас, конечно, имею в виду, но мужчины все негодяи.

Виктор некоторое время внимательно разглядывал Губанову. Откуда такая злость? Такое «мужчиноненавистничество»?

— Замужем были?

— Что я, дура? Зла себе желаю? — Губанова фыркнула.

«Была,— сразу определил Виктор.— Была и на этом обожглась».

— Одной, наверное, трудно,— он сочувственно посмотрел ей в глаза,— работы найти не можете, специальности нет, с образованием плохо?

— Перестаньте, гражданин начальник, вы же сами не думаете то, что говорите. Работы для меня найдется сколько хотите, университетского диплома у меня, правда, нет,— она покосилась на значок, украшавший лацкан пиджака Виктора,— но о литературе или музыке могу с вами поспорить. Ворую, потому что хочу!

— Ну и сколько это может продолжаться? Вы же молоды...

— Постарше вас, но не старая. А продолжаться... какая разница — все равно жизнь моя кончена. Сажайте хоть на сто лет...

Вот так и шли первые допросы — озлобленность на весь мир, мрак впереди, безразличие.

Но, словно кинематографический ролик, разматывалась перед Виктором эта невеселая, жалкая жизнь.

В суровые годы войны девчонкой опоздала на работу, была осуждена, озлилась на всех, вышла из заключения воровкой, встретилась с человеком, полюбила, вложив в это чувст-

во все, что было в ней хорошего, нерастраченного. Обманул, бросил с ребенком. Опять пошла воровать. Потом ради дочери решила все кончить, взяться за честный труд. Уехала далеко от больших городов, от недоверчивых людей и соблазнов. В маленьком, глухом колхозе стала дояркой. Колхозники обогрели, уважали за хорошую работу. Назначили за начитанность и знания библиотекарем, по совместительству, по вечерам. Оттаяла.

А потом и здесь разыскался подлец, а может, просто дурак, искренне веривший, что делает как лучше. Посмотрел ее анкеты, личное дело, увидел судимости и сказал: «Такая не может быть библиотекарем. Пост ответственный — отстранить».

Уехала. Устроила дочку в детдом и снова пошла воровать. В этой науке достигла вершин. Работала ловко, хладнокровно, искусно. И, как всегда бывает, попалась таким вот глупым образом. А теперь черт с ним со всем! О дочери не знают — о ней позаботятся. Слава богу, в нашей стране взрослого могут обидеть, ребенка — никогда.

Узнав, что Виктор знает все о дочери, в первый раз на допросе растерялась. Смотрела со страхом. Словно сдунуло гордость, глупую удаль.

— Только дочери не говорите,— просила,— я все расскажу. Во всем признаюсь!

— О чем расскажете? — Виктор похлопал по пухлой папке дела.— И так все известно, все вот здесь.— И добавил с горечью: — Вы лучше подумайте, что дочери будете рассказывать?

Опустив голову, Губанова молчала.

Да, много месяцев потратил Виктор на борьбу с этой женщиной.

С ней? А может — за нее?

Он выходил на беседы — это даже нельзя было назвать допросом,— готовясь к ним, как к экзаменам. Он ночами не спал, продумывая каждую фразу, каждый ход этой сложнейшей шахматной партии.

И выиграл.

«Обо всех преступлениях,— писала она в своих показаниях,— я намерена рассказать потому, что решила порвать с преступным прошлым и посвятить свое будущее воспитанию дочери».

Теперь Губанова руководитель бригады отличного труда. Не одну воровку заставила она раскаяться, пересмотреть свою жизнь. Милиция сама ходатайствовала перед судом, чтоб ей дали минимальное наказание. Виктор нашел ключик к сердцу этой женщины — любовь к дочери, ответственность перед ней.

Не было в этом деле ни стрельбы, ни схваток, ни ночных облав. Были долгие спокойные беседы в теплой, освещенной мягким светом комнате.

Не было предотвращено убийство или схвачена банда. Но это было, быть может, самым сложным и трудным из всех его дел, которым он больше всего гордился. Потому что выиграл он его не с помощью пистолета, не с помощью совершенной милицейской техники и даже не с помощью многотрудной следовательской науки.

А с помощью доброты, веры в человека и другой, самой сложной в мире науки — знания человека.

Поэтому-то Виктор так радуется, когда приходят письма от Губановой.

«Получила Ваше письмо,— писала она в последнем.— Прежде всего хочу Вас поблагодарить за ответ, за известие из детдома, за частицу человеческого тепла. Одним словом, за человечность».

БОГАТЫЙ НИЩИЙ

Разбор корреспонденции закончен. Виктор смотрит на часы. Одиннадцать.

Короткий звонок. Внутренний телефон. В трубке хорошо знакомый голос: «Зайдите ко мне, Тихоненко».

Виктор поднимается, по привычке одергивает штатский пиджак и идет к начальству.

У начальника оперативное совещание. За столом подполковник Данилов в форме и вокруг человек десять сотрудников уголовного розыска, товарищей Виктора по работе в штатском. Своим спокойным негромким голосом подполковник Данилов излагает дело.

— В ночь на двадцатое декабря неизвестные преступники, перепилив в окне с помощью ножовки металлическую решетку, проникли в торговый зал магазина номер восемьдесят четыре «Овощи-фрукты», что на Стромынской площади в доме номер один — двадцать четвертое отделение милиции Куйбышевского района,— где, взломав с помощью гвоздодера два сейфа и два кассовых аппарата, совершили кражу денег — разменной монеты в сумме двести тридцать рублей в банковской упаковке...

Виктор слушает и думает о завтрашних соревнованиях на первенство «Динамо».

Он уже давно научился слушать и одновременно думать о другом. «Как Гай Юлий Цезарь»,— шутит он. Интересно, выиграю у Хилого или не выиграю. Надо же такую фамилию для

борца—Хилый! Смех, да и только. Но Хилый, он парень здоровый, мастер спорта к тому же. Виктор пока перворазрядник. Это по борьбе. А вообще интересно подсчитать, сколько у него всех разрядов. Значит, так: футбол, гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, лыжи, плавание, стрельба, шахматы, борьба самбо, вольная борьба, мотоспорт. Третьи, вторые, первые. По конькам вот, по альпинизму, по штанге еще не успел получить... Ничего, как говорят, все впереди.

— ...Двадцатого декабря,— доносится до него ровный голос подполковника Данилова,— на Центральном колхозном рынке за сбыт разменной монеты в количестве пяти килограммов был задержан гражданин Веревочкин...

— Ничего себе, богатый нищий! — раздается чья-то реплика, в комнате слышится смех.

Выждав паузу, подполковник продолжает:

— Веревочкин Гаврила Николаевич, двенадцатого года рождения, в прошлом судимый, работающий помощником кладовщика в кафе. В качестве вещественного доказательства у него был изъят банковский мешочек, принадлежащий магазину номер восемьдесят четыре «Овощи-фрукты».

«...Все-таки этот Хилый... чем его брать? Силой тут ничего не сделаешь,— Виктор огорченно смотрит на свои могучие мускулистые руки,— он сам как медведь. Нет, надо брать «вертушкой». Он недаром только ее и отрабатывает со своим тренером. «Не можешь же ты одной «вертушкой» промышлять,— сердится тренер,— ну Хилого поймаешь, ну другого, третьего. А в турнире пятнадцать человек. Так они все и будут подряд попадаться?» Он, конечно, прав: нельзя все внимание сосредоточивать на одном приеме. Это как в розыске — попробуй стать в своих методах однообразным и жизнь бесконечным разнообразием быстро загонит тебя в тупик. То же и в спорте. Встретишься с кем-нибудь, кто любит твой любимый прием...»

Жалко все же, что так мало времени остается на спорт. Было бы побольше, Виктор по-настоящему занялся бы борьбой самбо. Она очень нравится ему — точная, быстрая, красивая и разнообразная. И стрельбой. Стрельбой из пистолета он и сейчас занимается достаточно, но надо бы побольше. Уж о любимом мотоспорте и говорить не приходится. В конце концов, все эти виды спорта необходимы в его профессии.

Поэтому, наверное, он так увлекается ими, да разве только он? Наверняка любой его товарищ по уголовному розыску в самбо, стрельбе, боксе, умении водить машину или мотоцикл может дать не одно очко вперед какому-нибудь джимену из американского ФБР, разносторонние боевые способности которых так рекламируют. А вот в шахматы джимены вряд ли

играют. Пришли б они посмотреть турнир на первенство МУРа!

— Двадцать третьего декабря по подозрению в краже из магазина номер восемьдесят четыре был задержан сын Веревочкина — Веревочкин Юрий, сорок первого года рождения. При личном обыске у него было изъято восемьдесят пять монет достоинством в одну копейку. Его допросили, но за недостатком улик придется освободить... Видите ли, товарищи,— закончил изложение дела подполковник Данилов,— Веревочкин-старший с такой яростью утверждает, что нашел деньги на дороге, да еще прямо в банковском мешочке, что никто с ним не связан, что сын его ни при чем и вообще что все это недоразумение, что возникает мысль: старик хочет отвести подозрение от кого-то, скорее всего, от человека ему близкого. Надо приглядеть за Веревочкиным-младшим. И, кроме того, кража в восемьдесят четвертом магазине мне кое-что напоминает. Давайте покопаемся в делах и в памяти.

Когда совещание закончилось и сотрудники стали расходиться, Виктор подумал: «Ерундовое дело — дело о богатом нищем».

Ему и в голову не приходило тогда, что дело это окажется одним из самых сложных и запутанных, с какими ему приходилось встречаться.

ПРОПАВШАЯ ЛИСА

Проклиная ледяной ветер, Виктор отправился в магазин № 84. Магазин как магазин, одно слово — «Овощи-фрукты». Он заранее представлял себе кражу. Обычная картина: влезли, утащили деньги... Но, ознакомившись с обстоятельствами дела на месте, он насторожился. Виктор сразу понял, что здесь действовали люди уверенные и опытные. Причем действовали удивительно нагло. Магазин располагался в жилом доме, и рядом был другой, охранявшийся сторожем. По существу, сторож этот смотрел за обоими магазинами.

Впрочем, воры обратили на сторожа весьма мало внимания. Зайдя за угол, они, не торопясь, перепилили решетку довольно высоко расположенного окна, влезли в него и, не считаясь с тем, что за широкой витриной маячил бдительный страж, взяли валявшиеся где-то под прилавком гвоздодеры и принялись за работу.

Виктор осмотрел оконную решетку — да, красивая работа: прутья были распилены точно, экономно, со знанием дела. Но особенно интересен был прием, с помощью которого грабители вскрыли сейфы. Конечно, то, что теперь принято называть

«сейф», в общем-то, не сейф, а железный шкаф — он хорошо защитит содержимое от огня, но не очень — от воров. Это не массивные, толстостенные, стальные громады с хитроумными и сложными замками, а именно шкафы из железа. Но и их не так просто открыть. Тем не менее воры ухитрились сделать это быстро и даже не ломая замков. Они просто сумели засунуть в щель между дверцей и стенкой шкафа гвоздодер и, так сказать, выгнуть дверцу кнаружи. Ловко.

Сомнений не было — работали квалифицированные грабители. Об этом говорило и много других признаков. Видно было, например, что преступников не интересовало ничего, кроме денег; нигде не было обнаружено отпечатков пальцев, причем эксперты установили, что действовали воры без перчаток, но тщательно, без упущений, протирали все, до чего дотрагивались.

Виктор долго ходил по магазину, сопровождаемый директором. Директор печально смотрел на него большими, черными, восточными глазами и сокрушался:

— Найдете, а? Подлецы, а? Совести нет! Найдете?

— Найдем, найдем! — буркнул Виктор. «Найдем-то найдем, но когда?»

Было ясно, что в деле участвовало минимум три человека. Один, бесспорно, следил за сторожем, двое других проникли в магазин.

Виктор возвращался в управление пешком. Снег добросовестно сопровождал его всю дорогу.

А через три дня Виктора подняли с постели в два часа ночи. Дело принимало серьезный оборот.

...По дороге к месту происшествия Виктор повторял про себя только что услышанные подробности ограбления. Наглость воры на этот раз проявили удивительную. Было ограблено ателье № 1 Куйбышевского района, расположенное чуть ли не напротив отделения милиции!

Виктор долго и тщательно осматривал все входы и выходы, все окна ателье. Что блокировка цела, он знал и так: тревожный сигнал молчал да и проникли преступники в ателье иначе. Его интересовало другое: не делали ли они попытки взломать, скажем, дверь. Нет, не делали. Они даже не подходили к дверям. Было ясно, что воры отлично знакомы с системой охраны ателье и, вместо того чтобы нейтрализовать эту систему (то ли выйдет, то ли нет), поступили гораздо проще. Проще, но насколько смелее!

Виктор не спеша проделывает весь путь, пройденный грабителями. Значит, так: вот они вошли во двор, прямо скажем, довольно захламленный (и это в двух шагах от милиции!), потом влезли на сарай по мусорным бидонам, с сарайной кры-

ши, продемонстрировав неплохую физическую подготовку, на крышу ателье. Эта часть крыши с улицы не видна. И именно туда выходит чердачное окно.

Виктор, скользя по замерзшей крыше, добрался до окна. Оно закрывалось глухой ставней, запиравшейся навесным замком с толстой дужкой. Замок он осмотрел еще раньше — дужка была аккуратно и, видимо, быстро перепилена ножовкой. Светя фонарем, Виктор проник на чердак. Вот и пролом. Чувствовалось, что люди, совершившие кражу, не раз заходили в ателье, хорошо знали расположение помещений. Место, где они пробили потолок, было выбрано не случайно. Оно приходилось над рабочей комнатой. Кроме того, преступники нашли, путем выстукивания, самое тонкое место в потолке. Здесь легче всего было продолбить потолок и, пользуясь захваченными со двора и найденными на чердаке железными ломами и крючьями, а также принесенной ножовкой, быстро проделали дыру и по стояку спустились вниз. Сколько их было: двое, трое? Во всяком случае, не один.

Так проникли в пролом. Схватившись сильными руками за края отверстия и секунду пробалансировав в воздухе, Виктор спрыгивает на стоящий под отверстием стол. Работники милиции, уже побывавшие до него, сняли со стола отпечатки следов, так что теперь можно безбоязненно ходить по нему.

Что делали воры, оказавшись в этой огромной, темной комнате, заставленной невероятной длины столами? Ведь в ателье хранились почти готовые и совсем готовые костюмы и пальто, отрезы, рулоны подкладки.

Но они ничего этого не тронули. Быстро и уверенно они прошли к сейфам, к этим большим, но не слишком недоступным железным шкафам, и открыли их, именно открыли, а не взломали своим привычным способом. Да, теперь он уже может говорить о привычном способе, о так называемом «почерке» преступников.

Они как-то не очень любят утруждать себя инструментами — все находят на месте. Там был гвоздодер, здесь — портновские ножницы. Ими-то они и выдавили дверцы сейфов.

Виктор ходит по комнате, как всегда внимательно осматривая все вокруг. До него то же самое сделали добрый десяток людей: эксперт из НТО, дежурный по городу, дежурный МУРа, работники соседнего, 24-го отделения милиции. Все, что они обнаружили, зафиксировано на десятках страниц протоколов. И все же Виктор снова и снова обходит комнату.

Вот здесь один из грабителей высморкался. Очень хорошо — взяты ли следы мокроты? Взяты. Интересно сравнить с теми, что взяты в магазине № 84. Так. А вот стул, на нем сле-

ды — следы один на другом, видно, что на этот стул вставал не один человек. Когда оперативники вошли в комнату, стул валялся в углу. Ясно. Этот стул преступники поставили на стол и таким образом влезли обратно в пролом. Первого, наверное, подсадили, а последнего подтянули за руки. А он ногой оттолкнул стул. Зачем?

Еще стул, еще, еще. Их здесь много. Стоят в беспорядке. На них сидят швеи во время работы. Впрочем, некоторые стулья стоят как-то странно по отношению к столам. Но и это понятно. Виктор не раз видел, как порой работница сидит на столе, поставив ноги на стул — ей так удобней. На этих стульях, наверное, немало женских следов. Ну, а вот этот стул, одиноко притулившийся у стены? Нет, не у стены, а, скорее, у окна. Хотя окно очень высоко. В него ничего не видно — не достанешь. Впрочем, достанешь как раз, если встать на этот стул. Виктор наклоняется и внимательно рассматривает поверхность стула: на ней отчетливо видны отпечатки мужских ботинок.

Что делал этот человек, стоя на стуле, у высоко расположенного окна? Виктор становится на стул. Вот теперь понятно: из окна открывается великолепный вид на постового и на милицию.

Интересно, зачем нужно было так внимательно наблюдать за отделением? Постовой был гораздо лучше виден из другого окна.

Виктор не без удивления узнает, что, кроме денег, взятых преступниками из сейфа, украдена лишь одна вещь: лиса, сданная какой-то клиенткой для воротника. «Здесь что-то не так»,— говорит себе Виктор. А что? Он бы затруднился ответить на этот вопрос. В конце концов, не слишком ли рано он связывает одной веревочкой (Веревочкин!) оба ограбления: магазина № 84 «Овощи-фрукты» и ателье № 1 Куйбышевского района?

Может быть, и рано, но шестое чувство подсказывает Виктору, что здесь дело одних рук. Однако Виктор не верит в «шестые чувства». Их надо подкреплять фактами. Он выдвинул гипотезу. Что говорит «за», что «против»? И там и тут распил решетки или замка, причем очень искусный. И там и тут единственная, принесенная с собой ножовка (после использования выброшенная). И там и тут с помощью орудий, найденных на месте, вскрыты сейфы очень своеобразным способом. Преступники в обоих случаях действовали без перчаток, а потом протирали все, что трогали, и при этом без упущений, ничего не забыв.

Это — за. А против?

Раньше Виктор готов был бы поклясться, что, кроме денег,

этих воров ничего не интересует. Тогда почему исчезла лиса? Только лиса, ничего больше, а там были вещи и получше.

И главное: выясняется, что в этом ограблении Веревочкин-младший участвовать никак не мог, поскольку лишь за час до этого был выпущен из милиции (как раз из 24-го отделения) и всю остальную часть ночи, по единодушному утверждению соседей, провел дома.

Но если в магазине «Овощи-фрукты» воры следов не оставили и узнать, кто они, из-за упрямого молчания Веревочкина-старшего невозможно, то в ателье положение лучше. Дело в том, что, проникнув в сейф, грабители нечаянно испачкались кассовой краской, хранившейся там. Теперь они долгое время будут на одежде и теле носить почти не смываемые, невидимые простым глазом, а главное, неизвестные им следы своего преступления. Они и сами вряд ли заметили, что запачкали одежду. Улика решающая. Остается «мелочь»: поймать их, чтобы им эту улику предъявить.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Виктор возвращается домой досыпать. Это занимает у него полтора часа. Немного. Но он привык мало спать. В семье все встают рано. Отец, кандидат наук, доцент Московского областного педагогического института, мать — научный сотрудник опытной станции Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, сестра тоже кандидат наук, преподаватель той же академии — все народ занятой, умеющий ценить каждую минуту времени, с четко распределенным днем. Единственный возмутитель спокойствия — Виктор. Убегает в три часа ночи, спит иногда в двенадцать дня, уходит за зарплатой, а потом неделю отсутствует... Праздник для него не праздник, будни не будни. Неизвестно, где он берет время пополнять и держать в порядке свою огромную библиотеку, вообще поспевать за книгами, тренироваться, жить семейной жизнью. Слава богу, теперь женат. Может, наконец-то будет думать хоть немного о себе, о том, что жизнь человеку дается один раз, а не десять, и не мешает заботиться о ней.

Виктор улыбается про себя...

Вот ведь как сложилось. Вся семья сеятели, один он работает на корчевке...

Действительно, жизнь у него, прямо скажем, немного беспокойней, чем, например, у нотариуса или бухгалтера.

Он вспоминает, как однажды, дежуря в ГУМе, заметил двух карманников. Проследив за ними и убедившись в том, что не ошибся, он выждал момент, когда один из них вытащил

у кого-то бумажник и собирался передать его своему партнеру.

В то же мгновение Виктор приемом самбо зажал руку вора, державшую бумажник, словно в тиски. Другой рукой он схватил второго карманника и, несмотря на сопротивление, доставил воров в дежурную комнату на другом конце магазина.

После первых бурных объяснений, когда все стало на свои места и карманники признались, старший, не скрывая уважительного изумления, поглядел на Виктора и сказал:

— Ну и здоров ты! Опомниться не успел, как сгреб нас и повел. А ведь я боксером был, перворазрядником. Да пока соображать начал...

Или еще случай.

Нужно было задержать одного хулигана в Сокольническом парке. Задержали. Двое милиционеров повели его в отделение, а двое, в том числе Виктор, остались в арьергарде. В арьергарде, потому что чуть не двадцать парней самого разного возраста, видя перед собой людей в штатском, пытались отбить своего дружка.

Однако Виктор и его товарищ очень быстро «усеяли поле сражения телами нападавших». Убедившись в бесполезности своих атак, хулиганы разбежались.

И еще случай.

В одном московском универмаге была совершена кража. Воры унесли три новеньких чемодана, набив их носильными вещами.

Примечательным было то, что среди этих носильных вещей оказался костюм самого большого существующего размера. Зачем он потребовался преступникам? Сбыть такой крайне сложно: великаны не ходят сотнями. «Значит, для себя»,— решил Виктор.

И действительно, вскоре на рынке были задержаны два человека, продававшие новые носильные вещи. Один из них, настоящий гигант, сумел мгновенно раскидать милиционеров и скрыться.

Тот, которого удалось схватить, на допросах плел всякую чепуху. Всем было ясно, что он врет, но уличить его не удавалось, тем более что, судя по всему, у него за плечами был солидный опыт. Виктор тем временем стал изучать записную книжку задержанного. В этой замусоленной, помятой книжонке были записаны сотни адресов и телефонов, многие сокращенно, условно, неразборчиво...

Виктор отобрал штук тридцать адресов. Проанализировал, кое-какие проверил, посоветовался с подполковником Даниловым и отобрал из них еще полдюжины. Трудно сказать по-

чему, но Виктор остановился на одном из адресов: «Магазин «Вата», серый дом, первый этаж, Тоня».

Почему? Виктор не раз задумывался над собственными примерами и над примерами своих товарищей — какая интуиция, какое «шестое чувство» заставляет из многих вариантов следствия остановиться на этом, из многих следов выбрать этот? И что такое вообще «шестое чувство»? Отбросив чисто профессиональное умение оценивать вещи и факты, отбросив опыт, когда все данные равны? В конце концов он пришел к выводу, что как это ни странно, но даже такая точная наука, как криминалистика, совершенно не может обойтись без вдохновения.

В какую-то минуту следователя «озаряет». Он еще сам не может объяснить, почему выбрал этот ход, а не тот, но выбирает его. Потом он разберется почему, и ему будет казаться это совершенно естественным. Он забудет, что в момент «озарения» еще не было у него тех или иных данных, а были сомнение и колебание...

Разумеется, все это доступно действительно талантливому, опытному, знающему работнику, великолепно «влезшему» в данное дело. Но все же... Наверное, человеческий мозг как-то срабатывает, заставляя принимать иной раз решения раньше, чем он сам может объяснить точно причину этих решений.

Ну да ладно. Об этом, наверное, еще много будет когда-нибудь написано, да и сейчас пишут.

А в тот раз, поскольку Виктор чувствовал, что дорог каждый час, он прямо в воскресенье, без оружия отправился вместе с подполковником Даниловым по подозрительному адресу.

В тот день шли городские соревнования по борьбе самбо, великим любителем которой был подполковник, сам человек уже немолодой и не очень здоровый. Он обещал заехать за Виктором на машине в качестве болельщика — Виктор в этих соревнованиях участвовал.

Данилов заехал раньше, и Виктор предложил:

— Товарищ подполковник, у нас есть еще полчаса, заедем к этой «Вате».

— Ну что ж, заедем,— согласился Данилов,— это где?

Ему и в голову не приходило, чтоб Виктор мог сделать свое предложение, не выяснив предварительно адреса. Действительно, в то утро Виктор узнал, что магазин «Вата» в Москве один и находится он на Ленинском проспекте.

До «Ваты» доехали легко. А дальше?

Но тут же все сомнения отпали. Поблизости стоял лишь один серый дом, весьма заметный. Обойти все квартиры первого этажа было бы несложно, но им сразу повезло. В первой же, в которую они позвонили, дверь им открыла девица, вид

которой не мог оставить никаких сомнений у опытных работников уголовного розыска.

Не останавливаясь в дверях, мимо растерявшейся Тони, они прямо прошли в комнату, где за уставленным водкой и закусками столом сидели два человека. Один из них и сидя был чуть не на голову выше Виктора. Под кроватью выстроились все три новеньких чемодана.

На столе среди вилок и ложек лежали самодельные автоматические ножи.

Подполковнику Данилову и Виктору достаточно было обменяться быстрым взглядом. Подполковник вышел и пошел в ближайший автомат вызывать оперативную машину.

А тем временем в комнате происходил разговор, который Виктор теперь вряд ли сумел бы передать даже приблизительно.

Он весь состоял из намеков, недомолвок, непонятных для непосвященного вопросов и ответов. Казалось бы, странно: вошел незнакомый человек, сел за стол, словно невзначай положил автоматические ножи себе в карман, налил всем полные фужеры водки, первый выпил, а потом стал подливать только им.

Никто друг у друга не проверял документов, ни о чем прямо не спрашивал.

Продолжая разговор, Виктор встал из-за стола и начал ходить по комнате так, чтобы одновременно видеть и дверь, и окно, и всех троих преступников. Он был совершенно спокоен, хотя понимал, что если грабители придут в себя, очнутся от психологической, что ли, летаргии, в которой они находились, ему придется плохо.

Иногда Виктор, много позже, спрашивал сам себя: что бы он сделал, нападай на него преступники. И каждый раз уверенно отвечал: вступил бы в схватку. Один. Против троих, в том числе одного великана. Даже не зная, есть ли у них еще ножи, а может быть, и пистолеты. Тут не могло быть двух решений.

Но гипноз его воли, его силы, его смелости действовал достаточно долго, чтобы успели прибыть милицейские машины. А гигант, оказавшийся при проверке одним из самых опасных, давно разыскиваемых московских рецидивистов, так же, как тот карманник, потом на допросах недоуменно пожимал чудовищными плечами:

— И почему я его не убил — сам не пойму. Нахрапом взял...

Он не умел правильно выразить свою мысль. Именно «нахрапом», если понимать под этим смелость, находчивость, самообладание, стремление выполнить свой долг.

В конце концов, дело не в формулировках.

Сотрудник уголовного розыска «работает головой». Но иной раз приходится действовать и руками и пистолетом. Такая уж профессия. Перед входом в эту профессию, как у дверей в трансформаторные будки, висит невидимая надпись: «Опасно для жизни».

Виктор, не колеблясь, в свое время открыл эту дверь. И по сию пору не жалеет об этом.

«Жалеешь?» — спрашивает он себя. «Нет!» — отвечает себе.

«ПОГОНЯ» В КОМНАТЕ

Утром, придя в отдел, Виктор садится за стол и начинает, как он выражается, «погоню». Он ловит преступников, опознает их, прослеживает их пути, уличает, и все это, не вставая из-за стола.

Итак, Веревочкин-младший не мог участвовать в ограблении ателье, коль скоро он сидел в милиции. Значит, это ограбление с ним не связано?

«Нет, связано! — убежденно решает Виктор.— Ведь сидел-то он не где-нибудь, а в 24-ом отделении, том самом, что в двух шагах от ателье! В том самом, за входом в которое наблюдал человек, оставивший следы на стуле у окна».

Это происходило в двенадцать ночи, а Веревочкин покинул отделение в одиннадцать и сразу пошел домой, откуда никуда не выходил и не звонил по телефону.

Грабители не могли знать, что в момент, когда они перепиливали замок чердачного окна, их товарищ был уже освобожден.

Их товарищ? Нет, Веревочкин. А вот что он их товарищ, это надо еще установить и доказать...

Виктор задумывается. Почему из всех ателье Москвы преступники выбрали именно это, расположенное рядом с отделением милиции, в котором пребывал Веревочкин?

Это не может быть случайностью. Грабители преследовали определенную цель. Но какую?

Вот, скажем, если б на их месте был он, Виктор, и если б в шайку входил Веревочкин, и если б Веревочкина задержали, то с какой целью он «брал» бы это ателье, да еще так быстро после ареста Веревочкина? С той целью, отвечает на им самим же поставленный вопрос Виктор, чтобы милиция убедилась— Веревочкин под замком, а ограбления продолжаются, значит, он ни при чем. А чтоб, не дай бог, не прошло ограбление мимо 24-го отделения, его совершают тут же перед носом. И притом в срочном порядке, пока еще Веревочкина не выпустили.

Но если все это так, то, значит, налет на магазин «Овощи-фрукты» и налет на ателье — не единственные подвиги шайки. Потому что, будь только два этих случая, на их основании трудно строить серьезные предположения о наличии шайки, в состав которой входит Веревочкин.

Однако преступники, зная за собой ряд других краж и предполагая, что милиция уже связала в своем расследовании эти кражи, совершают хитрый маневр, чтобы выгородить Веревочкина. Им и в голову не приходит при этом, что пока милиция «располагает» лишь двумя ограблениями.

Что ж, спасибо за высокую оценку! Можете не сомневаться, что завтра или послезавтра Виктор приступил бы к изучению всех аналогичных дел за невесть сколько лет.

Но, судя по всему, надо приступать к этому не завтра, а сегодня, сейчас.

Виктор копается в ориентировках за последние месяцы, в сводках за последние годы — он изучает картотеку МУРа, отбирая нераскрытые дела, сгруппированные по способу совершения преступлений, выезжает в райотделы или запрашивает оттуда архивы.

Погоня продолжается. Продолжается не день и не два.

Виктор листает протоколы осмотра места происшествия, смотрит фотографии. Вот, например, дело о краже в ателье в Ленинградском районе в прошлом году. Перепилили дужки замка... выдавили неизвестным инструментом дверки сейфа... взяли деньги, только деньги... бросили полотно ножовки.

«Неизвестный инструмент». Виктор тщательно разглядывает в лупу фотографию. Что это возле сейфа за черточки с колечками, уж не ножницы ли? Качество снимков не удовлетворяет Виктора. Он идет в научно-технический отдел, просит увеличить снимки, рассматривает их снова. Сомнений быть не может — портновские ножницы.

А в продовольственном магазине — ломик. А в кафе — специальный кухонный нож.

Картина все больше проясняется, и Виктор отправляется на доклад к подполковнику Данилову.

— Ситуация складывается следующим образом,— сообщает Виктор,— за последнее время, точнее, на протяжении более года, совершен ряд дерзких преступлений — ограблений кафе, ателье, продовольственных магазинов.

Поскольку все они совершены в определенных участках Ленинградского, Куйбышевского, Тимирязевского и Дзержинского районов, центром которых является Марьина Роща, можно предположить, что там преступники и живут. Посмотрите, товарищ подполковник, на план — видите, если поставить неподвижную ножку циркуля в Марьину Рощу, то можно обве-

сти небольшой и почти точный круг, внутри которого окажутся все точки совершения преступлений.

Оно и понятно. Грабили ночью, когда транспорт не работает, прохожих почти нет. Если кража будет быстро обнаружена, то все посты и патрули узнают об этом раньше, чем преступники доберутся до дому. А так раз-два, и они уже спят сном праведника. Что действует одна и та же группа, сомневаться не приходится, слишком много сходных моментов.

— Например? — спрашивает Данилов.

Виктор удивленно смотрит на него — что ж, он не знает, что ли? Но сразу же перестает удивляться—это обычный прием подполковника: он перепроверяет, и, между прочим, не всегда подчиненного, чаще себя.

— Например,— продолжает Виктор,— то, что они никогда, ничего, кроме денег, не берут. Один только раз унесли лису...

— Лису?

— Да, лису для воротника из ателье номер один. И знаете, товарищ подполковник, я думаю, что эта лиса еще скажет свое слово.

— Согласен,— Данилов задумчиво барабанит пальцами по столу,— только надо тщательно продумать, что подсказать этой лисе, когда ей надо будет говорить. Продолжай.

— Продолжаю. «Работают» эти деятели очень квалифицированно. Не удивлюсь, если они слесари высокого разряда или кто-то из них. Спокойно, точно, быстро. Перепиливают решетки и дужки замков артистически. Полотно ножовки потом бросают, а весь другой инструмент находят на месте. Причем весьма изобретательны. Например, в ателье пользуются портновскими ножницами. Сейфы открывают исключительно ловко: вставляют ножницы в щель между дверцей и стенкой сейфа и выгибают дверцу наружу. Замок остается целым и не отпертым. Поэтому когда потом осматривается сейф, то если выгибали дверцу не сильно, тот факт, что ее открыли, представляется прямо-таки таинственным.

Далее. Один из преступников каждый раз сморкается чуть ли не в сейф.

Орудуют всегда без перчаток, это тоже говорит о высокой квалификации — знают, что и в перчатках можно оставить следы. Зато тщательно вытирают все после себя.

Есть все основания предполагать, что Веревочкин-младший замешан в этом деле, хотя, как мы знаем, одно из самых дерзких ограблений произошло в его отсутствие. Но именно это...

— Именно это! — поторапливает Данилов.

—...именно это, товарищ подполковник, убеждает меня в его виновности. Пока у меня нет доказательств, но я убежден,

что они специально совершили этот налет, чтобы снять подозрение с Веревочкина: мол, видите, он за решеткой, а кражи продолжаются. К тому же его отец, когда попался, сами помните, яростно отводил от сына всякие обвинения.

И, наконец, знаете, кто Веревочкин-младший по профессии? Слесарь!

— А вообще-то, что они собой представляют, Веревочкины? — спрашивает Данилов.

— Веревочкин-младший, Юрий Гаврилович, сорок первого года рождения, не судимый, работает на заводе. Жену и сына бросил. Веревочкин-старший, Гаврила Николаевич, двенадцатого года рождения, в прошлом судимый, работал кладовщиком, а в последнее время помощником кладовщика в кафе. Явно наводчик, хорошо знает кафе, продуктовые магазины, систему охраны, сдачи выручки, расположение помещений и так далее. Пьяница.

— Ну, это анкета,— нетерпеливо перебивает Данилов,— а человек?

— Доложу завтра,— отвечает Виктор.

— Что ж, не успел узнать?

— Нет. Говорил с соседями, на заводе, еще кое-где, но с одной теткой хочу еще поговорить.

— А остальных мало?

— Мало. Разрешите доложить завтра?

Подполковник машет рукой. Он знает Тихоненко. Тот может допросить сто свидетелей, но пока не опросит сто первого, которого по каким-то своим соображениям считает самым главным,— докладывать не будет. Ему, видите ли, «не ясна картина».

Виктор выходит из кабинета Данилова. Одевается и едет к «тетке», а попросту говоря к бывшей дворничихе того дома, где живет Юрий Веревочкин.

РАЗГОВОР С УМНЫМ ДВОРНИКОМ

Виктор идет по заснеженной Москве. Он любит иногда, особенно перед серьезным допросом или разговором, пройтись по воздуху, «проветрить мозги», как он выражается.

Идет по бульвару. Под ногами скрипит снежок. Деревья напоминают гигантские белые кораллы. Солнце слепит глаза, отражаясь от ветровых стекол машин. Синеют сугробы вдоль аллей. Мороз спокойный, не сырой, не слишком сильный, и Виктор даже не надевает перчаток.

У скамеек кучки людей — пенсионеры. Вдоль всего бульвара идут шахматные сражения. Обмотав носы шерстяными

шарфами и натянув на уши шапки, пенсионеры обдумывают ходы (свои — когда играют сами, чужие — когда болеют, стоя возле игроков).

«Вот,— размышляет Виктор,— всю жизнь работали, наверное, не все богато жили, наверное, отказывали себе в чем-то. Дети у них, внуки. Радовались небось, когда получали повышение или прибавку. И никому из них не приходила в голову мысль, что можно в течение часа заработать свое годичное, а может, и двухгодичное жалование, взломав сейф в магазине. Не потому, что боялись, что попадутся,— наверняка среди этих пенсионеров есть люди смелые, ловкие, бывшие в молодости сильными, отчаянными; просто они не представляют себе и никогда не представляли, что деньги можно приобретать таким путем. А вот Веревочкин представляет. Он, наверное, теперь не представляет, как их зарабатывать иначе».

...Шурша по асфальту, проносятся машины. Интересно, как убирают от снега московские улицы! Если не знать, что зима, то в центре ее и не почувствуешь — никакого снега. Виктор проходит мимо старого здания Московского университета; из дверей выбегают группки студентов без пальто, они переходят в другую аудиторию.

Когда-то и он здесь так же бегал.

Он был уже «начальником» в бригадмиле, когда ему стукнуло семнадцать лет. Он увлеченно работал бригадмильцем. Однажды поздно вечером во время своего дежурства у гостиницы «Москва» он увидел четырех мужчин, пристававших к женщине. Послав напарника за милицией, он вступил с ними в борьбу. Один, школьник, против четверых здоровых парней. Двоих уложил, а двое так и не смогли уложить его. Позже он получил за это благодарность, первую благодарность в своей жизни борца с преступностью, и еще больше увлекся борьбой.

А когда, кончив школу, Виктор успешно сдает экзамены в Московский государственный университет, он уже начальник штаба бригадмильцев 117-го отделения милиции. В бригаде шестьдесят человек — все студенты. Позже он заместитель начальника штаба дружины охраны общественного порядка юридического факультета МГУ, между прочим, одной из первых в стране.

Виктор улыбается про себя — почти что боевая биография.

В 1961 году, привинтив к лацкану университетский значок, он официально становится офицером советской милиции, сотрудником Московского уголовного розыска.

Вот он и идет сейчас для беседы с тетей Клавой, техником-смотрителем одного из ЖЭКов, а до недавнего времени дворником в доме, где живет Веревочкин.

В голове у Виктора почему-то навязчиво засел эпизод из

«Двенадцати стульев» — эпизод беседы Остапа Бендера с «умным дворником». Неужели тетя Клава будет такой же?

Тетя Клава оказывается не такой.

Но разговаривать с ней не так-то просто. Дело в том, что она не просто отвечает на вопросы, а одновременно высказывает свои взгляды на худшую часть современной молодежи, частенько обвиняя в создавшейся ситуации Виктора, по принципу «а куда милиция смотрит?».

— Почему у вас такие по воле бегают? Вы что ж, значит, не видите ничего? Если баба семечками торгует—это вы видите, а таких? — И она устремляет на Виктора негодующий взгляд.

— Погодите, Клавдия Федоровна, мы видим, видим,— успокаивает ее Виктор,— вот пришел же я к вам.

— Эка, милок, когда пришел, он, может, за это время сто человек зарезал!

Виктор страшно таращит глаза и хватается за ручку.

— Сто человек! Клавдия Федоровна, давайте имена, скорей все имена.

Тетя Клава остывает.

— Какие имена? Я же не говорю — убил, я говорю — может, убил...

— Ну, а чем он плох-то, Веревочкин, может, это вам все кажется?

— Мне кажется? — Тетя Клава задыхается от негодования.— Мне кажется! Сами судите. Вовка—маленький, двенадцать лет ему. А эти оболтусы — Юрка Веревочкин, Володька, друг его первейший,— пьют в подъезде поллитру и угощают.

— Кого угощают?

— Как — кого? Вовку того. Двенадцать лет пацану, а они ему вместо соски поллитру суют! А вы где были?..

Виктор спешит изменить ход мысли тети Клавы:

— А что за Володька?

— Да Володька же Балакин, тоже такой вот бездельник...

— А может, еще кого знаете?

— Сережка еще какой-то, модник, брючки что те трубы водосточные, носки — ворон пугать на огороде. Вот если б милиция...

— Клавдия Федоровна,— поспешно перебивает Виктор,— а не помните, к каким часам он на работу ходил, Веревочкин?

Тетя Клава негодующе всплескивает руками.

— Да ты спроси, милок, ходил он на нее, на работу-то! Он день ходил, а три прогуливал. По вечерам, бывало, дежурю, смотрю: из такси вываливается голубчик. Да не один. Девки, срам, а не девки, одни волосья чего стоят. Вот вылезут за ним

две такие страшилищи, сами-то на ногах не держатся и тащат его в дом. А уж поди часа три ночи-то.

— Так всегда и возвращался?

— Ну не всегда. Бывало, как тень прошмыгнет в одиночку, и не заметишь.

— А не помните, когда, например, так бывало?

— Ну разве все упомнишь! Я-то ведь не полуночница, слава богу, я по ночам спать привыкши. Это когда дежурила только. Вот помнится,— тетя Клава задумалась,— помнится, в прошлом году, Восьмое марта было, наш бабий день. Я дежурила, помню. Так он часа, не соврать бы, в четыре пришагал. Я еще спрашиваю его: «Что это ты сегодня трезвенький такой, что стеклышко? Вроде б женский день, а ты сегодня без подружек своих». Так я его, значит, с намеком. А он вздрогнул весь, не приметил меня сперва в подъезде-то, а потом буркнул только: «Не все пить-то, тетка, надо и отдых знать». Отдых, думаю...

«Восьмого марта прошлого года...— размышляет Виктор.— В эту ночь был ограблен продовольственный магазин».

— Может, еще вспомните?

— Нет, милок. Был, правда, случай. Тоже часа в три вернулись, но уж тогда трое их было, и вроде под хмельком. А может, и не под хмельком. Так-то вроде не качались. Пешком пришагали, прошли, меня и не заметили. Юрка-то вздохнул так, облегченно вроде, и говорит: «Ну вот и порядок! А ты, Володька, каркал».

— Балакин Володька?

— Вот чего не приметила, того не приметила. Помню, трое были. А какой же еще? Наверное, Балакин. Другого-то вроде нету... И, воспользовавшись тем, что Виктор записывал что-то в блокнот, перешла в наступление: — Ты скажи, милок, почему вот вы за мусор штрафуете, а за то, что во дворе в козла стучат до зари,— нет. За то, что снег не уберем,— штрафуете, а за то, что дружина у нас в ЖЭКе только на бумаге,— нет. Создали, всех позаписали, я хоть не молодка, а первой записалась. И чего? Ничего. Походили месячишко, а теперь уж забыли, как это делается.

— Клавдия Федоровна, мы-то...

— Вы-то, вы-то! Вы-то и должны за этим смотреть. Вы хоть все генералами станете, а без народа-то не будет толку. Ну что вот ты, милок, хоть и с пушкой будешь, совершишь, если мы тебе помогать не будем?

Да, тетя Клава—умный дворник.

Виктор молчит. Что говорить? Он и так знает, что она права. У них на Петровке, 38 прекрасно все это знают. Это вот тетя Клава не знает, сколько таких же, как она, доброволь-

ных, бескорыстных помощников у Петровки, 38! Если б знала — радовалась. А «те» ночные рыцари, хулиганы, шпана — они, между прочим, тоже не знают, сколько у нашей милиции помощников в народе. А жаль. Знали бы, может, вели себя потише. Многие—наверное. Но для иных народ мало что значит. Вот милиция — другое дело. Это они понимают.

Виктор продолжает свое путешествие. Он еще раз встречается с соседями Веревочкина, с теми, с кем он работает на заводе.

Они рассказывали.

Двенадцатилетний Вовка:

— Она такая горькая, водка. Фу, противно! А как не выпьешь? Он таких подзатыльников надает...

Сосед по квартире, пенсионер-бухгалтер:

— Конечно, гулял, а что ж ему — дело молодое. Конечно, выпивал — так ведь дома не шумел, а на улице, знаете, это уж пускай милиция смотрит.

Соседка, работница на фабрике:

— Нехороший парень. Не знаю, как вам объяснить, вроде и здоровается по утрам, а вот чувствую, только объяснить не могу. И потом, видели, как одет-то? И брючки, и галстучки, и все прочее. Откуда деньги? Он же дорогу на работу небось в адресной книге узнает.

Мастер энергетического завода, где Веревочкин работал:

— Золотые руки у парня. Была бы голова не садовая, далеко в нашем деле бы пошел. Он запросто мог хорошие деньги зарабатывать. Так нет, прогуливал, а то и пьяный придет. Я его сколько раз от ворот вертал.

Один из рабочих его бригады:

— Подонок он, не наш, не рабочий человек. Верно мастер говорит, мог бы работать. Так ведь мало ли что кто может! Судить-то надо по тому, что делает. А вы глаза его видели? Обратили внимание? Он же как волк смотрит! Волчьи глаза у него. Посмотрите, точно — волчьи.

Случайная, «случайно» задержанная подруга:

— А я откуда знаю, где он деньги берет? Знаю только, что есть они у него всегда. Не имеете право меня держать! Ну выпила, так ведь не хулиганю! Да что вы ко мне с этим Юркой пристали — парень как парень, аккуратный, не дерется, угостит всегда. А где он работает — я не нянька за ним смотреть. И не очень он мне нравится. Володька, тот да! Когда вы меня выпустите? Я жаловаться буду!..

Виктор докладывает подполковнику Данилову.

— Юрий Веревочкин — подонок. Пьет, водит к себе женщин сомнительного поведения, прогуливает работу. Денег много, откуда — неизвестно. Отец у него, как я уже докладывал,

тоже пьяница, у сына под каблуком. Несколько раз Юрий Веревочкин возвращался среди ночи, один, трезвый, стремился остаться незамеченным. Одно из возвращений совпадает по времени с одним из ограблений. В общем, товарищ подполковник,— подытожил Виктор свой доклад,— остается, как говорится, немногое: поймать и изобличить.

— Вот и займись этим,— ворчливо посоветовал Данилов,— лови и изобличай.

— Слушаюсь,— сказал Виктор и, собрав свои записи, вышел из кабинета.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...

Изобличать пришлось, а ловить нет. Это сделали другие.

Через несколько дней после описываемых событий была ограблена сберегательная касса. Надо заметить, что ограбить сберегательную кассу — это не то же самое, что вытащить бумажник у зазевавшегося пассажира трамвая. Сберкассы имеют соответствующую систему защиты, да и сейфы там настоящие. К тому же редко так случается, чтобы в сберкассе на ночь оставались большие суммы.

И для того чтобы выбрать удобный момент, преступники должны следить за кассой долго и тщательно.

Когда Виктор приезжает на место, царит глубокая ночь. Только что заведующий сберкассой вернулся домой — а он живет почти в том же помещении,— обнаружил взлом и позвонил в милицию.

И вот милиция на месте. Собаке, как всегда, не везет. Метель такая, словно это не Москва, а сибирская тайга. Фонари раскачиваются, будто хотят оторваться. Их скользящий свет с трудом прорывается сквозь вихри жесткой белой крупы, затеявшей во мраке неистовую, беспорядочную пляску. Тротуары заметены, и языки снежных наносов вытянулись во все стороны. Метель воет, как стая волков, она заглушает слова, уносит их куда-то далеко от ушей, для которых они предназначены.

У входа в сберкассу уже притопывают какие-то белые бесформенные фигуры — прибывшие раньше работники милиции.

Внутри, согреваясь и образуя вокруг лужи подтаявшего снега, уже смотрят, фотографируют, пишут протокол.

Обычная работа.

Виктор останавливается в дверях и обводит взглядом помещение. Да, ничего не скажешь! Нахальные ребята.

Он мгновенно понял, что за сберкассой следили долго и

тщательно и вообще выбрали ее не случайно. Те, кто располагал ее здесь, наверное, чутко заботились об удобствах для будущих воров.

Касса находится на первом этаже жилого дома. Вход в нее из жилого подъезда. Ни лифтера, ни дворника (которому полагается дежурить и который, разумеется, не делает этого) в подъезде нет. Лампочка не горит. Ее, наверное, предусмотрительно вывинтили преступники.

Защитная система сберкассы из-за неисправности два дня не работала. И преступники должны были об этом знать, раз они выбрали один из этих дней. А это требовало не только тщательного наблюдения за кассой, но и умения определить, работает или нет защитная система.

И это уж не говоря о том, что они видели, как ушел заведующий сберкассой. Дело в том, что из подъезда вход вел в нечто вроде передней, из которой одна дверь открывалась в сберкассу, а вторая — в квартиру, где жил заведующий.

Что было бы, если б он не ушел? Или вернулся домой не поздно? Остался бы он в живых? Ведь преступники могли предполагать, что у заведующего сберкассой есть оружие и он умеет им пользоваться.

Тем не менее грабители спокойно входят в подъезд, без труда проникают в квартиру заведующего, покинувшего ее буквально десять минут назад, верные своей системе не носить с собой инструменты, отламывают ручку от... сковороды и перепилив ею дужку навесного замка, попадают в помещение сберкассы.

Они вскрывают маленький ящик, забирают немного находившихся там денег и приступают к взлому сейфа.

Но тут их постигает первая неудача. Сейф в сберкассе не несгораемый шкаф в ателье — его портновскими ножницами, а тем более ручкой от сковороды не откроешь.

На мгновение Виктор закрывает глаза и представляет себе всю сцену.

Несколько человек — сколько: трое, четверо? — толкаясь в темноте, тяжело дыша, шепотом ругаясь, возятся вокруг сейфа, примеряются к нему так и этак, сплевывают с досады, а один, как обычно, сморкается...

Что же произошло дальше?

Дальше преступников постигла вторая неудача: убедившись, что с сейфом им не справиться, они уходят, но по дороге нечаянно толкают стол, разбивают чернильницу с красными чернилами. Чернила попадают им на руки, на одежду.

Виктор тщательно осматривает стол и пол вокруг стола. Вот здесь чернильница разбилась, от нее полетели брызги, они попали сюда и сюда. А почему не сюда? Потому что здесь

что-то преградило им путь. Нетрудно догадаться, что́ именно — преступники. Сколько? Судя по ширине незапятнанного пространства — двое. А судя по высоте полета брызг — запачканы руки, рукава...

Виктор выходит на улицу. Метель продолжает буйствовать. Он не успевает опомниться, как весь облеплен снегом, исхлестан твердой крупой, ослеплен воющим ветром.

Где-то вдали слышен прорвавшийся сквозь этот вой звонок первого трамвая. Домой ехать нет смысла, и Виктор отправляется в управление.

Он спускается в буфет, пьет крепкий чай, идет в свой кабинет, смотрит на часы — уже можно звонить Люде, жене, она встала. Занятия в училище, где она преподает, начинаются рано, а находится училище на другом конце города. Разговор короткий и деловой. Людмила не спрашивает свистящим шепотом, жив ли он, в ее спокойном голосе не чувствуется слез, как и недовольства, что ее мужа вытащили в три часа ночи из постели, увезли в неизвестном направлении и что вот только теперь он звонит.

Виктор устремляет взгляд за окно, в бешено крутящийся белый мрак, и размышляет. На губах у него застывает довольная улыбка.

Он доволен своей работой, которую он любит, он доволен этим конкретным делом, которое, как он чувствует (а как объяснить почему?), близится к развязке, он доволен собой: тем, что чувствует себя бодро, что у него могучие мышцы, мгновенная реакция, что он быстро бегает, высоко прыгает, что он знает много приемов борьбы и самбо и не знает, что такое боль в сердце, грипп и простуда. Он доволен тем, что умеет мчаться на бешеной скорости на мотоцикле и без промаха стрелять из пистолета. Стрелять днем и в темноте, из неудобного положения и падая. Если выгонят из милиции, улыбается он про себя, пойду в цирк стрелком.

Виктор доволен своими товарищами по работе и, хотя так не полагается говорить,— своими начальниками. Но он доволен тем, что они им довольны.

Дружеская взаимопомощь, поддержка хороши в любом учреждении. В уголовном розыске они необходимы. Если где-то из-за нерадивости товарища ты потеряешь премию — это плохо. Здесь же из-за этого можно потерять жизнь.

Но нерадивые в уголовном розыске не задерживаются.

Наконец, Виктор доволен тем, что у него есть Людмила. Сейчас, пожалуй, он доволен этим больше всего. Людям редко свойственно ощущать свое счастье, неприятности — это да. В древности говорили: «Я чувствую свою руку». Это значит, рука болела. Потому что когда она не болит, ее не чувству-

ешь. Так и с женой. Замечаешь ее присутствие, когда она плохая, а когда хорошая — нет. Нет в том же смысле, в каком человек не ощущает, что он здоров, сыт, дышит воздухом, доволен жизнью. Это все воспринимается как естественное, само собой разумеющееся.

Поэтому он доволен.

А она?

А для нее естественно, само собой разумеется, иметь такого мужа, который воюет, когда для всех кругом мир. Ведь нет же войны, нет сражений, и никакой другой женщине в Москве не приходит в голову, что муж может умереть под пулей! А ее муж может.

Он не ходит в стальной каске, не берет с собой на работу саперной лопатки, даже пистолета. Он завтракает, как правило, дома и бреется электрической бритвой. И все же каждый раз, как он закрывает за собой дверь их квартиры, она провожает его как на бой. И пока в полночь ли или под утро он не вернется домой, она не знает, вернется ли он.

Конечно, в стране больше умирает людей от болезней, от уличных катастроф, от авиационных или железнодорожных катастроф, чем гибнет милиционеров.

Но ведь нельзя же не летать самолетом, не ходить по улицам или считать себя застрахованным от рака.

А вот в уголовный розыск можно не идти работать. Можно читать по вечерам повести про милицию и ворчать: почему не поймали карманника или не убрали пьяницу со скамейки.

Это легче.

И не следует осуждать людей за то, что они становятся инженерами, врачами, строителями, журналистами, шахтерами, а не сотрудниками уголовного розыска. Среди них тоже немало смелых людей. Много известно случаев, когда они помогали тушить пожары, спасать утопающих или задерживать убийц. И порой отдавали при этом жизнь.

Но все же это очень редкие случаи.

Для работников уголовного розыска ловить убийц и рецидивистов, рискуя жизнью, а иногда и жертвуя ею, обычно. Это их профессия.

Число сотрудников уголовного розыска, а тем более работающих в первом отделе, ничтожно мало по сравнению с остальным населением страны. И найти себе мужа среди всего этого остального населения соответственно неизмеримо легче.

Но Людмила выбрала именно его, Виктора.

Она знала, на что шла, и пошла на это.

Она никогда не ворчит, когда он ночью убегает из дому, не говорит ему бесполезной и трогательной фразы: «Будь

осторожен», не предъявляет нелепых требований, например, быть дома в день ее рождения или под Новый год.

Она старается, чтоб ему было легче.

А кому трудней?

Ему, увлеченному боем, захваченному действием, видящему опасность, борющемуся с ней, хорошо знающему, что за сутки эта непосредственная опасность угрожает ему все время или всего несколько секунд?

Или ей, на работе и дома, одной и с гостями, днем или ночью, ничего точно не зная, не имея возможности помочь ему, защитить, что-то сделать, хоть как-то, хоть в чем-то принять участие, ей, беспомощно и пассивно ждущей его возвращения?

Когда он дома и ночью или в другое неурочное время раздается в их квартире телефонный звонок, он знает — в нем нуждаются.

А когда она одна и телефон зазвонит в ночной тишине? Что должна она пережить в те секунды, пока тянется к трубке? Сейчас она услышит его веселый уверенный голос и гора упадет с плеч.

А если голос будет не его? Если подполковника Данилова, или... или самого комиссара? Нет, конечно, не все так страшно. Бывают и веселые случаи, да и самое страшное дело почему-то выглядит потом в его рассказе как забавный эпизод. Работают в уголовном розыске люди десятками лет и вот ведь живы и невредимы. В конце концов, преступники есть, но не все же они убийцы. Есть статистика: гибель каждого милиционера — трагедия, но это каждый раз исключительный случай... Зачем думать о худшем?

Теперь Виктор смотрит за окно не улыбаясь. Его взгляд становится печальным. А потом холодным и злым. Так всегда с ним бывает в эти минуты. Как будто мало на земле бед: наводнений, пожаров, болезней, катастроф! Как будто не делают у нас все, что можно, чтоб людям жилось лучше! Не все еще хорошо, многое еще предстоит. Так помоги! Нет, наоборот, норовят подставить ножку, украсть, обмануть, убить. Плевать таким на всех и на все, кроме себя. И пока будут они ходить по земле, Виктору и другим его товарищам, тем, кто придет ему на смену, не придется жить спокойной жизнью, а их женам забыть о страхе и волнении.

За окном по-прежнему бушует метель, но мрак рассеялся, настало утро. В коридоре слышны шаги, открываются и закрываются двери, кто-то смеется, кто-то разговаривает.

Жизнь продолжается...

Его мысли прерывает телефонный звонок. Говорят от дежурного по городу:

— Сегодняшнюю сводку читал?

— Нет.
— Почитай.
— А готова?
— Понесли.

Через несколько минут Виктор читает: «По обвинению в попытке обокрасть ателье верхней одежды № 3 Свердловского района задержаны Веревочкин Юрий и Гришин Сергей...»

Не успев дочитать сводку, Виктор вскакивает. И, перепрыгивая через ступеньки, мчится вниз. Машина с включенным мотором уже ждет его у подъезда.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Пока машина мчится к отделению милиции, Виктор «расслабляется». Он заимствовал это выражение из спорта. Он знает, что для сохранения сил в соревнованиях по любому виду спорта надо уметь чередовать мгновения максимального напряжения с периодами расслабления. Это как перед прыжком — все мышцы расслаблены, мягки, и вдруг короткий разбег и мгновенное неистовое напряжение прыжка. А у марафонцев по-другому — там напряжение длится часами. И вот, пока бежишь, надо уметь отдыхать, хоть секунду, хоть долю секунды, в момент переноса руки, переноса ноги...

А у него напряжение постоянно. И мгновенное и длительное. Виктор знает: сейчас он приедет на место — и начнется борьба психологическая, борьба допрашивающего и допрашиваемого. Все чувства в этот момент должны быть в предельном напряжении, ничего нельзя упустить, не заметить. Поэтому сейчас он расслабляется. Это вьюга и снег напоминают ему прошлогоднюю встречу Нового года. Довольно своеобразную. В вагоне. На пути в Москву.

Это было интересное и поучительное дело, запутанное и легко решившееся благодаря пустяку. Из длинных многословных рассказов шести человек он выудил тогда одну фразу, и эта фраза привела к раскрытию сложного дела, к поимке убийцы.

...Морозным декабрьским днем на Киевский вокзал столицы прибыл поезд из Харькова. Среди других пассажиров в нем ехало шесть тбилисцев и один ленинградец. Познакомились в пути, сдружились. Ленинградец ездил на Украину, возил теще в подарок телевизор, но оказалось, что телевизор ей уже подарил сын, и вот теперь он везет его обратно. Телевизор заинтересовал одного из тбилисцев, и он решил приобрести его у проклинавшего все на свете и прежде всего свою тещу ленинградца.

Договорились так. Поскольку ленинградец задерживается в Москве на два дня, а тбилисец едет дальше, в Ленинград, то телевизор оставят в камере хранения в Москве, а когда ленинградец прибудет в свой город, он отдаст там тбилисцу багажную квитанцию, а тот ему — деньги.

Непонятно, зачем потребовалась столь сложная договоренность, но поскольку она состоялась...

Четверо тбилисцев поехали в Ленинград, а ленинградец и двое других отправились в район ВДНХ и устроились там в гостинице. К сожалению, ленинградец оставил паспорт в сданном вместе с телевизором чемодане. Тбилисцы общими усилиями уговорили администратора прописать их нового товарища по единственному имевшемуся у него в кармане документу — диплому об окончании института на имя Самохина. Самохин был веселый, красивый, обаятельный; администратор согласился.

Но перед отъездом в Ленинград вся компания весь день носилась по Москве. Что-то покупали, пообедали в ресторане.

Около ГУМа зашли на почту послать приветственные телеграммы в Тбилиси. И тут Самохин подошел к тбилисцу, купившему у него телевизор, и, смущаясь, попросил половину оговоренной суммы. Но все уже так подружились, что, проявляя великодушное доверие, тбилисец отдал ему все деньги — 220 рублей. Дружба дружбой, доверие доверием, но в последний момент перед отъездом тбилисец зашел все же в камеру хранения и, сопроводив свою просьбу солидным материальным сувениром, попросил кладовщика не отдавать ленинградцу телевизор, если тот за ним придет.

Оставшиеся два тбилисца на следующее утро встретили мать одного из них, прибывшую с большими деньгами в Москву, чтобы закупить себе, многочисленным родственникам и друзьям новогодние подарки.

Вместе с тбилисцами встречать ее поехал и управившийся со всеми своими московскими делами Самохин. Встретили и прямо с вокзала поехали по магазинам. Только часам к пяти, с двумя набитыми чемоданами, вернулись в гостиницу и пошли по корпусам искать для прибывшей отдельный номер.

В какой-то момент разделились. Тбилисцы пошли в одну гостиницу, Самохин — в другую. Но обаятельный ленинградец вернулся в вестибюль и, сообщив старой женщине, что сейчас сын придет за ней, чтоб вести в номер, который они только что нашли, сам взял у нее оба чемодана и сумку, где лежали деньги, и любезно отправился вперед.

Когда сын минут через двадцать пришел за безмятежно ожидавшей его матерью, все выяснилось и поднялся плач и «скрежет зубовный».

Прибывшие работники милиции немедленно поехали в камеру хранения. Выяснилось, что Самохин только что приходил за своими вещами. Однако верный своему слову кладовщик не выдал их ему. Рядовой гражданин, если бы ему попробовали не дать его же вещи по имеющейся у него законной квитанции, естественно, поднял бы скандал. Самохин же мгновенно исчез.

В его чемодане среди других вещей нашли паспорт на имя Борисова и справку о том, что он только что освобожден из заключения. На фотографии в паспорте Борисов оказался удивительно похожим на Самохина.

Сведения о преступнике были немедленно разосланы во все органы милиции. И через два дня у Виктора раздался телефонный звонок. Звонил дежурный по одному из московских отделений.

— У нас находится Борисов, о розыске которого было дано указание.

— Что он говорит? — спросил Виктор.

Последовала пауза.

— Так что он говорит? Алло!

— Видите ли,— сказал наконец дежурный,— он в таком виде, что от него мало чего можно добиться. Лучше бы вы заехали.

Виктор немедленно отправился в отделение.

Борисова удалось привести в мало-мальски трезвое состояние часа через два. И чем больше Виктор с ним разговаривал, тем яснее становилось, что к Самохину он имеет весьма отдаленное отношение.

Короче говоря, выяснилось, что Борисов действительно недавно освобожден, но что где-то в Орше он потерял или у него выкрали документы, о чем он сделал там же соответствующее заявление. Проверка подтвердила его слова.

Итак, тонкая ниточка, имевшаяся у милиции, порвалась. Тогда Виктор и его товарищи стали изучать все аналогичные дела.

Красивый и обаятельный парень, по описаниям схожий с Самохиным, вставал со страниц архивных дел в самых разных качествах. То это был Александр, то Андрей, то Юрий, но чаще всего Анатолий. Не обладая талантом Аркадия Райкина, этот человек тем не менее оказывался то инженером из Иркутска, то режиссером из Москвы, то капитаном дальнего плавания из Мурманска, но чаще всего кем-нибудь из Ленинграда.

Там он обманул старика, унеся 500 рублей, здесь доверчивых попутчиков в поезде, еще где-то пожилую чету, но больше всего ему удавалось обманывать женщин.

И однажды, втершись в доверие к проводнице поезда Мо-

сква — Ленинград, он поселился у нее. Он назвался Анатолием, сказал, что занимается боксом, что он архитектор. Как-то ночью у них произошло бурное объяснение (о чем рассказали соседи). А на следующее утро архитектор исчез, оставив труп убитой им женщины. Теперь это уже был не дешевый авантюрист, охотник за ротозеями и железнодорожный вор.

Это был убийца.

Но где его искать?

Виктор занимался текущими делами, ходил на тренировки, затеял новый каталог для своей библиотеки. Но чем бы он ни занимался, мысль о Самохине-Борисове не выходила у него из головы. Его не покидало ощущение, что была где-то в этом деле какая-то важная деталь, могущая пролить на все яркий свет. Какая? Виктор без конца пересматривал все возможные варианты, снова и снова просматривал протоколы допросов шестерых тбилисцев и ничего не находил. У него было такое чувство, будто он играет в детскую игру «горячо — холодно». «Тепло, еще теплей, горячей, почти совсем горячо!» — подсказывал ему внутренний голос. Но «горячо!» так и не говорил.

Наконец, не выдержав и доложив начальству, он вылетел в Тбилиси и попросил всех шестерых свидетелей вновь повторить свой рассказ.

Прозрение наступило утром, когда тбилисец, купивший телевизор, неожиданно вместо ответа на очередной вопрос, с негодованием воскликнул:

— Послушайте, он жулик, вы его поймать не можете! Но я-то почему должен страдать? Я ему деньги за телевизор отдал? Отдал! Двести двадцать рублей! А где аппарат? Почему мне его не дают?

«Почти горячо!» Сдерживая волнение, Виктор попросил свидетеля еще раз рассказать эпизод на почте.

— А чего рассказывать? Сидим там за столом — такой большой, овальный, домой пишем. Вдруг он подходит, говорит: «Слушай, Жора, может, дашь мне аванс в счет телевизора. Все равно я тебе квитанцию багажную дам, хочешь в Москве отдам? А то мне очень нужно сейчас». Мы пообедали, выпили хорошо, сердце радуется, доверяет человеку сердце. Я все двести двадцать рублей вынимаю — даю, говорю: «Зачем квитанция, человек человеку верить должен. Я тебе верю!» Это уж потом я кладовщика предупредил все-таки. Мало ли что. А тогда на почте я ж не знал, что он жулик.

— Ну дали вы ему деньги, а дальше что? Куда он пошел?

— Не знаю, не следил. Мы к окошечкам подошли, телеграммы сдавать. Он тоже по-моему у какого-то окошка стоял. Не помню. Помню только, что с почты он не уходил. Я так, знаете, пока в очереди стоял, задумчиво на дверь смотрел.

— А позже,— продолжал спрашивать Виктор,— когда вы по городу ездили, он о деньгах ничего не говорил?

— О каких деньгах?

— Вообще о деньгах.

— Нет, не говорил. Только когда уж прощались в центре, у Серго два рубля попросил — до гостиницы, говорит, на такси доехать...

«Горячо!» Вот теперь «горячо». Виктор с неожиданной радостью поблагодарил удивленного тбилисца и на следующий день вылетел в Москву.

Все было ясно. Деньги, взятые на почте, Самохин-Борисов отправил куда-то.

Прямо с аэродрома Виктор поехал на почту. Он просидел там, забыв об обеде и ужине, до самого закрытия и в результате нашел то, что искал. В тот день, когда тбилисцы и ленинградец побывали на почте, оттуда был отправлен денежный перевод на 220 рублей в городок Дубки, Иркутской области, на имя некоей Рубакиной. Адрес отправителя: Москва, К-9, до востребования Самохвалову Анатолию Ивановичу.

В ту же ночь срочная телеграмма сообщила в Дубки приметы и описание «Самохвалова», адрес Рубакиной и приказ немедленно задержать преступника.

Буквально на следующее утро пришел ответ: человек, отвечающий приметам Самохина-Борисова, задержан.

Втиснувшись в самолет сверх всякой нормы, Виктор с помощником в тот же день вылетели в Иркутск.

Самохин-Борисов-Самохвалов отнесся к своему задержанию довольно спокойно. Виктор не сообщил ему, что он из Москвы, и тот решил, что за ним прибыли из Иркутска.

В ночь на 1 января, когда все порядочные люди «стреляют» шампанским и произносят тосты, Виктор, связав себя за руку с преступником, ехал в пустом вагоне на пути из Дубков в Иркутск. Напротив сидел его помощник Валерий.

Оба не спали перед тем две ночи, глаза у них слипались, ритмичное покачивание и перестук колес еще больше усиливали желание спать. Чтоб не уснуть, они то и дело поливали друг другу головы купленным на станции боржомом.

Вот так встретил он в тот раз Новый год.

Приехав в Иркутск и поместив своего подопечного в камеру, они прежде всего выспались. А ранним утром повезли арестованного на аэродром.

Всю дорогу Самохин без конца рассказывал разные истории, из которых явствовало, какой он ловкий, хитрый, веселый жулик. Как он там обвел шляпу, здесь обманул простофилю, даже милицию он неизменно оставлял в дураках.

Он охотно брал на себя кражи, совершенные в области,

даже в других городах, только не в Москве и Ленинграде. Когда же он увидел, что машина, мчавшая его по предрассветным иркутским улицам, миновала милицию, прокуратуру, тюрьму и понеслась к аэродрому, лицо его вытянулось. Он понял, что за ним прибыли из столицы.

Но вскоре опять приободрился, опять начал свои рассказы, он даже подробно описал, как обокрал тбилисцев. Он охотно выкладывал все, лишь бы отойти подальше от единственного дела, которого страшился,— убийства ленинградской проводницы.

Когда его наконец доставили в Москву, начались допросы. Постепенно все яснее и яснее проявлялся «кадр за кадром» из его жизни. И, как всегда, у истоков стремление к «красивой жизни».

То, что людей тянет к красивой жизни, не удивительно. Важно, как ее, эту красивую жизнь, понимать. Виктор никогда не уставал удивляться тому, сколько еще есть у нас юношей и девушек, видящих эту жизнь в роскошных туалетах, пьянках, безделье.

А так как туалеты и пьянки требуют денег, а безделье приобретению таковых не способствует, некоторые становятся на путь преступления. Не сразу, не вдруг, а постепенно. Одних затягивают более опытные, другие начинают с мелкой кражи или обмана, третьи, напившись, лезут в драку. Большинство останавливают товарищи, школа, комсомол, родители, иногда милиция. Но там, где на споткнувшихся вовремя не обратили внимания, отмахивались от них, дело кончается порой катастрофой.

Комсомол, школа — все это хорошо. Но ведь в школе учатся, в комсомоле состоят ребята далеко не ясельного возраста. У них уже есть своя голова на плечах, свой, пусть маленький, жизненный опыт. Почему он, Виктор, например, вместо того чтобы стать спекулянтом, в комсомольском возрасте побил спекулянта, вместо того чтобы лазить по карманам, ловил карманников?

Надо, чтобы каждый молодой человек с детства привык отвечать сам за себя, а не прятаться за родительские спины. Вот теперь этот Самохин-Борисов, он теперь будет оправдываться тем, что его «проглядели»? Да нет, он отлично знал, что делал, и тогда, когда тащил завтраки из портфелей товарищей, и когда ударил девочку, отказавшуюся с ним танцевать, и когда украл первый чемодан у попросившей его присмотреть за вещами пассажирки.

Обман, злоупотребление доверием, кражи, а потом...

— ...Так как же вы называли себя, когда знакомились с людьми? — интересуется Виктор.

— Да по-разному, чаще всего Анатолием, друг был такой у меня, вот и прихватил потом его имя.

Допрос продолжается день, два.

— А вы здоровый парень, вам бы штангой заниматься,— заметил как-то Виктор, окинув взглядом крепкую фигуру «Самохина».

— Штангой не штангой, а боксом несколько лет занимался. Разряд имел. Только выгнали меня потом за драки...

Он рассказывает о десятках городов, где «работал», о десятках людей, которых «обрабатывал». И однажды, увлекшись, сам не заметил, как упомянул о знакомстве с ленинградской проводницей. И это стало началом его конца.

Виктор незаметно, не торопясь, но неотступно и твердо сжимал вокруг «Самохина» кольцо улик, загонял его все дальше и дальше туда, откуда уже не было выхода. Через неделю убийца сознался.

Найдя у проводницы скопленные ею деньги, он забрал их, а когда, поймав его на месте кражи, она стала требовать их обратно, просто убил ее.

...Все это Виктор вспоминал, пока машина мчала его морозным январским днем по московским улицам в отделение милиции, где ему предстояла наконец встреча с Веревочкиным-младшим.

ТАИНСТВЕННЫЙ СЛЕД

Обстоятельства окончательного задержания преступников были следующие. Окончательного, потому что, в общем-то, Веревочкина все время не выпускали из поля зрения. Больше того, вся московская милиция была ориентирована на особо тщательное наблюдение за такими объектами, как пошивочные ателье. «Весьма символичное,— подумал Виктор,— так сказать, единение милиции и общественности».

Постовой Филиппов поздно ночью обходил свой район. Это был опытный милиционер, пришедший в органы после сверхсрочной службы в армии. Участок свой он знал хорошо, а службу — еще лучше.

Филиппов стоял на перекрестке, он только что прошел улицу из конца в конец, внимательно поглядывая на навесные замки палаток, на запоры магазинных дверей, бросая взгляды через широкие витрины.

А сейчас он стоял на перекрестке и курил. Через пять минут он пройдет улицу опять, но по другой стороне, покурит на другом ее конце и углубится в один из переулков... Так он делает каждое свое дежурство, каждый раз изменяя маршрут и время обхода.

Но, стоя на перекрестке с сигаретой в руке, Филиппов продолжал дежурить: он чутко вслушивался в ночные звуки города. Вот где-то вдали звякнул какой-то случайный, запоздавший трамвай, вот прошелестели машины на соседней улице, где-то залаяла собака — необычный для города звук, шаги поздних прохожих... А это что? Откуда-то, даже трудно определить откуда, доносится словно однотонная комариная песня. Может быть, это только кажется ему?

Филиппов напрягает слух — нет ничего. Опять? Где это?

Филиппов бросает недокуренную сигарету в снег и, медленно ориентируясь на звук, идет по улице. Сворачивает в соседнюю. На мгновение останавливается и продолжает путь. Но теперь он идет по-иному: быстро, уверенно, бесшумно. Расстегивает кобуру пистолета. Теперь он знает, что это за звук. Это ножовкой перепиливают железо.

Неожиданно вдали слышен тихий, почти слившийся с ветром, свист, звук ножовки прекращается. Раздаются чьи-то торопливые шаги, замирающие в ночи.

Филиппов бегом преодолевает оставшиеся метры: он уже знает, где все произошло,— ателье № 3 Свердловского района. Подбегает к боковой стене, вынимает электрический фонарь. У стены в снегу валяется ножовка, несколько прутьев толстой решетки перепилены. Все ясно. Один или двое пилили, один стоял на страже. Увидев или услышав приближающегося милиционера, он подал знак, и грабители скрылись.

На протяжении квартала Филиппов прослеживает их путь по следам на снегу, дальше след теряется: воры вышли на широкую, очищенную от снега улицу.

Филиппов немедленно сообщает в отделение. Но раньше чем оперативная группа успевает отправиться на место, преступников уже вводят в караульное помещение.

Их поймали в двух кварталах от ателье. Возвращавшиеся с дежурства девушки-медсестры заметили двух парней, торопливо перебегавших улицу, воровато оглядывавшихся по сторонам.

Встретив на углу милицейский мотоцикл, девушки сообщили о своих подозрениях патрульным. Обогнув дом, милиционеры подъехали к одной из подворотен в тот момент, когда парни выбегали из нее.

Через десять минут оба сидели в отделении и довольно нагло отвечали на вопросы дежурного:

— Ну выпили, ну домой идем! Порядок не нарушаем? Не нарушаем. Так чего привязались? Ножовка? Какая ножовка? Ателье номер три? Ну знаем, но сегодня мы и мимо-то не проходили. Где выпили? Дома выпили. И, между прочим, на свои, не на краденые!

Что ж, подозревать можно было, но доказательств нет. Первое, что распорядился сделать Виктор, это направить в научно-технический отдел одежду задержанных.

У него была своя мысль. Где-то в глубине души он надеялся, что сорванная бдительным Филипповым попытка ограбить ателье № 3 и окажется той точкой, в которой сойдутся пути Веревочкина, подозреваемого, но пока не изобличенного, и неизвестных преступников, обокравших ателье № 1, в двух шагах от отделения милиции, из которого Веревочкина только что выпустили.

Связи, знакомства, в какой-то степени даже жизнь Веревочкина были изучены Виктором. Он давно вел с ним странный поединок, односторонний и молчаливый. Веревочкин ел, спал, «гулял», выпивал, ходил по улицам и не подозревал, что в тиши своего кабинета Виктор сражается с ним, изучает, готовит стратегические планы, собирает материалы, чтоб в тот неизбежный момент, когда поединок станет явным и Веревочкин окажется перед ним в роли обвиняемого, выступить во всеоружии.

Не наступил ли сейчас этот момент? Ведь второй задержанный, Гришин, на примете у Виктора, как один из ближайших друзей Веревочкина.

...Виктор входит в дежурку и внимательно оглядывает сидящих перед ним парней.

Пальто с цигейковыми воротниками, шапки-пирожки, очень узкие брюки, яркие носки. Настороженные взгляды, поджатые губы. Обоим лет по двадцать пять.

Есть в их облике обыкновенных, даже с претензией на элегантность, современных парней что-то затаенное, недоверчивое, что-то от зверя, но не львиное или тигриное, а шакалье, лисье.

В них чувствуется наглость, которая так же легко может перейти в беспощадность, как и в трусость, изобретательность на зло, ограниченность в добре.

Это лишние люди. Люди, которых вряд ли исправишь и, уж во всяком случае, не скоро. Люди, усвоившие одну мораль: что хочу, то и делаю, лишь бы не попасться. И ради вот этого «хочу» они могут пойти на многое: могут быть хитрыми, настойчивыми, дисциплинированными, осторожными, изобретательными...

А может, это Виктору все кажется? Может, просто сидят перед ним два ни в чем не повинных парня? Или так, повинных в мелочах. А он создал в своем кабинете образы опасных злоумышленников, опытных коварных преступников... Все может быть...

Ведь предвзятость не мирится с объективностью. И чем

упорней будет держаться следователь за свою заранее построенную версию, тем меньше шансов у него раскрыть истину.

Виктор привозит задержанных на Петровку, 38 и идет в научно-технический отдел. Ему не терпится выяснить результаты экспертизы.

Они оказываются совершенно неожиданными.

На одежде Гришина обнаружены бесспорные следы кассовой краски. Ясно: Гришин участвовал в ограблении ателье № 1!

Но самое поразительное то, что и на одежде Веревочкина найдены те же следы! А ведь он-то, это точно установлено, не мог участвовать в этом ограблении...

Откуда же следы? К тому же Гришин ничего со своей одеждой сделать не пытался, а Веревочкин у себя пытался отстирать следы. Что ж, он знал? А если знал, то почему не предупредил дружка, не попытался отделаться от одежды?

Виктор и сотрудник отдела долго ломают голову. Решают посоветоваться с опытным экспертом-специалистом.

— И знаете что,— подумав, просит Виктор,— узнайте у него, нет ли других веществ, оставляющих такой же след?

Продолжалась обычная работа. Опрашивались свидетели, собирались улики, проверялось времяпрепровождение задержанных. Кое-что это дало. Так, например, возникло подозрение, что попытку ограбить ателье № 3 совершили трое, а не двое. Кто был этот третий?

Однажды вечером, задержавшись на работе, Виктор вновь и вновь пересматривал материалы дела. Зазвонил телефон. Сотрудник научно-технического отдела сообщал:

— Так вот, у вашего Гришина следы кассовой краски ателье. Это вы знаете. Это точно. А у Веревочкина — следы красных чернил. Реакция та же. Алло, алло! Вы слушаете? Я говорю, красных чернил. Это что-нибудь дает?

Виктор поблагодарил.

Что-нибудь! Дает ли? Да все дает! Последнюю нить, последнее звено сложной и извилистой цепи. Вот теперь эта цепь замкнулась. Теперь действительно: сколько веревочке ни виться — пришел конец.

Итак, Гришин и еще кто-то грабили ателье № 1 Куйбышевского района, а Веревочкин в этом налете участия не принимал — он только что вышел из милиции и сидел дома. Он не знал, что его товарищи в этот момент «берут» ателье, так же как они не знали, что их дружок уже отпущен. Да и ателье-то это они выбрали именно потому, что находилось оно вблизи отделения милиции, и поторопились, чтоб доказать, что Веревочкин никакого отношения к краже в магазине № 84 «Овощи-фрукты» не имеет. Все это не вызывало у Виктора никаких сомнений. Также не подлежало сомнению, что в налете на сбе-

регательную кассу принимала участие вся компания. Гришин, Веревочкин и еще кто-то. Там Веревочкин, разбив чернильницу, запачкался. Потом они где-то пьянствовали, Веревочкин пытался отмыть чернила. Далее все они, или часть шайки, решили закончить эту ночь, ограбив еще одно ателье. Но, вспугнутые милиционером Филипповым, бежали. Гришин и Веревочкин попались, а третий, ибо Виктор не сомневался, что был третий, сбежал.

Вот и все.

В том, что именно так все произошло, Виктор был абсолютно убежден.

Оставалось убедить в этом самих преступников. Убедить в том, что каждый их шаг, каждое движение, каждое действие известно милиции не хуже, чем им самим. А для этого нужно было услышать их рассказ о событиях, их ответы и, отбрасывая все ложное, по крупицам собирать полезную информацию тут же, мгновенно, обращая ее в свое оружие, и с ее помощью вновь идти в атаку для добычи новой информации.

ДОПРОС

Первым Виктор допрашивает Гришина. Тот сидит напротив него, положив руки на колени, расстегнув ворот рубашки в цветочках. Он не отводит глаз, смотрит исподлобья, напряженно, по-волчьи. Отвечая, цедит слова, иногда ухмыляется или кривит рот. Сразу видно, что это прием.

— Ваше имя, отчество, фамилия?

— Гришин Сергей Васильевич.

— Год рождения?

— Сорок второй.

— Москвич?

— Москвич.

— Где работаете?

— С декабря не работаю.

— С какого декабря?

— С семнадцатого.

— А раньше где работали?

— В артели имени...

— Кем?

— Слесарем.

Это формальности. Все, что сейчас отвечает ему Гришин, Виктор отлично знает, а Гришин знает, что он знает. Но так полагается. Первый официальный допрос.

Впрочем, Виктор знает и многое другое. Еще накануне в этом же кабинете была у него немолодая, заплаканная жен-

щина. Их не разделял стол. Виктор сидел с ней рядом на диване, сочувственно глядя в ее глаза.

Матери Гришина не было причин радоваться.

— Знаете,— говорила она, вытирая головным платком слезы,— как говорится: придет беда — отворяй ворота.

Старший сын — шофер недавно угодил в больницу. Отца нет — одна растила. И вот Сергей пошел по плохой дорожке. Сколько раз говорила, предупреждала. Да разве мать слушают? Понимает она, все понимает. Но неужто совсем он безнадежный? Быть того не может! Вот и брат, как узнал, окончательно расхворался...

Дальше с Гришиным начинается разговор по существу.

— Где вы были в ночь на четвертое?

— Сидели у Веревочкина, потом выпили, потом решили погулять; гуляли, а нас задержали...

— Кто еще был в квартире, кто видел, что вы выпивали?

— Никого.

— Гуляли всю ночь? Вас ведь чуть не под утро задержали? Не холодно было по морозу гулять?

— Ничего, мы закаленные, по утрам зарядку делаем...

— Значит, вы отрицаете свою причастность к попытке ограбить ателье номер три?

— Конечно.

— А если ваш друг и коллега Веревочкин окажется умнее и признается?

— А чего ему признаваться? Что он, нервный...

— А если уже признался?

— Не ловите, начальник. Я не карась, вы не рыбак.

Пауза.

— Ну что ж, раз не хотите признаваться — не надо. Рано или поздно все равно придется. А расскажите, что вы делали в ночь на двадцать седьмое декабря?

— Не помню. Спал, наверное.

— А вы, случайно, не лунатик?

— Как? Почему лунатик? Не понимаю.

— Вы не могли во сне встать, подойти к ателье номер один Куйбышевского района, влезть через слуховое окно на чердак, простукать потолок и в самом тонком месте, проделав отверстие, спуститься вниз по стояку? Не могли?

Гришин, нахмурив лоб, настороженно смотрит на Виктора.

— А потом, по-прежнему в состоянии сомнамбулизма,— продолжает Виктор,— не могли вы взломать портновскими ножницами сейф и забрать оттуда деньги? Или это вы стояли на стуле и следили за милицией?

В глазах Гришина мелькает беспокойство и удивление, пальцы теребят складку брюк.

— Не знаю, о чем вы говорите, гражданин...

— Знаете, Гришин, отлично знаете. Значит, это он на стуле стоял, чуть не упал, еле за решетку удержался, а вы пока сейф открывали?

— Он? Кто он? О чем речь? Кто вам рассказал? Это ж все неправда!

— Нет, Гришин, это уж вы называйте фамилии. Ну что, вам еще подробности привести? Пожалуйста. Вот, например, зачем вы чистоту нарушаете? Пришли воровать — воруйте. А сморкаться на пол зачем?

— Я не сморкался. Это...

— Ну кто? Чего ж скрывать: в магазине восемьдесят четыре сморкались, в ателье номер один тоже и в сберкассе...

Молчание.

— Ну что ж вы молчите? Мы одного вашего коллегу, который с вами кассу грабил, задержали. Между прочим, не Веревочкина. И зачем вам понадобилось в тот же вечер еще и ателье номер три грабить! Совершенно не понимаю. Жадность обуяла?

Молчание.

— Почему, Гришин, вы так стараетесь выгородить ваших дружков? Воровская дружба? Да? А вот они что-то не очень придерживаются этих правил — рассказывают.

— Не ловите на пушку, гражданин начальник...

— А к чему ловить-то? Вы еще можете пытаться отрицать, а ваш дружок куда денется? Его-то с поличным поймали. Он вас обманул, а сам попался.

— Кто обманул?

— Это уж сами догадайтесь. Вы ведь только за деньгами охотились, так? Вещей-то не брали, а он взял. Вот когда мы у него лису нашли...

— Какую лису, никто лису не брал!

— ...когда у него лису нашли, что ему оставалось делать? Против фактов не пойдешь, Гришин, хоть вы и пытаетесь это делать. А вот ваш коллега это понял, когда мы ему лису предъявили.

— Гад Володька! — Глаза Гришина сузились, губы побелели от ярости, пальцы конвульсивно мяли брюки на коленях.— Договорились...

— Да, нехорошо получилось... Договорились вещей не брать, а он, этот нарушитель конвенции, взял да и уволок лису. Давайте не терять времени, Гришин, серьезно.

Наступает молчание.

— Скажите, Гришин.— Виктор испытующе смотрит на сидящего напротив него человека. Тот на мгновение поднимает глаза, часто моргает и быстро опускает их.— Скажите, вы ко-

гда-нибудь думаете о других? Нет, не о ваших «дружках», а о вашей матери, например? Думаете? Она была у меня...

— Была? — Вопрос вырывается у Гришина неожиданно для него самого.

— Была,— Виктор задумчиво качает головой,— была. Каково ей — между тюрьмой и больницей... Только в больницу не по своей воле попадают, а в тюрьму...

— В тюрьму и подавно,— невесело усмехается Гришин. Лицо его выражает тоску.

— Нет, Гришин, в тюрьму в конечном счете человек сам себя определяет. У нас в стране, во всяком случае. Когда человек не хочет жить по законам нашего общества, хочет встать на путь преступления, это значит, что он захотел в тюрьму. Так?

— Наверное, так,— соглашается после паузы Гришин.

— Только попадают туда,—продолжает Виктор,— не навсегда. На честный путь всегда можно встать.— И он добавляет совсем тихо, так что Гришин весь в напряжении подается вперед: — Ваша мать вот верит, не может не верить, что вы встанете на честный путь. Права она? Не знаю, Гришин. Вам видней.

Таких бесед-допросов было немало. Постепенно Гришин оттаивал.

...Он рассказал, как был ограблен магазин № 84, как этот «паразит» Володька сам же предложил очистить ателье № 1, чтобы отвести подозрение от задержанного в 24-ом отделении милиции Веревочкина. Но насчет сберкассы особенных подробностей старался не сообщать, а главное — фамилии Володьки не называл.

Виктор и его товарищи уже держали на примете кое-кого из друзей Веревочкина, в том числе некоего Балакина Владимира, 1939 года рождения, слесаря, временно не работавшего. А уволили его с завода совсем недавно— как раз тогда, когда был в первый раз задержан Веревочкин. Кстати, и работали они в одном цехе. Его постоянно видели вместе с Гришиным и Веревочкиным. Они вместе пьянствовали и виделись ежедневно.

Ограбив в тот вечер сберкассу, они, как рассказал Гришин, отправились на Савеловский вокзал, пили там до глубокой ночи, а потом решили мимоходом «взять» ателье № 3. Кто? Он и Веревочкин. А Володька? Володька ателье «брал», а сберкассу, ателье № 3 — этого Гришин не помнит.

Балакина задержали и на следующий день привели к Виктору.

— Имя, отчество, фамилия? Год рождения?

Снова обычные вопросы.

— Вот что, Балакин,— сказал Виктор, после того как формальности были закончены,— хоть и банально это звучит: «нам все известно», но что ж делать, коль это так? Лучшее доказательство этому, то что вы здесь. Так сами расскажете, что знаете, или я вам должен описать, как, например, грабили сберкассу?

— Опишите.

Балакин знает, что его сообщники задержаны, но не верит, что они «раскололись».

— Не верите. Тогда слушайте. Про сберкассу. Вы пришли туда вместе с Веревочкиным и Гришиным. Зная, что блокировка не работает, а заведующего нет, вы вошли в подъезд, проникли в квартиру заведующего, отломали ручку от сковороды и пытались вскрыть сейф. Не получилось, сумели открыть только кассовый ящик. Пока возились, разбили чернильницу. Веревочкин залил одежду. Гришин, как всегда, сморкался на пол. Вы стояли «на стреме». В какой-то момент вы даже зашли в сберкассу — наверное, чтоб поторопить дружков.

Из сберкассы поехали отмечать удачу на Савеловский вокзал. Пригласили мальчишек со двора. Напоили их, сами выпили. Поехали, опять же втроем, «брать» ателье номер три. Вы, как всегда, в карауле. Гришин подставил ящик к окну. Веревочкин пилил решетку. Когда вы увидели постового и свистком предупредили сообщников, те, бросив ножовку, убежали в одну сторону, а вы в другую... Потом мы их задержали. Неужели нужно вам рисовать, как все было? Кстати, зачем вы нарушили сухаревскую конвенцию и утащили лису, обмотав ее вокруг пояса под пиджаком?

Балакин молча сидел, опустив голову. Когда Виктор замолчал, он пробормотал:

— Для девчонки взял, на Новый год подарить хотел... Они уже и это трепанули?

— Я вам не сказал, что они «трепанули». Это вы сами делаете такой вывод.

Дальше с ним трудностей не было. Он рассказал, между прочим, что когда забежал в сберкассу, чтоб поторопить ребят,— он замерз на ветру,— то забыл пароль, и лишь чудом Веревочкин, притаившийся с железной ручкой за дверью, не убил его. Рассказал он и много другого интересного. Выяснилось, что главарем был, в общем-то, Веревочкин, он и Гришина и Балакина привлек к делу. Книг они не читали, в кино ходили редко. Обычно время проводили отсыпаясь или, когда были при деньгах, пьянствовали в ресторанах.

Но во всем, что касалось работы, соблюдали дисциплину и организованность. Свою шайку Веревочкин держал в железных руках.

Он, например, организовал изучение одной популярной книги, посвященной криминалистике. Он считал, что там содержатся сведения, которые могут принести пользу начинающим преступникам.

Причем он не ограничивался коллективным и индивидуальным чтением, а устроил экзамены, и, когда обнаружилось, что Гришин плохо «усвоил материал», Веревочкин заставил его читать книгу второй раз.

Веревочкин хвастался перед своими сообщниками и перед кое-какими достойными доверия друзьями, что вот, мол, они истинные «медвежатники», грабители сейфов, современные возродители угасшей ныне воровской профессии, которую он считал наиболее романтичной.

Он не замечал, что сейфы, во всяком случае те, с которыми им приходилось иметь дело, теперь не те. Просто крепкие железные шкафы, которые, надо отдать им справедливость, они умело открывали. Но все же это были не сейфы. А когда они впервые, в сберкассе, столкнулись с настоящим сейфом, то оказались бессильны.

Веревочкин готовил себе смену: он спаивал подростков со своей улицы, водил их в ресторан, похвалялся своими подвигами. Но осторожно. Намеками, присказками.

Словом, Балакин рассказал довольно много интересного.

С самим Веревочкиным разговаривать было трудней. Он иронически посматривал на Виктора и молчал. Но это Виктора не смущало. Он неторопливо рассказывал Веревочкину, как делал это с его сообщниками, все подробности ограблений, в которых Веревочкин участвовал. Только с бóльшими подробностями, со всеми деталями, какие знал. А знал он теперь, по существу, все.

Виктор предугадал защитную тактику Веревочкина. Еще на первом допросе он сказал:

— Слушайте, Веревочкин, нам известны все дела вашей компании: и магазин номер восемьдесят четыре «Овощи-фрукты», и ателье номер один, где вас лично не было, Куйбышевского района, и сберкасса, и, наконец, ателье номер три Свердловского района. Так что отрицать что-нибудь бесполезно.

И хотя Веревочкин долго молчал и заговорил лишь после того, как Виктор сам рассказал, как и где все произошло, но расчет был правильный: Веревочкин сознался.

Раз сама милиция утверждает, что знает все их дела, а дел таких четыре, что знает всех преступников, то есть троих, то, признавшись, он как бы закрывал все дело. Больше копаться не будут. И в результате он сам дополнил подробностями то, что знал Виктор.

Теперь начинался следующий этап работы. Виктор уже отобрал ряд старых, нераскрытых дел, имевших двух-трехлетнюю давность, в которых — он был в этом совершенно убежден — участвовал Веревочкин и компания.

Необходимо было уличить их.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

День за днем продолжались допросы. С утра в кабинет Виктора приводили то Гришина, то Веревочкина, то Балакина.

— Номерок снимаю,— усмехался Веревочкин.

— Хоть в чем-то на честных людей похож! — ворчал Виктор.

Постепенно разматывался толстый клубок преступлений — краж, налетов на магазины, кафе, ателье...

Клубок становился все меньше, а составлявшие его нити аккуратно укладывались в папки дел.

— Что ж вы, Гришин, такой небритый,— укоризненно встречает Виктор арестованного,— запустили себя. Что, побриться негде? Там же есть рядом с душами...

— Успею еще побриться — у меня впереди времени много,— мрачно бормочет Гришин.

— Это уж точно, Гришин, если вы и дальше так будете себя вести, вам придется изрядно посидеть.

— Отсижу...

— Отсидите. Только можно больше, а можно и меньше. Скажите, Гришин, вы статью тридцать восьмую знаете, пункт девятый?

— Юрка рассказывал...

— Эрудированный человек Веревочкин. Уголовное право он с вами проходил? Так помните, что гласит пункт девятый?

— Это, как его...

— Вот именно. А следовало бы помнить. За явку с повинной, за содействие правосудию полагается скидка. С повинной вам поздновато приходить, а вот помочь раскрыть преступления вы еще можете. Так как? Может, расскажете уж все дела, а то что ж вы нас заставляете ребусы разгадывать. Пока вам всего не расскажешь, вы никак не хотите признаваться. Ну, скажем, кафе «Аэлита».

— А что «Аэлита», начальник? Я же признался, что «Аэлиту» брал. Чего еще-то?

— Что брали, это, между прочим, не вы признались, а мы установили. У нас ведь все время разговор такой: «Нет, не я».

Потом я вам изложу что к чему, тогда: «Ах да, моя работа, признаю...»

— Так ведь на «Аэлите» я...

— Послушайте, Гришин, вы же не один там были, а вы опять за свое: «я» да «я». Когда вы наконец забудете о вашей несуществующей воровской солидарности. Нет ее, поверьте!

— Есть...

— Нет. И «раньше, чем трижды пропоет петух», вы предадите. Да, да, вы! Я вам это предсказываю.

— Какой петух?

— Неважно, Гришин! Вы не сильны в священном писании? Ну и ладно. Но ваш мифический закон воровского мира вы сами же нарушите. Хорошо, давайте все сначала. Значит, отец Веревочкина навел вас на «Аэлиту».

— Я не сказал, что отец Веревочкина...

— Нет? Видимо, я ошибся. Кто-то другой сказал.

— Володька?

— Почему вы решили, что Володька? Я же вам этого не говорил.

— Ничего, гад, раньше выйдет, раньше за свой длинный язык расплатится!

— Да бросьте, Гришин, не те времена. Давно уже ни с кем за честные признания не расправляются. В особенности те, кто будут сидеть в пять раз дольше, чем те, с кем они собираются расправляться. Так расскажите подробно, как вы проникли в кафе?

— Я ж говорил. Люк там грузовой. Замки висячие. Перепилил.

— Долго пилили?

— Да ну, долго! Раз-два — и готово!

— Еще бы, вы же высокой квалификации слесарь, Гришин.

— Был слесарь...— с горечью шепчет Гришин.

— Может быть, и будете. Это ведь от вас зависит. Ни от кого больше.

Наступает молчание.

— Что же дальше было?

— Влез в подвал, темно, чуть не расшибся, нашел еще люк ..

— Как это нашли, вы что ж, в темноте искали? И нашли? Такой маленький подвал был?

— Нашел...

— Не валяйте дурака, Гришин, это же смешно! Признайтесь, что отлично знали расположение подвала, знали, где был люк. Все это сообщил вам отец Веревочкина. Что вы его

покрываете? Он же все равно сидит и за вашу «Аэлиту» больше, чем ему за другие дела полагается, не получит.

— Ладно, начальник, черт с ним, со стариком! Он навел.

— Что дальше было?

— Через люк пролез в холодильник. Потом в комнату за залом, где касса. Ее ломать-то нечего было: взял нож кухонный поздоровей, и все.

— Все?

— Все.

— Что ж, давайте, Гришин, проедем на место, освежим, так сказать, в памяти.

Они спускаются вниз, садятся в машину и едут в кафе. Едут утром. Кроме директора, их никто не встречает. Виктор, следователь и другие сотрудники уголовного розыска вместе с Гришиным спускаются в подвал через грузовой люк. Подходят к холодильнику.

Еще на прошлых допросах Виктор, расхаживая за спиной у Гришина, примерился к его фигуре. Съездив в «Аэлиту» и ознакомившись на месте с маршрутом, который проделал, по его словам, Гришин, Виктор убедился, что из подвала в один из холодильных залов Гришин проникнуть не смог бы.

И вот они на месте. Виктор внимательно наблюдает за Гришиным. Спокойно, со скучающим видом тот спускается в подвал, находит люк в холодильник, пролезает туда, заходит в один холодильный зал, в другой...

— А туда вы не заходили? — спрашивает Виктор, показывая на последний холодильник.

— Заходил.

— Так идите.

Гришин направляется к узкой щели, служащей входом в холодильник, пытается влезть. Лицо его становится красным от напряжения, он снимает пиджак.

Виктор не торопит его. Он внимательно, даже сочувственно следит за безуспешными усилиями Гришина.

Наконец, махнув рукой, тот надевает пиджак и с досадой смотрит на Виктора.

— Не помню, может, я туда и не лазил. Наверное, не лазил.

— Ну не лазил так не лазил. В конце концов, всего не упомнишь,— зевая, замечает Виктор.— Поехали обратно.

Облегченно вздохнув, Гришин спешит покинуть это место, не таившее для него особо радостных воспоминаний.

На Петровке допрос продолжается.

— Вы что, гурман, Гришин? — задает ему Виктор неожиданный вопрос.

— Кто? — переспрашивает тот.

— Я говорю, вы гурман, вы любите тонкие блюда? Черную икру, например?

Гришин хмурит брови. Он молчит.

— Так как, любите вы икру?

— Ну люблю,— неуверенно отвечает Гришин.

— Еще бы,— смеется Виктор,— вы тогда прилично подъели ее в «Аэлите». Помните?

Гришин пожимает плечами.

— Помните?

— Помню. Ну и что ж. Жрать захотелось, вот и поел.

— Вы, наверное, до того неделю голодали. Не помните, сколько съели? Сто граммов, двести?

— Может, и больше...

— Кило, два кило?

— Не помню уж теперь...

— Так я вам напомню, Гришин, вы съели ни много, ни мало — пять килограммов — целую банку! Не вздумайте отрицать: это зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия. Мало того, вы настолько торопились есть, что пользовались двумя ложками. Их тоже нашли там.

Гришин молчит.

— А главное, эта банка, которую вы вдвоем навернули, что тоже, к слову говоря, не так-то просто, как раз и находилась в том холодильнике, куда вы не могли пролезть. А уж съев два с половиной килограмма, вам бы оттуда наверняка не вылезти. А?

— Да я и четверти не сожрал,— зло выдавливает Гришин,— это Сережка все. Сморчок, и куда столько влезло...

Виктор отлично знает, кто такой Сережка. Все возможные варианты Сережек, Ванек, Петек, вращающихся в орбите шайки, со всеми их биографиями, связями — у него в голове. Поэтому он мгновенно задает вопрос.

— Это Тучков, что ли, с хлебозавода? Ему ж семнадцати еще нет. И его затянули? Где ж у вас совесть, Гришин?

Но тот не отвечает; он сидит, низко опустив голову, внимательно глядя на носки стоптанных, грязных модных ботинок....

Так возникает еще одна фигура — Тучков.

Но и это не все.

Очередное «свидание» с Веревочкиным. Тот словно сам получает удовольствие, наблюдая за тем, как милиция одно за другим раскрывает совершенные им преступления. Он отрицает все. А когда его припирают к стене окончательно, рассказывает уже сам подробно, с охотой. Только припереть его к стене не так-то просто. Это приходится делать каждый раз по-разному. Один раз с помощью железной логики, другой —

загнав в ловушку, а порой неожиданностью, психологическим трюком.

— Так, Веревочкин, значит, в отношении магазина на Дмитровском шоссе у нас разногласий нет. Все трое брали — вы, Гришин, Балакин.— Виктор настолько тщательно изучил место происшествия и дело — а произошла кража за год до того,— настолько вдохновенно домыслил все подробности и описал их, что в результате и Гришин, и Балакин во всем признались, решив каждый, что признался другой.

— Это уж ваша работа — вопросы задавать,— иронически улыбается Веревочкин,— а моя — не отвечать...

— Так ведь ответили же!

— Это уж только когда деваться некуда.

— А преступнику, уважаемый Веревочкин, рано или поздно всегда деваться некуда.

— Окромя тюрьмы...— ухмыляется Веревочкин.

— Это уж точно,— поддерживает Виктор,— а теперь приглашаю вас прокатиться.

И в который раз, теперь уже с Веревочкиным, он едет на Дмитровское шоссе в тот магазин, где была совершена кража.

Но о магазине он думает сейчас меньше всего. Он задумал другое. По пути к магазину находится ателье № 23, где в свое время была совершена кража, оставшаяся нераскрытой. Артистически перепиленные решетки окна, портновские ножницы, которыми были выдавлены дверцы сейфов,— все это не оставляло сомнений. Действовал Веревочкин. Но с кем?

Виктор тщательно все проверил — ни Гришин, ни Балакин участвовать в этом деле не могли. Тучков тогда еще с шайкой связан не был. А между тем в налете на ателье участвовали минимум двое. Так кто же был второй?

Дело давнее. Восстановить картину оказалось невозможным. Во всяком случае, с той степенью достоверности, без которой Веревочкина не заставишь признаться.

И вот Виктор придумал один ход.

Получится или не получится? Сейчас все решится. Внешне спокойный, он рассеянно смотрит в окно машины, но сам весь в напряжении.

Веревочкин погружен в свои мысли. Подняв воротник, засунув руки в карманы модного пальто, он мрачно смотрит перед собой.

О чем думает он?

О той самой веревочке, которой как ни виться?.. Или о бесцельности немногих прожитых лет? Или о том, что если б начать все сначала, он бы поступил иначе?

А быть может, он думает о том, что его ждет? О неотвратимости наказания.

О чем вообще думает преступник, когда он пойман?

Неожиданно Виктор кладет ему руку на колено и иронически смотрит в глаза.

— Глядите внимательно, Веревочкин...— И Виктор кивает в сторону мелькающих мимо машины домов.

— Чего глядеть-то? — ворчит Веревочкин.

— Как бы не пришлось разворачиваться обратно. А то здесь далеко до разворота.

В этот момент машина как раз минует ателье № 23. Накануне они дважды проехали здесь с шофером, прорепетировав сцену и рассчитав ее по секундам.

Внезапно оторванный от своих невеселых дум, Веревочкин смотрит в окно, и первое, что ему бросается в глаза, это вывеска: «Ателье № 23». Он быстро поворачивается к Виктору и встречается с его ироническим взглядом.

— Что, и это знаете? — полуудивленно-полутоскливо спрашивает он.

— Пора бы уж привыкнуть, что мы все знаем,— скрывая торжество, бросает Виктор. И, обратясь к шоферу, добавляет: — Давай, Коля, заедем, пожалуй, сначала в ателье, а потом уж дальше двинем. А то возвращаться потом...

Они выходят из машины. Веревочкин жадно вдыхает свежий холодный воздух. Неторопливо рассказывает, как было дело.

— Что ж, вы вдвоем справились? — спрашивает Виктор.

— Как — вдвоем?

— Не знаю как; Гришин вот говорит, что вы вдвоем были, а я сомневаюсь.

Веревочкин морщит лоб, стараясь быстрей сориентироваться.

— Вдвоем,— наконец подтверждает он,— а чего сомневаться-то?

— Неужели один не справился бы? — Виктор, словно удивляясь такой беспомощности, оглядывает Веревочкина.

— Может, и справился бы,— осторожно отвечает Веревочкин.

Он недоумевает: почему Гришин взял на себя вину за эту кражу, коль скоро он в ней не участвовал? Ага, ясно, чтоб как-нибудь не всплыл Валерий.

— А может, вы со своей тенью работали, Веревочкин? Или себя одного за двоих считаете?

— Чего?

— Как — чего? Гришин-то не был с вами. И никак не мог быть. Уж если это нам известно, то вам-то тем более. Так что вы припомните-ка лучше, кто был.

Веревочкин некоторое время молчит, потом усмехается:

— Вы меня купили, и я вас купил. Один работал!

— И много взяли? Ведь вы тогда еще вещичками не брезговали.

— Что ни взял, все мое...

Виктор вынимает из кармана вчетверо сложенный листок.

— Так,— начинает он не спеша,— «пальто зимних — три, пальто демисезонных — четыре, костюмов — четыре, отрезов...»

Закончив читать, он поднимает на Веревочкина удивленные глаза.

— Список точный, составлен сразу же на месте, да и батюшка ваш уважаемый, который все это по вашему поручению на рынке ликвидировал, подтверждает. Одного не понимаю — как это вы в одиночку столько вещей вынесли. Ведь посмотришь на вас и не скажешь, что Власов.—Виктор делает паузу, а потом другим, сухим, деловым тоном спрашивает: — Так кто был ваш сообщник, Веревочкин? Кто был?

Молчание.

— Не валяйте дурака, Веревочкин, вы же сами прекрасно понимаете, что это глупо.

Веревочкин еще долго молчит, но в конце концов не выдерживает и называет своего напарника по этому делу, пятого и последнего члена шайки — Шарова. Впрочем, Валерий Шаров, как выяснилось в дальнейшем, был не пятым, а первым. Опытный рецидивист, он-то и втянул в преступление и Веревочкина, и Гришина. Вместе они начинали.

Но как-то, пытаясь ограбить магазин «Ткани», они были застигнуты врасплох милицией. Веревочкину и Гришину удалось скрыться, а Шаров попался.

(Между прочим, с тех пор они и дали себе зарок: никогда ничего, кроме денег, не брать,— зарок, столь роковым образом нарушенный Балакиным.)

Тогда, на следствии, и позже, на суде, Шаров взял все на себя. Он упрямо и тупо, блюдя закон воровской солидарности, утверждал, что грабил один, хотя был пойман в окружении пяти набитых чемоданов.

Сейчас он отбывал срок.

Воровской закон оказался липовым. Веревочкин после недолгого запирательства рассказал и о Шарове. Теперь Шарову предстояло вернуться в Москву на новый суд, а затем добавить к немногим оставшимся ему годам заключения еще солидный срок.

За Шаровым, опытным рецидивистом, числилось не одно преступление. Какие-то он признал, какие-то — нет. Но сейчас, когда возникла в деле Веревочкина его зловещая фигура, целый ряд эпизодов прояснился и многое дотоле тайное стало явным.

...Вечером Виктор задерживался в своем кабинете. Перед ним лежали все материалы по делу Веревочкина, подготовленные для обвинительного заключения. Вот и оправдалась пословица — наступил веревочке конец.

Наступил конец бессонным ночам, внезапным выездам, бесконечным допросам, мучительным анализам и обдумываниям, когда голова лопается от мыслей.

Наступил конец одного дела, чтобы уступить место новому....

Он уже надевал пальто, когда раздался телефонный звонок. Говорил подполковник Данилов.

— Ко мне, Витя, быстро. Дело серьезное!

Виктор запер дверь и торопливо направился в кабинет подполковника.

Дело действительно было серьезным. Хотя началось все спокойно, даже весело, под звуки вальса и задорного смеха на вечере в одной из типографий, что на Большой Переяславской улице, недалеко от проспекта Мира.

Было Восьмое марта — женский день. Первые весенние цветы. Хороший вечер, веселый и дружный. Без четверти одиннадцать Женя и Галя покинули вечер. Галя попала на вечер случайно: ей дали пригласительный билет в издательстве, где она работала курьером; она жила далеко, пора было возвращаться домой. А Женя, сын работницы типографии, жил в двух шагах. Они неторопливо шли по ночной улице и болтали. О чем? Ну о чем болтают двое семнадцатилетних, познакомившихся два часа назад и без устали два часа танцевавших?

Когда поравнялись с домом, в котором жил Женя, небольшим, одиноко стоявшим двухэтажным особняком, Галя спохватилась:

— Ой, ни копейки нет — все в буфете оставила!

Женя пошарил по карманам и смущенно помялся — он только что обнаружил, что его финансы в таком же положении. Бывает....

— Погоди минутку,— сказал он,— сейчас забегу домой, возьму.— Он улыбнулся ей и скрылся в подъезде.

Улыбнулся последний раз в жизни.

Галя остановилась на противоположном тротуаре и, устремив взгляд вдоль улицы, стала прислушиваться в ночной тишине к доносившимся откуда-то издалека немного грустным звукам гитары.

А Женя тем временем, посвистывая, быстро забежал в квартиру, взял у матери мелочь, поцеловал в щеку, уже у

двери крикнул: «Мировой вечер! Сейчас вернусь»,— и выбежал на улицу.

Он вернулся через две минуты. Услышав несколько слабых, странных ударов в дверь, мать открыла — Женя бездыханным упал к ее ногам. Мать Жени, его сестра, соседи, поднятые криком, выбежали на улицу. Но улица была пуста. Только напротив дома одиноко маячила фигурка девушки.

...Когда Виктор прибыл на место, он без труда установил подробности преступления. Убийцы (или убийца) или прятались в соседнем подъезде (как во многих старых домах, расположенным вплотную к подъезду, где жил Женя), или подбежали из переулка, выходившего на Переяславскую. В два прыжка они нагнали Женю, ударили ножом и убежали. Стена дома в том месте, где они совершили свое страшное преступление, была забрызгана кровью.

Женя, видимо, из последних сил сумел добраться до своей квартиры, но эти усилия стоили ему жизни.

Таинственным оставалось одно: Галя, рыдая, захлебываясь слезами, твердила, что ничего не видела и не слышала.

Работники милиции только пожимали плечами: как мог человек, стоявший в десятке метров от места преступления, на пустой улице, не увидеть, а тем более не услышать, как было совершено убийство. Это была ложь, причем глупая, безнадежная, непонятная. Но Галя с поразительным упорством, с отчаянием стояла на своем. Да, ждала, да, смотрела вдоль улицы (правда, в противоположную сторону от переулка), да, слышала гитару. И все! Только когда мать и сестра Жени выскочили на улицу, она узнала, что что-то случилось.

Галю допрашивали, втолковывали ей нелогичность ее показаний, объясняли, что лично ее никто не винит, убеждали, что если она боится мести убийц, то ее сумеют надежно охранить. Ничего не действовало. Она продолжала твердить свое.

Первый, кто поверил ей, был Виктор. Милиция мгновенно установила личность Гали, девушки, о которой на работе, в доме — всюду говорили только хорошее. Да и в район этот она попала случайно, впервые.

Но если Галя непричастна к убийству, то кто же убил, а главное, почему?

Одну за другой выдвигали работники уголовного розыска версии и сами же одну за другой опровергали их.

Женя был прекрасный парень, плохих знакомств не водил, работал и учился в вечерней школе. Кроме матери и сестры, у него никого не было, отца только что похоронил. Он был не очень общителен. И сколько ни копались, отыскать у него не только врагов, а просто недоброжелателей оказалось невозможным.

Тогда ревность? Кто-то, Галин поклонник, сделал это в порыве ревности? Но и эта версия рассыпалась в прах. Во-первых, никто не мог знать, что Галя пошла на этот вечер: получив билет, она даже не успела зайти домой. Как уже говорилось, дом этот и круг ее друзей располагались совсем в другом районе города. Был у нее юноша, с которым она дружила больше, чем с другими, но, во-первых, это был честный, хороший парень, а во-вторых, как показала проверка, в час убийства он находился весьма далеко.

Об ограблении нечего было и думать. А если б речь шла о драке, то все это заняло бы куда больше времени и наверняка сопровождалось шумом и криками.

И тогда Виктор выдвинул версию об «ошибочном убийстве». Женю приняли за другого, кого подстерегали и хотели убить.

Кого? Разумеется, кого-то, кто жил в этом доме. Но оказалось, что в этом доме не проживал никто, кого можно было бы спутать с Женей,— одни женщины, два старика, несколько ребятишек. Да и всего-то там было четыре-пять квартир.

Но при проверке жильцов выяснились интересные обстоятельства. На втором этаже, куда лестница вела как раз из соседнего с Жениным подъезда, проживали в одной из квартир мать и две дочери. Это была непутевая семья. Мать ни раньше, ни теперь не отличалась строгими нравами, пила, бездельничала, сквозь пальцы смотрела на поведение своих семнадцатилетних дочерей, а то и сама принимала участие в вечеринках, которые постоянно происходили в квартире. Девушки не учились, их интересовали лишь модные пластинки, заграничные тряпки, кавалеры, танцы.

В квартире у них постоянно толклись какие-то длинногривые балбесы, тунеядцы, фарцовщики, пижоны и бездельники. Бывали дни, когда у них проводили время две-три компании, одна за другой.

Вот и в тот день оказалось, что в четыре часа к сестрам пришли трое дружков, в том числе очередной «официальный» поклонник старшей, Тани — Русаков. Но, и в этом категорически сходились все жильцы квартиры, ребята как пришли, так до полуночи не выходили. А Русаков даже ушел в десять часов. Двое же оставшихся вместе со всеми жильцами дома активно принимали участие в драматических событиях, звонили в милицию, подавали Жениной маме воду, и так далее.

Виктор и его товарищи стали тщательно проверять всех, кто бывал у сестер. Через их руки прошло немало подозрительных и просто плохих парней. Естественно, допросу подвергли и Русакова. Он несколько сбивчиво объяснил, что ушел в десять вечера, так как договорился с ребятами идти назавтра в тури-

стский поход и должен был сегодня же уточнить все детали. Наметили встретиться у кинотеатра. Но ребята почему-то не пришли, и он пошел спать. В двенадцать был дома. Жильцы подтвердили это. А вызванные и допрошенные ребята подтвердили все остальное.

Сам Русаков, восемнадцатилетний токарь, хоть и явно стиляга, в общем производил неплохое впечатление.

К тому же выяснилось, что Женя ни с кем из троих гостей знаком не был.

Виктор не спал, ночами обдумывая все возможные варианты. Может быть, это как раз с Русаковым или с кем-то из его двух дружков хотели расправиться?

Неожиданно в этом темном лабиринте блеснул свет.

Один из многих десятков парней, в разное время бывавших у сестер на квартире, некий Мальков, пользовавшийся очень плохой репутацией хулигана, терроризировавшего соседние дворы, признался, что в тот день он с приятелем, слегка навеселе, решил зайти к Тане, года два назад считавшейся «его девушкой». Увидели свет в окне и зашли. Постучали. Узнав, кто пришел, мать выгнала его. Но Мальков сквозь приоткрытую дверь заметил в комнате незнакомых парней, услышал смех, музыку. Он стал звать Таню, мать вытолкала его. Тогда, разозленный таким приемом, он грубо обругал Таню и пригрозил, что расправится с ее гостями.

Теперь возникала версия, приобретавшая реальные формы. Мальков с приятелем решили выполнить свою угрозу. Они притаились, а когда увидели выходящего Женю, приняли его за одного из Таниных гостей и убили.

Оставалось проверить времяпрепровождение Малькова в вечер убийства.

...А утром к Виктору явился смущенный, не поднимавший глаз Русаков и попросил его принять.

— Виктор Иванович,— сказал он, краснея,— простите, обманул вас и ребятам велел. Но я один виноват. Честное слово, просто стыдно было признаваться. Сам когда-то в дружине был, а тут в милицию попал. Словом, очень нехорошо получилось...

Выяснилось, что ребята наврали. Они таки встретились, но поссорились. Назавтра турпоход, а друзья выпили, и Русаков стал их отчитывать. Расшумелись так, что всех забрали в милицию. Было это в одиннадцать часов. Ребята покаялись, просили извинить, и около двенадцати их выпустили.

Но стыдно в таком деле было признаваться, и потому они вначале сказали, что не встретились, ошиблись, словом, наврали всякую чепуху.

Виктор тут же снял трубку и позвонил в отделение. Там под-

твердили: да, часов в одиннадцать была задержана компания, в том числе и Русаков, потом их выпустили.

Теперь невиновность Русакова становилась очевидной. Оставался Мальков.

Обхватив голову руками, Виктор думал. Что-то было не так, что-то смущало его. «Заноза в мозгу», как он говорил в таких случаях.

Уж как-то очень гладко и точно Русаков с друзьями оказался в милиции секунда в секунду в момент убийства. И почему не сказать об этом сразу? Он же понимал, что Виктор проверит, что он делал с десяти до одиннадцати вечера.

Виктор снова снял трубку и позвонил в отделение. Он потребовал опросить всех, кого можно,— дежурных, мотоциклистов, случайно задержавшихся милиционеров, уборщиц. Не заметил ли кто точного, а не приблизительного времени, когда в отделение привели буянов? Через некоторое время позвонил один из работников детской комнаты и сообщил, что, случайно задержавшись допоздна в отделении, он как раз покидал его, когда привели Русакова и компанию. Торопясь на электричку, работник этот посмотрел на часы: было одиннадцать минут двенадцатого.

Виктор заложил руки за голову и откинулся в кресле. Вот и все.

Разумеется, еще предстоит немалая проверочная работа, но знакомое чувство уверенности охватило его. И когда раздался телефонный звонок и один из сотрудников Виктора огорченным голосом сообщил, что у Малькова «железное» алиби и ни он, ни его приятель совершить преступление не могли, так что эта версия отпадает, Виктор почти радостно (что немало удивило его товарища) поблагодарил.

А вечером на Переяславской улице четверо крепких молодых людей торопливо выходили из подъезда двухэтажного одинокого особняка, быстро шли к троллейбусу, вскакивали в него, доезжали до остановки, рядом с которой расположено отделение милиции. После чего, сев в ожидавшую их здесь машину, возвращались на Переяславскую и начинали все сначала. При этом они беспрестанно поглядывали на часы. Следственный эксперимент показал: от Жениного дома до троллейбуса три минуты быстрой ходьбы, максимальное ожидание машины в это время суток — четыре минуты, езды до милиции три минуты. Итого десять. А если они не шли, а бежали, и если им не пришлось ждать троллейбуса, то шесть-семь. Еще одна-две минуты на скандал. Как ни крути, одиннадцать минут было вполне достаточно Русакову, чтоб совершить преступление, а потом добраться до отделения и создать себе алиби.

Когда времяпрепровождение Русакова стали изучать осо-

бенно тщательно, то выяснилось, что на заводе он выточил два ножа, из которых один кому-то отдал, а судьба второго осталась неизвестной...

И вот Русаков опять сидит перед Виктором — аккуратно причесанный, элегантный, в узконосых модных ботинках, в коротком пальто, без шапки, несмотря на еще холодную пору.

Он смотрит на Виктора чуть-чуть нагловатым, спокойным взглядом. Он уверен в себе. Такое алиби — милиция! Виктор не спешит начать этот последний допрос. Он размышляет. Красивый парень, хорошо зарабатывающий, хорошо одетый, который нравится девушкам, перед которым столько путей... Так нет же, из всех девушек он выбрал самых грязных, из всех друзей — самых дурных, из всех дорог — самую черную: дорогу преступника.

— Ну что ж, Русаков,— Виктор вздыхает,— начнем наш последний допрос. Мы его построим необычно. Вы будете молчать, а я вам рассказывать. И только в конце вы ответите мне на один-единственный вопрос. Постараюсь говорить покороче. Итак, восьмого марта вы втроем пришли к Тане. Около десяти туда пришли Мальков с другом. Их не пустили, и, уходя, они пригрозили вам. Оставив своих дружков, вы отправились за подмогой. Зная, кто такой Мальков, и боясь с его стороны расправы, вы решили расправиться с ним раньше. Вооружившись ножами, вы явились с вашими друзьями к дому в тот момент, когда из него выходил Женя. В лицо Малькова из вашей компании знал только один, а вы наверняка шли впереди. Вы подбежали к Жене и, хотя он был один, а вас много, хотя вы не знали наверняка, кто он, вы, не раздумывая, ударили его ножом. Убедившись в ошибке, вы убежали. Все произошло так быстро и тихо, что стоявшая к вам спиной Галя ничего не услышала. А теперь ответьте на мой единственный вопрос—где нож?

— Я бросил его в сугроб... — прошептал побелевшими губами Русаков.

Наверное, теперь следовало бы, заканчивая повесть, рассказать о том, как утром Виктор раскрыл окно своего кабинета и, устремив взгляд усталых, умных глаз на предрассветную Москву, подумал про себя: «Как хорошо, что москвичи могут мирно спать, избавленные от таких выродков, как Веревочкин или Русаков». И, включив радио, услышал утренний бой кремлевских курантов.

Но я закончу ее иначе.

Виктор действительно лег поздно, а потому поздно встал на следующий день. Это было воскресенье, они еще накануне поссорились с женой, потому что Виктор хотел идти смотреть мо-

тогонки на льду, а она предложила пойти на лыжную прогулку. Виктор тогда резко бросил: «Раз я сказал, что пойду на мотогонки, значит, пойду!» — и хлопнул дверью.

...И вот сейчас, звенящим морозным днем, они мчались по сверкающей лыжне навстречу синеющим вдали елям, навстречу ослепительным белым полям, где метель начисто замела все ночные следы...



Ю. Давыдов

Заметки о забытых странствиях

ВЗЫСКУЮЩИЕ ГРАДА

Что он такое, этот Обок, прости господи? Дощатые казарменные бараки, несколько каменных домишек да убогие лавчонки. Ветхий монастырь давно покинут братией. Угрюмо накалена солнцем каторжная тюрьма. Небогатая резиденция французского губернатора на лысой скале. Вот он какой, этот Обок.

Где-то гром экипажей, прелестницы, театр Шато-де'О,

Елисейские поля... А тут? На маковке флагштока вянет флаг в безветрии, в мареве полдней колокол тренькает, возвещая обед заключенным, волны дрябло шлепают, роняют вязкую слюну верблюды, стражник-суданец, опустившись на корточки, никчемно строгает палочку, да бредет, сам не зная куда, голый дикарь с корзиной фиников на плечах.

Лишь вечером на тени, на закатный багрец веет с гор как бы долгий вздох облегчения. Потом оживают маяки, лунный свет касается зыби, и дневную осовелость сменяет свежая тишина.

В такой час на веранде сидит в плетеном кресле губернатор Лагард.

У него нездоровое лицо с набрякшими веками, седеющая эспаньолка. Он отдает предпочтение стихам, а не выпивке. Он служит не слишком-то ревностно, но упрекнуть его не в чем. Склады полны углем — пусть плывет эскадра; туземные царьки не оспаривают прав Франции — пусть не тревожится Париж; тюрьма ведет себя пристойно — пусть шлют неисправимых негодяев, тут они образумятся... Нет, Лагарда не в чем упрекнуть.

Вот он сидит на веранде, одинокий, немолодой, смотрит, как зыбь колышет лунные отсветы. Как это у Бодлера? Гавань — восхитительное место для душ, уставших в бореньях с судьбою; есть какое-то неизъяснимое наслаждение в том, чтобы, лежа на террасе, молчаливо поддерживать в душе непрерывное влечение к ритму и красоте и провожать и встречать тех, в ком еще сохранились стремления путешествовать или обогащаться...

И вдруг Лагард сжал подлокотники кресла. Внизу, далеко, роились огни. То были судовые огни. В их плавном движении пригрезилась Лагарду иная жизнь, и с внезапной тоскою он подумал о своем одиночестве, об уходящих годах. Но так было мгновение, а затем его мысли круто переменились: пароход шел из Таджуры, в Таджуру пароходы не ходили... Что такое? Почему? Он не находил объяснений... И губернатор послал на маяк быстроногого слугу: Лагард велел электрическими сигналами остановить неведомое судно.

* * *

Экспедиция требовала солидного снаряжения. Часть грузов отпустили безвозмездно: ружья системы Бердана и системы Баранова, армейские палатки, шанцевый инструмент, еще кое-что... Атаман рассчитывал на пособие Морского ведомства. Оно было обещано, потому что Ашинов обязывался устроить близ Новой Москвы угольную станцию для русских судов, плыву-

щих в Тихий океан. К несчастью, радетель экспедиции адмирал Шестаков скоропостижно скончался, а вице-адмирал Чихачев не пожелал исполнить воли своего предшественника. Тогда Ашинов снесся с коммерческими моряками, и Фан-дер-Флит, директор Общества пароходства и торговли, отчасти заменил доброго Шестакова.

Однако значительную долю всех расходов оплатил сам Ашинов. Трудно сказать, откуда у него взялись средства; судачили о пожертвованиях купечества, но толком никто ничего не знал. На свой счет кормил атаман и тех, кто добровольно вызвался ехать с ним в Африку. Люди выбрали артельщика, выбрали кашевара, и они получали у Николая Ивановича деньги на сносный солдатский рацион.

В разгар предотъездных хлопот в Одессе появилось несколько осетин. Старшего звали Шавкуц Джайранов, на его груди позвякивали два «Георгия» и медаль. Ашинов радостно приветствовал осетин. С Джайрановым обнялся и расцеловался. Они были давними кунаками. В прошлую кампанию оба сражались с турками на кавказском театре военных действий. Потом потеряли друг друга из виду: Джайранов вернулся в родную станицу Ардон. Ашинова носило по белу свету... Но вот Шавкуц получил известие от старого приятеля, осетинская кровь запылала, Джайранов набрал с десяток джигитов поотчаянней и двинулся в Одессу.

Хотя отряд собирался неофициально, местные власти смотрели на это сквозь пальцы. Большинство волонтеров принадлежало к крестьянскому сословию, но были и ремесленники. Каждой группе добровольцев атаман своим отрывистым военным голосом повторял, что дело предстоит нелегкое, что плоды вкушать не скоро, а коли придется солоно, пусть не ропщут.

Наконец осенью 1888 года необычная экспедиция погрузилась на пароход «Корнилов». Было пасмурно и холодно. Пароход загудел, снялся с якоря, Одесса враскачку полезла куда-то в сторону. Все сгрудились на палубе. Мужики, бабы, ребятишки — печальные, сумрачные, от давешнего оживления не осталось и следа.

Что за магнетическая сила влекла в неведомое бедняков этих и тружеников? Чего искали они в краю далеком, на что надеялись, во что верили?

Вот она, вековечная мечта русских мужиков — уйти от властей куда глаза глядят, чтоб никакой опеки и принуждения, только земля-кормилица, да они на земле неустанными пахарями. Издавна спасался русский мужик то ли в мареве южных степей, то ли в сумеречном шорохе северных лесов, то ли в таежной глуши, за каменным поясом Урала. Да как ни велика Россия, а власть повсюду настигала. Взнузданный, в хо-

муте, хранил крестьянин, как песню иль сказку, мечту о заповедном крае, где теплые воды и травы — стеною, зерно — окатным жемчугом, а главное — никого над тобой, один господь. Крепостная зависимость пала, не дубьем, а рублем ударило деревню, кидался мужик в отхожий промысел туда-сюда, беднел, тощал, и оставался взыскующим града. Но взыскивал, искал не евангельского царства божия, а земного града, где правда и воля.

Знал про то и атаман Ашинов. Родись он много раньше, быть бы ему среди тех, кто прошел Сибирь «встречь солнцу». Увы, времена Ермака Тимофеевича минули. Житьишко в российских захолустьях не пришлось по душе Николаю Ивановичу, не к тому он привык, человек честолюбивый и отважный. Занесло его в африканские дали, а там и пригрезилась Новая Москва. Вот бы, думал он, взбодрить станицу, себя атаманом числить, поселенцев — вольными казаками.

Но был у Ашинова и другой прицел: полагал он, что Россия вскорости завяжет тесные отношения с абиссинской державой, абиссинцы-то очень наклонны к дружбе с русскими, крещеными в греческой вере. А коли так, встанет Новая Москва у ворот караванных путей в Абиссинию, богатеть и цвести ей.

Но с другой стороны есть сомнения в поддержке официальной России. Сам обер-прокурор синода Победоносцев, наперсник государя императора, глядит на Ашинова, как на пройдоху-авантюриста. И министерство иностранное возражает. Ларчик нехитрый: опасаются господа дипломаты неудовольствия итальянцев и французов, алчущих Абиссинии... Ну что ж, бог не выдаст, свинья не съест! Как бы то ни было, в Одессе препятствий не чинили. И вот он, атаман Ашинов, на пароходной палубе, рядом с ним полсотни закручинившихся мужиков и баб, а вокруг все грознее и шире осеннее море, и уже не видать берегов.

* * *

Ох, досталось ашиновцам! В Александрии заканчивался рейс «Корнилова» — перебирайся, стало быть, на другую посудину. Та привезла в Порт-Саид, опять выгружайся со всем скарбом-имуществом. В Порт-Саиде мыкались табором, покамест не уговорился Ашинов с капитаном австрийского парохода «Амфитрита». На «Амфитрите», большой, океанских плаваний, ехать им теперь до места.

Гавань работала спозаранку. Работали буксиры и лебедки, грузчики, матросы, гребцы, работали чайки, вечные портовые мусорщики. День был будничный, декабрьский, в тусклом проблеске антрацита, в плеске мелких волн, подернутых пленкой портовой дряни.

«Амфитрита» тоже принимала в свои трюмы какие-то тюки и бочки, на «Амфитрите» тоже пронзительно и весело высвистывал пар лебедок, слышался то быстрый, то натужливо-замедленный шорох тросов-лопарей, раздавались грозные окрики боцмана, а вслед за ними убыстрялся топот матросских башмаков.

Не только грузы, но и пассажиров принимала «Амфитрита». Тут была всегдашняя красноморская публика: торговые агенты, мусульмане-паломники, чиновники разных колониальных ведомств. А следом валили люди, никогда не виданные в бухтах знойного Красного моря,— российские мужики со своими женками и ребятками, с мешками и корзинами, узлами и котомками, одетые кто во что горазд, обутые и в сапоженки и в лапти. Взмокшие, потные, решительные и вместе будто испуганные, они точно штурмом брали пароход, пуще всего страшась отбиться от артели.

Ашинов с супругой занял каюту первого класса. Каюта свежо пахла крахмальным бельем, в ней стояла судовая, с мерным забортным журчаньем тишина. Ашинов возился с багажом, что-то извлекая, что-то распаковывая, а Софья Николаевна с задумчивой полуулыбкой смотрела в иллюминатор.

Софья Николаевна была хороша северной красой, плавной, спокойной, какой-то домашней; в серых ее глазах было много тихого света. Иной, верно, нашел бы ее несколько полноватой, но Ашинов, очевидно, не принадлежал к поклонникам санктпетербургского худосочия.

Не кажется ли странной судьба ее? Образованная, изъяснявшаяся на нескольких языках, недурная музыкантша, жившая и на брегах Невы и в Париже, она теперь ехала в страшную глушь, в богом забытый африканский угол. Она не думала оставаться там праздной мужней женою. У нее свои планы: построить школу, учить грамоте ребят, всех колонистов, кто пожелает.

Романтическая робинзонада... Аккуратные усадебки, роскошные сады и плантации... Веселые довольные колонисты... И ее муж — справедливый, гуманный пастырь Новой Москвы... Правда, ее немножко тревожит натура этого пастыря. Храбрец, энергия хлещет, но закипит, бывает, удержу нет, слепнет в безрассудном гневе. И честолюбив, безмерно честолюбив. Это-то она знала. Да вот знала ль, как шесть лет назад ее Николай Иванович надумал такую ж вольную колонию близ Сухума? Сдается, не слыхала Софья Николаевна про сухумскую историю... Так ли, нет ли, но она хотела быть его добрым гением, до конца разделить его участь. И сейчас, когда ходкая «Амфитрита» уже плывет в соленом растворе Суэцкого канала, мысли ее ничем не омрачены...

Море было изумрудное, в отличие от Средиземного, грубого синего колера. Ровным полированным блеском отливали крупные гладкие волны; то там, то здесь замечался молниеносный, пиратский ход акульей стаи... Любуйся, и только. Но отчего хмурится капитан? Отчего хмурится уроженец Дальмации, природный славянин, само добродушие? Софья Николаевна, улыбаясь, обращается к нему по-немецки. Капитан приглашает Ашиновых на ют. Они, недоумевая, следуют за капитаном. Он протягивает госпоже Ашиновой тяжелый бинокль, она, на минуту прильнув к окулярам, передает бинокль мужу. Лицо атамана темнеет: военное судно, приземистое и длинное, с расчехленными пушками, держит в кильватере «Амфитриты».

— Канонерская лодка «Аугусто Барбариго»,— мрачно объясняет капитан.— Итальянский королевский флот.

Вот оно что! Сбываются угрозы: итальянцы не хотят допустить русских на африканское побережье. Так. Понятно. Но итальянцы не знают, где намерены высаживаться ашиновцы. Шанс, маленький шанс...

— Спроси-ка,— говорит Ашинов жене,— нельзя ли удрать от этих каналий?

Капитан отвечает, что скорость «Амфитриты» велика, но там, за кормой, висит военный корабль и... Он сердито машет рукой. Он молчит. Потом философически замечает, что на море всякое случается, и пристально оглядывает горизонт.

Софья Николаевна пытается расшевелить капитана. Он ведь сочувствует русским переселенцам... Далматинец пожимает плечами. Разумеется, сочувствует... А что прикажете делать? Подставить лоб под пушки проклятой канонерки? Впрочем, загадочно повторяет капитан, на море всякое случается. И он опять взглядывает на северо-восточную часть горизонта.

Время будто остановилось. Казалось, не бежит вперед двухтрубная «Амфитрита», а словно бы кружится, как на незримой веревке, вместе с этой «Аугусто Барбариго».

Ашинов ничего не говорит своим спутникам. Его спутники ничего не ведают ни про «итальянские интересы», ни про «французские интересы». Вповалку лежат они меж тюков и корзин, с молчаливым терпением дожидаясь конца морского странствия, перемолвливаясь изредка все про то же: какая, братцы, земля ждет, как там жить станем? А ребятишек, гляди, снова тошнит, бабы бледные, да и здоровым мужикам трудненько привыкнуть к морской кадрили.

Канонерка не отстает, не упускает пароход с русскими колонистами. Чудно́, без сумерек, гибнет день, ночь падает, как громада. И вдруг бьет в «Амфитриту» толстый сноп мертвенного света.

Невидимая в ночи канонерка, испускавшая свет «электри-

ческого солнца», как тогда называли прожекторы, казалась свирепым морским чудищем, от которого нет избавления. Впечатление было жуткое, завораживающее. Однако капитан «Амфитриты» не напрасно всматривался в северо-восточную часть горизонта: вон они полыхают, безмолвные и широкие зарницы,— вестники бури.

Примета не обманула. Еще до полуночи все вздыбилось и разметалось, такой грянул вихорь и гром, что не одни сухопутные, но и капитан и матросы втихомолку помаливались о спасении.

А восход возгорелся чисто. Море лежало мирное, обольстительное, будто ничего и не было. И не было длинной приземистой канонерки. Капитан полагал, что с нею приключилась беда.

Ашинов обошел свое измученное воинство, ободрил близким окончанием плавания. Потом затворился в каюте, достал английскую карту Таджурского залива, что в южной части Красного моря, почти уж в преддверии Индийского океана, и, покуривая, оглаживая бороду, принялся созерцать этот плотный лист бумаги, испещренный многочисленными отметками. Не одни глубины и рифы метили карту, которую Ашинов купил еще в прошлом году и которую никому в России не показывал, но и Обок, резиденция французского губернатора, и селение Таджура, и синяя жирная точка, нанесенная самим Ашиновым подле его же собственноручной надписи: «Новая Москва».

Спустя некоторое время, при луне очень яркой и щедрой, «Амфитрита», неся ходовые огни, с освещенными иллюминаторами, шла «самым малым» мимо Обока.

В тот самый час губернатор Лагард кейфовал, по обыкновению, на широкой террасе. Медленный рой огней вдруг возник пред ним. Губернатор вздрогнул. Огни поразили его. В первое мгновение потому, что они как бы перемигнулись с его меланхолическими думами. А потом — и еще сильнее — потому, что корабль шел в Таджуру, не сворачивая к Обоку, а в Таджуру корабли не ходили. И Лагард, не мешкая, послал гонца на обокский маяк: губернатор приказывал электрическими сигналами остановить неведомое судно.

* * *

Сигналы не остановили «Амфитриту». Избавившись от итальянцев, ни капитан, ни Ашинов не имели охоты связываться с французами. Русским нужна Таджура, так просит Ашинов, вот и вся недолга.

Старый лоцман-араб, нанятый еще в Порт-Саиде, стоит ря-

дом с рулевым. Лоцман строг и важен, как жрец. А капитан, хоть уже и рассвело, нервничает: коралловых рифов в этой западне, что зубов в акульей пасти. И белесый оттенок волн — свидетельство их соседства с бортами «Амфитриты». Ух, слава те господи, вон она, укромная бухта. Две скалы, как сторожа, отграничивают вход в нее. А дальше, в лощине — Таджура.

Дробно грохнули якорные цепи, легла тишина, и в тишине, казавшейся внезапной, колонисты сняли шапки. Охваченные немым ликованием, они смотрели на Таджуру, на горы, на прибой.

Таджура считалась столицей округи, подвластной султану Магомету-Сабеху. В Таджуре было с полтысячи шалашей, похожих на курени, были дворец султанский, похожий на большой сарай, крытый пальмовыми листьями, мечеть да чепуховая лавчонка не то грека, не то армянина. Все это раскинулось с простодушным небрежением к симметрии.

Жители, как все данакильцы, правильными чертами своих темно-шоколадных лиц напоминали южных европейцев. Телосложению данакильцев мог бы позавидовать даже Лео Микки, кумир питерских ценителей французской борьбы. Их курчавые густые волосы не нуждались в снадобьях против облысения, а крепкие белые зубы разорили бы любого дантиста.

Временный лагерь переселенцы разбили в четверти версты от Таджуры. На живую нитку соорудили жилища. Ничуть не страшась, шастали в окрестных горах, стреляя дичь. Вечерами у костров появлялись данакильцы. Русские потчевали их сухарями и сахаром; туземцы отплачивали русским бараниной и плодами.

Русский мужик — философ; это уж давно замечено, и писалось об этом не раз. Он все объяснит, все постарается понять. И он что называется себе на уме. Вот и теперь, в Таджуре, приглядывается переселенец, как устроен данакильский шалаш, как туземец рыбалит, какие блюда стряпают тут... Словом, все хочет перенять, научиться, чтоб скорее приспособиться. Наверное, именно эта переимчивость некогда помогла казакам столь быстро и прочно расселиться в безмерных сибирских просторах.

Покидая Африку в 1888 году, Ашинов уговорил остаться в Таджуре семерых смельчаков. Высадившись с «Амфитриты», нашел троих — Сергея Темрезова, Федора Львова да Василия Губова. Истосковались они тут страшно, обваляло их косматыми бородами, выдубило солнцем, как печенегов.

Но куда ж делись остальные? Выяснилось вот что.

Случилась однажды беда — бочка со спиртом то ли воспламенилась, то ли взорвалась (надо думать при распитии) и жестоко обожгла двоих бедолаг. Тут как раз подвернулась фелю-

га из Обока, отвезла несчастных в тамошний госпиталь. Что до другой пары, то эти, наскучив ожиданием, самовольно подались во французские владения, слышно, мыкаются поденщиками... А вот Сергей, Федор и Василий все вытерпели, никуда не делись и теперь наперебой рассказывали Ашинову, что Лойт не изменил своему обещанию, что в Сагалло ждет атамана султанов зятек Абдулла с несколькими туземцами, которым приказано помогать русским.

Ашинов просиял. Что за молодчина султан Лойт! Ей-ей, молодец! Не чета здешнему, таджурскому султану Сабеху. Старик Сабех падок на золотишко. Губернатор Лагард поит его лимонадом и ссужает деньгами. И посему таджурский берег считается под французским покровительством. Нет, не чета Сабеху сопредельный ему владыка, султан горского племени Магомет-Лойт.

Атаман Ашинов свел с ним дружбу в прошлом году. Лойт был наслышан от абиссинцев: не поп, не торгаш этот «москов», этот русский, а воитель, защитник чернокожих, насолил «франкам», европейцам, немало.

И тогда, в апреле восемьдесят восьмого года, султан Лойт так ответил на просьбу Ашинова отдать Сагалло для станицы вольных казаков, так он ответил, султан Лойт: «Ты, москов, сиди у моря, а я в горах, и мы не пустим ни одного врага!» Что ж до европейских ушлых политиков, то Ашинов наверняка знал: есть у Франции с Англией уговор, по букве и по духу оного здешняя часть прибрежья — ничейная, нейтральная. И посему не Сагалло отныне, а Новая Москва, свободное поселение свободных колонистов, союзников черных племен.

Молодчина султан Лойт! Не токмо слово свое держит, но, видишь, зятя послал встречать «москов». Теперь что же? Теперь двумя отрядами — морем и пешим ходом — двигай, Николай Иванович, к облюбованному местечку. Начинай исход из земли Таджурской в земли Новой Москвы. Сказано: «И обвел бог народ дорогою пустынной к Чермному морю». Вот так все оно и получается, ибо Чермное море — есть Красное море...

Сухопутьем, ранним утром, по холодку ушли Шавкуц Джайранов и его джигиты, незаменимые в разведке. Пошли с ними и шестеро русских колонистов.

Трудны были козьи тропы. Испуганно льнули они к отвесным, в трещинах и щербинах скалам и вдруг отчаянно, как вниз головою, срывались к лукоморью, где колко посверкивал коралловый песок, мрачно означались аспидные валуны. Изумруд прибрежья неровно пенили рифы, мористее зюйд-остовый ветер морщил залив. Вильнет тропа дальше от моря, стихнет прибой, и тотчас слышится шорох камешков, скрип кустарни-

ков. А рядом тяжело громоздятся горы, и высоко над горами парят орлы.

Передовщиком шел Шавкуц Джайранов, георгиевский кавалер, давний приятель Ашинова, мягко шел, тигриным шагом и, оборачиваясь, скупо улыбался осетинам. Они держались цепочкой — гибкие и неслышные, не знающие устали, как нарты, песенные осетинские удальцы. Ловко шли, точно у себя на Кавказе, а не в африканских чужих горах. За ними—вольные казаки, как величал их атаман. Казаки не казаки, но не робкого десятка мужики, знают они — волка ноги кормят, под лежачий камень вода не течет. А потому, шагай, брат, вышагивай. То-то б нынче морозцем дыхнуть. Куда-а-а! На дворе, гляди-ка, январь, а жарит-парит июлем. Э, не беда! Ветерок с моря холодит, славный такой ветерок. А вон, кажись, и долина. «Среди долины ровныя...» Не дуб, нет, но дерева распрекрасные зеленью так и блещут.

Вспугивая антилоп, припадали путники к колодцам с солонцеватой водою. Отдохнув, вновь карабкались козьими тропками.

Между тем в Таджуре сладили колонисты плоскодонное судно, одели его парусом, нагрузили. И плот сплотили, и фелюгу у таджурцев наняли.

Прости прощай, Таджура, не поминай лихом. Все таджурцы провожали колонистов. Сам султан в тюрбане и длинном халате, в сафьяновых сандалиях шествовал, прощально рукой махал. И оттуда, с плоскодонки, с фелюги, с плота, тоже махали и кричали что-то. Потом свернули за мысок, пропали из виду.

* * *

Певуче и сладко звалось это место — Сагалло.

Тут был старинный, давно брошенный, с обвалившейся башенкой форт. Будто б испанский. А может, и не испанский, кто его разберет. Передний фас угрюмо созерцал море двадцатью узенькими бойницами. Сохранилась казарма — спальня, зал, комнатки, но давно уж служили они приютом разной нечисти. Сохранился и крепостной вал, облегающий форт с трех сторон, изнутри выложенный каменными уступами — для удобства обороняющихся. А трехсаженной ширины ров осыпался, порос кустарником, лопаты и топора ждал. Троица громадных финиковых пальм широко осеняла двор, глубокие колодцы полнились пресной водою.

Ашинов обнимал молодого Абдуллу, гладил его курчавые волосы, и зять султана Магомета-Лойта, повелителя горных данакильцев, молодой Абдулла, смеялся и все повторял: «Москов... москов...»

Ашинов поднялся на плоскую крышу казармы. Перед ним было море, над ним было небо. Дул соленый ветер. Ашинов снял фуражку и перекрестился. Вот она, минута — светлая, исполненная важного значения. А в жизни всякое случалось, темное тоже жизнь-то пятнало.

Лет шесть назад на Кавказе, в Сухумской округе, выговорил он у начальства земли рядом с Ольгинской, селение так называлось — Ольгинское. Поехал на Полтавщину посулил хлеборобам, какие победнее, разлюли-малину, сами, мол, себе хозяева, по казачьему обыкновению. Ну, тронулись мужики, поболе чем нынче, сюда, в Африку. Приехали, впряглись, Ашинова атаманом кличут. А тут вдруг начальство на дыбки: как, что еще за вольные поселенцы, что еще за такой атаман выискался!.. Не-ет, говорят, это немыслимо, устраивайтесь-ка на общих основаниях. Пока препирались, сумел-таки Ашинов урвать ссуду для покупки коров. Тут-то его и дернул дьявол на спекуляторство: продавать стал скот в полтора раза дороже, чем платил за него. А недруги из местного начальства разнюхали, ославили: вор, дескать, Ашинов, под суд его, мерзавца. И мужики подхватились: разбойник, наживала! Слевшил ты, атаман, пришлось от суда уносить ноги. Как уж в Одессе, годы спустя, охотников в Африку записывал, все-то опасался, чтоб сухумские не явились. Хула-то ведь, что молва, а молва, что волна,— быстро бежит, не отгонишь. Миловал господь: прежних, сухумских, не послал...

Он не слышал, как его позвали оттуда, снизу, со двора, где уже горел костер, где данакильцы потрошили барашков, а осетины готовились жарить шашлык. Он не слышал. Море с дельфинами было перед ним, небо с орлами было над ним, дышал он жадно, и виделись ему пышные баштаны, тучные нивы Новой Москвы.

Дни двинулись маршем. Горячие, веселые дни. Все испытывали почти восторг, верили, что сообща своротят гору и на месте одичалого форта взбодрят такую новину, какой свет не видывал. И люди радостно хмелели от своего неустанного труда. Одержимый труд, когда трижды в день голоден и трижды в день насыщаешься, и спишь накрепко, и встаешь с петухами счастливый.

Супруги Ашиновы расположились в смежных комнатках при казарме. Казарменные покои, с общего согласия, заняли семейные. На обширном дворе в палатках и шалашах поселились (пока не срубят избы) все прочие. Доктор Александр Добровольский зажил в санитарной палатке. Вскоре готовы были пекарня, кухня, склад общественного имущества, пороховой погреб, слесарная мастерская. Вне форта, на опушке, устроили кухню и столярную.

Расчистили, раскорчевали землю под сады и огороды. Виноградные лозы, купленные Ашиновым в Крыму, привились; черешня и вишня в несколько дней зазеленели, недели полторы спустя пошли в цвет; а вскоре посадили картофель, арбузы, дыни.

В горах было раздолье охотникам: фазаны, зайцы, куропатки, кабаны. А чтоб не наскучил мясоед, залив изобиловал крупной кефалью, угрей мальчишки ловили во время отлива голыми руками.

Колодцы, помимо тех, что были на дворе, обнаружились и близ форта. Еще Гиппократ, отец лекарей, советовал обращать сугубое внимание на качество воды. Он бы удовлетворился здешней вполне. Лишь один источник оказался не очень чистым и был отдан в распоряжение прачек.

День-деньской озабоченная, хлопотливая Новая Москва к вечеру стихала. Поселенцы сходились к большому костру. И тогда в неуследимую минуту что-то широко и беззвучно касалось людей. Глаза туманились, песельники затевали печальное. Может, всем вспомнилось минувшее, а может, вдруг тревожили какие-то предчувствия.

...Мало-помалу жизнь вошла в берега. И в течение будней неприметно привяло что-то, как бы пожухло, исподволь переменилось. Одни не желали заготовлять лес: «Что нам за нужда жилы выматывать?» Так говорили семейные, поселившиеся в казарме. Ремесленники, занятые разными поделками в слесарной и столярной, требовали мзды. Осетины, не только охотники, но мастера на все руки, объявили, что они-де ни в ком не нуждаются, особняком могут существовать. Хранители складов почувствовали себя хозяевами всяческого имущества, боевых припасов.

Ашиновы не возделывали землю, им все полагалось само собою. Придерживаясь казачьих установлений, атаман ввел строевые учения и стрельбу по цели. Но воинская повинность, как бы ни была оправданна, всегда в тягость, и многие старались избежать ее, отговариваясь занятостью... Как-то приехал из Обока араб-негоциант с табаком и рисом. У кого были деньги, обзавелся товаром, у кого не было денег, обзавелся завистью к счастливчикам. Но и те и другие не одобрили Ашинова, когда он не разрешил арабу открыть в Новой Москве лавку: «Не желаю отдавать в кабалу чужестранцам первых русских поселенцев в Африке». Ему резонно буркнули: «Оно так, да сам, вишь, сигарой балуешься!..»

Коротко говоря, то и дело, хоть пока искрами, возгоралось неудовольствие.

Наконец составилось подобие заговора. Среди вольных казаков был некий Павел Михолапов, отставной поручик 14-го

пехотного Олонецкого полка. Он заведовал в станице оружейной частью. Черт знает, что понудило его ехать в Африку. Вот этот самый Михолапов повел с молодыми людьми секретные совещания. Сдается, сам метил в атаманы. А покамест юный Бонапарт подбивал кое-кого помоложе оставить Новую Москву. Как после выяснилось, обещал он заговорщикам «широкую дорогу настоящей жизни».

Исчезновение шестерых поселенцев обнаружилось утром. Станица взволновалась. Разгневанный Ашинов кликнул Джайранова. Решено было воротить изменников. Доктор Добровольский не согласился: «К чему насильничать?» Софья Николаевна возразила: «Ради их же пользы! Мальчишки погибнут».— «Ну, гадательно... — отвечал доктор.— И потом, вернете, а они снова...» Ашинов сделал нетерпеливый жест: «Э, нет! Мы за них в ответе! Наш почин дорог, вся Россия смотрит. Дезертиры сопливые...» Доктор сказал, что ловлю людей нельзя оправдать никакими соображениями, лучше уж отпускать недовольных на все четыре стороны. Его не послушались.

В тот день у Ашиновых опять гостили зять султана Лойта белозубый Абдулла со своими данакильскими товарищами. Они вызвались быть проводниками, а Джайранов и его джигиты напросились в карательную экспедицию.

Колонисты дожидались исхода дела со смутным чувством. Одни ругали беглецов. Другие покачивали головами: «Ежели мы прозываемся вольными казаками, то и вольны в своих поступках».

Сутки спустя Джайранов воротил молодцов. Вся Новая Москва собралась. Вышел Ашинов. Обычно немногословный, он произнес речь о чести новомосковца и общей пользе, о тяготах, которые надо превозмочь, и о том, что нерадивых исправит труд. Толпа переминалась и вздыхала, не то осуждающе, не то сочувственно.

Неожиданно Ашинов прочитал приказ, учреждающий выборный суд. При слове «суд» воцарилась оробелая тишина. Потом послышался чей-то неуверенный голос: «А чего выбирать-то? Мы, чай, обчеством...» Единодушия, однако, не было, и выборы состоялись. Атамана назвали первым, он не противился. Назвали Кирилла Осипенко, бывшего драгунского вахмистра, еще троих.

Судоговорение состоялось при закрытых дверях. Изменникам определили телесное наказание. Пороть, правда, не пороли— шомпола заменили «общественными принудительными работами».

День этот ознаменовался еще одним распоряжением атамана: «во избежание побегов и дурных поступков» вольным казакам велено было хранить огнестрельное оружие в цейх-

гаузе, отныне выдавать его будут лишь на время военных занятий.

Недели не минуло, издал Ашинов новый приказ: вольных казаков разбил на шесть взводов, командиров поставил, а первый взвод, куда и осетинов включил, объявил своей личной охраной, хотя, по правде сказать, никому невдомек было, от кого и от чего надобно оберегать атамана.

Теперь уж недоставало, пожалуй, лишь сыска и тюрьмы. Они не заставили себя ждать.

Михолапов, отставной поручик, притаился, но не угомонился. Трое иль четверо остались верны ему. Нашлись и другие. К побегу готовились осторожно, тщательно. Однако Шавкуц Джайранов отлично исполнил роль начальника тайной полиции. Как водится, заговору дали созреть, потом заговорщиков схватили, изобличили, и вот уж вольных жителей вольной станицы замкнули в каталажке при казарме...

Жизнь вроде бы продолжалась прежней чередою. Спозаранку ведра звякали и петухи голосили, днем топоры стучали и гудел огонь в кузне, зеленели огороды, ходила в море ло́вецкая плоскодонка, атаман Ашинов с Джайрановым на охоты езживал, судил да рядил. И никто, кажется, не призадумался, что вот же они, взыскующие града, уже дозволили проклюнуться неправде.

Сидели в каталажке несколько бунтарей. Не по нраву им, вишь, Новая Москва пришлась. Ну и сидят арестантами, какая в том беда? Лишь бы урожаем господь не обидел. А по сытому брюху хоть обухом...

* * *

Губернатор Лагард не ездил в Сагалло. Он довольствовался сообщениями лазутчиков. Саид-Али, переводчик таджурского султана, барышники, все же проникавшие в Новую Москву, да несколько данакильцев, прельстившихся новенькими ружьями системы Гра, не оставляли донесениями обокского губернатора.

Лагард отправлял шифрованную информацию в Париж. Но оттуда лишь подтверждали получение депеш. Париж, очевидно, прощупывал позицию Санкт-Петербурга. С императором Александром правительство республики не хотело ссориться. Правда, еще в начале ашиновской экспедиции русский посол в Риме барон Икскуль официально отрекся от «этой шайки», но все же не мешало убедиться в позиции Зимнего дворца. И Париж медлил.

Курьерская фелюга из Адена привозила почту. Лагард накидывался на газеты — французские, итальянские, английские.

Искал свое имя, находил свое имя. У него сладостно екало сердце: маленький колониальный чиновник нежданно-негаданно очутился на грани событий чрезвычайных.

Он находил в газетах не только свое имя: об Ашинове упоминалось чаще. Журналисты расписывали мощь русского воинства в Африке. Английская «Таймс» в статье «Экспедиция казаков» сообщала, что люди «капитана Ашинова» высадились в Таджуре «в полной военной форме». Французский репортер произвел атамана в «полковники лейб-гвардии». Из Рима и Неаполя сообщали: книгопродавцы бойко торгуют портретами атамана, о нем читают публичные лекции, а некий майор Сан-Миниателли, бывший пассажиром на «Амфитрите», «окончательно удостоверил личность варварского авантюриста, уже сражавшегося в Африке с итальянцами».

Но Париж медлил. Лагарда снедало нетерпение. Как! Ужели не понятно, что Сагалло соседствует с караванными дорогами в Абиссинию? Разве не ведомы горячие симпатии абиссинцев к единоверцам русским? А возможность возникновения русской морской станции? Данакильцы султана Лойта недавно показали Ашинову пласты каменного угля! Чего же медлят высокоумные государственные мужи? Понятно — в Париже чехарда: генерал Жорж Эрнест Буланже рвется к власти (и правильно делает), зашаталось и пало министерство радикала Флоке, а теперь, кажется, вскочил в седло Тирар со своими умеренными республиканцами. Впрочем, и в этой кутерьме, право, не мешало бы подумать о заморских территориях...

Но вот началось наконец. Первым явился «Пингвин», разведывательное судно. Авизо, как звучно говорили во французском флоте. Конечно, три пушки калибром семьдесят пять миллиметров чего-нибудь да стоят. Однако морской министр не слишком-то щедр. Что? Идут следом? Ах, вот как... И губернатор велит откупорить шампанское. Да здравствует флот!

Они картинно положили якоря на рейде Обока—крейсер и канонерка. Черт подери, это внушительно: шестнадцать стволов на крейсере, плюс десять на канонерке. Еще шампанского! И добрый коньяк на стол. Милости просим, адмирал Олри. Пожалуйте, капитан Верон. Прошу, лейтенант Бугенвиль.

«Что думает господин губернатор? — спрашивают моряки.— Послать русским ультиматум?» О да, Лагард уверен — ультиматум, подкрепленный пушками, будет исполнен немедленно. Пушки — последний довод королей? Ха-ха! Но первый довод республик.

Губернатор настораживается, замечая сдержанность моряков, этого адмирала Олри, кавалера ордена Почетного легиона, и этого носатого капитана Верона, закаленного в дальних плаваниях, и этого молодого виконта Бугенвиля.

Гм!.. Олри хмурит брови, Верон отводит глаза, а виконт Бугенвиль пылко заверяет: одно дело — хлестать картечью по дикарям и совсем другое — стрелять в мирных белых поселенцев... Но, господа, господа,—удивляется Лагард,—права Франции неоспоримы! Сказать по секрету, даже если они спорны, следует на них настаивать... Итак, за дело, господа!»

В знойный полдень открылась французам бухта Сагалло. Крейсер, канонерка и авизо приближались медленно. Показался форт с русским флагом на мачте. Корабельный отряд, развернувшись строем фронта, застопорил машины. Дымы шатнулись, потом встали отвесно.

«Пингвин» спустил шлюпку. Дежурные гребцы сели без оружия. Переводчик Сеид-Али, скользнув по шторм-трапу, умостился на заспинной доске.

На берег Сеид-Али вышел один. Из ворот форта бежали колонисты. Сеид-Али поискал глазами Ашинова. Тот шел широким спокойным шагом. Рослый, в белой рубахе, облепившей грудь, в синих шароварах, заправленных в мягкие сапоги.

Сеид-Али отдал пакет Ашинову и тотчас вернулся на шлюпку: ему не велели дожидаться ответа. Матросы ударили веслами, точно за ними погоня, и вот уже шлюпка исчезла.

Подоспела Софья Николаевна, Ашинов протянул ей бумагу:

По приказу морского министра и по поручению губернатора предлагаю г. Ашинову:

1. Снять флаг, неправильно поднятый им на французской территории.

2. Очистить форт со всеми людьми без исключения.

3. Вынести на расстояние 100 метров от форта на берег оружие и боевые снаряды, которые он без разрешения привез на нашу территорию, и покориться французским законам.

Если через полчаса г. Ашинов не исполнит в точности вышеизложенное, то сим он предупреждается, что будет принужден к тому силой.

Какая «французская территория», какие «французские законы»? Ошеломленные колонисты не понимали, что отпущено лишь полчаса и что срок исполнения ультиматума рассчитан именно на то, чтобы его невозможно было исполнить.

Шлепали волны, реяли чайки, плыл душный день, а там, в бухте, вершили свои грозные эволюции крейсер, канонерка, авизо. Истекли тридцать минут, и оттуда, из блистающей бухты, донесся громкий и странный звук, будто длинной орясиной ударили по воде.

Но ударили не по воде — рвануло, грохнуло где-то рядом, совсем рядом, не разберешь, правда, впереди ли, сзади ли.

И мгновенно стихло. Только стало не так тихо, как раньше, не шлепки волн, не шерстяное потрескивание флагдуха были в этой тишине, а сухой и дробный шорох каменной осыпи: в крепостной стене зиял пролом.

Принадлежал ли адмирал Олри к новомодной «молодой школе» французских морских теоретиков, сугубым ли практиком был — кто его знает, но действовал он хватко. Сделав несколько выстрелов фугасными снарядами, корабли еще приблизились к берегу и тотчас ударили картечными гранатами.

Шпионы давно донесли Лагарду, что в казарме поселились семейные. Губернатор Лагард не сказал об этом адмиралу Олри, просто посоветовал сперва разрушить казарму, дабы лишить ашиновцев опорного пункта. Олри счел совет дельным. И теперь в покоях, комнатках и залах все клубилось, выло, шипело, взвизгивало — свинец раскаленным веером крушил женщин и детей.

Варю Мартынову сразило вместе с шестилетним мальчонкой. Пелагее Рубцовой картечь перебила ногу. Потеряв сознание, она привалилась в уголок, рядом с казаком Шевченко, тот хрипел, захлебывался кровью. Софья Николаевна, подхватив чью-то девочку, ринулась сквозь дым и огонь, выскочила во двор и охнула: она была ранена в предплечье. Полумертвую девочку доктор Доброклонский взвалил на плечи, побежал к своей палатке, где он только что поднял большое белое полотнище с алым крестом. Но доктор так и не добежал до госпиталя: палатку смел выстрел с крейсера.

— Боже мой, боже мой...— беспомощно бормотал доктор, озираясь и замечая, как люди бегут из крепости.

Ашинов с перекошенным от боли и ярости лицом старался удержать их. Джайранов, отворив склад, поспешно раздавал оружие. Софья Николаевна, зажимая здоровой рукой раненую, спешила к мужу.

В ее бледном лице, в несвязных отрывистых словах, в том, как решительно преградила она путь бегущим, было столько гневной энергии, что все вдруг затоптались на месте, услышали вопли из горящей казармы, и тогда уж повернули, тогда уж ринулись назад, к казарме, к оружейному складу, и теперь Ашинов распоряжался, и его распоряжения исполнялись с тем остервенением, какое бывает, когда все одно пропадать, но пропадать на миру, с честью.

Кто-то из французских марсовых заметил подозрительное движение в предгорьях, плотнее прильнул к биноклю и четко различил вооруженную толпу: данакильцы во главе с Абдуллой валили выручать «москов». Адмирал Олри приказал перенести огонь на чернокожих.

Обстрел форта внезапно прекратился, новомосковцы вос-

пользовались передышкой, вынесли из крепости раненых, толику боезапаса, кое-какую провизию, кое-какой скарб.

Тем временем примчались гонцы: у Абдуллы много убитых, много раненых, Абдулла просит «москов» уходить в горы, пусть скорее уходят в горы: франки сейчас высадят солдат...

Атаман был контужен.

«Маринушку опалило порохом,— смутно, как в забытьи, соображал Ашинов,— бедный Марченко души не чаял в дочке, нету Маринушки, и Кольку убили... А-а, Шавкуц, уцелел, брат?.. Твои джигиты живы? Они молодцом, твои джигиты... Садись, Джайранов. Садись, старый приятель, знаю ваш обычай — никогда не сядешь рядом со старшим, хороший обычай, но ты уж садись, вот так...»

Не атаман Ашинов явился к шлюпке под белым флагом, а Софья Николаевна и доктор Добровольский. Французский офицер, вежливо козырнув, пригласил их на переговоры с адмиралом Олри и губернатором Лагардом. Софья Николаевна молча указала на убитых ребятишек и женщин. Офицер, побледнев, сдернул фуражку.

* * *

Часть казаков призывала драться до последнего издыхания: «Стоять за знамя! Умрем!» Некоторые подались в горы, к данакильцам. Большинство потерянно взирало на Ашинова.

До последнего издыхания? Умрем? Он был храбрецом, видывал смерть. И в схватках с турками на Кавказе. И в закаспийских рейдах при покорении Средней Азии. И здесь, в Африке: с несколькими казаками сражался под стягом махдистов-повстанцев против англичан, бок о бок с абиссинцами на рысях атаковывал батальоны итальянских захватчиков. Он был храбрецом, этот широкогрудый богатырь, что сидит под огромной финиковой пальмой, сидит, сгорбившись, в разодранной рубахе, опаленный порохом. Окаянный запах пожарищ шибает ему в ноздри, губы у него вздрагивают.

До последнего издыхания? Умрем? Может, атаману легче всего пойти на смерть. Ринуться на француза, на десант, в штыки ринуться, саблей рубать. А зачем? Для чего? Нет Новой Москвы. Орудийным ураганом смело все — и станицу и мечту. И следа не оставят вольные казаки на здешних берегах. Разве что могильные холмики. В горы уйти, к султану Лойту? Ни сил, ни желания. Он, атаман Николай Иванов Ашинов, во избежание напрасных, бессмысленных жертв принимает условия капитуляции.

Десант высадился без выстрела. Колонистам велели грузиться в баркасы. Французы бросились к бочкам со спиртом,

вышибли днища, хлебали спирт чем ни попало, капрал с ястребиной рожей черпал поварешкой, орал: «Вива-а-а-ат! Что хотим, то и делаем!»

Приняв пленных, эскадра начала выбирать якоря. В те же минуты послышались взрывы — французские саперы взрывали минами уже и без того почти разрушенные строения.

В отличие от пехотинцев-десантников моряки держались рыцарями: оказали помощь раненым, накормили всех, даже бельем и обувкой ссудили. Офицеры сочувственно объясняли Ашинову, что вынуждены подчиняться министру и что все было б иначе, не отступись правительство России от ашиновцев.

И действительно, петербургские высшие сферы, не желая ссориться с французской республикой, пальцем не шевельнули в защиту безвестных людишек. Участь «бродяг» была решена: французы доставят их в Порт-Саид или в Александрию, там будут ждать русские суда. Потом повезут бывших колонистов в Одессу, в Севастополь. Согласно высочайшему повелению всех ждет наказание.

Так закончилось хождение за три моря русских мужиков, взыскующих града, искателей вольной землицы.



Е. Велтистов

ГЛОТОК СОЛНЦА

Фантастическая повесть[1]

Пятнадцатого мая 2066 года на глазах у ста тысяч зрителей спортивный гравилет С-317 с гонщиком Григорием Сингаевским вошел в шарообразное серебристое облако, возникшее на его пути, и больше не появился.

Это произошло быстрее, чем вам удалось прочитать лаконичную фразу из протокола. Ни один из гравилетчиков, я в этом убежден, не заметил, как появился в чистом небе, на

[1] Сокращенный вариант. Полностью повесть выйдет в издательстве «Детская литература» в 1967 году.

трассе наших гонок, странный серебристый шар. Да, пожалуй, в тот момент никто из нас, тридцати парней, вцепившихся в руль своих машин, никто, пожалуй, не мог сообразить, что это такое — неправдоподобно круглое облако, гигантская шаровая молния или просто запущенный каким-нибудь сумасшедшим елочный шар огромной величины,— это нечто, ударившее нам в глаза слепящим металлическим блеском. Я летел вторым после Сингаевского, точнее, метров на шестьсот сзади и на сто ниже, не упуская из виду силуэт его желтого гравилета, и помню, что сразу за вспышкой жесткого света инстинктивно рванул ручку тормозных двигателей (приказ судьи соревнований раздался чуть позже); помню, как машина вдруг задрала нос, выбросила меня из кресла и с азартом понеслась в белое пекло. То, что это пекло, а не твердая металлическая поверхность, я догадался, увидев, как быстро и красиво, на почти идеальном развороте, нырнул туда желтый гравилет и растворился, исчез в сиянии. Говорят, в эти секунды на телеэкранах была ясно видна счастливая улыбка на моем лице, удивившая всех зрителей; кажется, я даже засмеялся, наваливаясь на упрямо поднятый руль. Я жал на руль, жал как только мог, но чудовищная тяжесть давила мне в грудь, сбрасывала руки, и я чувствовал, что безотказная, такая знакомая машина подчиняется уже не мне, а какой-то силе, вращающей ее, как щепку в водовороте...

На этом сумасшедшая гонка вокруг облака для меня закончилась: я потерял сознание, все так же глупо улыбаясь. «Глупо» — это мнение тех, кто ознакомился с короткой диктофонной записью моих впечатлений, сделанной в больнице. Ну, а для меня, казалось бы, неподходящая к моменту улыбка была проявлением особой радости, с которой я прожил весь день и не хотел расстаться. И об этом, конечно, ничего не скажешь в официальном докладе, в котором надо припомнить и точно изложить обстоятельства гибели своего товарища.

С того дня прошел уже год, я на год стал старше, но не это главное. Насколько я знаю, в истории моей планеты еще не было таких странных на первый взгляд и закономерных, давно ожидаемых людьми событий. И я хочу начать рассказ с того самого утра, когда меня разбудило прикосновение прохладных иголок сосны.

Я сразу вскочил на ноги и понял, что это во сне, может за секунду до пробуждения, я стоял с Каричкой под старой сосной, под ее единственной зеленой лапой, и прощался. А еще хотел включить на ночь диктофон с лентой формул. Ничего бы тогда сказочного не было, я знал бы на пятьдесят формул больше, и все. Сразу же выскочил из дому и, пренебрегая скользящими среди травы лентами механических до-

рог, помчался к морю, к каменной лестнице, где стояла погнутая старая сосна. А добежав до знакомой лестницы, пошел вниз медленно, не спеша, радуясь и грустя из-за своего предвидения.

Каричка бежала вверх, прыгая через ступени,— честное слово, это была она, я не придумал. И когда она вскинула голову, я увидел корону ее волос, знаете, как солнце, каким его рисуют дети,— мягкое, пушистое, лохматое; я увидел челку над самыми глазами, золотые ободочки в них, и мне почему-то стало совсем грустно.

— Март,— сказала она шепотом,— что я знаю...

И тогда я засмеялся — в первый раз в тот день. Было так приятно стоять у обрыва над самыми волнами, перед запыхавшейся Каричкой, и не знать, что будет дальше.

— Март,— сказала она опять,— ты придешь первым.

— Откуда ты знаешь? — Наверное, я покраснел: я не люблю, когда кто-то вмешивается в мои дела, но сейчас мне было просто приятно.

— Я колдунья, ты не догадался? — Она прыгнула через две ступени.— И вообще, утром надо здороваться.

— Здравствуй,— сказал я, хотя это и выглядело странно в середине разговора.

— Прощай. Я уезжаю.

— Разве сегодня? — Я еще на что-то надеялся, хотя все знал, когда меня во сне уколола ветка.— А почему же Сим ничего не сказал?

— Я совсем забыла предупредить его...

— А Андрей? — Я уже кричал, потому что Каричка убегала и голос ее летел из кустов.

— Привет ему! Я спешу! Буду смотреть, как вы летите. И помни: я колдунья!

Ну, вот мы и остались одни, сосна. Будь у меня крылья, я бы рванулся из-под твоей лапы, махавшей Каричке, прямо в небо, кувыркнулся среди облаков и нырнул в прохладную глубину. Но крыльев у меня не было. У меня был красный гравилет, вылизанный до перышка, отлаженный до винтика, спокойно стоявший в ожидании гонок, которые теперь Каричка увидит только на экране. У меня были Андрей и Сим, я должен был передать им привет от уехавшей Карички. И я просто на своих двоих спустился по лестнице, на ходу сбросил одежду и вошел в воду.

И тут мне опять стало весело.

— Ты придешь первым, бум-бум-бум! — распевал я во все горло, лежа на спине и глядя прямо в лицо солнцу.— Я колдунья, помни! — прорычал я удиравшему в панике крабу, которого спугнул у скользкого от водорослей камня.

Так я довольно долго дурачился, а сам вспоминал белое в синий горошек платье, каштановый затылок и изгиб шеи, когда она низко опускает голову, подрагивание запыхавшихся губ. Эти сухари, электронные души — Андрей и Сим — уже, наверно, трудятся, считают, а я здесь, в светло-зеленом прозрачном мире, гоняюсь за рыбешками, фыркаю, как дельфин, и приветы Карички со мной. Я мог бы взболтать море до самого дна, если бы совесть не намекала, что пора вернуться из глубин на землю, в институт.

Не знаю, зачем придумали эти ползущие в траве пластмассовые дороги. Ими почти никто не пользуется, люди предпочитают ходить или бегать. Ракеты, трансконтинентальные экспрессы, вертолеты — понятно: экономия времени. И гравипланы — понятно: красивые, удобные, современные машины. А от гоночных гравилетов дух захватывает! Они как цирковые артисты: самые обычные с виду и самые ловкие, самые смелые, рискованные в работе.

Я всегда волновался, когда входил в ангар, и сейчас, пробираясь между машин осторожно, как только мог, старался не задеть чужое творение. Именно творение, потому что хотя спортивные гравилеты похожи между собой — легкое птичье крыло, сломанное пополам, с прозрачными каплями кабин на сгибе,— все же опытный глаз гонщика сразу улавливал разницу в конструкции. Она была в изломе крыльев. Десять разных цветов, в которые были окрашены машины, символизировали десять городов, прославивших лучших гонщиков. Никто не знал пока, какие из этих тридцати войдут в первую тройку и продолжат гонки на первенство континентов. Может быть, самое быстрое крыло — мое, ярко-красное, с плавной линией изгиба, обтянутое металлическими перьями?

Я стоял у своего гравилета, трогал ладонью перья и слушал, как они отзываются чистым, долго не смолкающим звоном.

Потом весь день я ощущал в пальцах этот легкий серебристый звон, вспоминал таинственную фразу, казавшуюся очень значительной: «Март, что я знаю...»

Наверное, когда я пришел в лабораторию и уселся за свой стол, заваленный бумагами, моя улыбка взбесила Андрея. Он так и сказал:

— Прости, Март, но у тебя вид блаженной обезьяны. Ты точно впервые слез с дерева и ходишь на задних лапах.

— Ага,— откликнулся я,— ты почти угадал: я еще древнее! Только недавно вылез из моря и впервые понял, что значит дышать.

— И как, понравилось?

Кажется, Андрей был удивлен. Обычно я не реагирую на

его зоологические шуточки. Но сегодня готов беседовать даже с неодушевленными предметами.

— Прекрасно! Легкие — гениальное изобретение. Кстати, тебе привет от Карички. Она уехала сдавать экзамены.

— Мне она ничего не сказала,— вмешался в разговор Сим.

И Андрей сразу нахмурился:

— Сим, не отвлекайся, пожалуйста. Поговорим в перерыве. Жаль. Я рассчитывал подкинуть Каричке задание с Л-13.

— Давай мне,— предложил я, удивляясь собственному великодушию.— Обожаю задания с Луны. Сим, тебе тоже поклон.

Андрей молча протянул мне листы. А Сим мигнул оранжевым глазом: он принял поклон к сведению.

Часа три мы работали молча. Такой порядок завел Андрей. Он старший в нашей группе. Ему двадцать один год, он окончил три факультета. У Андрея Прозорова бывает только два состояния: или он молча работает, или шутит о несовершенстве человека.

Это несовершенство было представлено в лице бесстрастного Сима — счетной информационной машины, подпиравшей своими железными плечами стены нашей лаборатории. Мы все трое — Каричка, Андрей и я — работали на беспощадно быстрого Сима и только-только успевали загружать его электронное чрево задачами и расчетами.

Обычно утренняя порция бумаг на столе повергает меня в уныние. После того как я на рассвете пробежал десяток километров, прыгал с вышки, бросал копье и толкал ядро, эти бумаги мне кажутся такими тяжелыми, что не хочется брать их в руки. И хотя я осознаю, что курс программирования полезен для недоучившегося студента, я начинаю сердиться. Я сержусь, как это ни странно, на лунных астрономов и астрофизиков Марса, засыпающих нас сводками. Я сержусь на ракеты-зонды и автоматические обсерватории, ощупывающие своими чуткими усиками горячее Солнце и бросающие из черного пустого космоса водопад цифр прямо на мой стол. Я сержусь даже на Солнце — за что, сам не пойму. Со стороны посмотришь — человек работает нормально: стучит клавишами, пишет, зачеркивает и снова пишет формулы, трет кулаком подбородок. А он, букашка, оказывается, дуется на само Солнце и только к концу дня, расшвыряв все бумаги, чувствует себя победителем. Но что он победил: свой гнев или огненные протуберанцы? Нет, только очередную пачку бумаг.

Сегодня я пересмотрел свое отношение к бумагам. Изучая листы информации с грифом Л-13, я почему-то вспомнил, как увидел однажды в лесу Каричку: она стояла под деревом и задумчиво рисовала в воздухе рукой; солнечные лучи, пробив-

шись сквозь крону, воткнулись в землю у ее ног; мне показалось, она развешивает на них невидимые ноты, и я не стал мешать рождению музыки, тихо ушел... А ведь у этих ребят с тринадцатой лунной станции, которые засыпают меня формулами, сказал я себе, нет ничего: ни прохладного ветра, ни бодрых раскатов грома, ни голубого неба — только град метеоров, беззвучно пробивающих купола зданий, одиночество да волчьи глаза звезд.

А я в кабинете перебираю бумажки, стоившие чудовищных усилий, риска, а иногда и жизней. Нет, что-то не так устроено в этом мире! Почему я, здоровый, румяный, сижу за стеклянной стеной и пальцем, которым мог бы свалить быка, нажимаю на кнопки? Зачем я здесь, а не где-то в песках Марса? Я сам должен нацеливать на звезды телескопы, радары и прочие уловители видимого-невидимого, задыхаться от жары, дрожать от мороза и посылать на Землю, в Институт Солнца добытые мною цифры. Чтоб Андрей Прозоров обрабатывал их, а Сим мгновенно переваривал. Вот это будет правильно. И если говорить откровенно, меня ведь никто не держит на привязи в операторской и за спиной моей трепещут крылья гравилета. Я уже видел, как мчусь на своем гравилете прямо к Солнцу, а рядом со мной — Каричка...

— Неужели на Л-13 такие юмористы? — не оборачиваясь, сказал Андрей.

— А что?

— Ты опять улыбаешься?

— Это я так, вообще. А с Л-13 покончено. Возьми.

Андрей взглянул на мои расчеты и кивнул: он был доволен.

— Ты заметил,— сказал Андрей,— без женщин гораздо легче работается.

— Не согласен,— прогудел Сим.— Когда Каричка поет, я работаю быстрее.

От неожиданности мы с Андреем рассмеялись.

— Каков Сим, а? — Андрей подмигнул мне.

А я крикнул:

— Присоединяюсь, Сим! — и засвистел «Волшебную тарелочку Галактики».

— Вот доказательство,— нравоучительно произнес Сим.— Все вы поете ее песни.— И он предупредительно распахнул перед нами дверь.

...Я не изменил своего обычного режима перед гонками. Во-первых, не пропустил лекцию: забрался в зимний сад на втором этаже и под какими-то колючими кустами включил телевизор. И сразу же окунулся в пространство, населенное галактиками, и с легкостью спящего понесся навстречу дале-

ким мирам, представшим предо мною ничтожной песчинкой мироздания — в виде изящных устричных раковин и клубка скрученных в кольца змей, ярких, блестящих шаров и едва различимых пятен темного тумана. Где-то вдали от меня они жили своей жизнью, как грозовые облака в далях неба, взрывались и угасали, крутились и разлетались в разные стороны. Я слышал знакомый голос профессора, вглядывался в мелькавшие формулы, а сам думал про то, как эта лекция запоздала. Она безнадежно устарела бы даже для древних египтян, имей они телевизоры. То, что я видел, было тысячи и миллионы лет назад, и кто знает, какие они теперь — эти спиральные и эллиптические, разложенные по научным полочкам, расклассифицированные, как домашние животные, галактики.

Мне очень хотелось быть сегодня всемогущим. Потом, после лекции, когда я делал гимнастику, крутился на центрифуге и, вытянувшись во весь рост, заложив руки за голову, отдыхал в зале невесомости, я щедро раздавал людям бессмертие и сверхсветовые скорости, цивилизации других планет и невидимые пружины, вращающие галактики. Я занимался и делами помельче: зажигал искусственные солнца, смещал земную ось, бурил насквозь весь шарик, строил роботов с гибким мышлением человека — словом, воплощал все то, что уже описано в фантастических книгах. И в то же время — до чего человек умеет ловко совмещать высокое, торжественное со своими практическими заботами! — ловил шумы с улицы, представлял, как прибывает в город публика, как притащили грузовые вертолеты каркасы трибун и устанавливают их на берегу, как развешивают судьи огромные золотые шары, мимо которых мы, гонщики, пронесемся много раз. И уже круглые площадки с подвижными хоботками телекамер повисли, наверное, над морем. И уже прилетел на судейской машине комментатор с бархатистым, убаюкивающим голосом.

Подходя к ангару, я и вправду услышал знакомый баритон, льющийся из динамиков. Комментатор Байкалов прежде всего сообщил болельщикам, что час назад он вел репортаж о подводном заплыве в Красном море и теперь рад подняться под облака. Облаков, правда, не было: синоптики убрали с нашего пути все помехи и — я знал это — в заключение готовились зажечь полярное сияние. На телеэкране, висевшем на стене прямо над моей машиной, мелькали знакомые кадры города, взбудораженного праздником. Камеры, подчиняясь полководческим жестам Байкалова, выхватывали из всеобщей суматохи разгоряченные лица, яркие флаги, парящие машины. Посадочные площадки были уже плотно уставлены транспортом, и пассажирские гравипланы выбирали свободные крыши. Блеснули на солнце акульи тела двух ракет, и

комментатор, несомненно, заметил их со своей высоты; несколько минут он держал ракеты в резерве, а когда они сели возле леса, взял у пассажиров интервью.

Честно говоря, на нас неприятно действовали эти картинки. Гонщики старались не смотреть на экраны, громко разговаривали, чересчур много шутили, а когда Байкалов перешел к биографиям, все полезли осматривать машины.

И вдруг в ангаре стало тихо. В голубом квадрате ворот появился высокий человек в белом свитере — Гриша Сингаевский. Он пришел самым последним и сразу догадался, что надо просто выключить эту болтливую технику. «Ура Сингаевскому!» — крикнул кто-то, и мы радостно завопили, как вырвавшиеся на перемену школьники. Его все любили — неторопливого скуластого синоптика с твердым взглядом блестящих глаз. Вот кто был настоящим воздушником! Я думаю, если бы ему запретили полеты, он бы просто не знал, как жить.

Сингаевский только взглянул на простодушно-прямое крыло моего гравилета и сразу догадался.

— Ну что? Хочешь меня обогнать? Попробуй поищи ее!

И хлопнул по плечу. Другие тоже приглядывались, но ничего не говорили. А он прямо сказал: попробуй поищи.

— Что ж, поищу,— ответил я, чувствуя, как волнение охватывает меня.

— Желаю.

— И тебе.

Мы поднялись с ровного травяного поля тремя группами — группа белых, желтых, красных — и пошли не к морю, где гудела толпа тысяч в сто, а над городом. Это был не парадный строй, скорее, мы казались беспечными туристами или, скажем, разноцветными бумерангами, брошенными ленивой рукой. Но такое впечатление было обманчиво, как обманчив вид спокойного мускула, в котором постепенно напрягаются нервы. Ничто в воздухе не двигалось, кроме нас, и это опустевшее вдруг пространство пугало своей голубой торжественностью. Мы крались над самыми крышами, приглядываясь друг к другу, примериваясь крылом к волне гравитонов. Самое важное было нащупать, поймать сильную волну. Уже задрожали стрелки приборов и шевельнулись, чуть приподнялись чуткие перья на крыле машины, но я знал, что еще рано ловить эту самую волну.

А перья тихонько пели, но все равно это была не та волна. Я делал едва заметные глазу скачки — поднимался и опускался, рыскал по сторонам. Многие гонщики тоже искали волну, стараясь не выдать своего напряжения. Уже неумолимо приближались полукруг стадиона и синее полотно моря,

вдали сверкнули золотые точки — стартовые шары, а мы, герои дня, шли к ним совсем не парадным строем, а беспорядочной толпой. Что ж, в конце концов каждый музыкант перед началом концерта раскладывает ноты и настраивает свой инструмент. Звучит эта разноголосица в оркестровой яме не очень-то приятно для слуха, зато потом взмахнет дирижер, замрет зал, каждый инструмент будет петь свое и в их едином порыве родится мелодия.

Однако, если уж прибегать к сравнениям, то я думаю, вряд ли музыканты перед выступлением так кляли свою судьбу, как наши ребята, приближаясь к золотым воротам гонок. Я видел это по мелким рывкам машин и представлял, как ворчат гонщики на всю Вселенную. Мы должны были ловить волны гравитонов, которые посылали далекие галактики. Что поделаешь — спорт!

А перья вдруг запели: «Март, я колдунья...» Мне сразу стало легче, я решил больше не смотреть на дрожащую стрелку. Поднял голову — прямо перед носом шар. Тормознул, встал на линию, замер с включенным двигателем. Мне теперь все равно, откуда начинать. Пусть Сингаевский висит сверху. Пусть другие перескакивают с места на место. Пусть выбирают позицию. Я не двинусь. Я все равно ее поймаю — свою волну.

— Готов! — ответил я, как и все, главному судье и инстинктивно подался в кресле вперед. Я видел теперь только цепочку шаров и голубое спокойное пространство.

Ребята пошли легко, красиво, плавно набирая скорость. Я даже чуть задержался, когда фыркнула стартовая ракета, а через мгновение висел уже в хвосте у группы, причем резал дорожку наискосок — вверх и налево: искал ее, одну-единственную, мою волну. Хоть перевернись ты, Галактика, хоть взорвись насмех другим, а я сумею ее найти, обгоню ветер, поймаю солнечный луч, глотну горячего солнца.

Так я резал дорожку наискосок, и меня пронзала дрожь нетерпения: глаза устремились вперед, словно могли увидеть волну, и весь я летел впереди машины. Но нельзя, никак нельзя было пускать двигатель на полную мощность: рано. И постепенно дух спокойствия возвращался ко мне: сначала остыла голова, потом улеглись зудевшие руки. Может быть, некоторые нетерпеливые гонщики и торопились, а основная группа шла на большой скорости, но еще не в темпе финишного рывка. Ничего, у самого последнего гонщика еще есть преимущества. Во-первых, поворот, вот он. Ставлю машину на крыло, плавно делаю вираж и обхожу белый гравилет — ни треска, ни толчков, ни снижения скорости. Итак, дорогой мой коллега, ты, надеюсь, понял преимущества прямого крыла:

выигранные метры на поворотах, это раз. А второе, когда будет хорошая волна...

Глаза автоматически ловили и считали шары — десять, двадцать, тридцать,— а я все еще плелся в хвосте. Двадцать седьмым или двадцать восьмым. Сингаевский парил впереди. Казалось, желтый гравилет движется сам по себе. Так иногда смотришь на летящую птицу, любуешься ею и не знаешь, откуда в таком крохотном комке плоти берется столько энергии, красоты и ритма. Она как будто знает, что ты на нее смотришь, и нарочно старается показать, что она само совершенство, часть природы. А на самом деле — просто летит. И Сингаевскому наплевать, что зрители видят на экранах его лицо. Сдвинул угрюмо брови, катает за щеками желваки и не слушает никаких судей — только машину.

И тут я увидел, как ощетинились перья на моем крыле. Ясно и без приборов: волна! Сразу весь подобрался и послал машину вперед. Она рванулась, будто с места, и с каким-то чудовищным свистом начала рассекать воздух. Я даже через стекло почувствовал его упругость, вцепился в руль; на миг мне показалось, что гравилет может опрокинуться. Впрочем, уже не существовало ни меня, ни гравилета, мы были нечто одно, постепенно пожиравшее пространство. Все затихло, исчезло во мне с этого момента, остались глаза и уши. Я лишь следил, чтоб не столкнуться с шаром или обгоняемой машиной, слушал, как угрожающе звенят накаленные перья «Карич-ка, Ка-рич-ка»,— угрожающе, но еще не настолько опасно, чтоб снижать скорость. Моя красная лошадка могла бежать и резвее — в этом я не сомневался. Если рассыплется, что ж, упаду в зону невесомости, там подберут...

А желтый гравилет все впереди. Молодчина Сингаевский! Но и мой сейчас превратится в красную молнию, в красный свет,— тогда уж потягаемся. Бешеная все же скорость!

Кажется, последнее, о чем я вспомнил, был воздушный цирк. После нас должны были выступать воздушные гимнасты, а потом — гравибол с огромным цветным мячом.

Но ничего этого не было. Вы уже знаете про облако: как оно появилось, как скрылся в нем желтый гравилет, как я, счастливо улыбаясь, пытался остановить машину, а вместо того стал вращаться вокруг облака. Сейчас, по прошествии времени, я говорю «облако», а тогда — я уже упоминал об этом — никто из гонщиков не знал, что за странное препятствие возникало перед нами. Только зрители, телевизионщики да некоторые судьи могли издали определить, что это облако серебристого цвета и почти идеально круглой формы. Телевизионщики сумели даже заснять на пленку, как оно стремительно ушло вверх кадра, все остальные подумали, что обла-

ко исчезло, растворилось в воздухе, вдруг стало невидимкой.

Помню, как Гриша Сингаевский спокойно говорил в микрофон: «Неожиданное препятствие... Стремительное, притягивает... Ничего не могу...» Это были семь его последних слов.

Помню неприятное чувство, какое-то посасывание под ложечкой, когда я сам неумолимо приближался к слепящему пеклу, не в силах оторвать от него глаз. Я ничего не говорил, только улыбался, все еще борясь с рулем. Потом резкий удар, темнота, словно кто-то набросил на голову покрывало.

Мой гравилет резко отбросило от шара, и он рассыпался. В то же мгновение шар исчез. Меня подобрали, как я и предвидел, в зоне невесомости.

* * *

Сначала пришли врач и сестра. Врач, толстенький, с ямочками на щеках, ну, просто сияющий восклицательный знак, потирая маленькие ручки, принялся рассуждать о гонках. Он назвался моим болельщиком и был очень доволен, что я свалился в невесомость. Через минуту мне казалось, что я знаю его сто лет. Оказалось, доктор помнил все гравилеты, на каких я летал, даже когда был мальчишкой. Я с вдохновением поддакивал, а восклицательный знак между тем поднял мне веко, заглянул в глаз, потом дружески ткнул кулаком в живот.

— Сердце работает нормально. И все остальное,— объявил он, довольный осмотром.

— Значит, в порядке?

— Массаж! — кратко резюмировал доктор и удалился в полном сиянии.

А массажист был тут как тут, совсем как в раздевалке спортклуба, и пошли отбивать лихую чечетку его крепкие проворные руки, а когда я перевернулся на спину, то на стуле сидел Аксель. Аксель Михайлович Бригов, мой профессор, наш старик Аксель. Я встрепенулся, но Аксель пробурчал: «Лежи!» И тогда проворный массажист легонько толкнул меня в подбородок ладонью и принялся уминать брюшной пресс.

Аксель был неизменным, сколько я его знаю. Черный костюм, галстук, шляпа на коленях. Величественный и торжественный. А маленькие медвежьи глаза смотрят недоверчиво, часто мигая, и я знаю, что это от смущения: он очень не любит незнакомую обстановку. Молчит, и я тоже. Лучше подождать, когда сам начнет. Хорошо, что еще попался неразговорчивый массажист.

— Я все видел,— хрипло сказал Аксель, едва массажист скрылся.— Нет, не в телевизоре,— поморщился он на мой ки-

вок.— Потом все видел, когда приехал с побережья. Хорошенькая история, ничего не скажешь.

Представляю, как мы испортили ему единственный выходной за несколько месяцев. Забрался в морские просторы, подальше от пляжей и подводных охотников, «морских чертей», как он говорил, спокойно управлял лодкой (он влюблен во все паруса мира) и — пожалуйста — срочный вызов.

Аксель помолчал, удовлетворенный ходом беседы. И вдруг спросил:

— Март, что это было такое?

Я ждал этот вопрос, едва увидел учителя, но не думал, что он прозвучит так откровенно и прямо, что опять я сойдусь лицом к лицу с неизвестным.

Я беспомощно взглянул на профессора — ведь он-то должен уже все знать, но лицо его выражало каменное спокойствие, а глаза смотрели твердо и беспощадно, приказывая говорить. И тогда я стал говорить, как все было, начиная с того момента, когда в ангаре нам мешал болтливый комментатор. Я очень хотел, чтоб учитель почувствовал азарт гонок и не думал, что я улыбался от самодовольства или какой-то иной глупости. И он, кажется, все понял, хотя я, конечно, ни слова не сказал про Каричку и свое настроение. Его огромные руки, спокойно лежавшие на коленях, зашевелились, он словно пробовал удержать руль моей машины. А я сказал, что он ни за что бы не удержал (старик обладал огромной, непонятно чудовищной силой), и еще прибавил что-то невразумительное про сильное поле притяжения, которым обладает странное облако.

— Так, юноша,— сказал Аксель,— весьма поэтично, но анализ никуда не годится. Ты ведь на физическом?

— На физико-математическом.

— Жаль, что не мне сдаешь экзамен. Но шутки в сторону. Как ты сказал: облако?

— Это я случайно. Облако я не видел, только сияние.

— Пожалуй, ты угадал.

— А Сингаевский?

— Да-а,— только и сказал Аксель.

Он молчал довольно долго.

— Будет Совет. Создаются оперативные группы по изучению облака. Но тебе ведь не разрешат врачи...

Такого я не ожидал. СОВЕТ! Совет ученых планеты!

Я вскочил и закричал:

— Да я здоров! Я могу работать. Сию минуту. Вот!

— Посмотрим,— сказал неопределенно Аксель.— Как скажут доктора. Захотят ли они, чтоб ты еще раз встречался с этим облаком...

Но я уже знал, что учитель возьмет меня с собой, что я, именно я, поймаю коварный, глотающий гравилеты шар.

Когда на рассвете мы, спешно покидая город, уселись в ракету, я включил радио. Передавали обращение ученых. Оно было кратким. Констатировалось прибытие из космического пространства объекта неизвестной пока физической природы. Перечислялись признаки биологического воздействия облака на людей. Далее следовали призывы к спокойствию, выдержке, нормальному ритму жизни, а также советы о необходимой медицинской помощи. Выражалась уверенность, что ученые в самое ближайшее время найдут эффектный способ защиты. Были названы десятки специальных комиссий во главе с мировыми величинами (мелькнула и фамилия Акселя). Спокойствие и уверенность — в каждом слове обращения.

С этого дня моя жизнь превратилась в бесконечную гонку. Наша маленькая группа в четыре человека (руководитель Аксель Бригов, операторы Игорь Маркисян, Павел Кадыркин и я) металась из города в город, используя весь современный транспорт. Иные города — Лондон, Одессу, Бразилиа — я рассматривал только сверху, из гравиплана или вертолета на коротком пути с ракетодрома, поражаясь фантастичному движению машин среди хаоса напряженного до предела сверхпрочного материала; величественные, как горы, панорамы стартующих ввысь зданий я вижу до сих пор. Хорошо помню хрустально-белый город, поднявшийся из океана, по имени Маяк, к которому нес нас бесшумный экспресс по узкой эстакаде среди ленивых волн. Некоторые города я вообще не видел, кроме одной-двух улиц или нескольких зданий, а иные просто проспал от усталости — работать приходилось в полную силу.

Мы следовали за серебристым шаром буквально по пятам. На первый взгляд беспорядочные броски облака были бессмысленны; оно словно искало закономерностей в расположении больших городов и, появляясь неожиданно, столь же стремительно исчезало. Однако уже вскоре можно было угадать тактику таинственного гостя: своими скачками оно постепенно покрывало большую площадь, собирая, видимо, нужную информацию и время от времени нанося удары излучением. Мы научились опережать облако, готовя ему деловую встречу: разного рода установки видимого-невидимого — от малых приборов до огромных подземных телескопов,— прощупывали сверкающий призрак за те считанные часы, которые он находился над городом. Наш Аксель работал, прене-

брегая сном и отдыхом: сам возился с установками, спорил с местными физиками, проводил совещания и летучки, докладывал Совету и еще успевал расшвырять тонны бумаг. Мы их подбирали и дивились, как успел он написать за ночь такую груду, потом раскладывали в пачки и считали, считали — круглые сутки только считали. И это было еще сносно, это была наша работа, мы даже не обижались на рык Акселя, попадая под его горячую руку. Страшно было другое: мы уже начинали сомневаться в том, что когда-нибудь от теории перейдем к действиям. Рядом с нами работали биологи и медики; им, вероятно, приходилось труднее: они имели дело не с приборами и цифрами, а с живыми людьми.

Незаметно для глаза мир изменял привычные пропорции. В обиходе появилось новое слово — «страх». Сколько я себя помню, даже в детстве меня ничто не пугало: ни темнота, ни мчавшиеся пулей черные мобили, ни потасовки сорванцов, ни плохие отметки, ни ржавые пустыни Марса — ну ничего не могу припомнить, что хоть на миг устрашило бы меня.

И вот однажды я тоже попал под удар облака.

Как-то я гулял под старыми каштанами, и солнечная мозаика света и теней скользила под моими ногами. Яркая весна, полная запаха травы, листьев и нагретого камня, неслышно ступала за мной. Я шел и представлял, как я въезжаю на слоне, или пантере, или просто на волке в современный город, как испуганно шарахаются пешеходы и мобили, не зная, что зверь совсем ручной. Я так увлекся, что совсем не удивился бегущим навстречу людям. Я даже посторонился, уступая им дорогу, но уже в следующий момент меня поразили испуганные лица. Я замер, превратившись в зрение и слух. Нет, я не старался понять, что чувствую, я совсем забыл о себе, а просто превратился в приемную антенну. Мне казалось, что сейчас увижу то невидимое, что излучает облако, услышу, ощущу, пойму...

Резкий звон стекла бросил меня в поток бегущих. Машина на полном ходу врезалась в витрину. Осколки блестели на тротуаре и на гладкой крыше мобиля. Водитель был невредим. Он стоял в кольце любопытных, разводил руками и глупо улыбался.

— Есть еще бьющиеся витрины,— попробовал кто-то пошутить.

* * *

Дождливым серым утром выехали мы под ажурную арку радиотелескопа. Маленький вагончик чинно тащил нас вверх по наклонной крыше плато. Кратким было это путешествие

внутри почтенного столетнего телескопа, но я запомнил его лучше, чем все последние перелеты на ракетах. Сквозь проволочное кружево тоннеля разглядывал я маслянистые тяжелые лапы елей; капли воды скатывались по ним и обрушивались игрушечными водопадами. Все вокруг: и трава, и красные набухшие ягоды земляники, и долговязые сосны, и кусты — все было мокрым-мокро, а под елью хоть разводи костер. И так близко висели эти лохматые лапы, что я мог протянуть из окна руку и пожать любую из них, да боялся нарушить тонкое плетение проводов. Они служили великой цели, вылавливая вот здесь, среди обычного леса, скрежет галактик, взрывы гибнущих звезд, первый писк космических младенцев — эти прекрасные серебристые сети, внутри которых я двигался. Я лишь вертел головой, пытаясь разглядеть, натянуты ли они на плавно изогнутые фермы или просто цеплялись за деревья.

У приземистого монолитного здания, будто высеченного из цельного серого камня, вагон остановился. Аксель вошел в дом, а я, Игорь и Паша еще долго стояли на ступенях, рассматривая сверху телескоп. Он был похож на величественный серебряный крест, брошенный посреди леса. Прямая как струна ажурная арка, под которой мы только что проехали, и пересекавшаяся с ней цепочка рогатых мачт, увенчанных гирляндами,— два чутких радиозеркала. Они ловят электромагнитные волны и послушны руке оператора. Пока я смотрел, стальные мачты все вместе и незаметно для глаза чуть повернули свои рога, и сразу изменился силуэт всей стройной шеренги.

Через десять минут начнется ожидаемое. Облако точно по расчетам очутится в центре треугольника. Где-то, в таком же лесу, луч мазера пошлет серию сигналов. Включится нейтронная пушка: пучок частиц позволит увидеть строение облака — это второй угол треугольника. И тогда, возможно, наш телескоп уловит таинственный голос, и мы узнаем, кто оно, откуда и почему.

— Пора.

Весь дом состоял из одного просторного зала. Длинный, как прилавок, пульт управления пристально смотрит на входящего десятками глаз — прибором. Два оператора — на вертящихся стульях. Под руками у них клавиатура кнопок, на уровне глаз — экраны и скачущие цифры световых часов. Отдельно стоит круглый стол с пачкой бумаг и стаканами чая — это для нас. Бригов помешивает ложечкой и жестом предлагает устраиваться.

Ждем молча, как ждут нацеленные антенны и мокрый притихший лес за окном. Кто знает, может, сосны, и ели, и даже

трава настроены не хуже стальных струн на неслышный шепот далеких миров — только мы об этом не догадываемся?

— Пора.

Темное расплывчатое пятно на экране — это облако, как бы замершее в удивлении: к нему обращаются на «вы», как к почтенной Галактике. Вот побежали зубцы по голубому зеркалу: мазер передает свои сигналы — язык математики, понятный всем разумным существам, тысячи земных понятий. Но главное сейчас — приемный экран нашего телескопа, сетчатка циклопического радиоглаза. Если облако отзовется, мы это увидим.

Зубцы струятся по нашему экрану, но пока это след обычных излучений и помех. Помех много. Хотя в зоне телескопа и замерло движение, мы не могли остановить жизнь планеты. Летели своими путями рейсовые ракеты. Кружили гравилеты. Работали взрывы. Трещали радиостанции. Весь пестрый клубок самых обычных дел наматывался на чуткие усы антенн и рябил нежную гладь экрана. Мы ждали непривычных зубцов — вот сейчас облако крикнет нам в ответ и взметнется острый пик на экране. Электронный мозг планеты мгновенно расшифрует сигнал, переведет его в человеческие слова, или уравнения, или цифры — первая реплика в дискуссии будет брошена.

Молчали аппараты — молчало облако. Молчали и мы.

Потом облако ушло; темное пятно на экране исчезло...

На другой день рано утром мы срочно вылетели в Мезис, большой индустриальный центр. Нам сказали, что там бунт автоматов.

Бунт — сказано слишком громко, ибо человечество, изобретя автоматы, считало полумистическим вопрос об их неподчинении человеку. И все-таки случилось что-то необычное: в Мезис съехались все знаменитости техники.

В большом городе выходящее из привычных рамок происшествие легче всего проследить в гостинице. Когда к подъезду ежеминутно подкатывают мобили новейших марок и нашего Акселя то и дело окликают какие-то личности, и во всей сверкающей пятидесятиэтажной свече с трудом находится один тесный номер на четверых,— жди дальнейшего развития событий. И мы ждали, скучно наблюдая из окна сорок седьмого этажа нагромождение зданий, нескончаемый поток мобилей и сверкающую вдалеке стеклянную реку — крышу того самого сталеплавильного гиганта, где что-то произошло. Судя по уцелевшей крыше, взбунтовавшиеся автоматы стекол не били.

Шутки шутками, а остановка завода — дело серьезное. Это мы с Игорем понимали. И оправдывали внезапное исчезновение профессора. Не могли только понять, куда вслед за ним пропал Паша Кадыркин — ведь в Мезисе у нас не было знакомых.

Пашка появился через час.

— Ребята! — Он поманил нас пальцем.— Пошли.

Хитрый Кадыркин узнал, что на завод не пускают, но нашел другую лазейку к свежей информации: напросился в гости к бионикам. Молодец — нас не забыл.

Институт бионики походил на развороченный палкой муравейник. Прозрачное кубическое здание стояло, конечно, на своем месте, и автоматы отнюдь не играли в чехарду, но сами бионики бегали по коридорам и лестницам столь стремительно, что полы их халатов трепыхали белыми крыльями; они чему-то радовались, как дети, и, хватая друг друга за руки, тянули в свои лаборатории. Веселый гвалт бушевал вокруг нас.

— Все сюда!

— Ой, ребята, смотрите!

— Эврика! Мировое открытие в результате случайности.

— Ты что-нибудь понимаешь?

— В принципе этого не может быть...

— Абракадабра!

— Спроси меня что-нибудь полегче!

— Кто еще не видел интроцептор-феномен?

— Гений или безумец?..

— Ущипни меня — я перестал понимать биоматематику...

Это было похоже на забавную игру, в которой, правда, участвовали не все: кое-кто просто шагал с мрачным видом, оставаясь во всеобщей суматохе наедине с самим собой.

А Кадыркин сразу включился в игру: ведь он уже знал ее правила. Вынырнув из-за спин, потащил нас в комнату и, показывая на железный ящик с короткой трубой окуляра, довольно объявил:

— Любуйтесь: автомат-абстракционист!

Мы с Игорем смотрели на бумажную ленту с длинными колонками цифр, на выпуклый глаз трубы, на прекрасную цветную фотографию восхода солнца в космосе, висящую на стене перед окуляром, и пока ничего не понимали. Тогда Пашка и длинный парень в очках, конструктор ненормального автомата, стали наперебой объяснять нам, что этот железный ящик исследует тончайшие цветовые оттенки и сообщает свое мнение в цифрах. До сих пор он работал со знанием дела. Но если присмотреться к последней ленте, той самой, что лежит перед нами на столе, сразу станет ясно, что с автоматом что-

то случилось: он перепутал все цвета и пропорции, нарисовал такое полотно космического восхода, что любой абстракционист прошлого лопнул бы от зависти.

Мы ходили от машины к машине, смотрели ленты с вычислениями, графики, наброски уравнений, сделанные хозяевами этих автоматов. Некоторые ретивые конструкторы уже копались в электронных схемах, другие, наоборот, ходили вокруг своих творений чуть ли не на цыпочках, не позволяя к ним притронуться. Кто-то листал толстенные журналы записей с таинственными для посторонних названиями: «Поведенческая реакция таких-то искусственных и таких-то живых систем». Кто-то лихорадочно списывал с экрана справки Центра Информации. Кто-то уже придумал свои гипотезы и отстаивал их в жестоком споре.

В девять часов тридцать минут утра все машины в этом доме, до сих пор работавшие нормально, начали выдавать необычную информацию. Машинный бред — кое-кто называл его гениальным прозрением — продолжался четыре часа. По решению институтского Совета большинство автоматов было выключено; некоторые получили новые задания и продолжали работать в запертых от любопытных лабораториях. Возбуждение, растерянность захлестнули коллектив. Сначала никто ничего не понимал. Чуть позже на всех этажах зазвучали смех и удивленные восклицания. Дрогнули даже скептики, разглядывая ленты чудно́й математики. К нашему приходу институт гудел, как улей.

Итак, все автоматы мгновенно перестроили свои программы и потом одни из них неожиданно разрешали задачи, что можно назвать прозрением, другие же несли околесицу. Но даже то, что казалось чепухой, как я догадывался, было очень важно для этих бегавших по коридорам людей: теперь они другими глазами смотрели на своих умных электронных младенцев. Все, что они раньше делали, в несколько часов окуталось непроницаемой завесой тайны. И сам светлый, насквозь пронзенный солнцем куб института вдруг превратился в таинственный черный ящик. У кого не заблестят глаза, не прервется на миг дыхание, когда он увидит такой неожиданный, наглухо забитый, полный сюрпризов ящик! Открываешь крышку, а там внутри — множество других, более мелких черных ящиков, и в каждом из них тоже спрятаны загадочные ящички. Дальше, дальше — только открывай, только смотри, думай...

На завод мы так и не попали. Наверно, не все должны были видеть печальное зрелище: километры замерших автоматов, конвейеров, прокатных станов, погасшие глазки печей, в которых застыла сталь.

В то утро приборы уловили присутствие облака над Мезисом. Следовательно, оно неожиданно изменило свою стратегию: оставив пока людей, нанесло первый удар технике.

Теперь мне казалось, что лучше б облако атаковало нас, чем машины. В конце концов мы, люди, можем и пересилить себя, и справиться со своими недостатками, и начнем работать в полную силу после любой болезни. Мы придумаем, как победить неуязвимого врага. Но когда наступит этот момент?

Мальва, южный порт, был заклеен объявлениями:

«Подводный город Юхоон (Тихий океан).

Приглашает геологов, химиков, горнопроходчиков, микробиологов, сейсмологов. Условия: школы, парки, зрелищные предприятия, квартиры со всеми удобствами».

Такое я видел впервые. Обычно в подводные города ломились. Словно отвечая на мои мысли, кто-то за спиной сказал:

— Гнет воды.

Я обернулся. Бронзоволицый упитанный моряк. Почему-то он смутился, заморгал выгоревшими рыжими ресницами, пояснил свою реплику:

— В моральном, конечно, смысле... Вода да еще это облако — слышал? А так нормально. Едешь, что ли?

— Не те специальности,— сказал я.

— Ясно.

Я стоял на горе над портом. Согнутые пальцы кранов, блеск воды, пассажиры, китовые туши надводных кораблей и сигарообразные — подводных. Глаза мои равнодушно скользили по этой великолепной картине, не высекая искры, из которой разгорается воображение романтиков. Мне не хотелось одеться празднично, как это принято всеми путешествующими по морю, ступить на трап и ощутить в ногах дружеский толчок волны. Некоторое время назад, когда облако стояло над Мальвой, в порту вдруг вспыхнула драка. Я впервые видел ослепленных яростью людей. Они пускали в ход кулаки, ремни — что попало. А когда их разняли, никто не понимал, почему так случилось.

...Вот из этой агрессивной, атакованной облаком, зазывающей на дно океанское Мальвы я и вызвал Каричку. Просто так — вдруг решил и вызвал. Не по видео, а просто по телефону.

— Ой, Март! — обрадовалась она, и я сразу увидел в золотых ободках зрачки, ровную челку, сияние вокруг головы.— Ты путешествуешь? Откуда ты?

— Из Мальвы.

— Красиво звучит. Как твое облако?

Я рассказал коротко и про города, и про людей, и про облако.

— Не скучно? — спросил я.

— Наоборот. Ты объяснил очень понятно. Сейчас много говорят и пишут. В основном общими словами. А у тебя очень точно. И ты во всем этом участвовал?

— Участвовал... Как ты? Чем занимаешься?

— Ничем. Знаешь, Март, на меня напала тоска. Вот сижу и думаю: зачем жить до ста лет?

— Ты будешь жить бесконечно. Скоро изобретут сон на десятки, сотни лет, и ты будешь просыпаться в новых эпохах.

— Март, ты чудак, я же серьезно.

— Ну что ты, Каричка. Ты больна?

— Увы, Март, даже не больна. Читаю вот старинный роман: «Дама с камелиями». Так вот, раньше люди умирали от чахотки, и их все жалели. Понимаешь?

— Не очень...

— Мне кажется, я никому не нужна.

— Ты нужна мне.

— Ты очень далеко, Март.

— Хочешь, я прилечу через двадцать, нет — пятнадцать минут? Сейчас!

— Не надо, Март!.. Я просто болтаю и сегодня не в духе. Не обращай на меня внимания.

— Каричка, ты по-прежнему моя колдунья?

— Да. Счастливо, Март! Меня зовет мама.

И все. Я долго не опускал трубку, слушая скучную тишину. Долго смотрел в окно, пока не наткнулся на луну. Бесплодная, злая льдышка.

Как отделяет людей пространство, время! Особенно время...

Меня так расстроило настроение Карички, что я забыл спросить у нее про Рыжа.

В самые трудные минуты жизни я всегда вызывал Рыжа. И он появлялся как из-под земли. Помню, когда Каричка тяжело заболела и ее увезли в больницу, я вызвал именно его, Рыжа.

«Рыж, Рыж,— говорил я,— маленький всемогущий Рыж. Ты мне поможешь, Рыж!» — твердил я, пока он бежал ко мне, и я ясно видел, как он бежит. По мокрому асфальту, по мокрым газонам — Рыжу все нипочем. Скачет через ленты пустых дорог, ныряет в кустарники изгородей. Крепкий, длинноногий, большеголовый. А когда надо, пролезет в любую щель.

— Рыж! — сказал я сразу, как только он вырос на пороге.— Я хочу видеть Каричку.

— Она спит.— Рыж всегда все знал.— Хочешь, проберемся в дежурку? — В его темных упорных глазах такие же, как у Карички, золотые ободки; они то больше, то меньше — смотря что он придумывает.

— Нет, Рыж,— сознался я.— Я хочу не на экране, а так. Понимаешь?

Кажется, я впервые говорил с ним так о его сестре. Но он кивнул. Задумался. Сказал:

— Пойдем.

Он тогда здорово придумал. Нашел в каком-то дворе круглую, как тарелка, площадку для мелкого ремонта зданий, которая подняла нас на пятый этаж, к самому окну. И хотя Каричка спала, мы очень обрадовались, что увидели ее, и положили на подоконник прозрачный черный шарик, в котором, если смотреть сквозь него на свет, вращается фейерверочное колесо Галактики. И Каричка удивилась, когда проснулась и нашла этот шар, а потом выглянула и пригласила нас влететь прямо в окно.

...Вот почему после разговора с Каричкой, который расстроил меня, я снова взял телефонную трубку и вызвал Рыжа.

— Эй, Март! — радостно закричал Рыж, едва услышав меня.— С твоим гравилетом все в порядке. Я почти собрал его. Тебе нужен красный?

— Конечно.

— Линия крыла как была?

— Да, Рыж.

— А как ты крепил пластины? У меня не получается.

Я объяснил, как надо крепить.

— Еще дней пять, и все готово,— сообщил Рыж.— Прилетишь?

— Прилечу. Но, наверно, позже.

— А можно мне пока погонять?

— Конечно, Рыж. Только возьми с собой Каричку. Как она там?

— Как всегда. Рассеянная.

— Рассеянная?

— Ну да, растяпа! Смотрит на меня и не видит. Да ну ее!

— Вот что, Рыж. Я хочу тебя попросить. Пока меня нет, будь рядом с ней. По-моему, она больна. Ей нужно крепкое мужское плечо. Понимаешь меня?

— Ладно, Март. Сейчас я подниму ее с дивана, и мы будем узнавать про старинный автомобиль. А утром возьмемся за гравилет. Ты скорее прилетай...

— Спасибо, Рыж.

Я как будто очутился в комнате Рыжа — так мне стало хорошо. Я все это видел...

Вечер. Темный квадрат окна. Тихо. В углу стоит выключенный «Репетитор» — друг школьника, как называет свою домашнюю электронную парту Рыж. На столе и на полу разбросаны книги, альбомы, блоки разных машин — Рыж что-то чинил или конструировал. Мягко светятся стены, незаметно для глаз меняя причудливый узор: стоит вглядеться в их изменчивый рисунок и сразу находишь решение трудной задачи или уносишься в далекий мир.

Я вижу, как две головы склонились у экрана: Каричка и Рыж рассматривают старый автомобиль.

— Смотри какой неуклюжий! — говорит, наверное, Рыж. Он останавливает изображение.— Вот мы его посмотрим. Повернем боком, вот так.

Он дышит в экран, взмахивая удивленно ресницами, вскрикивая порой, а мне видится, как он бережно держит на раскрытой ладони то серебристую трубку ракеты, то неуклюжий, как динозавр, экскаватор, то мерцающий таинственно кристалл счетной машины. В такие минуты в нем пробуждается столько нежности, доброты, что я говорю себе: вот таким должен быть человек среди техники — человек нашей техносферы, который шагу не может сделать, чтоб не наткнуться на твердый бок машины. И она для него не безразличный предмет, а живая душа, облаченная в современные доспехи, даже произведение искусства.

— Рыж, да ты доктор техники! — сказал я ему однажды.

Он рассердился: «Да ну». А через минуту, увидев на экране людей прошлого века:

— Это Они делали для нас!.. Верно, Март?

Лицо его было печально: он Их жалел.

Можно сделать круг и вернуться в ту же точку пространства. Время необратимо. По Эйнштейну.

Он будет психологом техники, размышлял я про себя. В этих словах нет ничего таинственного, вернее сказать, в них столько же таинственности, сколько в слове «инженер» или «программист». Достаточно взглянуть на Рыжа.

...И я продолжал говорить ему, хотя его сейчас не было рядом: «Ты, Рыж, одна моя опора, друг. Ты знаешь, как мне нужен гравилет. Спасибо за подарок, доктор техники...»

Но даже Рыжу, немому хранителю моих тайн, не рассказал я по телефону об одной встрече, хотя он и знал этого человека. Речь идет о моем дяде Феликсе Марковиче Гарге, известном изобретателе биомашины.

Он появился передо мной, когда я сидел на диване, один в пустой сумеречной комнате.

— Я часто наблюдаю за тобой, Март. Печальная картина.

— Дядя? — Я сразу узнал его и от неожиданности вскочил: как он сумел отыскать меня?

— Да, печальная история, я это вижу.— В голосе дяди слышалось сочувствие.— Зачем тебе все эти напрасные метания? Осунулся, побледнел...

— Простите, дядя, но как... как вы наблюдаете за мной? — Я ничего не понимал: дядя живет и работает на Байкале, его лаборатория стоит прямо посреди Байкала, на острове Ольхон. Я там никогда не бывал, но знал, что дядя уже много лет не выезжает с острова. Что же заставило его разыскивать нашу экспедицию и именно меня?

Дядя усмехнулся, словно угадав мои мысли:

— Я тебя нашел гораздо проще, чем ты думаешь. Секретов от тебя, мой мальчик, у меня нет, но слишком долго объяснять. Я предлагаю тебе приехать ко мне.

— На Ольхон? Зачем?

— Мне нужен хороший программист. Но главное другое: именно на Ольхоне начнется новая история человечества.

— Не понимаю.

— Скажу иначе. Тебя как молодого ученого волнует природа облака — не так ли?

Я кивнул, польщенный преждевременно присвоенным титулом.

— Ты можешь узнать все это за пять минут и приобрести мировую славу.

— В вашей лаборатории?

— Да.

— Облако там ответит?

— Ответит.

— Ур-ра!

От радости я бросился на дядю, чтобы сжать его в объятиях, подбросить, позвать всех наших, представить с гордостью: мой дядя, который... Но руки обняли лишь пустоту, я пролетел сквозь Гаргу, не остановленный ни единой частицей его тела, и врезался в стену.

Это был хороший, отрезвляющий удар. Я сидел на полу и, держась рукой за лоб, проклинал свою недогадливость. Хорош физик — не разгадал, что это иллюзионный фокус! Поддался на уговоры, поверил в сказку... Или, может, уже представил свой портрет висящим в зале Совета ученых? «Академик физики М. Снегов. В 18 лет, работая программистом, установил связь с инопланетной цивилизацией...» Олух! Размазня! Манная каша!..

И все же, с другой стороны, дядя был подозрительно осведомлен о наших действиях. Еще звучал в моих ушах его голос, минуту назад я ясно различал в темноте черты его лица. Не мог же я сойти с ума!

Я представил лица своих товарищей. «Ты, Март, просто переутомился. Отдохни-ка сегодня».

И решил промолчать.

Бежали по улице мальчишки, кричали:

— Ура! Гарга зовет всех на Байкал! Айда на озеро! Будем играть в бессмертных!

Мальчишкам я верю: они всегда играют в настоящее. Я помчался в читальный зал. Дрожащими руками развернул светогазету. Долго искал. Где-то в конце страницы нашел сатирическую заметку «Оракул на острове». Автор едко высмеивал заявление профессора Ф. М. Гарги, который обратился по радио к людям планеты. Мелким шрифтом было напечатано и само заявление. Вот оно:

«Ко всем людям Земли!

Мы, группа ученых, работающих на острове Ольхон (Байкал), обращаемся ко всем людям планеты с предложением основать Общество бессмертных. Многолетняя работа нашей группы, возглавляемой профессором Ф. М. Гаргой, над биомашиной привела нас к следующему открытию: соответствующее изменение процессов, протекающих в клетках человека, ведет к созданию совершенно нового организма, которому не угрожает преждевременное старение. Ни многолетний сон, ни мгновенное замораживание не решают вопроса о вечной мечте человечества — значительном продлении человеческой жизни, лишь отодвигая на короткий срок неизбежный исход. Сегодня мечта всех поколений близка к осуществлению: неизбежная случайность, как называют смерть, отступила в прошлое. Отныне каждый человек может продлить свою жизнь в четыре-пять раз, что практически означает бессмертие.

Первый опыт, который проделал на себе профессор Н. М. Килоу, проходит успешно. Первый Бессмертный среди нас!

Мы не скрываем и методов достижения этой благородной цели: опыты ведутся с помощью неизвестной нам до недавнего времени энергии космического объекта, называемого облаком. На время эксперимента зона острова окружена защитным полем облака (в связи с этим озеро Байкал заморожено).

Люди Земли! Мы не сомневаемся, что на наш призыв откликнутся миллионы. Отныне Человек Бессмертен! Открыта новая страница истории нашей планеты!»

«...Спокойно! — сказал я себе.— Это уже серьезно. Можно высмеивать сколько угодно мнимое бессмертие и старомодное название нового общества, можно критиковать профессора Гаргу за необоснованные идеи и несовременный трескучий стиль. Если бы не одна деталь — облако. Как я установил, шутки с ним оборачивались трагедией. Я бы на месте фельетониста совсем не шутил».

Теперь я знал, что был виноват, скрыв разговор с Гаргой от Акселя Бригова, от своих товарищей. А ведь несколько дней назад еще можно было что-то предпринять, договориться с Гаргой. Теперь локаторы фиксировали недвижное облако над островом Ольхон, окруженным силовым полем. Гарга ответил отказом на предложение Совета ученых: он не разрешил присутствовать на острове комиссии Совета, пока не доведет до конца свои опыты и не опубликует результаты.

Не скажу точно, когда я решился принять предложение Гарги и уехать на остров. Может быть, это произошло на вечере, где биологи говорили о воздействии излучения облака на организм человека. Старый профессор психологии Джон Питиква, стоя посреди зала, манипулировал на экранах снопами голубых искр, демонстрируя реакцию нервной системы. Он говорил о том, как излучение вызывало психические заболевания, говорил очень убедительно и понятно, но каждый из нас, сидящих в зале, понимал, что главное оставалось неразрешенным: как активно повлиять на само облако, как установить с ним контакт, изменить его чудовищную программу?

Я слушал профессора психологии, и знакомое чувство тревоги охватило меня: сколько еще будет жертв, испуганных лиц, исковерканных машин?..

Помню, как я сказал сидевшему рядом Игорю Маркисяну: «Ты знаешь, что Гарга мой дядя?» Он кивнул — оказывается, знал. «Так вот,— продолжал я,— может быть, мне поехать на Ольхон?» Он взглянул на меня как на сумасшедшего.

Через минуту Игорь уже забыл о моей реплике. А я, чем больше слушал профессора, призывавшего терпеливо анализировать действия облака, тем все отчетливее представлял себе такую картину: вот я иду по толстому льду Байкала, туда, к песчаному острову, над которым стоит облако. Я иду к нему без всякого оружия — как есть. Я не хочу стать бессмертным, я иду, чтоб узнать код облака, чтоб победить его...

Поймал себя на мысли, почему я пойду пешком, когда есть мобили.

Жаль только, что не успел обкатать гравилет. Придется пока летать Рыжу...

* * *

Мобиль осторожно сполз с берега на лед, и сначала под колесами тонко и жалобно звенели льдинки, словно мы пробирались по столу, уставленному фарфоровыми чашками, а потом машина выбралась на ровный лед и покатила, набирая скорость, по байкальскому льду. Что это был за лед! Я глаз не мог оторвать от дороги: голубые, светло-зеленые, молочно-белые, матовые, серебристые плиты были уложены одна к одной в затейливый узор. Пожалуй, ни один художник и архитектор не могли похвастать такой сумасшедшей красоты мозаикой, а ведь это были всего-навсего остекленевшие волны, фантазия мороза и ветра. И весь Байкал в оправе скал и сопок сверкал, светился, как драгоценный камень, выставлял себя напоказ, понимая, что он виден сквозь лед до самого дна.

Я смотрел на ровные сверкавшие плиты и почему-то вспомнил прощание с Каричкой и Рыжем. Мы сидели в комнате Рыжа, и у ног моих стояла легкая сумка с комбинезоном, весь дорожный багаж. Глаза Рыжа горели от возбуждения — он-то меня понимал. Каричка задумчиво смотрела на нас.

— Значит, ты решил? — вздохнула она.

— Да. Скажи об этом Акселю. Я сам не мог. Сбежал, и все.

— Он рассердится.

— Знаю. Но я добуду код облака. А победителей не судят.

— А как ты попадешь туда? — спросил Рыж.

— Читал в газетах, что Гарга приглашает добровольцев для опытов. Проход в силовом поле открывается ежедневно. Там дежурит мобиль. Только, по-моему, никто туда не едет.

— Март, возьми меня с собой! — тихо попросил Рыж.

Я сделал вид, что не услышал его, и продолжал:

— В библиотеке пересмотрел работы Гарга, даже студенческий диплом. Все про биомашину. Казалось бы просто — искусственные клетки, долгоживущий организм. И все же никто не мог построить биомашину, а Гарга, кажется, изобрел.

— И он может сделать искусственного пилота, который полетит в другую Галактику? — спросил Рыж.

— Наверно, может.

— Март, честное слово, я не буду просить твоего дядю, чтоб он превратил меня в бессмертного! — Голос Рыжа дрогнул от волнения.— Я только одним глазком взгляну на эту «био» и — назад.

Но по глазам Рыжа я видел: он уже летел за сотни световых лет, разглядывая цветные звезды. И чтобы так когда-нибудь случилось, я строго сказал:

— Нельзя, Рыж. Там опасно. А то, что я делаю,— это просто разведка.

— Ничего себе разведка,— серьезно сказала Каричка.— Лезть в самое пекло!

— Я бродяга воздуха, ты забыла? И не раз возвращался из пекла. Кроме того, там уйма всякой техники, там дежурят ракеты, гравилеты и прочее. Ну, прощайте!

— Ладно, ладно,— захныкал Рыж.— Ты думаешь, я такой? Я тоже придумаю какую-нибудь хитрость с облаком...

...Длинный остров вмерз в ледяные поля, словно попавший в беду дрейфующий корабль. Ольхон... Ветер сдул с него весь снег, и он предстал передо мною в своем естественном желто-красном виде, а там, где полагается быть пассажирским каютам, стоял золотистый поселок. Стекло, металл, желтые доски сосны отражали солнечные лучи прямо в лицо, и я, щурясь, рассматривал легкие, устремленные ввысь постройки, стоявшие, казалось, как попало вперемежку с соснами. Но зоркий глаз шофера моментально установил здесь свой порядок: «Вон за улицей Обручева — лаборатория вашего дяди».

Нельзя сказать, что серый куб выглядел мрачным средневековым замком: в его контур вплетались ажурная радиомачта, лопасти локаторов, солнечные зеркала, купол маленькой обсерватории, и все же он казался тяжелым каменным чужаком в золотистом рыбацком городке. Над пикой радиомачты в вышине застыло облако, и тень его падала на крышу лаборатории. Мне показалось это символичным. Впервые я видел облако все целиком и на таком близком расстоянии: идеально круглое, торжественно блестящее, похожее скорее на большой, чудом висящий в воздухе металлический шар, чем на наше земное, лохматое, неторопливо плывущее в дальние страны облако. Я смотрел на него всего одну-две секунды, но очень внимательно. И ничего ему не сказал.

Мобиль остановился перед глухими воротами. Створки медленно вползли в пазы, машина въехала во двор. Медленно-медленно поднялся я по ступеням, дверь сама распахнулась, приглашая в сумрачный вестибюль. Я вошел и долго жмурился, привыкая после сверкания льда к полумраку, потом вылез из комбинезона, бросил его на пол. Никто не встречал меня. Я постучал в первую дверь.

— Войдите,— услышал я голос дяди.

Он сидел за разложенными бумагами. Я шагнул ему навстречу и выпалил то, что давно приготовил:

— Я приехал не для того, чтоб стать бессмертным.

— Знаю,— усмехнулся дядя.— Второго Килоу пока не нашлось. Ты приехал работать, не так ли? Я верил в это. Ну, здравствуй.

Я пожал сухую крепкую руку.

Вот он — тот единственный человек, который договорился с облаком. Имя его известно всем и вызывает то улыбку, то чувство тревоги, то раздражение. Когда-то он качал меня на коленях. Сейчас, смахнув на край стола разбросанные бумаги, угощает кофе. Наливает из обыкновенного кофейника в обыкновенные стаканы сутулящийся старик, обещавший людям бессмертие.

Дядя включает экран, знакомит меня со своими лабораториями.

— Химическая лаборатория.

Во весь экран смуглое узкое лицо.

— Доктор Наг, заведующий,— представляет Гарга.— Март Снегов, наш новый работник. Программист.

Доктор Наг кивает, отходит от экрана, открывая прекрасно оборудованную лабораторию; достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться в этом. Далее следуют подземный ускоритель, физическая лаборатория, мастерские, наконец—пустой машинный зал. Три новые машины. Здесь мне предстоит работать.

— Я лично обхожусь собственной головой и еще вот этим арифмометром.— Дядя показывает на свой счетный автомат.— Но работы очень много. Пользуйся всеми машинами.

Я все ждал появления той двери, за которой хранится таинственный ключ к облаку. И когда в конце путешествия по этажам мы добрались до радиостудии, не поверил глазам, увидев, что этот ключ — самый примитивный микрофон.

— Как же так? — Я осматривал обитые изоляцией стены, дикторский столик, висящие головки микрофонов.— Неужели это просто, как вечерние известия?

— Примерно так же, как я говорю с тобой. Местное радиовещание оказалось берегом Вселенной,— улыбнулся дядя.

— И облако отвечает голосом?

— Буквами.

— Это робот?

— Название не имеет значения. Оно могущественнее нас — это главное.

— А как вам удалось, дядя... — Мне не удалось закончить вопрос.

Гарга устало махнул рукой:

— Объясню как-нибудь в другой раз.

— Да,— вспомнил я,— ваше таинственное появление в моей комнате — помните, когда вы приглашали меня? — привело меня к мысли, что вы первый человек, использовавший энергию облака для передачи изображений и звука.

Дядя рассмеялся и ничего не ответил.

— Значит, таким образом облако изучало нас из космоса? — продолжал я.

— Вероятно.

— Скажите, пожалуйста, дядя, Сингаевский у вас?

— Это кто?

— Гриша Сингаевский. Пилот, который попал в облако.

— А-а... Нет, он по-прежнему там.

— Но почему?

— Насколько я знаю, облако его исследует. Но не волнуйся, он будет возвращен.

Возвращен! Он говорил о человеке, как о предмете... Невидимая черта в одно мгновение разъединила нас. По эту сторону был я, мой Рыж, Каричка, хмурый профессор Аксель; по ту сторону — облако и Гарга. Но я должен был сделать шаг, переступить черту. Я сознательно явился на этот остров, я буду работать у дяди, чтобы узнать тайну, чтоб освободить Гришу Сингаевского. И я пошел на перемирие, попросив присутствовать на сеансе переговоров с облаком.

* * *

Так я и не понял, какие делал расчеты для Гарги. Пачка листов, заполненных твердым почерком, была обычным математическим заданием, имевшим свое начало и продолжение. Но я особенно и не вдумывался в содержание: механически перестукивал на клавишах формулы, вертясь между тремя пультами, и все поглядывал на часы, все думал, какие вопросы задать мне облаку. Надо было начинать с главного, с чужой истории, чтоб постепенно дойти до цели этого космического пирата. А потом... Я не знал, что будет потом, как доберусь я до сердцевины облака, до его логических сетей, но предчувствовал очень трудный момент. Если только оно соизволит отвечать мне. Если Гарга не передумает. Если я сам выдержу... Десятки разных «если».

Без трех минут пять на экране возник Гарга и пригласил меня в студию.

Я уселся на низкий стеклянный стол рядом с дядей. Пляшущие цифры электрических часов с каждой секундой приближали неотвратимый миг. Гарга щелкнул черной ручкой — включил эфир. Я вдруг почувствовал, как все замерло у меня внутри и онемел мой язык. Будто миллионы звезд там, за потолком студии, ждали моего слова.

И перед самым моим носом вдруг заскользили по экрану буквы. Я рассматривал их с изумлением, как невиданных букашек чужой планеты, и не мог сразу сообразить, что все это

значит. Только потом, когда буквы проплыли, смысл фразы стал мне понятен:

Прошу передать информацию о строении и функциях живой клетки.

— Включаю машину с подготовленной программой.— Это уже звучал человеческий голос, это говорил в микрофон Гарга.

Экран мгновенно откликнулся:

Включайте.

Щелчок, удар по кнопке. Гарга повернулся ко мне:

— Вопросы есть?

— Есть.

— Прошу.— Он сделал приглашающий жест.

— Зачем вы передаете облаку эти сведения?

Гарга сухо рассмеялся: его разозлил мой вопрос.

— Раз ты так спрашиваешь, ты должен знать, что создатели этого инструмента,— он показал на потолок,— преуспели в своем развитии гораздо больше нас. Облако за несколько месяцев проделало такую же работу, на которую нам потребовались столетия: оно уже исследовало жалкий человеческий организм и сейчас только проверяет свои выводы. Но главное даже не в этом.

— А в чем?

— Ты знаешь теорию эффекта обратной связи?

— Кажется, нет.

— Вполне естественно: она родилась в прошлом веке и не имела никакого практического применения. Существование любой цивилизации ограничено во времени — это аксиома. Один из способов продолжения жизни — это получение ценной информации от более развитой цивилизации. Если, конечно, такая цивилизация найдется...

Гарга написал на бумаге формулы, где $Л_1$, $Л_2$, $Л_3$ и т. д. обозначали время существования цивилизации. Он лежал передо мной — блестящий математический анализ связи между инопланетными мирами. В нем постоянно удлинялось Л с увеличением числа контактов.

— И в этом, между прочим, принимает участие твой дядя,— иронически заключил Гарга.

Он мог торжествовать победу: формулы были на его стороне.

— Можно мне задать свои вопросы облаку? — спросил я и получил согласие.

Взял с полки лист бумаги, написал вопросы, молча передал Гарге. Он прочитал, хмыкнул, положил лист перед собой.

По экрану пронеслась какая-то рябь. Гарга включил микрофон:

— Непонятно. Повторите более медленно. Прием.

Информация принята. Передайте обследование подопытного,— радировало облако.

— Включаю машинную запись,— произнес Гарга.— Продолжительность пятьдесят две секунды.

Дядя постоянно отсылал облако к машинам. Неужели мне придется служить этому всеядному роботу, готовя машинные расчеты, вместо того чтобы бороться с ним?

— Подопытный — это Килоу? — спросил я.

— Да.

И снова та же строка:

Информация принята.

— Ответьте на четыре вопроса,— торопливо сказал Гарга, взяв мой листок.— Первый: почему вы при переговорах не пользуетесь своим языковым кодом? Второй: изложите коротко эволюцию жизни на вашей планете, а также основные этапы развития разумных существ. Третий: основная цель вашей цивилизации? Четвертый: когда вы вернете пилота Сингаевского, захваченного на соревнованиях гравилетов? Прием!

Это был поистине королевский жест. Я с благодарностью смотрел на дядю, пока он читал, и потом впился в экран.

Первые буквы, казалось, ползли очень медленно. Но оно отвечало. Отвечало мне!

Первое. Наш языковый код вам непонятен. Построен на неизвестных вам законах.

Пауза. Чистый голубой лед экрана. Только скачут электрические цифры часов.

Будет ли продолжение?

Второе.

Эти буквы показались мне огромными. За ними лежали миллионы лет потусторонней истории.

Смесь энергии красной звезды, кремния, кислорода, металла, азота, водорода и других элементов привела к синтезу органических соединений на нашей планете.

Я почему-то обрадовался: «Они, как и мы, дети своих звезд. Как трава, деревья, ручьи, озера, птицы, звери, люди!»

В результате длительной эволюции на планете остались высокоразвитые существа — приматы. Они единственные представители живого мира. Растений, животных, промежуточных форм нет. Приматы имели совершенные органы чувств. Развитие науки и техники привело к созданию высокоорганизованного общества приматов. Это первая Великая эпоха. Старейшая цивилизация во Вселенной.

За считанные секунды пережил я трагедию миллиардов далеких лет. Впрочем, время остановилось. Я окаменел.

Вторая Великая эпоха связана с переходом от живого к неживому и свободным передвижением в космосе. Синтез жи-

вого и неживого образовал самое совершенное существо из известных во Вселенной. Непокорные уничтожены.

Нет, я был не камнем — куском льда. Ледяное дыхание исходило от экрана и заморозило меня.

Основные задачи нашей цивилизации. Участие в космических гонках. Овладение энергией и ресурсами в масштабах Галактики. Перестройка Вселенной.

Пилот с гравилетом будет возвращен после окончания экспериментов над продлением жизни.

Пауза. И новая цепочка букв.

Прошу приготовить на десять утра информацию по головному мозгу человека. Сколько успеете. Второе. Информация о состоянии подопытного.

Сухой щелчок вернул меня к действительности. Гарга выключил микрофон. Он видел, что я подавлен, оглушен, и спросил:

— Ну?

Я не ответил, стараясь осмыслить то, что узнал. И вдруг выпалил:

— А почему вы не допускаете ученых из Совета?

— У меня мало времени на споры,— спокойно сказал Гарга.— Пока облако над островом, надо закончить опыты. Спорить будем потом, когда результаты окажутся на моем столе. И ты увидишь, Март, сколько полетит таблиц, точных законов, прогнозов, поражавших прежде воображение. Полетит из-за одного листка бумаги с формулами, написанными за этим деревянным столом, не обсужденными учеными советами, репортерами газет и всем населением земного шара.

— А ваше обращение к людям планеты?

— Дань традиции. Человек привык узнавать, что его ожидает, за чашкой чая. «Ну, что там в газетах? Что еще придумали эти ученые? Бессмертие? Ха-ха, старая сказка». Но он уже предупрежден, он задумался. Он начинает потихоньку рассуждать: «А если это так, то какая для меня тут польза? Какой вред?» И через некоторое время он уже готов посмотреть в телевизор биомашину.

— Вы странно рассуждаете о людях, дядя. В наши дни никто не ищет выгоду для одного себя...

— Конечно, конечно. Но в каждом человеке пробуждаются подобные мысли, когда речь идет о жизни и смерти. Иллюзия веры в личное бессмертие была разрушена наукой, теперь она возродится.

— Скажите,— начал я осторожно,— эти опыты с продлением жизни отразятся как-то на поведении людей?

— Несомненно. Повысятся именно рациональные начала.

— Но тогда никто, ни один нормальный человек, не согласится на облучение!

— Ты ошибаешься,— твердо сказал Гарга.— Когда люди убедятся, что каждому из них — каждому! — будут подарены четыреста — пятьсот лет, по этому вот льду пойдут толпы. Что значит потеря каких-то тончайших, почти неуловимых оттенков чувств перед такой грандиозной перспективой! Эксперимент охватит весь мир. Человек сможет по праву назвать себя мыслящей материей.

Я слушал его и видел вместо знакомой фигуры большую, шагающую на длинных ногах букву «Л» — символ бессмертия. Она, эта буква, росла с чудовищной быстротой. Она переросла Землю. Тянулась к звездам. Проткнула Галактику. Буква из формулы. Пятьсот лет, подаренные каждому. Разве это могло быть?

— Бред! — сказал бы на моем месте Аксель Бригов от имени всего человечества. А я почему-то постеснялся и сказал от своего имени:

— Я не хочу, понимаете, не хочу!

Дядя остановился, покачал головой:

— Молодость — бочка пороха.

— Но порох изобретен для победы,— возразил я.

— В таком случае победит вечная молодость — бессмертие.

* * *

Профессор Килоу сидел в плетеном кресле перед биомашиной и что-то вычислял. Он сообщил мне, что прекрасно сегодня выспался, прогулялся по морозцу и теперь вот рассматривает ленту с записями биомашины, которая соревновалась с ним, первым долгоживущим человеком. Биомашина — это мудрое изобретение Феликса Марковича Гарги, необыкновенно сообразительное, с синтетически-химической памятью — получила реакции «бессмертия», и теперь профессор Килоу проверял их на себе. Жаль, что не было под рукой фотоаппарата, чтоб запечатлеть эту историческую сцену. Я решил взять интервью у первого бессмертного.

— Как хорошо, должно быть, чувствовать себя бессмертным,— сказал я, с трудом скрывая улыбку.

Профессор Килоу не заметил иронии.

— Вы и не представляете! — просиял он.— Я всегда не жаловался на здоровье, а теперь чувствую себя просто превосходно.

— Значит, облучение облаком проходит безболезненно?

— Совершенно незаметно.

— Даже не верится, что вы никогда не умрете!

— Нет, друг мой, этого и мне не избежать.— Килоу печально развел руками и вновь засиял.— Просто я проживу дольше, чем другие.

— Человечество уверено, что опыт кончился благополучно, и хочет брать пример с вас.

— Да, это начало нового будущего. Если «оно»,— Килоу таинственно посмотрел вверх,— сумеет затормозить в организме определенные химические реакции и подтолкнет другие, люди почувствуют себя могущественными. Вы меня понимаете?

— Понимаю: вы останетесь всегда молодым. Я был очень рад побеседовать с вами, профессор.

— И я чрезвычайно рад познакомиться с вами, мой друг!..

Я ушел от Килоу с легким головокружением. В коридоре встретил хмурого химика Нага.

— Заговорил до смерти? — прямо спросил Наг.

Я рассмеялся.

— Даже во рту сладко. Он что, по натуре такой оптимист или после опытов?

— По натуре он дурак,— отрезал химик.— И это состояние катастрофически прогрессирует.

Мне понравился такой откровенный ответ. Я подошел к Нагу вплотную, заглянул в глаза.

— Доктор, объясните мне, что здесь происходит.

— Здесь ведутся опыты, вы это знаете.

Я видел, что Наг говорит со мной серьезно, и решился сказать о главном.

— Но если все будут, как Килоу, эти опыты чудовищны.

— Я всего лишь химик,— сказал Наг.— Об остальном могу догадываться. Есть такой простой пример, описанный во всех учебниках: определенные изменения в клетках активного вируса превращают его в пассивный вирус.

— Это бесчеловечно! — сказал я.

— Раньше здесь было иначе,— спокойно продолжал Наг, не замечая моей реплики.— Но когда профессор Гарга вернулся с космической станции, вслед за ним появилось облако.

— С космической станции?

— Там он испытывал последний образец машины и сделал свое открытие.

— Космическая станция — облако — открытие — первый бессмертный,— вслух подумал я.— Секрет открытия где-то в этой цепочке... Надо что-то сделать!

Наг взял меня под локоть, подвел к окну:

— Попробуйте снять силовое поле, если сможете. И не забудьте, что роботу можно только приказывать. Причем на его языке.

Он ушел, а я бросился к лентам записей. Вместе с последними словами Нага ко мне пришло решение. Я заменяю в машине ленту Килоу на свою (такие записи велись во время отдыха работников лаборатории — для сравнения с состоянием подопытного). Итак, я заменяю ленту, и через несколько минут ложная информация поступает в облако. Оно решит, что подопытный чудесным образом выздоровел, воскрес, и начнет действовать. Может быть, это нечестно — подвергать профессора Килоу сильному удару, но на меня твердо и беспощадно смотрели глаза Сингаевского. Только записав сигналы облака и реакцию Килоу, я мог предъявить ученым доказательство бесчеловечных опытов. Центр Информации Земли расшифрует записи, узнает код облака, смоделирует его строение.

Я уже видел, как удираю с этого дьявольского острова. Выхожу, а там зеленое лето...

Едва успел я заменить ленты, как загорелся сигнальный глазок: машина передавала информацию. Профессор Килоу, которого я отыскал по видеофону, сообщил, что сегодня облако облучает его через каждые два часа. Теперь предстояла лишь встреча с Гаргой.

Я поднялся в студию и удивился, услышав спокойный человеческий голос. Гарга обернулся на стук дверной ручки, выключил динамик. Но я уже слышал — достаточно было этих двух неполных фраз:

— ...опыты, опасные для человечества. Совет надеется...

Гарга, сгорбившись, сидел за столом. Он долго смотрел на меня, словно не узнавал или хотел убедиться в моем присутствии. Наступило молчание.

— Это предупреждение нам,— наконец сказал я.

Он встал, расправил плечи и вдруг ожил.

— Да, нам.— Гарга улыбнулся.— Совет взволнован. Еще бы! Если победит мое предложение, перед социологами, философами, психологами и прочими встанет ряд острых проблем. Их надо решать быстро. Скромные земные ресурсы вряд ли устроят общество бессмертных.

Я слушал красноречивые рассуждения, и злость охватывала меня. Разбитые гравилеты, бледные лица, испуганные глаза — сколько их будет еще?

— Хватит! — прервал я Гаргу.— Вы не о том. Лучше скажите, сколько жизней будет искалечено!

Дядя резко остановился, будто налетел на невидимое препятствие, уставился на меня.

— Я уже говорил тебе,—произнес он спокойным голосом,— что возможно усиление рационального...

— Сколько новых Килоу вы планируете?

— Опыт еще не окончен. Рано делать выводы.

— Или поздно,— подумал я вслух.— Там, на космической станции, когда вы столкнулись с облаком, вы уже знали, что оно будет нападать на нас?

— Ах, вот оно что... Нет, не знал.

— Почему вы не предупредили Совет? Струсили?

— О чем ты говоришь! — закричал Гарга, выходя из себя.— Твой Совет сидел в уютных кабинетах, когда я один на треклятой космической станции — один во всем космосе — увидел эту сверкающую штуку. Пока мы налаживали переговоры, я насмотрелся таких картин, каких не увидит никто, никогда, ни один сумасшедший. Я был для него первым человеком, а оно для меня — первым настоящим помощником. Я, именно я, первый договорился с ним по радио, и мне ничто не было страшно, потому что моя цель была достигнута: машина работала. Случай, совпадение обстоятельств, энергия этого дьявольского шара и моя биомашина, но она ожила, она работала! Ты это понимаешь — что значит достигнутая цель?!

— Да, понимаю! — Я тоже сорвался на крик.— Но ведь есть еще благоразумие!

— Благоразумие! В твоей жизни наступит момент, когда ты пошлешь к чертям всякое благоразумие и поверишь в свои идеи!

— Это предательство! — сказал я тихо, но твердо.— Вы за это ответите.

— Не забывай, что ты — мой сотрудник. Ты тоже разделяешь ответственность.

— Я ничего не забыл. Но вы... вы никогда не посмеете облучать людей насильно!

— Насильно?! — Гарга рассмеялся.— Война маленького острова со всем миром? Не думаешь ли ты, что я сошел с ума?

— Тогда откройте остров для всех!

— Это дело облака,— устало сказал дядя. Он сел, обхватил голову руками. Кажется, он понимал, что ловушка захлопнулась.

— Прикажите ему! — потребовал я.— Или вы тоже подопытный?

Дядя в бешенстве вскочил.

— Хорошо, я подопытный,— хрипло сказал он.— И это мое дело... Но зачем сюда лезет Совет! Что ему нужно! Неужели непонятно, что облако не будет перестраивать Землю?

Я подошел к нему вплотную, сказал:

— А если прилетят еще такие же?

Он побледнел.

— Кто ответит за плен Сингаевского? — спросил я его.

Он молчал.

— За разбитые гравилеты?

Он молчал.

— За искалеченного Килоу?

Он молчал.

Сдерживая ярость, я совсем тихо сказал:

— Никто к вам никогда не придет! Слышите? Никто! Никто не спросит, существуете вы на самом деле или нет!

На меня глядела белая застывшая маска с темными провалами глаз.

На рассвете в зал заглянул доктор Наг. Увидев, что я сижу за пультом, он вошел:

— Слышал новость? Совет потребовал снять защитное поле.

Я машинально взглянул в окно. Его, конечно, нельзя было увидеть — защитный купол, которым облако прикрыло Байкал. Но у нас здесь стояла зима, а там, по другую сторону силового поля, бушевало лето! Ровная закруглявшаяся у горизонта черта делила весь мир на зеленое и белое.

— Что ответил Гарга? — спросил я.

— Ничего. Заперся в студии и сидит там.

— Совещаются?

— Наверно. Совет объявил, что построенные установки могут разрядить облако.

Я поспешно натянул комбинезон.

— Вы куда? — спросил Наг.

— Предупредить рыбаков, пока они не выехали. Вдруг облако решит снять поле... Лед начнет трескаться!..

Все же я опоздал: рыбаки уехали на мобилях в море.

Начальник промысла — инженер Смирнов — был дома. Спокойно выслушав меня, позвонил на радиостанцию и приказал вернуть мобили. Я кратко рассказал, что добыл ценные записи с кодом облака и должен немедленно передать их ученым.

— Выход с острова есть,— ответил Смирнов, подумав.— Пещера в скале. Она проходит прямо под силовым полем. А так, по сопкам, не проберешься, пока не снята блокада.

Почему-то он мне поверил сразу, хотя я был сотрудником Гарги, которого в поселке не любили. Но сейчас не время было раздумывать об этом. Позднее инженер сознался, что запомнил меня по телевизору — гравилетного гонщика, столкнувшегося на соревнованиях с облаком, и сказал себе, как

только я произнес первые слова: «Такой парень не станет врать».

Инженер одевался обстоятельно — шерстяные носки, сапоги, меховой жилет, полушубок. Я умолял его глазами: быстрее! Он, кажется, понял и, заказывая дежурный мобиль, сказал:

— Не через десять минут, а сейчас.

Я благодарно кивнул.

Песок скрипел под ногами, как снег, мороз щекотал кончик носа. Первые лучи легонько коснулись крыш, позолотили их. Сейчас проснутся школьники, выглянут в окно, засмеются: «Доброе утро!» А я побегу через лес, через поле, чтобы подлый удар облака не погасил больше ни одной улыбки.

— До станции пятнадцать километров,— сказал инженер.— Из нас никто не ходил — старая охотничья тропа, но по карте пятнадцать и точно на юг. Проводить?

— Не надо.— Я измерил взглядом богатырскую фигуру.— Вы лучше займитесь Гаргой.

— Не волнуйся. Все выясним и поставим на свои места.

Ярко-оранжевый мобиль приподнялся на воздушной струе и легко заскользил над стеклянным щитом. Неслись нам навстречу пестрые ледяные заплаты — зеленые, белые, голубые плиты, крепко спаянные морозом, но я смотрел не на них, а на темную, неприкрытую снегом скалу — берег Большой земли.

Вдруг замигала лампочка на щитке, шофер включил радио.

— Мобилю сто двадцать шесть вернуться назад.— Голос четко и властно выговаривал слова.

— Гарга,— узнал я.

— Прыткий старикан,— усмехнулся инженер.— Рано встает.

— Это облако,— догадался я.— Оно предупредило Гаргу.

— Мобилю вернуться назад. Вы приближаетесь к границе поля. Это опасно.

— Давай, Саша, к самой пещере,— скомандовал инженер водителю.— Где у тебя компас и карта?

Он спокойно начертил мой путь, сам положил карту и компас в мой карман, застегнул пуговицу. А Гарга все требовал. А скала летела навстречу.

— Сейчас возвращаемся,— наконец ответил в микрофон инженер.

Мобиль мягко шлепнулся на лед. Распахнулась дверца. Отвесная серая стена, в ней треугольная щель, завешанная длинными сосульками, и такое же отражение на гладком льду. Волшебный дворец.

— Беги! — сказал инженер.— Счастливо.

А в спину мне ударило из динамика:

— Март, приказываю тебе вернуться! Иначе облако применит облучение...

Теперь, когда в кармане у меня лежит ключ от облака и какая-то сотня метров осталась до спасительной границы, теперь отступать — ни за что. Мы еще проверим, кто проворней: может быть, я бегу быстрее света.

У самого входа в пещеру ноги мои разъехались, я шлепнулся на живот и так и въехал головой вперед под торжественный ледяной портал. Встал. Ноги какие-то размягченные, идут неохотно. «Только-то и всего! — воскликнул я.— И это называется удар. Благодарю вас, дядя, за родственный тычок!»

* * *

Приятно было бы идти под сумрачным сводом, никуда не торопясь, любуясь искрами инея на стенах, но я опять побежал. Здесь, наверно, тек ручей, он так и застыл голубой подземной дорогой — подошвы гулко стучали о ровный лед.

«Триста рек впадают в Байкал, а вытекает одна Ангара».

Вот уж не думал, что придется столкнуться с этой строчкой из старой энциклопедии. Впрочем, там сказано о реках, а не о ручьях, тем более подземных. Откуда составителям было знать, что есть такой благословенный ручей, пробивший себе дорогу через скалу; весной он могуч и заполняет всю пещеру, несет с собой песок и камни, шлифует до блеска стены, летом поутихает, катит себе полегоньку, прислушиваясь к тихому плеску эха под сводами, а когда удивленно останавливается, превратившись в гладкую дорожку, то на самом дне, под толстым льдом, все равно бежит он, ручей, и даже яростный мороз не в силах его удержать.

Я почувствовал, что лед потрескивает под ногами. Но как осторожно ни ступал, вскоре провалился. Ручей был неглубокий — чуть выше колен, но лед больно резал ноги даже сквозь плотную ткань комбинезона. Услышав плеск воды справа, я направился туда. У стены было глубже, ощущалось течение, зато не было льда. Я шел и шел по пояс в воде, иногда натыкаясь на прохладный камень стены и ощупывая в нагрудном кармане электронный блок с записями.

Я думал, что пройдет еще немного времени и я увижу впереди светлое пятно, которое будет расширяться до тех пор, пока не распахнет настежь все голубое небо. А получилось совсем не так. Вода медленно поднималась в середине пещеры, я прижимался к стене — теперь тут было самое мелкое место. Неожиданно моя рука схватила ветку, самую настоя-

щую ветку с твердыми узкими листьями. Она мягко пружинила, значит, росла, держалась за что-то. И вот я раздвигаю уже не лед и не воду, а живые плотные заросли, и ручей звенит между ними, радостно толкаясь в мои колени. Я изо всех сил раздвигаю упругие, хитро сплетенные ветви и...

Зеленый свет внезапного лета ослепил меня. Я вижу зеленую дальнюю сопку, зеленое небо над ней, зеленый ручей, посреди которого я стою. Лето! Я совсем забыл, что ты существуешь на воле!

— Лето! Здравствуй! — крикнул я, набрав воздуха, и слова беспечными кузнечиками поскакали впереди меня.

Теперь, когда будут говорить «лето», я представлю ослепительно зеленый мир. В твою честь я бросаю прямо в воду свой комбинезон. Пусть ручей, если захочет, несет его с собой и утопит в самом глубоком ущелье Байкала.

Вот мой путь, начертанный крепкой рукой инженера: мимо сопочки, через тайгу, по охотничьей тропе, к станции. Там меня подхватит поезд.

Сначала я оглядывался по сторонам в поисках охотничьей тропы. Ничего похожего ни на берегу ручья, ни между деревьев не встречалось. Пихты, ели, лиственницы стояли так плотно, так рассадили свое колючее, тянущееся вверх потомство, так попáдали друг на друга, что в иных местах не то что охотник, но и белка не прошмыгнет, а там, где выдавался просвет с пышной травой, я проваливался в болотистые, мягко поддающиеся ямы. Наивный человек, я думал пробежать эти километры за час с хвостиком. Нет, надо забыть, что в мире есть автоматические дороги, что есть тропинки в лесу, по которым можно пройти босиком, ни разу не уколовшись. Надо одеть компас на руку, послать к черту эту мифическую тропу, пробираться самостоятельно.

Через некоторое время я почувствовал себя бывалым таежником. Откуда только взялась сноровка: рука отводит мохнатую лапу, нога встает на пятку, нащупывая коварные ямы, и легко отталкивается мыском, глаза ищут проходы в буреломе. Кто их только навалил, этих могучих бойцов, выворотил прямо с корнем — может, здесь ночью разыгралась хорошая потасовка? Не стоит лезть в самую свалку, оттуда не выберешься и с топором, и сопку лучше обойти стороной, а потом снова свернуть на юг, положить на упавший ствол карту, сверить свой маршрут по компасу.

Ага, вон могучие циркули опор, между ними натянуты серебряные струны. Когда-то по ним ходили таежные канатоходцы-верхолазы. Я пересекаю широкую просеку, провода торжественно гудят над головой. Но мне по пути с опорами, я иду снова в тайгу.

Не сразу понял я, откуда пришла слабость. Не мог я так быстро устать. Было что-то странное, незнакомое в непослушании ног и рук, приятной лености всего тела, легком головокружении. Ветви стали сильнее меня, корни цеплялись за ботинки, и тихий торжественный звон лился из-под высокого свода. Я поднял голову, удивленный необычным праздничным звуком, который рождала то ли лесная тишина, то ли мое воображение, и увидел серебристое сверкание меж верхушек. Над острыми пиками елей, прямо надо мной, висело облако. Мне показалось, что оно отыскивает меня в чаще. Что ж, я ни на минуту не забывал о тебе, даже когда пробирался в темной пещере, я ничуть не удивлен и готов взять тебя в попутчики. Не думаю, что ты явилось указать мне дорогу, но я все равно пойду вперед, а если откажут ноги, поползу, подтягиваясь за корни.

Когда вышел на поляну, усеянную крупными, с кулак величиной, ромашками, я внимательно рассмотрел облако, хотя рассматривать в нем было нечего: в промытом летнем небе, над частоколом елей и бело-зеленым полем оно выглядело странным, никому не нужным шаром, соперничавшим в блеске с солнцем. Но солнце лучилось живым теплом, а облако казалось хорошо отполированным куском льда. Оно молча и равнодушно облучало меня: я не чувствовал ни рук, ни ног — они словно не принадлежали мне, приятный звон в ушах сменился глухой пустотой, только глаза еще видели, куда идти. И я шел, шел сам по себе, удивляясь, почему идут ноги, которых я не чувствую. Может быть, я уже брел по этой охотничьей тропе, пропавшей неизвестно куда, и ноги угадывали знакомую дорогу; я шел здесь сто лет назад с теми людьми, которые строили втайне электростанции и города.

Города стоят на своих местах, эти люди давно умерли, а я все иду... Я иду уже не по земле, я иду по Марсу и ничего не вижу, кроме стрелки компаса. Наверно, багряный диск солнца опускается за горизонт, и тогда сразу придет страшный ледяной мороз, и я замерзну. Я падаю на песок, но голос отца поднимает меня: «Надо идти, Март. Если хочешь, брось сумку с каменной черепахой, мы потом добудем другую. Надо идти...» Нет, я не брошу сумку с каменной черепахой, ведь это первый найденный тобой живой марсианин, я буду идти, и не замерзну, и дойду до города под блестящим цирковым куполом.

Я не лягу у шершавых крепких корней этой сосны, не закрою глаза и не увижу во сне, как я обгоняю ребят на красном гравилете. Слышишь ты, облако! Ты можешь бить меня в спину, в грудь, в голову, пытаясь заставить меня лечь, махнуть на весь мир рукой. Ничего у тебя не выйдет! Навстречу

твоим сигналам поднимается по нервам ненависть. Я никогда не прощу тебе белого лица Карички, последних слов Сингаевского, пустых глаз Килоу.

Не думай, что я испугался черной быстрой речки, я просто ищу переход. Вот он — поваленные поперек пихты. Пока я полезу по ним, хватаясь за мягкие смолистые лапы, ты можешь спокойно целиться — хорошая, уязвимая мишень. Темно в глазах — это от близкой воды, но я не упаду, слышишь, я вижу то, чего не видишь ты — золотисто-оранжевую, как апельсин, горячую звезду Тау Киту.

Тау Кита — сестра золотая моя,
Что так смотришь загадочно, словно маня?
Я готов переплыть океан пустоты,
И коснуться огня, и сказать: это ты?

Не понимаешь? Повторять не буду. Эта песня подарена мне, она не имеет формулы. Ты слепо, хотя и видишь на расстоянии, ты долго изучало нас, но так и не догадалось, что люди — не просто сумма клеток. Я исхлестан ветвями, измазан с головы до ног, пот заливает глаза, но я не боюсь тайги, не боюсь морей, не боюсь звезд. Мы все связаны друг с другом — деревья и горы, ручьи и моря, звери и птицы, атомы и фотоны, земляне и наши далекие собратья. Мы связаны всем своим прошлым, настоящим, будущим и образуем один причудливый мир. В этом мире я человек. Я составлен из тех же атомов, что и дерево, и звезда, и даже ты, но я совсем другой. Отвага и доброта, сила и ненависть моих предков не позволят мне превратиться в твоего раба. Может быть, ты поймешь это, когда люди отдадут тебе приказ на твоем языке — роботы привыкли подчиняться только командам.

...Я не заметил, как взобрался на сопку. Облако не отставало ни на шаг. Я стоял, обхватив руками ствол сосны, и оно повисло прямо над нами. Я держался за дерево, прижавшись щекой к его шелковистой коже, и видел уже купол железнодорожной станции, блестящую нитку рельсов — отсюда, с вышины, я мог дотянуться до них рукой. Но руки крепко сжимали ствол...

Красная птица взлетела над станцией, я вздрогнул: это был гравилет. Он шел очень быстро. Прямо на мою сопку. Я почувствовал гладкий руль в руках, услышал звон перьев. Все пело во мне, словно я сам сидел в кабине: так, хорошо, ловкий поворот — выигранные метры, теперь машина со свистом режет воздух, превращаясь в красную молнию.

Но куда же он летит? Здесь не только я, здесь облако. Он что — не видит?

В одно мгновение я понял все: прямое стремительное кры-

ло — да ведь это мой гравилет! А за рулем тот, кто его собрал,— Рыж, и он отлично видит облако и летит прямо на него. Неужели он ищет меня?!

Я оттолкнулся от дерева, побежал навстречу, махая руками.

— Рыж, назад! Назад! Рыж!!

Гравилет быстро приближался. Он разрастался на моих глазах, занял уже половину неба, а вторая половина была облаком, твердым, как кусок льда. Про себя я молил Рыжа свернуть. Но он уже ничего не мог сделать. Гравилет ткнулся в невидимую стену, вздрогнул, как подбитая птица.

Он упал на зеленые ветви ели, скользнул по ним вниз...

Рыж лежал в стороне от разбитой машины.

Я взял его на руки и понес вместе с креслом, к которому он был пристегнут. Глаза его были открыты и как будто спрашивали: это ты?

* * *

Рыжа похоронили на сопке. На самую вершину вертолеты подняли большой камень гранита. А на него поставили красный гравилет. Под одним крылом — Байкал, под другим — тайга.

...Я целую вечность собирал гравилет. Время остановилось. Удивленные, широко распахнутые глаза Рыжа смотрели на меня. Перья тихонько позванивали — они хранили тепло его рук. Это был гравилет Рыжа.

Рыбаки с Ольхона вырубили в скале лестницу. Шли и шли по ней люди, оставляя на ступенях еловые ветви, кедровые ветви, цветы.

Когда началась беда? Когда я сказал, что еду на Ольхон? Когда решил бежать с острова? Когда рыбаки вошли в лабораторию Гарги и инженер Смирнов радировал Совету ученых, что облако преследует меня? Все мы невольно обращались к Рыжу. Несколько дней назад он пробрался в спасательный отряд, на северный берег Байкала. В тот момент, когда радио передавало мои координаты, он сидел в машине. Он всего на полминуты опередил опытных летчиков, которые знали, что лететь прямо на облако нельзя...

Подошла Каричка, протянула крепко сжатые кулачки.

— Он самый смелый.— Она села на камень, прижалась к шершавому граниту. Она не плакала, слушала тишину камня.— Никогда я этого не пойму.

Дул с Байкала ветер. Трепетали красные крылья. И легкой стаей закружили над сопкой гравилеты. Все летчики, которые здесь были, поднялись в воздух. Медленно вращалась

заросшая лесом сопка, уплывали флаги, и красная птица была готова взлететь с камня. Там, под ее крыльями, говорили о смелом человеке, о гравилетчике Рыже, и мы подхватывали эти слова на свои крылья и несли их над тайгой. Может быть, впервые в жизни плакали байкальские рыбаки, и наши лица тоже были мокрыми от слез.

Сверкающими стрелами пронеслись ракеты, оставляя за собой разноцветные хвосты,— так ракетчики прощаются со своим товарищем.

Грянул с вершины сухой залп — клятва верности рыбаков и охотников.

Гравилеты будут кружить, пока не зайдет солнце, пока не вспыхнут над куполом железнодорожной станции огненные буквы: «ГРАВИЛЕТЧИК РЫЖ».

* * *

— Положение таково. Высоко развитая цивилизация в созвездии Ориона, цивилизация приматов, как они себя называют, полностью овладела энергией и ресурсами своей звездной системы. В поисках новой энергии ими была взорвана одна из звезд. Смелый эксперимент привел к катастрофической ситуации: неожиданно начали разогреваться красное холодное солнце приматов и соседние звезды. Попытки вмешаться в реакцию оказались безуспешными. Через несколько тысяч лет эти звезды вспыхнут как сверхновые. Приматы решают переселить свою цивилизацию и выбирают подходящую необитаемую планету. Я подчеркиваю: необитаемую, так как хотя приматы и знали о наличии других, более отсталых цивилизаций, они не хотели вмешиваться в чужую жизнь. Девятьсот двадцать девять гравитационных машин отправились для разведки и подготовки нового местожительства. Вслед за этим корпусом должны стартовать грузовые и пассажирские корабли. Одна из машин при облете белого карлика сбилась с курса и попала в солнечную систему... Вы знаете, что недавно наша ретрансляционная станция Земля — Марс приняла серию сигналов из космоса. Они представляют четыре схемы, фотографии или картины, изображающие то, что я вам только рассказал. Трактовка схем подтверждена самим облаком, с которым вчера удалось установить связь...

Аксель Бригов смолкает, оглядывает сидящих за столом. Нас четверо. Психолог Джон Питиква, прилетевший из Каира, слушает с задумчивым видом, гладя ладонью прохладную крышку стола. Еще один человек, которого я вижу впервые, внимательно смотрит на Бригова холодными серыми глазами; я знаю только, что зовут его Оскар Альфредович и он пред-

ставитель Верховного Совета планеты. Когда же взгляд учителя останавливается на мне, я опускаю голову.

Как все быстро произошло: побег с острова, похороны Рыжа, перелет в город и этот знакомый институтский зал со знаками Зодиака на массивных дверях — волны событий подхватили меня и швырнули к пустому гладкому столу. Он вытянулся от стены до стены в величайшем спокойствии и сверкал своей полированной поверхностью, как обманчиво спокойное море, потопившее в шторм десятки кораблей, не хранит никаких следов катастрофы. Но я знал, что в этой цепочке волн, на дне этого спокойного моря скрывается моя тяжелая вина. Там, за резными дверями парит над сопкой красный гравилет. Там, над островом, по-прежнему сверкает облако. Только теперь оно вынуждено отвечать на наши сигналы: облако попало в фокус включенных установок и не может двинуться с места.

— Продолжайте, профессор,— потребовал в тишине представитель Совета.

— Выйдя на орбиту вокруг Солнца, облако обнаружило присутствие незнакомой цивилизации. Наблюдая за нами из космоса, прослушивая радиостанции, оно вошло в контакт с космической станцией М-37, на которой вел свои работы профессор Гарга. Дальнейшее вам известно. Все действия облака свидетельствуют о том, что в новых условиях оно изменило свою первоначальную программу.

— Это было очевидно,— пробормотал Питиква, закрывая глаза. Кажется, он собирался дремать.

Аксель нахмурился.

— Напомню вам, доктор,— резко сказал он,— что мы это установили совсем недавно.

— Да, да. Недавно,— сонно согласился психолог.

Оскар Альфредович невозмутимо молчал.

Я уже не знал, зачем я здесь нужен. Все эти теории я и так испытал на своей шкуре.

— Коротко говоря, облако решило ставить опыты на людях. Работы Гарги подсказали направление этих опытов,— продолжал Бригов.

— Цель? — перебил Оскар Альфредович.

— Рациональная перестройка человеческого общества. Подготовка будущего соседа и союзника приматов для совместного использования энергии Галактики. Возможно, подготовка запасной базы для переселения. Как видите, цели самые благородные.— Бригов развел руками.

— Но разве оно не понимало, что для перестройки не хватит сил? — холодно продолжал представитель совета.

— Вероятно,— ответил Бригов.— Однако оно только ука-

зывало нам путь. Лично у меня создалось впечатление, что ему совсем было безразлично наше мнение. Ну, примерно так, как человек производит опыты с колониями муравьев.

Все невольно усмехнулись. Питиква приоткрыл веки, внимательно взглянул на меня. Я догадался: сейчас спросит.

— Как твое мнение, Март Снегов?

— Мне казалось,— начал я неуверенно,— когда я с ним разговаривал... Мне казалось, оно скрывает свою настоящую цель, просто говоря — врет. Простите... И еще — иногда я тоже чувствовал себя подопытным...

Мои сбивчивые слова почему-то пробудили старого Питикву.

— Правильно! — сказал он громко.— Получается логическая несуразица — это с нашей точки зрения. Забыв свою прежнюю программу, машина с другой планеты вмешивается в чужую жизнь, причем взваливает на себя неразрешимые задачи и поступает очень глупо. Где же разумный анализ обстановки, система контроля и прочие механизмы, необходимые в столь сложном космическом аппарате? Где они, я вас спрашиваю?

— Спросите у облака,— буркнул Аксель.

— Давно бы спросил, если б вы вовремя построили свои установки,— парировал психолог.— Впрочем, это не помогло бы. Спрашивать бесполезно.

Аксель и я с удивлением уставились на Питикву: что, мол, еще надо, когда облако в наших руках?

— Вы хотите сделать сообщение? — спросил представитель Совета.

— Да! — Питиква медленно поднялся. Он стоял перед нами, как огромная черная гора с белой шапкой снегов на вершине, и загадочно улыбался.— Мои рассуждения просты. Если предположить, что под влиянием внезапных факторов в этой машине произошли какие-то нарушения, все несуразные на наш взгляд поступки облака будут вполне естественны. Могло так случиться, что при облете белого карлика, когда изменилась траектория полета последнего шара, сильный потенциал замкнул в нем определенные цепи. Подобное ненормальное состояние бывает, как вы знаете, и у наших электронных систем.

— Машинная шизофрения? — серьезно спросил Бригов.— Сумасшедший с Ориона — я тебя правильно понял?

Признаюсь, тут уж я рассмеялся. Но на меня не обратили внимания.

— Точный диагноз пока бы не ставил,— иронично отвечал психолог.— Мы еще не знаем устройства системы. Однако, проанализировав с этой точки зрения тактику облака и все

его сообщения, особенно тот блок записей, который принес нам Снегов, Центр Информации составил примерную модель машины.

Питиква включил экран, и началась пляска столь сложных математических символов, уравнений, графиков, что я сразу же сдался, стараясь не пропустить только выводы, общечеловеческие, понятные слова. А они гласили примерно следующее: в сложнейшей конструкции приматов работала только часть информационно-программного устройства, остальные системы или не принимали активного участия, или же были повреждены.

Воцарилось молчание.

Аксель вскочил с места, забегал по залу.

— Еще не хватало лечить космических идиотов,— бубнил он под нос. Потом остановился, резко повернулся к врачу:— Ты, Джон, все это придумал, ты и расхлебывай!

— Успокойтесь,— сказал Оскар Альфредович, хотя, судя по блеску глаз, он и сам был не менее других взволнован неожиданным выводом.— Что вы предлагаете, доктор?

— Как сказал Аксель Бригов — лечить. И лечить не менее терпеливо, чем больного человека. Я нисколько не шучу. Во-первых, путем переговоров Центра Информации с облаком, для чего будет составлена специальная программа, надо уточнить характер нарушений. Сейчас я бы сказал так: комплекс превосходства — это та функция, которую присвоила себе и последовательно разрабатывала действующая часть машины. Во-вторых, поймав облако на логической несуразице, дадим ему возможность исправить свое устройство. А именно: объявим, что мы включаем установки, которые его разрядят.

— А если оно будет обороняться? — спросил представитель Совета.

— Думаю, что самосохранение для него гораздо важнее, чем все остальное. Машину без этого основного правила не станут посылать для разведки планет.

— Если не подействует психологический эффект — что дальше?

— Тогда мы включим установки,— спокойно продолжал Питиква.

— Но будет взрыв!

— Взрыва не будет. Мы включим другие установки. А поскольку мы имеем дело с машиной, которая мгновенно распознает, смертельный это удар или полезный, она не применит никакого оружия защиты. В этом и состоит мой план.

— Итак, борьба муравьев с космическим слоном,— миролюбиво согласился Аксель.

— Не со слоном, а с машиной, возомнившей себя Наполеоном,— поправил представитель совета.

Мне эта формулировка понравилась.

* * *

Всю неделю Центр Информации вел невидимую дуэль по лучам мазеров с висящим шаром. Это была борьба идей на предельной для машин скорости. Совет ученых согласился с гипотезой Дж. Питиквы. Она была проверена, и Верховный Совет Земли одобрил план действий.

Над Байкалом солнце стояло в зените, когда около ста экранов были подключены к специальным камерам, поднятым на гравипланах. За разные двери института я попал только с помощью Бригова, который выудил меня из толпы сотрудников, жаждавших проникнуть в зал. Он гудел от голосов, этот огромный сводчатый зал, где несколько дней назад нас было всего четверо, и со стен, с портретов в рамках строго взирали великие на такое шумное сборище.

Но вот стихло. Я увидел вытянутый, как корабль, желтый остров — он резал острым носом набегающие волны. Золотые крыши домов, серый куб за глухим забором, безлюдные улицы. Все уехали. Странный пустой город...

Облако. Сейчас на него направлены все взгляды. На него — установки. На него — тонкие лучи мазеров. Удастся ли?

Голос Питиквы за кадром:

— Объявлено, что через пять минут будут включены новые установки для разрядки облака.

Напряженная тишина. Та же картина: остров — поселок — облако... Облако — поселок — остров...

— Не отвечает,— говорит Питиква.

«Не удалось. Оно не в состоянии перестроиться,— думаю я.— Что дальше? Удастся ли дальше?»

Я знаю: еще несколько минут, и в облако вонзится сильный разряд. Если Питиква прав, он встряхнет, включит всю систему. Если облако не поймет и ответит смертоносным излучением — блеснет огонь взрыва.

Зал ахнул: мгновенная вспышка озарила облако. Все вскочили, но это не взрыв. Вон оно — облако — на своем месте. И город. И остров. И море. Просто — клянусь звездами Ориона! — облако просияло.

И во весь экран лицо Питиквы. Усталое лицо.

— Поступили первые сообщения,— спокойно говорит он.— Система облака включилась в нормальную работу... — Пауза. Питиква продолжает: — Облако возвращает гравилет с пилотом Сингаевским...

Медленно и спокойно, как из обычной серебристой тучки, вынырнул игрушечный желтый гравилет. Медленно, круг за кругом парил он над морем, приближаясь к берегу. По этим кругам я догадался, что гравилетом управляли приборы. Вот он сел на высокий каменистый берег. И тут же рядом опустился санитарный вертолет, перекрещенный красными полосами. Врачи — бегом к гравилету. Вытащили неподвижного, с болтающимися, как у тряпичной куклы, руками и ногами пилота, перенесли в свой вертолет...

Экран погас.

...Я брел по коридору, ничего не видя, ничего не соображая, твердил про себя: «Все, все, вот и все». Ноги гудели от странной дрожи. Может, это вибрировал пол? За стеклянными стенами, в залитых солнцем залах работали сотни машин, каждая из которых была клеточкой гигантского электронного мозга планеты. Шел обмен опытом двух разных цивилизаций. Великий обмен информацией.

Я брел по коридору, представляя, как ежесекундно рождаются новые тома, заполненные одной лишь информацией. Их надо изучать много лет. Но самый главный вывод невозможно спрятать ни в ячейках памяти, ни в толстых томах — он ясен всем: люди давно уже решили, что побеждает мужество или покорность. Облако в этом убедилось...

Так продолжалось три дня. Потом облако объявило, что продолжит полет к своей новой планете, и ушло в космическое пространство.

В самый сильный телескоп можно будет увидеть, как светлая точка делает оборот вокруг Солнца.

— Вы убили человека, Гарга. Вы признаете себя виновным?

Маленькая фигура в черном перед высоким, как кафедра, столом. Гарга стоит, опустив голову. Он боится не этого стола с судьями. Он, наверное, чувствует, что стены сложены из миллионов глаз, смотрящих в упор на него: «Вы убили человека!»

Он поднимает голову, твердо говорит:

— Да, виновен. Признаю себя виновным.

* * *

Я улетал к Солнцу.

На платформе космодрома нас пятеро в голубых дорожных комбинезонах. Пятеро уже на пересадочной космической

станции. Там мы влезем в неуклюжие, но приятно невесомые скафандры, и ракета, похожая на раздувшуюся гусеницу, понесет нас в кипящее море огня, сжигающее глаза, время, сны, но бессильное против нас — в сверхкорону.

Не знаю, что я увижу, заглянув в лицо Солнцу, а сейчас смотрю на друзей, стараясь запомнить все, до мельчайших подробностей. Андрей Прозоров, Игорь Маркисян, Аксель Бригов, вы даже не знаете, что я повторяю про себя ваши имена, чтоб потом обычный звук мгновенно рождал в памяти голоса, улыбки, блеск глаз. Я улетаю с товарищами, но мне всегда будет нужна ваша поддержка.

Подошел Гриша Сингаевский. В больнице он немного поправился, но все равно остался худющий после заточения в облаке. А рука крепкая.

— Счастливец,— говорит он, толкая меня в бок.— Летишь.

— Ты скоро меня догонишь.

— Не утешай. Я просто пришел поглядеть на всех вас. И не задавайся: обязательно догоню.

...Скоро сомкнутся толстые двери, взвоет в стартовой трубе ракета, и я превращусь в яркую звезду, которая еще несколько секунд будет сверкать в летнем небе. А на пересадочной станции меня тоже будут провожать. На телеэкране я увижу отца и мать. Получасовой сеанс с Марсом.

Я понимаю, как им грустно: они собираются домой, на Землю, а я — в обратном направлении. Обычная несуразица в жизни — теперь улетаю я. Но я буду шутить и смеяться, и попрошу отца напомнить, какой у него рост, и тогда окажется, что я уже с него, только он красивый и седой. А маме я покажу, какой я сильный, ведь я тренировался, как проклятый, день и ночь все эти полгода, чтоб пройти отборочную комиссию, и она улыбнется и скажет, что я все равно маленький, хотя перерос ее на целую голову, а глаза ее сверкнут двумя каплями света, выдав тайную гордость: все же какой большой, какой взрослый...

Кончатся полчаса, и снова ракета, маленькая, медленно летящая искра. Может быть, ее проводит взглядом одинокая фигура, на самой последней, самой отдаленной космической станции — Гарга. Не знаю, как он, а я всегда буду слышать глухой голос, прозвучавший в тишине зала: «Вы убили человека...» Теперь он один. Он сам захотел быть один...

И вдруг все лица расплываются, отодвигаясь от меня: я вижу, как бежит по платформе Каричка. Я не встречал ее с того самого дня, когда мы прощались с Рыжем. Целая пропасть времени между этими днями, а она все такая — белое платье, пушистое облако волос, ровная челка. Нет, не такая. Резкая складка на переносице. И глаза. Они стали твердыми

и маленькими. Я смотрю в них, смотрю не отрываясь, и наконец нахожу знакомые золотые ободки.

— Прости, я только узнала.— Каричка сунула мне цветы.— Ну, что ты так смотришь? — Она улыбнулась.

— Хочу запомнить.— Ей я говорю то, что думаю.— Ждал, когда ты улыбнешься.

Она отодвинулась от меня, посерьезнела. Большие красные крылья трепетали над нами.

— Это опасно? — Она показала на мой знак солнечной экспедиции.

Знакомый мотив прозвучал рядом: кто-то насвистывал «Тау Киту».

Я готов переплыть океан пустоты,
И коснуться огня, и сказать: это ты?

— А знаешь, как дальше? — спросил я.

— Дальше? Дальше никак.

— Песня не кончается. Слушай.

Я готов переплыть океан пустоты,
И коснуться огня, и сказать: это ты?
Только ты не мечтай, не останусь здесь я,
Брошусь вновь в океан открытый,
Чтоб вернуться к тебе, голубая Земля,
С золотым огнем Тау Киты.

Это тебе. Тебе и Рыжу.

Она кивнула.

А я продолжал, продолжал говорить беззвучно, про себя. Потому что красные крылья трепетали совсем рядом. Сколько я буду жить, я буду помнить тебя, Рыж. Я привезу с собой кусок Солнца и выпущу его над твоей сопкой. Даже когда меня не станет, оно будет гореть.

Я вижу мальчишку. Он держит на ладони маленький гравилет, смотрит на него широко раскрытыми глазами, говорит, совсем как Рыж: «Это Они делали для нас».

Отблеск красных крыльев осветил лицо Карички. Я видел: она меня понимает.

СОДЕРЖАНИЕ

Абрамов А., Абрамов С.	**Хождение за три мира**	3
Наумов Я., Яковлев А.	**Конец полковника Тулбиса** . .	110
Акимов И.	**Надо идти**	160
Рыкачев Я.	**Дело Гельмута Шрамма** . . .	170
Гурфинкель Б.	**Черный гребень Чолпонбая** . .	289
Томан Н.	**Сильнее страха**	306
Другаль С.	**Право выбора**	374
Голубев Г.	**Долина, проклятая аллахом** . .	383
Кулешов А.	**Шерлок Холмс с Петровки, 38**	472
Давыдов Ю.	**Взыскующие града**	535
Велтистов Е.	**Глоток солнца**	554

Для среднего и старшего возраста

АЛЬМАНАХ

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ № 12

Ответственный редактор *Н. М. Беркова*
Художественный редактор *Н. З. Левинская*
Технический редактор *О. В. Кудрявцева*
Корректоры *Л. М. Николаева* и *Н. А. Сафронова*.
Сдано в набор 4/VIII 1966 г. Подписано к печати 4/XI 1966 г. Формат 60×90¹/₁₆. Печ. л. 38. (Уч.-изд. л. 36,28). Тираж 100 000 экз. ТП 1966 № 589. А15494. Цена 1 р. 23 к. на бум. № 2.
Издательство «Детская литература».
Москва, М. Черкасский пер., 1.
Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 4681.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В 1965 и 1966 годах вышли и выйдут следующие научно-фантастические и приключенческие книги:

Росоховатский И. **Виток истории.**

Сборник научно-фантастических повестей и рассказов

Емцев М., Парнов Е. **Зеленая креветка.**

Сборник научно-фантастических повестей и рассказов

Кальма Н. **Книжная лавка близ площади Этуаль.**

Роман об участии советских людей в движении французского Сопротивления

Тушкан Г. **Первый выстрел.**

Приключенческий роман о судьбе юноши Юры Сагайдака, о его участии в гражданской войне. Роман написан на документальном материале

Жемайтис С. **Зеленая ракета.**

Сборник рассказов о подвигах войсковых разведчиков в годы войны

Коробицын А. **Тайна музея восковых фигур.**

Повесть о раскрытии загадочного преступления, о социальной подоплеке этого преступления в США

Наумов Я., Яковлев А. **Тонкая нить.**

Повесть о работе милиции и органов безопасности, разоблачивших шайку преступников, связанных с иностранной разведкой

Полещук А. **Великое делание, или Удивительная история доктора Механикуса и его собаки, которая была Альма.**

Фантастическая повесть о приключениях доктора Механикуса, об интересных и загадочных страницах из истории алхимии — лженауки средневековья, на смену которой пришла могучая современная химия

Рони Ж. Старший **Борьба за огонь. Пещерный лев.**

Обе приключенческие повести посвящены похождениям двух доисторических людей каменного века.

Эти книги по мере выхода их в свет вы сможете приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.

Книги высылаются также по почте наложенным платежом отделом „Книга—почтой" областных, краевых и республиканских книготоргов.